

Мак

ТВЕИ

•
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной
литературы



Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 12 ТОМАХ

Под общей редакцией
А.А. ЕЛИСТРАТОВОЙ
М.О. МЕНДЕЛЬСОНА
А.И. СТАРЦЕВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

ПЕШКОМ ПО ЕВРОПЕ
ПРИНЦ И НИЩИЙ

Переводы с англійскаго



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 6 0

MARK TWAIN

A TRAMP ABROAD

1880

THE PRINCE AND THE PAUPER

1882

Художник

Е. ГАННУШКИН

ПЕШКОМ ПО ЕВРОПЕ

**ПЕРЕВОД
Р. М. ГАЛЬЦЕРИНОЙ**

Редактор перевода
Н. В О Л Ъ П И Н

Глава I

*Пешком по Европе. — Гамбург. — Франкфурт-на-Майне. —
Откуда это название? — Урок политической экономии. —
Рейнские легенды. — Шельм фон Берген.*

В один прекрасный день мне пришло на ум, что мир давно не видел храбреца, который пустился бы странствовать пешком по Европе. Поразмыслив хорошенько, я решил, что не кто иной, как я, призван доставить человечеству столь поучительное зрелище. Сказано — сделано. Это было в марте 1878 года.

Я начал присматривать подходящего спутника, вернее — платного агента, и остановил свой выбор на мистере Гаррисе.

Было у меня и намерение приобщиться к искусству, шатаясь по Европе, и мистер Гаррис разделял это намерение. Как и я, он боготворил искусство и мечтал при случае поучиться живописи. Я собирался усовершенствоваться в немецком языке, мистер Гаррис тоже.

В середине апреля отплыли мы на борту «Гользаци», шедшей под командой капитана Брандта, — и была у нас не дорога, а сплошное удовольствие.

После короткого отдыха в Гамбурге стали мы готовиться к долгому походу на юг, кстати и погода стояла весенняя, теплая; но в последнюю минуту наши планы изменились, и по чисто личным причинам мы предпочли сесть на скорый поезд.

Мы ненадолго остановились во Франкфурте-на-Майне и нашли здесь немало интересного. Я охотно

поклонился бы стенам, видевшим рождение Гутенберга, но даже памяти о том, где они стояли, не сохранилось. Зато мы провели часок в особняке, где жил Гёте. Дом и поныне остается в частном владении, и город терпит это, вместо того чтобы приобрести его в собственность и в качестве хозяина и хранителя столь знаменательного достояния снискать себе уважение и славу.

Франкфурт — один из шестнадцати городов, гордящихся тем, что в них произошел следующий случай. Карл Великий, тесня саксов (по его версии), или теснимый саксами (по их версии), вышел на рассвете к реке, утопавшей в густом тумане. Впереди — или позади — был неприятель. Так или иначе, королю до смерти нужно было переправиться на тот берег. Попадись ему в ту минуту надежный проводник, он бы отдал ему что угодно, но такового не было. И вдруг он увидел, что к реке направляется лань со своим детенышем. Король глаз с нее не спускал, уверенный, что она выведет его к броду, и оказался прав. Лань перешла реку вброд, а за нею и войско. Так франкам удалось одержать крупную победу — или избежать поражения, — в память о чем Карл Великий приказал воздвигнуть на том месте город и назвать его Франкфуртом, что значит: «брод франков». Ни один из остальных городов, где засвидетельствован этот случай, не был так назван. Из чего можно заключить, что во Франкфурте он произошел впервые.

У Франкфурта есть еще одна заслуга — он родина немецкого алфавита, или, по меньшей мере, немецкого слова «Buchstaben», обозначающего алфавит. Считают, что первые немецкие подвижные литеры вырезались на буквых брусочках — Buchstabe, — отсюда и название.

Во Франкфурте мне был преподан наглядный урок политической экономии. Уезжая, я захватил ящик в тысячу сигар, из самых дешевых. Для сравнения я зашел в лавчонку на одной из причудливых старинных улочек на задворках города и, взяв с прилавка четыре пестро раскрашенных коробка восковых спичек и три сигары, положил серебряную монету достоинством в сорок восемь центов. Лавочник дал мне сорок три цента сдачи.

Публика во Франкфурте одета на удивление чисто, и то же бросилось мне в глаза в Гамбурге, да и во всех придорожных селеньях. Даже в старейших ффранкфуртских кварталах, самых тесных и бедных, люди, как правило, одеты опрятно и со вкусом. Вы можете без опаски посадить себе на колени любого карапуза. А что до солдат, то их мундиры по части опрятности и блеска — само совершенство. Вы не увидите на них ни пылинки, ни пятнышка. Кондукторы и кучера конки тоже в форменном платье с иголки, и обращение их под стать внешнему виду.

В одной из здешних лавок мне посчастливилось напасть на книжку, которая меня просто зачаровала. На титульном листе значилось: «Ф. И. К и ф е р. Рейнские сказания — от Базеля до Роттердама. Перевод Л. У. Гарнема, Бакалавра Искусств».

Нет туриста, который хотя бы вскользь не упомянул о рейнских сказаниях с таким видом, будто он знает их с колыбели и будто и читателю они известны наперечет, но ни один турист еще не дал себе труда изложить хоть одно из них. Так что эта книжица утолила мой давнишний голод; и я в свою очередь намерен ублаготворить читателя, предложив ему закуску из той же кладовой. Я не стану портить перевод, выправляя английскую стилистику, ибо вся прелесть его заключается в том, как Гарнем строит фразы по законам немецкого синтаксиса, а знаки препинания ставит наперекор всем законам.

В главе, посвященной «Франкфуртским сказаниям», встретился мне следующий рассказ:

ШЕЛЬМ ФОН БЕРГЕН

В Ремере, ффранкфуртской ратуше, давали великолепный бал-маскарад по случаю коронационных празднеств, в ярко освещенном зале брэнчала музыка, призывая к танцу, и роскошные туалеты и чары дам соперничали с пышно разодетыми Принцами и Рыцарями. Все здесь сулило радость, блаженство, и задорное веселье, и только один из многочисленных гостей

выделялся своим мрачным видом; но именно черные его доспехи возбуждали общее внимание, а его высокий рост, его движения, исполненные благородства, особенно привлекали взоры дам. Кто был тот Рыцарь? Этого никто не знал, так как его Забрало было опущено и ничто не давало ключа к загадке. Горделиво и вместе с тем скромно подошел он к Императрице; и склонив колено перед креслом, попросил Царицу бала оказать ему великую честь — протанцевать с ним вальс. Она снизошла к его просьбе. Легко и изящно выделявая па, повел он Ее Величество по всему длинному залу, нашедшую в нем весьма искусного и грациозного танцора. Но также изысканностью манер и тонкою беседою очаровал он Королеву, и милостиво она подарила ему следующий танец, а затем и третий, и четвертый, да и во всех прочих не встретил он отказа. Как восхищались многие счастливым танцором, и как завидовали некоторые столь явному предпочтению; как возрастало любопытство, с которым все спрашивали друг друга, кто же, наконец, этот рыцарь под маской.

Также и Императора все больше разбирало любопытство, и с великим нетерпением ждали гости часа, когда по закону карнавала все маски должны открыться. И вот этот миг настал, но хотя все гости сбросили маски, один только таинственный рыцарь все еще медлил открыть лицо; пока наконец Королева, побуждаемая любопытством, и разгневанная его упрямством; не повелела ему поднять Забрало. Незнакомец повиновался, однако никто из благородных рыцарей и дам его не знал. Но вот из толпы выступили 2 королевских советника, узнавшие черного танцора, и трепет и ужас объяли толпу, когда она услышала, кто этот мнимый рыцарь. То был Бергенский палач. Воспылав гневом, Король приказал схватить преступника и повести его на казнь, дерзнувшего танцевать, с Королевой; и этим опозорившего Императрицу и оскорбившего корону. Провинившийся же бросился к стопам Императора и сказал:

— Поистине я тяжко согрешил перед благородными гостями, собранными здесь, но всего тяжелее

перед вами моим государем и моей королевой. Королева оскорблена дерзостью, граничащей с изменой, но никакая кара ни даже кровь не смоет позорного пятна, коему я причиной. А потому о Владыка! Дозволь предложить тебе средство стереть позор, и сделать его как бы не причиненным. Обнажи свой меч и возведи меня в рыцари, а я буду отныне бросать перчаткой, во всякого кто дерзнет отозваться неуважительно о моем короле.

Император подивился смелому слову, однако счел его мудрым. Ты шельма воскликнул он после минутного молчания, а все же совет твой хорош, и обличает рассудительность, как твоя выходка показывает бесшабашную отвагу. Будь же по-твоему, и ударом меча посвятил его в рыцари, возвожу тебя в дворянское достоинство, просящий милости за преступление на коленях, восстань рыцарем; но, благо ты шельма, зовись отныне Шельм фон Берген, и с радостью восстал Черный рыцарь; в честь Императора трижды грянуло ура, и громкие клики восторга возвестили одобрение, с каким Королева еще раз протанцевала с Шельм фон Бергеном.

Глава II

Гейдельберг.—Прибытие императрицы.—«Шлосс-отель» — Местоположение Гейдельберга. — Река Неккар. — Гейдельбергский замок. — Встреча с вороном. — Язык животных. — Джим Бейкер.

Остановились мы в гостинице у железнодорожной станции. Наутро, сидя у меня в номере и ожидая завтрака, мы с интересом наблюдали сцену, разыгравшуюся напротив, перед подъездом гостиницы. Сперва показался в дверях персонаж, именуемый portier (прошу не смешивать с нашим привратником: портье в гостинице примерно то же, что первый помощник на корабле); он был в полном параде — новенькая с иголки ярко-синяя суконная форма, сверкающая медными пуговицами, золотые галуны на фуражке и манжетах и даже белые перчатки. Начальственным оком окинул он

сцену и принял командование. Следом вышли две служанки с ведрами, скребками и щетками и задали тротуару основательную мойку; тем временем еще две служанки скребли четыре каменных ступени подъезда; в открытую дверь видно было, как несколько слуг снимают с парадной лестницы дорожку. Дорожку вынесли во двор, где ее трясли, выбивали, выколачивали, пока в ней не осталось ни пылинки, после чего ее опять разостлали на лестнице. Медные прутья, придерживающие дорожку, были тоже начищены до отказа и водворены на место. Тут целая рота слуг вынесла горшки и кадки с цветущими растениями и расставила в виде живописных джунглей перед входом и у основания лестницы. Другие слуги украшали цветами и знаменами балконы на всех этажах; третьи забрались на самую крышу и подняли на флагшток большущий флаг. Появились новые служанки, — эти довели тротуар до полного блеска, наново протерли каменные ступени влажными суконками и в довершение обмахнули их метелками из перьев. Тут вынесли широкую черную дорожку и раскинули по мраморным ступеням и через тротуар до самой мостовой. Портье прошелся по дорожке испытующим взглядом и, установив, что она лежит недостаточно ровно, распорядился поправить; но как слуги ни бились, ни метались, портье все был недоволен. Наконец дорожку по его приказу сняли, портье взялся за дело сам, и она легла как надо.

На этой стадии описываемых событий слуги развернули узкую алую дорожку и разостлали по каменным ступеням вплоть до мостовой, пустив ее посередине черной. Алая дорога задала портье еще больше хлопот, чем черная. Однако он терпеливо укладывал и перекладывал ее, пока она не легла точно посередине черной. В Нью-Йорке такое представление привлекло бы толпу любознательных и горячо заинтересованных зрителей; здесь же оно собрало лишь скромную аудиторию в десяток мальчуганов, построившихся в ряд поперек тротуара: кто стоял закинув ранец за спину и засунув кулаки в карманы, кто держал в руках десяток свертков, но все как один, не спуская глаз, следили за представлением. Время от времени кто-нибудь из сорванцов

позволял себе перескочить через дорожку, после чего занимал позицию по другую сторону. Такое неуважение явно раздражало портье.

Антракт. Сам хозяин гостиницы, в партикулярном платье и с непокрытой головой, стал на нижнюю ступеньку, как раз против портье, занявшего ту же позицию на другом конце той же ступеньки; семь-восемь лакеев, в перчатках, с непокрытой головой, в безукоризненно белых манишках и галстуках и лучших своих фраках, окружили начальство, держась подальше от ковровой дороги. Никто не двигался и не говорил, все ждали.

Спустя короткое время послышался пронзительный гудок прибывшего поезда, и на улице стал кучками собираться народ. Подкатили две-три открытые коляски, высадившие у гостиницы нескольких фрейлин двора и каких-то высокопоставленных лиц мужского пола. Следующая открытая коляска доставила великого герцога Баденского — плечистого мужчину в военной форме и красивой медной каске со стальным шипом. Последними подъехали в закрытой карете германская императрица и великая герцогиня Баденская; проплыв в толпе низко кланяющихся слуг, они скрылись в подъезде, успев показать нам только затылки, — и представление закончилось.

Как видно, посадить на землю монарха не менее трудно, чем спустить на воду корабль.

Но вернемся к Гейдельбергу. Установилась теплая, даже жаркая погода, и мы переехали из долины в «Шлосс-отель» — на горе, над старым замком.

Гейдельберг лежит у входа в узкое ущелье, напоминающее по очертаньям пастушеский посох. Если смотреть из города, оно тянется мили полторы по прямой, а потом круто сворачивает вправо и исчезает из виду. Ущелье, по дну которого течет стремительный Неккар, зажато крутыми скалистыми кряжами в тысячу футов высотой, до самого верха поросшими густым лесом, за исключением одного лишь расчищенного и возделанного участка. У входа в ущелье оба кряжа срезаны и образуют два обрывистых мыса, между которыми и угнездился Гейдельберг; отсюда

простираются необъятные мгlistые дали Рейнской долины, и в эти дали сверкающими извивами уходит Неккар, теряясь из виду.

Если вы обернетесь назад и снова окинете взглядом ущелье, перед вами справа, на крутом обрыве, нависшем над Неккаром, возникнет «Шлосс-отель»; все подходы к нему так пышно выстеганы и задрапированы зеленью, что нигде не проглянут скалы. Здание как будто парит в вышине. Снизу кажется, что оно стоит на карнизе, как раз на половине дороги, ведущей по лесистому склону. Благодаря уединенному положению гостиницы и белизне ее стен на фоне зеленых бастионов леса ее видно отовсюду.

Архитектуру гостиницы отличает одна особенность — новшество, которое не худо бы перенять для любого здания, занимающего такое же господствующее положение. Снаружи она унижена рядами стеклянных фонарей, по одному на каждую спальню и гостиную. Фонари напоминают высокие узкие птичьи клетки, развешанные по стенам. Я занимал угловой номер, и здесь было даже два фонаря — по одному на север и на запад.

Северный балкон глядит вверх, а западный — вниз по течению Неккара. Вид на запад особенно широк и красив, не часто увидишь красивее. Из волнующегося океана зеленой листвы, на расстоянии выстрела из ружья, поднимаются внушительные развалины Гейдельбергского замка — с пустыми оконными нишами, со стенами, одетыми в панцирь плюща, и осыпающимися башнями, — Лир неодушевленной природы, покинутый, развенчанный, исхлестанный бурями, но все еще царственно прекрасный. Чудесное зрелище представляет он в часы заката, когда солнце, скользя по зеленому склону у его подножия, вдруг озарит его и сбрызнет алмазной росой, между тем как соседние рощи уже погружены в густую тень.

Позади замка возвышается в виде купола большой лесистый холм, а за ним другой, еще более высокий и величественный. Замок смотрит вниз, на сплошные бурые крыши города и на два старых живописных моста, перекинутых через реку. Далее перспектива расширяется: за форпостами города, где стоят, как на часах,

две обрывистых скалы, широко раскинулась, сверкая яркими, сочными красками, Рейнская равнина. Уходя вдаль, она постепенно тускнеет, становится призрачно-неясной и наконец незаметно сливается с далеким горизонтом.

Никогда я не видел пейзажа, исполненного такого ясного и кроткого очарования.

В первый вечер нашего пребывания здесь мы рано легли спать, но уже через два часа я проснулся и с наслаждением стал прислушиваться к шуму дождя, уютно барабанившего в балконные стекла. Вернее, мне думалось, что это дождь, — на самом деле это рокотал внизу, в своем ущелье, неутомимый Неккар, перекачиваясь через плотины и дамбы. Я встал и вышел на западный балкон, и тут мне представилось необыкновенное зрелище. Далеко внизу на равнине, под черной громадой замка лежал город, раскинувшись вдоль реки, и густая паутина его улиц причудливо сверкала огнями; мерцали правильными рядами фонари на мостах, вонзая огненные копыя в воду, чернеющую отражением арок, а вдалеке, по краю этой волшебной картины, мигали и вспыхивали бесчисленные газовые рожки, рассыпавшиеся, казалось, на много акров земли; можно было подумать, что здесь собраны все алмазы мира; я и не представлял себе, что полмили трехколейного железнодорожного полотна может явиться таким украшением для города.

Днем Гейдельберг и его окрестности кажутся верхом живописности, но кто хоть раз видел ввечеру этот упавший на землю Млечный Путь, да еще с пристегнутым к нему с краю созвездием железных дорог, тот дважды подумает, прежде чем вынести окончательный приговор.

Можно без усталости бродить в густых лесах, сплошь одевающих величественные холмы по берегам Неккара. Таинственная чаща дремучего леса очаровывает вас в любой стране, но немецкие легенды и сказки придают этим лесам двойное очарование. Они населили весь этот край карликами и гномами, целой армией таинственных, баснословных созданий. В ту пору я так читался этих сказок и легенд, что, кажется, сам

уверовал в мир гномов и фэй как в настоящую действительность.

Как-то днем, отойдя на милю от гостиницы, я заблудился в лесу, и тут мною овладели грезы о говорящих животных, о кобольдах, о заколдованных людях и о других милых небылицах; воображение мое до того разыгралось, что мне уже мерещились какие-то маленькие твари, мелькающие среди лесных колоннад. Окружавшие меня места были, казалось, созданы для таких таинственных встреч. Надо мной высился сосновый бор, а под ногами лежал такой толстый и мягкий настил из порыжелых игл, что я ступал словно по ковру и не слышал собственных шагов; безупречно круглые и гладкие стволы деревьев стояли один к одному, точно правильные ряды колонн; снизу и футов до двадцати пяти кверху они были совсем голые, зато кудрявые вершины их так переплелись, что ни один солнечный луч не мог сквозь них пробиться. Где-то снаружи мир был залит солнцем, а здесь царил глубокий, сочный сумрак и такая священная тишина, что казалось, я слышу собственное дыхание.

Около десяти минут стоял я и, отдавшись своим мыслям и фантазиям, старался настроиться в лад с поэтическим очарованием этих мест и подготовиться к восприятию сверхъестественного, как вдруг над моей головой послышалось карканье. Я вздрогнул и тут же рассердился на себя за то, что вздрогнул. Я поднял голову: на суку сидел ворон и глядел на меня сверху вниз. У меня возникло то чувство обиды и унижения, которое испытывает каждый, когда чужой человек наблюдает за ним и делает про себя нелепые о нем заключения. Я воззрился на ворона, ворон на меня. Несколько секунд никто ничего не говорил. Затем ворон, немного пройдясь по своему суку в поисках удобной наблюдательной позиции, расправил крылья, вытянул голову из-под вздернутых лопаток и снова каркнул, на этот раз вложив в свое карканье и вовсе оскорбительный смысл. Заговори он по-английски, он не мог бы сказать яснее, чем сказал на своем вороньем языке: «Какая нелегкая тебя сюда занесла?» Я чувствовал себя преглухо, словно некое важное лицо поймало меня

за предосудительным занятием и теперь начальственно распекает. Однако отвечать не стал, у меня не было никакого желания пререкаться с каким-то вороном. Противник некоторое время ждал, все так же вздернув лопатки, выставив голову и не сводя с меня пронизательных блестящих глаз; потом он бросил по моему адресу еще два-три ядовитых замечания, смысла которых я не разобрал, хоть и догадался, что иные из них принадлежат к лексикону, не допущенному к обращению в церкви. Я по-прежнему не отвечал. Но тут противник поднял голову и кликнул клич. Неподалеку в лесной чаще раздалось ответное карканье, прозвучавшее вопросительно. Мой противник начал с жаром что-то объяснять, и тогда другой ворон бросил все свои дела и прилетел. Оба приятеля, усевшись рядышком на суку, стали бесцеремонно и развязно обсуждать мою персону, точно два великих натуралиста, обменивающихся мнениями насчет новооткрытой букашки. Мое замешательство росло. Между тем вороны кликнули еще одного приятеля. Это было уж слишком. Я видел, что перевес на их стороне, и решил выбраться из гнусного положения, попросту *выйдя* из него. Вороны с торжеством приняли мое поражение, — так торжествовать могли бы какие-нибудь подлые белые люди. Они выгибали шею и смеялись надо мной (ведь ворон смеется не хуже человека) и пронзительно посылали мне вдогонку всякие обидные замечания, пока не потеряли меня из виду. Разумеется, то были только вороны, и я это понимал — их мнение было мне глубоко безразлично, — и все же когда ворон кричит вам вслед: «Что за дурацкая шляпа!», «Поправь жилетку!» и тому подобное, — это и неприятно и унижительно, и тут не помогут никакие разумные доводы и трезвые рассуждения.

Животные, конечно, разговаривают друг с другом. Об этом и спору быть не может; но, мне кажется, мало кто из людей их понимает. Я встречал только одного человека, понимавшего язык зверей. Я знаю это, потому что он сам мне рассказывал. Это был обыкновенный старатель, человек средних лет, простая душа; он долго жил в каком-то затерянном уголке Калифорнии

среди гор и лесов и так хорошо изучил повадки своих единственных соседей — зверей и птиц, что уже не сомневался, что может точно перевести каждое их замечание. Звали его Джим Бейкер. По словам Джима Бейкера, иные животные не шибко грамотны, у них в ходу только самые простые слова; вы не услышите от них ни цветистых сравнений, ни каких-нибудь там риторических фигур; но есть и другие животные, которые обладают обширным лексиконом, настоящим даром слова, и объясняются они плавно и свободно. Они мастера потрепать языком и, зная за собой этот талант, не прочь им похвалиться. Бейкер уверял меня, что после долгих и тщательных наблюдений он пришел к выводу, что синие сойки — первые говоруны во всем пернатом и животном царстве.

— Синюю сойку не сравнить ни с какой другой тварью, — говаривал он, — у нее куда больше настроений и всяких там, понимаете ли, переживаний, чем у других тварей; и уж если сойка что переживает, она вам великолепно обо всем доложит — и не каким-нибудь суконным, корявым языком: она как пойдет тараторить — ну прямо будто по книжке чешет, — так и сыплет, так и сыплет этими разными метафорами. А уж запас слов у нее — дай бог всякому! Никогда вы не увидите, чтобы сойка запнулась, не нашла нужного выражения. С сойкой этого вообще не бывает! Слова из нее так и прут! А главное, скажу я вам, немало повидал я на своем веку, но ни одна птица, ни одна корова не говорит так чисто и грамотно, как сойка. Вы, может, скажете, что кошки говорят чисто? Насчет кошек это верно, но дайте только кошке разволноваться — кошки как начнут друг у друга ночью на крыше клочьями шерсть выдирать, тут у них такая пойдет грамматика — от нее прямо челюсти сводит. Кто этих дел не знает, думает, что это его с ихнего визгу мутит, а это не с визгу, а с их грамматики. А чтобы у сойки хромала грамматика — я сроду не слышал, разве только изредка; и то, если ей случится ляпнуть что несуразное, — она уж так совестится, ну прямо как человек: сразу оборвет и улетит.

Вы, может, скажете, что сойка — птица? Ну что ж, в некотором смысле она, пожалуй, птица, тем более у нее и перья, и опять же и в церковь она не ходит; зато во всем остальном она такой же человек, как мы с вами. И я объясню вам — почему. У сойки такие же способности, инстинкты, такие же чувства и интересы, как у человека. У сойки нет ничего святого, как у любого конгрессмена. Сойка и соврет, сойка и украдет, сойка и обманет и продаст вас ни за грош; сойка четыре раза из пяти нарушит клятву. Сойке вы ни в жизнь не втолкуете, что есть такая штука, как священный долг. Опять же я скажу, сойка ругается похлеще любого джентльмена на приисках. Вы скажете, кошка ругается? Оно конечно, кошка ругается; но дайте сойке случай выложить все свои запасы — и куда там ваша кошка! Нет, уж вы мне, пожалуйста, про это не доказывайте, — я слишком разбираюсь в таких вещах. Опять же я скажу, по части ругани — ну самой обыкновенной, добротной, отборной ругани — сойка кого угодно переплюнет, будь то человек или сам господь бог. Да, сэр, сойка решительно ни в чем не уступит человеку. Сойка плачет, сойка смеется, сойка смущается, сойка рассуждает, строит планы и вступает в спор, сойка обожает сплетни и пересуды, сойка понимает шутку, — и она так же хорошо чувствует, что влипла и осталась в дураках, как любой из нас, а может и лучше. Если сойка не человек, так нам с вами не об чем разговаривать, вот и все! Сейчас я вам расскажу одну достоверную историю про соек.

Глава III

Рассказ Бейкера о синих сойках. — Язык соек. — Бревенчатый домик. — Попытка заполнить глазок в дощатой крыше. — Друзья призываются на помощь. — Великая загадка. — Открытие. — Удачная шутка.

Когда я только еще учился как следует понимать язык соек, произошел забавный случай. Семь лет назад последний обитатель этих мест, не считая меня,

убрался отсюда. Вон его домишко, он так и пустует с тех пор: простой бревенчатый сруб с дощатой крышей; одна большая комната, ни потолка, ни как есть ничего между стропилами и полом. Ну так вот, как-то в воскресенье утречком сию я перед своей хибарой, кот у меня на коленях, греюсь на солнышке, любуюсь на голубые горы, слушаю, как уныло шелестят листья на деревьях, и думаю про свою родину далеко в Штатах — что оттуда уже почитай тринадцать лет ничего не слышно, — как вдруг, гляжу, сойка села на крышу, держит в клюве желудь, а сама: «Здравствуйте, говорит, вот так сюрприз!» Как только она раскрыла рот, желудь, натурально, выпал и покатился вниз по крыше, а она — нуль внимания! — только и думает про свой сюрприз. А это был глазок в доске: сучок когда-то выпал, и осталась дырка. Сойка склонила головушку набок, закрыла один глаз, а другим припала к отверстию, — ну в точности опоссум, когда он заглядывает в кувшин. Потом подняла вверх блестящие глазки, разочка два взмахнула крылышками — это у них, понимаете ли, означает восторг, — да и говорит: «Вроде бы дырка, и расположение подходящее. Пес меня возьми, если это не самая настоящая дырка!»

Она наклонила головушку и заглянула в отверстие; потом вскинула глаза и глядит таково радостно, взмахнула уже и крылышками и хвостиком. «Нет, говорит, никакого обмана я не вижу! Ну, и повезло же мне! Знаменитая дырка!» Тут она спорхнула с крыши, достала свой желудь, взлетела с ним на крышу, бросила в дырку и только-только откинула головушку с этой блаженной улыбкой на лице, как вдруг на нее будто столбняк нашел — она так и замерла, прислушиваясь, и улыбка постепенно сползает с ее лица, как пар от дыханья с бритвы, а вместо улыбки — крайнее удивление.

«Что же я не слышала, как он упал?» — говорит сойка. Опять прилипла глазом к отверстию, смотрит долго-долго; потом подняла головушку, покачала, перешла на ту сторону дырки, посмотрела еще разок с другого боку, покачала опять головой. На минуту задумалась, а затем как следует взялась за дело: ходит и

ходит вокруг дырки, заглядывает в нее со всех направлений компасной стрелки — и все без толку. Тогда она присела поразмыслить на конек крыши; добрую минуту чесала лапкой в затылке и говорит: «Мне эту штуку не раскумекать, я вижу; уж очень, должно быть, глубокая дырка. Ну да некогда мне тут расслаживаться, надо дело делать; думаю, все будет в порядке, — во всяком случае рискну».

И опять она полетела за новым желудем; вернулась, бросила его в дырку и скорей-скорей смотреть, куда он денется, — но опоздала. С минуту не отрывалась от дырки, потом встала со вздохом: «Что за чертовщина, говорит, ничего я тут не пойму. Ну да ладно, попробую еще раз». Опять притащила желудь и прямо из себя выходит: старается подсмотреть, что с ним станет, — так нет же, какое там! «Ну, говорит, первый раз встречаю такую дырку; по-моему, это какая-то небывалая, новомодная дырка». И тут на нее нашло! Сперва она еще крепилась и только все бегала взад и вперед по коньку крыши, бормоча что-то под нос, но понемногу чувства у нее разыгрались, и она давай ругаться на чем свет стоит. Я еще не видел, чтобы птица так из себя выходила, а главное — совершенно попусту. Облегчив душу, она опять подходит к дырке, смотрит в нее с полминутки, а потом и говорит: «Ты, видать, длинная дырка, и глубокая дырка, и чертовски заковыристая дырка, но все равно: раз уж я взялась тебя заполнить, так черт меня побери, если я не добыюсь своего, хоть бы мне на это понадобилось сто лет!»

С тем она и улетела. Вы, верно, сроду не видели, чтобы птица так горы ворочала, как эта сойка. Она впряглась в работу, точно негр; и как она грузила желуди в дырку добрых два часа с половиной — это был, доложу вам, прямо цирк, ничего занятнее я еще не видывал. Сойка уже не давала себе времени заглянуть в дырку, а просто швыряла туда желудь за желудем — кинет и айда за другим. Наконец бедняжка совсем выбилась из сил и уже не могла пошевелить крыльями. Возвращается она вконец усталая, вся в поту, точно кувшин с ледяной водой, роняет желудь в дырку и го-

ворит: «Ну, теперь я тебя добила!» — и наклоняется посмотреть. Хотите верьте, хотите нет, в лице ни кровинки. «Я, говорит, натаскала в эту ненасытную прорву уймищу желудей — хватило бы на тридцать лет семью прокормить, но если я вижу хоть один из них, пусть меня сию же минуту ставят на полку в кунсткамере с полным пузом ошилок».

Только и хватило у нее сил подползти к коньку крыши и прислониться к трубе. Но вот она очухалась и давай выражать свои чувства для облегчения души. Тут я сразу понял: то, что называется сквернословием у нас на приисках, это только, так сказать, робкие начатки, детский лепет.

Мимо пролетала другая сойка, услышала, как наша акафисты читает, и остановилась узнать, в чем дело. Потерпевшая ей все рассказала. «А вон и дырка, говорит, не веришь, так сама погляди». Ну, кумушка поглядела, а потом и говорит: «Так сколько, говоришь, желудей ты туда натаскала?» — «Не меньше двух тонн», говорит страдальца. Вторая сойка опять пошла поглядеть в дырку. Видно, и ей это за диво показалось; она кликнула клич, и прилетели еще три сойки. Все они осмотрели дырку, все пожелали наново выслушать рассказ потерпевшей, а потом все принялись обсуждать его и высказали столько вздорных догадок, сколько их обычно высказывают люди, когда соберутся толпой.

Кликнули они других соек, потом еще и еще, пока не слетелся весь птичий околоток. Набралось их уже, пожалуй, с пять тысяч; и такой поднялся гомон, и спор, и галдеж, и брань, что и сказать невозможно. Каждой сойке давали приложиться глазом к дырке, и каждая выражала свое мнение, одно другого глупей. Мало того, сойки обследовали снаружи весь дом. Дверь стояла настежь, одна старенькая сойка присела на ручку и ненароком заглянула в помещение. Тут, конечно, все мигом раскрылось, загадки как не бывало: желуды валялись на полу, раскиданные по всей комнате. Тогда старушка захлопала крыльями и как начала вопить: «Сюда, кричит, сюда! Пусть меня повесят, если эта дуреха не вздумала набить желудями

целый дом!» Сойки, вспорхнув синим облаком, всей стаей ринулись вниз; и как только каждая из них, дождавшись своей очереди, садилась на дверь и заглядывала в комнату — вся нелепость задачи, какую поставила себе сойка, становилась ей ясна, и она падала навзничь, захлебываясь от смеха, а на ее место садилась другая сойка — и с ней происходило то же самое.

Короче сказать, сударь, целый час сойки сидели на крыше и на деревьях и, обсуждая происшествие, грохотали совсем как люди. Так что не вкручивайте мне, будто сойка не понимает шуток, это уж позвольте мне знать. Да и насчет памяти тоже. Те сойки потом каждое лето приглашали к себе соек со всех Соединенных Штатов, и так подряд три года. Да и других птиц тоже. И все они понимали, в чем тут соль, кроме одной совы, она летала из Новой Шотландии к Йосемитской долине и на обратном пути завернула к нам. Так вот сова сказала, что не видит во всем этом ничего смешного. Правда, она и в Йосемите сильно разочаровалась.

Глава IV

Студенческая жизнь. — Пять корпораций. — Пивной король. — Посещение лекций. — Огромные аудитории. — Сцены в Замковом парке. — Дамы-саморекламистки.

Летний семестр был в разгаре, и самую популярную фигуру в Гейдельберге и окрестностях являл собой, естественно, студент. Большинство студентов, конечно, немцы, но немало здесь и приезжих из других стран. Они стекаются в Гейдельберг отовсюду, потому что учение стоит здесь недорого, да и жизнь тоже. Англо-американский клуб, куда входят английские и американские студенты, насчитывает двадцать пять членов, и ему есть откуда черпать пополнение.

Девять десятых гейдельбергских студентов не носят ни формы, ни кокард; и только одна десятая

щеголяет в шапочках различных цветов и состоит в обществах, именуемых «корпорациями». Всех корпораций пять, и каждой присвоен свой цвет: различаются белые шапочки, синие шапочки, красные, желтые и зеленые. На пресловутых дуэлях дерутся только студенты-корпоранты. «Кнайпе»¹ тоже как будто монополия корпорантов. «Кнайпе» устраивается от случая к случаю — в ознаменование важного события, вроде выборов пивного короля. Это торжество празднуется очень просто: все пять корпораций собираются вечером и по сигналу приступают к питию из кружек вместимостью в целую пинту, причем пьют со всей возможной быстротой, и каждый кандидат ведет свой особый счет, обычно откладывая спичку после каждой выпитой кружки пива. Выборы происходят без проволок. Когда кандидаты нагрузятся до положения риз, проводится подсчет спичек, и тот, кто успел пропустить наибольшее число кружек, провозглашается королем. Мне рассказывали, что последний пивной король, обязанный этой честью своим избирателям, вернее — своим личным способностям, осушил кружку семьдесят пять раз. Такого количества не удержит, конечно, ни один желудок, но при желании всегда можно создать вакуум, как хорошо знают лица, плававшие по морю.

Вы в любое время встретите повсюду столько студентов, что у вас возникает вопрос: да есть ли у них установленные часы занятий? У одних они есть, у других — нет. Каждый сам решает, будет он учиться или развлекаться; университетская жизнь в Германии — это поистине привольная жизнь, она не знает принуждения. Студентов не селят в общежития, они живут где хотят, едят когда и где придется. Спать они ложатся когда вздумают, а то и вовсе не ложатся. Пребывание в университете не ограничено никаким сроком, и студенту разрешается переходить с факультета на факультет. Вступительных экзаменов нет никаких. Вы вносите пустячную плату — пять или десять долларов, и вам вручают студенческий билет, дающий все права и привилегии, — только и всего. Студент может

¹ Здесь: студенческая попойка.

приступить к занятиям или развлечениям — к чему больше лежит душа. Если он предпочитает занятия, к его услугам целый ряд курсов: выбирай, что нравится. Он выбирает и записывается на соответствующие курсы; но лекции может и не слушать.

В силу такой системы курсы, которые носят более специальный характер, зачастую привлекают лишь немногих слушателей, в то время как предметы, имеющие широкое практическое применение, собирают огромную аудиторию. Мне рассказали случай, когда лекции одного преподавателя изо дня в день посещали только три студента, всегда одни и те же. Но как-то двое не пришли. Лектор начал было обычным «милостивые государи», но запнулся, без улыбки на лице поправился на «государь» и как ни в чем не бывало приступил к изложению.

Говорят, преобладающее большинство гейдельбергских студентов учится с должным рвением и берет от занятий все, что можно; у них нет ни денег на транжирство, ни времени на проказы. Лекции следуют одна за другой, и студенты едва успевают перейти из аудитории в аудиторию; прилежных студентов это не смущает, они так и носят рысью. Уважая время своих слушателей, профессора точно, с боем часов, занимают места на своих кафедрах-конурках и так же быстро, отчитав свой час, уходят.

Я зашел в пустой зал незадолго до начала занятий. Здесь стояли простые некрашенные столы и скамьи человек на двести. За минуту до того, как пробить часам, сто пятьдесят студентов ввалились в аудиторию, ринулись к своим местам и сразу же раскрыли тетради и воткнули перья в чернильницы. Едва часы начали бить, вошел толстяк профессор, встреченный залпом хлопков, быстро прошагал по среднему проходу, на бегу произнес «Милостивые государи», а читать начал, поднимаясь по ступенькам кафедры; к тому времени, когда он поднялся и стал лицом к слушателям, лекция шла уже полным ходом и все перья скрипели по бумаге. У лектора не было при себе никаких заметок, он читал со стремительной скоростью и энергией положенный час, когда студенты всякими принятыми здесь

способами стали напоминать ему, что его время истекло; все еще договаривая, он взял свою шляпу, быстро спустился с кафедры и заключительные слова произнес, уже ступив на пол; студенты почтительно встали, а он ураганом пронесся по проходу и скрылся. Студенты ринулись занимать места в других аудиториях, и минуту спустя я был опять один на один с пустыми скамьями.

Да, спору нет, студенты-бездельники не являются здесь правилом. Из восьмисот студентов, проживающих в городе, я знал в лицо только человек пятьдесят, — зато этих я видел изо дня в день и встречал повсюду. Они с утра слонялись по улицам и по окрестным лесистым холмам, разъезжали на извозчиках, катались на лодках, а после обеда потягивали в парке пиво или кофе. На многих из них я видел цветные корпорантские шапочки. Одеты они хорошо и по моде и щеголяют безукоризненными манерами, — словом, все свидетельствует, что они ведут праздную, беспечную, рассеянную жизнь и ни в чем себе не отказывают. Если они сидят большой компанией и мимо проходит мужчина или женщина, знакомые кому-нибудь из них, и тот (или та) приветствует их, все как один вскакивают с мест и снимают шапочки. Точно так же приветствуют корпоранты своих братьев; зато членов других корпораций они полностью игнорируют, словно перед ними пустое место. Однако в этом нет намеренной неучтивости: так повелевает их суровый, тщательно разработанный устав.

В Германии вы не заметите холодной отчужденности между профессорами и студентами; в их радушном общении друг с другом и в помине нет обычной для нас ледяной сдержанности. Когда профессор вечером заходит в пивную, где сидит компания студентов, те встают, снимают шапочки и приглашают старика за свой столик. Он подсаживается к ним, не чинясь, и за кружкой пива возникает беседа, которая тянется и час, и два, пока слегка подвыпивший и ублаженный профессор не прощается, от души пожелав всем доброй ночи, в то время как студенты, стоя с непокрытой головой, отвешивают ему поклоны, после

чего он благополучно отчаливает домой, не растеряв ни крупички своего ученого багажа. И никто не шокирован и не возмущен, ибо ничего плохого не случилось.

По-видимому, по уставу требуется, чтобы корпорации заводили себе собак. Я имею в виду собак корпораций — общую собственность целого коллектива, как бывает официант корпорации или старший лакей; помимо того, у корпорантов имеются еще и другие собаки, представляющие собою частную собственность.

Как-то летом, прогуливаясь в городском саду, я увидел шестерых студентов; они торжественно шли вереницей, направляясь в глубь парка, и у каждого был в руке пестрый китайский зонт, и каждый вел на поводке огромную собаку. Это было величественное зрелище. Иной раз вокруг павильона вы видели столько же собак, сколько студентов; здесь были представлены все породы, все степени красоты и уродства. Собакам эти прогулки доставляли мало удовольствия; их привязывали к скамьям, и часа два у них не было иного развлечения, как замахиваться на комаров и безуспешно пытаться заснуть. Впрочем, иногда им перепадал кусок сахара, и они это ценили.

Что ж, студентам вполне пристало увлекаться собаками; однако здесь это общераспространенная страсть, здесь собак обожают старцы и юноши, старухи и хорошенькие девушки. А ведь трудно представить себе более неприятное зрелище, чем нарядная молодая девица, тянущая на поводке собаку. Говорят, это признак и символ обманутой любви. Но неужели же нельзя изобрести какое-нибудь другое средство рекламы, такое же броское, но менее оскорбляющее чувство приличия?

Было бы ошибочно думать, что у беспечного гуляки студента нет никакого ученого багажа. Напротив! Он девять лет корпел в гимназии при системе, которая не давала ему никакой свободы и принуждала работать, как колодника. Так что из гимназии он вышел с полным разносторонним образованием; самое большее, что может дать ему университет, — это усовер-

шенствование в избранной им специальности. Говорят, что, кончая здесь гимназию, молодой человек получает не только всестороннее образование, но и настоящие знания; эти знания не распливаются в тумане, они выжжены у него в мозгу навсегда. Так, он не только читает и пишет, но и говорит по-гречески, и по-латыни тоже. Юноши-иностранцы обходят гимназию стороной, ее режим для них слишком суров. Они стремятся в университет, чтобы возвести крышу и чердак над своим слишком общим образованием; у немецкого же студента есть уже и крыша и чердак, — ему остается лишь увенчать его шпилем в виде специальных познаний в той или иной отрасли правоведения, или медицины, или филологии, — как, например, международное право, глазные заболевания или, скажем, язык древних готтов. Таким образом, немец слушает лекции только по избранной им отрасли, а весь остальной день пьет пиво, прогуливает собаку и развлекается как может. Его так долго держали в суровом рабстве, что независимость университетской жизни это как раз то, что ему нужно, что ему нравится и что он ценит в полной мере; а так как эта беззаботная пора не может длиться вечно, то он и пользуется ею как желанной передышкой в ожидании дня, когда ему опять придется возложить на себя цепи рабства, поступив на казенную службу или занявшись частной практикой.

Глава V

Зал для студенческих поединков. — Дуэлянты. — Во избежание тяжелых ранений. — Первый поединок. — Затянувшийся бой. — Второй поединок. — Кровавая сеча. — Лекарь.

В интересах науки мой агент раздобыл для меня разрешение посетить зал, где устраиваются студенческие поединки. Мы переправились через мост, проехали несколько сот ярдов по набережной, свернули в узкий переулок, углубились в него еще на сотню ярдов

и остановились у двухэтажного общественного здания; снаружи оно было нам хорошо знакомо, так как его видно из окон нашей гостиницы. Мы поднялись наверх и вошли в просторное выбеленное помещение площадью пятьдесят на тридцать футов и примерно тридцать футов вышины. Здесь было много света. Пол ничем не застлан. В одном конце комнаты и у прилегающих стен — столики, за ними расположилось человек пятьдесят — семьдесят пять студентов.

Кто прихлебывал вино, кто играл в карты или шахматы; за некоторыми столиками оживленно разговаривали; курильщики сосали свои сигареты, — все ждали, когда начнется. Студенты почти все в разноцветных шапочках — белых, зеленых, синих, красных и ярко-желтых, так что налицо были все пять корпораций и чуть ли не в полном составе. В окнах, по свободной стене, стояли шесть — восемь шпаг с узкими клинками и большими эфесами, защищающими пальцы; другие шпаги оттачивал под окнами точильщик, и он, должно быть, знал свое дело: шпагой, побывавшей у него в руках, можно было бы побриться.

Мне бросилось в глаза, что студенты в шапочках неодинаковых цветов не раскланиваются и не заговаривают друг с другом. Впрочем, это означало не столько открытую вражду, сколько вооруженный нейтралитет. Считалось, что человек будет с большим рвением и меньшей оглядкой разить противника, если до того он не поддерживал с ним дружеских отношений; поэтому никакое товарищество между членами различных корпораций не разрешено. Главари всех пяти корпораций время от времени встречаются для чисто официальных переговоров, и этим ограничиваются все сношения. Так, например, когда подходит день той или другой корпорации, — каждой из них по очереди предоставляется право вызова на дуэль, — председатель выкликает из своей паствы охотников сразиться, и трое или четверо являются на зов, — требуется не меньше трех; председатель сообщает их имена другим председателям, с просьбой выставить для них противников из числа своих корпорантов. Таковые без труда находятся. В описываемый мною день хозяевами зала были крас-

ные шапочки. Это они бросили вызов, и несколько шапочек других цветов вызов приняли. Дуэли происходят в описываемом мною зале, — как правило, два раза в неделю, в течение семи-восьми месяцев в году. Обычай этот существует в Германии двести пятьдесят лет.

Но вернусь к моему рассказу. К нам вышел студент в белой шапочке, представил нас своим друзьям — тоже белым шапочкам; и пока мы стояли и беседовали, из соседней комнаты в зал ввели две странных фигуры. То были дуэлянты в полном боевом снаряжении. Оба с непокрытой головой, глаза защищены выступающими вперед дюйма на два защитными железными очками, от которых отходят ремешки, плотно прижимающие уши к черепу; шея обмотана в несколько слоев плотным шарфом, который не перерубить и шпаге; весь корпус от подбородка до икр, во избежание ранений, обернут в плотную упаковку; руки сплошь забинтованы и кажутся неуклюжими обрубками. Эти жуткие видения всего пятнадцать минут назад были красивыми молодцами, одетыми по моде, но сейчас они будто вышли из кошмарного сна. Они шагали, деревянно переставляя ноги, руки-обрубки, казалось, торчали из груди. Поднять эти руки можно было только с великим трудом, да и то при помощи прикомандированных к бойцам товарищей.

Все бросились в свободный конец комнаты, мы тоже не зевали и заняли хорошие места. Противников поставили лицом к лицу, каждому были приданы для услуг несколько товарищей из его корпорации; два секунданта, тоже плотно упакованные, оба со шпагой в руке, стали поблизости; студент, не принадлежащий ни к одной из дерущихся сторон, занял судейское место; другой студент, вооружась часами и записной книжкой, приготовился отмечать время, а также число и характер нанесенных ран; был тут и седовласый лекарь с копией, бинтами и инструментами. Выждав с минуту, дуэлянты почтительно приветствовали судью; вслед за ними и другие официальные лица вышли вперед и, лихо сняв шапочки, также поклонились судье,

после чего все возвратились на свои места. Итак, с приготовлениями было покончено; зрители столпились впереди; кое-кто позади взгромоздился на столы и стулья. Все лица были обращены к готовящемуся зрелищу.

Противники настороженно следили друг за другом; вокруг царила бездыханная тишина, внимание было напряжено до крайности. Я ожидал увидеть осторожные манипуляции, но ошибся. Как только прозвучал сигнал, оба чудища сделали прыжок вперед, и каждый обрушил на противника удары с такой молниеносной быстротой, что я не мог определить — вижу ли я самые шпаги или только вычерченный ими в воздухе сверкающий след. Лязг и скрежет стали то по металлу, то по плотной упаковке удивительно наэлектризовывали публику, удары наносились с такой сокрушительной силой, что я только дивился, как противники еще не выбили друг у друга клинок из рук, но тут среди сверкающих зигзагов я увидел взлетевшую в воздух прядь волос: казалось, она свободно лежала на голове студента и ветром ее сдуло прочь.

Секунданты скомандовали «Halt!»¹ — и ударами своих шпаг снизу развели клинки в стороны. Дуэлянтов усадили; один из студентов-распорядителей подошел к пострадавшему, осмотрел его голову и раза два провел по ней губкой; лекарь приподнял волосы, скрывавшие рану, и, обнажив багровый рубец в два-три дюйма длиной, привязал к нему кожаную нащепку с корпией; подошел счетчик и внес в свою книжку «один» в пользу противника.

Дуэлянты снова заняли свои места; небольшая струйка крови все еще лилась с головы пострадавшего, стекая на пол, но он, казалось, не замечал ее. По данному сигналу противники с неубывающим пылом ринулись друг на друга; снова градом посыпались удары, засверкала в воздухе сталь; поминутно зоркие секунданты замечали, что одна из шпаг согнулась, командовали «Halt!», разводили скрещенные клинки, и ассистирующий студент распрямлял ее.

¹ Стой! (нем.)

Диковинная свистопляска не прекращалась ни на секунду. Но вот на одном из лезвий вспыхнула яркая искра — клинок разлетелся на куски, и один осколок с размаху ударился в потолок. Принесли другую шпагу, и бой продолжался. Сил расходовалось много, и противники заметно устали. Теперь им нет-нет устраивали маленькую передышку, не говоря уже о тех передышках, какие давали им нанесенные ранения: пока лекарь орудовал корпией и бинтами, бойцам можно было посидеть. Схватка, по уставу, длится пятнадцать минут — если противники в силах столько выдержать; но так как паузы в счет не идут, то этот поединок, по моему подсчету, растянулся минут на двадцать — тридцать. Наконец кто-то спохватился, что противники слишком измучены, чтобы продолжать баталию. Обоих увели, с головы до ног залитых кровью. В общем, встреча была отменная, и все же в счет она не шла — отчасти потому, что дуэлянты не выдержали установленных пятнадцати минут (чистой драки), отчасти же потому, что ни одного из них полученные раны не вывели из строя. Это была битва вничью, а при таком исходе устав требует повторной битвы, как только у противников заживут раны.

Во время этой драки мне пришлось обменяться несколькими словами с юным джентльменом из корпорации белых шапочек; между прочим, он сообщил мне, что следующий выход — его, и показал мне своего противника, такого же юного джентльмена; тот стоял, прислонясь к противоположной стене, курил и невозмутимо следил за поединком.

Знакомство с одним из участников предстоящей встречи придало ей в моих глазах новый, личный интерес. Мне, естественно, хотелось, чтобы победил мой знакомец, и я огорчился, когда услышал, что это маловероятно, так как хоть он и отменный рубака, а все же противник считается сильнее.

Новая схватка началась так же яростно, как и предыдущая. Я стоял рядом и все же не мог определить, какие удары попадают в цель, а какие мимо, — все они представлялись мне только мгновенно гаснущими вспышками света. Похоже, что каждый удар попадает в

цель; шпаги непрестанно свистели над головами, казалось рассекая их от лба до макушки, но это была только видимость: незримое лезвие бдительного противника неизменно отражало удар. Прошло всего десять секунд, оба партнера успели уже нанести друг другу от двенадцати до пятнадцати ударов и отразить столько же, а между тем никто еще не пострадал; но тут сломалась одна шпага, и бойцы отдыхали, пока не принесли новую. В начале второго раунда студент в белой шапочке получил тяжелую рану в голову и нанес такую же партнеру. В третьем раунде последний получил второе ранение в голову и рассек партнеру нижнюю губу. После этого студент-белошапочник нанес противнику много серьезных ранений, а сам отделался царапинами. По истечении пяти минут от начала дуэли лекарь вынужден был прекратить ее: студент, вызвавший моего знакомого, получил такие жестокие раны, что прибавлять к ним новые было уже небезопасно. Раны эти представляли ужасающее зрелище... но не будем вдаваться в подробности. Так, вопреки ожиданиям, одержал победу мой знакомец.

Глава VI

Третий поединок. — Ужасное зрелище. — Обед в антракте. — Последняя встреча. — Ранения в лицо и голову. — Необычайная выдержка у дуэлянтов. — Как мир смотрит на дуэли.

Третий поединок был короткий и кровопролитный. Лекарь прекратил его, увидев, что один из противников тяжело ранен и что дальнейшая потеря крови может стоить ему жизни.

Страшное зрелище представлял четвертый поединок, — уже на пятой или шестой минуте снова вмешался лекарь: пострадавший получил столько увечий, что награждать его новыми было рискованно. Я следил за этой стычкой, как и за предыдущими, со все возрастающим интересом и волнением, ежась и содрогаясь при каждом ударе, рассекавшем человеку щеку или

лоб; при виде особенно ужасных ран я чувствовал, как кровь отливает от моих щек. Мне как раз случилось посмотреть на побежденного в ту минуту, когда ему была нанесена последняя, решающая рана, — шпага мазнула его по лицу и начисто снесла... лучше не уточнять что. Я глянул краем глаза и поспешно отвел взгляд, а знай я наперед, что увижу, я и вовсе не стал бы смотреть. Впрочем, может быть, это и не так: нам часто кажется, что мы не стали бы смотреть, когда бы знали наперед, что увидим, но интерес и возбуждение слишком сильны, и они перевешивают другие чувства, — под звон и гул сшибающейся стали зрителем овладевает жестокий азарт, и он уже сам в себе не волен. Среди публики иные теряют сознание, — и это, пожалуй, лучшее, что они могут сделать.

В этом, четвертом, поединке серьезно пострадала оба бойца. Чуть не час пришлось лекарю с ними возиться, а это уже само за себя говорит. Но собравшиеся в зале студенты не стали терять время и с толком использовали непредвиденный антракт. К хозяйню гостиницы, в первый этаж, посыпались заказы на горячие бифштексы, на цыплят и прочие деликатесы, и все это подалось за многочисленными столиками под неумолчный смех, гомон и споры. Дверь в приемный покой стояла настежь, лекарь на глазах у всех резал, сшивал, клеивал и бинтовал, но никому это зрелище не портило аппетита. Я заглянул туда и некоторое время без особого удовольствия наблюдал за работой хирурга: куда легче видеть, как раны наносят, чем как их исцеляют; здесь нет той суматохи, того ажиотажа, той музыки стали — жестокое зрелище леденит вам сердце без того живительного трепета, который охватывает зрителя при поединке, за многое его вознаграждая.

Наконец лекарь кончил трудиться, и на сцену вышла пара, которая сегодня дралась последней. Много обедов было еще не почато, — не важно, их съедят холодными, по окончании стычки, а пока что все ринулись вперед — смотреть. Это была не полюбовная дуэль — нет, речь шла о «сатисфакции». Два студента повздорили между собой и решали спор ору-

жем. На сей раз противники были самыми обыкновенными студиязусами, но их, в порядке одолжения, выручили корпорации, дали им помещение, оружие и прочее снаряжение. Видно было, что эти молодые люди незнакомы со здешним церемониалом. Не успели их поставить в позицию, как они решили, что пора начинать, — и начали с сокрушительной энергией, не дожидаясь сигнала. Это крайне позабавило зрителей и сломало их напускную чопорность, многие даже засмеялись. Разумеется, секунданты развели клинки, и пришлось начинать поединок сызнова. По данному сигналу обрушилась лавина ударов, но вскоре опять вмешался лекарь — все по той же единственной причине, по которой допускается такое вмешательство, — и на сегодня военная игра была кончена. Часы показывали два пополудни, я просидел здесь с половины десятого. К этому времени поле брани и в самом деле было залито кровью, но две-три горсти опилок поправили дело. До моего прихода имела место еще одна встреча, на которой одному из противников сильно не повезло, зато другой ушел без единой царапины.

Я видел с десятков юнцов, чьи головы и лица были рассечены двуострым клинком во всех направлениях, но не видел, чтобы кто-либо поморщился от боли, не слышал ни единого стога, не приметил хотя бы мгновенной гримасы, выдающей боль, которую несомненно причиняли эти увечья. Да, для этого нужна незаурядная сила воли. Таковую выносливость мы предполагаем у дикарей или профессиональных боксеров, но ведь они на то и рождены или соответственно воспитаны; встретить же подобную черту, да еще в той же степени, у добродушных, в сущности, юнцов, получивших нежное воспитание, было для меня немалым сюрпризом. И такую силу воли они проявляют не только в пылу драки, — она не изменяет им и в перевязочной, где царит угнетающая тишина и нет зрителей. Никакие манипуляции лекаря не вызывали у них ни гримасы, ни стога. Да и во время схваток вы видели, что эти юноши, уже покрытые кровоточащими ранами, рубили и крошили не менее рьяно, чем в начале драки.

На студенческие дуэли мир обычно смотрит как на

чистый фарс; отчасти это верно, но если принять в расчет, что на студенческих дуэлях дерутся мальчишки, что шпаги у них настоящие, что голова и лицо у них открыты, — мне кажется, следует признать, что в этом фарсе есть и доля серьезного. Люди смеются главным образом потому, что, по их представлению, студент закован в броню и защищен от серьезных повреждений. На самом деле это не так: защищены глаза и уши, в остальном же голова и лицо открыты. Дуэлянт не только рискует получить тяжелое ранение — самая жизнь его в опасности; нередко его спасает только своевременное вмешательство врача. Предполагается, что жизнь дуэлянта не должна подвергаться опасности. Однако несчастные случаи не исключены. Например, когда у студента ломается шпага, кончик ее может попасть противнику за ухо и перерезать артерию. Такие случаи бывали, и они приводили к мгновенной смерти. В прежние времена у студента не были защищены подмышки и шпаги были тогда остроконечные, не то что сейчас; не раз случалось, что шпага перерезала артерию под мышкой и жертва истекала кровью. Такая шпага представляла опасность и для публики: острое сломанного клинка, отлетев на пять-шесть футов, могло вонзиться кому-нибудь из зрителей в шею или в сердце и причинить немедленную смерть. В настоящее время студенческие дуэли в Германии приводят к двум-трем смертям в год, да и то лишь в результате беспечности самих пострадавших: иные невоздержанны в пище или питье или позволяют себе слишком переутомляться, а в результате начинается воспалительный процесс в такой острой форме, что его уже нельзя остановить. Короче говоря, студенческие поединки сопряжены с такими опасностями и стоят таких страданий и крови, что следует к ним отнестись с известным почтением.

Обычай, традиции и законы, связанные со студенческими дуэлями, наивны и забавны. Торжественный, изысканный и точный церемониал придает дуэлям нечто старозаветное. Эта напыщенная важность, эти рыцарские манеры напоминают скорее о турнирах, чем о боксерских матчах. Законы, которым подчинены дуэли,

столь же курьезны, сколь и суровы. Например, дуэлянту не возбраняется зайти вперед за черту, на которую его ставят; но боже его сохрани отойти назад! Если он отступит назад или даже только откинет корпус, его обвинят в том, что он либо пытался уклониться от удара, либо искал других каких-то преимуществ. И его с позором изгоняют из корпорации. Но ведь человеку естественно отпрянуть, когда на него падает клинок, это может случиться и ненамеренно, помимо воли и сознания. Не важно, — и за невольную слабость взыскивается по всей строгости устава. Опять же: при внезапном тяжелом ранении человек не должен выдать своих страданий даже легкой гримасой, ибо это уронит его в глазах товарищей; они станут его стыдиться и назовут «заячьей ногой» — немецкий эквивалент нашей «цыплячьей души».

Глава VII

Корпоративные законы и обычаи. — Раны, которыми гордятся. — Шрамы и рубцы на лице. — Бисмарк — дуэлянт. — Поучительные цифры. — Уроки фехтования. — Цвета корпораций. — Устав.

У корпораций наряду с уставными законами силу закона приобрели и некоторые обычаи.

Так, председатель корпорации может заметить, что один из его студентов, не новичок, а проучившийся уже какое-то время на втором курсе, еще ни разу не изъявил желания сразиться; тогда, вместо того чтобы вызывать охотника, председатель может сам предложить такому второкурснику помериться силами со студентом другой корпорации; второкурсник вправе отказаться, — всякий вам это скажет, — тут нет принуждения. Так-то оно так, но я не слыхал о случае, когда бы студент позволил себе отказаться. Проще совсем уйти из корпорации; отказаться же и не уйти, значит поставить себя в двусмысленное положение; да оно и естественно: ведь студент, вступая в корпорацию, прекрасно знал, что его первой обязанностью будет драться

ся на дуэли. Нет закона, который карал бы уклоняющегося, но есть узаконенный обычай, а он, как известно, везде и всюду сильнее писанного закона.

Те десять человек, чьи поединки прошли у меня на глазах, не поспешили домой, против моего ожидания, как только им перевязали раны; все они один за другим прямо от врача вернулись в зал и смешались с публикой. Студент в белой шапочке, победивший во второй встрече, присутствовал при трех остальных и беседовал с нами в перерывах. Это давалось ему нелегко, противник рассек ему нижнюю губу, а лекарь затем сшил, да еще залепил ее сплошь полосками пластыря; не менее трудно было ему есть, и все же он кое-как ухитрился, пока шли приготовления к последнему бою, управиться с долгим и мучительным завтраком. Дуэлянт, которому особенно досталось, в ожидании этой же встречи сел играть в шахматы. Добрая половина его лица была закрыта бинтами и пластырями, а что до головы, то за бинтами и пластырями ее и вовсе не было видно. Говорят, студенты охотно щеголяют на улице и в общественных местах в таком живописном убранстве и что то же тщеславие нередко заставляет их мокнуть под дождем и жариться на солнце, хоть это не способствует их скорому выздоровлению. Свежезабинтованный студент — самое обычное зрелище в гейдельбергском городском саду. Говорят также, что в особенном фаворе у молодежи лицевые раны, — ведь рубцы на лице будут более заметны; их счастливые обладатели якобы не дают им затянуться и дажевливают в них красное вино, чтобы они подольше не заживали и чтобы рубцы были возможно уродливее. Нормальному человеку этого не уразуметь, и тем не менее все утверждают это в один голос. Одно могу сказать с уверенностью: молодых людей с шрамами встречаешь в Германии на каждом шагу, и вид у них, надо прямо сказать, зверский. Свиные багровые полосы рассекают лицо вдоль и поперек, и это уже на всю жизнь — их не смоешь и не износишь. Некоторые из них производят странное и зловещее впечатление; особенно они эффектны на фоне сетки менее кричащих шрамов:

перед вами как бы карта города, на которой более яркими пятнами отмечены «места, пострадавшие от пожара».

Мы не раз замечали, что многие студенты щеголяют в шелковой перевязи или ленте через грудь. Такая лента означает, что ее обладатель дрался по меньшей мере на трех завершенных дуэлях — таких, в которых либо он кого-то побил, либо его побили; поединки, закончившиеся вничью, в счет не идут¹. Получив свою ленту, студент может считать себя свободным от дуэльной повинности; он может без ущерба для чести воздерживаться от новых поединков, разве только кто-нибудь нанесет ему оскорбление; председатель не вправе назначать его; он может сам вызваться — или не вызваться, смотря по желанию. Однако цифры показывают, что такие студенты отнюдь не склонны уходить на покой. Их, по-видимому, влечет к дуэлям неодолимая сила; им бы почить на лаврах, а они рвутся в бой. Один знакомый корпорант рассказывал мне, что, по официальным данным, князь Бисмарк в бытность свою студентом за одно только лето дрался тридцать два раза, а это значит, что по меньшей мере в двадцати девяти поединках он участвовал по своей охоте, хотя имел уже полное право уйти на покой.

Вообще цифры могут сообщить много интересного. Поединкам отводятся два дня в неделю. Есть твердое правило, что в каждый из этих дней должно состояться не менее трех встреч. Обычно их бывает больше, меньше не бывает. В тот день, когда я присутствовал, было шесть встреч, а случается и семь и восемь. Полагают, что восемь поединков в неделю — то есть по четыре в

¹ Из моего «Дневника»: «Обедал в гостинице, выше по течению Неккара, в зале, сплошь увешанном групповыми снимками всех пяти корпораций; были среди них и свежие, но главным образом — дагерротипы, восходящие к тем временам, когда о фотографии еще не слышали; некоторые из них помечены датами сорока-пятидесятилетней давности. Почти у каждого из участников — лента через грудь; на одном из таких снимков, где представлены (как, впрочем, и на остальных) все члены корпорации, я дал себе труд сосчитать ленты: из 27 человек 21 украшен этим знаменательным отличием», — М. Т.

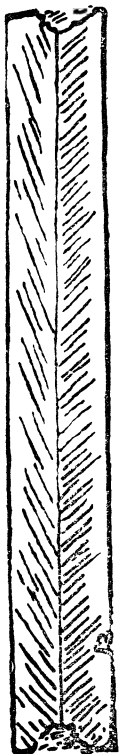
каждый дуэльный день — слишком низкое среднее число; но я буду исходить из него: лучше занижить цифру, чем взять слишком высокую. Но и при таком расчете потребуется четыреста восемьдесят — пятьсот бойцов ежегодно, так как летний семестр длится три с половиной, а зимний четыре месяца, даже четыре с небольшим. Из семисот пятидесяти гейдельбергских студентов в пяти корпорациях числилось в то лето только восемьдесят человек, а ведь на дуэлях дерутся одни корпоранты; бывает, правда, что и другие студенты пользуются помещением и оружием корпораций для сведения личных счетов, но это случается не каждый дуэльный день¹. Следовательно, восемьдесят молодых людей поставляют бойцов для двухсот пятидесяти дуэлей в год. Это значит, что в среднем на каждого приходится шесть поединков. Ясно, что корпорации не справились бы с такой программой, если бы обладатели лент пользовались своим правом и не дрались бы добровольно.

Разумеется, там, где поединки в таком ходу, студенты стараются побольше практиковаться в фехтовании. Часто видишь, как они, сидя за столиками в Замковом парке, играют хлыстом или тростью, показывая какой-нибудь новый прием, о котором им довелось слышать; да и в тот памятный день, историю которого я взялся написать, оружие не бездействовало во время перерывов. То и дело у нас в ушах раздавался характерный свист шпаги, рассекающей воздух, из чего мы заключали, что кто-то из студентов практикуется. В результате такого внимания в этому искусству, появляются фехтовальщики-мастера. Такой фехтовальщик становится знаменитостью в своем университете, а потом слава его доходит и до других университетов. Его приглашают в Геттинген сразиться с тамошней знаменитостью; если он победит, ему обеспечены приглашения и в другие университеты, или же,

¹ Вольным студентам приходится занимать оружие — иначе его не достанешь. Насколько мне известно, власти во всей Германии дозволяют пяти корпорациям иметь у себя шпаги, но запрещают пускать их в ход. Закон строг — другое дело, как он выполняется. — М. Т.

наоборот, другие университеты шлют своих знаменитостей потягаться с ним. Американцы и англичане тоже иногда вступают в ту или другую из пяти корпораций. Года два назад первым гейдельбергским мастером считался рослый кентуккиец — его приглашали наперебой во все университеты, и он пронес по всей Германии знамя своих побед, пока его не одолел какой-то коротышка страсбуржец. А до него в Гейдельберге славился студент, который либо сам изобрел, либо где-то перенял особый прием рубки — не сверху вниз, а снизу вверх. Пока он один владел секретом, ему удалось шестнадцать раз кряду одержать победу в своем университете; но вскоре наблюдатели проникли в его тайну, и тогда чары распались и его первенству пришел конец.

Строго соблюдается правило, воспреещающее членам различных корпораций поддерживать взаимные отношения. В зале поединков, в парке, на улице — всюду и везде, где бывают студенты, группами собираются шапочки только одинаковых цветов. Если в общественном саду заняты все столы, кроме одного, и если за этим столом сидят две красные шапочки, то, будь за ним хоть десяток свободных мест, ни одна желтая, синяя, белая или зеленая шапочка к нему не подсядет, — они пройдут мимо, словно и не замечают свободный стол, словно и не подозревают о его существовании. Студент, любезно устроивший нам доступ на дуэль, носил белую шапочку, иначе говоря — состоял в Прусской корпорации. Он познакомил нас со многими белыми шапочками, — но только с ними. Хоть мы иностранцы, но и нам пришлось подчиниться правилам устава: пока мы считались гостями белых шапочек, нам полагалось сходиться и беседовать только с ними и держаться подальше от цветных. Как-то мне вздумалось поближе взглянуть на шпаги, но один студент американец предостерег нас: «Не стоит, это будет бестактно, — сказал он, — все шпаги в витринах — с синими и красными эфесами; погодите, принесут несколько штук с белыми, и мы вам их покажем». Когда в первом из виденных мной поединков сломалась шпага, мне захотелось взять себе кусок на память, —



Обломок
шпаги

но опять эфес оказался не того цвета, и мои знакомые присоветовали мне подождать другого случая, так будет учтивей и приличней. Правда, когда помещение очистилось, мне принесли обломок, и я даже обведу его пером, чтобы дать вам представление о ширине клинка. Длина шпаги три фута, и она достаточно тяжелая. Не раз во время поединка или в конце его нам хотелось выразить свое одобрение каким-нибудь восклицанием, но подобные проявления чувств тоже воспрещены уставом. Как бы ни была блестяща встреча или победа, зритель должен оставаться безучастен. Здесь во всем царит сдержанный, чопорный тон.

Когда программа была исчерпана и мы собрались уходить, джентльмены из Прусской корпорации, коим мы были представлены, сняли шапочки на учтивый немецкий манер и пожали нам руки; их собратья тоже сняли шапочки и поклонились нам, но от рукопожатий воздержались; джентльмены же из прочих корпораций вели себя с нами так же, как со студентами-белошапочниками: они расступились, как будто невзначай оставляя свободный проход, но ничем не показали, что видят нас или догадываются о нашем присутствии. Впрочем, если бы мы на следующей неделе вернулись сюда гостями другой корпорации, белые шапочки, отнюдь не желая нас обидеть, а только соблюдая свой устав, точно так же не заметили бы нас¹.

¹ Как странно переплетены в жизни трагедия и комедия! Я и получаса не просидел в номере, вернувшись к себе с этих потешных поединков, как волею судеб вынужден был лично принять участие в настоящем — в дуэли без всяких бабьих послаблений из страха перед возможными последствиями, в бое не на жизнь, а на смерть! В следующей главе читатель увидит, что дуэль между мальчиками — потехи ради, и дуэль между зрелыми мужами, дерущимися всерьез, — это совершенно разные вещи. — М. Т.

Прославленная французская дуэль. — Столкновение во французском парламенте. — Мосье Гамбетта сохраняет спокойствие. — Я напрашиваюсь в секунданты. — Вызов принят. — Поединок и его последствия.

Некоторые остряки рады посмеяться над нынешней французской дуэлью, а ведь она принадлежит к самым смертоносным институтам современности: поскольку встреча противников происходит всегда на открытом воздухе, им недолго простудиться. Мосье Поль де Кассаньяк, травленный французский дуэлянт, так часто простужался, что сейчас он признанный инвалид; все лучшие врачи Парижа в один голос предупреждают, что если он еще лет пятнадцать — двадцать будет так рисковать, — иначе говоря, если он не перенесет свои дуэли в уютное помещение, где не будет сырости и сквозняков, — то они не отвечают за его здоровье. Это должно протрезвить тех упрямцев, которые берутся утверждать, что французская дуэль полезнейший вид отдыха, поскольку она происходит на открытом воздухе; так что поменьше бы болтали, будто французские дуэлянты, как и ненавистные социалистам монархи, — единственные люди на земле, могущие рассчитывать на бессмертие.

Но ближе к делу! Едва я услышал о последнем бурном столкновении во французском парламенте между мосье Гамбеттой и мосье Фурту, как сразу же решил, что поединок неизбежен. Я решил это потому, что мне слишком хорошо знакома неукротимая горячность мосье Гамбетты, с которым нас связывает долголетняя дружба. Я прекрасно понимал, что при всей необъятности своих размеров, он сейчас до краев налит жаждой мести.

Не дожидаясь его прихода, я отправился к нему сам. Как я и ждал, я нашел этого мужественного человека погруженным в невозмутимое спокойствие француза. Я говорю: спокойствие француза, потому что спокойствие француза и спокойствие англичанина — совершенно разные вещи. Он энергично расхаживал взад и

вперед между разбросанными по всей комнате debris¹ своей мебели, то и дело поддевая носком и отшвыривая в угол какой-нибудь попавшийся ему под ногу обломок стула, цедил сквозь зубы нескончаемые проклятия и поминутно останавливался, чтобы положить новую пригоршню волос на уже образовавшуюся на столе изрядную кучу.

Когда я вошел, он обнял меня за шею, притянул к груди через округлость своего живота, расцеловал в обе щеки, стиснул пять-шесть раз в мощных объятиях и наконец усадил в свое собственное кресло. Как только я очувствовался, мы, не теряя времени, приступили к делу.

Я высказал догадку, что он собирается позвать меня в секунданты, на что он ответил: «Ну, еще бы!» Я предупредил его, что хотел бы скрыться под французской фамилией, дабы в случае смертельного исхода на меня не ополчились мои соотечественники. Он поморщился, должно быть задетый тем, что в Америке все еще косо смотрят на дуэли. Однако мое условие принял. Вот почему во всех газетных отчетах секундантом мосье Гамбетты назван француз.

Прежде всего мы написали с ним его духовную. То было мое предложение, и я настоял на нем. Я объяснил мосье Гамбетте, что не знаю случая, чтобы здравомыслящий человек, собираясь драться на дуэли, не позаботился сначала о своем завещании. Он уверял меня, что не знает случая, чтобы человек, если он в здравом уме, стал делать что-либо подобное. Написав все же духовную, он занялся своим «последним словом». Он пожелал знать, как мне нравится в качестве предсмертного восклицания следующая фраза:

«Я умираю за моего творца, за мою отчизну, за свободу слова, за прогресс и за всеобщее братство людей!»

Я находил, что такая сентенция потребовала бы чересчур медленного угасания; она уместна на одре чахоточного, но вряд ли подойдет на поле чести. Мы перебрали с ним немало предсмертных восклицаний; в конце концов я заставил его ужать свое последнее

¹ Обломками (франц.).

слово до простейшей формулы, и он даже записал ее в блокнот, чтобы выучить на досуге:

«Я умираю за то, чтобы Франция жила!»

Я находил в этом замечании мало смысла, но он сказал, что никто не станет искать смысла в словах умирающего; тут важно одно: произвести впечатление.

Далее встал вопрос о выборе оружия. Но мой патрон сказал, что неважно себя чувствует, что он и это и все остальные условия дуэли оставляет на мое усмотрение. Итак, я написал нижеследующую записку и отнес ее другу мосье Фурту:

«Милостивый государь! Мосье Гамбетта принимает ваш вызов и уполномочил меня назначить местом встречи Плесси-Пике; время — завтра на рассвете; оружие — топоры.

Остаюсь, милостивый государь, с совершенным уважением, ван

Марк Твен».

Друг мосье Фурту прочел записку и вздрогнул. Потом повернулся ко мне и сказал по возможности строгим голосом:

— А подумали вы, милостивый государь, о том, к чему приведет такая встреча?

— К чему же, например, скажите!

— К кровопролитию!

— Что ж, на то похоже! Ну а вы, осмелюсь спросить, что предлагаете проливать?

Мой ответ сразил его. Он увидел, что сморозил глупость, и, желая поправиться, сказал, что пошутил. Потом добавил, что они с его патроном приветствовали бы топоры, но что этот род оружия воспрещен французским кодексом. Он ждет от меня другого предложения.

Я прошелся по комнате, чтобы как следует поразмыслить, но тут мне пришло в голову, что пушки системы Гатлинг при дистанции в пятнадцать шагов тоже вполне пригодны на суде чести. Эту мысль я не замедлил облечь в форму предложения.

Но и оно не имело успеха: опять помешал кодекс. Я предложил винтовки, дуствольные дробовики, наконец морские револьверы Кольта. Все это было отвергнуто. И после некоторого размышления я позволил себе съязвить, предложив драться на кирпичинах при дистанции в три четверти мили. Но что толку шутить с человеком, не понимающим шуток: представьте мое возмущение, когда этот субъект с самым серьезным видом отправился докладывать своему патрону о моем последнем предложении!

Вскоре он вернулся и сообщил мне, что его патрон в восторге от кирпичин при дистанции в три четверти мили, но что есть серьезные возражения, ввиду опасности для проходящих мимо посторонних лиц.

— Ну, — сказал я тогда, — на вас не угодишь. Может, *вам* угодно выбрать вид оружия? Может, вы с самого начала имели что-то в виду?

Он просиял и с готовностью ответил:

— Ну разумеется, мосье!

И тут же стал выворачивать свои карманы, — у него их оказалось более чем достаточно, — все время бормоча себе под нос: «Куда же они запропастились?»

Наконец он нашел, что искал. Он выудил из жилетного кармашка две какие-то штучки; только поднеся их к окну, я увидел, что это миниатюрные пистолетики. Одноствольные, в серебряной оправе, они скорее напоминали изящную игрушку. Я так расстроился, что не мог сказать ни слова; молча нацепил я одну из штучек на свою часовую цепочку и возвратил ему другую. Тогда мой сообщник развернул обыкновенную почтовую марку, в которую были завернуты крошечные пульки, и протянул мне одну. Я спросил: означает ли это, что противники обмениваются только одним выстрелом? Он объяснил мне, что иначе и быть не может, ибо так велит французский кодекс. Тогда я предложил ему назначить и дистанцию, так как мой разум путается и слабеет от таких испытаний. Он предложил шестьдесят пять ярдов. Но тут мое терпение лопнуло.

— Шестьдесят пять ярдов при таком оружии? — воскликнул я. — Да водяные пистолеты причинили бы

больше вреда при дистанции в пятьдесят ярдов. Очнитесь, приятель, нас с вами призвали уничтожать жизнь, а не утверждать бессмертие!

Несмотря на все мои доводы и уверения, он согласился сократить дистанцию до тридцати пяти ярдов, но даже и на эту уступку отважился очень неохотно и сказал, подавляя вздох:

— Как хотите, а я умываю руки в этом смертоубийстве; пусть оно падет на вашу голову.

Мне ничего не осталось, как вернуться к моему неустрашимому другу и рассказать ему об унижительном торге. Когда я вошел, мосье Гамбетта возлагал на алтарь свой последний локон. Он бросился ко мне с восклицанием:

— Итак, роковой договор заключен. Я вижу по вашим глазам,

— Да, — сказал я, — заключен.

Он слегка побледнел и прислонился к столу. Минуты две он тяжело дышал от возбуждения и наконец прохрипел:

— Оружие, оружие! Говорите, какое оружие?

— Вот это, — сказал я и повертел перед ним штучку, оправленную в серебро. Он только раз взглянул — и без сознания грохнулся на пол.

Очнувшись, он с сокрушением молвил:

— Вот как вынужденное бездействие повлияло на мои нервы... Но прочь минутная слабость! Я встречу свою судьбу, как подобает мужчине и французу!

Он поднялся на ноги и принял одну из тех возвышенных поз, которые недостижимы для человека и редко удаются даже статуям.

Потом сказал хриплым басом:

— Смотрите, я спокоен, я готов! Откройте же мне, какая назначена дистанция?

— Тридцать пять ярдов...

Поднять его я был, конечно, не в сплах. Я только перевернул его на живот и налил ему воды за ворот. Наконец он очнулся и сказал:

— Тридцать пять ярдов и ни на йоту меньше? Но зачем я спрашиваю? Этот человек жаждет крови, станет он входить в какие-то мелочи! Но вы увидите:

моя гибель покажет всему миру, как встречает смерть благородный француз!

После долгого молчания он добавил:

— А не было у вас речи о том, чтобы все его семейство стало с ним рядом, — ведь надо же, черт возьми, уравновесить мои размеры. Ну, не важно; сам я не унижусь до такого предложения; раз у него не хватает благородства предложить это, пусть пользуется своим преимуществом, хотя ни один честный человек на это бы не польстился.

Он оцепенел в какой-то мрачной задумчивости и только через несколько минут прервал молчание вопросом:

— А час — на когда назначена встреча?

— Завтра на восходе солнца.

— Это же безумие! Никогда не слыхал ничего подобного. В такую рань на улице не будет ни души.

— Потому-то я и выбрал этот час. Или вам нужны свидетели?

— Теперь не время пререкаться. Я просто понять не могу, как мосье Фурту согласился на такое идиотское новшество. Сейчас же бегите к нему и договоритесь с ним о более позднем часе!

Я бросился вниз, открыл входную дверь и угодил в объятия секунданта мосье Фурту. Он сказал:

— Честь имею довести до вашего сведения, что мой патрон всячески возражает против назначенного часа и просит отложить встречу на половину десятого.

— Любое одолжение, сударь, какое мы можем оказать вашему патрону, доставит нам величайшую радость. Мы согласны изменить время.

— Покорнейше вас благодарю от имени моего клиента! — Затем, повернувшись к какой-то личности за его спиной: — Вы слышали, мосье Нуар? Время переносится на половину десятого. — В ответ на что мосье Нуар поклонился, поблагодарил и пошел прочь.

— Если не возражаете, — продолжал мой собеседник, — наши главные врачи, как и полагается, поедут с вашими в одной карете.

— Нисколько не возражаю и очень рад, что вы напомнили мне о врачах: боюсь, что сам бы я о них не

подумал. Сколько же их потребуется? Я думаю, двух-трех хватит?

— Принято по два с каждой стороны. То есть я имею в виду главных хирургов; но, во внимание к высокому общественному положению наших патронов, было бы уместно пригласить консультантами несколько парижских знаменитостей. Те приедут в собственных экипажах. А позаботились вы о катафалке?

— Ну и болван я, основное упустил из виду! Сейчас же этим займусь. Я вам, наверно, кажусь сущим профаном; но мне никогда не приходилось участвовать в такой аристократической дуэли. Я немало перевидал дуэлей у нас на Тихоокеанском побережье, но теперь вижу, что это просто несравнимо, — у нас, знаете, какой неотесанный народ! Катафалк! Мы просто оставляли потерпевшего на земле, и он так и валялся, пока кому-нибудь не приходило в голову взвалить его на тележку и увезти. Есть еще какие-нибудь пожелания?

— Никаких, за исключением того, чтобы оба гробовщика ехали вместе. Носильщики и плакальщики могут следовать пешком, как обычно. Мы с вами встретимся в восемь утра и обсудим порядок шествия. Честь имею пожелать вам доброго здоровья!

Я вернулся к моему патрону, он встретил меня словами:

— Ну, когда же дуэль?

— В половине десятого.

— Очень хорошо. Вы дали знать в газеты?

— Сударь! Если после столь близкой и долгой дружбы вы считаете меня способным на такое низкое предательство...

— Ну-ну, что на вас нашло, старый друг? Вы, кажется, обиделись? Ради бога, простите, я вас совсем умаял. Ладно, позаботьтесь об остальном, этим можете не заниматься. Кровожадный Фурту сам об этом подумает. Хотя, впрочем, могу и я для верности написать записку — есть у меня приятель газетчик, некий мосье Нуар...

— Хорошо, что вы мне напомнили; можете не утруждать себя: второй секундант уведомил мосье Нуара.

— Гм, так я и знал. Это похоже на Фурту, у него все делается напоказ.

В половине десятого утра процессия достигла поля у Плесси-Пике в следующем порядке: впереди ехала карета, в которой сидели только мы с мосье Гамбеттой; далее — карета с мосье Фурту и его секундантом; далее — карета с двумя поэтами-ораторами, заведомыми безбожниками, из их пиджачных карманов торчали объемистые свертки исписанной бумаги = надгробные речи; далее — карета с главными хирургами и их чемоданчиками; далее — восемь частных экипажей с учеными консультантами; далее — судебный следователь на извозничьих дрожках; далее — два катафалка; далее — карета с двумя гробовщиками; далее — целая ватага носильщиков и плакальщиков пешком; наконец шествие замыкала, пробираясь сквозь туман, бесконечная вереница зевак, полицейских и прочих граждан. В общем, замечательное было бы зрелище, если бы не густая мгла.

Мы не разговаривали. Я несколько раз обращался к своему патрону, но он, видимо, этого не замечал, так как все время заглядывал в свой блокнот и твердил с отсутствующим видом: «Я умираю за то, чтобы Франция жила!»

Прибыв на место, мы со вторым секундантом отметили шагами тридцать пять ярдов, а потом бросили жребий, кому выбирать позицию. Впрочем, это было сделано больше для проформы, при таком тумане шансы были равны. По окончании этих вступительных церемоний я подошел к своему патрону и спросил, готов ли он.

— Готов! — воскликнул он сурово. — Пусть пушки палят! — И он еще больше выставил для обозрения свой могучий фасад.

Заряжали мы пистолеты в присутствии заранее назначенных свидетелей. По случаю дурной погоды мы произвели эту ответственную операцию при свете фонаря. Затем расставили противников.

Тут полицейские заметили, что на правом и левом флангах поля собралась толпа, и попросили дать им время отвести неосторожных в более безопасное место.

Просьбу уважили.

По приказу полицейских обе толпы расположились позади дуэлянтов, и теперь ничто не мешало нам при-

ступить. Туман к тому времени еще более сгустился, и мы договорились со вторым секундантом, что, прежде чем давать окончательный сигнал, мы с ним аукнемся, чтобы противники хоть немного представляли себе, где искать друг друга.

Я вернулся к своему патрону и с огорчением увидел, что он начинает терять присутствие духа. Я постарался придать ему бодрости.

— Право, сударь, — сказал я, — ваши дела не так плохи, как вам кажется. Если судить по оружию, по ограниченному числу дозволенных выстрелов, по щедрой дистанции, по непроницаемому туману, а также тому дополнительному обстоятельству, что один из противников одноглаз, а другой косоглаз и близорук, мне кажется, что это столкновение может и не быть фатальным. Есть шансы, что вы оба останетесь живы. А потому подбодритесь: выше голову!

Речь моя возымела благотворное действие, мой патрон преобразился. Вытянув вперед руку, он сказал:

— Я снова я! Дайте мне оружие!

Я положил пистолетик на его ладонь, и он одиноко и тоскливо затерялся в ее необъятной шири. Мой друг уставился на него и задрожал. И, все так же уныло созерцая его, пробормотал надломленным голосом:

— Увы, не смерти я боюсь, а лишь увечья!

Я снова стал его подбадривать, и так успешно, что он произнес:

— Пусть трагедия начинается. Станьте же позади; не покидайте меня в этот торжественный час, мой добрый друг!

Я обещал ему. Затем помог направить дуло пистолета в ту сторону, где, как я догадывался, стоял противник, и посоветовал хорошенько слушать и руководиться ответным гиком моего коллеги секунданта. После чего я подпер мосью Гамбетту со спины и закричал во всю глотку: «Го-го!» Где-то далеко в тумане прозвучало ответное «Го-го!» Я тут же дал команду:

— Раз, два, три — пли!

Два слабых звука, вроде «тьфу! тьфу!», отдались в моих ушах, и в ту же секунду на меня обрушилась

гора мяса. Но, несмотря на контузию, я все же уловил где-то над собой едва слышный лепет:

— Я умираю за то... за то... Проклятие! за что же я, собственно, умираю? Ага, *Франция!*.. Я умираю за то, чтобы Франция жила!

Набежали врачи со своими ланцетами, исследовали в микроскоп каждый кусочек на телесах мосье Гамбетты и, к счастью, не нашли ничего, даже отдаленно похожего на рану. А в завершение последовала и вовсе умилительная и возвышенная сцена.

Оба гладиатора, заливаясь слезами гордости и счастья, бросились друг другу на шею; второй секундант обнял меня; врачи, ораторы, гробовщики, полицейские — все обнимали и поздравляли друг друга и плакали от счастья, и в самом воздухе носилась хвала и радость несказанная.

В эту минуту я, кажется, предпочел бы быть героем французской дуэли, нежели державным властелином.

Когда волнение несколько улеглось, весь медицинский корпус устроил консилиум и после горячих споров пришел к выводу, что при добросовестном лечении и уходе я имею некоторые шансы выжить. Наибольшую опасность представляли внутренние повреждения, ибо сломанное ребро, видимо, проткнуло мне левое легкое, а многие органы были так сильно сдвинуты в обе стороны, что оставалось под вопросом, смогут ли они исправно функционировать в том непривычном окружении, куда они попали. После чего эскулапы положили мне лубок на сломанную в двух местах левую руку, вправили бедро и привели в порядок мой расплюсченный нос. Все интересовались и восхищались мною; немало искренне расположенных людей сами подходили ко мне, уверяя, что им лестно познакомиться с единственным человеком, пострадавшим за последние сорок лет на французской дуэли.

Меня уложили в карету скорой помощи, и вся процессия, во главе со мной, двинулась назад; как приятно было в ореоле блеска и славы, чувствуя себя героем этого великого торжества, въехать в Париж и лечь в больницу.

Я был пожалован орденом Почетного Легиона. Впрочем, мало кому удастся избежать этой высокой награды.

Такова правда о самом памятном в нашем веке столкновении двух частных лиц.

Что касается меня, то я ни к кому не имею претензий. Я действовал по своему разумению и сам несу вину за последствия.

Не хвалясь, могу сказать, что я не побоюсь встретиться лицом к лицу с любым французским дуэлянтом, но, будучи в трезвом уме, ни за что не соглашусь стать за его спиной.

Глава IX

Посещение оперы. — Оркестр. — Странное либретто. — Немцы — любители оперы. — Почаще бы таких хоронили. — В публике. — Подслушанный разговор. — Неблагодарное внимание.

Как-то сели мы в поезд и покатали в Маннгейм посмотреть «Короля Лира» на немецком языке. Лучше бы нам не ездить! Проторчали мы в креслах битых три часа, но так ничего и не поняли, кроме грома и молнии; да и это у них шиворот-навыворот, по особой немецкой методе: сначала гром, а потом уже молния.

Публика здесь примерная. В зале ни шороха, ни шепота и никаких других досадных, хоть и незаметных помех; каждое действие проходит в полной тишине, аплодируют не раньше, чем упадет занавес. В театр пускают с половины пятого, начинают ровно в полшестого; не проходит и двух минут, как все уже заняли свои места и слушают затаив дыхание. Один пассажир в поезде говорил нам, что каждая постановка Шекспира здесь событие и что спектакль, конечно, идет с аншлагом. Так оно и оказалось: все шесть ярусов были полнехоньки с начала и до конца, из чего явствует, что Шекспира любят в Германии не только кресла и амфитеатр, но и стулья в партере и галерка.

Другой раз побывали мы в Маннгейме на шаривари, то бишь — опере, именуемой «Лоэнгрин». Звон, лязг, грохот и дребезг стояли невообразимые. Слушать это было

адской пыткой; моя память хранит эти впечатления рядом с тем случаем, когда мне пломбировали зубы. По некоторым обстоятельствам я не мог позволить себе встать и уйти; я сидел и терпел все четыре часа, но память об этих нескончаемых, изводящих, душераздирающих муках преследует меня и по сей день. То, что переносить эту казнь приходилось молча и нешевелиясь, лишь довершало пытку. Я был заперт в закутке, огороженном барьером, вместе с десятком незнакомцев обоего пола и, следовательно, вынужден был держать себя в руках, хотя временами готов был стонать от боли. Когда визг, писк и завывание певцов, а также рев, грохот и взрывы пороховых погребов в оркестре, становясь все громче и громче, все ретивей и ретивей, все ужасней и ужасней, достигали особенной силы, я готов был рыдать, — но я был здесь не один. Сидевшие рядом со мной незнакомцы охотно простили бы подобное поведение человеку, с которого живьем сдирают кожу, но в данном случае непременно стали бы удивляться и злословить на мой счет, хотя я был именно в положении человека, с которого живьем сдирают кожу. Антракт после первого действия длился полчаса, можно было выйти и поразмыслить, но я не решался на это, я знал, что не выдержу и сбегу. Следующий антракт, столь же долгий, пришелся часов на девять, когда я уже окончательно пал духом и хотел только одного — чтобы меня оставили в покое.

Но отсюда не следует, что и прочая публика испытывала те же муки; отнюдь нет. То ли немцы по своей природе любят шум, то ли приучены его любить — судить не берусь, но видно было, что они довольны. Пока шла вся эта катавасия, они сидели с таким блаженным и умильным видом, точно кошка, которую гладят по спине; но только занавес падал, весь огромный зал вскакивал как один человек, в воздухе снежными хлопьями мелькали носовые платки, и стены сотрясались от шквала рукоплесканий. Я не мог этого понять. В зале, разумеется, было немало людей, которых ничто стороннее здесь не удерживало, а между тем публики в ярусах не убывало. Все это явно правилось им.

Вообще же престранный, скажу я вам, спектакль. Костюмы и декорации были хороши и эффектны, но —

почти никакого действия. То есть на сцене мало что происходило — одни разговоры, и всегда в повышенном тоне. Это, если можно так выразиться, повествовательная пьеса. В «Лоэнгрине» у каждого своя печальная повесть и свои огорчения, но никто не проявляет должного спокойствия, все ведут себя несдержанно и даже буйно. Вы почти не видите здесь привычного вам зрелища, когда тенор и сопрано, стоя у самой рампы, сладко разливаются, сплетаясь голосами, и то простирают друг к другу руки, то чувствительно и проникновенно прижимают их сначала к одной, потом к другой груди, — в этом спектакле каждый сумасшествовал сам по себе и никто ни с кем ни сплетался. Все актеры пели свои обвинительные повести по очереди, под гром оркестра в шестьдесят инструментов; когда же проходило изрядное время и вы уже надеялись, что они до чего-то договорятся и умерят шум, вступал огромный хор, сплошь из одержимых, — и тут в течение двух, а иногда и трех минут я вновь познавал те муки, которые испытывал однажды, когда у нас в городе горел сиротский дом.

И только на мгновение увидели мы небо и вкусили его сладостной гармонии за все это время прилежных и жестоких упражнений в противоположном духе. Это было в третьем акте, когда праздничная процессия шествует по сцене, распевая «Свадебный хор». Моему уху профана это и вправду показалось музыкой, мало того — божественной музыкой. И когда опаленной душой я окунулся в бальзам этих благостных звуков, я почувствовал, что готов претерпеть те же муки, только бы вновь обрести такое исцеление. В этом, должно быть, и заключается смысл оперы, ее оперативная идея: вы подвергаетесь такой пытке, что проблески чего-то приятного неимоверно вырастают в ваших глазах по контрасту. Красивая мелодия особенно восхищает нас в опере, мы отдыхаем на ней, как отдыхаем, встретив честного человека среди политиков, где он особенно выделяется.

Впоследствии я убедился, что немцы больше всего любят оперу. Они любят ее не то чтобы умеренно и разумно, а всей душой. Это законное следствие привычки и образования. Не сомневаюсь, что и наш народ когда-

нибудь полюбит оперу, — но, разумеется, не сразу. На каждые пятьдесят человек, посещающих у нас оперу, один, быть может, любит ее уже и сейчас; из прочих сорока девяти большинство, как мне кажется, ходит в оперу затем, чтобы научиться ее любить; остальные же — чтобы с видом знатоков поговорить о ней. Эти последние охотно подтягивают певцам: пусть соседи видят, что все эти оперы им не в диковину. Хотелось бы, чтобы таких почаще хоронили.

В тот вечер в маннгеймской опере перед нами сидела приятная пожилая дама, старая дева на вид, а с ней очаровательная молодая особа лет семнадцати. В антрактах они разговаривали, и я понимал их, хотя не понимал ни звука из того, что говорилось на сцене. Сначала мои соседки были осторожны, но, заметив, что мы с моим агентом беседуем по-английски, перестали стесняться, и мне удалось проникнуть в их бесхитростные секреты, вернее — ее секреты, — я имею в виду старшую даму, младшая только слушала и утвердительно кивала. До чего же она была хороша, до чего мила! Мне хотелось, чтобы она заговорила. Но, очевидно, она была погружена в свои думы, в свои девичьи грезы и находила удовольствие в молчании. Однако то были не туманные, беспредметные грезы — девушка была резвушка, шалунья, егоза, ни минуты не сидела она спокойно. Я залюбовался ею. Платице из белого шелка, словно рыба чешуя, облегалo ее кругленький стан, и все оно кудрявилось кружевцами и оборками; ее бездонные глаза прятались под сенью длинных изогнутых ресниц; прибавьте персиковые щечки, подбородок с ямочкой и прелестный ротик — полураспустившийся росистый розовый бутон — и эта юная голубка, чистое, нежное, обворожительное создание, как живая встанет перед вами. Я долгие часы мучительно ждал, чтобы она заговорила. И наконец дождался: алые губки раскрылись, выпуская на волю пленную мысль: «Тетенька, — произнесли они с невинным и чистым восторгом, — я чувствую, что по мне скажут пятьсот блох!»

Эта цифра явно превышала норму, и даже значительно превышала. В то время средним числом для Вели-

кого княжества Баденского считалось сорок пять блох на одну молодую особу, когда она бывала в одиночестве (см. официальные данные, опубликованные министром внутренних дел на тот год); для более почтенного возраста среднее число было не столь определенным, оно колебалось в зависимости от многих причин: так присутствие цветущей молодой девицы снижало среднее число у пожилых людей и повышало ее собственное. Молодая девушка становилась как бы кружкою для доброхотных пожертвований. Прелестное создание, сидевшее передо мной в театре, и производило такой сбор неведомо для себя. Немало почтенных сухопарых особ по соседству чувствовало себя благодаря ей спокойнее и счастливее.

Среди многочисленных зрителей в тот вечер восемь человек привлекали к себе все взгляды. То были дамы, не снявшие своих шляпок или капоров. С каким восторгом наши дамы сделали бы то же самое, только бы привлечь к себе все взгляды. В Европе не положено вносить в публичное помещение шляпы, плащи, трости и зонтики, но в Мангейме это правило не применяется с такой строгостью. Здесь много иногородних зрителей, и среди них всегда найдется с десятков первических дам, которые до смерти боятся пропустить свой поезд, если после спектакля им придется бежать в гардероб за вещами. Однако преобладающее большинство иногородних зрителей идет на этот риск, предпочитая опоздать на поезд, нежели нарушить правила приличия и добрых три-четыре часа мозолить глаза всей публике.

Глава X

Четыре часа с Вагнером. — Немецкая восторженность. — Мудрый обычай. — С опоздавшими не стесняются. — Без помех. — Король — зритель. — Великодушный король.

Три-четыре часа... Трудно высидеть так долго на одном месте, даже если на вас не обращены все взгляды, а ведь иные из вагнеровских опер могут зарядить и на шесть часов. Но люди сидят и млеют от удоволь-

ствия, и все им мало. Одна немка в Мюнхене говорила мне, что Вагнера не полюбишь с первой же минуты, надо систематически учиться его любить — и ты дождешься верной награды: потому что, полюбив Вагнера, ты уже никогда им не пресытишься и будешь вечно испытывать душевный голод. Она говорила, что шесть часов вагнеровской музыки — не так уж много. Вагнер, говорила она, произвел полный переворот в музыке и теперь хоронит одного за другим всех старых мастеров. Вагнеровские оперы, говорила она, отличаются от прочих опер в том существенном отношении, что, в то время как обычно оперы только кое-где припорошены музыкой, вагнеровские оперы — сплошная музыка, с первой до последней ноты. Это меня удивило. Я сказал ей, что был на одном таком перевороте, но не усмотрел в нем никакой музыки, за исключением «Свадебного хора». На что она ответствовала, что «Лоэнгрин» у Вагнера самая шумная опера, но что если бы я стал ходить на него систематически, я со временем убедился бы, что и «Лоэнгрин» — сплошная музыка, и в конце концов полюбил бы его. Я мог бы ей ответить: «А посоветуете вы человеку, у которого все челюсти разносит от зубной боли, умышленно не ходить к зубному врачу — авось годика через три он ее полюбит». Однако я оставил это замечание при себе.

Эта же дама не могла нахвалиться первым тенором, выступавшим накануне в вагнеровском спектакле, она без конца твердила мне о его давней громкой славе и о том, какими почестями осыпают его немецкие княжеские фамилии. Опять неожиданность! Я был на этом спектакле — в лице моего агента — и вынес немало точных и верных наблюдений.

— Сударыня, на основании личных впечатлений беру на себя смелость утверждать, что у вашего тенора совсем нет голоса, он верезжит, верезжит, как гиена!

— Вы совершенно правы, — сказала она, — теперь у него нет голоса, он уже много лет как потерял его, но когда-то он пел, ах, божественно! Поэтому стоит ему приехать куда-нибудь на гастроли, как театр ломится

от публики. Jawohl, bei Gott, когда-то он пел wunder-schön! ¹

Я сказал ей, что она открыла мне замечательную черту немецкого характера, достойную подражания. У нас за океаном публика не так великодушна: у нас если певец потерял голос или акробат — ногу, публику на них не заманишь. Я сказал ей, что побывал по одному разу в ганноверской, маннгеймской и мюнхенской опере (в лице моего полномочного агента) и на собственном обширном опыте убедился, что немцы предпочитают безголосых певцов. И я нисколько не преувеличивал: толстяком тенором, выступавшим в Маннгейме, весь Гейдельберг бредил уже за неделю до его приезда, а между тем его пение в точности напоминало визг гвоздя, которым царапают по оконному стеклу. Я так и сказал своим гейдельбергским друзьям, но они преспокойно заявили мне, что хоть это и правда, но когда-то, в оны времена, певец этот обладал прекрасным голосом. То же самое было и с ганноверским тенором. Изъяснявшийся по-английски немец, с которым мы вместе собрались в оперу, захлебывался, говоря о теноре:

— Ach, Gott! Вы его увидите, это зветило! Он знаменит на вся Германия. У него же пензиум, государственни пензиум! Он теперь обязанный выступать только два раз каждым годом. Но если он не выступает два раз каждым годом, у него забирают пензиум.

Ну, пошли мы. Когда на сцену вышел знаменитый старый тенор, мой спутник ткнул меня в бок.

— Вот он! — услышал я его возбужденный шепот.

Но «зветило» крайне разочаровало меня. Если бы действие происходило за ширмой, я подумал бы, что его положили на операционный стол. Я оглянулся на своего приятеля: к моему великому удивлению, он не помнил себя от восторга, глаза его сияли. Когда занавес упал, он отчаянно захлопал и не переставал хлопать — как, впрочем, и весь театр, — покуда горе-тенор не вышел кланяться в третий раз. Воспользовавшись тем, что мой энтузиаст утирает с лица ручьи пота, я обратился к нему с вопросом:

¹ Да-да, кляпуть... восхитительно! (нем.)

— Простите, но, не в обиду вам будь сказано, вы в самом деле считаете, что он поет?

— Он? Конечно нет! Gott im Himmel, — но позлюшали бы вы его двадцать пять лет назад! (С прискорбием.) Нет, зейчас он не поет, а только кричит. Когда он думает, что поет, он не поет, а только как кошка, когда ей нехорошо.

Откуда взялось у нас представление, будто немцы вялая, флегматичная нация? Да ничего подобного! Это сердечные люди, чувствительные, порывистые, склонные всем восторгаться. Они плачут по пустякам и так же легко смеются. Восторженность — их вторая натура. Мы по сравнению с ними холодны и самодовольны. Вечно они обнимаются, лобызаются, кричат, поют и пляшут. На одно наше ласкательное словечко у немцев добрых двадцать. В немецком языке тысячи ласковых уменьшительных словечек: все, что они любят, имеет у них свою уменьшительную форму, будь то дом, собака, лошадь, бабушка и всякая другая божья тварь, одушевленная и неодушевленная.

В ганноверском, маниегеймском и гамбургском театрах существует мудрый обычай: как только занавес поднимается, огни в зале гаснут. Публика сидит в прохладном полумраке, от чего только выигрывает красочное великолепие сцены. К тому же экономится газ, и зрители не обливаются потом от невыносимой духоты.

Когда я был на «Короле Лире», публика и не замечала, как сменяются декорации; если надо было всего-навсего убрать лес и открыть храм в глубине сцены, вам не приходилось любоваться тем, как лес делится пополам и с визгом убегает за кулисы, а также сопутствующим неприглядным зрелищем рук и каблуков, представляющих здесь двигательную силу, — нет, занавес на минуту падал, причем со сцены не доносилось ни малейшего шума, а когда он в следующую минуту опять поднимался, леса как не бывало. Даже когда полностью сменялись декорации, вы ничего не слышали. За весь вечер занавес падает не больше чем на две минуты. Оркестр играет только до начала первого акта, и больше вы его не слышите. Там, где антракты длятся всего две минуты, музыкантам делать нечего. До этого

мне пришлось видеть такие двухминутные антракты только на представлении «Шогрена» у Уоллэка.

В Мюнхене я побывал в концерте, публика валила валом, но вот часовая стрелка показала семь, грянула музыка, и в зале мгновенно прекратилось всякое движение — никто не стоял в проходе, не пробирался по рядам, не возился со своим сидением; поток входивших сразу иссяк, высох в самом своем источнике. Я слушал без всяких помех музыкальную пьесу, которая исполнялась добрых четверть часа. Я так и ждал, что какой-нибудь владелец билета полезет на свое место, отдавливая мне колени, и все время приятно разочаровывался в своих ожиданиях; но едва лишь замер последний звук, как поток хлынул с новой силой. Оказывается, запоздавших все время, пока не отзвучала последняя нота, заставляли ждать в уютном вестибюле.

Я впервые убедился, что и на эту разновидность преступников найдена управа, что им больше неповадно будет смущать покой целого зрительного зала, издеваться над достойными людьми. Среди этой бесчинной братии имелись и кое-какие особы высшего полета, но и с ними обошлись не лучше — им также пришлось задержаться в вестибюле под неусыпным надзором двойной шеренги ливрейных лакеев и горничных, подпирающих стены по обе стороны длинного зала и держащих на руках все одежды и застежки своих хозяев и хозяек.

У нас не было лакеев, кои хранили бы для нас наши вещи, а вносить их в зал категорически воспрещено; зато здесь имеются специальные люди, мужчины и женщины, которые берут эту обязанность на себя. В обмен на наши лишние одежды нам выдали жетоны, взяв с нас по таксе — пять центов, плата вперед.

В Германии вы можете услышать в опере то, чего никогда не услышите в Америке, — заключительную фразу какой-нибудь великолепной сольной арии или дуэта. Мы постоянно топим их в лавине аплодисментов. Таким образом, мы неизменно обкрадываем себя — вынимаем виски, но так и не добираемся до сладкого осадка на дне бокала.

Наш обычай рассыпать рукоплескания по ходу действия, по-моему, лучше, нежели обычай манигеймцев

приберегать их к концу акта. Актеру, на мой взгляд, трудно увлечься до самозабвения, изображая пылкую страсть перед молчаливой, безучастной аудиторией. Он, кажется мне, должен чувствовать себя преглупо. Мне и сейчас больно вспомнить, как старый немецкий Лир неистовствовал, рыдал и метался по сцене, не находя ни малейшего отклика в примолкшем зале, который так ни разу и не взорвался до окончания действия. Я все время испытывал неизъяснимое смущение от этой чопорной гробовой тишины, неизменно встречавшей неистовые излияния бедного старика. Ставя себя на его место, я не мог не чувствовать, какой тоской, какими буднями должно веять на него от этого безмолвия, ибо мне вспоминался один эпизод, который я наблюдал довольно близко и который... Но лучше расскажу по порядку.

Однажды вечером на борту парохода, бороздившего воды Миссисипи, спал на койке десятилетний мальчуган — длинный тонконогий худышка, облаченный в не по росту короткую рубашку. Это было его первое путешествие на пароходе, — не мудрено, что его томили многообразные страхи и заботы, и, отходя ко сну, он размышлял о всяких ужасах вроде страшных коряг, таранящих дно парохода, взрыва парового котла, опустошительного пожара и многочисленных жертв. А между тем в дамском салоне часам к десяти собралось с два десятка пассажиров, они преспокойно читали, шили, вышивали, расположившись вокруг благообразной приветливой старушки, воздевшей на нос круглые очки и усердно мелькавшей спицами. Вдруг в эту мирную идиллию ворвался тонконогий мальчик в коротенькой рубашке, глаза вытаращены, волосы дыбом.

— Горим, горим! — крикнул он. — Бегите все! На борту пожар, нельзя терять ни минуты!

Дамы только вскинули глаза и улыбнулись, никто не сдвинулся с места, а старушка, приспустив на нос очки и глядя поверх них, сказала с ласковой улыбкой:

— Смотри не простудись, малыш! Беги скорей, надень галстук, потом вернешься и все нам расскажешь.

Взбудораженного мальчика словно безжалостно окатили ушатом воды. Он уже видел себя героем, подняв-

шим на пароходе сумасшедшую панику, а тут эти женщины сидят и посмеиваются над ним, а старушка и вовсе высмеяла его попытку переполошить их. Я повернулся и смущенно убрался прочь, — ибо я и был тот мальчик, — так и не поинтересовавшись узнать, в самом ли деле я видел огонь, или мне только померещилось.

Мне говорили, что немцы ни в опере, ни в концерте почти никогда не просят петь на «бис»; им, может быть, до смерти хочется прослушать что-нибудь еще раз, но они слишком хорошо воспитаны, чтобы требовать повторения.

Другое дело король: королю не возбраняется вызывать на «бис»; ведь каждому приятно видеть, что король доволен; а уж что до актера, которому выпадает такая честь, то его счастью и гордости нет границ. И все же бывает, что даже королевское «бис»...

Но лучше обратимся к наглядному примеру. Король баварский — поэт, и, как истый поэт, он не чужд поэтических прихотей, — с тем, однако, преимуществом над прочими поэтами, что свои прихоти он может удовлетворять, к чему бы это ни приводило. Он с удовольствием слушает оперу, но находиться на публике не доставляет ему удовольствия; и в Мюнхене не однажды бывало, что когда спектакль окончен и актеры уже сняли костюмы и грим, им вдруг приказывали вновь наложить грим и надеть театральные костюмы. Тем временем приезжает король в горделивом одиночестве, и труппа сызнаова начинает представление и доводит его до конца при единственном слушателе в пустынном, торжественном зале. Как-то королю пришла в голову и вовсе блажная мысль. Высоко над головами, невидимый для глаза, над грандиозной сценой придворного театра проложен лабиринт труб, сплошь усеянных дырочками, из которых, в случае пожара, могут быть пролиты на сцену бесчисленные дождевые нити; при желании этот морозящий дождик можно превратить в грозовую ливень. Американским театральным директорам не мешало бы взять себе на заметку этот способ. Итак, король был единственным зрителем. В опере изображалась гроза: бутафорский гром грохотал, бутафорский ветер шумел и стонал в деревьях, по крышам барабанил

бутафорский дождь. Король все больше воодушевлялся и наконец вошел в раж.

— Отлично, прелестно, честное слово! Но дайте же настоящий дождь! Пустите воду!

Директор театра молил отменить это распоряжение, так как пострадают декорации и костюмы.

— Не важно, не важно! — настаивал король. — Давайте настоящий дождь. Пустите же воду!

Пустили настоящий дождь, и он тончайшей сеткой повис над бутафорскими куртинами и аллеями, Богато разодетые актеры и актрисы храбро расхаживали по сцене, распевая свои арии с таким видом, будто эта мокреть нисколько их не смущает. А энтузиазм короля все нарастал.

— Браво, браво, — вопил он. — Побольше грома, побольше молний! Пустите дождь вовсю!

Гром гремел, сверкали молнии, ветер бушевал, низвергались потоки дождя. Их бутафорские величества в липнувших к телу шелках шлепали по сцене по лодыжку в воде, но как ни в чем не бывало выводили свои фиоритуры; скрипачи, сидя под козырьком сцены, пиликали напропалую, и каскады холодной воды хлестали их по загривку, затекая за воротник, а счастливый сухой король, сидя наверху в своей ложе, так усердно хлопал, что изорвал в клочья перчатки.

— Еще! еще! — надрывался он. — Не жалейте грома! Не жалейте воды! На виселицу того, кто раскроет зонтик!

Когда эта гроза, наиграндиознейшая и наимоментнейшая из всех, какие когда-либо изображались на сцене, наконец утихла, король захлебывался от восторга.

— Чудно, превосходно! Бис! Повторите! — восклицал он вне себя.

Но директор театра все же уговорил его отменить приказ, заверив, что труппа и так уже безмерно польщена и вознаграждена самим фактом, что король потребовал повторения и что его величеству незачем утруждать себя единственно для удовлетворения актерского тщеславия.

Повезло тем певцам, которым по ходу действия надо было еще до окончания акта переодеться, остальные

являли жалкий, грязный и несчастный вид, хоть им и нельзя было отказать в известной живописности. Все декорации, весь реквизит были испорчены, все крышки люков разбухли и не действовали целую неделю, пострадали богатые костюмы артистов, а уж малых убытков, причиненных прошедшей грозой, было и не счесть.

Эта гроза была поистине королевской затеей и выполнена была по-королевски. Но нельзя не отметить проявленную королем умеренность: он не настоял на повторении. Будь он похож на буйную, взбалмошную американскую публику, он, пожалуй, до тех пор требовал бы повторения полюбившейся ему грозы, пока не утопил бы всех участников спектакля.

Глава XI

Уроки живописи. — Моя картина «Гейдельбергский замок» производит фурор. — Меня пугают с Тернером. — Отправляемся на прогулку пешком. — Экскурсия в Гейльбронн. — Вимпфен. — Историческая комната.

Летние дни в Гейдельберге проходили приятно. Под руководством опытного тренера мы готовили свои ноги к предстоящим походам; мы успешно изучали немецкий язык и особенно преуспевали в занятиях искусством. Нас обучали лучшие в Германии учителя живописи и рисования — Геммерлинг, Фогель, Мюллер, Диц и Шуман. У Геммерлинга мы учились писать пейзажи, у Фогеля — тело, у Мюллера натюрморты, а у Дица и Шумана прошли два специальных курса — батальную живопись и кораблекрушения. Всем, чего я достиг в искусстве, я обязан своим учителям. Каждый из них и все они вместе взятые сообщили мне нечто от своей манеры; но они уверяли, что у меня есть и своя манера, весьма отличительная. Они уверяли, что мой стиль ярко самобытен, так что приведишь мне писать даже самую обыкновенную дворнягу, я и то вложу в нее нечто такое, что ее не спутаешь ни с одним творением другого художника. Я, конечно, с восторгом поверил бы этим

лестным отзывам, но не смел: я опасался, что, гордясь и восхищаясь мною, мои учителя не могут судить обо мне беспристрастно. Тогда я решил провести проверку. Втайне, никому не открываясь, написал я свой шедевр «Гейдельбергский замок при ночном освещении» — первую мою настоящую работу маслом — и повесил ее среди необозримой гущи других писанных маслом холстов на художественной выставке, не указав своего имени. К великому моему удовлетворению, работу эту сразу признали моей. Весь город сбежался ее смотреть, приезжали даже из окрестных селений. Она на шумела больше всех картин на выставке. Но особенно приятно было то, что даже случайные посетители, ничего не слышавшие о моей работе, едва переступив порог выставки, устремлялись к ней, словно притянутые магнитом, и все они принимали ее за Тернера.

Мистер Гаррис закончил курс вместе со мной, и мы вдвоем сняли студию. Некоторое время мы дожидались заказов; но так как ожидание затянулось, то мы решили совершить экскурсию пешком. После долгих размышлений мы избрали маршрут на Гейльбронн, вверх по Неккару, по его живописным берегам. По-видимому, никто еще не совершал такого похода. Говорили, что по всему предстоящему нам пути красуются живописные развалины замков, прилепившихся к причудливым скалам и утесам, нависающим над головой, и что эти памятники старины, так же как и рейнские, овеяны легендами, которые, к счастью, еще не успели попасть в печать. Эти чудесные места не описаны ни в одной книге; туристы сюда и не заглядывают, это девственная почва для пионера от литературы.

Тем временем заказанные нами рюкзаки, походные костюмы и грубые башмаки были изготовлены и доставлены нам на дом. Некто мистер Икс и юный мистер Зет выразили желание присоединиться к нам. Вечером накануне выступления мы обошли всех наших друзей, а потом задали в гостинице прощальный ужин. Улеглись мы рано, чтобы выйти на заре по холодку.

Мы встали на рассвете, чувствуя необычайный прилив бодрости и сил, позавтракали с отменным аппетитом и, углубившись в густолиственные аркады парка,

двинулись к городу. Было чудесное летнее утро, цветы благоухали, птицы распевали во всю мочь. В такой день только и бродить по лесам и горам!

Одеты мы были все одинаково; наш костюм составляли большие шляпы с опущенными в защиту от солнца полями, серые рюкзаки, синие армейские рубашки, синие комбинезоны, кожаные гетры, плотно застегнутые от колен до щиколоток, и крепко зашнурованные грубые башмаки. У каждого был бинокль, дорожная фляга и через плечо сумочка с путеводителем; у каждого альпеншток в одной руке, и зонтик от солнца — в другой. На шляпы мы наvertели вокруг тульи мягкого белого муслина, концы которого свисали с плеч и трепыхались за спиной, — мода, занесенная с Востока и подхваченная туристами по всей Европе. Гаррис вооружился особым, похожим на часы, приспособлением по названию «шагомер» — эта машинка подсчитывает шаги и определяет пройденное расстояние. Все встречные останавливались, чтобы поглазеть на наши костюмы и проводить нас сердечным «Счастливого пути!»

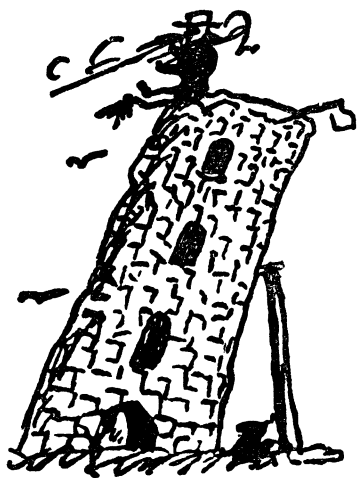
В городе я узнал, что поезд может подвезти нас к станции, расположенной в пяти милях от Гейльбронна. Он как раз отходил, и мы в великолепном настроении сели в вагон. Все мы считали, что поступили правильно, — ведь будет так же приятно прогуляться вниз по Неккару, как и вверх по нему, и нет надобности совершать этот путь пешком в оба конца. У нас оказались премильные соседи — немцы. Когда я заговорил о наших личных делах, Гаррис забеспокоился и толкнул меня локтем в бок.

— Говори по-немецки, — предупредил он меня, — эти немцы, возможно, понимают по-английски.

Я послушался, и очень кстати: все эти немцы действительно прекрасно понимали английскую речь. Удивительно, как наш язык распространен в Германии. Вскоре наши спутники сошли, и их место занял пожилой немец с двумя дочерьми. Я несколько раз обращался к одной из них по-немецки, но безрезультатно. Наконец она сказала: «Ich verstehe nur Deutsch und Englisch», или что-то в этом роде, означавшее: «Я знаю только по-немецки и по-английски».

И в самом деле, не только она, но и отец ее и сестра объяснялись по-английски. Тут уж мы наговорились всласть, тем более что отец и дочери оказались приятными собеседниками. Их заинтересовали наши костюмы, особенно альпенштоки, они их никогда не видели. А так как, по их словам, дорога вдоль Неккара совершенно ровная, они решили, что мы направляемся в Швейцарию или другую гористую местность; они также поинтересовались, не слишком ли нас утомляет хождение пешком по такой жаре. Но мы сказали, что нет, не утомляет.

Часа через три мы подъехали к Вимпфену — кажется, это был Вимпфен — и вышли из поезда нисколько



Башня

не уставшие; здесь мы нашли отличную гостиницу и, заказав обед и пиво, пошли прогуляться по этому почтенному древнему городку. Он очень живописен, убог и грязен и дышит стариной. Мы видели забавные домики, насчитывающие лет по пятисот, и крепостную башню в сто пятнадцать футов высотой, простоявшую целое тысячелетие. Я сделал набросок башни, но сохранил лишь копию, оригинал я подарил местному бургомистру. Оригинал, пожалуй, удался лучше:

там, помнится, больше окон, да и трава на нем получилась гуще, и смотрит она веселей. Башня, собственно, стоит на голой земле, я пририсовал траву в память о моих занятиях у Геммерлинга, когда я выезжал в поле на натуру. Фигурка на башне, любующаяся видом, явно велика, но ее, как мне казалось, нельзя сделать меньше. Фигурка была мне нужна, и нужно было, чтобы ее видели, — я и нашел выход из положения. Рисунок смотрится с двух точек зрения: на фигурку

зритель смотрит с того места, где флаг, а на башню — с земли, так что диспропорция здесь только мнимая, и все объясняется к общему удовольствию.

Под навесом у старого храма стояли три распятия — три покосившихся, осыпающихся креста, а на них три каменных, в человеческий рост, фигуры. Оба разбойника одеты в затейливые придворные костюмы середины XVI века, тогда как Спаситель изображен нагим, с лоскутом вокруг чресел.

Пообедали мы под зелеными деревьями в гостиничном палисаднике, выходявшем на Неккар; покурили и завалились спать. Освежившись сном, мы часов около трех встали и облачились в свои доспехи. Выйдя веселой гурьбой из городских ворот, мы догнали крестьянскую телегу, наполовину груженную капустой и другими овощами и влекомую небольшой коровой и крошечным осликом в одной упряжке. Она еле тащилась, эта колесница, но все же засветло довезла нас до Гейльбронна, до которого было миль пять, если не все шесть.

Мы остановились в той самой таверне, где нашел пристанище прославленный рыцарь-разбойник, закаленный в боях Гёц фон Берлихинген, когда он триста пятьдесят — четыреста лет тому назад бежал из заточения в гейльброннской Квадратной башне. Мы с Гаррисом заняли ту же комнату, где когда-то жил он и где местами еще уцелели обои, видевшие времена Гёца. Старинная резная мебель, должно быть, простояла здесь все четыреста лет, а некоторые застарелые запахи продержались, верно, и всю тысячу. В стене торчал железный крюк, на который, по словам нашего хозяина, грозный Гёц, отходя ко сну, вешал свою железную руку. Это очень большое, можно даже сказать огромное помещение расположено на первом этаже, понимай — на втором: в Европе дома такие высокие, что первый этаж у них не в счет, иначе подниматься вверх было бы слишком утомительно. Огненно-красные обои с огромными золотыми арабесками, сильно засалившиеся от времени, покрывали не только стены, но и двери. Двери были так плотно пригнаны, что рисунок не нарушался, и когда они были закрыты, отыскивать их приходилось на ощупь. В углу высилась печка — одно из тех мону-

ментальных квадратных изразцовых сооружений, которые напоминают склеп и наводят на мысль о смерти, в то время как вам хочется радоваться своему путешествию. Окна нашей комнаты выходили в проулок, за которым видны были конюшни, курятники и свиные хлевы на задворках каких-то доходных домов. В противоположных углах комнаты стояли, как обычно, две кровати, на расстоянии выстрела из одноствольного, оправленного медью дедовского пистолета. Узенькие, как и все немецкие кровати, они отличались и другой неискоренимой особенностью, присущей немецким кроватям, — сбрасывать на пол одеяло, стоило лишь вам забыться и уснуть.

Посреди комнаты стоял круглый стол, не уступающий размерами столу короля Артура; пока слуги собирали нам обед, мы пошли посмотреть знаменитые часы на фасаде старой ратуши.

Глава XII

Rathaus. — Старый рыцарь-разбойник. — Его славные дела. — Квадратная башня. — Старинная церковь. — Предание. — Исполнительный кельнер. — Старинный городишко. — Выщербленные камни.

Rathaus — или здание муниципалитета — один из самых оригинальных и красивых образцов средневековой архитектуры. Монументальный портал и ведущие к нему ступени обнесены массивной балюстрадой и украшены статуями рыцарей в натуральную величину и в полном вооружении. Часы на фасаде здания очень велики и необычного устройства. Позолоченный ангел выбивает часы, ударяя молотком в большой колокол; как только прекращается бой, Время, в виде человеческой фигуры в полный рост, поднимает песочные часы и переворачивает их; выходят два золотых овна и сталкиваются лбами; хлопает крыльями позолоченный петух. Но главную особенность составляют два дюжих ангела по обе стороны циферблата, подносящие к губам длинные рога, из которых они, как нам говорили,

ежечасно выдувают мелодические звуки. Мы не удостоились их услышать. После нам объяснили, что они трубят в рог только ночью, когда город спит.

Внутри ратуши, на консолях вдоль стен, выставлены огромные высушенные кабаньи головы; под каждой — надпись, поясняющая, кто убил кабана и в каком отдаленном столетии. В особом помещении хранятся старинные архивы. Нам показали несметное число древних грамот; некоторые из них скреплены папой, на иных — подпись Тилли или же других прославленных генералов, а одно письмо собственноручно писано и подписано Гёцом фон Берлихингеном в городе Гейльбронне в 1519 году, вскоре после его побега из Квадратной башни.

Этот славный рыцарь-разбойник был глубоко набожен, гостеприимен и сострадателен и творил добрые дела; бесстрашный, неутомимый и предприимчивый воин, он не помнил зла и во всем проявлял великодушие и широту натуры. Он умел не замечать мелких обид — редкое качество по тем жестоким временам, а крупные умел простить и предать забвению, — но, впрочем, не раньше, чем сведет счеты с виновником. Охотно заступался он за горемыку-бедняка и готов был рисковать для него жизнью. Простой народ любил Гёца, память о нем и поныне живет в преданиях и балладах. Он грабил богатых путников на большой дороге или же из своего замка, забравшегося высоко в горы над Неккаром, коршуном налетал на обозы с товарами. В своих записках Гёц истово благодарит подателя благ за то, что, помня о его нуждах, он в трудные минуты выручает его, посылая ему немало ценной добычи. Отважный воин, он в бранных тревогах находил истинную радость. Двадцати трех лет от роду, при нападении на одну крепость в Баварии, он лишился правой руки, и даже не сразу заметил это в пылу битвы. Он не раз говаривал потом, что железная рука, которую ему смастерили и которую он носил более полувека, служит ему не хуже прежней руки из плоти и крови. С радостью приобрел я факсимиле письма, написанного этим славным немецким Робин Гудом, хоть и не мог его прочитывать: старый вояка лучше владел мечом, нежели пером.

Спустившись вниз по берегу реки, увидели мы и Квадратную башню. Это почтенное строение весьма неприступно и весьма безобразно на вид. Внизу оно вовсе лишено входа. Очевидно, чтобы проникнуть в него, приставляли лестницу.

Побывали мы и в главном соборе, также чрезвычайно оригинальном старинном здании с высоким шпилем в виде башни, украшенной причудливыми изваяниями. В соборе по стенам висят большие медные таблицы с выгравированными надписями, прославляющими добродетели гейльброннских мужей, живших тому назад два-три столетия; рядом — грубо размалеванные портреты отцов города и их семейств, разодетых в чудные наряды своего времени. На первом плане изображен глава семейства, а за ним ряд быстро уходящих вдаль и уменьшающихся ростом его сыновей. Напротив сидит его супруга, а за ней длинный ряд так же уменьшающихся ростом дочерей. Семейства, как правило, большие, но перспектива хромает.

Затем наняли мы тележку с клячей, служившей еще Гёцу фон Берлихингену, и отправились за несколько миль в замок, именуемый «Вайбертрой», что, насколько я понимаю, означает: «Верность жен». Этот расположенный в живописной местности средневековый замок стоит на кургане, или холме, удивительно правильной округлой формы, довольно крутом, футов в двести высотой. Так как солнце палило нещадно, мы не решились взобраться наверх и предпочли принять замок на веру, ограничившись осмотром на расстоянии, покуда наша лошадь отдыхала, привалясь к забору. Место это ничем не интересно, если не считать связанного с ним предания, очень поэтического, — впрочем, судите о нем сами.

ПРЕДАНИЕ

Жили в средние века два брата, два герцога, и случилось им в одну из войн биться друг против друга, так как один сражался за императора, а другой — на противной стороне. Одному из них и принадлежал тот замок и селение на вершине крутого холма. В его отсут-

ствие явился сюда другой брат со своими рыцарями и воинами и повел осаду. Дело затянулось, так как жители защищались стойко и упорно. Но вот все припасы кончились, и в лагере осажденных начался голод; людей косили не так вражеские ядра, как голодная смерть. Наконец осажденные вынуждены были сдаться на милость неприятеля. Однако принц, руководивший осадой, был крепко сердит на них за долгое сопротивление; он сказал, что никого не помилует, кроме женщин и детей, — мужчины будут казнены, и все их достояние уничтожено. Тогда женщины пришли к победителю и, плавно, стали умолять, чтобы их мужьям оставили жизнь.

— Нет, — сказал принц, — ни один из них не уйдет живой; да и сами вы с детьми отправитесь в изгнание, лишитесь крова и друзей. Однако, чтобы вы не умерли с голоду, так и быть, окажу вам милость: пусть каждая возьмет с собой из дому столько ценного имущества, сколько сможет унести.

Вскоре ворота растворились, и из замка вереницей потянулись женщины, неся на спине *своих мужей*. Разгневанные этой хитростью, неприятельские солдаты хотели накинуться на них и перебить всех мужчин, но герцог остановил их, сказав:

— Нет, вложите мечи в ножны, ибо слово принца нерушимо.

К нашему возвращению в харчевню на Круглом столе короля Артура уже сверкала белая скатерть, и обер-кельнер со своим первым помощником, оба во фраках и белых шейных платках, завязанных бантом, внесли сразу и суп и жаркое.

Заказывал обед мистер Икс; когда подали вино, он взял бутылку, посмотрел на ярлык, потом на торжественно-похоронную физиономию обер-кельнера и заметил ему, что заказывал другую марку. Обер-кельнер тоже взял бутылку, окинул ее взглядом могильщика и сказал:

— Вы правы, прошу прощения. — И, обратившись к помощнику, невозмутимо прибавил: — Принесите другой ярлык!

Недолго думая, сорвал он с бутылки свеженаклеенный ярлык и отложил его, а как только принесли новый, наклеил его вместо сорванного. Превратив таким образом французское вино в немецкое выбранной клиентом марки, обер-кельнер преспокойно перешел к исполнению других своих обязанностей, словно такое чудотворство было для него привычным делом.

Мистер Икс очень удивился: он и не подозревал, что есть честные люди, проделывающие такие чудеса на глазах у всех, хотя ему прекрасно известно, сказал он, что сотни тысяч ярлыков ежегодно экспортируются из Европы в Америку, а это дает возможность крупным поставщикам снабжать покупателей по дешевке и без хлопот всеми марками заморских вин, на какие только будет спрос.

После обеда мы прошлись по городу и убедились, что при луне он не менее интересен, чем при дневном освещении. Повсюду узкие улочки и булыжные мостовые, нигде ни тротуаров, ни фонарей. Дома, стоящие веками, поместительны, как гостиницы. Кверху они расширяются: чем выше этаж, тем больше он выступает вперед на три стороны, а длинные ряды освещенных окон с частым переплетом, задернутых белыми муслиновыми, с узорчатым шитьем занавесками и украшенных снаружи цветочными ящиками, немало способствуют впечатлению нарядности и уюта. В небе стояла яркая луна, и от этого внизу резче становились свет и тени; трудно представить себе нечто более живописное, чем эти извилистые улочки с рядами высоких нависающих фронтонов, близко склоняющихся друг к другу, словно для того, чтобы посудачить по-соседски, и чем эти толпы людей, проплывающие попеременно то через пятна густого мрака, то через полосы лунного света. Почти весь город высыпал на улицу; в толпе переговаривались, пели, резвились, а иные, стоя в небрежных удобных позах, благодушествовали на крылечке.

На одной площади стояло какое-то общественное здание, обнесенное толстой ржавой цепью, провисающей между столбиков правильными фестонами. Мостовая здесь выложена большими плитами. Орава босоногих ребятишек с веселым криком качалась на цепях

в ярком свете луны. Они не первые придумали эту забаву, даже их пра-пра-прадеды, будучи детьми, не первые ее придумали. Босые ножки, отталкиваясь от земли, выбили глубокие ямки в каменных плитах, — только многие поколения резвящихся детей могли это совершить. Повсюду в городе заметны черты упадка и тления, сопутствующие старости и говорящие о ней; но ничто, по-моему, так убедительно не свидетельствует о древности Гейльбронна, как эти истертые детскими ножками каменные плиты.

Глава XIII

Рано ложимся спать. — Одиночество. — Нервное возбуждение. — Меня изводит мышь. — Старое средство. — Результаты. — Мне не удается уснуть. — Путешествие в темноте. — Разгром.

Как только мы вернулись в гостиницу, я завел шагомер и положил его в карман, так как завтра был мой черед носить его при себе и высчитывать пройденные мили. Работа за истекший день вряд ли сильно его утомила.

Мы легли в десять часов, собираясь выступить на заре в обратный путь. Я ворочался с боку на бок, а Гаррис, по обыкновению, мгновенно заснул. Терпеть не могу людей, которые засыпают, едва положат голову на подушку; в этой черте есть что-то трудно определимое, что воспринимается если не как прямое оскорбление, то как бестактность, и такая, что с нею нелегко мириться. Я лежал, растравляя в себе чувство обиды и стараясь уснуть; но чем больше я старался, тем дальше убегал от меня сон. В темноте и скучном тет-а-тет с непереваренным обедом я томился безысходным одиночеством. Понемногу заработал и мозг, вернувшись к началу всех начал, к истокам всего, что когда-либо волновало ум человеческий; впрочем, дальше начала дело и не пошло; это была игра в пятнашки, мысли с лихорадочной торопливостью перескакивали с одного на другое. Не прошло и часа, как в голове у меня все

смешалось в невообразимый хаос, я измучился, изнемог.

Усталость моя была так велика, что в конце концов победила даже нервное возбуждение; мне казалось, что я не сплю, а между тем я то и дело впадал в минутное забытие, от которого вдруг пробуждался с содроганием, едва не выворачивавшим мне суставы, и с чувством, будто я лечу стремглав с высокого обрыва. После того как я семь-восемь раз летал с обрыва и таким образом убеждался, что одна половина моего мозга семь-восемь раз впадала в сон, меж тем как вторая, неспящая и напряженно работающая, и не подозревала о том, — минутные провалы сознания постепенно распространились и на остальную территорию моего мозга, и я наконец погрузился в дремоту, становившуюся все глубже и глубже и уже готовую перейти в полное блаженное тупое оцепенение, — как вдруг... но что же это было?

Мои притупившиеся чувства с огромным усилием частично вернулись к жизни и насторожились. И вот где-то, в необозримой дали, возникло что-то, что постепенно росло, и росло, и приближалось, и наконец объявилось как звук, — а я было принял это за нечто вполне осязаемое. Звук то слышался где-то за мило, — это, быть может, ропот грозы; то поближе, не больше чем за четверть мили, — уж не заглушенный ли это лязг и скрежет невидимой машины? Нет, звук приближается, — так, значит, размеренный топот марширующих войск? Но он все ближе и ближе, он уже рядом, в комнате... Да это просто мышь, грызущая деревянный плинтус! И из-за такой-то ерунды я боялсядохнуть!

Ладно, упущенного не вернешь, зато теперь я усну, наверстаю потерянное время. Я подумал это, не подумав. Против воли, сам того не желая, я начал вслушиваться в этот назойливый звук, чуть ли не отсчитывая про себя каждый скрип мышиного сверла. Вскоре занятие это стало даже доставлять мне мучительное наслаждение, и я мог бы стерпеться с ним, если бы мышь работала не отвлекаясь; но негодница то и дело прекращала возню, и самым мучительным было — напряженно ждать и прислушиваться, когда она опять возьмется за

свое. В то же время я мысленно назначал за мышь награду — в пять, шесть, семь, десять долларов; наконец мне стали мерещиться и вовсе уже несообразные цифры, далеко превосходящие мои действительные возможности. Я пытался наглухо задрать уши, согнув их пополам, а потом сложив раз в пять-шесть и прижав к слуховому отверстию, — но ничего не достиг: нервность так обострила мой слух, что, уподобившись микрофону, я отлично слышал сквозь все препятствия.

Мой гнев обратился в бешенство, и я поступил, как поступали все мои предшественники, начиная с Адама: я решил запустить в мышь чем-нибудь тяжелым. Я нагнулся за башмаками и, присев на постели, прислушался, стараясь определить, откуда идет звук. Но это оказалось невозможно, он был неуловим, как трескотня сверчка: когда вы думаете, что он здесь, можете быть уверены, что он совсем в другом месте. Я бросил башмак наудачу, и надо сказать — не пожалел сил. Он ударился в стену, как раз над головой Гарриса, и свалился прямо на него; я и не рассчитывал забросить его так далеко. Башмак разбудил Гарриса, и я уже обрадовался; однако Гаррис ничуть не рассердился, и мне стало стыдно. Хорошо, что он сразу же уснул. Тут мышь опять принялась скрестить, и снова во мне зашевелилась ярость. Я не хотел вторично будить Гарриса, но от мыши никакого спасенья не было — пришлось запустить в нее и вторым башмаком. На этот раз я угодил в зеркало; их было два в комнате, и я, конечно, разбил то, что больше. Гаррис опять проснулся, но не выразил недовольства, чем окончательно меня обескуражил. Я решил стоически перенести все муки, лишь бы не потревожить его в третий раз.

Мышь, должно быть, убралась восвояси, и я незаметно задремал, но тут пробили часы. Я отсчитывал удары, пока звон не прекратился, и опять забылся сном; но тогда зазвонили другие часы, и я снова принялся считать; а потом и ангелы на ратуше, дуя в свои длинные рога, начали издавать нежные мелодические звуки. Никогда я не слышал ничего более прекрасного и таинственно-заунывного, но когда они зарядили трубить каждые четверть часа, я решил, что это уж слишком.

Каждый раз, как я на минутку забывался, меня будил новый шум. И каждый раз я не находил своего одеяла и вынужден был искать его на полу.

Наконец сон мой совсем разогнало. Я примирился с фактом, что мне так и не удастся заснуть. Сна ни в одном глазу, и хочется пить, и бьет лихорадка. Я ворочался с боку на бок, пока не догадался, что самое лучшее — одеться, пойти в ближайший сквер, умыться у фонтана, покурить и провести остаток ночи в размышлениях.

Я думал, что смогу одеться впопыхах, не беспокоив Гарриса. Правда, гоняясь за мышью, я куда-то забросил башмаки, но по летнему времени, и притом ночью, можно было обойтись домашними туфлями. Итак, я тихонько встал и мало-помалу натянул на себя все, за исключением одного носка. Анафемский носок как сквозь землю провалился. Однако я должен был его найти; я стал на четвереньки, надев одну туфлю на ногу, а другую держа в руке, и осторожно пополз вперед, загребая вокруг себя руками, — но безуспешно! Я стал постепенно расширять круги, все так же шаря и загребая руками. Половицы немилосердно трещали подо мной. И всякий раз, как мне случалось наткнуться рукой на какой-нибудь предмет, он производил в тридцать пять или тридцать шесть раз больше шума, чем если бы это было днем. И всякий раз я останавливался и, затаив дыхание, прислушивался, не проснулся ли Гаррис, и, убедившись, что он спит, продолжал елозить по полу. Я ползал и ползал, но проклятый носок так мне и не попадался, попадалась только мебель. Ложась спать, я даже не заметил, что в комнате полно мебели, особенно стульев — что ни шаг, то стул, — уж не въехали ли сюда тем временем две-три семьи? А из стульев ни один не подвернулся мне под руку, зато я то и дело ударялся о них с размаху головой. Мое раздражение росло медленно, но верно, и, продолжая шарить вокруг себя, я нет-нет давал ему выход в негромком, но выразительном замечании.

Наконец, в припадке язвительной злости, я сказал себе, что обойдусь без носка. Итак, я встал и решительно направился к двери... я думал, что к двери, но

наткнулся на собственный призрачный образ в уцелевшем зеркале. На миг у меня перехватило дыхание; кроме того, я только сейчас понял, как безнадежно я заплутался; я понятия не имел, где я. Убедившись в этом, я так обозлился, что вынужден был сесть на пол и за что-нибудь ухватиться, я чувствовал — сейчас я такого наговорю, что небу станет жарко. Если бы в комнате было одно зеркало, оно помогло бы мне сориентироваться, но в том-то и дело, что их было два, а два — это все равно что тысяча; да еще они висели на противоположных стенах. Я различал смутные пятна окон, но в голове у меня было все вверх дном, я помещал их не туда, где им полагалось быть, и окна больше путали меня, чем помогали.

Я встал с пола и сшиб какой-то зонтик; упав на гладкий, скользкий, ничем не покрытый пол, он загремел, как пистолетный выстрел; я стиснул зубы и замер... Слава богу, Гаррис не шевелится. Я снова приставил зонтик к стене тихо и осторожно, но едва отвел руку, как он полетел с тем же грохотом на пол. Я весь сжался и минуту прислушивался со сдержанной яростью, — но нет, никто не проснулся, все безмолствовало. Тогда я, рассчитывая каждое движение, приставил зонтик к стене и отвел руку — он опять повалился на пол.

Я воспитан в строгих правилах, но если бы в этой пустынной обширной комнате не царила торжественная, зловещая тишина, я бы наверняка обмолвился двумя-тремя словцами из тех, что не рекомендованы к употреблению в душеспасительных брошюрах, как не способствующие их продаже. Когда б мои умственные способности не были истощены до предела пережитыми испытаниями, мне бы и в голову не пришло ставить зонтик острым концом на гладкий, как стекло, немецкий пол, да еще в таких потемках — это и днем-то удастся разве что в одном случае из пяти. Некоторое утешение у меня все же оставалось: Гаррис не шевелился, он крепко спал.

Зонтик не мог служить мне ориентиром — их стояло в комнате целых четыре, и все как есть одинаковые. Я решил пойти вдоль стены и нащупать дверь. Встав

на ноги, я приступил к этой операции, но тут же сорвал с крюка картину. Картина была небольшая, но шуму она наделала, точно целая панорама. Гаррис и на этот раз не пошевелился, но я понимал, что если так и пойду швыряться картинами, то обязательно его разбужу. Пожалуй, решил я, не стоит выходить на улицу. Отыщу-ка лучше Круглый стол короля Артура — я уже несколько раз натыкался на него, он и послужит мне базой для экспедиций по розыску моей кровати; найдя кровать, я найду на умывальнике кувшин с водой, — по крайней мере утолю жажду и заваюсь спать. Итак, я отправился в путь ползком, потому что ползти значительно быстрее и надежнее — можно не бояться что-нибудь опрокинуть. Я нашел все-таки стол — темным, — потер ушибленное место, встал и постарался, вытянув руки и растопылив пальцы, устоять на ногах. Сперва я наткнулся на стул, потом на стену, потом на другой стул, потом на диван, потом на альпеншток и другой диван, — это сбilo меня с толку: мне помнилось, что в комнате один диван. Опять я добрался до стола и наново пустился в поиски: еще какие-то стулья.

Тут я спохватился, что стол круглый — и, следовательно, не может служить исходной базой; а потому я расстался со столом и, пробираясь наудачу в лабиринте стульев и диванов, забрел в незнакомые края, где умудрился сбросить подсвечник с каминной полки; спасая подсвечник, я сбросил лампу; спасая лампу, сбросил кувшин, и он со звоном полетел на пол. «Ага, голубчик, — подумал я, — вот я и нашел тебя! Я знал, что ты где-то рядом!» Но тут Гаррис завопил: «Караул, режут!» и: «Держи вора!», а закончил словами: «Спасите, тону!»

Падение кувшина подняло на ноги весь дом. Первым пригарцевал мистер Икс в длинной ночной рубаше, со свечой в руке, а за ним юный Зет, также со свечой; в другую дверь ввалилось целое шествие, кто со свечой, кто с фонарем, — хозяин и двое немцев-постояльцев в своих длинных рубашах, и горничная в своей.

Я огляделся. Я оказался у постели Гарриса, за целый квартал от моей постели. В номере был только один диван, он стоял у самой стены, и один стул посреди комнаты, на который можно было наткнуться, — я вра-

щался вокруг него, как планета, и сталкивался с ним, как комета, добрую половину ночи.

Я объяснил, что и как здесь произошло. После чего отряд под началом хозяина гостиницы благополучно отбыл, а наш отряд занялся приготовлениями к завтраку, потому что уже начало рассветать. Я мельком взглянул на шагомер — оказалось, я сделал за ночь сорок семь миль. Но я нисколько не огорчился, — для чего же я и ехал сюда, если не для путешествия пешком?

Глава XIV

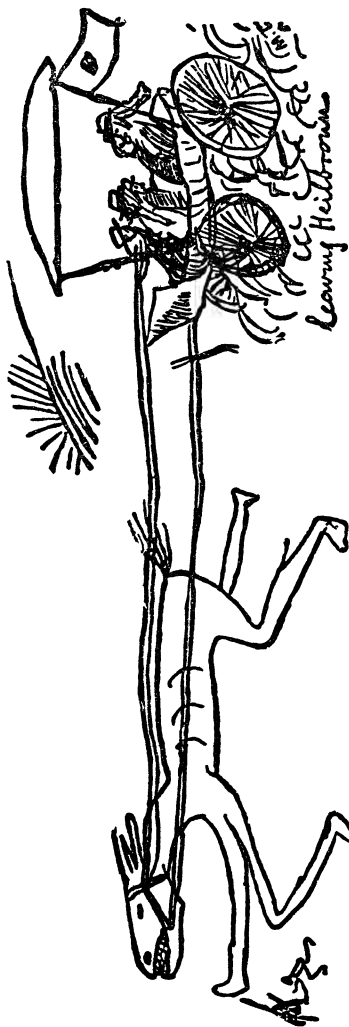
Великолепный выезд. — Плоты на Неккаре. — Внезапная идея. — В Гейдельберг на плоту. — Восхитительное путешествие. — Прибрежные виды. — Сравнение с железной дорогой.

Когда наш хозяин узнал, что я и мои товарищи — художники, он проникся к нам уважением; услышав же, что мы путешествуем пешком по Европе, он зауважал нас еще больше.

Он рассказал нам все, что можно было рассказать о дороге в Гейдельберг, о том, какие места лучше обойти стороной, а где подольше задержаться; взял с меня за разбитые ночью предметы меньше, чем они стоили; попотчевал нас напоследок превосходным завтраком, присовокупив к нему целую гору светло-зеленых слив, которыми Германия славится; он так пекся о нас, что не хотел и слышать, чтобы мы пешком отбыли из Гейльбронна, и распорядился подать для нас лошадь и тележку Гёца фон Берлихингена.

Я зарисовал этот славный выезд. Разумеется, на это не надо смотреть как на «работу», а лишь как на «этюд», по выражению художников, — своего рода заготовку для будущей картины. В моем наброске немало погрешностей, как то: тележка не поспевает за лошадью, — это серьезный недостаток; далее — фигурка, убегающая с дороги, явно мала: она, как мы говорим, вне перспективы; две верхние линии легко смешать с лошадиной спиной, а между тем это вожжи; в тележке

как будто не хватает колеса, что, разумеется, будет исправлено в законченной работе. Та штука, что развевается сзади, не флаг, а занавеска. Та, что повыше, — солнце, но здесь не в должной мере чувствуется расстояние.



Сейчас я уже не припомню, что изображает штука, находящаяся впереди бегущего человека, — стог ли сена, или женщину. Мой этюд был выставлен в Парижском «Салоне» в 1879 году, но не был удостоен медали: за этюды не награждают медалями.

Подъехав к мосту, мы отпустили свой экипаж. Вся река была забита плавучим лесом — длинными тонкими ободранными сосновыми стволами; мы стояли на мосту и, облокотясь на его перила, наблюдали, как плотовщики вяжут плоты. Здесь это делают на особый лад, принимая во внимание извилистое течение и очень узкое русло Неккара. Плоты — от пятидесяти до ста ярдов длины и постепенно сужаются: от девяти бревен в ряд на корме до трех на носу. Управляют плотом с помощью длинного шеста, главным образом стоя на носу,

причем здесь уместается только один плотовщик — ведь каждое бревно в обхват не толще девичьей талии; отдельные звенья свободно соединены друг с другом, что и позволяет плоту маневрировать по извилинам прихотливого течения.

Неккар местами так узок, что с берега на берег можно перебросить собаку — надо только иметь ее; если в этих узких горловинах встречаются крутые повороты, то плотовщику зевать не приходится. Реке не всегда позволяют разлиться по всему руслу, доходящему до тридцати — сорока метров ширины; местами она перегорожена каменными дамбами на три равных потока, причем основная масса воды, наибольшая сила течения и глубина приходятся на среднее русло. При спаде воды эти аккуратные, узкие поверху дамбы вершка на четыре-пять выступают наружу, наподобие конька затопленной крыши; в половодье их совсем заливают. Довольно шайки воды, чтобы вызвать в Неккаре заметный подъем воды, и ведра, чтобы она вышла из берегов.

Такие дамбы имелись и против нашего «Шлосс-отеля». Я часами просиживал в своей стеклянной клетке, наблюдая, как длинные узкие плоты скользят по главному каналу, задевая правобережную дамбу и тщательно нацеливаясь на средний пролет в каменном мосту ниже по течению; я терпеливо следил за каждым плотом, мечтая увидеть, как он врежется в устой моста и разлетится на части, но неизменно терпел разочарование. Как-то один из плотов все же разбился, но я, к сожалению, прозевал это зрелище, так как уходил в номер закурить.

Когда я в то утро стоял на Гейльброннском мосту и глядел на плоты, во мне вдруг заговорил демон предприимчивости, и я сказал своим спутникам:

— Что до меня, то я еду в Гейдельберг на плоту. Кто со мной?

Они слегка побледнели, и все же каждый из них с напускным спокойствием вызвался меня сопровождать. Гаррис только решил сперва протелеграфировать матери: он счел это своим долгом, так как он ее последняя опора в этом мире; а пока он бегал на почту,

я подошел к самому длинному и внушительному плоту и окликнул его капитана дружеским «Здорово, моряк!» — чем сразу установил с ним приятельские отношения, и мы стали толковать о деле. Я рассказал ему, что мы направляемся пешком в Гейдельберг, так не подвезет ли он нас в качестве платных пассажиров. Объяснялся я с ним отчасти через посредство юного Зета, свободно говорившего по-немецки, а отчасти через мистера Икса, изъяснявшегося по-немецки весьма своеобразно. Сам я отлично понимал немецкую речь — не хуже того сумасшедшего, что изобрел ее, но сговориться с немцем мне легче всего через переводчика.

Капитан подтянул штаны и задумчиво перекинул во рту табачную жвачку. Затем он сказал то, что и должен был сказать, по моим расчетам, — а именно, что у него нет разрешения возить пассажиров, и он боится, как бы его не притянули, если дойдет до начальства или если случится что непредвиденное. Пришлось мне зафрахтовать плот вместе с его экипажем и принять всю ответственность на себя. Весело распевая, вахта принялась за работу; матросы, выстроившись по штир-борту, дружными усилиями вытянули канат, подняли якорь, и наше судно величественно двинулось по реке, развив скорость до двух узлов в час.

Наша компания собралась посреди корабля. Сначала разговор носил мрачноватый характер — толковали больше о быстротечности жизни, о ее ненадежности, об опасностях, подстерегающих человека, и о том, что мудрость учит нас быть готовыми к худшему; поминали, понизив голос, коварство слепой пучины и тому подобные материи; но по мере этого как серый восток разгорался и таинственная тишина и торжественность предрассветного часа уступали место птичьему ликованию, наш разговор становился веселее, и мы воспрянули духом.

Германия летом — венец всего прекрасного, но кто не спускался с плотовщиками по Неккару, тот не уразумел, не ощутил, не прочувствовал всех оттенков этой сладостной и мирной красоты. Движение плота — это движение в чистом виде: незаметное, скользящее, плавное и бесшумное, оно успокаивает лихорадочную су-

матопшливость, усыпляет нетерпение и нервную спешку. Под его умиротворяющим воздействием отступают преследующие нас заботы, огорчения и печали, и бытие становится сном, очарованием, глубоким созерцательным экстазом. Это плавное скольжение не похоже ни на изнурительную ходьбу по жаре, ни на тряску в удушливом, пыльном, грохочущем вагоне, ни на утомительную скачку в коляске на измученных лошадях по спешащим белизной дорогам.

Мы бесшумно скользили мимо благоуханных зеленых берегов, испытывая все нарастающее чувство покоя и довольства. Местами берег прятался за непроницаемыми зарослями ив; порою нас провожали с одной стороны величавые холмы, одетые густолиственным лесом, а с другой — открытые равнины, пламенеющие яркими маками или синеющие васильками; иногда мы заплывали в тень дубрав, а потом скользили мимо обширных выгонов, поросших свежей бархатистой травой, зеленой и сверкающей, — неистощимое очарование для глаз. А птицы! Они были повсюду; то и дело шныряли они над рекой взад и вперед, и их ликующее щебетание ни на минуту не смолкало.

Какое наслаждение, какая отрада — видеть, как солнце творит новое утро и постепенно, терпеливо, любовно одевает его все новой и новой прелестью, все новым и новым великолепием, пока чудо не завершено. И насколько величественней это таинство, когда наблюдаешь его с плота, а не из пыльного окошка, затерянного в глуши железнодорожного полустанка, где ты в ожидании поезда грызешь окаменелый бутерброд.

Глава XV

Вниз по реке. — Обязанности немецких женщин. — Купание с плота. — Девочки в ивняке. — Обед на борту. — Легенда «Пещеры с привидением». — Крестоносцы.

Мужчины, женщины и скот уже трудились на полях по утренней росе. То и дело кто-нибудь подсаживался к нам, когда мы скользили вдоль зеленых берегов, про-

езжал ярдов сто и, посудачив с нами и с командою, возвращался, освеженный прогулкой, на берег.

Но только мужчины; женщинам — недосуг. Чего только они не делают! Они жнут и сеют, они молотят и веют; они перетаскивают на закорках чудовищные тяжести или перевозят не менее чудовищные грузы на тачках куда-нибудь на край света; когда нет у них собаки или коровенки, они сами впрягаются в тележку, когда есть — впрягаются им в помощь. Возраст роли не играет — чем старше бабка, тем она, смотришь, крепче. В деревне у женщины нет определенных обязанностей, и она берется за все; иное дело в городе: тут у нее свой круг обязанностей, остальное возложено на мужчину. Например, в гостинице горничная всего-навсего убирает постели, разводит огонь в пяти-шести десятках каминов, приносит полотенца и свечи, натащивает несколько тонн воды, разнося ее по нескольким этажам, пинт по сто зараз, в исполинских медных кувшинах. Работы у нее не больше как на восемнадцать — двадцать часов в сутки, а если устанет и захочет отдохнуть, никто не мешает ей стать на колени и вымыть пол в коридорах и чуланах.

Утро разгоралось, солнце пригревало все сильнее. Мы сбросили верхнюю одежду, уселись рядом на край плота, раскрыли зонты и, болтая ногами в воде, любовались видами. Время от времени кто-нибудь из нас бросался в воду поплавать и понырять. На каждой вдающейся в реку зеленой косе расположилась своя группа голых ребятишек, мальчики и девочки отдельно, — девочки обычно под материнским присмотром какой-нибудь женщины постарше, устроившейся со своим вязанием под тенью дерева. Мальчики подплывали к нам, а девочки, стоя в воде по колени, на минуту переставали брызгаться и резвиться, чтобы проводить наш плот невинным взглядом. Как-то на крутом повороте мы застigli врасплох тоненькую девочку лет двенадцати, как раз входившую в воду. Бежать было поздно, но она с честью вышла из положения: быстро заслонилась гибкой ивовою веткой и, придерживая ее рукой, воззрилась на нас с простодушным, беспечным любопытством. Так она стояла, пока мы плыли мимо. Она

была восхитительна и со своей ивовой веткой являла прелестную картину, которая не оскорбила бы скромности и самого чопорного зрителя. Молодой зеленый ивняк по низкому берегу хорошо оттенял белизну ее кожи, а сквозь кусты и над кустами светились оживленные личики и белые плечики двух девочек поменьше.

К полудню мы услышали радостный возглас:

— Судно впереди!

— Где? — отозвался капитан.

— С наветренной стороны, в трех румбах от носа!

Мы бросились вперед, стремясь увидеть приближающееся судно. Оказалось, пароходик. С мая по Неккару начало курсировать первое паровое судно. Это был буксир весьма странного устройства и вида. Я часто наблюдал его с балкона и, не замечая у него ни колес, ни винта, удивлялся, как он движется. Буксир подходил, вспенивая воду и согрбая воздух оглушительным грохотом, который еще усиливали частые хриплые гудки. Он вел за собой девять плашкоутов, растянувшихся по реке длинной стройной вереницей. Мы встречались с ним в узком проходе между дамбами, где едва можно было разминуться. Пока буксир, кряхтя и пыхтя, проходил мимо, мы разглядели, в чем секрет его движения. Судно двигалось вверх по реке не с помощью колес или винта, а подтягивалось, наматывая огромную цепь, проложенную по речному дну. Длинной она в семьдесят миль, и только оба ее конца закреплены. Цепь проходит через нос корабля, набирается на лебедку и выпускается наружу с кормы. Буксир подтягивается по цепи и таким образом плывет вверх или вниз по течению. У него нет ни носа, ни кормы в обычном смысле слова, а только на обоих концах по рулю с большим пером. Буксир никогда не поворачивает кругом. Оба руля действуют одновременно и обладают достаточной силой, чтобы забирать вправо, влево и маневрировать вдоль излуцин, невзирая на сильное сопротивление, оказываемое цепью. Я бы не поверил, что такая вещь возможна, но я видел это собственными глазами и потому знаю, что по крайней мере одна

невозможная вещь — возможна. Какое еще небывалое чудо сотворит теперь человек?

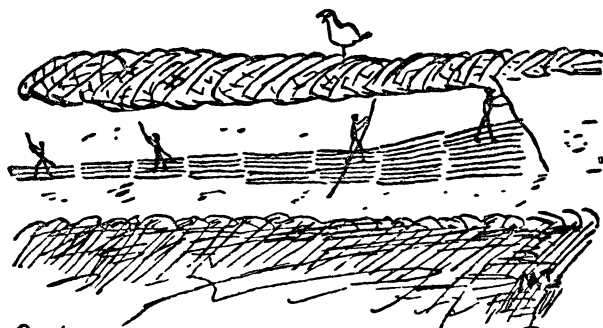
Попадались нам и большие плашкоуты, шедшие вверх по реке при помощи парусов, мулов и ругани — трудное и хлопотливое дело! Стальной канат тянется от передней топ-мачты к упряжке мулов, бредущей гуськом по бечевнику ярдах в ста впереди, и артель погонщиков, не жалея побоев, божбы и понуканий, кое-как ухитряется выжимать из нее от двух до трех миль в час против сильного течения. Неккар издавна служит каналом для переброски грузов, он кормит немало людей и животных; но теперь, когда новый буксир, довольствуясь небольшим экипажем и одним-двумя бушелями угля, проводит девять барж вверх по реке за один час несравненно дальше, чем это сделали бы тридцать человек и тридцать мулов за два часа, — теперь предполагают, что тягловый промысел дышит на ладан. Уже спустя три месяца после первого был спущен на воду и второй буксир.

В полдень мы пристали к берегу и, пока плот нас дожидался, запаслись несколькими бутылками пива и заказали жареных кур, после чего опять пустились в плавание и сели закусывать, покуда пиво не согрелось, а куры не остыли. Трудно вообразить себе что-либо более приятное, чем такой обед на плоту, скользящему по излучинам Неккара мимо зеленых лугов, лесистых холмов и сонных деревень, мимо неприступных утесов, увенчанных осыпающимися башнями и бойницами.

В одном месте увидели мы немца, изрядно одетого, но без очков. Не успел я распорядиться отдать якорь, как уже и след его простыл. Я очень пожалел об этом, мне так хотелось увековечить его в эскизе. Но капитан уверил меня, что потеря невелика: хитрец, разумеется, припрятал очки в кармане и не носит их только для пущего эффекта.

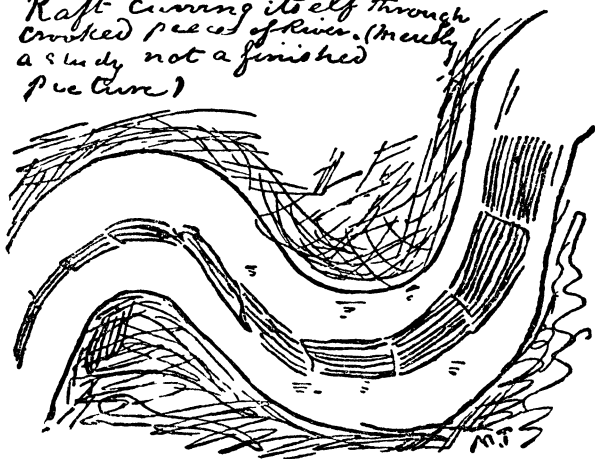
Пониже Гасмерстейма увидели мы Горнберг, старинный замок Гёца фон Берлихингена. Он стоит на крутом холме, на высоте двести футов над уровнем реки; высокие стены увиты диким виноградом, а из-за них выглядывают деревья и остроконечная башня

Bird waiting for a Fish, a
Common Spectacle.
(Perspective of Bird not correct.)



Raft coming down between Stone Dikes.

Raft coming itself through
crooked piece of River. (Merely
a study not a finished
picture)



По Неккару на плоту

в семьдесят пять футов высотой. Крутой откос от замка до самого берега разделан в виде террас и густо засажен виноградными лозами, — это все равно что выращивать что-нибудь на кровле мансарды. На этом побережье каждый уступ, обращенный к солнцу, отдан винограду. Вся местность славится своим рейнским вином. Немцы в восторге от рейнского вина; они разливают его в высокие, стройные бутылки и очень ценят как приятный напиток. По наклейке его можно отличить от уксуса.

Через холм, где стоит Горнберг, предполагают проложить туннель, и под замком пройдет новая железная дорога.

ПЕЩЕРА С ПРИВИДЕНИЕМ

В двух милях от Горнберга, в невысокой скале, есть пещера, где, по словам нашего капитана, некогда скрывалась прекрасная наследница Горнберга — госпожа Гертруда. Было это семьсот лет назад. Немало богатых и знатных рыцарей искали ее руки, среди прочих женихов — бедный и худородный рыцарь Вендель Лобенфельд. По упрямству, присущему всем героиням рыцарских романов, прекрасная Гертруда предпочла бедного и худородного почитателя более достойным женихам. И по здравому разумению, присущему всем отцам таких героинь, фон Берлихинген тех времен запер дочь в подземелье, или в каземат, или в карцер, или что там у него было на такой случай, поклявшись не выпускать ее, покуда она не изберет себе супруга среди знатных и богатых почитателей. Те навещали ее в заточении и донимали своим искательством, но тщетно: сердце ее было отдано презренному и нищему крестоносцу, бившемуся с сарацинами в Святой Земле. Наконец дева решила, что довольно ей терпеть докучные приставания богатых женихов, и как-то ночью, в грозу и бурю, бежала — спустилась вниз по реке и укрылась в пещере на другом берегу. Отец обыскал всю округу, но так и не напал на ее след. Проходил день за днем, а от дочери все нет и нет вестей; несчастного отца стала мучить совесть, и он велел огласить,

что, если дочь его жива и вернется, он не станет больше ей противиться, — пусть выходит за кого угодно. Но проходили месяцы, и надежды оставили старика; он отказался от былых своих занятий и забав, посвятил себя делам благочестия и только в смерти видел теперь избавление.

А между тем каждую ночь, ровно в двенадцать, пропавшая без вести наследница Горнберга стояла в белых одеждах у входа в пещеру и пела любовную балладу, которую сочинил для нее крестоносец.

Она рассудила, что, если милый вернется жив и невредим, суеверные крестьяне в тот же час расскажут ему о привидении, поющем в пещере; и когда ему перескажут эту балладу, которую знали только они оба, он догадается, что милая его жива, и придет сюда искать ее. Время шло, и жителями тех мест овладел великий страх перед привидением из таинственной пещеры. Говорили, будто каждого, кому выпало несчастье услышать его пение, постигала та или другая неудача. Вскоре любую беду, какая случалась в той местности, стали приписывать окаянному пению. Ни один лодочник больше не решался проехать ночью мимо пещеры, крестьяне же и днем обходили ее стороной.

Верная дева пела ночь за ночью, месяц за месяцем, не уставая ждать: она верила, что награда ее не минует. Прошли долгие пять лет, а все так же каждую ночь, ровно в двенадцать, звуки жалобной песни лились над притихшей землей, и лодочники и крестьяне, заслышав ее издалека, затыкали уши и с содроганием шептали молитву.

Но вот крестоносец вернулся, бронзовый и весь в шрамах, венчанный славой, которую он мечтал сложить к ногам любимой. Старый владетель Горнберга принял его, как сына, просил не покидать его, быть утешением и благословением его старости; однако рассказ о преданности девушки и о горестной ее судьбе так подействовал на рыцаря, что он стал сам не свой: он не мог наслаждаться заслуженным покоем; он говорил, что сердце его разбито, что он отныне посвятит себя высоким подвигам человечности и, обретя достой-

ную смерть, воссоединится с верным сердцем той, чья любовь служит ему к чести больше, чем все одержанные победы.

Когда люди прослышали о его решении, они пришли к крестоносцу и рассказали, что в таинственной пещере обитает свирепый дракон во образе человека, страшилище, с которым еще не отважился сразиться ни один рыцарь, — и просили избавить страну от злой напасти. На что рыцарь сказал им, что он так и сделает. Поводали ему и о песне; но, когда он пожелал узнать, как эта песня поется, то услышал в ответ, что она уже забыта, так как за последние четыре года, если не больше, никто не отважился внимать ей.

Незадолго до полуночи крестоносец спустился в лодке по реке, держа в руках свой верный лук. Лодку бесшумно сносило по быстрине среди туманных отражений деревьев и скал, а он все не сводил глаз с невысокого утеса, к которому приближался.

Подплыв совсем близко, увидел он черное устье пещеры. Но что это там, не белая ли тень? Да, это она! А тут полилась жалобная песнь и далеко разнеслась по лугам и волнам... И вот медленно наставляется лук, берется точный прицел, послушная стрела летит по назначению, — тень, не обрывая песни, клонится и никнет; и рыцарь, вынимая из ушей комки шерсти, слышит знакомые слова — увы, слишком поздно!.. Ах, зачем только он заткнул шерстью уши!

Крестоносец снова ушел в поход и вскоре пал в бою во славу Креста. По преданию, дух несчастной девушки еще не одно столетие ночь за ночью пел, ровно в полночь, у входа в пещеру, но теперь песня никому не несла беды; и хотя многие пытались подслушать таинственное пение, редко кому было даровано это счастье, ибо слышать его мог лишь тот, кто ни разу не нарушил верности. В народе ходит слух, будто и сейчас еще не смолкло это пение, но доподлинно известно, что в этом столетии никто не удостоился слышать его.

Старинная рейнская легенда. — Стихотворение «Лорелей». — Печальная судьба графа Германа. — Слова песни и мелодия. — Различные переводы. — Курьезные выдержки.

Это предание приводит мне на память другую легенду — легенду о Лорелей, родившуюся на Рейне. Существует и песня под названием «Лоредей».

Германия богата народными песнями, их слова и мелодии порой на редкость красивы, но особенно любимы в народе «Лорелей». Вначале я не находил в ней ничего хорошего, но постепенно она пленила и мое сердце, и теперь это мой любимейший напев.

Не думаю, чтобы «Лорелей» была широко известна в Америке, иначе я бы, верно, раньше с ней познакомился. Но то, что я не познакомился с ней раньше, доказывает, что и многим в моем отечестве так же не повезло, как и мне; ради них-то я и хочу привести здесь текст и мелодию песни. А чтобы освежить ее в памяти читателя, привожу заодно и легенду о Лорелей. Кстати она у меня под рукой, в сборнике «Рейнских сказаний», переложенных на английский язык все тем же неистощимо гениальным Гарнемом, Бакалавром Искусств. Я выписываю ее отчасти и затем, чтобы освежить и в собственной памяти, поскольку я ее никогда не читал.

ЛЕГЕНДА

Лóра (или Лóре) была речная нифма, имевшая обыкновение сидеть над Рейном на высокой скале, именуемой Лей, или Ляй (сравни с английским lie — враки), и заманивать беспечных лодочников в бурные водовороты, нарушающие здесь плавное течение Рейна. Зачарованные ее грустным пением и чудной красотой, они забывали все на свете, глядели только на нее и, подхваченные стремниной, гибли, разбиваясь об острые рифы.

В те времена седой древности жил неподалеку в своем величественном замке граф Бруно с сыном —

графом Германом, юношей лет двадцати. Наслышавшись о необычайной красоте Лоры, Герман воспылал к ней страстью, хотя никогда ее не видел. Вечерами он бродил окрест скалы Лей с цитрою в руках, изливая, по словам Гарнема, «свое Томление в тихом Пенье». Во время одной такой прогулки он «внезапно увидел на вершине скалы некое сияние несравненной яркости и цвета, которое постепенно сужающимися кольцами наконец сгустилось в чарующий образ красавицы Лоры».

«Невольный крик радости вырвался у юноши, он выронил цитру и, простирая руки, громко возглашал имя загадочного Существа, что, казалось, ласково к нему клонилось и дружески его манило; более того — если уши не обманывали его, она тоже выкликала его имя неизъяснимо сладостным шепотом, приличествующим любви. Вне себя от блаженства, юноша потерял Сознание и без сознания рухнул на землю».

После этого Герман стал неузнаваем. Равнодушный ко всему, бродил он по замку погруженный в мечты, упиваясь грезами о своей волшебнице. «Старый граф с сокрушением наблюдал сии перемены в сыне», но причина их оставалась ему неясна; он старался отвести его мысли в более светлое русло, но безуспешно. Тогда старый граф решил прибегнуть к родительской власти. Он приказал сыну отправиться в военный лагерь. Сын дал обещание. Вот что говорится дальше у Гарнема:

«Накануне отъезда пожелал он ввечеру вновь навестить Лей, чтобы вознести на алтарь нимфы свои Вздохи, Звуки своей Цитры и свои Песни. В своей лодке, на этот раз в обществе своего верного оруженосца, поплыл он вниз по реке. Луна изливала окрест свой серебряный Свет; крутые прибрежные холмы представлялись Герману фантастическими чудовищами, а высокие дубы по обоим берегам склоняли к нему свои могучие Ветви. Едва они достигли Лея, как попали в буруны; охваченный неизъяснимой тревогой, слуга молил пристать к берегу, однако Рыцарь ударил по струнам своей Гитары и запел:

Ты мне явилася во тьме ночной,
Сияя невозможною красой,
Фигурой сотканная из лучей,
А волосы соперничают с ней.

В одеждах цвета горлинки крыла
Рукою знак любви мне подала,
И сладостных очей очарованье
Сулит мне — о! — надежду на свиданье.

О милая, дозвожь припасть к твоим ногам,
Блаженство мы разделим пополам,
Когда в твой влажный дом меж скалами
Сойду я преданным вассалом».

Уже то, что Герман отправился в это гиблое место, было безрассудно; но то, что при этом он распевал такие куплеты, было и вовсе непростительной ошибкой. На этот раз Лорелей не стала «выкликать его имя неизъяснимо сладостным шепотом». Нет, злосчастная песня произвела в ней «внезапные и резкие перемены»; да и не только в ней: даже у оскорбленной природы перевернулось все нутро, ибо —

«Едва разнеслись те звуки, как всюду вокруг слышался шум и ропот, будто зазвучали голоса над и под водой. На Лее вспыхнуло пламя, Волшебница, как и в тот раз, парила над ним, отчетливо и настойчиво маня ослепленного страстью Рыцаря правой рукой, меж тем как жезлом, зажатым в левой, она заклинала воды. Река вздулась к небесам; невзирая на все усилия, лодка опрокинулась; волны перехлестывали через борт, и, ударившись о твердые камни, Лодка разлетелась в Щепки. Юношу поглотила пучина, оруженосца же выбросило на берег мощной волной».

Лорелею уже много веков клянут на чем свет стоит, но в данном случае ее поведение, надо признать, заслуживает всяческой похвалы. Поневоле чувствуешь к ней симпатию и прощаешь ей все прегрешения в память о том добром деле, которым она увенчала и завершила свою карьеру.

«С той поры никто не видел Волшебницу; но ее пленительное пение многие слышали и после. В прекрасные прохладительные ночи, когда луна изливает по Окрестности свой серебряный свет, лодочник слы-

пит в бурлящих струях отраженный Звук ее чарующего голоса, поющего в хрустальном замке, и со страхом и сожалением вспоминает он юного графа Германа, оболыщенного Нимфой».

Стихотворение Генриха Гейне «Лорелей» положено на музыку. Эту песню Германия распевает уже сорок лет и будет петь вечно — быть может.

У меня издавна зуб на людей, которые приводят иностранные тексты и не поясняют их тут же переводом. Предположим, что читатель — это я; если автор надеется, что я и сам разберусь, то он, конечно, льстит моему самолюбию, — но пусть он лучше позаботится о переводе, а я, так и быть, поступлюсь самолюбием.

Дома мне было бы нетрудно раздобыть перевод стихов, — но я за границей, где это невозможно, а потому я и решился взяться за дело сам. Едва ли мой перевод хорош — стихи не по моей части, но он вполне отвечает цели, которую я себе ставлю: дать несведущей в немецком девице рифмованные строчки, к которым она могла бы прицепить мелодию, — хотя бы до той поры, пока ей не подвернется перевод получше, сделанный настоящим поэтом, умеющим передать поэтическую мысль иностранного писателя средствами своего языка.

ЛОРЕЛЕЙ

Что значит, не пойму я...
Тоскою душа смятена.
Тревожит меня неотступно
Старинная сказка одна.

Прохладно. Все светом вечерним
Таинственно озарено.
Вершины гор над Рейном
Закатное пьют вино.

На троне — прекрасная дева,
А трон — высокий утес.
Пламенеет колец ее жарче
Червонное золото кос.

Расплела золотые косы
И песню поет она,
Которая неодолимой,
Чарующей силы полна.

Гребца в его маленькой лодке
Та песня зовет и манит.
Не видит он пенных бурунов,
Он только на деву глядит.

Погибнет гребец неизбежно
В лодочке утлой своей,
Погибнет, плененный песней
Волшебницы Лорелей¹.

Есть у меня и перевод Гарнема, Бакалавра Искусств, напечатанный в тех же «Рейнских сказаниях», но он не подходит для упомянутой цели, так как царственно небрежен в размере: стих у него не соответствует мотиву; концы строчек местами повисают, а местами обрываются, не заполнив музыкального такта; и все же у перевода Гарнема свои крупные достоинства, и я нахожу нужным отвести ему место на страницах моей книги. По-моему, этот стихотворец еще неизвестен в Америке и Англии, и я с тем большим удовольствием представляю его читателю, что мне принадлежит честь его открытия.

ЛОРЕЛЕЙ

(Перевод Л. У. Гарнема, Бакалавра Искусств)

Что это значит такое,
Зачем я душой удручен?
Уму моему не дает покоя
Сказка из старых времен.

Холоден воздух, стемнело,
А Рейн преспокойно течет в тишине.
Верхушка горы заалела
В вечернем заката огне.

Сидит на горѣ красотка.
Роскошно здесь, в высоте.
Наряд ее блещет, из золота соткан,
Чешет она золотые волосы те.

Чешет их золотою гребенкой
И песню поет она,

¹ Перевод Н. Вольпин.

А песня волшеббно-звонкой
Мелодией звучна.

Пловца в его лодке неистово
Уже тоска томит.
Он рифа не видит кремнистого,
Он ввысь и ввысь глядит.

Утонут в пучине разом
Пловец с ладьей своей —
Сгубила его, не сморгнувши глазом,
Коварная Лорелей¹.

Трудно представить себе перевод более близкий. Он передает все факты, и в должной последовательности. Количественно в нем ничего не упущено. Он лаконичен, как накладная. Таким и должен быть перевод, ему надлежит точно передавать мысль подлинника. Вам не спеть «Роскошно здесь, в высоте» — этот стих не укладывается в мотив, и петь его небезопасно; зато он с неотступной точностью передает «Dort oben wunderbar», он пригнан, как пластырь. Переложение мистера Гарнема обладает и другими достоинствами — сотней достоинств, — но незачем перечислять их все. Читатель сам их откроет.

Ни один специалист не должен воображать себя монополистом. И у Гарнема есть соперник. Мистер Икс познакомил нас с книжицей, которую он приобрел во время пребывания в Мюнхене. Называется она «Каталог картин Старой Пинакотекки» и написана на самобытнейшем английском наречии.

Я позволю себе привести оттуда несколько выдержек:

«Воспрещается пользоваться означенной работой для публикаций подобного же рода или же для самовольной перепечатки оной».

«Вечерний ландшафт. На переднем плане возле пруда и купы белых берез ведет тропинка, оживленная прохожими».

«Ученый муж в циничной драной одежде, с открытой книгой в руке».

¹ Перевод Н. Вольпин.

«Св. Варфоломей и его Палач с ножом для учинения мученической кончины».

«Портрет молодого человека. Долго почитался портретом Бинди Альтовити; ныне иными знатоками выдается за самописанный автопортрет Рафаэля».

«Сусанна, купающаяся, застигнута двумя старцами; на заднем плане побивание осужденного камнями».

(«Побивание» — очень хорошо; куда изящнее, чем «избиение».)

«Св. Рок, сидящий на ландшафте с ангелом, воззрившимся на его язвы, меж тем как пес с хлебом в зубах услужает ему».

«Весна. Богиня Флора, сидящая. Позади плодоносная долина, орошаемая рекой».

«Чудный букет, оживленный майскими жуками, и прочее».

«Воин в лаптях (разумей: «латах») с пенковой трубкой в руке прислонился к столу и в ус себе дует».

«Голландский ландшафт по течению судоходной реки, орошаемой до самого заднего плана».

«Несколько крестьян поют в хижине. Женщина из чашки дает выпить ребенку»..

«Голова св. Джона отроком — писано аль фреско по кирпичу (разумей: «штукатурке»).

«Молодой человек из семейства Риччо с волосами, остриженными на концах, одетый в черное и в той же шапочке. Приписывается Рафаэлю, но подпись недовостоверна».

«Дева с Младенцем. Написано слишком в манере Сассофферато».

«Кладовая с овощами и стреляной дичью, оживленные кухонной девкой и двумя поварами».

Впрочем, варварскому английскому языку этого каталога не уступает надпись на картине, попавшейся мне в Риме:

«Виды Апокалипсиса: Св. Джон на острове Паттерсона» (разумей: «Патмос»).

А плот, знай, бежит по волнам.

Еще одна легенда. — Непобедимое чудовище. — Огнетушитель одерживает победу. — Рыцарь требует награды. — Опасное плавание. — Плот дает течь. — Наконец на твердой земле. — Ночные тревоги.

Не доезжая милю другую до Эбербаха, мы увидели оригинальную развалину, выступающую из листвы на маковке высокого и очень крутого холма. То были остатки полуразрушенных каменных стен, отдаленно напоминавшие человеческие силуэты: два соседа пригнулись друг к другу и, соприкасаясь лбами, беседуют. Ничего внушительного, живописного, да и было их всего ничего, — но это не мешало им носить название «Очковтирательские руины».

ЛЕГЕНДА «ОЧКОВТИРАТЕЛЬСКИХ РУИН»

Капитан плота, — а он собаку съел в истории, — поведал нам, что в средние века жил в этих местах огромный огнедышащий дракон, и он докучал народу не хуже, чем сборщик налогов. Длинной он был с поезд и весь, как полагается, покрыт непроницаемой зеленой чешуей. Дыхание его несло мор и пожары, а его аппетит нес голод. Он без разбору пожирал людей и скотину и так всем осточертел, что и сказать невозможно. Царствовавший тогда император отдал обычный приказ: кто убьет дракона, может требовать, чего душа захочет. У императора, понимаете, имелись в преизбытке дочери, и уж так повелось от веку, что убийца дракона просил себе в награду царскую дочку.

Со всех четырех сторон стекались достойные витязи и один за другим ретировались в пасть к дракону. Поднялась паника. Герои стали осторожнее. Поток приезжих иссяк. Дракон лютовал пуще прежнего. Жители потеряли надежду на избавление и бежали в горы, спасая свою жизнь.

Но вот герр Виссеншафт, бедный и безвестный паладин, прибыл из далеких краев сразиться с чудовищем.

Хлипкий из себя — глядеть не на что, доспехи висят лохмотьями, а за спиной престранной формы ранец. Все перед ним задирали нос, а кто и открыто смеялся. Но рыцарь был невозмутим. Он только спросил, в силе ли еще высочайший приказ. Император сказал, что в силе, но, жалеючи его, посоветовал ему отправиться бить зайцев и не рисковать своей драгоценной жизнью в попытке, ради которой поплатились головой славнейшие храбрецы мира.

— А были среди них ученые? — спросил бродяга. Тут все, конечно, хохотать, — ученость в те времена была не в большом почете. Бродягу, однако, это не смутило. Он сказал, что сам он, правда, несколько опередил свой век, но ничего не значит, — ученых будут уважать рано или поздно. Он сказал, что завтра же выйдет на дракона. Кто-то протянул ему из сострадания изрядное копьё, но бродяга от него отказался со словами: «Копьё не для ученых». Его отвели в людскую, накормили и положили спать на конюшне.

Утром он собрался в поход, и толпы народа вышли проводить его. Император сказал:

— Одумайся, возьми копьё, а ранец оставь.

Но бродяга только буркнул себе под нос:

— Это не ранец! — и без долгих слов отправился в путь.

Дракон уже поджидал его, готовый к бою. Он извергал густые клубы сернистого дыма и багровое пламя. Рыцарь-бродяга исхитрился занять удобную позицию, отстегнул свой цилиндрической формы ранец — это был обыкновенный, хорошо известный нам теперь огнетушитель, — улучил минутку, прикрутил кишку и пустил в дракона струю, целясь прямехонько в пасть, в самую серединку. Огонь в мгновение погас, дракон съежился и тут же издох.

Этот человек умел шевелить мозгами! У себя в лаборатории он выводил драконов из яиц, выхаживал их, как родная мать, изучал и, пока они росли, терпеливо производил над ними всякие опыты. Таким образом он установил, что огонь — основной жизненный принцип дракона; загасите его огонь, и дракон уже не сможет пускать пары, он должен издохнуть.

Но копьем не загасишь огня, а потому он изобрел огнетушитель. Услышав, что дракон убит, император пал герою на грудь и сказал:

— Избавитель, объяви свою просьбу! — при этом он каблуком просигналил дочерям, что пора им построиться всем взводом и выступить вперед. Но бродяга на них и не глянул. Он только сказал:

— Просьбишка моя в том, чтобы мне было отдано на откуп производство очков и продажа их по всей Германии.

Услышав это, император отскочил, как ошпаренный.

— Пустяки просьбишка! — вознегодовал он. — Клянусь моим величием, первый раз вижу такого нахала! Ты бы уж кстати попросил у меня все доходы моей императорской казны!

Но слово монарха есть слово монарха, пришлось сдержать его. Ко всеобщему удивлению, бескорыстный монополист сразу же так сильно сбавил цену на очки, что население, стонавшее от лютых поборов, вздохнуло свободнее. Император же в ознаменование столь великодушного начинания, а также в доказательство высочайшей милости издал приказ, предписывавший всем и каждому покупать очки у названного благодетеля и носить их, хотя бы и без всякой надобности.

Так возник и распространился по Германии обычай носить очки; а поскольку обычаи, однажды установившиеся в этих отсталых странах, укореняются навек, то и этот властвует в империи по сей день.

Такова легенда некогда величественного пышного замка, воздвигнутого монополистом и ныне известного потомству под именем «Очковтирательские руины».

В двух-трех милях ниже «Очковтирательских руин» миновали мы целую группу крепостных сооружений, возвышавшихся на правом берегу, на гребне величественного холма. Высокая передняя стена, протянувшаяся на двести ярдов, густо заросла плющом, а над крышами строений высятся три живописных старинных башни. Замок содержится в образцовом порядке, в нем живет некая княжеская фамилия. И здесь есть своя легенда, но я ее умышленно опускаю, так как

не могу поручиться за достоверность некоторых второстепенных ее деталей.

Целое полчище итальянских рабочих взрывало переднюю линию холмов для прокладки новой железной дороги. Работы производились на высоте пятидесяти — ста футов над уровнем реки. Наш плот только что вышел из-за крутого поворота, как они начали махать нам и кричать, чтобы мы остерегались взрывов. Очень мило, что нас предупредили, но что могли мы сделать? Плот не повернешь вверх по реке, не прогонишь его быстрее вниз по реке, при такой ширине русла не возьмешь в сторону, да и под отвесными скалами на другом берегу не укроешься, — там, очевидно, тоже производились взрывы. Наши возможности, как видите, были ограничены, — нам ничего не оставалось, как только молиться и наблюдать.

Мы уже несколько часов делали по три с половиной, по четыре мили в час и теперь шли на той же скорости. Пока эти люди не стали нам кричать, мы шли очень резво, но в течение ближайших десяти минут плот, казалось мне, полз, как черепаха. Я еще не видел, чтобы плот так медленно двигался. Когда ударило первый раз, мы заслонились зонтиками и стали ждать, что будет. Но обошлось благополучно, ни один камень не упал в воду. За первым взрывом последовал второй, а потом и третий и четвертый. В реку посыпалось немного щебня — как раз у нас за кормой.

Мы двигались под обстрелом батареи из девяти орудий, паливших попеременно, одно за другим. Это была, что и говорить, самая беспокойная и хлопотливая неделя, какая выпала мне в жизни на суше или на море. Мы то и дело хватались за шесты и секунду-другую отпихивались, но всякий раз, как в воздухе поднимался столб пыли и щебня, каждый из нас бросал шест и, устремив глаза к небу, ждал своей доли неприятностей оттуда. Ну и попали же мы в переделку! Гибель казалась неизбежной, но не это огорчало нас: унижительный характер смерти, лишенной героического ореола, — вот где было жало; да еще мысль о нелепой фразе в извещении о похоронах: «Пал на плоту, сраженный камнем». Никто не оплачет такую смерть

в стихах. Стихи тут просто неуместны. В самом деле, что может быть глупее:

Не в жаркой битве, на славном посту —
Он камнем сражен на плоту.

Ни один уважающий себя поэт не станет связываться с такой темой. Меня просто отметят как единственную «заметную личность», которая в 1878 году сошла в могилу без сопроводительного сонета.

Но мы спаслись, и я ни разу не пожалел об этом. Последний взрыв был особенно сильным, но после того как нас обдало градом щебня и мы уже спешили поздравить друг друга со счастливым избавлением, запоздалый камень изрядных размеров рухнул как раз в центре нашей группы и раздавил один зонтик. Больше пострадавших не было, но это не помешало всем нам тут же плюхнуться в воду.

По-видимому, здесь на тяжелых работах в каменоломнях и на прокладке нового пути заняты по преимуществу итальянцы. Это явилось для меня новостью. У нас в Штатах сложилось мнение, будто итальянцы боятся тяжелого труда и зарятся на легкий хлеб: вертеть ручку шарманки, драть глотку на оперных подмостках или убивать людей. Но мы явно заблуждались.

По всей реке, у каждой деревушки, мы видели новенькие станционные здания будущей железной дороги. Они были уже закончены и только ждали рельсов и деловой страды. Аккуратные, уютные и нарядные, они казались игрушечными. Все они сложены из камня или кирпича, все изящной постройки, все уже сейчас увиты виноградом и обсажены цветами, и даже трава вокруг них кажется особенно свежей и зеленой, — видно, что она заботливо ухожена. Эти домики не портят пейзажа, а скорее подчеркивают его прелесть. Где бы вы ни увидели кучу гравия или щебня, она сложена тщательно и аккуратно, как свежий могильный холмик или пирамида пушечных ядер. Ни у станционных зданий, ни на строящемся полотне, ни на подъездных дорогах — нигде не заметите вы и намека на грязь и запустение. Тот образцовый

порядок, в котором содержится вся страна, заключает в себе и некую мудрую практическую пользу, ибо это обеснечивает работой тысячи людей, которые иначе предавались бы праздности и бесчинству.

Надвигался вечер, и капитан хотел стать на причал, но я надумал заночевать в Гиршгорне, и мы продолжали плыть. Вскоре небо обложило тучами, и капитан воротился к нам встревоженный. Показав на небо и покачав головой, он сказал, что поднимается сильный ветер. Мои спутники желали высадиться немедленно, поэтому я настаивал на том, чтобы ехать дальше. Так или иначе, сказал капитан, паруса надо убавить, этого требует простое благоразумие. Плотовщику с левого борта было приказано сложить свой шест. Тем временем стемнело, ветер начинал крепчать. Он завывал в раскачивающихся ветвях и сильными порывами налетал на наши палубы.

— Каким идем курсом, штурман? — спросил капитан плотовщика на переднем звене.

— Норд-ост, сэр!

— Клади румб!

— Есть, сэр!

— Какая глубина?

— Мелко, сэр! Два фута с бакборта и два с половиной с штирборта!

— Клади еще румб!

— Есть, сэр!

— Живее, ребята, пошевеливай! Придержите его с подветренной стороны!

— Есть, сэр!

Началась дикая беготня, и топот, и хриплая ругань, но фигуры людей тонули в темноте, а звуки заглушал и путал ветер, завывавший в штабелях гонта. Река вздулась и с минуты на минуту грозила затопить наше утлое суденышко. Прибежал помощник и, наклонясь к уху капитана, взволнованно захрипел:

— Приготовьтесь к худшему, сэр, у нас пробоина!

— Силы небесные! Где?

— Как раз за вторым звеном!

— Только чудо может нас спасти! Смотри — никому ни слова, а то начнется паника и бунт! Держи

к берегу да готовься, как пристанем, прыгнуть с кормовым концом. Господа, попрошу и вас помочь мне в эту минуту опасности. У вас есть шляпы, берите их и вычерпывайте воду не жалея сил!

В густой темноте налетел новый грозный шквал, обдавший нас дождем брызг.— И в этот критический момент откуда-то с переднего края послышался самый страшный крик изо всех, какие только раздаются на море:

— *Человек за бортом!*

— Клади налево! — заорал капитан. — Плевать мне на человека! Пусть лезет на борт или добирается вброд!

Ветер донес к нам новый крик:

— Впереди буруны!

— Где?

— На длину бревна от носа по левому борту!

Мы ощупью пробились вперед, оступаясь на скользких бревнах, и с яростью отчаяния принялись вычерпывать воду, но тут сзади раздался испуганный окрик помощника:

— Прекратите там, ко всем чертям, черпать воду, а то как раз сядем на мель!

И следом за этим радостный возглас:

— Земля у транца, по правому борту!

— Спасены! — вскричал капитан. — А теперь прыгай на землю, крепи конец за дерево и кидай его сюда!

В следующую минуту мы были уже на берегу, от радости лили слезы и обнимались под ушатами дождя. Капитан сказал, что он — старый морской волк, сорок лет плавает по Неккару, видел на своем веку не один шторм, от которого у человека кровь стынет в жилах, но ничего похожего на этот шторм он в жизни не видел. Его слова прозвучали для меня чем-то очень знакомым. Я не раз плавал по морю, и от каждого капитана слышал примерно то же.

Мы тут же сочинили обычный благодарственный адрес, проголосовали его в первую же удобную минуту и, запечатлев на бумаге, поднесли капитану с приличествующим случаем спичем.

Целых три мили шлепали мы под проливным летним дождем в непроницаемой тьме и только к одиннадцати вечера дотащились до «Таверны Натуралиста» в деревне Гиршгорн, разбитые пережитыми испытаниями, усталостью и страхом. Мне никогда не забыть эту ночь.

Хозяин трактира, человек состоятельный, обошелся с нами крайне бесцеремонно, чтобы не сказать — грубо, — благо, он мог себе это позволить; ему не хотелось вылезать из теплой постели и открыть нам дверь. Все же его домочадцы впустили нас и на скорую руку приготовили нам поесть. Чтобы не схватить чахотку, мы сварили себе пунш. Закусив и подкрепившись пуншем, мы еще часок посидели и покурили, вновь переживая все перипетии сегодняшней морской баталии и обсуждая дальнейшие планы, после чего разошлись по своим уютным и опрятным спальням, где нас уже ждали удобные кровати со свежим бельем и прабабушкиными наволочками, украшенными необычайно тонкой и замысловатой ручной вышивкой.

Такие спальни с удобными кроватями и вышитым бельем столь же часто встречаются в Германии, сколь редко встречаются они у нас. Нашей деревне есть чем похвалиться перед немецкой: у нас так много всяких преимуществ, удобств, успехов и усовершенствований, что и не перечесать, — но гостиницы не входят в этот список.

«Таверна Натуралиста» — не случайное название, в нем есть свой резон и смысл; по всем коридорам и комнатам стоят здесь большие стеклянные шкафы с чучелами всевозможных зверей и птиц; искусно набитые, со стеклянными глазами, они предстают в необычайно живых, выразительных и драматических позах. Едва мы улеглись, как дождь перестал и выглянула луна. Я задремал, созерцая чучело большой белой совы, вперившейся в меня пристальным взглядом, словно говорившим: «Где-то я тебя встречала, только не припомню, где и когда». Юному Зету пришлось еще хуже. Он уже собрался забыться блаженным сном, как вдруг луна спугнула тени на стене и

открыла его взорам кошку на полочке, — мертвая и бездыханная, она припала к земле, как будто приготовилась к прыжку; каждый ее мускул был напряжен, стеклянные глаза сверкали и не отрываясь глядели на юношу. Зет почувствовал себя прескверно. Он зажмурился, но какой-то инстинкт все время побуждал его посмотреть, не готовится ли эта тварь напасть на него, — да, кошка глаз с него не сводила. Он поворачивался к ней спиной, но и это не помогало: ведь он знал, что она продолжает сверлить его мрачным взглядом. Промучившись часа два в неослабной тревоге и безуспешных попытках как-то защититься, он наконец встал и выставил кошку в коридор. На этот раз победа осталась за ним.

Глава XVIII

Завтрак в саду. — Старый ворон. — Гиршгорнский замок. — Верхненемецкий язык. — Что я узнал о студентах. — Хороший немецкий обычай. — Гаррис практикуется в нем.

Утром мы, по чудесному немецкому обычаю, завтракали в саду, под деревьями. В воздухе было разлито благоухание цветов и диких животных, — все живое поголовье зверинца при «Таверне Натуралиста» кишело вокруг нас. Были тут большие клетки с порхающими и щебечущими заморскими птицами, и клетки еще бóльшие, и совсем уж большущие вольеры из проволоочной сетки, населенные четвероногими, как отечественными, так и заморскими. Были и звери на свободе — кстати сказать, весьма общительные. По всей лужайке носились вприпрыжку белые кролики и то и дело подбегали к нам и обнюхивали наши башмаки и гетры; молодая лань с красной ленточкой на шее подходила и бесстрашно рассматривала нас; куры и голуби редчайших пород выпрашивали крошек, а старый бесхвостый ворон прыгал тут же со смиренно-смущенным видом, как бы говорившим: «Не обессудьте на неудачном декольте. Ведь это могло бы приключиться и с вами, так будьте же снисходительны». Если

кто смотрел на него слишком уж пристально, он забирался в укромный уголок и выходил, только удостоверясь, что внимание гостя отвлечено чем-нибудь другим. Никогда я не видел, чтобы бессловесная тварь была так болезненно самолюбива. Баярд Тэйлор, с его несравненной способностью читать смутные мысли животных и вживаться в их нравственные представления, уж верно нашел бы средство рассеять меланхолию незадачливого старикана; но мы, не обладая тем же чутким даром, вынуждены были предоставить во-рона его горестям.

После завтрака мы лазили на холм — осмотреть древний Гиршгорнский замок и развалины соседней церкви. Стены церкви украшены изнутри забавными старинными барельефами: высеченные в камне властители Гиршгорна в полном вооружении и владетельные гиршгорнские дамы в живописных придворных костюмах средневековья. Все эти памятники былого заброшены и обречены на разрушение, так как последний граф фон Гиршгорн уже двести лет как сошел в могилу и некому печься о сохранении фамильных реликвий. В алтаре показали нам каменную витую колонну, и наш капитан тут же поведал нам ее легенду, — легенды из него так и сыплются; но я не стану приводить ее здесь, так как единственное, что в ней внушает доверие, это что герой собственноручно скрутил колонну винтом, — раз крутнул, и готово! Все остальное в легенде сомнительно.

Гиршгорн особенно хорошо виден, если смотреть с отдаления, когда спустишься вниз по реке. Тогда гроздя его коричневых башен, прилепившихся к маковке зеленого холма, и древние зубчатые стены, взбегающие по травянистым склонам, чтобы перешагнуть за гребень и исчезнуть в море листвы позади, являют картину, от которой глаз не оторвешь.

Выйдя из церкви, мы долго спускались по крутой каменной лестнице, прихотливо сворачивающей то туда, то сюда вдоль узких проходов, образуемых сучеными грязными деревенскими домишками. Весь околоток, по-видимому, перенасыщен уродами, чума-зыми, лохматыми крестинами; они косятся на вас

исподлбья и, протягивая руку или шапку, жалобно просят подаяния. Разумеется, не все здешние жители кретины, но такими казались все просившие подаяния и так их нам рекомендовали.

Мне вздумалось прокатиться на лодке в ближайший город Неккарштейнах; итак, я спустился вниз к реке и спросил первого встречного, не сдаст ли он нам внаймы лодку. Должно быть, я говорил на верхненемецком языке, принятом в высших сферах, — во всяком случае, таково было мое намерение, — потому он и не понял меня. Уж я вертел и крутил свою фразу, стараясь подгадать к его уровню, но безуспешно. Он никак не мог взять в толк, что мне от него нужно. Но тут подоспел мистер Икс, стал против этого человека, испытующе глянул ему в глаза и со всей возможной уверенностью и бойкостью оглоушил его следующей фразой;

— Can man boat get here? ¹

Моряк сразу понял его и сразу ответил. Я еще могу сообразить, почему он уразумел эту фразу: случайно все ее слова, за исключением слова «get» (раздобыть), звучат одинаково по-немецки и по-английски и означают одно и то же. Но как он умудрился постичь последовавшую далее сентенцию мистера Икса — выше моего разумения! Я приведу ее ниже. Мистер Икс на минуту отвернулся, и я спросил моряка, не найдется ли у него доски, — хорошо бы сделать в лодке дополнительное сидение. Я говорил на чистейшем немецком наречии, но мог бы с тем же успехом говорить на чистейшем чокто. Моряк изо всех сил старался понять меня, — видно было, каких усилий это ему стоит; убедившись наконец, что все бесполезно, я сказал ему:

— Ладно, не трудитесь, как-нибудь обойдемся.

И тогда мистер Икс повернулся к нему и повелительно сказал:

— Machen Sie a flat board ².

¹ Может человек раздобыть здесь лодку? (*искаженный английский*)

² Сделайте (*нем.*) плоскую доску (*англ.*).

Пусть в моей эпитафии напишут обо мне голую правду, если этот человек не ответил мгновенно, что он сейчас же пойдет за доской, — вот только закурит трубку, которую он в ту минуту набивал.

Впрочем, ему не пришлось бежать за доской, так как наше намерение покататься на лодке тут же отпало. Я привел здесь оба замечания мистера Икса буква в букву. В первом случае четыре слова из пяти английские, и то, что они совпали с немецкими, — чистая, непреднамеренная случайность; во втором же случае три из пяти слов — английские, и только английские, а остальные два хоть и немецкие, но в данной связи смысла фразы нисколько не проясняют.

Икс всегда говорил с немцами по-английски, его особая метода заключалась в том, чтобы строить фразу задом наперед и вверх тормашками, как полагается у немцев, и слегка пересыпать ее немецкими словами несущественного значения — исключительно для букета. Тем не менее все его понимали. С нашими сплавщиками, изъяснявшимися на диалекте, он сговаривался даже в тех случаях, когда пасовал молодой Зет, а тот уж на что был сведущ в немецкой премудрости! Правда, Икс говорил с апломбом, — возможно, это и помогало. А может быть, диалект, на котором изъяснялись сплавщики, и есть пресловутый *platt-Deutsch*, и английский им, в сущности, ближе, нежели язык иного немца. Ведь англичане, даже посредственно знающие по-немецки, без труда читают очаровательные рассказы Фрица Рейтера на *platt-Deutsch*, так как многие слова совпадают с английскими. Я думаю, не тот ли это язык, который наши предки саксы завезли с собой в Англию? Хорошо бы при случае потолковать об этом с каким-нибудь собратом филологом.

Тем временем, как мы узнали, рабочие, взявшиеся законопатить пробойну в нашем плоту, установили, что никакой пробойны в нем нет, а есть только обычная щель между бревнами, нисколько не опасная, какой там и быть надлежит, а что в пробойну ее превратило расстроенное воображение помощника, — вследствие чего мы преспокойно вернулись на плот и без особых

приключений продолжали наше плавание. Пока плот бесшумно скользил вдоль живописных берегов, мы, обмениваясь впечатлениями, завели разговор о нравах и обычаях Германии и других стран.

Теперь, по прошествии многих месяцев, когда я пишу эти строки, мне ясно, что каждый из нас путем усердных наблюдений, расспросов и записей, производимых неукоснительно изо дня в день, умудрился накопить чрезвычайно разнообразный и обильный запас превратных сведений. Но это в порядке вещей: верных сведений вы не добьетесь ни в одной стране.

К примеру, в свое время в Гейдельберге я задался целью разузнать все, что касается пяти студенческих корпораций. Я начал с белых шапочек. Расспросил одного, другого, третьего из тамошних обывателей, и вот что узнал:

1. Эта корпорация именуется Прусской, потому что всем, кроме пруссаков, доступ в нее закрыт.

2. Она именуется Прусской просто так. Каждой корпорации заборорассудилось присвоить себе название одного из германских государств.

3. Она вовсе не именуется Прусской корпорацией, а только Корпорацией белых шапочек.

4. В нее допускается любой студент, если он немец по рождению.

5. Допускается любой студент, если он европеец по рождению.

6. Допускается любой студент-европеец, лишь бы он не был французом.

7. Допускается любой студент, где бы он ни родился.

8. Не допускается ни один студент не дворянского происхождения.

9. Не допускается ни один студент дворянского происхождения, если оно не установлено в трех коленах.

10. Дворянское происхождение необязательно.

11. Не допускается ни один студент без денежных средств.

12. Насчет денежных средств — вздор и чепуха, такого условия нет и не было.

Сведения эти я частично получил от самих студентов — студентов, не принадлежащих ни к одной корпорации.

В конце концов я обратился в штаб-квартиру, то есть к самым белым шапочкам. Собственно, полагалось бы начать с этого, но у меня еще не было среди них ни одного знакомого. Но и в штаб-квартире меня ждали трудности: вскоре я убедился, что есть вещи, известные одному члену корпорации и неизвестные другому. Да оно и естественно: очень немногие члены знают о своей организации все, что можно знать. По моим наблюдениям, в Гейдельберге не найдется мужчины или женщины, которые не ответили бы уверенно и без запинки на три вопроса из пяти, какие может задать иностранец относительно Корпорации белых шапочек; но из трех ответов по меньшей мере два окажутся неверными.

Общераспространенный немецкий обычай — садясь за стол или вставая из-за стола, учтиво кланяться незнакомым людям. Новичок при таком поклоне так теряется от неожиданности, что того и гляди споткнется о стул или о какой-нибудь другой предмет, хотя ему в то же время и приятно. Вскоре он уже ожидает поклона и готов на него ответить, но взять инициативу в свои руки и поклониться первым робкий человек не так-то легко решится. «А что, — думается ему, — если я встану и поклонюсь, а этим дамам и джентльменам вдруг заблагорассудится презреть свой национальный обычай и они не ответят мне на поклон? Как я буду себя чувствовать, если я вообще это переживу?» Такие мысли убивают его решимость. И он пересидживает всех за столом, дожидаясь, чтобы немцы встали первыми и первыми поклонились. Сидеть за табльдотом — изводящая штука для человека, который мало до чего дотронется после первых трех перемен; сколько же томительных часов ожидания выпало на мою долю единственно из-за моих страхов! Чтобы убедиться в их неосновательности, мне понадобились долгие месяцы, и все же я в том убедился — на многочисленных опытах, которые ставил на мистере Гаррисе, моем агенте. Я каждый раз просил его встать, поклониться и уйти;

и ему неизменно отвечали на поклон, после чего я тоже вставал, кланялся и уходил.

Так мое образование успешно подвигалось вперед — легко и просто для меня, но не для мистера Гарриса. Ибо если я за табльдотом удовлетворялся тремя переменами, то мистер Гаррис был не прочь вкусить от тринадцати.

Но даже обрета полную уверенность и не нуждаясь больше в помощи своего агента, я порой испытывал трудности. В Баден-Бадене я однажды чуть не опоздал на поезд, так как не мог понять, немки или нет три девицы, сидевшие напротив за нашим столом, они за весь обед не проронили ни слова; а вдруг они американки, а вдруг англичанки, — еще нарвешься на скандал. Но пока я терялся в догадках, одна из молчаливиц, к моему великому облегчению, заговорила по-немецки; она и трех слов не успела сказать, как поклоны были отданы и милостиво возвращены, и мы благополучно ретировались.

Да и вообще в немцах чувствуется подкупающая приветливость. Когда мы с Гаррисом странствовали пешком по Шварцвальду, мы как-то забрели пообедать в сельский трактирчик; следом за нами вошли две молодые девушки и молодой человек и сели с нами за один стол. Как и мы, они были туристами, только у нас рюкзаки были привязаны за спиной, а у них всю поклажу нес юный крепыш, специально нанятый для этой цели. У всех у нас аппетит был зверский, всем было не до разговоров. Пообедав, мы разменялись обычными поклонами и пошли, каждая группа своей дорогой.

На другое утро мы сидели за поздним завтраком в Аллерхейлигене, когда та же компания вошла в зал и расположилась за столиком неподалеку; сперва они нас не заметили, но потом увидали и сразу же заулыбались и поклонились — и не официально, а как люди, довольные, что вместо чужаков встретили старых знакомцев. Они заговорили о погоде и о дорогах. Мы тоже заговорили о погоде и о дорогах. Затем они сказали, что отлично прогулялись, неезируя на погоду. Мы сказали, что то же самое было и с нами. Затем они сказали, что

накануне прошли тридцать английских миль, и полюбопытствовали, сколько прошли мы. Я не умею врать и потому препоручил это Гаррису. Гаррис сказал им, что мы тоже сделали тридцать английских миль. Собственно, так оно и было, мы их «сделали», — правда, не без подмоги здесь и там.

После завтрака, заметив, что мы стараемся вытянуть у немого служителя какие-нибудь сведения насчет дальнейшего маршрута и не слишком в этом преуспеваем, они достали свои карты и прочее и так понятно показали и объяснили нам весь маршрут, что даже нью-йоркский сыщик и тот бы не сбился с него. Когда же мы пустились в дорогу, они сердечно с нами попрощались и пожелали нам счастливого пути. Возможно, что они не стали бы так нянчиться со своим братом, немецким туристом, и к нам прониклись симпатией, как к одиноким путникам, заброшенным в чужую страну, — не знаю; знаю только, что было очень приятно оказаться предметом такого внимания, такой заботы.

И еще один случай: как-то вечером в Баден-Бадене пришлось мне проводить на фешенебельный бал некую молодую американку, как вдруг на лестнице нас остановил распорядитель; что-то в туалете мисс Джонс было не по правилам, чего-то не хватало — то ли гребня в волосах, то ли веера, то ли брошки, то ли плоски — уж не припомню. Распорядитель распаркивался перед нами и сокрушался, но пустить нас не мог — правило есть правило. Было крайне неприятно, на нас уже поглядывали. Но тут из зала вышла нарядно одетая молодая девушка, поинтересовалась, что произошло, и сказала, что это дело поправимое. Она забрала мисс Джонс в гардеробную и вскоре вывела ее оттуда в полном порядке, после чего мы с нашей благодетельницей невозбранно вошли в зал.

Теперь, когда мы были в безопасности, я начал путано излагать ей свою искреннюю признательность на немыслимом немецком языке, как вдруг мы узнали друг друга: я уже встречался с нашей благодетельницей в Аллерхейлигене. Две недели не изменили ее доброго лица, да и сердце у нее, по-видимому, было все то

же, но сегодняшний ее туалет был очень уж несхож с тем, в котором я тогда ее видел и в котором она выгуливала тридцать с лишком миль в день по Шварцвальду, — не мудрено, что я не сразу ее узнал. Правда, и на мне был мой лучший фрак, но меня-то узнал бы всякий, кто хоть раз слышал мой немецкий язык. Она позвала своего брата и сестру, и благодаря их стараниям вечер сошел для нас вполне благополучно.

И что же, много месяцев спустя, еду я по улицам Мюнхена на извозчичьих дрожках в обществе одной немки, и она мне говорит:

— Вот принц Людвиг с супругой — видите, прогуливаются.

Вся улица отвечивала им поклоны — от извозчиков до малых детей, и они отвечали на каждый поклон, стараясь никого не обидеть; как вдруг какая-то молодая женщина остановилась перед ними и сделала глубокий книксен.

— Очевидно, одна из статс-дам, — сказала моя приятельница немка.

— Что ж, она достойна этой чести, — сказал я. — Я знаю ее. Я не знаю ее имени, но ее-то я хорошо знаю. Я встречался с ней в Аллерхейлигене и в Баден-Бадене. Ей бы императрицей быть, если уж на то пошло, хотя, может, она всего-навсего герцогиня. Но так уж водится на белом свете.

Обратитесь к немцу с учтивым вопросом, и вы получите такой же учтивый ответ. Остановите прохожего на улице и попросите указать вам дорогу, и будьте уверены, он не выкажет ни малейшего недовольства. Если место это не легко найти, десять шансов против одного, что прохожий бросит свои дела и сам вас проводит. В Лондоне тоже не раз бывало, что совершенно чужие люди провожали меня несколько кварталов, чтобы указать дорогу.

В такой вежливости есть что-то настоящее. Нередко в Германии лавочники, когда я не находил у них нужного товара, посылали со мной служителя с наказом отвести меня туда, где этот товар продается.

В Неккарштейнахе. — Дильсбергский замок. — В крепостных стенах. — Самобытный уголок. — Древний колодец. — Легенда Дильсбергского замка. — Я сменяю рулевого. — Плот терпит крушение.

Но я отвлекся от плота. Мы своевременно причалили в Неккарштейнахе и сразу же отправились в гостиницу, где заказали на обед форель. Приготовить ее должны были к нашему возвращению из двухчасовой прогулки в деревню и замок Дильсберг, расположенные в одной миле от города, на том берегу. Это не означает, что за два часа мы рассчитывали пройти только две мили, отнюдь нет: это время мы намеревались посвятить осмотру Дильсберга.

Ибо Дильсберг своеобразное место. Он и расположен своеобразно и красиво. Представьте себе великолепную реку у ваших ног; представьте себе ковер ярко-зеленой травы на другом берегу; представьте себе внезапно встающий холм — не постепенно поднимающиеся отлогие склоны, а своего рода холм-сюрприз, холм от двухсот пятидесяти до трехсот футов высотой, круглый, как кубок, и конусовидный, как опрокинутый кубок, с тем же примерно соотношением между диаметром и высотой, как у глубокого, без обмана, кубка, холм сплошь одетый зеленым кустарником, — этакий статный, пригожий холм, неожиданно возникающий среди плоского однообразия окрестной зеленой равнины, видный с речных излучин, а на макушке у него едва достало места для шапки затейливой архитектуры — целое столпотворение башен, шпилей и крыш, стиснутых и зажатых в безупречно круглый ошейник крепостной стены.

По эту сторону стены вы на всем холме не найдете ни одного дома, ни даже воспоминания о доме; все строения стеснились за оградой крепостных стен, и там уже не сыскать местечка для нового строения. Это действительно законченный городок, законченный еще в незапамятные времена. Между крепостной стеной и первым кольцом домов нет ни малейшего промежутка — какое там — собственно, крепостная стена и пред-

ставляет собой заднюю стену первого кольца домов, тогда как их крыши, чуть возвышаясь над стеной, образуют своего рода застрехи. Однообразное нагромождение крыш приятно нарушают господствующие надо всем башни разрушенного замка и стройные шпили церквей, так что Дильсберг напоминает издали не столько шапку, сколько королевский венец. Высокий зеленый богатырь в своей нахлобученной на брови короне являет собой действительно необыкновенную картину в свете заходящего солнца.

Мы переправились на лодке и, начав подниматься по узкой крутой тропе, сразу окунулись в чащу кустарника. Но эта чаща не радовала прохладой, так как солнце палило немилосердно и в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Пока мы, отдуваясь, карабкались по крутому склону, нас то и дело обгоняли загорелые парни, босиком и без шапок, и реже — девушки, а время от времени и взрослые мужчины; они появлялись без предупреждения из-за кустов и, бросив на ходу «Добрый день!», так же таинственно и мгновенно пропадали в кустах. Они направлялись на тот берег, на работу. Не одно поколение местных жителей исходило эту тропу. Неизменно спускались они в долину, чтобы добыть свой хлеб, но чтобы съесть его и соснуть, неизменно возвращались наверх, в свой уютный городишко.

Дильсбержцы, говорят, крепко держатся за родные места; им нравится жить в своем тихом гнезде, высоко над миром, вдали от его суеты. Все семьсот жителей в кровном родстве между собой, они уже лет полтораста, как перероднились; в сущности, это одна большая семья, и среди своих они чувствуют себя лучше, чем среди чужих, а потому предпочитают никуда не уезжать из дому. Говорят, будто Дильсберг уже сотни лет представляет собой питомник, усердно и безотказно поставляющий стране кретинов. Я, правда, не заметил там ни одного слабоумного, но капитан уверял нас, что на то есть своя причина: «Их стараются за последние годы забирать в приюты и тому подобные места; правительство решило покончить с этим рассадником креч-

тинизма и заставить дильсбержцев жениться на стороне, — но разве их уломаешь!»

Возможно, что все это лишь плод фантазии нашего капитана; современная наука не считает, что браки между родственниками портят породу.

В стенах Дильсберга встретили нас привычные картины сельской жизни. Мы вышли на узкую извилистую деревенскую улицу, вымощенную еще в средние века. Дюжая румяная девка трепала лен или что-то молотила на крошечном, как коробка, гумне, сплеча ударяя цепом, — если это был цеп, я недостаточно сведущий сельский хозяин и судить не берусь; босоногая растрепанная-девчонка погоняла с полдюжины гусей хвостом, заставляя их держаться дороги и не разбредаться по чужим дворам; бондарь что-то сколачивал в своей мастерской, но уж никак не бочку, бочка там не поместилась бы. В комнатах окнами на улицу девушки и женщины стряпали или пряли; куры и утки, куврякаясь через пороги, шмыгали в дом и из дому в поисках крошек и оживленно переговаривались; дряхлый, весь в морщинах, старичок спал на стуле в дверях своей хибарки, уткнувшись подбородком в грудь и уронив на колени потухшую трубку; немытые ребятишки возились в дорожной пыли, на самом солнцепеке.

За исключением спящего старичка, все были заняты делом, — и все же какой покой, какая тишина кругом! Такая тишина, что даже кудахтанье курицы, поздравлявшей себя с удачной находкой, било нам в уши, не смягченное никакими звуками со стороны. Но напрасно стали бы мы искать здесь излюбленную сельскую картину — колодец с большим каменным водоемом или желобом и группой женщин с кувшинами, остановившихся поболтать. На этом высоком холме нет ни родников, ни источников — здесь пользуются дождевой водой, собирая ее в большие цистерны.

Наши альпенштоки и свисающие хвостами вуали, разумеется, произвели фурор; пока мы ходили по деревне, за нами увязывалось все больше мальчишек и девчонок, и в замок мы вступили уже во главе целой процессии. Замок представляет обширную развалину,

нагромождение обветшалых стен, арок и башен, образующих живописные сочетания и заросших сорняками и травой, — словом, все как надо. Ребятишки были нам за проводников; они провели нас по гребню самой высокой стены, потащили затем на вершину самой высокой башни и показали нам широкий и красивый вид: вдалеке волнистые гряды поросших лесом холмов, перед ними по одну сторону раскинулись равнины, по другую — высились увенчанные замками скалы и утесы, а между ними тут и там поблескивали излучины Неккара. Но гвоздем программы и предметом особой гордости ребят был старый высохший колодец посреди поросшей травой замковой площади. Его массивный каменный водоем вышиной в три-четыре фута все еще цел и невредим. По словам ребят, в давно минувшие века колодец был глубиной в четыреста футов и — мир ли, война ли — в избытке снабжал деревню водой. В ту далекую пору дно его будто бы приходилось ниже уровня воды в Неккаре, и он был неисчерпаем.

Слышали мы и другой вариант, будто колодец никогда колодцем не был, и восемьдесят футов — его истинная глубина; где-то у самого дна от него отходил когда-то подземный ход, спускавшийся вниз до некоего отдаленного места в долине и приводивший не то в чей-то погреб, не то в другое потайное место, — ныне эта тайна утеряна. Сторонники этой версии видят в ней объяснение того, что Дильсберг, осаждавшийся в свое время и Тилли, и — до него — другими полководцами, никогда и никем не был взят; при самой длительной и жестокой осаде дильсбержцы, на удивление врагам, оставались толстыми и здоровыми и не терпели недостатка в амуниции, — не иначе, как их выручал подземный ход.

Ребята с энтузиазмом подтвердили это: в колодце и в самом деле есть подземный ход, сейчас они это докажут. Связав большой пук соломы, они зажгли его и бросили в колодец, а мы, облокотясь о каменный край, следили, как он пылающим факелом спускается вниз. Он упал на дно и долго горел, пока не сгорел дотла. Дым наверх не поднимался. Ребята захлопали в ладоши.

— Вот видите, — сказал старший мальчик. — Ничего не дает столько дыма, как горящая солома. Так куда же ушел весь дым, если не в подземный ход?

Возразить ему было трудно, очевидно в колодце и впрямь был подземный ход. Но самым большим чудом на этом поле развалин оказалась вековая липа, — по словам детей, ей уже четыреста лет, и так оно, пожалуй, и есть. У липы исполинский ствол, а над ним исполинский шатер из ветвей и листьев. Нижние сучья толщиной с добрый бочонок.

Эта липа видела еще нашествие воинов, закованных в железо, — какими далекими кажутся те времена и как нам трудно себе представить, что настоящие люди сражались одетыми в настоящую броню; она видела времена, когда на месте обветшалых арок и осыпающихся бойниц стояла подтянутая, несокрушимая, величественная крепость, и ветер полоскал ее пестрые знамена, и здесь обитало сильное, бесстрашное племя, — до чего же давно это было! А липа все еще стоит и, быть может, так и будет стоять, греясь на солнышке и погруженная в свои исторические сны, еще и тогда, когда наше живое сегодня отойдет к дням, именуемым «седой древностью».

Итак, мы уселись под липой покурить, и капитан не преминул угостить нас новой легендой:

ЛЕГЕНДА ДИЛЬСБЕРГСКОГО ЗАМКА

Так вот как было дело. В стародавнее время съехалось в замок множество гостей, и шел у них пир горой. В замке была, разумеется, заколдованная комната, и как-то завели они про это разговор. Считалось, что если кто уснет в той комнате, то уж не проснется целых пятьдесят лет. Когда это услышал молодой рыцарь Конрад фон Гейсберг, он сказал, что, будь он здесь хозяин, он бы ни минуты не стал терпеть у себя такую комнату, — не ровен час, какой-нибудь глупец и сам попадет в беду и близким своим отравит жизнь ужасным воспоминанием. А гости решили за спиной суеверного молодого человека заставить его переночевать в той комнате.

И они надумали, как это сделать. Подбили его на-реченную, племянницу самого графа, проказницу из проказниц, помочь им в этой затее. Она увела его в сторонку и начала уговаривать. Но сколько она ни просила, он и слушать не хотел. Он твердо верит, сказал Конрад, что если заснет в той комнате, то проснется только через пятьдесят лет, а об этом ему и подумать страшно. Катарина, конечно, в слезы. Этот довод подействовал лучше уговоров, — Конрад не устоял. Он все пообещал ей, лишь бы она опять была весела и беспечна. Тогда она бросилась ему на шею, и ее поцелуи доказали ему лучше всяких слов, как она ему благодарна и как им довольна. Девушка тут же полетела рассказывать гостям про свою удачу, и все они так ее поздравляли, что это и вовсе вскружило ей голову, — ведь она одна добилась успеха там, где все их усилия ни к чему не привели.

В полночь, после обычного пирования, друзья от-вели Конрада в заветную комнату и оставили там од-ного. В скорости он уснул.

Когда же он проснулся, сердце его захолонуло. Все вокруг изменилось. Стены покрылись плесенью и за-росли паутиной; занавесы и постель прогнили, шаткая мебель, казалось, вот-вот развалится на части. Он вско-чил с кровати, но его колени подкосились, и он рухнул на пол.

— Меня уже и ноги не держат от старости, — ска-зал он себе. Он поднялся и разыскал свою одежду. Это была уже не одежда, она вся вылиняла и при каждом движении рвалась на нем. Весь дрожа, бросился он в ко-ридор, а оттуда в большие сени. Здесь повстречался ему незнакомец, средних лет, с приветливым лицом. Незна-комец остановился и с удивлением посмотрел на него.

— Добрый человек, не позовете ли вы сюда графа Ульриха? — попросил его Конрад.

— Графа Ульриха?

— Да, очень вас прошу.

Тогда незнакомец крикнул:

— Вильгельм! — На зов явился молодой слуга, и незнакомец сказал ему: — Есть у нас среди гостей граф Ульрих?

— Простите, ваша честь, — ответил слуга, — что-то я не слышал о таком.

— Я не о госте, — нерешительно возразил Конрад, — мне нужен хозяин замка.

Незнакомец и слуга обменялись недоуменным взглядом.

— Хозяин замка я, — сказал незнакомец.

— С каких это пор, сударь?

— Со смерти моего отца, графа Ульриха, он уже сорок лет как скончался.

Конрад опустил на скамью и, закрыв лицо руками, стал со стоном раскачиваться взад и вперед.

— Боюсь, бедный старичок рехнулся, — сказал незнакомец приглушенным голосом, обращаясь к слуге. — Поди позови кого-нибудь.

Сбежались люди, окружили Конрада, о чем-то шептались. Конрад горестно всматривался в их лица. Потом покачал головой и сказал с отчаянием:

— Нет, я никого здесь не знаю. Я одинокий, сирый старик. Все, кому я был когда-то дорог, давно уже почил в вечном сне. Но среди вас, я вижу, есть и люди постарше, может быть кто-нибудь расскажет мне о моих близких?

Несколько согбенных, трясущихся от старости мужчин и женщин подошли поближе, и по мере того как он называл дорогие ему имена, отвечали ему все одно и то же: этот уже десять лет как сошел в могилу, другой — двадцать, третий — все тридцать. Каждый из этих ударов поражал его все сильнее. Наконец страдалец сказал:

— Есть еще одно имя, но у меня не хватает мужества... О, моя утраченная голубка, Катарина!

И тогда одна из старых женщин сказала ему:

— Бедняжка, я хорошо знала ее. С ее возлюбленным стряслась беда, и вот уже пятьдесят лет, как она умерла с горя. Ее похоронили вон под той липой во дворе.

Конрад склонил голову и сказал:

— О, зачем только я проснулся! Бедная девочка! Значит, она умерла, оплакивая меня? Такая молодая,

такая прелестная и добрая! За всю короткую весну своей жизни она никому умышленно не причинила зла. Но я не останусь перед ней в долгу, я тоже умру, оплакивая ее.

Сказав это, он уронил голову на грудь... Но тут раздался смех, две юные стройные руки обвились вокруг шеи Конрада, и милый голос произнес:

— Не надо, Конрад, голубчик, ты убьешь меня своими благородными речами! Прекратим эту глупую комедию! Подними же голову и посмейся вместе с нами — ведь это была шутка!

Он поднял голову и озадаченно воззрился, ошеломленный, так как все маски были сброшены, и перед ним были только юные, свежие лица. Катарина между тем, ликуя, продолжала:

— Остроумная была затея, да и выполнена она на славу. Тебе, перед тем как отвести на ночлег, дали крепкого сонного снадобья, а потом ночью перенесли тебя в полуразрушенную комнату, где все обветшало, и рядом, вместо твоей одежды, положили эти лохмотья. Когда же ты отоспался и вышел, тебя встретили два незнакомых тебе человека, наученные, как и что им говорить; а мы, твои друзья, стояли тут же ряженные, ведь нам хотелось все видеть и слышать. Ну и славная же была шутка! А теперь пойдем; приготовься, нам еще предстоит сегодня немало забав. Но как жестоко ты страдал, мой милый мальчик! Ну, подними же голову и посмейся вместе с нами!

И он поднял голову, оглядел всех странным, невидящим взором, вздохнул и сказал:

— Я очень измучен, добрые незнакомцы! Прошу вас, отведите меня на ее могилу!

И тогда все улыбки исчезли, все лица поблекли, а Катарина в обмороке упала наземь.

В тот день в замке все ходили грустные, с озабоченными лицами, все говорили только шепотом. Гнетущая тишина воцарилась там, где еще недавно ключом била жизнь. Каждый старался вывести Конрада из мира видений и вернуть его к действительности; но ответом на все их старания был только удивленный кроткий взгляд и неизменные слова:

— Добрые незнакомцы, у меня нет друзей, они уже много лет как лежат в гробу; вы очень любезны, вы желаете мне добра, но я не знаю вас; я одинок и всеми покинут в этом мире, — прошу вас, отведите меня на ее могилу.

Два года Конрад все дни, с раннего утра и до поздней ночи просиживал под липой, над воображаемой могилой своей Катарины. И Катарина делила одиночество безобидного сумасшедшего. Он был очень ласков с ней, говорил, что чем-то она напоминает его Катарину, которую он утратил «пятьдесят лет назад». Он повторял часто:

— Она была такая веселая, такая беспечная хохотушка; вы же никогда не смеетесь, и даже плачете, когда думаете, что я не вижу.

Конрад умер, завещав похоронить себя под этой самой липой, «рядом с бедняжкой Катариной». С той поры Катарина просиживала здесь все дни одна — и так много-много лет. И никто не слышал от нее ни слова и не видел улыбки на ее лице. Наконец долгое ее покаяние было вознаграждено: она умерла, и ее схоронили рядом с Конрадом.

— Вот это легенда так легенда! — воскликнул Гаррис, чем немало порадовал нашего капитана; но еще больше порадовали его следующие слова Гарриса:

— Теперь, увидав эту липу во всей ее могучей красе и четырехсотлетней силе, я готов уверовать в вашу легенду, капитан, ради этого чудесного дерева; давайте же считать, что наша липа и в самом деле сторожит здесь эти бедные сердца, движимая горячим, почти человеческим состраданием!

По возвращении в Неккарштейнах мы окунули разгоряченные головы в желоб у городского колодца, а затем отправились в гостиницу и пообедали форелью в уютной прохладе тенистого сада. И Неккар плескался у наших ног, а за ним причудливо громоздился Дильсберг, а правее высились изящные зубцы и башни двух средневековых замков («Ласточкино гнездо» и «Бра-

тя»¹), придававшие соседней речной излучине суровую живописность. Наш плот тронулся как раз вовремя, чтобы засветло пройти последний перегон в восемь миль, отделявший нас от Гейдельберга. В тихом сиянии заката миновали мы «Шлосс-отель» и по бурлящему течению проскочили в узкий канал между двумя дамбами. Я решил, что уж здесь-то я в лучшем виде проведу наш плот через мостовую арку. Поспешив на переднее звено плота, состоявшее из трех бревен, я вооружился жердью нашего кормчего; я снял его с поста и тем самым снял с него всякую ответственность.

Мы мчались вперед с восхитительной быстротой, — я совсем не плохо справлялся со своей головоломной задачей, особенно для первого раза; но вскоре убедившись, что я гоню наш плот на самый мост, а не под мостовую арку, я мудро сошел на берег. В следующее же мгновение мое давнишнее желание сбылось: я увидел, как плот терпит крушение. Он врезался в середину быка и разлетелся в мелкие дребезги, словно спичечный коробок под ударом молнии.

Из всей нашей компании только мне удалось наблюдать это великолепное зрелище, остальные охорашивались перед длинной вереницей городских барышень, прогуливавшихся вдоль набережной, и потому всё упустили. Но я помог выловить их из воды — подалее, ниже моста — и потом описал им наше крушение, пустив в ход все свое красноречие.

Они, однако, не проявили интереса. Они говорили, что промокли, что чувствуют себя всеобщим посмешищем и что описания природы нисколько их не волнуют. Городские барышни и другие горожане толпились вокруг них, выражая свое сочувствие, но и это не помогло: мои друзья говорили, что им не нужно сочувствие, а нужен глухой переулочек и одиночество.

¹ Любознательный читатель может обратиться к «Приложению Б», где найдет рассказанную нам капитаном легенду о «Ласточкином гнезде» и о «Братьях». — М, Т.

Коллекция керамики. — Мое собрание безделок. — Этресская слезница. — Старинный китайский синий фарфор. — Настоящая древность. — Мы едем в Баден-Баден. — Встреча со старым другом. — Будущий ветеринар.

Утро порадовало нас приятной новостью: наконец-то из Гамбурга пришли наши чемоданы. Да будет это предостережением читателю. Немцы — народ добросовестный, отсюда их крайняя щепетильность. Скажите немцу, что вы просите его сделать что-то немедленно, и он поверит вам на слово, он поймет вас буквально и не станет медлить, — конечно, медлить в его понимании, а это значит, что он примется за дело этак через недельку, если речь идет о шитье костюма, или через час, если вы заказали к обеду форель. Прикажите ему послать ваш багаж «малой скоростью», и он опять-таки поймет вас буквально: он пошлет багаж «малой скоростью», и прежде чем вы его получите, у вас будет без счета времени, чтобы поминать всех немцев добрым словом и удивляться, до чего же оно меткое, это выражение, до чего же оно бьет в точку! Мой чемодан был молод и кудряв, когда я сдавал его экспедитору в Гамбурге, а в Гейдельберг он явился плешивым старцем. Но все же он цел и невредим и даже нисколько не помят, — и на том спасибо; носильщики в Германии, и правда, народ добросовестный, им можно что угодно доверить. Ничто теперь не задерживало нас в Гейдельберге, и мы стали готовиться в дорогу.

Первой моей заботой была, разумеется, моя коллекция керамики. Везти ее с собой было бы рискованно и обременительно. Я спрашивал, как тут быть, но мнения знатоков и любителей разделились. Кто предлагал все упаковать и свезти на склад; кто советовал обратиться в Герцогский музей в Маннгейме с просьбою принять мои вещи на хранение. Угождая и тем и другим, я разделил свою коллекцию и отложил для музея все самое ценное и хрупкое.

В первую очередь, разумеется, мою этрусскую слезницу. Я зарисовал ее здесь для вас. Темное пятно, ползущее по ее стенке, не жук, а просто дырка. Я приобрел

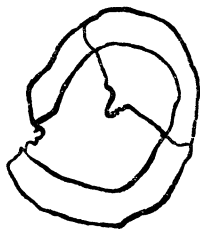
этот кувшинчик у антиквара за четыреста пятьдесят долларов. Он представляет собой большую редкость. По словам антиквара, этруски хранили в таких кувшинчиках слезы и прочее тому подобное, и мне еще



*Этруская
слезница*

повезло — ухватить даже такой разбитый кувшинчик сейчас почти невозможно. Я также отложил мое блюдо Анри II (смотри прилагаемый рисунок карандашом; в общем схвачено верно, я только, пожалуй, слегка укоротил одну сторону). Это чрезвычайно редкий и красивый экземпляр, изысканный и своеобразный по форме. На нем богатая роспись, которую я не в силах здесь воспроизвести. Блюдо обошлось мне

еще дороже, чем слезница, — и не удивительно: по словам антиквара, другого такого блюда нет на свете. На рынке, сказал он, сколько угодно поддельных Анри II, в то время как подлинность моего экземпляра не подлежит сомнению. Антиквар показал мне и родословную блюда — или его, если угодно, жизнеописание; в этом документе отражена вся история блюда со дня его рождения: кем оно куплено, у кого, и за какую сумму, — начиная от первого покупателя и кончая мной; из документа явствует, что цена блюда неуклонно повышалась — от тридцати пяти центов до семисот долларов. Весь собирательский мир, сказал антиквар, будет знать, что блюдо теперь у меня, и возьмет себе на заметку как имя владельца, так и уплаченную сумму.



Блюдо Анри II

Я также отложил для музея мой изумительный образец старинного синего китайского фарфора. По мнению знатоков, это лучший образец китайского искусства, известный нашему времени. Я, конечно, имею в виду не упадочное искусство современного Китая, а благородное, чистое и подлинное искусство, процветавшее под попечительной и просвещенной эгидой императоров династии Чунг-а-Лунг-Фунг.



I also set apart
my exquisite
specimen of
Old Blue China

This is considered
to be the finest example
of Chinese art now in
existence; I do not refer
to the bastard Chinese art
of modern times but that
noble & pure & genuine
art which flourished
under the fostering & ap-
preciative care of the
Emperors of the Chung-a-
Lung-Fung dynasty. -

Поистине, великие были когда-то мастера, но, увы, то время миновало! Разумеется, главное достоинство этой вещи в ее колорите. Это древний, насыщенный, сочный, доминирующий, интерполирующий трансборейский синий цвет, над тайною которого напрасно бьются современные художники. Мой маленький эскиз, сделанный с этой геммы, не дает о ней должного представления, поскольку я не воспроизвожу колорит. Зато мне вполне удалось передать выражение.

Впрочем, не буду утомлять читателя такими подробностями. Я и не думал в них вдаваться, но такова уж природа истинного собирателя или истинного служителя культа безделки: стоит ему коснуться — языком или пером — излюбленной темы, как он пойдет сусолить все про одно и то же до полного изнеможения. Он так же нечувствителен к полету времени, как влюбленный, рассказывающий о своей красавице. Как-нибудь «марка» на донышке редкостного черепка повергает его в восторженное многословие; что до меня, то я готов кинуть на произвол судьбы тонущего родственника, лишь бы не пропустить дискуссии о том, должны ли мы считать пробку отошедшего к праотцам флакона для благовоний Buon Retiro подлинной или поддельной.

Многие полагают, будто для зрелого мужчины эта охота за безделками примерно такое же здоровое занятие, как шитье кукольных юбочек, или сведение переводных картинок на цветочные горшки; эти зоилы готовы грязью закидать некоего Бинга, элегантного англичанина, выдавшего в свет книжицу под названием «Охотник за безделками»; они смеются над ним, говоря, что он не помня себя гонится за всякой, как они выражаются, «смехотворной дрянью», а потом проливает над своими сокровищами «слезы энтузиазма»; за то, что он еще и похвально своим «истовым младенческим восторгом» перед этим, по их словам, «жалким собранием нищенского хлама»; и за то, что книжке он предпослал собственный портрет, где изображен сидящим «в тупой, самодовольной позе посреди своей убогой лавчонки старьевщика».

Легко выносить подобные приговоры, легко глумиться над нами, легко нас презирать, а потому пусть смеются люди: если им недоступно то, что чувствуем мы с Бингом, тем хуже для них. Что до меня, то я доволен своим призванием ветошника и хламовщика; более того — я горжусь, когда меня так называют. Я горжусь тем, что так же теряю рассудок перед редкостным кувшином, на донышке которого выжжено знаменитое клеймо, как если бы я только что осушил этот кувшин.

Итак, я уложил и сдал на склад добрую половину моего собрания, остальное же, испросив разрешения, отвез в Герцогский Маннгеймский музей. Моя синяя китайская кошечка и ныне там. Я пожертвовал ее этому превосходному учреждению.

Была у меня только одна неприятность с вещами: при укладке разбилось яйцо, которое я нарочно отложил за завтраком. Судите же о моем огорчении! Я показывал его лучшим гейдельбергским знатокам, и все они заявили, что это настоящая древность. Дня два ушло у нас на прощальные визиты, а затем мы махнули в Баден-Баден. Это была приятная прогулка — Рейнская долина всегда хороша. Жаль только, что удовольствие быстро кончилось. Если память меня не обманывает, дорога взяла два часа — значит, проделали мы около пятидесяти миль. В Оосе мы вышли из поезда и остальное расстояние до Баден-Бадена прошли пешком, — только лишь на часок подсели на попутную телегу, так как стояла изнурительная жара. Зато в город мы вступили пешком.

Одним из первых, кто попался нам на улице, был его преподобие мистер N*** — наш старинный американский друг; поистине счастливая встреча, ибо мистер N*** на редкость располагающий, приветливый, отзывчивый человек, чье общество и беседа всегда действуют освежающе. Мы знали, что он уже некоторое время обретается в Европе, но никак не рассчитывали с ним повстречаться. С обеих сторон посыпались восторженно любовные возгласы, и его преподобие мистер N*** сказал:

— У меня, конечно, полный мешок новостей, которыми я жажду с вами поделиться, и такой же пустой

мешок, готовый принять ваши новости; давайте же посидим до поздней ночи, поговорим на свободе, а то завтра спозаранку мне уезжать.

На том и порешили.

Все это время у меня было чувство, будто кто-то незнакомый бежит рядом по мостовой, стараясь не отстать от нас. Я раза два украдкой оглянулся и увидел красивого молодого широкоплечего верзилу с открытой независимой физиономией, оттененной чуть заметным рыжеватым пушком, и одетого с головы до пят в прохладное, завидно белоснежное полотно. По тому, как он держал голову, мне показалось, что он нас подслушивает. Тем временем мистер N*** сказал:

— Чем толкаться втроем на тесном тротуаре, лучше я пойду сзади; но говорите, пожалуйста, говорите, не теряйте драгоценного времени, а уж я в долгу не останусь.

Однако, едва он пропустил нас вперед, белоснежный верзила тут же приладился к нему, хлопнул его по плечу широченной ладонью и с неподдельной сердечностью в голосе певуче произнес:

— *Американцы* — два доллара с половиной против одного — и деньги чистоганом! Что, угадал?

Его преподобие поморщился, но ответил со всей кротостью:

— Да, мы американцы.

— Господи благослови, так ведь и я американец, самый что ни на есть, без обману! Будьте благонадежны!

И он протянул пастору свою ладонь, обширную, как Сахара; маленькая ручка его преподобия бесследно потонула в ней, и мы услышали, как на ней лопнула перчатка.

— А что? Здорово я вас углядел?

— О да!

— Ну еще бы! Вы только рот раскрыли, как я признал вас за своего. Давно вы здесь?

— Месяца четыре. А вы давно?

— Я? Давно ли? И не спрашивайте! Скоро два года, будь они неладны! Соскучились по дому?

— Не успел еще. А вы?

— О, дьявол, да! — Он произнес это с сокрушительной экспрессией.

Его преподобие слегка поежился, и мы скорее угадали чутьем, чем восприняли чувствами его сигналы бедствия; но не стали ни вмешиваться, ни выручать его, забавляясь тайком этой сценою.

Верзила между тем схватил его преподобие под руку и с доверчивым и счастливым видом беспризорного сиротки, стосковавшегося по другу и сочувственному вниманию, по счастливой возможности вновь окунуться в стихию родного языка, дал наконец себе волю — да с каким еще смаком! Речь свою он пересыпал словами, не допущенными к обращению в воскресной школе, так что я вынужден местами прибегнуть к многоточию.

— Да, скажу я вам! Если уж я не американец, значит американцев выдумали и их нет на свете. И когда я слышал, как вы, ребята, знай лопочете на самом что ни на есть добротном американском языке, я... чуть не задушил вас, честное слово! Я себе тут весь язык обломал об эти их... богом забытые, отпетые девятиэтажные немецкие слова. Какое же это счастье, знаете, поддержать снова на языке простое христианское слово, вроде как бы впитать его запах и вкус. Сам я из Нью-Йорка. Зовут меня Чолли Адамс. Я, знаете, студент. Учусь на коновала. Маюсь здесь уже два года. В общем, дело это по мне, но уж и... публика здесь — учить человека на его собственном родном языке, их, видите ли, не устраивает, — нет, одолей сперва этот их... немецкий; и вот, прежде чем взяться за ветеринарную грамоту, пришлось таки мне засесть за их несчастную грамматику.

Ну, думал я, вгонит она меня в гроб, но ничего, обошлось. Взясся, знаете, засуча рукава. Так ведь представьте, они теперь латынь с меня требуют! Между нами говоря, я за этих латинщиков с их тарабарщиной ни... не дам; я уже решил: как одолею эту премудрость, тут же сяду и выкину ее из головы. Много времени у меня это не возьмет, да и не жалко мне времени. И вот что я вам скажу: как у нас учат и как здесь учат — это небо и земля. У нас понятия не имеют об учебе. Тут ты долбишь, и долбишь, и долбишь, прямо нет спа-

сения, все, знаете, надо выучить назубок, а то наскочит на тебя какой-нибудь... хроменький, очкастенький, горбатенький старый хрыч да как начнет из тебя жилы тянуть... Нет уж, хватит с меня удовольствия, душа не принимает. А тут еще пишет мне родитель, чтоб я ждал его в июне, он в августе заберет меня домой, — все равно, закончил я образование или нет; а сам взял и не приехал, чтобы ему икалось на том свете! И ведь ни словом не объяснил почему, только шлет мне кучу душевспасительных книжонок, приказывает быть панишкой и еще немного потерпеть. Ну а меня не тянет на пост, я скушал бы лучше что-нибудь скоромное, если есть такая возможность, — но все равно, читаю, — давлюсь, а читаю, потому с моим стариком шутки плохи, он если что втемяшит себе в голову, значит умри, а сделай. Засел я за эти книжки, уминаю их, знаете, одну за другой, раз уж он требует, — но без всякого, между прочим, интереса, — я люблю, чтобы книжка за сердце брала. А все равно скучаю по дому, как паршивый пес. Такая тоска заела, что даже в крестец ударяет, а из крестца в ноги. Ну а толку что? Хочешь не хочешь, а жди, пока старик умилюстится и вытребует тебя домой. Да, сэр, попал я в переделку, торчу здесь, в этой... стране, жду, пока отец скажет: «Приезжай!», и вы, Джонни, можете прозакладывать свой последний доллар, что это потрудней, чем кошке родить двойню!

Добравшись до конца этого богохульственного и простодушного излияния, он издал оглушительное «уфффф!» — отчасти для прочистки легких, отчасти как дань жару — и тут же, с места, вновь ринулся в свой рассказ, не дав бедному «Джонни» опомниться:

— Да... ничего не скажешь, в некоторых наших заслуженных американских выражениях есть, знаете, ли, эта силища, этот размах, в них можно отвести душу, можно выразить то, что накипело, знаете...

Когда мы подошли к гостинице и наш молодец увидел, что рискует потерять собеседника, он так искренне огорчился и так настойчиво и убедительно стал просить пастора не покидать его, что тот не устоял и, как истинный христианин, поплелся с почтительным сынком к нему на квартиру, отужинал с ним и стои-

чески просидел в кипучем прибое его просторечия и божбы до полуночи, когда они наконец расстались. Студенту удалось выговориться, и он заметно посвежел, за что и остался благодарен его преподобию всей душой и «всеми потрохами», как он выразился. По словам пастора, в разговоре выяснилось, что отец Чарли Адамса — крупный лошадиный барышник в Нью-Йорке, почему он и выбрал для сына профессию ветеринара. Его преподобие вынес самое благоприятное впечатление о «Чолли», как о крепком малом, из которого со временем может выйти добрый гражданин; по его определению, это алмаз, — пусть и неотшлифованный, но алмаз тем не менее.

Глава XXI

Баден-Баден. — Непрístupные девы. — Уловки попрошайек. — Сторожиха в ванном заведении. — Зарвавшиеся лавочники. — Старое кладбище. — Благочестивая карга. — Оригинальные сотрапезники.

Баден-Баден лежит среди холмов; здесь на редкость гармонично сочетаются красоты, созданные природой и руками человека. На плоском дне лощины, пересекающей город и вырывающейся далеко за его пределы, разбиты красивые скверы, засаженные тенистыми деревьями; на равном расстоянии друг от друга бьют высокие искристые фонтаны. Трижды в день на главной аллее перед курзалом играет недурной оркестр, и днем и вечером здесь толпится множество нарядной публики, — дамы и кавалеры прогуливаются взад и вперед мимо большой эстрады, и вид у них скучающий, хоть они и внушают себе и другим, что веселятся. Как посмотришь — что за бессмысленное, бесцельное существование! Но немало людей приезжает сюда за делом, — это те, что страдают ревматизмом и надеются выпарить его из своих костей в здешних горячих водах. У этих страдальцев поистине плачевный вид: кто ковыляет с палочкой, кто на костылях, и все они, по-видимому, предаются размышлениям о малоутешительных материях. Говорят, Германия с ее сырыми кирпичными домами — родина ревматизма. Но если это и так, то

надо отдать должное прозорливому провидению, с попечительной заботой обильно снабдившему этот край целебными источниками. Пожалуй, нет страны, столь богатой лекарственными ключами, как Германия. Здесь имеются воды против самых разных заболеваний; мало того, с иными недугами борются одновременным действием различных вод. Так, например, при некоторых болезнях пациент пьет местную горячую воду, подбавив к ней ложку соли из карлсбадских источников. Такую дозу выпьешь, так не скоро позабудешь.

Целебная вода не продается, нет! Вы просто направляетесь в огромную Trinkhalle¹ и там выстаиваете, сколько понадобится, переминаясь с ноги на ногу, между тем как по соседству с вами две или три девицы, ковыряясь иглой в каком-то дамском рукоделии, делают вид с учтивостью трехдолларового чиновника на казенной службе, будто не замечают вас.

Впрочем, не пройдет и часа, как та или другая дева с трудом поднимется и начнет «потягиваться», она до тех пор будет тянуться вверх кулаками и корпусом, что даже каблуки ее отделятся от пола; в то же время она так широко и самозабвенно зевнет, что верхняя часть лица скроется за вздернутой губой, и вы сможете рассмотреть ее с изнанки, — после чего она захлопнет пасть, опустит кулаки и каблуки, лениво подойдет, окинет вас презрительным взглядом, нальет вам стакан горячей воды и поставит его так, чтобы при большом желании можно было дотянуться. Вы берете стакан и спрашиваете:

— Сколько?

И она с деланным безразличием и увертливостью попрошайки отвечает:

— Nach Belieben (по вашему усмотрению).

Эта обычная уловка попрошайки, это наговорное слово, посягающее на вашу щедрость там, где вы вправе ожидать простых и честных коммерческих отношений, еще больше распаляет вашу и без того уже накипевшую досаду. Вы нарочно пропускаете ответ мимо ушей и опять спрашиваете:

¹ Зал, где пьют минеральную воду.

— Сколько?

— Nach Belieben.

Вы окончательно рассердились, но не подаете виду. Вы решаете до тех пор повторять свой вопрос, пока девица не откажется от своего ответа или по крайней мере от своей возмутительно безразличной манеры. И вот (по крайней мере так было со мной) вы, словно два дурачка, стоите друг против друга с каменными лицами и, не повышая голоса и бесстрастно глядя друг другу в глаза, ведете следующий идиотский разговор:

— Сколько?

— Nach Belieben.

— Сколько?

— Nach Belieben.

— Сколько?

— Nach Belieben.

— Сколько?

— Nach Belieben.

— Сколько?

— Nach Belieben.

— Сколько?

— Nach Belieben.

Не знаю, как поступил бы на моем месте другой, но я не выдержал и сдался; это чугунное равнодушие, это спокойное презрение сразило меня, и я сложил оружие. Мне уже было известно, что она получает примерно пенни с людей мужественных, не боящихся, что о них подумает судомойка, и примерно два пенса — с моральных трусов; я же положил на прилавок, в пределах ее достижения, серебряный двадцатипятицентовик и постарался уничтожить ее следующим саркастическим замечанием:

— Если этого мало, то не соизволите ли вы снизойти с высоты своего официального величия и сказать мне?

Я не уничтожил ее. Не удостоив меня взглядом, она лениво взяла монету и попробовала на зуб — не фальшивая ли! — после чего повернулась ко мне спиной и равнодушно заковыляла к своему насесту, бросив по пути монету в открытый ящик стола. Как видите, она осталась победительницей.

Я так подробно рассказываю об этой девице потому, что она — типический случай; ее повадки — повадки большинства здешних лавочников. Лавочник в Бадене старается по возможности надуть вас и, успел он в этом или нет, всегда поровит вас оскорбить. Хозяева ваннных заведений тоже всемерно и терпеливо стараются вас оскорбить. Грязнуха, продававшая билеты в вестибюле большого здания Фридриховских ванн, не только оскорбляла меня по два раза на дню из нерушимой преданности долгу, но даже постаралась как-то обмануть на шиллинг, чтобы оправдать свои десять. Время великих баденских игроков миновало, их место заняли мелкие плуты.

Один англичанин, проживший здесь несколько лет, говорил мне:

— Если вы хотите избежать оскорблений, не давайте, к какой нации вы принадлежите. Здешние купцы ненавидят англичан и презирают американцев; они позволяют себе грубить и вам и нам, а особенно нашим женщинам. Стоит американке или англичанке отправиться по магазинам без провожатого — какого-нибудь джентльмена или хоть лакея, — она непременно наткнется на мелкое хамство, причем больше в тоне и манерах, чем в открытых словесных выпадах, хотя и это не исключено. Я знаю случай, когда владелец магазина швырнул американке ее деньги да еще окрысился: «Мы французских денег не берем». И другой случай, когда на вопрос англичанки: «Вам не кажется, что это дорого за такой товар?» — хозяин ответил ей в тон: «А вам не кажется, что вы не обязаны брать мой товар?» С немцами и русскими эта публика ничего подобного себе не позволяет. Все они пресмыкаются перед чинами и званиями, ведь генералы и знать — их кумир. Если хотите увидеть, до какой низости может дойти угодничество, попробуйте представиться баденскому торговцу русским князем.

Это город-пустоцвет, город шарлатанов, мошенников и зазнаек; но что здесь действительно хорошо, так это ванны. Я говорил со многими, и все такого мнения. Я страдал неотвязными ревматическими болями последние три года и начисто от них отделался после

двухнедельных купаний. Я уверен, что оставил свой ревматизм в Баден-Бадене. Что ж, на доброе здоровье — это не так много, правда, но, пожалуй, все, что с меня можно было взять. Еще с большим удовольствием я оставил бы там какую-нибудь заразную болезнь, но, к сожалению, это было не в моей власти.

Здесь несколько горячих источников, вот уже две тысячи лет, как они изливают неоскудевающие потоки целебной воды. Они доставляются по трубам в многочисленные ванны заведения и здесь разбавляются холодной водой до нужной температуры.

Новые Фридриховские ванны — очень большое красивое здание, где вы можете получить любую ванну, какая когда-либо была изобретена, с добавлением любых трав и лекарств, каких требует ваше лечение или какие пропишет вам врач, состоящий при этом заведении. Вы входите в массивные двери, и вас встречает портье, который кланяется вам сообразно вашему платью и вашей осанке, и за двадцать пять центов вы удостоиваетесь билета и очередного оскорбления от сидящей здесь грязнухи. Она звонит в колокольчик, на звонок приходит слуга, отводит вас по длинному коридору в уютную комнатку с диваном, умывальником, зеркалом и машинкой для снятия сапог, и вы там раздеваетесь с полным комфортом.

Комнату разделяет большая занавеска; отдернув ее, вы видите за ней большую белую мраморную ванну, до краев вделанную в пол, с тремя ведущими в нее мраморными ступеньками. Ванна налита кристально чистой водой приятной температуры: 28° по Реомюру (около 95° по Фаренгейту). Рядом с ванной — вделанная в пол медная коробка с нагретыми полотенцами и простыней. Лежа на дне ванны в прозрачной воде, вы ощущаете себя белоснежным ангелом. Для первого раза — десять минут, но постепенно вам увеличивают время до двадцати пяти — тридцати минут, на чем вы и останавливаетесь. Тут такие удобства во всем, ванны действуют так благотворно, цены так умеренны, а оскорбления так неизбежны, что вскоре вы не можете нахвалиться Фридриховскими ваннами и от вас уже отбоя нет.

Мы остановились в скромном, невзрачном и неприязнительном «Отель де Франс», где моими соседями оказалось некое вечно хихикающее, квохчущее и гогочущее семейство, имевшее обыкновение ложиться двумя часами позже и вставать двумя часами раньше моего. Это обычное явление в немецких гостиницах: здесь ложатся чуть не в двенадцать, а встают в начале восьмого. Стенные перегородки проводят звук с гулкостью барабана; но, хотя всем это известно, немецкое семейство, которое днем — сама любезность и предупредительность, вечером и не подумает из внимания к вам вести себя чуть потише. Они поют, смеются, непринужденно разговаривают, истязают мебель, без всякой пощады двигая ее взад и вперед. Если вы умоляюще постучите в стенку, они на минуту притихнут, испуганно пошепчутся, а потом, точно мыши, возобновят свою неугомонную возню. Бесчеловечно со стороны такого шумливого семейства так рано вставать и так поздно ложиться.

Разумеется, стоит человеку удариться в критику чужих нравов, как ему тут же предложат оглянуться лучше на себя. Итак, я открываю свою записную книжку в поисках еще каких-нибудь, более существенных записей о Баден-Бадене и сразу же натыкаюсь на следующее:

«Баден-Баден (без даты). Нынче утром за завтраком видел ораву горластых американцев. Кричат на всю столовую, хоть и делают вид, что адресуются друг к другу. Это явно их первое путешествие. Важничают и пускают пыль в глаза. Прием обычный — надменные и небрежные упоминания о больших расстояниях и отдаленных местах: «Что ж, будь здоров, приятель; если не встретимся в Италии, разыщи меня в Лондоне, прежде чем махнуть за океан».

И дальше:

«То обстоятельство, что шесть тысяч индейцев самым наглым образом расправляются с нашим пограничным населением, а мы можем выставить против них всего лишь тысячу двести солдат, широко используется тут для того, чтобы отбить у людей охоту эмигрировать

в Америку. Здежнему обывателю представляется, что индейцы расселены чуть не в штате Нью-Джерси».

Вот вам новый и вполне самобытный аргумент против ограничения численности нашей армии столь смехотворной цифрой. И аргумент достаточно веский. Я нисколько не погрешил против истины, записав в свою книжку, что указанное сообщение насчет нашей армии и индейцев широко используется здесь для того, чтобы сделать эмиграцию в Америку непопулярной. То, что у обывателя весьма туманные представления о нашей географии и о размещении индейцев в стране, — факт, быть может, и забавный, но вполне объяснимый.

В Баден-Бадене имеется интереснейшее старое кладбище, и мы провели несколько приятных часов, обозревая его и разбирая надписи на вековых плитах. Здесь, по-видимому, считают, что если покойник пролежал в могиле одно-два столетия и поверх него успело наслиться немало других покойников, то он уже может обойтись без надгробия. Я сужу по тому, что сотни плит сняты с могил и сложены штабелями вдоль кладбищенской ограды. Как поглядишь — забавный народ были старые ваятели! Они щедрой рукой высекали на гробницах ангелов, херувимов, чертей и человеческие скелеты, заботясь больше о числе, ибо вид у этих изображений весьма курьезный и причудливый. Не всегда скажешь, кто здесь принадлежит к лику праведных, а кто к противной партии. Зато на одном из старых камней мы нашли своеобразную и пышную надпись на французском языке, сочинить которую мог только поэт. Вот она:

*Здесь
почиет в бозе
Каролина де Клеры,
инокиня обители Сен-Дени,
83 лет от роду — и слепая.
Свет очей вернулся к ней
в Бадене, 5 января, ,
1839 г.*

Мы совершили несколько пешеходных прогулок в окрестные деревни по красивым извилистым дорогам, пересекающим этот живописный лесной край. Здешные

дороги и леса напомнили мне гейдельбергские, но в них нет того волшебного очарования. Думается, такие дороги и леса, как под Гейдельбергом, не часто встретишь на белом свете.

Побывали мы как-то и во дворце «Ла Фаворита», расположенном в нескольких милях от Баден-Бадена. Здесь прекрасный парк, но и дворец представляет немало любопытного. Построенный маркграфиней в 1725 году, он и сегодня остался таким же, каким был в час ее смерти. Мы обошли немало покоев и повсюду дивились своеобразному убранству. Так, стены одного покоя сплошь увешаны миниатюрами, изображающими саму маркграфиню во всевозможных затейливых нарядах, нередко мужских.

Стены другой комнаты затянуты штофными обоями ручной работы, затканными причудливыми арабесками и фигурами. В спальнях стоят заплесневелые старинные кровати, их одеяла, пологи и балдахины также украшены замысловатой вышивкой; стены и потолки расписаны фресками на исторические и мифологические темы, еще сохраняющими яркость красок. По всему зданию столько сумасбродного прогнившего хлама, что любому собирателю в пору лопнуть от зависти. В столовой висит картина довольно скромного содержания, но и сама маркграфиня была дама изрядно скромная.

В общем, этот несуразно и аляповато разукрашенный дом представляет собой колоритнейший памятник наклонностей и вкусов той давно отошедшей варварской эпохи.

В парке, неподалеку от дворца, стоит часовня маркграфини, тоже оставшаяся нетронутой после смерти хозяйки, — неуклюжий деревянный сарай, лишенный всяких украшений. Предание гласит, что маркграфиня месяцами вела разгульную и расточительную жизнь, а потом запиралась в эту жалкую дощатую берлогу, где несколько месяцев очищалась постом и молитвой, прежде чем опять закутить. Она была ревностной католичкой, а может быть, по понятиям того времени и круга, и образцовой христианкой.

Последние два года своей жизни она, по преданию, провела в добровольном заточении, удалилась в ту са-

мую берлогу, о которой уже шла речь, покуролесив напоследок в свое удовольствие. Запершись там в полном одиночестве, без единого близкого человека, даже без служанки, она навсегда отреклась от мира. Сама стряпала себе в крохотной кухоньке, надела власяницу, истязала себя бичом, — эти орудия благодати и сейчас еще выставлены для всеобщего обозрения. Молилась она и перебирала четки в другой крошечной каморке, перед восковой богоматерью, заключенной в стенной шкафчик; спала на ложе, каким не погнушалась бы разве лишь рабыня.

В другой комнатухе стоит деревянный некрашенный стол, а за ним примостились рядком восковые фигуры членов Святого семейства в половину человеческого роста — жалкие творения бездарнейшего ремесленника, какие только можно себе вообразить, но разодетые в пеструю мишурную ветошь¹. Сюда приходила маркграфиня покушать и, таким образом, *обедала со Святым семейством*. Ну не дикая ли идея! Представьте себе жуткое зрелище: по одну сторону стола — негнувшиеся куклы с всклокоченными лохмами, трупным цветом лица и стеклянным, как у рыб, взглядом сидят в принужденных позах, застыв в мертвенной неподвижности, присущей человеческим существам, созданным из воска; по другую — иссохшая, сморщенная факирша бормочет молитвы и мусолит беззубыми деснами колбасу среди могильной тишины и зыбкого полумрака сгущающихся зимних сумерек. При одной мысли об этом по спине пробегают мурашки!

В этой жалкой берлоге, питаясь и одеваясь, как нищенка, и засыпая на нищенском ложе, жила и молилась эта чудачка принцесса, — и так целых два года, до самой смерти. Случись это двести или триста лет назад, убогий сарайчик был бы объявлен святыней; церковь завела бы в нем свою фабрику чудес и загребала бы немалые деньги. Впрочем, и сейчас еще не поздно перебросить его во Францию, там можно недурно на нем заработать.

¹ Спаситель был изображен пятнадцатилетним подростком. Эта фигура окривела на один глаз. — М. Т.

*Шварцвальд. — Владетельный князь и его семья. — На-
боб. — Новый критерий богатства. — Страницка естествен-
ной истории. — Муравей-обманщик. — Немецкая кухня.*

Из Баден-Бадена совершили мы положенную экскурсию в Шварцвальд, проделав большую часть пути пешком. Трудно описать эти величественные леса и те чувства, которые они навевают. Тут и глубокое довольство, и какая-то задорная мальчишеская веселость, а главное — отрешенность от будничного мира и полное освобождение от его забот.

Леса тянутся непрерывно на огромные пространства; куда ни пойдешь, повсюду все та же чаща, безмолвная, сосновая, благоуханная. Стволы деревьев стройны и прямы, и бывает, что земля под ними на целые мили покрыта толстым ковром ярко-зеленого мха, на поверхности которого, безукоризненно чистой, вы не увидите ни рыжего пятнышка или вмятины, ни сучка или вялого листика. В этих колоннадах стоит торжественный сумрак собора; вот почему случайно ворвавшийся солнечный зайчик производит здесь переполох, ударяясь где в ствол, где в сук, а упав на мох, горит на нем ярким огнем. Но особенно необычный эффект производит низкое послеобеденное солнце; ни один луч уже не пробьется сюда, но зато рассеянный свет, окрашиваясь в цвета листвы и мха, наполняет лес слабой зеленоватой дымкой, напоминающей сценическое освещение сказки-феерии. Ощущение таинственного и сверхъестественного, не покидающее вас, еще усиливается от этого неземного света.

Мы убедились, что деревни Шварцвальда и крестьянские дома полностью отвечают описаниям их в «Шварцвальдских рассказах». Первым ярким образцом такого дома, где нам пришлось побывать, была усадьба богатого крестьянина, члена общинного совета. Это уважаемый человек в своей местности, его жена, разумеется, тоже. Дочка — первая невеста во всей округе. Ауэрбах уже, возможно, обессмертил ее, сделав героиней какой-нибудь повести. Если это так, то я непременно узнаю ее по шварцвальдскому наряду, по

здоровому загару, пышным формам, пухлым рукам, туповатому лицу, неизменному добродушию и большим ногам, по непокрытой голове и косам цвета пеньки, свисающим до пояса.

Дом — величиной с порядочную гостиницу: в нем сто футов длины, пятьдесят ширины и десять высоты, считая от земли до стрех; от стрех до гребня мощной кровли не меньше сорока футов, если не больше. Эта кровля в фут толщиной, крытая древней грязно-серой соломой, почти сплошь, за исключением нескольких крошечных прогалин, затянута буйно разросшейся зеленью, преимущественно мхом. Там, где старая солома сгнила и на ее место положены свежие заплаты из золотистой соломы, во мху выделяются плешины. Стрехи, крыльями свисающие вниз, словно призывают путника отдохнуть под их гостеприимной сенью. С улицы, футах в десяти над землей, лепится узенькая терраска с деревянными перильцами; на нее выходит несколько окошек с частым переплетом. Наверху поблескивают еще два-три оконца, одно из них, слуховое, забралось под самый конек крыши. Перед дверью первого этажа высится огромная куча навоза. Из двери сбоку торчит высокий коровий зад. Уж не гостиная ли там? Вся передняя половина дома от земли до чердака занята, по видимому, людьми, молочным скотом и птицей, а задняя — тяглым скотом и сеном. Но что особенно бросается в глаза — это большущие кучи навоза вокруг всего дома.

Мы вскоре близко познакомились со значением удобрения в местной жизни. Мы даже невольно усвоили привычку судить об общественном положении человека по этому внешнему, но красноречивому признаку. Иногда мы говорили: «Здесь живет бедняк, дело ясное». Увидев величественную гору, мы заключали: «А здесь живет банкир». Когда же нам попадалась усадьба, окруженная навозными Альпами, мы восклицали: «Здесь, без сомнения, живет герцог!»

Эта важнейшая особенность местной жизни явно недооценена бытописателями Шварцвальда. Удобрение, очевидно, главное богатство местного жителя, его казна, его сокровище, предмет его гордости, его картинная галерея, его собрание керамики, его коллекция безде-

лок, свет его очей, его право на общественное признание, зависть и почет, — и его первая забота, когда приходит срок писать духовную. Правдивый рассказ из жизни Шварцвальда, если его когда-нибудь напишут, может быть сведен к такой схеме.

СХЕМА РАССКАЗА ИЗ ЖИЗНИ ШВАРЦВАЛЬДА

Старик крестьянин, богатей, по имени Гус. Унаследовал большое состояние в навозе и приумножил его собственными трудами. Оно отмечено у Бедекера двумя звездочками¹. Некий шварцвальдский художник пишет с него картину — свой шедевр. Сам король приезжает на него поглядеть. Гретхен Гус — дочь и наследница. Пауль Гох — молодой сосед, ищет руки Гретхен, но это лишь ширма — на самом деле его привлекает навоз. Гох и сам обладатель нескольких возов этой шварцвальдской валюты и потому считается выгодной партией; но это человек низменной души, бесчувственный скряга, тогда как Гретхен — вся чувство и поэзия. Ганс Шмидт, другой молодой сосед, исполнен чувства, исполнен поэзии, любит Гретхен и любим ею. Но у него нет навоза. Старый Гус отказывает ему от дома. Сердце Ганса разбито, он удаляется в лес, чтобы там умереть, вдали от жестокого мира, ибо, как он восклицает с горечью: «Что такое человек без навоза!»

Спустя шесть месяцев.

Пауль Гох является к старику Гусу: «Наконец-то я так богат, как вы того желали, приходите поглядеть на мою кучу». Старик Гус осмотрел кучу и говорит: «Этого вполне довольно; бери же ее (подразумевая Гретхен) и будь счастлив».

Спустя две недели.

В гостиной старика Гуса собрались свадебные гости. Гох счастлив и доволен, Гретхен оплакивает свою горькую участь. Входит убеленный сединами старший бухгалтер Гуса.

¹ Все, заслуживающее особого внимания, отмечено у Бедекера двумя звездочками (**). — М. Т.

Гус (*свирепо*). Я дал вам три недели, чтобы установить, почему баланс у вас не сходится, и чтобы доказать, что вы не растратчик; все сроки истекли, и теперь либо найдите мне мое пропавшее имущество, либо садитесь в тюрьму как вор!

Бухгалтер. Я нашел его.

Гус. Где?

Бухгалтер (*с трагическим пафосом*). В жениховой куче! Вот он, вор, глядите, как он трепещет и бледнеет!

Общее оживление.

Пауль Гох. Я пропал, я пропал! (*Без чувств валится на корову; на него надевают наручники.*)

Гретхен. Спасена! (*От радости падает без чувств на теленка, но ее подхватывает Ганс Шмидт, появившийся в эту минуту.*)

Гус. Как, ты здесь, негодяй? Руки прочь от этой девы, и скройся с глаз моих долой!

Ганс (*продолжая поддерживать бесчувственную девушку*). Ни за что! Знайте, жестокий старик, что я пришел с притязаниями, которых даже вам не отвергнуть.

Гус. Ты? Назови же их!

Ганс. Так слушайте же! Мир отвернулся от меня, и я отвернулся от мира; одиноко бродил я по лесу, призывая смерть и не находя ее. Я питался кореньями и, снедаемый горечью, искал лишь самых горьких, отвергая те, что послаще. Так, роясь в земле целых три дня, я наткнулся на навозную жилу! То была Голконда, неисчерпаемая Бонанца сплошного навоза! Я могу теперь купить вас всех, и после этого у меня все еще останутся горные цепи навоза. А-га, теперь ты улыбаешься!

Растущее смятение.

Ганс предъявляет образцы найденных им залежей.

Старый Гус (*с энтузиазмом*). Так разбуди же ее, встряхни ее, благородный юноша! Она твоя!

Тут же играют свадьбу. Бухгалтер восстановлен в должности, в правах и окладе. Пауля Гоха ведут в

тюрьму. Король шварцвальдской Бонанцы доживает до преклонных лет, счастливый любовью своей жены и своих двадцати семи детей и сладостной завистью всех своих односельчан.

Днем, пообедав жареной форестью на постоялом дворе «Плуг» в живописной деревушке (Оттенгефен), мы перешли в общий зал отдохнуть и покурить. За большим столом сидела компания человек в девять-десять шварцвальдских старейшин — общинный совет. Все они явились сюда в восемь утра для избрания нового члена и уже четыре часа как тянули пиво за счет своего избранника. Это были люди лет пятидесяти — шестидесяти, с серьезными добродушными лицами, одетые в платье, столь знакомое нам по шварцвальдским рассказам: черная фетровая шляпа с круглой тульей и загнутыми вверх широкими полями; длинный красный жилет, усаженный крупными металлическими пуговицами; сюртук из черного альпака с талией где-то у самых лопаток. Не слышно было ни заздравных спичей, ни соленых прибауток, ни даже обыкновенных разговоров. Совет не спеша, но методически и неуклонно накачивался пивом с тем степенным достоинством, какое присуще людям с положением, со связями, с навозом.

После обеда мы, несмотря на палящий зной, поднялись вверх по долине, следуя течению быстрого прозрачного ручья, мимо крестьянских домиков и водяных мельниц, мимо бесчисленных придорожных распятий, святых угодников и дев. Эти распятия и прочее тому подобное, воздвигнутые неутешными друзьями в память об усопших, сменяют друг друга так же часто, как в других местах телеграфные столбы.

Мы тащились по проезжей дороге, и нам, как всегда, не везло: солнце жгло немилосердно, а тень, едва помянув издалека, при нашем приближении тут же скрывалась. За все время наших странствий нам ни разу не удалось захватить ее на месте. Но в тот день зной был изводящий, и утешаться, — если это можно считать утешением, — мы могли разве тем, что крестьянам,

трудившимся на крутизне над нашими головами, приходилось еще хуже. Наконец, не в силах больше выносить жару и слепящий блеск, мы перебрались через овраг и вступили в прохладные сумерки леса, с намерением разыскать то, что в путеводителе именовалось «старой дорогой».

Вскоре мы и впрямь вышли на заброшенную дорогу — по случайности, ту самую, которую искали, — но шли мы по ней в полной уверенности, что дорога не та. А раз дорога не та, значит нет смысла торопиться; мы и не торопились, а то и дело усаживались в мягкий мох, наслаждаясь лесной тишиной и прохладой. На проезжей дороге царило оживление — громыхали телеги, тянулись школьники, крестьяне, группы странствующих студентов, прибывших сюда со всей Германии; здесь же, кроме нас, никого не было.

Отдыхая, мы временами следили за работой прилежного муравья. Впрочем, то, что я увидел, лишь подкрепило мое давнишнее мнение обо всем этом племени. По-моему, что касается ума, — муравей не такая уж редкая птица, как считают. Не раз в летнюю пору, когда меня ждали дела поважнее, я наблюдал за ним и убедился, что в рассуждении всякой умственности от живого муравья не больше толку, чем от дохлого. Я, конечно, имею в виду нашего обычного муравья, так как никогда не встречал пресловутых швейцарских и африканских муравьев, которые голосуют, содержат обученные армии, эксплуатируют рабский труд и ведут религиозные диспуты. Те, особые муравьи, может быть и оправдывают высокое мнение натуралистов — судить не берусь; я только утверждаю, что обычный муравей — дутая величина. Я не отрицаю, понятно, его прилежания: он трудится себя не жалея, особенно когда кто-нибудь смотрит; но чего я не могу ему простить — это его непроходимую тупость. Отправляется он, скажем, на добычу и захватывает трофей, — что же он делает дальше? Идет домой? Как бы не так — куда угодно, только не домой. Он понятия не имеет, где его дом. Дом может быть в двух-трех шагах — не важно, муравей этого не знает. Как сказано, он захватил трофей, какую-нибудь никому не нужную дрянь, притом

раз в семь больше себя самого; он выискивает самое неподходящее место, чтобы за нее ухватиться; пыхтя и надрываясь, взваливает ее на себя и пускается в путь, — но не домой, а в обратную сторону, и не спокойно и разумно, а в дикой спешке, ухлопывая на эту спешку все силы; перед каждым камешком он останавливается и, вместо того чтобы обойти кругом, лезет напрямик, пятясь задом и волоча за собой свою ношу; перекачивается вверх тормашками на ту сторону, вскакивает в остервенении, стряхивает с себя пыль и, поплевав на ладони, снова с азартом хватается за свою добычу; дергает ее туда-сюда, с минуту толкает перед собой; в следующую минуту заходит вперед и волочит ее на буксире; звереет все больше и больше и наконец, подняв свою добычу высоко в воздух и торопясь, как на пожар, несется с ней уже в новом направлении; тут он натывается на репейник, но ему и в голову не приходит обойти его кругом, — нет, он обязательно должен на него взобраться; и он лезет на маковку, таща за собой свою бесполезную кладь, — что примерно так же остроумно, как если б я, взвалив на себя куль муки, потащился с ним из Гейдельберга в Париж напрямик через Страсбургскую колокольню; взобравшись на самую верхотуру, он убеждается, что не туда попал; мельком оглядывает окрестность и либо лезет вниз, либо сваливается кувырк и опять пускается в путь, но теперь уже в новом направлении. Через полчаса он останавливается — дюймах в шести от места, откуда начал свое путешествие, и здесь разгружается; за это время он облазил вдоль и поперек территорию окружностью в два ярда и перебрался через все камешки и сорняки, какие попадались ему на дороге. Он оттирает пот со лба, расправляет усталые члены и, не чуя под собой ног, пускается в новое бесполезное странствие. Исходив зигзагами порядочное расстояние он натывается на брошенную ношу. Он уверен, что видит ее впервые, и, оглядевшись, дабы ноги паче чаяния не занесли его домой, хватает свой тюк — и айда в дорогу! Опять с ним происходят те же приключения, но наконец он останавливается передохнуть, и тут ему встречается приятель. Должно быть, на приятеля произвела

впечатление нога прошлогоднего кузнечика, и он спрашивает, откуда она. Должно быть, хозяин ноги уже начисто позабыл, где подобрал ее, и отвечает неопределенно, что «где-то в этих краях». Должно быть, приятель вызывается помочь ему доставить поклажу домой. И вот, повинуясь некоему голосу древнего муравьиного разума, приятели берутся за ногу кузнечика с обоих концов и тянут ее изо всех сил — каждый к себе. Потом они устраивают перекур и обмениваются мнениями. Они видят, что дело у них не клеится, но по какой причине — им невдомек. И они снова берутся за свой груз тем же манером, что и раньше, и с тем же успехом. Начинаются взаимные попреки. Должно быть, каждый обвиняет другого в обструкции. Спор становится все жарче и переходит в драку. Приятели, сцепившись намертво, некоторое время обгрызают друг другу челюсти, а потом катаются по земле и кувыркаются, пока один из них, не досчитавшись ноги или усика, не запросит прощенья. Мир заключен, и муравьи снова берутся за работу, все на тот же безмозглый лад; но теперь калеке приходится туго: сколько он ни тянет на себя поклажу, здоровый муравей, как более сильный, перетягивает и волочит и его вместе с ношей; а приятель, чем отпустить, отчаянно за нее цепляется и разбивает себе голени о неровности почвы. Наконец, протащив ногу кузнечика вторично по тому же маршруту, упарившиеся муравьи сваливают ее примерно на том же месте, где она сперва лежала, и, рассмотрев повнимательнее, решают, что эта высохшая нога не такой уж клад, чтобы особенно за нее держаться, после чего оба расходятся в разные стороны, в надежде найти ржавый гвоздь или какой-нибудь другой предмет, достаточно тяжелый, чтобы причинить муравью побольше хлопот, и достаточно бесполезный, чтобы ему приглянуться.

Там, в Шварцвальде, на склоне горы, я видел, как один муравей проделывал те же штуки с мертвым пауком, весившим вдесятеро больше, чем он сам. Собственно, паук был еще жив, но уже не мог сопротивляться. У него было круглое туловище величиной с горошину. Заметив, что я наблюдаю, муравей повалил

паука навзничь, сдавил ему челюстями горло, поднял его в воздух и пустился бежать, наступая жертве на ноги, спотыкаясь о мелкие камешки и снова поднимаясь; он то волочил свою ношу за собой, то подталкивал ее вперед, то переваливал с ней через шестивершковые камни, вместо того чтобы обходить их стороною, то взбирался на высокие травинки раз в двадцать выше себя, прыгал с них — и наконец кинул паука среди дороги, где его, конечно, подберет такой же, как он, олух-муравей. Я измерил путь, пройденный этим ослом за двадцать минут, и установил, что произведенная им работа применительно к человеку будет выглядеть примерно так: свяжите ремнем двух лошадей, по четыреста фунтов весом каждая, и протащите их на расстояние в тысячу восемьсот футов по валунам в среднем до шести футов высотой (только не в обход), да не забудьте во время этого путешествия взобраться на скалу с Ниагару вышиной и с нее спрыгнуть, а заодно еще с трех колоколен, в сто двадцать футов каждая, — а потом бросьте лошадей без призора где-нибудь в открытом поле и отправляйтесь, исключительно для удовлетворения своего тщеславия, проделывать такие же идиотские фокусы где-нибудь в другом месте.

По последним данным науки, муравей ничего не припасает на зиму. Уже это должно чувствительно отразиться на той популярности, что создана ему литературой. Муравей трудится, только когда за ним наблюдают, да и то при условии, что наблюдатель — человек с простодушно-доверчивой физиономией натуралиста и что он все время что-то строчит в своей записной книжке. Но это форменное очковтирательство, и в воскресных школах муравью не будет больше доверия. Муравей не разбирает толком, что годится, а что не годится ему в еду, — но это же форменное невежество, и оно крайне повредит ему в глазах всего света. Муравью достаточно обойти вокруг пня, чтобы потерять дорогу домой, — но это же форменное слабоумие; и поскольку сей позорный факт установлен, ни один разумный человек не станет больше уважать муравья, и ни одна чувствительная душа не станет с ним носиться. Хваленое трудолюбие муравья объясняется исключи-

тельно тщеславием и никакого эффекта не дает, поскольку он никогда не доносит до дому того, над чем хлопочет. А это и вовсе губит его репутацию и полностью сводит на нет его значение как могучего морального фактора, раз ни один лежебока им больше не пленится. Удивительно и уму непостижимо, что такому лицемеру удавалось водить за нос многие нации, да еще в течение многих веков, и что никто до сих пор не разоблачил его.

Муравей силен, но нам попался еще один пример незаурядной физической силы там, где раньше мы ее не замечали. Гриб-поганка, достигающий за одну ночь своего полного развития, взрыл и поднял в воздух слежавшийся слой сосновых игл и грязи вдвое больше себя объемом и поддерживал его в воздухе, как столб поддерживает навес. Десять тысяч поганок могут, стало быть, поднять на воздух человека. Ну а толку-то что?

Весь день дорога вела нас в гору. Когда же часов в пять или в половине шестого мы поднялись наверх, густая завеса зелени вдруг раздвинулась, и мы увидели глубокую красивую лощину, а дальше обширную панораму лесистых гор; их вершины сверкали на солнце, а изрезанные ущельями склоны тонули в лиловой мгlistой дымке. Лощина, лежавшая у наших ног, по названию Аллерхейлиген, в верхней своей части представляет зеленую поляну — чудесное место для уютного, спокойного человеческого гнезда, удаленного от мира с его суетой, — и, разумеется, монахи в свое время не преминули его высмотреть: лежащие перед нами побуревшие живописные развалины их церкви и монастыря свидетельствуют о том, что и семьсот лет назад священники с безошибочным чутьем прибирали к рукам все лучшие уголки и местечки, как они это делают сегодня.

Сейчас эти развалины теснил большой отель, бойко промышляющий за счет летнего туризма. Мы спустились в ущелье и отлично пообедали, если не считать того, что форель была отварная. Немцы, будучи представлены самим себе, непременно отварят вам форель, равно как и все другое, что попадется под руку. Кстати, это довольно веский довод в пользу теории, что пер-

выми поселенцами на диких островах у берегов Шотландии были немцы. Несколько лет назад в виду одного из таких островов разбилась шхуна, груженная апельсинами, и мирные туземцы оказали капитану столь ревностную помощь, что он предложил им взять себе сколько угодно апельсинов. На следующий день капитан спросил, как им понравились апельсины, на что те, покачав головой, отвечали:

— В печеном виде их не укусишь, но и вареные они не больно съедобны, голодный и то не позарится.

После ужина мы спустились вниз по лощине. Это — живописное местечко, сочетающее красоты лесного пейзажа с романтическим очарованием суровых скал. По дну ее с ревом бежит прозрачный ручей, змеится между высокими утесами и, вырвавшись из теснины, низвергается рядом водопадов. Миновав последний водопад, не забудьте обернуться: вы увидите цепь пенных сверкающих каскадов, расположенных лестницей о семи ступенях, — картина столь же величественная, сколь и неожиданная.

Глава XXIII

Мы отправляемся в дневной поход. — Рассказы на прогулке. — Никодимес Додж. — Поиски работы. — Скелет Джимми Финна. — Неожиданная популярность.

Мы были уверены, что теперь, сделавшись опытными ходоками, за день доберемся до Оппенау, и на следующее утро после завтрака выступили в поход, чтобы засветло добраться до цели. Дорога все время вела под гору, к тому же стояла чудная летняя погода. Мы завели свой шагомер и не спеша двинулись вперед по лесной просеке, с наслаждением вдыхая благоуханный утренний воздух, глотая его полными глотками и чувствуя, что ничего нам больше не надо, как только всю жизнь вот так, налегке, идти и идти в Оппенау, а придя, пускаться в этот путь снова.

Прелесть таких прогулок заключается не столько в самой ходьбе и постоянной смене впечатлений, сколько

в приятной беседе. Ходьба размеряет работу языка и горячит мозг и кровь, дорожные виды и лесные запахи незаметно, исподволь поднимают настроение и тешат глаз и душу; но самое большое удовольствие доставляет беседа. Не важно, о чем говорить — о пустяках или о высоких материях, не в этом дело, лишь бы вволю молоть языком и чтобы тебя сочувственно слушали.

А какую кучу разнообразнейших тем могут переворочить два-три человека за день такого странствия! Разговор ведется самый непринужденный, одна тема сменяет другую, ничто не заставляет вас пережевывать одно и то же, пока вы сами себе не осточертеете. В то утро мы за первые пятнадцать — двадцать минут обсудили все, в чем знали толк, а потом выплыли на широкое заманчивое раздолье вопросов и тем, в которых разбирались весьма слабо.

Гаррис уверял, что писатель — будь он хоть семи пядей во лбу, — если заведет скверную привычку нанизывать цепочкой глаголы, так он уже от нее ввек не отстанет. Привыкнет человек говорить: «Я попросил его постараться научиться не приходить так поздно», когда можно сказать просто и внятно: «Я попросил его не опаздывать», — и уж этому человеку ничего не поможет. Гаррис уверял, что таких примеров полно в любом номере любой газеты, выходящей на английском языке, и чуть не в каждой издающейся у нас книге. Он будто бы находил их даже в грамматике Керкема и у самого Маколея. Гаррис считал, что для взрослого человека подобные обороты так же малообязательны, как молочные зубы¹.

И мы перешли к зубоврачеванию. Я сказал, что, по моим наблюдениям, рядовому человеку не так страшна серьезная операция, как удаление зуба, и что в кабинете зубного врача больше крику, чем в хирургической палате. На что Гаррис философски заявил, что всякий

¹ «Во время этой сессии я не раз пытался воззвать к моему благородному другу, просил его не отказываться прийти мне на помощь и заменить меня в некоторых разделах нашей общей работы». (*Из речи английского канцлера казначейства, произнесенной в августе 1879 г.*)

нормальный человек и в том и в другом случае посоветится кричать при публике.

— Когда наша бригада стояла лагерем на Потомаке, — продолжал он, — мы порой слышали нечеловеческие вопли. А это означало, что в зубоврачебной палатке у какого-то несчастного рвут зубы. Но вскоре наши зубодеры приняли меры: они перенесли свой прием на свежий воздух. С тех пор крики прекратились — то есть крики тех, у кого удаляли зубы. Ежедневно в часы приема перед зубоврачебным креслом собиралось человек пятьсот солдат, чтобы поглазеть на операцию и оказать товарищу посильную помощь; и стоило зубному врачу наложить щипцы на больной зуб и потянуть, как каждый из пятисот каналов хватался за щеку и давай прыгать на одной ноге и реветь во всю глотку. Волосы вставали дыбом при звуках этого дружного и нестройного, этого душераздирающего кошачьего концерта! Перед такой обширной и горластой аудиторией ни один страдалец и пикнуть не посмеет, хоть голову у него оторви. По словам наших врачей, не раз бывало, что пациент, как бы скверно ему ни приходилось, едва сдерживал смех, и ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь пикнул, — с той поры как наши медики стали давать эти сеансы под открытым небом.

От зубных врачей мы перешли к врачам вообще, от врачей вообще — к смерти, от смерти к скелетам, — и так, одна тема с логической необходимостью сменялась у нас другой, пока скелеты не вызвали из мрака забвения некоего Никодимеса Доджа, вот уже двадцать пять лет как погребенного и мирно покоящегося в бездонной могиле моей памяти. Когда я еще мальчиком служил в типографии в штате Миссури, к нам как-то забрел длинный, нескладный белобрысый юнец лет шестнадцати, этакий неотесанный оболтус в рабочих штанах, и, не вынимая рук из бездонных карманов и не снимая древних останков шляпы, поля которой унылыми лохмотьями, подобно изъеденным листьям капусты, свисали ему на глаза и уши, равнодушно огляделся, навалился бедром на редакторский стол, скрестил ноги в

грубых башмаках, нацелился сквозь щелочку в верхних зубах на муху в дальнем углу, убил ее наповал и спросил, не смущаясь:

— Кто здесь хозяин?

— Я хозяин, — отозвался редактор, оглядывая эту курьезную фигуру снизу доверху, от башмаков до задорной физиономии.

— Допустим, человек не прочь поучиться вашему ремеслу. Как вы на этот счет?

— Не знаю, что и сказать! А вам хочется?

— Мой старик меня больше кормить не может, вот я и хочу заняться — все равно чем, потому как малый я сильный и смирный, опять же и работы не боюсь, ни тяжелой, ни легкой.

— А нравится вам печатное дело?

— Мне, по правде сказать, ничего не нравится, мне бы только чему выучиться, все равно чему, только бы на ноги стать. Пусть хоть печатному делу.

— Читать умеете?

— Умею — немного.

— А писать?

— Случалось мне видеть людей, что лучше пишут.

— А в счете вы сильны?

— За прилавок меня не поставишь, а сообразить, сколько двенадцатью двенадцать, это я всегда соображу. Вот дальше мне уж, пожалуй, не осилить.

— Где вы живете?

— Я из старого Шелби.

— Какого ваш отец исповедания?

— Отец? Он кузню держит.

— Нет, нет! Я не о ремесле спрашиваю, какой он религии?

— А-а, вон оно что. Я сразу-то не понял. Свободный масон, вот он кто!

— Опять вы не о том. В какую он церковь ходит?

— Так бы и говорили! А то я не возьму в толк, чего вам от меня нужно. В какую церковь, спрашиваете? Он уже сорок лет заядлый баптист Свободной Воли. Такого оглашенного во всем околотке нет. Мой старик замечательный парень. Это вам каждый скажет. А если

от кого что другое услышите, пусть он это при мне повторит — вперед умнее будет.

— А вы какой религии?

— Ну, хозяин, тут вы меня и поймали, да ничего плохого в этом нет, поверьте. По-моему, если парень рад помочь другому в беде, и не ругается по-черному, и никому не пакостит, и не пишет имя Спасителя со строчной «хы», так нечего ему бояться, — он так же спасется, как если бы в церковь ходил.

— А писал бы он Спасителя со строчной, что бы вы тогда сказали?

— А это смотря как: кабы он нарочно, тогда его дело дрянь, — по крайней мере так должно быть. В этом меня не собьешь.

— А как вас звать?

— Никодимес Додж.

— Мне кажется, вы нам подходите, Никодимес. Я возьму вас на испытание.

— Вот и хорошо.

— Когда же вы приступите?

— А хоть сейчас.

Так, через десять минут после того, как мы познакомились с этим феноменом, он уже был одним из нас и, сбросив пиджак, усердно трудился.

Дом, где помещалась газета, задней стороной примыкал к заглохшему саду с запущенными дорожками и буйными зарослями цветущего чертополоха, над которыми тут и там высился их неизменный спутник — стройный подсолнух. В этом безрадостном месте, в чаще кустов, стояла ветхая сторожка с одной-единственной комнатой, одним-единственным окошком и совсем без потолка — когда-то она служила коптильней. Одинокая угрюмая сторожка и была пожалована Никодимесу в качестве спальни.

Наши захоластные хлыщи обрадовались Никодимесу, как находке, — вот уж над кем можно вволю проказничать! Юноша был на удивление доверчив и простодушен. Кампания началась по доблестному почину Джорджа Джонса. Он угостил Никодимеса сигарой, начиненной порохом, и стал знаками приглашать своих дружков подойти поближе; шутиха разорвалась

и спалила малому чуть ли не все ресницы и брови. Но он только сказал:

— Цigarка-то, видать, небезопасная, — и притворился, будто ни о чем не догадывается. Но уже на следующий вечер он подстерег Джорджа в укромном месте и окатил ведром холодной воды.

В другой раз Никодимес далеко заплыл, купаясь, и Том Макэлрой припрятал его одежду. В отместку Никодимес предал одежду Тома сожжению на костре.

Двумя днями позже с Никодимесом сыграли новую шутку, заставив его в воскресный день прогуляться по главному проходу в церкви с пестрой афишкой, приколотой между лопаток. После службы шутник весь вечер и всю ночь проторчал в погребке заброшенного дома, и Никодимес до самого завтрака караулил его, сидя на пороге и грозясь, что, если тот вздумает поднять шум, ему не поздоровится. В погребке фута на два застоялась вода, и дно его на полфута затянуло илом.

Но я отклонился в сторону. Ведь на мысль о Никодимесе навели меня, собственно, скелеты. Вскоре наши шалопаи с огорчением убедились, что все их попытки разыграть простачка «из старого Шелби» оборачиваются против них же, и охотников до шуток становилось все меньше. Но тут на подмогу пришел молодой доктор: услышав, что он собирается напугать Никодимеса до смерти, и ознакомившись с его планом, проказники пришли в полный восторг.

Дело в том, что у доктора был отличный новенький скелет — благородные останки эти принадлежали единственной нашей знаменитости, недавно почившему Джимми Финну, деревенскому пропойце, причем куплено было это мрачное достояние за пятьдесят долларов у самого Джимми Финна на торгах, при большом ажиотаже, в то время как владелец скелета лежал на кожаном заводе тяжело больной. Это было за две недели до его смерти. Пятьдесят долларов тут же пошли на виски и немало способствовали скорейшему переходу скелета в руки нового владельца. Доктор и вознамерился положить скелет Джимми Финна в постель Никодимесу!

Так он и сделал в тот же вечер, в половине одиннадцатого. Около полуночи, когда Никодимес обычно укладывался спать, наши проказники украдкой проползли сквозь чащу чертополоха и подсолнухов к одинокой сторожке. Дотянувшись до окна, они с любопытством заглянули в него. Длинноногий бедолага сидел в короткой рубашке на кровати, болтая ногами от удовольствия: он извлекал из накрытого бумагой грешка сомнительные звуки, вроде бы на мотив «Кэмптаунских скачек»; рядом лежала губная гармоника, новенький волчок, мячик из литой резины, горсть раскрашенных круглых камешков, пять фунтов леденцов и основательно надкусанный имбирный пряник величиной и толщиной с почтенную нотную тетрадь. Никодимес продал скелет бродячему знахарю за три доллара и теперь пожинал плоды этой сделки.

Не успели мы покончить со скелетами и перейти к новой теме — ископаемым животным, как услышали крики и оглянулись на крутой откос. Там, высоко наверху, стояли какие-то женщины и мужчины и, по-видимому, со страхом следили за объемистым свертком, который, кубарем катясь с горы, летел прямо на нас. Мы расступились, давая ему дорогу; когда же сверток докатился до дороги, он при ближайшем рассмотрении оказался перепуганным мальчиком. Мальчик оступился и полетел вниз, и единственное, что ему оставалось, — это довериться судьбе и покорно принять свой жребий.

Когда катишься под уклон с такого откоса, остановиться уже невозможно, пока не докатишься до самого низу. Представьте же себе, что люди возделывают эти склоны — такие крутые, что самое правильное сказать о них, не рискуя ошибиться, что они круче, чем лестница, хоть и не такие крутые, как крыша мансарды. И люди их все-таки обрабатывают! Крестьянские участки, которые мне пришлось видеть на горном склоне против Гейдельберга, как бы поставлены на ребро. Мальчика порядком растрясло, и голова у него была исцарапана в кровь об острые камешки, с которыми ей пришлось познакомиться при столь неудачном спуске.

Мы с Гаррисом подняли его и усадили на придорожный камень. Тем временем с горы спустились люди и принесли мальчику его шапку.

Отовсюду из соседних домишек стекался народ — мужчины, женщины, дети, — все ласкали мальчугана, белого, как полотно, глазели на него, сочувственно вздыхали, кто-то отпаивал его водой и обмывал его ссадины и царапины. Но больше всего работали языки! Очевидцы катастрофы рассказывали о ней наперебой, стараясь перекричать друг друга, а одному юному таланту и этого показалось мало: взбежав повыше на откос, он потребовал внимания, сделал вид, что споткнулся и упал, а потом скатился к нашим ногам, гордый и торжествующий.

Мы с Гаррисом фигурировали во всех описаниях: и как мы шли по дороге, и как Ганс Гросс крикнул, и как мы посмотрели вверх и удивились, и как мы увидели Петера, летевшего на нас со скоростью пушечного ядра, и как мы благоразумно отскочили и дали ему упасть, и с каким присутствием духа мы подняли его, почистили и усадили на камень, когда представление кончилось. С нами носились не меньше, чем с другими героями этой драмы, — кроме Петера, конечно, — и вместе с Петером и всей собравшейся толпой нас увлекли в домик матери Петера, где всех угощали хлебом и сыром и поили молоком и пивом и где мы приятно провели время в дружеском кругу; когда же мы собрались уходить, все жали нам руки и восклицали: «*Leb' wohl!*»¹, пока мы не потеряли наших новых добрых и сердечных друзей, потеряли навек за поворотом дороги.

Мы с честью выполнили свое намерение — в половине девятого вечера вступили в Оппенау, проделав путь от Аллерхейлигена за одиннадцать с половиной часов и отмахав сто сорок шесть миль. Так показывал наш шагомер; путеводитель и карты Государственного картографического управления определяют это расстояние в десять с четвертью миль, — ошибка тем более удивительная, что в отношении цифровых данных оба эти источника обычно заслуживают доверия.

¹ Будь здоров! (нем.)

Воскресенье на континенте. — День отдыха. — Случай в церкви — Императрица у обедни. — Концерты на открытом воздухе. — Очарование музыки и степень ее доступности. — Мы нанимаем курьера.

Прогулка и в самом деле была приятная — первая наша прогулка, когда дорога все время шла под гору. На следующее утро мы сели в поезд и в Баден возвращались в густых облаках пыли. В вагоне не нашлось ни одного свободного местечка: был воскресный день, все ринулись за город на «увеселительные» экскурсии. Жарница! Небо пылало, как раскаленная печь — крепкая гечь, без единой трещины, пропускающей воздух. Едва ли подходящая пора для увеселительных экскурсий!

Воскресенье — поистине праздничный день на континенте, свободный день, счастливый день! Здесь вы можете как угодно нарушать субботний покой, не беря греха на душу. Мы не работаем в воскресенье, потому что работать запрещает нам заповедь; и точно так же, блюдя заповедь, не работают в воскресенье и немцы; мы отдыхаем в воскресенье, потому что так велит нам заповедь; и точно так же, блюдя заповедь, отдыхают в воскресенье и немцы. Вся разница в том, что мы и немцы понимаем под словом «отдых». Для нас отдыхать в воскресенье — это значит сидеть дома сложа руки. Немец же об отдыхе и в воскресенье и в будни мыслит одинаково: дай отдых усталым членам, а о прочем не беспокойся; но, давая отдых усталым членам, постарайся, чтобы отдых был настоящий, а для этого обратись к правильным средствам. Итак: если твои обязанности на всю неделю приковывают тебя к дому, лучший воскресный отдых для тебя — уйти из дому; если ты всю неделю корпишь над серьезными книгами или бумагами — посвети воскресенье легкому чтению; если всю неделю ты возишься с покойниками и похоронами — выберись в воскресенье в театр и посмейся два-три часа на веселой комедии; если ты всю неделю рыл канавы или валил лес — в воскресенье не вредно поваляться в постели. Если руки, ноги, мозг или язык затекли у тебя от безделья, лишний день безделья

не будет для них отдыхом; но если какой-нибудь из этих членов устал от напряженной работы, безделье пойдет ему на пользу. Вот что, по-видимому, немцы понимают под словом «отдых»: отдохнуть — значит, восстановить свои силы, набраться свежих впечатлений, прийти в себя. К сожалению, наше понимание куда более ограничено. Все мы одинаково отдыхаем в воскресенье: запираемся у себя дома и проводим время в полной праздности, независимо от того, отдых это для нас или нет. У немцев актеры, проповедники и т. д. работают в воскресенье. Но ведь и мы поощряем воскресный труд проповедников, редакторов, наборщиков и т. д. и воображаем при этом, что их грех не падает на нас; а я, хоть убейте, не понимаю, как можно ставить наборщику в вину воскресный труд и не вменять этот труд в вину священнику, — ведь заповедь не делает для священника никакой оговорки. Мы покупаем в понедельник утренний выпуск газеты и преспокойно читаем его, поощряя этим воскресный труд наборщиков. Отныне я зарекаюсь читать понедельничную газету.

Немцы блюдут день субботний, воздерживаясь от работы, как заповедано; мы тоже блюдем его, воздерживаясь от работы, как заповедано, но мы воздерживаемся и от развлечений, что отнюдь не заповедано. Пожалуй, мы даже нарушаем заповедь, предписывающую нам отдых, потому что наш отдых в большинстве случаев отдых только по названию.

Эти рассуждения в известной мере сняли камень с моей души, ибо я позволил себе в воскресенье поехать в Баден-Баден. Мы прибыли вовремя, чтобы слегка освежиться и поспеть в англиканский храм к началу службы. К церкви мы подкатили с помпой: дело в том, что мы опаздывали, и хозяин договорился с первым попавшимся возницей, а тот оказался облачен в такую пышную ливрею, что нас, по-видимому, принимали за парочку герцогов, сбившихся с дороги, — иначе чем объяснить, что нам отвели отдельную скамью в передних рядах, слева от алтаря, где сидело избранное общество? Меня сразу же осенила эта догадка. Перед нами, в первом ряду, сидела дама почтенного возраста,

одетая просто и скромно, а с нею молоденькая миловидная девушка, тоже скромно одетая. Зато вокруг нас все сверкало роскошью и драгоценностями, — каждому было бы лестно молиться богу в таком наряде.

Мне пришло в голову, что моей невзрачно одетой пожилой соседке должно быть не по себе на столь пышном богослужении, и я проникся к ней горячим сочувствием. Она, казалось, углубилась в свой молитвенник и истово отвечала на обращенные к пастве вопросы священника; но я говорил себе: «Меня она не обманет, эта дрожь обиды в голосе выдает ее растущее смущение». Когда с алтаря прозвучало имя Спасителя, моя дама и вовсе растерялась: вместо того чтобы, как все молящиеся, ограничиться легким кивком, она встала и низко поклонилась. Я так огорчился за нее, что кровь ударила мне в голову, и, повернувшись к этим важным господам, я устремил на них укоризненный взгляд — вернее, он должен был выражать укоризну, но мои чувства взяли верх, и взгляд мой говорил: «Если кто-нибудь из вас, баловней счастья, посмеется над бедняжкой, поистине его надо бичом гнать из храма». Чем дальше, тем больше: вскоре я вообразил себя защитником этой одинокой женщины, у которой не было здесь ни одного близкого человека. Я думал только о ней. Я не слышал ни слова из того, что говорилось в проповеди. Между тем смущение моей соседки росло; она машинально то открывала, то закрывала свой флакон с нюхательной солью, крышка его громко щелкала, — но, погруженная в свои невеселые думы, женщина не замечала этого и все щелкала и щелкала крышкой. Беспокойство ее дошло до предела, когда начался сбор пожертвований: прихожане среднего достатка давали медяки, знатные и богатые — серебро, моя же дама бросила со звоном на свой пюпитр золотую монету в двадцать марок! Я сказал себе: «Бедняжка жертвует всем своим достоянием, чтобы купить уважение этих безжалостных людей, — какое грустное зрелище!» На этот раз я так и не решился на них оглянуться. Но когда служба кончилась, я сказал себе: «Пусть смеются, доколе им смешно: выйдя на паперть храма, они

увидят, как мы ее подсаживаем в нашу роскошную карету и как наш великолепный кучер везет ее домой».

Но вот она встала — и все молящиеся стоя провожали ее взглядом, пока она шла к выходу. То была германская императрица!

Нет, она отнюдь не была так смущена, как мне представлялось. Воображение сыграло со мной скверную шутку: раз пустившись по ложному следу, я уже не бросал его до конца, всему давая превратное толкование. Молодая спутница ее величества была фрейлиной двора, а я-то принимал ее за жилицу моей подопечной.

Единственный раз в жизни я взял под свое покровительство императрицу, — и еще удивительно, как при моей неопытности все обошлось для меня так благополучно. Знай я, какую беру на себя ответственность, я, пожалуй, и сам бы растерялся.

Потом мы узнали, что императрица уже несколько дней как находится в Бадене. Говорят, она сохранила верность своему исповеданию и посещает только англиканскую церковь.

Остаток дня я с книгой провалился в постели, отдыхая от утомительного путешествия, а к поздней обедне послал своим представителем Гарриса; я взял себе за правило каждое воскресенье неукоснительно слушать две службы.

В тот вечер в парке при большом стечении публики городской оркестр исполнял «Фремерсберг». В основу этой пьесы положено старинное местное предание о том, как некий знатный рыцарь, охотясь в сильную грозу, запутался в горах вместе со своими собаками; после долгого блуждания он слышит отдаленный звон монастырского колокола, сзывающий братию к всенощной, идет на этот звук и спасается от гибели. В музыке неустанно повторяется одна и та же пленительная мелодия, — и она то ширится и гремит, то звучит приглушенно и едва различима, но не смолкает ни на миг; порой, величественная и браваурная, она сливается с бешеным завыванием ветра, грозным шумом дождя и яростным грохотанием грома; порой, нежная и чуть слышная, она льется, неся с собой более хрупкие

звуки — такие, как отдаленное гудение колокола и мелодические переливы охотничьего рожка, как лай измученных собак и благочестивое пение иноков, — пока наконец, воспрянув, мелодия не сливается в ликующем звоне с песнями и плясками крестьян, собравшихся в монастырских сенях отпраздновать чудесное избавление охотника, которого монахи потчуют ужином. Оркестр с необычайной точностью живописал эти звуки. Приближающиеся удары грома и плеск проливного дождя заставляли не одного слушателя схватиться за зонтик; рука сама тянулась к шляпе при особенно сильных порывах ветра; и трудно было, когда в оркестре разражались чарующе правдоподобные удары грома, одолеть внезапную дрожь.

Как я догадываюсь, «Фремерсберг» — весьма низкосортная музыка; это безусловно низкосортная музыка — ведь она доставила мне столько радости, так согрела, растрогала, умилила, восхитила, настроила на возвышенный лад, что все во мне ликovalo и восторженно волновалось. Душа моя с самого рождения не знала такой освежающей встряски. Величественное и торжественное пение иноков звучало не в оркестре, а в мужском хоре, и оно то нарастало, то стихало, то вновь нарастало в таком богатом смешении враждующих звуков, под мерный звон колоколов, под захватывающее ритмическое движение неизменного лейтмотива, что я говорил себе: да, разумеется только самая низкосортная музыка может быть так божественно красива. Большое стечение публики также свидетельствовало о том, что «Фремерсберг» пьеса низкосортная, ибо лишь немногие достаточно образованны, чтобы наслаждаться музыкой первосортной. Лично мне на моем веку не пришлось слышать столько классической музыки, чтобы научиться ее ценить. И с оперой я не в ладах, потому что и рад бы полюбить ее, но не могу.

Мне думается, есть музыка двоякого рода — музыка, которая воспринимается даже устрицей, и музыка, требующая для своего понимания более изощренных способностей, — способностей, которые можно совершенствовать и развивать путем обучения. Но если вульгарная музыка иным из нас дает крылья, то зачем

нам рваться к другой? И все же мы рвемся к ней. Мы рвемся к ней потому, что она нравится тем, кто выше и лучше нас. Но рвемся, не желая уделять ей достаточно времени и труда; мы стараемся проникнуть в верхний ярус, в чистую публику при помощи лжи; мы притворяемся, будто любим музыку. Я знаю немало таких людей — да и сам собираюсь присоединиться к ним, как только вернусь домой в Америку со своим европейским образованием.

То же и с живописью. Что красная тряпка для быка, был для меня «Невольничий корабль» Тернера, пока я не начал учиться живописи. Вот и видно, что мистер Рескин достиг вершин образования: картина эта восхищает его в такой же мере, в какой она бесила меня в прошлом году, когда я еще пребывал в невежестве. Изоощренный вкус позволяет ему — как и мне сегодня — видеть воду в потоках кричаще-желтой тины и естественные световые эффе́кты — в чудовищном смешении дыма и пламени и багровых извержениях закатных великолепий; этот вкус помогает ему — как и мне сегодня — мириться с плывущей по воде якорной цепью и другими неплавучими телами, мириться с рыбами, шныряющими по поверхности той же тины — то бишь, воды. Картина эта есть, в сущности, утверждение невозможного, иначе говоря — ложь; надо пройти основательную дрессировку, чтобы научиться находить истину во лжи. Мистеру Рескину эта выучка пошла на пользу, да и мне она пошла на пользу, благодарение богу. Некий бостонский журналист отправился взглянуть на «Невольничий корабль», утопающий в чудовищном разливе красно-желтых тонов, и потом говорил, что этот корабль напоминает ему рыжую с черными разводами припадочную кошку, бьющуюся на блюде помидор. В то время, по своему невежеству и бескультуре, я счел это замечание удачным и даже подумал: вот человек, которому ничто не застит свет. Мистер Рескин сказал бы, что он сущий осел. И я сегодня говорю то же самое¹.

¹ Спустя несколько месяцев после написания этих строк мне пришлось побывать в Лондонской Национальной галерее, и вскоре я так увлекся полотнами Тернера, что не мог от них

Однако главным нашим делом в Бадене было на этот раз связаться с нашим курьером. Я решил обзавестись курьером: ведь нам предстояла поездка в Италию, а мы с Гаррисом по-итальянски ни слова; курьер, впрочем, тоже. Мы встретились в гостинице. Ему не терпелось взять нас под свое крыло. Я спросил, собрался ли он, и он сказал, что да. И действительно, у него был собран сундук, два саквояжа и зонтик. Он спросил с меня пятьдесят пять долларов в месяц и бесплатный проезд. В Европе за провоз чемодана берут столько же, сколько за человека. Хорошо еще, что не надо оплачивать курьеру квартиру и стол, путешественник видит в том немалое для себя облегчение. Но лишь до поры до времени: сперва ему и в голову не приходит, что кто-нибудь должен же платить за квартиру и стол курьера; постепенно эта истина открывается ему — в минуты просветления.

Глава XXV

Люцерн. — Красота его озера. — Дикая серна. — Заблуждение, с которым надо покончить. — Клеймение альпештоков. — Компания американцев. — Неожиданное знакомство. — Драгоценные минуты.

На следующее утро мы сели в поезд, идущий в Швейцарию, и часам к десяти вечера прибыли в Люцерн. Первое мое открытие в этом городе заключалось в том, что озеро и в самом деле красивое, — не зря его так превозносят. А днем-двумя позднее я сделал другое открытие: оказывается, что пресловутая швейцарская серна — по здешнему *chamois* — никакая не дикая коза; что она и вообще не принадлежит к рогатым животным, не робка, не чуждается человека и что охота за ней нисколько не опасна. Серна — черноватое

оторваться. Потом я часто заходил в галерею посмотреть и другие картины, но каждый раз застревал перед полотнами Тернера — так велико для меня было его очарование. Правда, те Тернеры, что особенно меня привлекали, ничем не напоминали «Невольничий корабль». — М. Т.

или темновато-коричневатое созданище величиной с горчичное зернышко, преследовать ее нет надобности, она сама вас преследует: является к вам целым стадом, забирается под одежду и давай скакать и прыгать по вашему телу, — так что серна не пуглива, а, наоборот, чересчур общительна; она не только не боится человека, но даже охотно на него нападает; укус ее не опасен, но и не доставляет удовольствия; рассказы о ее проворстве не преувеличены: попробуйте дотронуться до нее пальцем, и она одним прыжком одолеет расстояние, в тысячу раз превышающее ее длину, и самый зоркий глаз не разглядит, куда она села. О швейцарской серне и о том, как опасно на нее охотиться, написаны томы романтического вздора, тогда как на самом деле на нее охотятся, не зная страха, и женщины и дети, охотятся все кому не лень; идет неустанная охота и днем и ночью, в постели и на ногах. Поэтическая выдумка — будто за серной охотятся с ружьем: за это не всякий возьмется, из миллиона стрелков ни один не достанет ее пулей! Ее куда легче изловить, чем застрелить, хотя и первое требует опыта и сноровки. Другой образчик пошлого преувеличения — жалобы на то, что серны стали редки. Жаловаться надо на обратное. Гурты серн в сто миллионов голов — обычное явление в швейцарской гостинице. Это, можно сказать, бич. Сочинители наряжают охотников за сернами в затейливые живописные костюмы, тогда как всего удобнее охотиться за этой дичью совсем без костюма. Такой же обман — будто бы имеются в продаже шкурки серны: ободрать серну невозможно, она слишком мала. Да и вообще серна — это сплошное очковительство, и все, что о ней писали до сих пор, — сентиментальная гипербола. Поверьте, вывести серну на чистую воду отнюдь не было для меня удовольствием; ведь серна — одна из моих заветных иллюзий; всю жизнь я мечтал, как увижу ее в естественных условиях и буду отважно гоняться за ней по скалам и кручам. И мне тем горше выступать с этими разоблачениями, что я надругаюсь и над чувствами читателя, над его уважением и привязанностью к серне, — но сделать это необходимо: когда честный писатель сталкивается с ложью и надуватель-

ством, прямая его обязанность разоблачить их и свергнуть с престола, не щадя никого; при любом отступлении от своего долга он теряет право на доверие общества.

Люцерн — очаровательный городок. Он начинается у самой воды кромкою гостиниц, карабкается в живописном беспорядке вверх по двум-трем крутолобым холмам и оседает на их склонах плотными гроздьями домов, являя глазу столпотворение красных крыш, затейливых коньков, слуховых окошек, а над ними торчат зубчистки шпилей да кое-где остатки древней зубчатой стены, извивающейся червем по гребню холмов, или уцелевшая квадратная башня массивной кладки. Нет-нет да промелькнут городские часы с единственной стрелкой поперек циферблата — негнувшимся указующим пальцем; такие часы удачно дополняют картину, но не пытайтесь определить по ним время! Между изогнутой линией отелей и озером тянется широкий проспект с фонарями и двойной шеренгой невысоких тенистых деревьев. Набережная вымощена камнем и обнесена решеткой, не позволяющей беспечному прохожему шагнуть в воду. По проспекту день-деньской мчатся экипажи; няньки с детьми и туристы посиживают в тени деревьев, или, перегнувшись через решетку, следят за стайками рыб, шныряющих в прозрачной воде, или, устремив взгляд на дальний берег озера, любуются величественной цепью снеговых вершин. Прогулочные пароходики, чернея пассажирами, безостановочно приходят и уходят; по всему озеру, куда ни посмотришь, скользят затейливые лодочки с юношами и девушками на веслах, а стоит подняться ветру — повсюду реют быстрые паруса. В гостиницах все комнаты на улицу — с решетчатыми балкончиками, где вы можете позавтракать в уютной прохладе и, глядя вниз, на пестрые картины кипучей городской жизни, наблюдать ее на расстоянии, не участвуя в ее трудах и тревожнениях.

Почти все, кого вы видите, без различия пола, разгуливают в туристских костюмах, вооруженные альпенштоками. Очевидно, без альпенштока в Швейцарии ходить небезопасно, хотя бы и по городу. Если турист,

спустившись к завтраку, забывает свой альпеншток в номере, он немедленно бежит за ним, приносит и аккуратно ставит в угол. Закончив свое путешествие по Швейцарии, он ни за что не расстанется со своим посохом, а непременно потащит его с собой домой, на край света, хоть это и доставит ему больше хлопот и забот, нежели доставил бы ребенок или тот же курьер. Альпеншток — это некоторым образом трофеем туриста; на нем выжжено его славное имя; а если он слезил с ним на вершину холма, перепрыгнул через ручей или пересек территорию кирпичного завода, то он выжжет на нем и названия этих мест. Это, так сказать, его полковое знамя, славная летопись его боевых заслуг. Новый, он стоит три франка, но за все сокровища Бонанцы его не купишь, если на нем начертаны славные деяния туриста. Множество швейцарцев промышляют только тем, что выжигают для приезжих надписи на альпенштоках.

И замечьте, человека ценят в Швейцарии по его альпенштоку. Пока я таскал с собой незапятнанный, незаклейменный альпеншток, на меня никто и глядеть не хотел. Но заклеить его стоит недорого, и я обратился к этому испытанному средству. Уже следующий встреченный мною взвод туристов отнесся ко мне с заметным почтением. Я был с лихвой вознагражден за хлопоты.

Половину летних туристских орд в Швейцарии составляют англичане, а другую половину — прочие национальности: в первую голову немцы, во вторую — американцы. Американцы здесь не так многочисленны, как я ожидал.

За табльдотом в семь тридцать в отеле «Швейцергоф» в большом разнообразии представлены все нации, но наблюдать можно скорее туалеты, чем людей, ибо все это скопище сидит за длиннейшими столами, и лица видны разве что в перспективе; завтрак же сервируется на круглых столиках, и если вам посчастливилось оказаться посередине, вы можете сколько угодно упражняться в физиогномике. Нам нравилось строить предположения насчет национальности наших соседей, и в большинстве случаев мы не ошибались. Иногда мы

пытались отгадывать их имена, но уже без успеха, должно быть по недостатку опыта. В конце концов мы оставили нашу затею и ограничились себя менее сложными задачами. Как-то утром я сказал:

— Вон сидят американцы.

— Да, но из какого штата? — отозвался Гаррис.

Я назвал один штат, Гаррис — другой. Сошлись мы только в том, что молодая особа в компании американцев — прехорошенькая и одета со вкусом. Пospорили мы насчет ее возраста. Я давал ей восемнадцать, Гаррис все двадцать лет. И так как в споре разгорелись страсти, я заметил будто бы всерьез:

— Чтобы уладить эту распрю миром, мне остается одно — подойти к ней и спросить.

— Правильно! — отозвался Гаррис с присущим ему сарказмом. — Почему бы тебе не обратиться к ней с излюбленной здесь формулой: «Здравствуй, я американец!» Увидишь, как она тебе обрадуется.

Он даже намекнул, что риск не так уж и велик — ничем серьезным подобная попытка, во всяком случае, не угрожает.

— Я сказал это просто так, для смеха, — оборвал я Гарриса. — Но вижу, ты меня еще не знаешь, ты понятия не имеешь, какой я бесстрашный. Я не испугаюсь ни одной женщины на свете. Сейчас же пойду и заговорю с ней.

То, что я задумал, никаких трудностей как будто не представляло. Я намерен был самым учтивым образом обратиться к молодой особе, заранее извинившись, если я введен в заблуждение ее поразительным сходством с одной моей старой знакомой; когда же мне скажут, что я обознался и что названное мною имя ничего ей не говорит, я снова попрошу прощения и почтительно ретируюсь. Все будет чин чинком. Я подошел к ее столику, поклонился сидевшему с ней джентльмену, потом повернулся к девушке и уже собирался произнести заготовленную краткую речь, как она заговорила первая:

— Ну разумеется я не ошиблась, я так и сказала Джону, что это вы. Джон не поверил, но я знала, что права. Я говорила ему, что и вы меня, конечно, вспом-

ните и подойдете; и хорошо, что подошли, мне было бы не слишком приятно, если бы вы удалились, так и не узнав меня. Но садитесь же, садитесь — вот уж не думала! Меньше всего я ожидала встретить вас.

Ну, и сюрприз! Некоторое время я просто опомниться не мог. Однако я поздоровался со всеми и присел за их столик. Никогда еще не был я в таком переплете. Лицо девушки уже казалось мне знакомым, но я понятия не имел, где и когда мы встречались и как ее зовут. Я попытался было, чтобы отвлечь ее от более опасных тем, заговорить о красотах швейцарской природы, но диверсия не удалась — девица сразу же обратилась к более интересовавшим ее предметам:

— Боже мой, какая это была страшная ночь, когда все лодки на корме снесло в море! Помните?

— Ну еще бы! — подхватил я, хотя решительно ничего не помнил.

— А помните, как испугалась бедняжка Мэри и как она рыдала?

— Помню, конечно! Боже мой, как эти воспомина-ния оживают передо мной!

Я пламенно желал, чтобы они действительно ожили, но чувствовал какой-то провал в памяти. Умнее всего было бы честно признаться. Но я не мог на это решиться — девушка так обрадовалась, что я ее вспомнил, — и я продолжал барахтаться в тине, тщетно надеясь за что-нибудь ухватиться. Загадочная знакомка все с той же живостью продолжала:

— А знаете, Джордж так и женился на Мэри!

— Понятия не имею. Так он, значит, женился?

— В том то и дело, что да. Он говорил, что в конце концов виновата не она, а ее отец, и он был прав, по-моему. А вы как считаете?

— Разумеется, он был прав. Случай совершенно ясный. Я всегда это говорил.

— Ну, нет, вы говорили другое. Тем летом по крайней мере.

— Вот именно, тем летом. Тут вы абсолютно правы. Но я говорил это уже следующей зимой.

— Ну, а как потом выяснилось, Мэри была тут ни при чем — это все ее отец, он да еще старик Дарлей.

Надо было что-то сказать, и я промямлил:

— Я всегда считал Дарлея препротивным старп-кашкой.

— Да он таким и был, но вы ведь помните, как они с ним нянчились, хоть он вечно изводил их своими чудачествами. Помните, чуть погода начинала хмуриться, он обязательно забирался к ним в дом.

Я не смел ступить и шагу дальше. По-видимому, Дарлей — не человек, скорее всего он какое-то животное, может быть собака, а может быть и слон. Но хвосты бывают у всех животных, и я отважился на реплику:

— А помните, какой у него был хвост?

— Хвост? У него их было тысяча!

Я прикусил язык. Не зная, что ответить, я пролепетал:

— Да, уж насчет хвостов он не мог пожаловаться.

— Для негра, а тем более сумасшедшего негра, трудно желать большего.

Я готов был провалиться сквозь землю. Я говорил себе: «Неужели она ограничится этим и будет ждать моего ответа? Если так, то разговор наш зашел в тупик. Тысячехвостый негр — это тема, на которую ни один человек не решится вести непринужденную и содержательную беседу без предварительной подготовки. Эта область слишком мало исследована, и нельзя же очертя голову...»

К счастью, она прервала мои размышления словами:

— А помните, как он любил поплакаться на свои обиды, лишь бы нашелся терпеливый слушатель? У него было свое удобное жилье, но чуть на дворе становилось холоднее, как от него нельзя было избавиться. Вечно он торчал у них в доме. Правда, они что угодно от него терпели, ведь он когда-то спас жизнь Тому — за много лет до этого. А Тома помните?

— О, еще бы, славный паренек!

— Да, да. А какой у него был прелестный ребенок!

— Замечательный карапуз! Я такого еще не видал.

— А уж я как нянчилась с ним, укачивала его, забавляла.

— И я тоже.

— Кстати, ведь это вы тогда придумали ему имя. Какое только? Я что-то не припомню.

Я почувствовал, что лед трещит у меня под ногами. Я бы много дал в ту минуту, чтобы знать, какого пола был младенец. По счастью, мне пришлось в голову имя, одинаково подходившее мальчику и девочке.

— Я предложил имя Фрэнсис, — пролепетал я.

— Это не по умершему ли родственнику? Но ведь вы крестили у них и первенца, которого они потеряли, — я уже не застала его. Как же вы его называли?

С ужасом я убедился, что исчерпал весь свой запас нейтральных имен; но поскольку тот ребенок умер и она никогда его не видела, я решил довериться счастью и выпалил наудачу:

— Того я назвал Томас-Генри.

Она сказала задумчиво:

— Странно, очень странно.

Я сидел ни жив ни мертв; холодный пот выступил у меня на лбу. Я был в самом пиковом положении, но надеялся еще выкрутиться, лишь бы она не заставила меня больше крестить младенцев. Я думал со страхом, откуда ждать следующего удара. Она все еще размышляла об имени того погибшего младенца и наконец сказала:

— Я всегда жалела, что вас не было с нами, — я так мечтала, что вы будете крестить и моего ребенка.

— Вашего ребенка? Так вы замужем?

— Я тринадцатый год замужем.

— Крещены, хотите вы сказать?

— Нет, замужем. Этот юноша рядом с вами — мой сын.

— Немыслимо, нет, невозможно! Простите, я из самых лучших побуждений... Но скажите ради бога — вам давно минуло восемнадцать? То есть... я хотел спросить, сколько вам, собственно, лет?

— Мне минуло девятнадцать в день, когда разразился тот шторм. Был как раз день моего рождения.

Мне это ничего не сказало — ведь я не знал, когда разразился тот шторм. Чтобы кое-как поддержать разговор, я хотел перевести его на более нейтральную

тему, которая не грозила бы моей обанкротившейся памяти новыми разоблачениями, но весь мой запас нейтральных тем улетучился. Я хотел сказать: «Вы ни капельки не изменились», но это было рискованно. Мне пришла в голову фраза: «С тех пор вы еще похорошели», но это вряд ли соответствовало истине. Я уже собирался — для большего спокойствия — свернуть на погоду, но моя собеседница перебила меня, воскликнув:

— Какое удовольствие доставил мне этот разговор о добром старом времени! А вам?

— Это были самые драгоценные минуты моей жизни! — воскликнул я с чувством; из уважения к истине я мог бы еще добавить: «И я готов пожертвовать своим скальпом, лишь бы не пережить их вторично». Я уже поздравлял себя с концом моих мучений и хотел откланяться, но тут она сказала:

— Одно только мучит меня.

— Что же, скажите!

— Имя умершего младенца. Как вы его называли, повторите!

Проклятье! Я начисто позабыл это окаянное имя. Кто мог знать, что оно еще когда-нибудь мне пригодится. Но я и виду не подал и брякнул наудалую:

— Джозеф-Уильям.

— Простите, Томас-Генри, — вмешался юноша, сидевший со мной рядом.

Я его поблагодарил — на словах — и сказал с заметной дрожью в голосе:

— Конечно, конечно, это я спутал с другим ребенком, тоже моим крестником, у меня их столько, что я уже, признаться, и счет им потерял; но этого я безусловно назвал Генри-Томас.

— Томас-Генри, — хладнокровно поправил юноша.

Я снова поблагодарил его, но уже много суше, и залепетал:

— Томас-Генри, да, Томас-Генри звали бедняжку. Я назвал его Томасом по — кхе! — по Томасу Карлейлю, знаете, был такой писатель известный, а Генри — кхе, кхе! — в память Генриха Восьмого. Родители были мне страшно признательны, что их сына зовут Томас-Генри.

— Но тогда я уж и вовсе ничего не понимаю, — растерянно прошептала моя очаровательная приятельница.

— Что такое? Скажите!

— Почему же родители, вспоминая умершего ребенка, называют его Сусанной-Амелией?

Это окончательно лишило меня дара слова. Я не мог выговорить ни звука. Я исчерпал все свои словесные ресурсы; продолжать разговор — значило врать, а это не в моих правилах. Итак, я сидел и страдал, сидел молча и покорно и только слегка потрескивал, — ибо я медленно поджаривался на румянце моего стыда. Но тут моя врагиня рассмеялась с торжеством и сказала:

— Мне этот разговор о старине доставил истинное наслаждение, но я не сказала бы, что и вам. Я очень скоро заметила, что вы только притворяетесь, будто меня вспомнили, но уж раз я начала с того, что так неудачно вас похвалила, то и решила наказать вас. И мне это, как видите, удалось. Я была счастлива убедиться, что вы знаете и Джорджа, и Тома, и Дарлея, потому что сама я о них в жизни не слыхала и была далеко не уверена, знаете ли их вы; я была счастлива услышать имена несуществующих детей. Вообще, как я погляжу, у вас можно почерпнуть много полезных сведений, если с толком взяться за дело. Мэри, и шторм, и лодки, снесенные в море, — подлинные факты, остальное — фантазия. Мэри — моя сестра, полное ее имя — Мэри Х. Ну, теперь вспомнили меня?

— Да, — сказал я, — теперь я вас вспомнил; и вы остались такой же бессердечной, какой были тринадцать лет назад, на том пароходе, — а иначе вы не казнили бы меня так. Вы ни на волос не изменились — ни внутренне, ни внешне: вы так же молоды, как тогда, и так же хороши, и вы немало своего обаяния передали этому милому юноше. А теперь, если мое чистосердечное покаяние вас хоть немного тронуло, давайте заключим мир, — причем я, конечно, безоговорочно капитулирую, признав свое поражение.

Вернувшись, я сказал Гаррису:

— Теперь ты видишь, что может сделать человек незаурядных дарований и огромного такта!

— Извини меня, но теперь я вижу, что может сделать феноменальный глупец и невежа. Навязаться незнакомым людям и занимать их разговорами битых полчаса, — в жизни не слыхал, чтобы кто-либо в здравом уме выкинул такой номер! О чем же ты с ними беседовал?

— Успокойся, я ничего худого не сказал. Я только спросил девушку, как ее зовут.

— Не сомневаюсь. Я готов верить каждому твоему слову. С тебя станется. Простить себе не могу, что позволил тебе подойти к ним и публично разыграть шута горохового; я все-таки не верил, что ты на это способен! Воображаю, что эти люди о нас думают. Но как же ты ухитрился задать такой вопрос? В какой форме? Надеюсь, не прямо в лоб?!

— Ну зачем же, я остороженько. Я сказал: «Если вы не возражаете, мы с приятелем хотели бы узнать, как вас зовут».

— Да, это называется не прямо в лоб. Ты, я вижу, дипломат, честь тебе и слава! И я счастлив, что ты и меня припел; ты проявил ко мне трогательное внимание, не знаю, как тебя и благодарить. И что же она?

— Да ничего особенного. Сказала, как ее зовут.

— Так-таки взяла и сказала? И не дала тебе понять, что удивлена?

— Теперь, как подумаю, пожалуй ты и прав, что-то она давала мне понять; может быть, она и была удивлена; мне просто в голову не пришло, — я принял это за выражение удовольствия.

— Ну ясно, она растаяла от удовольствия: ведь это так приятно, когда незнакомый человек задает тебе такой вопрос! Ну и что же ты?

— Я пожал ей руку, а потом все они жали руку мне.

— Это-то я видел! Я просто глазам своим не верил! И джентльмен не заикнулся о том, что с удовольствием перерезал бы тебе глотку?

— Да нет же! Мне показалось, они рады были со мной познакомиться.

— А ведь знаешь, возможно ты и прав. Они, должно быть, сказали себе: «Этот музейный экспонат, должно быть, сбежал от своего зрителя. Давайте позабавимся на его счет». Иначе трудно объяснить такое ангельское терпение. Потом ты сел. Это они предложили тебе сесть?

— Нет, они не предлагали, наверно упустили из виду.

— Ба, да ты гениальный сердцевед! Но чем же еще ты их удивил? О чем вы говорили?

— Я спросил девушку, сколько ей лет.

— Опять не сомневаюсь. С твоим-то тактом! Я прямо слов не нахожу от восхищения. Но продолжай, продолжай, не смотри, что у меня убитый вид, это со мной бывает от счастья и восторга. Продолжай же! Она сообщила тебе, сколько ей лет?

— Да, сообщила. Рассказала мне про свою матушку, и бабушку, и про всех своих родственников, и про себя тоже.

— И все это она выложила тебе сама, по собственному почину?

— Ну, не совсем. Я задавал вопросы, она отвечала.

— Божественно! Но продолжай. Ты, конечно, не забыл расспросить о ее политических взглядах?

— Нет, не забыл. Она демократка, а ее муж — республиканец, и оба они баптисты.

— Ее муж? Так малютка замужем?

— Она не малютка. Она замужняя женщина, этот человек, что с нею, — ее супруг.

— Что ж, и дети у нее есть?

— Как же. Семеро... с половиной.

— Вздор какой!

— Нет, не вздор, она сама мне сказала.

— Но как же семь с половиной? Что значит половина?

— Один ребенок у нее от другого мужа — понимаешь, не от этого, а от другого, — не то пасынок, не то падчерица, в общем они его считают серединой наполовину.

— От другого мужа? Так она уже не раз была замужем?

— Четыре раза. Этот муж у нее четвертый.

— Ни одному слову не верю. Все это явный вздор. А мальчик — ее брат?

— Нет, сын. Самый младший. Он выглядит старше своих лет, ему пошел двенадцатый год.

— Все это гиль и чепуха! Черт знает что! В общем, дело ясное: они поняли, что ты за фрунт, и решили тебя разыграть. И, по-видимому, в этом преуспели. Хорошо еще, что я остался в стороне. Надеюсь, у них хватило чуткости и гуманности понять, что я за тебя не в ответе. И долго они здесь пробудут?

— Нет, они уезжают утренним поездом.

— Есть человек, который этому несказанно рад. Но как ты это узнал? Спросил, конечно?

— Нет, я сперва полюбопытствовал, какие у них планы, и они сказали, что намерены пожить здесь с недельку, побродить по окрестностям, но к концу разговора, когда я вызвался сопровождать их и предложил познакомить с тобой, они слегка смешались, а потом спросили, из одного ли мы дома. Я сказал, что из одного, и тогда они сказали, что передумали: им, видишь ли, надо срочно выехать в Сибирь — проведать больного родственника.

— Ну, знаешь, ты превзошел самого себя. Ты достиг таких вершин глупости, каких человек не достигал от сотворения мира. Обещаю воздвигнуть тебе памятник, этакий монумент из ослиных черепов вышиной в Страсбургскую колокольню, — конечно, если я тебя переживу. Так они спросили, из одного ли мы с тобой «дома»? Какой же это дом, скажи на милость! Что они имели в виду?

— Понятия не имею. А спросить не догадался.

— Ну а мне и спрашивать не надо! Они намекали на дом умалишенных, на сумасшедший дом, неужели тебе не ясно? Значит, они решили, что мы с тобой друг друга стоим! Что же ты о себе после этого думаешь, скажи?

— Ничего не думаю! Ну что ты ко мне пристал? Будто я нарочно, право! Ведь я из самых благородных побуждений. Они мне показались такими милыми людьми, и я им как будто понравился...

Гаррис бросил по моему адресу что-то весьма не-любезное и убежал к себе в номер — расколошматить парочку-другую стульев, как он мне объявил. Вот несдержанный человек — любой пустяк выводит его из себя!

Мне порядком досталось от молодой особы, но не беда — я выместил все на Гаррисе. В таких случаях важно на ком-нибудь «отыграться», иначе больное место саднит и саднит.

Глава XXVI

Торговля в Люцерне. — Немного истории. — Родина часов-кукушек. — Человек, который остановился у Гэдсби. — Претендент на вакансию почтмейстера. — Теннесиец в Вашингтоне.

Дворцовая церковь славится своими органными концертами. Все лето сюда ежедневно часов с шести стекаются туристы, платят положенный франк и слушают рев. Правда, до конца никто не остается; немною помешкав, турист встает и по гулкому каменному полу топают к выходу, встречая по пути других запоздавших туристов, топающих с особенным усердием. Это топанье взад и вперед ни на минуту не прекращается, подкрепляемое непрерывным гроханьем дверей и неустанным кашлем, харканьем и чиханьем в публике. Тем временем исполинский орган гудит, и гремит, и грохочет, силясь доказать, что он самый большой и голосистый орган в Европе и что эта тесная шкатулочка-церковь — идеальное место, чтобы восчувствовать и оценить его мощь и силу. Правда, попадаются среди гроыхания и более кроткие и милосердные пассажи, но за тяжеловесным топ-топ туристов вы улавливаете только смутные, как говорится, проблески. Органист, опомнившись, сразу оглушает вас новым горным обвалом.

Коммерческая жизнь Люцерна выражается по преимуществу в торговле всякой дребеденью, именуемой сувенирами: лавки завалены горным хрусталем,

снимками видов, резными вещицами из дерева и слоновой кости. Не скрою, вы здесь можете приобрести миниатюрную фигурку Люцернского льва. Их тут миллионы. Но все фигурки вместе и каждая порознь представляют лишь поклеп на оригинал. В величественном пафосе подлинника есть что-то непередаваемое, что копиист бессилен уловить. Даже солнце бессильно; у фотографа, как и у резчика, получается умирающий лев — и только. Те же формы тела, та же поза, те же пропорции, но неизменно отсутствует то неуловимое нечто, что делает Люцернского льва самой скорбной и волнующей каменной глыбой в мире.

Лев лежит в своем логове на срезе невысокой отвесной скалы, ибо он высечен в горной породе. Фигура его огромна и преисполнена величия. Голову он склонил набок, сломанное копые торчит из плеча, лапа лежит на лилиях Франции, защищая их. Виноградные лозы свешиваются со скалы, ветер играет в их листьях, где-то наверху бьет ключ, и прозрачные капли стекают в водоем у подножья скалы, а в неподвижной глади водоема, как в зеркале, качается среди кувшинок отражение льва.

Кругом зеленые деревья и трава. Это уютный, отдохновенный лесной уголок, отрешенный от шума, суеты и смятения, — и все это так, как должно быть, — ведь львы и в самом деле умирают в подобных местах, а не на гранитных пьедесталах, воздвигнутых в городских парках, за чугунными решетками фасонного литья. Люцернский лев везде производил бы большое впечатление, но здесь он особенно на месте.

Некоторые люди так уж устроены, что мученическая кончина для них самый удачный выход. Людовик XVI умер не своей смертью, поэтому история к нему снисходительна: она смотрит сквозь пальцы на его пороки и видит в нем лишь высокие добродетели, — хотя такого сорта добродетели обычно не служат к чести королей. Она изображает его человеком смиренным и кротким, с сердцем христианской великомученицы и со слабой головой. Ни одно из этих качеств, кроме последнего, не пристало королю. В сумме же они создают репутацию, обладателю которой не поздоровилось

бы на суде истории, если бы он упустил счастливую возможность заработать мученический венец. Исполненный самых благих намерений, он всегда творил одно лишь зло. А главное, он всегда и во всем оставался христианской святой. Он прекрасно понимал, что в годину народных бедствий должен вести себя не как мужчина, а как король. И желая быть королем, забывал, что он мужчина, — а в результате не был ни тем, ни другим, а разве лишь христианской святой. Он ничего не делал вовремя и кстати, а только все не вовремя и некстати. Никогда не соглашался на полезную меру, в своем упорстве проявляя железную, поистине адамантовую твердость, но стоило делу зайти так далеко, что мера становилась уже вредной, он хватался за нее, и ничто не могло остановить его. И поступал он так не по злой воле, нет, — он и впрямь надеялся, что время не упущено и что лекарство подействует. Его соображение всегда опаздывало к поезду — к первому и ко второму. Если у нации надо было ампутировать палец на ноге, он считал, что можно обойтись компрессом; когда другие видели, что нога поражена до колена, он соглашался на ампутацию пальца; и он отсекал ногу по колено, когда каждому было ясно, что гангрена перешла на бедро. Он был добр и честен и полон благих намерений, борясь с недугами государства, но никогда не умел захватить их вовремя. Как обыватель он был бы достоин участия; как король — заслуживает только презрения.

В биографии Людовика XVI не было ничего королевского, но вряд ли есть в ней более позорная страница, чем та, которую он в нее вписал своим сентиментальным предательством швейцарской гвардии, когда в памятное десятое августа он выдал этих героев на растерзание толпы, штурмовавшей дворец: он им запретил пролить хоть каплю «священной французской крови», разумея кровь черни в красных колпаках. Он думал, что поступает по-королевски, но только последний раз показал себя нервической святой. Кое-кто из биографов полагает, что на него в эти минуты снизошел дух святого Людовика. Тесно же, должно быть, показалось святому в его новой квартире! Если бы на

месте Людовика XVI был в тот день Наполеон I, который присутствовал при этой сцене случайным, безвестным наблюдателем, в Люцерне не было бы льва, зато в Париже имелось бы обширное кладбище революционеров — тоже было бы чем вспомнить десятое августа.

Триста лет назад казнь Марии Шотландской сделала ее святой, и она поныне предстает нам в ореоле мученицы. Казнь сделала святой даже из недалекой и тривиальной Марии-Антуанетты, и ее биографы по сей день воскуряют ей фимиам, в то же время чуть ли не каждой страницей доказывая, что если ее супруг не знал хотя бы одной пагубной страсти — преследования своих честных, способных и преданных слуг, — то она с лихвой восполняла этот изъян. Ужасная, но благодетельная французская революция могла бы задержаться на неопределенное время, была бы не столь полной или не состоялась бы вовсе, не догадайся Мария-Антуанетта появиться на свет. Весь мир в долгу перед французской революцией, а значит и перед главными ее толкачами — Людовиком Скудотным и его королевой.

Мы так и не купили ни одной репродукции льва — ни в слоновой кости, ни в черном дереве, ни просто в дереве, ни в мраморе, меле, сахаре или шоколаде, не купили даже ни одной фотографии, клеветущей на него. Дело в том, что эти репродукции, встречающиеся здесь на каждом шагу, в каждой лавке и каждом доме, так намозолили нам глаза, как может намозолить уши избитый модный мотив. И не только львы — вскоре нам приелись в Люцерне и всякие другие фигурки, так восхищавшие нас дома, когда мы видели их от случая к случаю. Нам уже и глядеть не хотелось на деревянных курочек и перепелов, поклевывающих часовые циферблаты, а пуще того осточертели нам деревянные фигурки пресловутых серн, скачущих по деревянным скалам или же в тесном кругу родственников, позирующих для семейного портрета, или с настороженным видом выглядывающих из-за них. В первый день, случись у меня свободные деньги, я закупил бы сотни полторы таких часов, — я и так

приобрел их три штуки, — но уже на третий день лихорадка спала, я выздоровел и снова появился на бирже, уже с намерением продавать. Правда, мне не повезло, что, однако, не очень меня огорчило, так как я знал, что дома эти вещицы понравятся наверняка.

Если была у меня когда-нибудь антипатия, так это — часы с кукушкой, а тут я, можно сказать, попал на родину этой твари: куда бы я ни пришел, повсюду меня преследовало неотвратимое «ку-ку!», «ку-ку!», «ку-ку!» Для человека с слабыми нервами — это тяжелое испытание. Бывают неприятные звуки, но более бессмысленного, тупого и назойливого звука, чем кукование часов, я, пожалуй, не встречал. Я даже купил такие часы, с намерением привезти их одному человеку: я всегда говорил, что при первой возможности расквитаясь с ним по-свойски. Тогда я скорее имел в виду сломать ему руку или ногу, но в Люцерне передо мной открылась возможность повредить его рассудок — месть более ощутимая, а следовательно и приятная! Итак, я купил часы-кукушку, и если благополучно доведу их домой, то я у этого субъекта «все кишки вымотаю», как говорят у нас на приисках. Была у меня мысль и о другом кандидате — о критике, пописывающем в толстых журналах, — не стоит его называть, — однако, подумав, я не купил ему часов: он не может повредиться в уме.

Побывали мы и на двух крытых деревянных мостах, перекинутых через зеленый сверкающий Ройс, чуть пониже того места, где он, играя и ликуя, вырывается из озера. Эти безалаберно длинные, прогнувшиеся от старости туннели очень понравились нам: так приятно смотреть из их глубоких амбразур на пенистые воды. Здесь множество причудливых фресок старых швейцарских мастеров, анонимных представителей ныне впавшего в бесславие искусства писать вывески, — в ту пору оно еще было в расцвете.

Озеро кишит рыбой, ее видишь невооруженным глазом, так прозрачны его воды. Параметры набережной перед гостиницами постоянно унижены рыбаками всех возрастов. Однажды я остановился поглядеть, как рыба

ловится на крючок, и тут мне с необычайной живостью вспомнилось одно происшествие, о котором я начисто позабыл за истекшие двенадцать лет. А что за происшествие, о том следует рассказ:

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛСЯ У ГЭДСБИ

Когда мы с моим приятелем чудаком Райли работали в Вашингтоне репортерами, шли мы как-то зимой 1867 года — время близилось к полуночи — по Пенсильванскому проспекту в страшнейшую метель и вдруг при свете уличного фонаря видим, кто-то бежит во всю прыть нам навстречу. Углядев нас, он стал как вкопанный и крикнул:

— Вот повезло! Ведь вы мистер Райли?

Райли был самый хладнокровный и выдержанный человек в республике. Он остановился, оглядел незнакомца с головы до пят и сказал:

— Да, я мистер Райли. А вы меня ищете?

— Вот именно, — обрадовался незнакомец. — Счастье, что я нашел вас. Меня зовут Лайкинс. Я преподаю в Сан-Франциско, в школе. Узнал, что у нас в городе открылась вакансия на место почтмейстера, и решил ее получить... И, как видите, я здесь.

— Да, — сказал Райли неторопливо. — Как вы правильно изволили заметить... мистер Лайкинс... я вижу, что вы здесь. И что же, вас можно поздравить?

— Ну, поздравлять рановато, но уже за малым дело стало. Я привез с собой петицию за подписью инспектора народного образования, всех наших педагогов да еще двухсот именитых горожан. А теперь не откажите проводить меня в Тихоокеанскую делегацию, я хочу как можно скорее повернуть это дельце и — домой!

— Раз у вас так горит, вам, наверно, не терпится сегодня же посетить со мной делегацию? — сказал Райли голосом, в котором самое искушенное ухо не уловило бы и тени насмешки.

— Разумеется, сегодня же. У меня, знаете ли, нет времени здесь расслаживаться. Я решил не ложиться

спать, пока не заручусь обещанием делегации. Я, знаете ли, не из теперешних болтунов, я человек дела!

— Что ж, в таком случае вы знали, куда ехать. Когда же вы изволили прибыть?

— Ровно час назад.

— А когда думаете выехать обратно?

— В Нью-Йорк завтра вечером. В Сан-Франциско — на следующий день.

— Так, так... А завтра что предполагаете делать?

— Завтра что? Завтра мне лететь к президенту с петицией и делегацией — получать назначение. Согласны?

— Да-да, совершенно верно... то есть правильно. Ну а потом?

— В два часа заседает сенатская комиссия, надо, чтобы она утвердила мое назначение, не так ли?

— Верно, верно, — повторил Райли все так же задумчиво, — опять вы правы. И стало быть завтра вы садитесь в нью-йоркский поезд, а на другое утро махнете в Сан-Франциско?

— Вот именно... По крайней мере я так рассчитываю.

Райли подумал с минуту, потом сказал:

— А не могли бы вы задержаться здесь дня на два?

— Господь с вами, конечно нет! Это не в моем духе. некогда мне расслаиваться. Говорят вам, я не болтун, я человек дела.

Вьюга завывала, налетал порывами густой снег. Минуты две Райли стоял и молчал, погруженный в задумчивость, потом поднял глаза и спросил:

— А вам не приходилось слышать о человеке, который когда-то остановился у Гэдсби? Но я вижу, что не приходилось...

И он притиснул мистера Лайкинса к чугунной ограде, схватил его за пуговицу, впился в него глазами, точь-в-точь Старый Мореход, и повел свой рассказ так спокойно и обстоятельно, как если бы мы втроем лежали на цветущем лугу и вокруг нас не ярилась полупочная вьюга.

— Я расскажу вам про этого человека. Это было еще во времена президента Джексона; гостиница Гэдсби считалась тогда первой в городе. Так вот, этот человек приехал как-то из Теннесси в девять утра, в роскошной коляске четверней, с черным кучером на козлах и с породистой собакой, — видно было, что он собакой гордится и души в ней не чает. Он подкатил к подъезду гостиницы; управляющий вместе с хозяином и челядью высыпали, конечно, встречать его. Но он только буркнул: «Ничего не требуется», — и, соскочив, приказал кучеру ждать: ему, говорит, не до еды, он приехал получить кое-что с казны по счету, заскочит напротив, в казначейство, заберет свои денежки и покатит домой в Теннесси, где его ждут срочные дела.

Ну вот, а часов в одиннадцать вечера он вернулся, заказал постель, велел распрячь и отвести лошадей в конюшню, — ему, говорит, обещали уплатить только завтра. А дело было в январе; заметьте — в январе тысяча восемьсот тридцать четвертого года, точнее — третьего января, в среду.

Ну вот. А пятого февраля он продал свою роскошную коляску и купил вместо нее дешевую, подержанную: она, говорит, вполне сойдет, чтобы довести деньги домой, а за шиком он не гонится.

Одиннадцатого августа он продал половину своей шикарной упряжки: он, говорит, всегда считал, что по ухабистым горным дорогам, где только знай поглядывай, ехать на паре сподручней, чем четверкой, — ему ведь не гору денег везти, он их и на паре домчит домой.

Тринадцатого декабря он продал третью лошадь, — на что ему, говорит, теперь пара лошадей с этой старенькой коляской. Ведь она ни черта не весит — одна лошадка вполне управится, а тем более сейчас, по хорошо укатанным зимним дорогам.

Семнадцатого февраля тысяча восемьсот тридцать пятого года он продал старую коляску и купил дешевый подержанный шарабан: на шарабана, говорит, сподручней пробираться по раскисшим, размокшим весенним дорогам, а он всю жизнь мечтал прокатиться в горы на шарабанах.

Первого августа он продал шарабан и купил дряхлую одноместную двуколку, — ему, говорит, не терпится удивить теннессийских простаков: то-то они рты разинут, когда он въедет в город на двуколке, — они поди такой в жизни не видали.

Ну вот, а двадцать девятого августа продал он своего черного кучера. На что, говорит, при двуколке кучер, в нее и не сядешь-то вдвоем; да и не каждый день встретишь дурака, готового уплатить тебе девятьсот долларов за третьеразрядного негра, — ему, кстати, давно уже хотелось избавиться от этой бестии, но ведь не выбросишь его на улицу!

Полтора года спустя, точнее — пятнадцатого февраля тысяча восемьсот тридцать седьмого года он продал двуколку и купил седло, — ему, говорит, доктора давно прописали вместо лекарств побольше ездить верхом; к тому же пускай, говорит, его повесят, если он станет, рискуя головой, разъезжать на колесах по горным дорогам, а тем более сейчас, в глухую зиму, — на такие глупости он уже не способен.

Девятого апреля он продал седло: пусть, говорит, кто хочет рискует жизнью, положась на гнилую подпругу, а тем более по этим заболоченным апрельским дорогам; то ли дело ехать попросту, без седла, — он будет чувствовать себя куда увереннее и спокойнее, он всегда презирал тряску в седле.

Двадцать четвертого апреля он продал лошадь. «Сегодня, говорит, мне как раз исполнилось пятьдесят семь лет, а ведь ничего мне не делается, здоров как бык, — вот и дурак бы я был по такой погоде трястись верхом на лошади; то ли дело для мужчины, для настоящего мужчины, пуститься пешком по обновленному весеннему лесу да по весенним горам, тем более что собака отлично может понести мои денежки в небольшой котомке. Так что встану я завтра пораньше, получу сполна по счету, а там и двину в Теннесси на своих на двоих после прощальной чарочки у Гэдсби».

Двадцать второго июня он продал собаку. «Черт, говорит, с ней, с собакой, ведь это ж такая обуза, особенно как соберешься побродить летней порой по

горам и лесам: то она гонится за белками, то лает неизвестно на кого и на что, дурачится, проказничает, всего тебя обрызгает, когда переходишь с ней реку вброд; ни тебе подумать, ни полюбоваться природой; чего лучше самому нести деньги — на собаку в финансовых делах плохая надежда, я давно заметил. Прощайте же, други, это наша последняя встреча, завтра утречком я с веселой душой закину ноги на плечи и айда в Теннесси!»

Райли замолчал, и долго длилась тишина, слышно было только завывание ветра да мягкое падение снежных хлопьев. Мистер Лайкинс не выдержал:

— Ну и что же?

— Ну-с, это было тридцать лет назад, — отозвался Райли.

— И пускай тридцать лет, что с того?

— А то, что мы большие приятели с этим древним старцем. Он каждый вечер заходит ко мне проститься. Я видел его только час назад — завтра он опять собирается в Теннесси, уж который раз; завтра, говорит, он рассчитывает покончить со своим делом и удрать ни свет ни заря, задолго до того, как филины, вроде меня, продерут глаза. Слезы проступили у него, так он радовался, что опять увидит свой родной Теннесси и старых друзей.

Снова молчание. Незнакомец нарушил его:

— И это все?

— Все.

— Ну, скажу я вам, по такому часу да по такой погоде, думается мне, ваш рассказ немного затянулся. И собственно, к чему он?

— Пожалуй, ни к чему.

— А соль-то в чем?

— Да и соли, пожалуй, нет. Только если вы не слишком торопитесь обратно в Сан-Франциско с вашим назначением на должность почтмейстера, мистер Лайкинс, мой вам совет на какое-то время остановиться у Гэдсби и ничего не принимать к сердцу. А за сим будьте здоровы и да благословит вас бог!

Сказав это, Райли спокойно повернулся на каблуках и пошел прочь, оставив изумленного школьного

учителя в одиночестве; а тот, словно дед-снеговик, стоял недвижим и глубоко задумавшись в ярком свете уличного фонаря.

Он так и не получил должности почтмейстера.

Но — возвращаясь к Люцерну и рыбакам... Я битых девять часов проторчал на набережной и пришел к заключению, что если уж кто твердо вознамерился дожидаться, чтобы кто-нибудь подцепил на крючок одну из этих упитанных и умудренных рыбин, пусть сразу же решит «остановиться у Гэдсби» и ничего не принимает к сердцу. Похоже, что за последние сорок лет у этих берегов не была поймана ни одна рыбина, но все равно терпеливый рыбак торчит здесь целыми днями, не сводя глаз с поплавка, и, видимо, получает удовольствие. Таких же толстых, веселых, благодушных и терпеливых бездельников рыбаков вы встретите и на Сене в Париже, хоть, по слухам, единственное, что у них ловится на данном отрезке истории, это такая ненужная им дрянь, как безвременно погибшие собаки и кошки.

Глава XXVII

Ледниковый сад. — Прогулка по озеру. — Жизнь в горах. — Турист, каких много. — «Откуда приехали?» — Ни на шаг без путевода. — «Что ж, в общем как будто все».

Неподалеку от Люцернского льва находится так называемый Ледниковый сад — достопримечательность единственная в своем роде. Он лежит на высоком месте. Лет пять тому назад рабочие, рывшие котлован под фундамент дома, наткнулись на этот знаменательный след давно прошедших веков. Ученые увидели в нем подтверждение своих теорий о ледниковом периоде; по их ходатайству этот небольшой участок земли был куплен правительством и навсегда гарантирован от застройки. Верхние слои почвы сняли и под ними обнаружили исцарапанное и изборожденное ложе, выпаханное в скалах древним ледником при его медлительном и многотрудном движении вниз. Это ложе на всем

протяжении изрыто огромными чашевидными лунками; лунки образованы бешеным вращением валунов, принесенных сюда бурными тальными водами, всегда текущими под ледником. Огромные круглые валуны и поныне лежат в своих лунках; как валуны, так и стенки лунок отполированы до гладкости — следствие постоянного трения друг об друга в те давние времена. Какая же требовалась огромная сила, чтобы вращать эти жернова! Весь рельеф местности был тогда другой, на месте прежних долин высятся сейчас холмы, а на месте холмов лежат долины. До того как попасть сюда, в свои лунки, валуны совершили большое путешествие; это видно из того, что во всей местности ближе отдаленного Ронского ледника не найти камня такой породы.

Несколько дней мы довольствовались тем, что любовались на голубое Фирвальдштетское озеро и на уходящую вдаль панораму обступивших его снеговых вершин — поистине неотразимое зрелище; трудно представить себе что-либо более прекрасное, чем одетый вечными снегами величественный пик, сверкающий на солнце или купающийся в кротком сиянии месяца, — но потом решили прокатиться на паровом катере и взобраться пешком на Риги.

Был чудесный солнечный день с легким свежим ветерком, когда мы совершили приятнейшую поездку в деревню Флюлен. Все пассажиры сидели на верхней палубе, на скамьях под тентом; кругом слышались говор, смех, восторженные возгласы; и действительно, эта прогулка по озеру — верх наслаждения. Здесь одно чудо непрестанно сменяется новым. Горы встают местами отвесно, точно из самого озера, грозя раздавить своей громадой ваше утлое суденышко. Хоть вершины их и не покрыты снегом, а все же они парят в облаках и то и дело скрываются за ними. И это не угрюмые голые скалы, нет, — повсюду сочная свежая зелень, и глаз с удовольствием отдыхает на ней. Иногда они уходят ввысь такими неприступными кручами, что кажется, на их склонах не удержаться ноге человека; а между тем здесь вьются тропки, и местные жители как ни в чем не бывало ходят по ним вверх и вниз.

Иногда эти сумасшедшие склоны внизу полёги — не круче навеса над пароходом, стоящим в доке; но по мере того как гора уходит в облака, ее рельеф становится круче и напоминает уже крышу над мансардой; и в этой-то головокружительной выси твой глаз различает некое подобие ласточкиных гнезд, — только присмотревшись, догадываешься, что это домики здешних крестьян. Вот уж кому дышится привольно! Но что, если крестьянин наверху пойдет бродить во сне или если его ребенок вывалится за калитку? Соседям предстоит тогда нелегкая задача — спуститься со своих заоблачных высот, чтобы разыскать их останки. И все же эти далекие дома кажутся такими заманчиво прекрасными, они так далеки от земли с ее тревогами, так безмятежно дремлют в атмосфере мира и тихих грез, что кажется, никто, вкусивший этой жизни, уже не сможет довольствоваться жизнью в низине.

Мы скользили прелестными рукавами озера, зажатыми в исполинских зеленых стенах, и по мере того как величественная панорама гор то разворачивалась, то свертывалась, постепенно исчезая у нас за спиной, нашим изумленным взорам открывались все новые райские уголки, или вдруг являлся белоснежный колосс, вроде отдаленной, господствующей над всеми вершинами Юнгфрау, или какой-нибудь другой великан, вымахнувший головой и плечами над хаотической перспективой Малых Альп.

И вот в минуту, когда я жадно упивался одним из таких видений и спешил насладиться его красотой, пока оно не скрылось, вывел меня из забытья чей-то молодой и беспечный голос:

— Американец как будто? Я тоже!

Это был юноша лет девятнадцати, стройный, среднего роста, с открытой, самодовольной и наивной физиономией и беспокойным, но независимым взглядом; его вздернутый нос, казалось, с важным достоинством сторонился новорожденных шелковистых усиков, словно не желая знакомиться с первым встречным; отвисяющая челюсть свободно ходила на шарнирах. Одет он был франтом: соломенная узкополая шляпа с низкой тульей и широкой голубой лентой, украшенной

спереди белым вышитым якорьком; кургузый пиджачок, панталоны и жилетка — все аккуратно и нарядно, все по последнему слову моды; носки в красную полоску; лаковые полуботинки с черными шелковыми бантами; голубой бант на шее под открытым воротом рубашки; крошечные брильянтовые запонки; безукоризненно свежие лайковые перчатки; далеко высовывающиеся манжеты на больших запонках оксидированного серебра, изображающих морду английского мопса. Такой же мопс, но только с красными стеклянными глазами, служил набалдашником для его трости. Под мышкой незнакомец держал немецкую грамматику Отто. Волосы, прямые, короткие и гладкие, были сзади, как я убедился, когда он слегка повернул голову, аккуратно разделены пробором. Он вынул сигарету из игрушечного портсигара, вставил ее в пенковый мундштук, хранившийся у него в сафьяновом футлярчике, и потянулся к моей сигаре. Пока он прикуривал, я ответил:

— Да, я американец.

— Так я и знал. У меня на американцев нюх. А на каком пароходе прибыли?

— На «Гользаций».

— А мы на «Батавии», компании «Кунард». Слышали, конечно? Ну как, покачало вас?

— Было дело.

— Нас тоже. Наш капитан говорил, что такого шторма он еще не видел. А из каких вы краев?

— Из Новой Англии.

— Я тоже. Из Нью-Блумфилда. Одни приехали?

— Нет, с приятелем.

— А мы всем семейством. Одному-то скучно спать по свету; вы не находите?

— Да, скучновато.

— Бывали тут раньше?

— Бывал.

— А я нет. Это моя первая поездка. Зато уж куда только мы не заезжали! Повидали и Париж, и что хотите. Мне на тот год в Гарвард поступать, вот и зубрю немецкие вокабулы. Без немецкого туда и не суйся. Французский я знаю порядочно, обходился неплохо в

Париже и повсюду, где говорят по-французски. Вы где стоите?

— В «Швейцергофе».

— Быть не может! Что же я вас ни разу не видел в большой гостинной? Я люблю посидеть в гостинной. Ведь там всегда полно американцев. У меня теперь пропасть знакомых. У меня на американцев нюх — сразу распознаю и подхожу знакомиться. Мне нравится завязывать знакомства. А вам?

— О господи! Да, нравится!

— Видите ли, только этим и можно разнообразить такие поездки, как наша. Я никогда не скучаю в такой поездке, если есть с кем познакомиться и поговорить. Но было бы просто наказанием, если бы нельзя было с кем-нибудь познакомиться и поговорить. Я любитель поговорить. А вы?

— Страстный любитель.

— А сегодня вы не скучали?

— Да, временами скучал.

— То-то же. А вы делайте, как я. Все время переходите от одного к другому, знакомьтесь и говорите с людьми. Я только тем и спасаюсь. Верчусь, верчусь, верчусь — и говорю, говорю, говорю. Так не соскучишься. На Риги уже были?

— Нет еще.

— Думаете побывать?

— Пожалуй.

— Вы где там остановитесь? В какой гостинице?

— Я еще не решил. А разве их там много?

— Три. Остановитесь у Шрайбера. Там всегда полно американцев. Так на каком пароходе, говорите, вы прибыли?

— На «Городе Антверпене».

— Немецкий поди. И в Женеву заедете?

— Заеду.

— Где вы там остановитесь?

— В «Hotel de l'Ecu de Genève».

— Ох, и не думайте! Там же нет ни одного американца! Лучше остановитесь в одной из больших гостиниц за мостом, там всегда стоят американцы.

— Но мне надо практиковаться в арабском.

— Боже милостивый! Вы говорите по-арабски?

— Да, довольно прилично.

— Но тогда за каким чертом вы едете в Женеву, вы там не услышите ни слова по-арабски, там все говорят по-французски. А где вы стоите?

— В пансионе «Бориваж».

— Вот уж напрасно, вам надо было остановиться в «Швейцергофе». Разве вы не знаете, что «Швейцергоф» — лучшая гостиница в Швейцарии? Справьтесь по Бедкеру.

— Да, знаю. Но у меня было представление, что там нет американцев.

— Нет американцев? Господь с вами! Там их полно! Я почти все время сижу в большой гостиной. Знакомлюсь направо и налево. Правда, теперь наших там меньше. Одни новенькие, остальные разъехались кто куда. А сами вы из какой местности?

— Из Арканзаса.

— Скажите! А я из Новой Англии. Нью-Блумфилд — мое местожительство, когда я дома. Сегодня мне превесело. А вам?

— Необычайно весело.

— Вот-вот. Я до смерти люблю слоняться без дела, знакомиться направо и налево и со всеми заговаривать. У меня нюх на американцев. Как увижу, так тут же подойду: «Будемте знакомы!» Я на таких прогулках ни капельки не скучаю, всегда найдется кто-нибудь, с кем можно познакомиться и поговорить. Смерть люблю поговорить со стоящим человеком. А вы?

— Это мое излюбленное развлечение.

— Вот и мое тоже. А ведь бывают же субъекты — уткнутся в книжку и читают, читают, читают или таращатся, как дураки, на эти озера, горы и все такое прочее. Я ничего этого не признаю; да, сэр. Если кому нравится, пожалуйста, я им не помеха, но сам я ни-ни, мне бы только поговорить! Вы уже побывали на Риги?

— Побывал.

— И где вы там стояли?

— У Шрайбера.

— Правильно. Я и сам там останавливался. Небось полно было американцев? Там их всегда до черта. По крайней мере все так говорят. Я чуть ли не от каждого слышу. А на каком пароходе прибыли?

— На «Городе Париже».

— Французский стало быть. Ну и как, покачало? Простите, я на минутку, там как будто американцы, этих я еще вроде не видал.

И он ушел прочь. Ушел цел и невредим, хотя у меня чесались руки запустить ему в спину мой альпеншток смертоносным гарпуном, но пока я поднимал свое оружие, оно выпало у меня из рук, — нет, я не нашел в себе решимости прикончить этого бойкого, невинного и добродушного олуха.

Спустя полчаса я уже, сидя на скамье, с огромным интересом наблюдал великолепный монолит, мимо которого мы плыли, — монолит, созданный не рукой человеческой, но вольной и щедрой рукой природы, — пирамидальную скалу в восемьдесят футов высотой, искони — за десять миллионов лет до наших дней — предназначенную самой природой послужить достойным памятником человеку. И время пришло — ныне грандиозный монумент носит начертанное огромными буквами имя Шиллера. Как ни странно, скала эта ни разу не подвергалась поруганию или осквернению. Только года два назад явился, говорят, неизвестный человек и, спустившись с ее вершины при помощи каната и блоков, намалевал по всей ее огромной поверхности синими буквами — побольше тех, шиллеровских, — такие слова:

Испробуйте «Созодонт»!

Покупайте «Солнце» — новую мазь для полировки печей!

Мочегонное Гельмбольда!

«Бензалин» помогает от малокровия!

Человека этого арестовали, он оказался американцем. Судья, перед которым он предстал, обратился к нему со словами:

— Вы прибыли из страны, где любому невежде и пегодяю не возбраняется кощунственно надругаться над природой, — а значит, и над ее Творцом, — во имя того, чтобы положить себе в карман лишний грязный грош. Здесь, у нас, другие порядки. Так как вы невежественный иностранец, я смягчаю вам приговор; будь вы местным уроженцем — вас постигла бы суровая кара. Слушайте же и повинуйтесь: вы тотчас же, не откладывая, сотрете с памятника Шиллера все следы вашей кощунственной работы; кроме того, вы присуждаетесь к штрафу в десять тысяч франков и двухлетнему заключению в каторжной тюрьме; по отбытии наказания вас высекут кнутами, вываляют в смоле и перьях, отрежут вам уши и в этом позорном виде доведут до границы нашего кантона и отправят в вечное изгнание. Мы отказались в вашем случае от более суровых мер не из милости к вам, но ради великой республики, породившей вас себе на горе.

Скамьи по всей палубе стояли спинками друг к другу, вследствие чего волосы у меня на затылке самым невинным образом переплелись с волосами каких-то двух пассажиров. Кто-то заговорил с этими дамами, и мне пришлось подслушать следующий разговор.

— Из Америки как будто? Я тоже.

— Да, мы из Америки.

— Так я и знал. У меня на американцев нюх. Каким пароходом прибыли?

— «Город Честер».

— Знаю, знаю — компании Инмена. А мы «Батавийей» Кунарда, — слыхали, верно? Ну что, покачало вас?

— Не очень.

— Счастье ваше. Ну а нас изрядно. Капитан говорил, что он такого шторма еще не видывал. Из каких вы краев?

— Из Нью-Джерси.

— Я тоже... хотя что я вру! Я из Новой Англии, Нью-Блумфилд моя родина. А детишки с вами едут? Они лично ваши или общие?

— Это мои дети, подруга не замужем.

— Значит, на холостом положении — вроде меня. И как же это вы, две женщины, путешествуете одни?

— Мы не одни, с нами едет мой муж.

— Вот и мы тоже поехали всем семейством. Ведь это же тоска зеленая путешествовать одному. А вы как полагаете?

— Да, пожалуй.

— Глядите, а вон и опять «Пилат»! Этот пик называли по Понтию Пилату, тому самому, что прострелил яблоко на голове Вильгельма Телля. Обо всем этом в путеводителе пропечатано. Сам я не читал, а слышал от одного американца. Я ничего не читаю, особенно когда шатаюсь по всяким таким местам, — в общем живу в свое удовольствие. Вы уже видели часовню, где проповедовал Вильгельм Телль?

— Разве он был священник? Первый раз слышу.

— А как же! Так объяснил мне тот американец. Он все время смотрел в путеводитель. Он знает про это озеро больше, чем рыбы, которые в нем живут. Опять же — и зовется она, сами знаете, «Часовня Телля». Вы уже когда-нибудь бывали тут?

— Бывала.

— А я нет. Это мое первое путешествие. Зато уж куда только мы не заезжали! И в Париже были, и где хотите. Мне на тот год в Гарвард поступать. А туда без немецкого и не суйся. Это вот грамматика Отто. Книжка первый сорт! Вот они тут — черным по белому, все эти *ich habe gehabt haben*. Но когда я так шатаюсь по разным местам, мне ученье в голову не лезет. Бывает, конечно, найдет и на меня прилежный стих, и тогда я прохаживаюсь по всей линии по этим *ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, wir haben gehabt, ihr haben gehabt, sie haben gehabt*, — вроде как: «Дети спят, собачки спят, кошки спят и мышки спят...» Зато уж потом дня на три выброшу начисто из головы всю дребедень. Немецкий язык чересчур на мозги влияет, его надо принимать в малых дозах, а то и не заметишь, как они прокиснут и, точно сбитое масло, начнут бултыхаться в голову. Его не сравнишь с французским! Французский для меня раз плюнуть. Я так же мало боюсь французского, как бродя-

га — пирога. Все эти j'ai, tu as, il a и так далее я вам мигом отбарабаню, все равно что азбуку. А в какой гостинице вы стоите?

— В «Швейцергофе».

— Да неужто! Что же я вас там не видел? Я почти все время сижу в большой гостиной, там всегда полно американцев. У меня теперь пропасть знакомых. Были уже на Риги?

— Нет еще.

— А думаете побывать?

— Да, собираемся.

— А где думаете там остановиться?

— Понятия не имею.

— Так остановитесь у Шрайбера, у него всегда полно американцев. Вы на каком пароходе прибыли?

— На «Городе Честере».

— Ах да, постойте, я, кажется, уже спрашивал. Я, знаете, наладился всех спрашивать, на каком они пароходе прибыли, — бывает, что и лишний раз спрошу. Верно, и в Женеву заглянете?

— Да.

— И где думаете остановиться?

— В каком-нибудь пансионе.

— Вот уж не советую — пожалеете. Американцы избегают пансионеров. А здесь где стоите?

— В «Швейцергофе».

— Ах верно, я уже спрашивал. Я, знаете ли, наладился всех спрашивать, где они стоят, бывает и зарплатуешь. Все эти гостиницы все равно не упомнишь, будь они неладны. А разговору это помогает. Я, знаете, люблю поговорить. От разговора бодрость появляется — правда? — особенно на такой прогулке. А у вас прибавляется бодрости?

— Иногда.

— Вот и со мной так же. Пока я говорю, я ни чуточки не скучаю. А вы?

— Обычно нет. Но бывают исключения.

— Ну, еще бы! Я и сам не стану со всяким связываться. Другой пойдет молоть про разные там пейзажи, да про историю, да про картины и тому подобную скучищу, — ну, это не по мне, я сразу скисну. «Изви-

ните, мне пора, говорю, до приятного-с», — а сам тягу. Вы из каких краев?

— Из Нью-Джерси.

— Что ж это я в самом деле, ведь и об этом был разговор. А Люцернского льва повидати?

— Не успела еще.

— Вот и я не успел. Тот человек, что про гору «Пилат» рассказывал, говорил, что этот лев вещь стоящая, он будто бы двадцати восьми футов в длину. Даже не верится. Но уж это на его совести. Он его вчера видел, говорит, что лев умирающий. А раз так, значит сегодня ему аминь. Ну да не беда, из него непременно чучело набьют... Так дети, говорите, ваши или вот ее?

— Мои.

— Верно, верно, вы так и говорили. А на Риги... Впрочем, и об этом был разговор... А на каком паро... простите, и это мы выяснили. Позвольте... гм... гм... А сильно вас... Впрочем, и это мы уже установили. Что ж, в общем как будто все. Бонжур, медам, очень приятно было познакомиться. Гутен таг!

Глава XXVIII

Риги-Кульм. — Восхождение. — Горная железная дорога. — Йодлеры. — Скалистые ворота. — Опоздали. — Альпийский рог. — Восход солнца вечером.

Риги-Кульм — внушительный альпийский массив, стоящий особняком; высота — шесть тысяч футов; отсюда открываются виды на обширную территорию с голубыми озерами, зелеными долинами и снеговыми горами — величественная и богатая панорама на триста миль в окружности. Подняться на него можно по железной дороге, верхом или пешком — как кому угодно. В одно ясное солнечное утро мы с моим агентом облеклись в туристские доспехи, сели на катер, курсирующий по озеру, и в трех четвертях часа езды от Люцерна высадились в деревне Вэггис, у подошвы Риги-Кульма.

Вскоре мы не спеша поднимались по усеянной листьями тропе для мулов, как всегда с увлечением беседуя. Стоял полдень, ветреный, безоблачный; подъем шел полого, а открывавшиеся из-за мохнатой завесы ветвей виды то на голубую воду и крошечные паруса, то на вздыбленные утесы переносили нас в волшебную страну сновидений. Мы чувствовали себя на седьмом небе, а ведь нам предстояло полюбоваться еще более прекрасным зрелищем — восходом солнца в Альпах, что, кстати, и являлось целью нашей прогулки. Торопиться, очевидно, было не к чему, так как путеводитель определяет время, потребное, чтобы добраться от Вэггиса до вершины, в три с четвертью часа. Я говорю: «очевидно», потому что путеводитель уже однажды обманул нас — насчет расстояния от Аллерхейлигена до Оппенау, — и нельзя было поручиться, что он и сейчас не устроит нам сюрприз. Единственное, что не вызывало сомнений, это высота, а сколько часов ходьбы от подножия до вершины, мы решили установить на основании личного опыта. Высота горы считается шесть тысяч футов над уровнем моря и только четыре тысячи пятьсот футов над уровнем озера. Прошагав с полчаса, мы так настроились на предстоящее путешествие и так утвердились в желании совершить его, что развили бешеную деятельность — наняли мальчишку, поручив ему нести наши альпенштоки, мешки, плащи и прочие пожитки; это развязывало нам руки для предстоящих подвигов. Должно быть, мы чаще устраивали привалы и располагались на траве отдохнуть и покурить, чем это было привычно для нашего проводника, потому что он вскоре заинтересовался, как мы его наняли — сдельно или на год. Мы сказали, что если он торопится, то никто его не держит. На что он возразил, что ему не так уж к спеху, но что он хотел бы добраться до места, пока еще молод и полон сил. Мы предложили ему пойти вперед и сдать наши вещи в гостинице где-нибудь поблизости от вершины горы и предупредить там, что мы идем следом. Мальчик сказал, что займет нам комнату в гостинице, если найдется хоть одна свободная, в противном же случае попросит хозяина постро-

ить новую гостиницу, наказав ему, чтобы он поторапливался со всякой там штукатуркой и побелкой, а иначе не успеет просохнуть к нашему приходу. Так, не переставая посмеиваться над нами, он все прибавлял и прибавлял шагу, пока не скрылся. Часам к шести мы взобрались на изрядную высоту, откуда вид на озеро и горы стал и шире и занимательнее. Здесь в небольшой харчевне мы подкрепились хлебом, сыром и двумя квартами молока, полюбовались с терраски панорамой, расстилавшейся перед нами, и пошли дальше.

Спустя минут десять нам встретился запыхавшийся и сильно раскрасневшийся от быстрой ходьбы человек; он спускался вниз огромными шагами, далеко забрасывая вперед свой альпеншток и налегая на него всем телом, чтобы не оступиться. Увидев нас, он остановился и стал обмахиваться шляпой, потом вытер красным платком пот с лица и шеи, с трудом отдышался и наконец спросил, далеко ли еще до Вэггиса.

— Часа три ходу, — сказал я.

Он оглядел нас с удивлением.

— Странно, а я-то думал, что до озера рукой подать. Что там дальше, не харчевня?

— Харчевня, — сказал я.

— Что ж, — вздохнул англичанин. — На три часа меня уже не хватит, сегодня мне и так уже досталось; пожалуй, заночую здесь.

Я спросил:

— А нам близко до вершины?

— До вершины? Да вы, голубчики, еще только тронулись в путь. У вас еще все впереди.

Услышав это, я тоже выразил желание заночевать в харчевне. Мы повернули назад, заказали горячий ужин и премило провели вечер в обществе англичанина.

Хозяйка немка отвела нам уютные комнаты с удобными постелями, и мы с Гаррисом улеглись, с твердым намерением встать на заре и с честью встретить восход солнца. Но мы, конечно, утомились до смерти и спали, как полицейский на посту. Проснувшись утром, первым делом бросились к окну и

увидели, что опоздали, — было уже половина одиннадцатого. Это нас сильно разочаровало. Тем не менее мы заказали завтрак и попросили хозяйку пригласить к нам англичанина, но услышали, что он встал с зарей и побежал без оглядки, кляня кого-то — или что-то — на чем свет стоит. Мы терялись в догадках, что же так его огорчило. По словам хозяйки, он только спросил, на какой высоте над уровнем озера стоит ее заведение, на что она ему ответила, что на высоте тысяча четырехста девяносто пять футов. Больше у них никакого разговора не было, но англичанин почему-то страшно рассвирепел. Он стал ворчать, что в этой несносной стране между растаками идиотами и путеводителями всякое соображение потеряешь, так что потом и в год не соберешь. Гаррис полагал, что его, наверно, сбил с толку наш мальчик. Возможно, так оно и было, эпитеты, на которые англичанин не скупился, точка в точку указывали на нашего мальчика.

Было уже за полдень, когда мы со свежими силами полезли вверх. Отшагав ярдов двести, сделали очередной привал; я стал закуривать трубку и, оглянувшись налево, увидел в отдалении длинный черный виток дыма, лениво змеившийся по отвесной круче. Паровоз, конечно. Мы прилегли на землю и, опершись на локти, стали его рассматривать — ведь нам еще не приходилось видеть горную железную дорогу. Скоро показался и поезд. Трудно было понять, как он ползет по крутому, словно крыша, склону, а между тем это чудо происходило у нас на глазах.

Часа через два мы достигли обдуваемого ветрами уступа, где стояли лачуги пастухов и на каждой крыше лежали тяжелые камни, очевидно для того, чтобы ее не снесло яростными зимними буранами. Земля здесь большей частью голая, каменистая, но немало и деревьев, мха и травы.

Далеко, на противоположном берегу озера, лежали деревни, и тут мы впервые поняли, как они малы по сравнению с исполинами, у подножья которых дремлют. Когдаходишь в такую деревню, улицы кажутся просторными, а дома достаточно высокими, даже по сравнению с нависшей над ними горой. Но как все это

резко изменилось с нашей наблюдательной вышки. Горы возвышались сказочными громадами, они думали свои гордые думы, макушками упираясь в плавучие облака, тогда как деревни, еле различимые самым пристальным взором, казались приземистыми и незаметными, приплюснутыми к земле: единственно с чем их можно сравнить, так это с муравьиными кочками в тени огромного собора. Паровые катера, скользящие под неприступными склонами могучих гор, кажутся отсюда игрушечными, а парусные и гребные лодки уменьшаются до размера скорлупок, где впору поместиться только эльфу, что живет в чашечке лилии и выезжает ко двору верхом на шмеле.

Вскоре мы набрали на десяток овец, пощипывавших траву у горного ключа, который чистой, прозрачной струей бил из отвесной скалы футов в сто высотой, и тут услышали звонкий голос, выводивший «люл-люл-лахи-о-о-о!» Эти переливчатые звуки тоже струились из какого-то близкого, но невидимого источника, и нам внезапно пришло на ум, что мы впервые слышим знаменитый альпийский напев «йодель» в его родной обстановке. Мы также догадались, что перед нами то своеобразное сочетание баритона с фальцетом, которое у нас в Америке зовется «тирольской трелью».

Незримое пение, к великому нашему удовольствию, продолжалось, а тут показался и сам «йодлер» — пастушок лет шестнадцати. В порыве признательности и радости мы дали ему франк, прося спеть еще. И он пел, а мы слушали, когда же мы собрались уходить, он проводил нас щедрыми руладами. Минут пятнадцать спустя встретили мы другого пастушка, он тоже пел, и мы дали ему в виде поощрения полфранка. Этот йодлер также проводил нас руладами. После этого мы каждые десять минут натывались на нового йодлера, из коих первому дали восемь центов, второму — шесть, третьему — четыре, четвертому — пенни, номерам пятому, шестому и седьмому ничего не дали, зато всем остальным йодлерам, встречавшимся нам в тот день, давали каждому по франку, лишь бы они больше не

пели. Пожалуй, в Альпах слишком уж увлекаются пением на тирольский лад.

Часам к трем миновали мы огромные естественные ворота — они так и называются Felsenthor¹, — образуемые двумя отвесными скалами с лежащей поверху третьей скалой. Рядом стояла уютная маленькая гостиница, но мы были еще полны энергии и стойчески прошли мимо.

Три часа спустя мы подошли к железнодорожному полотну. Оно ведет прямо в гору, под такой уклон, какой образует стремянка, приставленная снаружи к стене дома; надо иметь крепкие нервы, чтобы проехаться по такой железной дороге — что вверх, что вниз.

Теперь нам часто встречались горные ручьи с прозрачной ледяной водой, и мы охлаждали ею свои спекшиеся внутренности. Это была действительно освежающая вода, — первая, какую нам довелось пить с самого отъезда из Америки; на континенте в гостиницах вам подадут лед в стакане, вы льете в него застоявшуюся теплую воду, но от этого она не становится прохладной. По-настоящему охладить воду можно только в холодильнике или в плотно закрытом кувшине со льдом. Европейцы считают, что ледяная вода портит пищеварение. Но откуда им это известно, если они ее никогда не пьют?

В десять минут седьмого вышли мы к станции Кальтбад; здесь стоит просторная гостиница с огромными верандами, откуда открываются великолепные виды на озеро и горы. Мы уже окончательно выбились из сил; боясь, как бы снова не проспять восход солнца, мы наспех пообедали — и сразу в постель. Какое неописуемое блаженство растянуться на холодных влажных простынях! И как же крепко мы спали — на свете нет лучшего снотворного, чем восхождение на Альпы!

Утром мы проснулись оба одновременно и бросились к окну отдергивать занавески. Снова жестокое разочарование: было уже половина четвертого пополудни!

¹ Скалистые ворота (нем.).

Одевались мы мрачные, в самом скверном расположении духа; каждый укорял другого за то, что тот проспал. Гаррис говорил, что, если бы мы взяли курьера, как оно и полагается, нам не пришлось бы прозевать два солнечных восхода. Я возразил ему, что тогда, как ему хорошо известно, один из нас должен был бы вовсе не спать, чтобы заранее разбудить курьера, и еще добавил, что нам во время такого сложного восхождения в пору следить за собой — где уж тут отвечать за курьера.

Впрочем, за завтраком наше дурное настроение рассеялось: мы прочли в путеводителе, что в гостиницах на вершине горы туристу, мечтающему увидеть восход солнца, не приходится рассчитывать только на счастье, там служитель, обходя все коридоры, дует в мощный альпийский рог, способный воскресить мертвого. И еще одна утешительная подробность: по заверению путеводителя, на вершине горы туристы не теряют ни минуты драгоценного времени на то, чтобы одеться как следует, а, захватив попавшееся под руку красное одеяло, появляются при всем народе в этом одеянии индейцев. Это ли не прекрасно! Это ли не романтично! Двести пятьдесят человек с развевающимися волосами и в хлопающих по ветру одеялах толпятся на открытой бурям горной вершине, на фоне торжественных снежных хребтов и румяных зорь, провозвестников солнца — это ли не великолепное, незабываемое зрелище! Мы уже считали скорей удачей, чем неудачей, что прозевали те восходы солнца.

Из путеводителя мы узнали, что находимся на высоте три тысячи двести двадцать восемь футов над уровнем озера. Итак, две трети пути пройдено. Дальше двинулись в четыре пятнадцать пополудни; в сотне ярдов повыше гостиницы от железнодорожного полотна отходила вправо ветка; она не так круто поднималась вверх, как главная линия, и мы свернули на нее. Пройдя около мили и обогнув скалу, мы вышли к новенькой нарядной гостинице. Надо было прямоком идти дальше, дорога вывела бы нас на вершину горы, но верный себе Гаррис, как всегда, пустился в расспросы и, как всегда, напал на человека, который знал

столько же, сколько он, и этот человек посоветовал нам повернуть назад и держаться главного пути. Так мы и сделали. И кляли же мы себя потом за эту напрасную потерю времени!

Мы все лезли и лезли вверх и не переставали лезть — поднялись уже на сорок вершин, и каждый раз за последней находили еще одну, наипоследнюю. Пошел дождь, и весьма упорный. Мы вымокли до нитки и продрогли. А потом тучи заволокли все клубящимися туманами, пришлось идти по шпалам, чтобы не сбиться с пути. Иногда мы выбирались на раскисшую дорожку, шедшую слева вдоль насыпи, но порою ветер разгонял туман, и мы видели, что шагаем по самому краю пропасти, а наши локти висят над бесконечной и бездонной пустотой; от ужаса у нас хватывало дыхание, и мы торопились перебраться опять на шпалы.

Наконец спустилась ночь, темная, промозглая. Часов в восемь вечера туман разошелся, и мы увидели хорошо утоптанную дорожку, круто поднимавшуюся влево. Мы свернули на нее, но когда настолько отошли от железной дороги, что вернуться было уже невозможно, нас снова накрыл пеленой туман.

Мы находились на неприятном голом месте и вынуждены были шагать вперед, чтобы согреться, хотя бы и под угрозой рано или поздно свалиться в пропасть. Часов в девять сделали мы важное открытие: оказывается, мы сбились с тропы. Некоторое время мы ползли на четвереньках, но так и не нащупали тропу; оставалось только сесть тут же в грязь, на чаклую мокрую траву, набраться терпения и ждать.

Нас, видите ли, испугала грозная громада, на мгновение выступившая из тумана, чтобы уже в следующую минуту затеряться в нем. Это была гостиница, которую мы искали, но, чудовищно увеличенная туманом, она представлялась нам крутым обрывом, на который мы не рисковали взобраться.

Так просидели мы добрый час, дрожа всем телом, стуча зубами и препираясь из-за пустяков, но больше всего коря друг друга за то, что мы, как последние дураки, свернули с железнодорожного полотна. Мы

сидели спиной к воображаемому обрыву, потому что какой ни на есть ветер дул только оттуда. Временами туман рассеивался, но мы этого не замечали, так как глядели во вселенскую пустоту, где сквозь туман все равно ничто не просвечивает, пока наконец Гаррис, случайно обернувшись, не увидел на месте мнимого обрыва большое, смутно маячившее призрачное здание гостиницы. Мы различали окна, трубы и распылчатые пятна света. Первым нашим чувством была безмерная, невыразимая радость, но она тут же сменилась глупым раздражением на то, что гостиница, должно быть, уже минут сорок пять как видна, а мы сидим в грязной луже и ссоримся.

Да, это была гостиница «Риги-Кульм», та самая, что стоит на вершине горы и чьи отдаленные сверкающие огни мы часто видели в высоте, среди звезд, с нашего балкона в Люцерне. Угрюмый портье и не менее угрюмые служители встретили нас с той суровостью, которая так свойственна этому племени в разгар сезона, когда от постояльцев отбоя нет, но, тронутые нашим сверхобычным смирением и подобострастием, смиловались и проводили нас в комнату, заказанную для нас нашим юным провожатым.

Переодевшись во все сухое, мы в ожидании ужина одиноко слонялись по двум-трем обширным пещерообразным гостиным, в одной из них имелась даже печка. Однако печка эта находилась в углу, за непроницаемой стеной обступивших ее постояльцев. И так как пробраться к огню не было никакой возможности, мы бродили в заполярье, между кучками молчаливых, потерянных, сумрачных людей, дрожавших от холода и, может быть, думавших одну неотступную думу: «За каким чертом нас сюда понесло!» Были здесь и американцы и немцы, но преобладали англичане.

Потом мы заглянули в комнату, где толпилось особенно много народу, — узнать, по какому случаю сборище. Оказалось, что здесь продажа сувениров. Туристы с увлечением покупали разрезальные ножички на все вкусы и фасоны, с надписью: «На память о Риги-Кульме», вправленные в рукоятки из крошечных рожек мифической серны; тут же стояли деревянные

кубки и тому подобные вещицы — тоже на все вкусы и фасоны и с такими же надписями. Я уже приглядел себе разрезальный ножик, но вовремя сообразил, что мне и так не позабыть ледяного гостеприимства Риги-Кульма, и подавил этот порыв.

Ужин согрел нас, и мы поторопились в постель, но я еще сначала, во исполнение просьбы мистера Бедекера ко всем туристам — обращать его внимание на каждую неточность, невольно вкравшуюся в его путеводители, настроил ему письмецо, где указал, что в своей справке, будто восхождение от деревни Вэггис до вершины продолжается три с четвертью часа, он просчитался на три дня. В свое время я известил его об ошибке в определении расстояния от Аллерхейлигена до Оппеннау и о том же предупредил Германское имперское картографическое общество, допустившее этот же недосмотр на своих картах. Кстати сказать, я так и не удостоился ни ответа на свои письма от первой инстанции, ни естественной благодарности от второй; но что я расцениваю как высшую неучтивость — это что необходимые исправления так и не были внесены ни в карты, ни в путеводители. Я не оставил, однако, мысли написать вторично, как только выдастся свободная минута, — возможно, мои письма затерялись в дороге.

Мы свернулись калачиком в холодных, сырых постелях и мгновенно уснули. Руки и ноги были словно налиты свинцом, и мы ни разу не шевельнулись во сне, пока нас не разбудили зычные рулады альпийского рога. Разумеется, мы не стали мешкать. Натянув на себя самое необходимое, мы закутались в пресловутые красные одеяла и, растрепанные, с непокрытой головой, устремились в коридор, а там и на свежий воздух, где на свободе завывал ветер. Футах в ста на вершине горы возвышался деревянный помост, и мы сломя голову бросились к нему. Взбежав на него по ступенькам лестницы, мы застыли у барьера, высоко над простертой внизу землей, и ветер, налетая яростными порывами, играл нашими волосами и рвал и крутил наши красные одеяла, хлопая ими, как кнутом.

— Минимум пятнадцать минут опоздания! — сказал Гаррис упавшим голосом. — Солнце уже над горизонтом.

— Подумаешь, беда какая! — не сдавался я. — Зрелище великолепное, по крайней мере досмотрим восход до конца.

Мы, не теряя времени, глухие ко всему на свете, погрузились в созерцание совершавшегося у нас на глазах чуда. Величественный исчирканный облаками диск новорожденного светила стоял вплотную над безграничной ширью вскипавших барашками волн — ибо взбаламученным морем представлялось нам это нагромождение монументальных соборов и башен, одетых вечным снегом, сплошь залитых опаловым сиянием переливчатых красок, — между тем как сквозь прозоры черных туч, тяжело нависших над солнцем, пробивались, устремляясь к зениту, сверкающие снопы алмазной пыли. Дольний мир, изрытый и искрошанный, тонул в яркой, многоцветной дымке, скрадывавшей рваные очертания утесов и скал и лохматых лесов и придававшей этой суровой картине необычайно нежный и сочный колорит.

Мы не смели говорить. Мы затаили дыхание. Мы только в пьяном восторге пялили глаза и упивались этим великолепием. Вдруг Гаррис воскликнул:

— Тьфу пропасть, да оно садится!

И он был прав. Мы проспали утреннюю побудку, проспали завтрак и обед. Чудовищно!

— Обрати внимание, — не унимался Гаррис, — никто не смотрит на солнце, все заняты нами! Да и надо же выдумать такое — стоять на этом эшафоте в дурацких одеялах, на виду у двухсот пятидесяти прилично одетых мужчин и женщин, которые уставились только на нас и которым наплевать, восходит солнце или заходит, лишь бы не упустить такое пикантное зрелище, достойное украсить их путевые журналы. Им в пору схватиться за бока, а вон та молодая особа того и гляди лопнет со смеху. А ты... в первый раз вижу такого человека! Ты — последняя мыслимая степень приближения человека к ослу.

— Что я такое сделал? — вскинулся я.

— И ты еще спрашиваешь! Ты встал в половине восьмого вечера, чтобы наблюдать восход солнца, — вот что ты сделал!

— Так чем же ты лучше меня, хотел бы я знать? Я всегда вставал с первым жаворонком, пока не попал под разлагающее влияние твоего возвышенного интеллекта.

— Ты вставал с первым жаворонком! Не сомневаюсь, что в один из ближайших дней ты встанешь с палачом! Постыдился бы читать мне мораль здесь, на альпийской вершине, щеголяя в красном одеяле на эшафоте в сорок футов вышиной! Да еще перед лицом многочисленной публики. Вот уж нашел время показывать свой скверный характер!

Разгорелась обычная перепалка. Когда солнце наконец скрылось за горизонтом, мы под защитой милосердных сумерек прошмыгнули к себе в номер и снова легли спать. По дороге попался нам трубач, желавший получить с нас не только за солнечный закат, который мы видели, но и за восход, который проспали в полном смысле слова; но мы заявили, что согласны участвовать в этом солярном предприятии лишь на условиях «Европейского плана» — то есть платить за то, что фактически получено. И тогда он обещал наутро так затрубить в свой рог, что мы и мертвые проснемся.

Глава XXIX

Мы устраиваемся с удобствами. — Восход солнца с запада — Взаимные обвинения. — Вид с вершины. — Спуск. — Мы едем по железной дороге. — Завоеванное доверие.

И он сдержал слово. Заслышав его рог, мы тотчас же вскочили. Было темно и холодно, настроение мерзкое. Шаря впотьмах спички и все опрокидывая, я сокрушался о том, что солнце восходит не в полдень, когда тепло и светло, и так легко на душе, и не клонит зверски ко сну. Мы начали одеваться при мертвенном свете двух хилых свечек, но руки у нас дрожали и не

справлялись с пуговицами. Я думал о том, сколько счастливых в Европе, Азии, Америке — всюду и везде — мирно почивают в постелях, им не надо вставать и мчаться сломя голову, чтоб увидеть восход солнца на Риги; эти счастливые и не подозревают, сколь они высканы провидением, и поутру, встав с постели, станут кланяться у него еще и новых милостей. Погруженный в эти размышления, я зевнул шире, чем обычно, и зацепился зубами за гвоздь в притолоке; а пока я влезал на стул, чтобы освободиться, Гаррис отдернул оконную занавеску и вскричал:

— Вот так повезло! Никуда нам и бежать не надо — вон они, горы, как на ладони.

Это была приятная новость, и мы сразу повеселели. На темном небосклоне слабо вырисовывались смутные очертания гор, а в просветах между ними кое-где тускло поблескивали звездочки. Одетые с ног до головы и зябко кутаясь в одеяла, мы уселись с трубками у окна и завели приятную беседу про то, как мы с комфортом и при свечах встретим восход солнца. Мало-помалу какое-то удивительное, словно неземное сияние, постепенно разгораясь, пролилось на высочайшие вершины этих снежных пустынь, — но на том дело как будто и застряло.

— С восходом какая-то заминка, — сказал я наконец. — Что-то не ладится. Как ты думаешь, что там стряслось?

— Ума не приложу. Должно быть, осечка. А не плутни ли это хозяев гостиницы?

— Какие там еще плутни? Здешние хозяева только пайщики в этом солнечном предприятии, к его управлению они не причастны. Тоже мне коммерсанты: два-три полных затмения, и вся их лавочка вылетит в трубу! Но что же, в самом деле, могло случиться с солнцем?

— Ага, вот оно что! Нашел! — торжествующе крикнул Гаррис и вскочил. — Мы ищем солнце там, где оно вчера заходило!

— Совершенно верно! Но о чем же ты раньше думал? Опять мы, значит, проморгали восход! И вечно ты все перепутаешь. Это так на тебя похоже — за-

курить трубку и ждать, чтобы солнце взошло с запада.

— Да кто же, как не я, обнаружил нашу ошибку? Тебе бы ввек не догадаться. Все наши ошибки распутываю я!

— Ты, видно, для того их и совершаешь, чтобы не пропадал твой замечательный талант. Но сейчас не время ссориться, может быть там еще осталось кое-что на нашу долю.

Увы, мы спохватились слишком поздно. Солнце уже стояло над горизонтом, когда мы добрались до смотровой площадки.

Поднимаясь вверх, мы видели возвращающуюся публику — мужчин и женщин в самых фантастических нарядах, — все они, судя по их виду и походке, в той или иной мере заоченели, чувствовали себя несчастными и были злы на весь мир. Человек десять еще стояли у помоста, сбившись в кучку, спиной к пронизывающему ветру. У всех красненькие книжки путеводителей были раскрыты на соответственной диаграмме, и каждый прилежно выискивал на ней горы, стараясь удержать в памяти их названия и взаимное расположение. Поистине грустное зрелище — более грустного я еще не видел.

Площадка с двух сторон ограждена решеткой, чтобы людей не сдувало в пропасть. Когда вы с такой чудовищной высоты — чуть не миля по вертикали — смотрите себе под ноги, оборотясь лицом на восток, перед вами открывается зрелище неповторимой красоты и своеобразия. Целые области с городами, горные цепи и массивы, обширные луга и леса, извилистые реки, более десятка синеющих озер со стайками хлопотливых пароходов; и весь этот мирок предстает перед вами выписанным во всех деталях — таким, каким видят его птицы, уменьшенным до микроскопических размеров и вместе с тем ясным и четким, словно выгравированным на стали. Игрушечные деревни с тончайшими шпилями колоколен раскинуты так небрежно, точно игравшие ими дети бросили их вчера как попало; лес стянулся в зеленую кочку; два-три больших озера кажутся прудами, а озера поменьше —

крошечными лужицами, вернее — не лужицами, а камешками бирюзы, выпавшими из серег и нашедшими себе более достойную и удобную оправу в бархате мха или нежной зелени всходов; крохотные кораблики снуют словно в чаше фонтана, с бесконечной медлительностью одолевая расстояние между двумя пристанями, расположенными в двух шагах одна от другой; на перешейке, соединяющем два озера, только лечь человеку (локти попадут уже в воду), а ведь мы знали, что по ним тянутся экипажи-невидимки, которым эта дорога представляется изрядно длинной. И весь этот чудесный крошечный мир напоминает те «рельефные карты», на которые в точности нанесена местность со всеми ее возвышенностями и котлованами и другими особенностями, но только в сильно уменьшенном масштабе, причем скалы, деревья, озера и прочее окрашены в натуральные цвета.

По моим расчетам, обратный путь в Вэггис, или Фицнау, должен был отнять у нас целый день, а так как поездом туда не больше часа, то я и предпочел железную дорогу, тем более что хотел так или иначе ознакомиться с ней. Поезд пришел часов в десять утра, и вид у него был престранный. Котел локомотива стоит дыбом и вместе с локомотивом сильно отклонен назад. Два пассажирских вагона, оба с крышами, открыты с боков на все стороны. Они нормального устройства, только сидения отклонены назад. Благодаря этому пассажир сидит прямо, когда поезд движется круто под уклон.

Колея здесь трехрельсовая, средний рельс снабжен зубьями, за которые цепляется цевочное колесо локомотива, приводя поезд в движение при подъеме в гору и тормозя при спуске. Скорость движения в том и в другом случае от одной до трех миль в час. Локомотив всегда прицеплен к заднему вагону. При подъеме он толкает вагоны, при спуске тормозит. Спускаясь вниз, пассажиры сидят лицом к движению, поднимаясь — спиной.

Мы заняли передние сидения, и пока поезд ярдов пятьдесят шел по ровному месту, я ни капельки не боялся; но когда он ринулся вниз, у меня захватило ды-

хание. Как и мои соседи, я невольно откинулся назад, всей тяжестью навалиясь на спинку сидения, хотя, разумеется, это было ни к чему. Мальчишкой я не задушиваясь съезжал с перил, но съезжать с перил на поезде так страшно, что по спине у вас ползут мурашки. Порой мы ярдов десять проезжали по ровному месту и разок-другой могли свободно вздохнуть, но сразу же за поворотом перед нами открывался круто уходящий вниз длинный рельсовый путь — и опять конец спокойствию. Казалось бы, прежде чем начать спуск, поезд должен был бы из осторожности остановиться или хотя бы замедлить ход, но какое там — он преспокойно пер вперед, а дойдя до трамплина, нырял и катил себе вниз, невзирая ни на что.

Было что-то опьяняющее в этом жутком скольжении по краю пропасти, когда твои глаза неотрывно смотрят вниз, на ту далекую-далекую долину, которую я только что описал.

Станция Кальтбад стоит не на ровном месте, а на откосе, крутом, как крыша, и я заранее любопытствовал, как поезд здесь остановится. Но все оказалось очень просто. Поезд катил, как на санках, а подкатив, куда требовалось, стал — и вся недолга, — стал на самой круче; когда же обмен пассажирами и багажом состоялся, он так же сразу взял с места и пошел дальше. Этот поезд можно останавливать где угодно, по первому требованию.

Все это сопровождалось еще одним любопытным явлением, о котором рассказывать не стоит труда — достаточно взять ножницы и вырезать из рекламной брошюры железнодорожной компании соответствующее описание, не тратя чернил:

«В течение всей поездки, а особенно при спуске вы находитесь во власти оптической иллюзии, действие которой может оценить только очевидец. Вам кажется, что все вокруг — кусты, деревья, сараи, дома — лежит набоку, как бы прижатое к земле чудовищным давлением воздуха. Все как бы съехало набекрень, а крестьянские шале и коттеджи словно летят куда-то кувырком. Явление это вызвано крутым наклоном пути. Сидящие в вагоне не замечают, что спускаются

вниз под углом в двадцать — двадцать пять градусов (спинки сидений соответственно отклонены назад), — они принимают за норму горизонтальные плоскости вагона и все предметы вне вагона видят под наклоном в двадцать — двадцать пять градусов».

Добравшись до Кальтбада, вы уже исполнены доверия к этой дороге и больше не стараетесь облегчить локомотиву его труд, откинувшись на спинку сидения. Вы безмятежно покуриваете трубку и с неомраченным наслаждением взираете на картины по бокам и внизу. Никто не стоит между вами, видами и ветром, вы словно глядите на землю с птичьего полета. Впрочем, по правде сказать, есть местечко, где спокойствие на время изменяет вам, — это когда вы проезжаете через Шнуртобельский мост — хрупкое сооружение, переброшенное через ущелье на головокружительной высоте и парящее в воздухе, как осенняя паутина.

Все ваши грехи встают перед вами, пока поезд ползет по мосту, и вы готовы каяться и бить себя в грудь, — хотя, доехав до Фицнау, уже понимаете, что поторопились: мост вполне надежен.

На этом и кончается наше богатое событиями восхождение на Риги-Кульм, предпринятое, чтобы увидеть восход солнца в Альпах.

Глава I

Путешествие через заместителя. — Экскурсия к горному проходу Фурка. — Озеро Мертвеца. — Истоки Роны. — Ледяные столы. — Гроза в горах. — Гриндельвальд. — Мертвые языки. — Отчет Гарриса.

Пароход за час доставил нас в Люцерн. Я решил залечь в постель и дать себе несколько дней полного отдыха, так как понимал, что человек, затеявший обойти пешком Европу, должен всячески щадить себя.

Здесь я вновь продумал намеченные нами маршруты и увидел, что они минуют такие места, как горный проход Фурка, Ронский ледник, Финстераархорн, Веттерхорн и многое другое. Обратившись к путеводителю, чтобы проверить, как он оценивает эти места, я убедился, что он ценит их весьма высоко и что без них путешествие пешком по Европе не может считаться завершенным. Это решило вопрос: я должен был их увидеть, ибо никогда ничего не делаю наполовину и ни в чем не терплю неряшества и безалаберности.

Итак, я позвал своего агента и поручил ему ни мало не медля пойти пешком по этому маршруту и представить мне письменный отчет о своих впечатлениях, дабы я мог включить его в мою книгу. Я поручил ему тотчас же отправиться в Госпенталь и оттуда проделать весь путь до Гисбахского водопада, после чего

вернуться в Люцерн дилижансом или верхом на муле. Я также наказал ему взять с собой курьера.

Гаррис отказывался брать курьера, ссылаясь на то, что речь идет о путешествии в новые, неизведанные края; однако я не сдался на его резон: я считал, что пора уж ему взять на себя заботу о курьере; я также указал ему на то, что все хлопоты, задержки и неудобства, которые влечет за собой путешествие в обществе курьера, с лихвой окупятся тем уважением, какое внушает уже самое наличие такового, тем более что мне, как я подчеркнул, весьма желательно, чтобы мое путешествие было обставлено со всей возможной помпой.

Итак, оба мои спутника возложили на себя свои альпинистские доспехи и благополучно отбыли. Спустя неделю они вернулись, изрядно потрепанные, и мой агент вручил мне следующее

ОФИЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ

*об экскурсии в горный проход Фурка и окрестности,
составленное Г. Гаррисом, агентом.*

Часов в семь утра, при самой благоприятной погоде, вышли мы из Госпенталья и около *quatre* часов пополудни достигли *maison* у прохода Фурка. Окружающая Госпенталь природа так безрадостна и уныла, что *какапоники* изрядно наскучил нам; но не пугайтесь такого начала: стоит путнику увидеть властелина Оберланда, грандиозную вершину Финстераархорн, как он почувствует себя полностью *récompensée* за все тяготы пути. Мы только что еще не знали, на чем остановить свой взор, а между тем уже следующий *pas* вывел нас на вершину Фурка; и здесь перед нами в каких-нибудь пятнадцати милях *xopaу* предстал этот мощный исполин, возносящий в глубокую синеву небес свои отвесные снежные скалы. Менее значительные горы по обе стороны прохода образуют словно рамку для портрета этого грозного монарха; и так как они полностью замыкают пейзаж, скрывая от глаз другие красоты Оберланда, то ничто на этом *бонг-а-бонг* не отвлекает внимание наблюдателя от Финстераархорна и подчинен-

ных ему гор, образующих как бы контрфорсы главного пика.

Мы шли с партией туристов, также направлявшихся в Гримзель, и наш большой *ксевлой* причудливо растянулся по извилистой *Steg*, которая, огибая плечо горы, ведет вниз к Ронскому леднику. Вскоре мы оставили тропу и спустились на лед; побродив *un peu* среди трещин, полюбовавшись красотой этих лазоревых гротов и послушав шум вод, бурлящих в ледовых каналах, мы вышли на тропу, ведущую на *l'autre côté*, и благополучно пересекли ледник повыше той пещеры, где новорожденная Рона делает свой первый прыжок, срываясь с грандиозного ледяного обрыва.

Полумилей ниже мы начали восхождение по цветущему Мейенванду. Мы поднимались не торопясь, так как стояла страшная *Hitze*. Один из наших путников ушел было вперед, но мы очень скоро догнали его; он лежал на земле в полном изнеможении, прикорнув за большим *Gestein*. Посидев с ним немного, так как все мы выбились из сил на крутом *болвогголи*, мы двинулись дальше и наконец подошли к озеру Мертвеца у подножия Зидельхорна. Этот пустынный уголок, когда-то послуживший импровизированным кладбищем для жертв кровавой *battue* между французами и австрийцами, производит впечатление полной заброшенности, и если бы не побеленные каменные столбы, указывающие направление прохода во время зимних *аудасакк*, можно было бы подумать, что здесь еще не ступала нога человека. Неподалеку тропа выходит на довольно широкую дорогу, соединяющую Гримзель с верховьем Ронского *шнавн*; дорога, искусно проложенная где поверх, где в обход камней, спускается к берегу небольшого сумрачного *суош-суош*, подступающего к самым стенам гримзельской гостиницы. Мы прибыли сюда около четырех часов пополудни, закончив этим свой дневной переход. От зноя всех разморило, и многие из нашей *partie* не устояли перед искушением освежиться в кристальном озере, питающемся талыми водами.

На другой день после полудня мы стали подниматься по Унтераарскому леднику, намереваясь за-

светло добраться до *Hütte*, где обычно находят ночлег туристы, направляясь в Гриндельвальд через Штралекский проход. С трудом перебрались мы через груды обломков и *débris*, заваливших *le pied* ледника и здесь, в трех часах пути от Гримзеля, хотели уже свернуть направо и вскарабкаться по скалам к сторожке, когда тучи, надвигавшиеся со стороны Финстераархорна и уже некоторое время грозившие нам дождем, внезапно разразились проливным *хабулонгом* пополам с градом. Но счастью, мы увидели невдалеке ледниковый стол — крупный обломок горной породы, покоившийся на ледяном пьедестале, достаточно высоком для того, чтобы мы могли найти здесь *гаукарак*. Поток талой *пукитти-пук* промыл себе дорогу в основании ледяного пьедестала, и нам приходилось стоять, раздвинув *Füsse* — одна нога здесь, другая там. *Wasser* в канавке все прибывала; мы принялись выдалбливать во льду ступени, чтобы забраться повыше, — кстати, эта работа немного согревала нас. Гроза сопровождалась холодным *бззззз-зззззиии*; но положение наше стало еще хуже, когда вдруг сверкнула *Blitz*, упавшая, казалось, среди нашего небольшого отряда, и грянул *йокки*, прозвучавший так, будто выпалили из большой пушки над самым вашим ухом. Мы стояли ошеломленные, а тут еще в горах, замкнувших нас в свое кольцо, прокатилось стократное эхо. За первым ударом грома последовали другие, *doch keiner* не прозвучал уже в такой опасной близости; прождав в своей ледяной тюрьме бесконечные *demi* часа, мы решили выйти на *хабулонг*; гроза по-немногу стихала, и все же, пока мы добрались до гостиницы, нас промочило до костей.

Гримзель, *certainement*, замечательное место; расположенный как бы на дне глубокого кратера, стенки которого образованы бесплодными *Gebirge* — дикими скалами, где не произрастают даже хвойные *arbres* и где находит себе пропитание лишь жалкая кучка *гмвклпллпл*, он, должно быть, зимой *liegt begraben* в снегу. Каждую весну на него обрушиваются огромные лавины, иногда засыпающие его на тридцать — сорок футов; и только два сторожа, что живут здесь в то глухое время года, когда все *voyageurs* давно ука-

тили и блаженствуют в своих уютных домах, — только они и могут рассказать вам, как под тяжестью снежного покрова весь дом кряхтит и содрогается до основания, невзирая на стены в четыре фута толщиной и запирающиеся снаружи железные ставни.

Наутро *xogglebumguullun* стояла такая же скверная, но мы двинулись в путь, несмотря ни на что. С полчаса моросило, потом шел *Regen*, и мы укрылись под нависающим утесом. Однако стоять, сбившись в кучу да еще вымокнув до нитки, показалось нам не слишком *agréable*, и мы под неистовый рев вздувшейся Аар направились дальше, к Гандеку, утешая себя тем, что зато знаменитый *Wasserfall* покажется нам *en grande perfection*. И надо сказать, мы не были *hannперсокет* в своих ожиданиях: водные хляби, низвергаясь с высоты в двести пятьдесят футов, бешено клокотали, меж тем как деревья на соседних склонах скрипели и гнулись в ураганном вихре, вызванном этим грандиозным падением воды; даже небольшая струйка, вливавшаяся в водопад под прямым углом и *toutefois* сообщавшая пейзажу как бы дополнительную живописную черточку, сегодня превратилась в ревущий каскад; эта грандиозная встреча вод всего лишь в пятидесяти футах от шаткого мостика, где мы стояли, представляла великолепное зрелище. Пока мы его созерцали, *glücklichlicherweise* выглянуло солнце, и многоцветная радуга, внезапно родившись в брызгах пены, словно повисла в воздухе над грозным ущельем.

В *châlet* повыше водопада, куда мы зашли отдохнуть, нам сказали, что в окрестностях Гуттанена снесло *Brücke* и что придется некоторое время переждать. Прогнознув в своей намокшей одежде, мы просидели битый *Stunde* пока группа *voyageurs*, вышедшая из Мейрингена, не успокоила нас: там действительно что-то случилось, но пройти все же можно. Добравшись до места происшествия, я решил, что в гандекской харчевне нас просто водили за нос, чтобы спойть и скормить нам побольше вина и *словек*; сорваны оказались только две доски; такая щель могла бы испугать упряжку мулов, но взрослому *ммбглкс* достаточно было сделать шаг

пошире, чтобы миновать пролом. Ближе к Гуттанену *хабулонг* стих, и мы почти совсем сухие добрались до Рейхенбаха и *Hôtel des Alpes*, где нас накормили отличным *dîner*.

На следующее утро мы отправились в Розенлауи, этот *beau idéal* швейцарской природы, и весь полдень посвятили осмотру местного ледника. Красота всего виденного нами не поддается описанию. В своем вечном движении ледник постоянно меняет очертания: в его передней части образовалась огромная пещера со стенами, лазурными, как небо над нашей головой, и покрытыми рябью, точно замерзший океан. По нескольким ступенькам, вырубленным в *хуньямбориху*, мы забрались внутрь и насладились этим зрелищем непревзойденной красоты. Весь ледник иссечен трещинами того же восхитительного цвета, а в довершение тут же, в нескольких шагах от льда, растут в изобилии чудесные *Erdbeeren*. Харчевня стоит в очаровательном месте, почти на самом *côté de la rivière*, образующей ниже Рейхенбахский водопад. Великолепный бор и стройный силуэт отдаленного Вельхорна дополняет эту восхитительную *бонпль*. Во вторую половину дня мы через Большой Шейдек направились в Гриндельвальд с заходом на Верхний ледник; но тут нас опять захватила ненастная *хогглебумгуллун*, и в харчевню мы явились в *solchen* виде, что хозяину пришлось выручать нас своим гардеробом.

К утру как будто распогодилось, и в ожидании солнечного дня мы решили предпринять восхождение на Фаульхорн. Когда мы выходили из Гриндельвальда, вдали уже слышались громовые раскаты, но нас обнадежили, что наверху мы найдем *guten Wetter*; однако дождь, почти прекратившийся за ночь, вдруг опять зарядил, а выше нас встретил быстро усиливающийся *froid*; мы прошли уже две трети пути, когда на смену дождю пошел *ныллик*, а туман так сгустился, что мы не видели друг друга на расстоянии двадцати *пуну*. Двигаться дальше по сильно пересеченной, покрытой снегом местности стало невозможно. Добравшись до сторожки, усталые и замерзшие, мы легли в постель, укутались двойным комплектом одеял и безмятежно

заснули под завывание ветра, бушевавшего *autour de la maison*. Проснувшись, я долго не разбирал впотьмах, где окно, где стены; но через час наметился переплет окна; я соскочил с постели и с трудом открыл раму, — за ночь она примерзла и на нее намело целые сугробы *ньиллик*.

С крыши свисали огромные ледяные сосульки, да и вообще все кругом имело *Anblick* устоявшейся зимы. И тут вид внезапно выглянувших из тумана исполинских гор так поразил меня, что разогнал мой сон. Снег, собравшийся на *la fenêtre*, еще усиливал *die Finsterniss oder der Dunkelheit*; выглянув наружу, я удивился тому, что уже рассвело, вот-вот должно было взойти *бальрагумах*. Только самые яркие *étoiles* еще сверкали в небе. Над головой ни облачка, зато в долинах, на глубине в тысячу футов, курился пар, окутывая подножья гор; тем яснее и отчетливее вырисовывались в прозрачном воздухе их вершины. Мы быстро оделись и выбежали из сторожки встречать рассвет. Впервые видели мы в такой близости исполинов Оберланда, и они тем более поразили нас, что вчера за пеленой тумана и сгущающихся сумерек их не было видно.

«*Кабогвакко сонгваши Кум Веттерхорн снавно!*» — крикнул кто-то, когда эта величавая вершина подернулась первым румянцем зари; а там вспыхнул и двуглавый пик Шрекхорна; пик за пиком, казалось, оживали; Юнгфрау зарделась еще более прелестным румянцем, чем ее соседи, и вскоре от Веттерхорна на востоке до Вильдштубеля на западе — на всех этих мощных алтарях, достойных богов, зажглись бесчисленные огни. *Влгв* был зверский; домишко, где мы ночевали, тонул в сугробах, снегу выпало за ночь на добрый *флирк* — тем более кстати пришелся нам трудный спуск к Гисбахскому водопаду, где климат был уже приветливее. Накануне термометр в Гриндельвальде показывал на солнце не менее ста градусов по Фаренгейту, а вечером, судя по сосулькам на крыше и примерзшим рамам, было не менее двенадцати *дингблаттер* мороза, что дает за несколько часов колебание температуры в восемьдесят градусов.

Я сказал:

— Ты молодчина, Гаррис! Твой отчет точен, краток и выразителен; ты владеешь слогом, твои описания исполнены живости и вместе с тем не впадают в изысканность; твоё изложение придерживается существа вопроса, оно строго деловое и не страдает многословием. Это в известном смысле образцовый отчет. Единственно, в чем его можно упрекнуть, это в излишней учености, в чрезмерной учености. Скажи, что такое «дингблаттер»?

— «Дингблаттер» на языке фиджи означает «градусы».

— Стало быть, английское слово тебе известно?

— Разумеется.

— А что такое «нйиллик»?

— «Снег» по-эскимосски.

— Значит, тебе опять-таки известно английское слово?

— Конечно известно.

— А как прикажешь понимать это твоё «ммбглкс».

— «Путник» по-зулусски.

— Стройный силуэт отдаленного Вельхорна дополняет эту восхитительную «боппль». Что такое «боппль»?

— «Картина». На языке чокто.

— А что такое «шнавл»?

— «Долина». Тоже на чокто.

— А что такое «болвогголи»?

— «Холм» по-китайски.

— А «какапоника»?

— «Восхождение». Чокто.

— Нас захватила ненастная «хогглебумгуллуп». Как понимать эту «хогглебумгуллуп»?

— Это «погода» по-китайски.

— Но разве «хогглебумгуллуп» лучше, чем наше «погода»? Ярче? Выразительнее?

— Нет, оно выражает то же самое.

— Ну, а «дингблаттер», «нйиллик», «боппль» и «шнавл» — больше говорят твоему сердцу, нежели английские слова того же значения?

— Нет, они равносильны английским.

— Тогда зачем они тебе понадобились? На что тебе сдалась вся эта китайская, чоктоская и зулусская грамота?

— Я знаю только десяток французских слов, а латыни и гречески и того меньше.

— Невелика беда. К чему тебе гоняться за иностранными словами?

— Для украшения слога. Все к этому стремятся.

— Кто же эти «все»?

— Ну, все решительно. Все, кто хочет писать изящным слогом. Ведь это никому не заказано.

— А по-моему, ты заблуждаешься, — начал я свою грозную отповедь. — Когда ученый автор пишет учебную книгу для таких же ученых, как он сам, никто не может запретить ему употреблять столько иностранных слов, сколько вздумается, до его читателя они дойдут; иное дело тот, кто обращается к широкой публике: он не должен утяжелять свой слог непереуловленными иностранными выражениями. Это неуважение к основной массе покупателей, это все равно что сказать им: «Если вам нужен перевод, позаботьтесь о нем сами, а наша книга не для всякого сброда». Есть, разумеется, люди, свободно изъясняющиеся на чужом языке и пользующиеся им повседневно, — им еще можно простить, когда они, сами того не замечая и словно паля из винтовки, вводят пачками в свои английские писания иностранные выражения и слова, оставляя их на добрую половину без перевода. Но это, конечно, истинное наказание для девяти десятых их читателей. Какое же они находят себе оправдание? Такой автор скажет вам, что пользуется иностранными словами в тех случаях, когда тончайшие оттенки его мыслей нельзя выразить на родном языке. Прекрасно, но тогда все его лучшие мысли дойдут лишь до каждого десятого, остальным же читателям пусть он посоветует держаться подальше от его книги. Все же хоть какое-то оправдание у него есть. Но бывают и авторы вроде тебя: на иностранных языках они ни бе ни ме, весь их багаж составляют случайные слова да два-три коротких выражения, списанных с последних страниц «Толкового словаря», но они щедро пересыпают ими свои писания, притворяясь, будто в

совершенстве владеют чужим языком, — какое же, скажи, у них оправдание? Иностранные слова и выражения, которые у них в ходу, имеют свое точное соответствие в их родном языке, несравненно более благородном — английском, а им кажется, будто они украшают свой слог, говоря *Strasse* вместо улица, *Bahnhof* вместо вокзал и т. д. Они размахивают перед носом у читателя этим нищенским тряпьем в расчете на то, что читатель осел и что в этих лохмотьях он усмотрит образчики несметных богатств, придерживаемых про запас. Так пусть эти свидетельства «учености» останутся в твоём отчете; на мой взгляд, ты так же вправе «украшать свой слог» зулусской, китайской и чоктоской словесной окрошкой, как твои коллеги украшают свой — дешёвкою, взятой напрокат из учёных языков, не зная в них ни бельмеса.

Когда замечтавшийся паук наткнется невзначай на раскаленную лопату, он сначала всем своим видом выразит изумление, а потом съжится. То же примерно произошло под действием моих испепеляющих слов с беспечным и самодовольным агентом.

Как видите, я, когда находит на меня бичующий стих, бываю беспощаден.

Глава II

Из Люцерна в Интерлакен. — Горный перевал Брюниг. — Затворничество св. Николая. — Обвалы. — Дети — торговцы съестными припасами. — Как запрягают лошадей. — Немецкие обычаи.

Мы готовились к серьёзному переходу из Люцерна в Интерлакен, через горный перевал Брюниг. Но буквально в последнюю минуту я поддался искушению: стояла чудесная погода, и я, чем тащиться пешком, нанял коляску четверней. Это была тяжеловесная колымага, очень вместительная, но с удивительно легким, приятным ходом — что твой паланкин — и необыкновенно удобная.

Мы тронулись утром спозаранку, после горячего

завтрака, и по гладкой твердой дороге покатали, радуясь чудесному швейцарскому лету, услаждая свой взор видом дальних и ближних озер и холмов, а слух — неумолчным птичьим пением. Порой только ширина дороги отделяла нависшие справа голые утесы от прозрачных студеной вод слева, где ходили стайками неуловимые рыбы, бесшумно скользя по решетчатому узору теней; порой место утесов заступала бесконечная зеленая даль, пологими скатами уходящая вверх и усеянная уютными крохотными шале — так называется швейцарская разновидность коттеджа, наиболее из всех приятная.

Обычно шале своим широким фронтоном обращено к дороге, и его щедрая крыша ласково и заботливо нависает над домиком, далеко раскинув защитными козырьками свои края. Причудливые окошки поблескивают мелкими стеклами, повсюду белеют кисейные занавески и пестреют цветочные ящики. Весь фасад вместе с козырьками крыши и перильцами низенького крылечка изукрашен затейливой резьбой — венки, плоды, причудливые арабески, изречения из священного писания, вензеля, памятные даты и тому подобное. Дом сплошь из дерева приятной и теплой по тону красновато-коричневой окраски; по стенам вьется виноград. Поставьте такое шале на фоне свежей зелени травянистого склона, и оно покажется вам таким приветливым и живописным, что вы признаете в нем не помеху, а чудесное добавление к прекрасному пейзажу.

Но вы только тогда почувствуете, как завладело вашим сердцем шале, когда наткнетесь подальше на дом новой стройки, по образцу тех домов, которыми изобилуют сейчас города Германии и Франции, — на мрачное, уродливое, унылое здание, оштукатуренное под камень, которое в своей чопорной, казенной и угрюмой суровости так не идет к окрестному пейзажу и так глухо, слепо и мертво к его поэтичности, что хочется сравнить его с гробовщиком на прогулке, или трупом на свадьбе, или пуританином в раю.

Рано утром мы проехали мимо озера, где будто бы утопился Понтий Пилат. По преданию, после распятия Христа на кресте совесть так замучила римского

наместника, что он бежал из Иерусалима и скитался по земле, нигде не находя избавления. Наконец он уединился на вершину горы «Пилат» и долгие годы жил один, меж туч и скал; но и здесь его душа не обрела мира и покоя, и, чтобы положить конец своим терзаниям, он бросился в пучину озера.

Далее мы проехали места, где родился человек, которому несравненно больше повезло на суде потомков. Это пресловутый друг детей — Санта-Клаус, или св. Николай. Удивительно, как складываются иные репутации! Взять хотя бы этого угодника. Он искони слывет другом детей, а между тем собственные дети таковым его не считали. У него их было десятеро, и когда ему исполнилось пятьдесят лет, он покинул их и затворился в келье, подыскав себе самое мрачное и далекое от мира убежище, где его благочестивые размышления не нарушались бы веселыми и всякими иными криками из детской.

Если судить по Пилату и св. Николаю, отшельники бывают на всякий образец, тут нет определенных правил: они, видимо, пекутся из разного теста. Пилат еще при жизни постарался искупить свой грех, тогда как св. Николаю придется, видимо, до скончания века лазить в сочельник по дымовым трубам и баловать чужих детей во искупление вины перед собственными, которых он так бессовестно бросил. Останки святого хранятся в церкви селения Саксельн, которую мы посетили, и верующие чтут их. Его портрет вы найдете на всех окрестных фермах, хотя сходство, говорят, весьма относительное. По преданию, св. Николай, живя в затворе, единожды в месяц вкушал хлеб и вино причастия, все же остальное время изнурял себя постом.

Проезжая у подошвы крутых гор, мы дивились не тому, что здесь случаются обвалы, а тому, что они не случаются сплошь и рядом. Непонятно, почему при такой крутизне оползни не происходят ежедневно и на головы путников поминутно не валятся обломки скал. Три четверти века назад по дороге из Арта в Брюннен произошло страшное бедствие. Обломок горной породы в две мили длиной, тысячу футов шириной и сто футов толщиной оторвался от скалы на высоте

три тысячи футов, упал вниз и похоронил под собой четыре деревни и пять тысяч жителей.

День был такой прекрасный и так много видели мы чудесных картин — прозрачных озер, зеленых холмов и долин, величественных кражей и опаловых водопадов, падающих с высоты и сверкающих в лучах солнца, — что душа наша была открыта всему миру; и мы добросовестно старались выпить все молоко, съесть весь виноград, все абрикосы и ягоды и скупить все букеты полевых цветов, которыми крестьянские мальчики и девочки торговали на дороге; но в конце концов пришлось объявить себя банкротами, — такое обязательство оказалось нам не под силу. По всему пути, на коротком — слишком коротком — расстоянии друг от друга, под густыми деревьями сидели опрятные и пригожие мальчики и девочки, разложив на траве свой соблазнительный товар; не успевали мы подъехать, как они высыпали на дорогу с корзинками и молочными бутылками и, босиком, простоволосые, бежали за коляской, предлагая нам свой товар. Редко кто отставал сразу, большинство продолжало бежать и приставать — сперва рядом с экипажем, а затем и следом — покуда хватало дыхания и сил. Только тогда они поворачивали и, увязавшись за обратным экипажем, возвращались на свое место. Когда все это продолжается много часов кряду, теряешь терпение. Не знаю, что бы мы стали делать, если бы погоню не отвлекали от нас встречные колымаги. К счастью, их было предостаточно, и все они шли нагруженные доверху седоками и горами багажа. В общем, по дороге от Люцерна до Интерлакена мы не терпели недостатка в развлечениях, так как на фоне сменяющихся пейзажей видели перед собой нескончаемую процессию юных разносчиков и туристских колымаг.

Беседа наша все время вертелась вокруг вопроса, что мы увидим, перевалив через Брюниг. Наши друзья в Люцерне наказывали нам поглядеть сверху на Мейринген — сначала вниз, на стремительную сероватоголубую реку Аар и на широкий простор ее зеленой долины; затем прямо — на мощные горные кручи, что вырастают из этой долины, упираясь макушками в

облака, и на крошечные шале, прилепившиеся к карнизам на головокружительной высоте и едва различимые в клубах тумана; затем все выше и выше — на великолепный Ольчибах и другие водопады, падающие с уступов гор, одетые в сверкающие брызги и пену и опоясанные радугами; увидеть все это, говорили они, значит увидеть лучшее из того, что может быть на земле возвышенного и чарующего. Потому-то, повторяю, мы все время и беседовали об ожидающих нас чудесах и только одного желали — прибыть туда вовремя; и только одного боялись — как бы погода не испортилась и не помешала нам узреть эти чудеса во всей их красе.

Когда мы подъезжали к Кайзерштулю, что-то стряслось с нашей упряжью. Мы на минуту растерялись, но только на минуту: лопнула постромка — штука, которая ведет от лошадиной головы назад и прикрепляется к той штуке, за которую тянут экипаж. В Америке она была бы сделана из крепкого ремня, в Европе же, куда бы вы ни поехали, это веревка толщиной в мизинец, обыкновенная бельевая веревка. Такая веревочная упряжь в ходу у извозчиков и у господских кучеров, у фургонщиков и у крестьян. В Мюнхене я впоследствии видел подобную же упряжь на лошадях, тащивших длинную платформу с шестьюдесятью полубочками пива. И то же самое наблюдал я раньше в Гейдельберге, причем веревки были не новые, а какие-то допотопные, с Авраамовых времен, — бывало, сердце замирает, когда лошади во весь опор несутся под гору. С тех пор я по привычке к веревочной упряжи и уже с недоверием гляжу на ремни, хоть с виду они надежнее веревки. Наш возница достал из рундука запасную бельевую веревку и мигом все наладил.

Кстати, это дает вам представление об одном из европейских обычаев. У каждой страны свой порядок и обычай. Читателю, быть может, интересно, как лошадей «присупонивают» на континенте. Конюх ставит обеих лошадей по обе стороны той штуки, что выдается от передка экипажа, и перекидывает через их головы невообразимую путаницу веревок — то, что называется сбруей; один свободный конец он через кольцо пропускает вперед, а потом отводит назад, потом берет такой

же конец по другую сторону лошади, пропускает через другое кольцо и также огводит назад; скрестив обе веревки, он один конец отводит назад, а другой пристегивает под брюхом у лошади; после чего берет другую штуку и обматывает вокруг той, о которой я уже говорил выше; затем надевает на голову лошади новую штуку — с большими хлопущками, чтобы пыль не попадала в глаза, а в рот ей кладет железную штуку, чтобы ей было что грызть, взбираясь на гору; потом одним концом захлестывает ей шею, чтобы лошадь не мотала головой, поднимаясь в гору, и глядела веселей; после чего он все свободные концы прикрепляет к той штуке, за которую тянут, а ослабнувшую веревку подает вознице, чтобы править. Мне лично никогда не доводилось пристегивать лошадей, но я уверен, что в Америке это делается по-другому.

У нас была отличная четверка лошадей, и наш возница очень гордился своим выездом. На большой дороге он довольствовался умеренной рысью, но, едва доехав до деревни, принимался гнать во весь опор, так яростно пощелкивая кнутом, что это звучало точно ружейная пальба. Под щедрый аккомпанемент этих залпов он мчался по узким улочкам, огибая крутые повороты, словно вихрь, словно движущееся землетрясение, — а перед ним, подобно отступающей волне прилива, улепетывали ребятишки, утки, кошки и матери с младенцами на руках, чудесно спасенными от неминуемой гибели; когда же эта живая волна, отхлынув, разбивалась у стен на составные части, эти последние, почувствовав себя в безопасности, мгновенно забывали свой страх и с восхищением глядели вслед удалому ездоку, пока, прогремев за поворотом, он не скрывался из виду.

Его грозные замашки и щегольской наряд импонировали скромным селянам. Когда он останавливался у коновязи попить коней и покормить их полновесными ковригами хлеба, деревенские сбегались полюбоваться его величием, мальчишки преданно таращили на него глаза, а трактирщик выносил ему кружки пенящегося пива и, пока он пил, беседовал с ним о том о сем. Потом он опять взбирался на высоченные козлы, взма-

хивал громовым бичом и ураганом уносился прочь. Я не видел подобного с самого детства, с той поры, как через нашу деревню проезжал дилижанс, поднимая тучи пыли и оглашая воздух флюоритурой своего рожка.

У подошвы Кайзерштуля мы наняли еще двух лошадей. Часа два наш шестерик с трудом тащился в гору — подъем был нельзя сказать чтобы легкий, но зато когда мы перевалили через седловину и подъезжали к станции, наш возница превзошел самого себя по части грохота и сумасшедшей скачки. Ему не каждый день представлялся случай править шестериком, так надо же было показать себя во всем блеске.

Местность, которую мы проезжали, известна как родина Вильгельма Телля. Герой не забыт, память о нем и поныне неложно живет в сердцах потомков. Деревянная фигурка, изображающая его с натянутым луком, красуется над входом в каждый трактир и стала неотъемлемой частью местного пейзажа.

К полудню мы подъехали к подошве Брюнигского перевала и часа на два остановились в деревенской гостинице — одном из тех чистеньких, уютных и во всех отношениях образцовых постоянных дворов, которые так восхищают неизбалованного путника, привыкшего мириться в деревенском захолустье с куда более безотрадными странноприимными домами. Местечко славится озером, лежащим в горах; зеленые склоны предгорий усеяны швейцарскими коттеджами, прячущимися в зелени карликовых полей и садов, а выше, на самой горе из лиственной чащи с ревом низвергается кипящий водопад.

То и дело подъезжали экипажи с пассажирами и багажом, и вскоре в тихой гостинице закипела жизнь. К табльдоту мы пришли чуть не первыми и перед нами продефилировала вся публика. Всего набралось человек двадцать пять. Было представлено много национальностей; американцев, кроме нас, никого. Рядом со мной сидела молодая англичанка, а рядом с ней ее новоиспеченный супруг, которого она называла уменьшительным «Недди», хотя и по росту и по дюжему сложению ему более пристало бы называться полным именем. При выборе вина супруги повздорили, впрочем

это была скорее пасторальная ссора, ссора влюбленных. Недди стоял за то, что советовал путеводитель, — за местное вино, а его благоверная и слышать о нем не хотела.

— Фп, гадость какая! — твердила она.

— Какая же это гадость, голубка, вполне приличное вино!

— А я говорю — гадость!

— А я говорю — не гадость!

— Ужасная гадость, Недди, не спорь, я его в рот не возьму.

Последовал вопрос, какого же вина ей нужно. На что она ответила, что он прекрасно знает, — она ничего не пьет, кроме шампанского.

— Ты прекрасно знаешь, — поучала она его, — папа не садится за стол без шампанского, и я уж так привыкла.

Недди игриво прошелся насчет того, что она его, очевидно, решила разорить, чем так насмешил молодую жену, что та чуть не задохлась от смеха, и этим в свою очередь так раззадорила его, что он еще раз десять повторил свою остроту, украшая ее все новыми убийственными добавлениями. Придя наконец в себя, новобрачная игриво похлопала его веером по руке и сказала с нарочитой строгостью:

— Что ж, ты так добивался меня — ты и слышать не хотел ни о какой другой партии, а уж раз попался, крепись. Ну, прикажи же дать шампанского, я умираю от жажды!

С притворным вздохом, снова рассмешившим ее до слез, он приказал подать шампанского.

Услышав, что эта дама так тонко воспитана и признает из всех спиртуозов только шампанское, Гаррис был поражен и сражен. Он решил, что она принадлежит к одной из правящих в Европе династий; что до меня, то я в этом сомневался.

За столом слышалась речь на двух-трех языках, и наши досужие догадки о национальности большинства гостей блестяще подтвердились. Остались неразгаданными только наши визави — пожилой джентльмен, путешествовавший в обществе пожилой дамы и молоденькой девушки, а также джентльмен лет тридцати

пяти, сидевший четвертым от Гарриса. Нам так и не удалось услышать ни одного их слова. Наконец второй из названных джентльменов — мы и не заметили, как — вышел из-за стола, и мы увидели его уже на другом конце столовой, где он, вынув из кармана гребенку, поправлял прическу. Значит немец, — если только он не усвоил эту манеру в долгих скитаниях по немецким гостиницам. А тут и пожилая чета вместе с молодой девушкой встала из-за стола и вежливо нам поклонилась. Тоже, значит, немцы. Этот национальный обычай стоит шести других на предмет вывоза.

После обеда мы разговорились с группой англичан, и они так расхвалили нам красоты Мейрингена, открывающиеся с Брюнигского перевала, что подогрели на несколько градусов наше и без того горячее желание их узреть. Вид, уверяли они, так хорош, что мы будем помнить его всю жизнь; они расписывали необычайную романтичность дороги: в одном месте она пробита в горном уступе, и путешественник проезжает под навесом скалы; они говорили, что резкие повороты при стремительном спуске не раз заставят наше сердце учащенно биться, ибо мы будем нестись неудержимым галопом как бы по спиралям головокружительного вихря, — так капля виски сбегает по виткам штопора. Я запасся у этих господ всеми необходимыми сведениями, не забыв спросить и о том, может ли путешественник раздобыть по дороге молока и фруктов, если его уж очень дойдут голод и жажда. На что они только воздели руки, в знак того, что дорога просто кишит продавцами всякой снеди и напитков. Мы не могли дожждаться отъезда, двухчасовой перерыв, казалось, тянулся бесконечно. Но вот лошади поданы, и мы начинаем подъем. Дорога и в самом деле была чудесная. Гладкая, хорошо убитая, чисто выметенная, она вела по карнизу, нависшему над пропастью, и была ограждена от нее каменными столбиками фута в три вышиной, следовавшими на близком расстоянии друг от друга. Сам Наполеон I не мог бы построить ее лучше. Ибо надо полагать, что нынешними своими дорогами Европа обязана почину Наполеона. Вся английская, французская и немецкая литература, описывающая

быт и нравы конца прошлого века, пестрит описаниями того, как почтовые кареты и коляски въезли по ступицу в грязи и слякоти распутицы. Но стоило Наполеону походным маршем пройти по бездорожью завоеванной им страны, как он налаживал дело так, что потом разгуливай хоть в бальных туфлях.

Мы поднимались все выше и выше петляющей дорогой под сенью развесистых деревьев, среди великого обилия и разнообразия цветов, и на каждом округлом холме видели разбросанные по лужайкам парадные шале или пасущихся овец; и точно так же, глянув вниз, видели мы те же шале, но только за далью они казались игрушечными, а овец за далью и вовсе не разглядишь; и то и дело какой-нибудь альпийский властелин в горностаевой мантии величественно преграждал нам путь, чтобы исчезнуть за ближайшим утесом.

Это была поистине опьяняющая прогулка; прибавьте чувство приятного довольства после сытного обеда и радостное предвкушение тех восторгов, какие обещали нам приближающиеся чудеса Мейрингена, и вы сможете себе представить всю глубину нашего блаженства. Никогда мы не курили с таким упоением, никогда не наслаждались так ездой в мягком удобном экипаже; откинувшись на пухлые подушки, мы погрузились в задумчивость, в неясные грезы, в сладостную нирвану.

Я протер глаза, открыл их и вздрогнул. Мне снилось, будто меня качает в море, и я не поверил своим глазам, когда, проснувшись, увидел вокруг только твердую землю. С трудом приходя в себя, я понемногу осваивался с действительностью. Лошади пили из колоды у коновязи на окраине города, возница угощался пивом, Гаррис похрапывал рядом со мной, курьер, взгромоздясь на козлы и скрестив руки на груди, беспечно клевал носом; человек двадцать пять босоногих белогловых ребятишек, заложив руки за спину, толпились вокруг нас, с серьезным и невинным восторгом разглядывая сомлевших туристов, поджаривающихся на солнце. Иные из маленьких девочек приволокли на ру-

ках откормленных младенцев с себя ростом, и даже эти флегматичные бутузы в ночных колпаках поглядывали на нас с явным интересом.

Мы полтора часа спали сном праведников и проспали все мейрингенские виды! Я понял это и без объяснений. Будь я девицей, я начал бы проклинать все на свете. Но так как я не был девицей, то растолкал своего агента и сделал ему крепкое внушение. И вот, вместо того чтобы осознать свою вину, он стал меня же упрекать в недостатке бдительности. Он сказал, что согласился на поездку в Европу исключительно в надежде расширить свой кругозор, но со мной можно заехать на край света и ничего не увидеть, так как я истинный феномен по части неудачи. Он даже помянул со слезой нашего курьера: бедняга так ничего путного и не увидит по причине моего разгильдяйства. Почувствовав, что с меня хватит этих излияний, я пригрозил Гаррису, что попрошу его вернуться пешком на перевал и настрочить мне исчерпывающий отчет о тамошних красотах природы, — только это заставило его утихомириться.

С унылой душою проехали мы через Брненц, глухие к соблазнам ошеломляющего ассортимента его резных изделий и к настойчивому кукованию его часов-кукушек, и даже прогремев по мосту через бурную синюю реку и въехав в прелестный городок Интерлакен, мы все еще дулись друг на друга. Солнце уже садилось — весь путь от Люцерна мы проделали за десять часов.

Глава III

«Отель Юнгфрау». — Кельнерша-бакенбардистка. — Поворачная из Арканзаса. — Совершенство в дисгармонии. — Полная победа. — Вид из окна. — Несколько слов о Юнгфрау.

Мы заехали в «Отель Юнгфрау», одно из тех грандиозных заведений, какие современное увлечение путешествиями насадило чуть ли не в каждом примечательном уголке Европы. За табльдотом собралось

множество народу, и, как обычно, слышалась речь на всевозможных языках и наречиях.

За столом прислуживали кельнерши, одетые в своеобразный кокетливый наряд швейцарской крестьянки. Сшитый из простенького *гроделена* в мелкую розочку, с корсажем из *сакр-бле-вантр-сен-гри*, он по краям отделан косой бейкой с выпушками из *птиполонеза* и узенькими прошивками и выстрочен ажурной строчкой. В этом наряде любая дочь Евы покажется вам хорошенькой и пикантной.

У одной из кельнерш, особы лет сорока, росли самые настоящие баки, спускавшиеся до половины щек, — темные, густые, в два пальца шириной, каждый волосок длиною в дюйм. На континенте вы часто встретите женщин с весьма заметными усами, но женщину, щеголяющую в бакенбардах, я видел впервые.

После обеда постояльцы и постоялицы отеля высыпали на террасы и в прилегающие к ним пышные цветники подышать свежим воздухом; но как только сумерки сгустились, все перешли в унылое, торжественное и во всех отношениях гнетущее помещение — огромную пустынную «гостиную», без которой не обходится ни один из летних отелей на континенте. Разбившись на группы по двое, по трое, постояльцы переговаривались приглушенными голосами, и вид у них был унылый, потерянный, несчастный.

В гостиной стояло небольшое пианино — натруженный, простуженный, страдающий астмой инструмент, — ничего более убогого я еще не встречал в семействе пианино. Пять-шесть сиротливых, стосковавшихся по родному дому девиц нерешительно подходили к нему одна за другой, но, взяв пробный аккорд, отскакивали с таким видом, будто чем-то подавились. Однако и на этого калеку нашлась охотница, без долгих размышлений взявшая его в работу, — как выяснилось, моя землячка из Арканзаса.

Это была свежеспеченная новобрачная, совсем еще девочка, наивная, простодушная, всецело занятая собой и своим степенным, без памяти влюбленным младенцем-мужем; лет восемнадцати, только что со школьной скамьи, она еще ничего из себя не строила и,

видимо, не замечала чопорной, безучастной толпы вокруг; едва она ударила по клавишам несчастного калеки, все почуяли, что она его доконает. Ее муженек притащил из номера целую охапку истрепанных фолиантов — дамочка оказалась предусмотрительной — и, нежно склонившись над ее стулом, приготовился листать ноты.

Для начала новобрачная прошлась пальцами по всей клавиатуре, отчего у собравшихся отчаянно заломило зубы. И сразу же, не дав никому опомниться, обрушила на слушателей все ужасы «Битвы под Прагой» — этой заслуженной «жестокой» пьесы, — бесстрашно бродя по пояс в крови убитых. На каждые пять нот она честно и милостиво брала средним счетом две фальшивых, а так как вся душа у нее ушла в пальцы, то некому было ее остановить и поправить. Слушатели сначала мужественно терпели, но по мере того как канонада становилась жарче и ожесточенней, а процент диссонансов нарастал, дойдя до четырех из пяти, ряды их дрогнули и началось повальное бегство. Несколько бойцов еще минут десять удерживали позиции, но когда музыкантша, дойдя до стога раненых, постаралась изобразить его как можно натуральнее, они тоже побросали знамена и кинулись бежать.

Итак, полная победа; и только я, в качестве неприкаянного штатского, остался на поле сражения. Я не мог покинуть свою соотечественницу, да по правде говоря, у меня и не было желания бежать. Все мы презираем посредственность и во всем ищем совершенства. Игра этой музыкантши и была своего рода совершенством — такой чудовищной музыки еще никто не слышал на нашей планете.

Заинтересованный, я подсел поближе и слушал, стараясь не упустить ни звука. Когда она кончила, я попросил ее сыграть мне все вторично. Польщенная, она с готовностью исполнила мою просьбу. На этот раз она не взяла уже ни одной правильной ноты. В стоны раненых она вложила столько страсти, что этим как бы открыла новую страницу в изображении человеческих страданий. Она свирепствовала весь вечер. И все это время изгнанные постояльцы, сгрудив-

шлись на обеих террасах и прильнув носами к стеклам, глядели на нас и дивились, но ни один не решался войти. Накопец, насытив свою страсть к музыке, новобрачная удалилась вместе со своим сосунком-супругом, довольная миром и собой, и только после этого туристы отважились вернуться в гостиную.

Удивительно, как за наш век все изменилось в Швейцарии, да и во всей Европе. Лет семьдесят — восемьдесят назад Наполеон был единственным человеком, которого можно было назвать туристом, — он один по-настоящему интересовался туризмом и уделял ему время и внимание, он один предпринимал далекие путешествия, — ныне же кто угодно ездит куда угодно, хоть на край света; и Швейцария и другие места, сто лет тому назад считавшиеся неведомой заповедной далью, ныне каждое лето превращаются в гудящий улей, населенный непоседливыми туристами. Но я уклонился в сторону.

Наутро, выглянув в окно, мы были поражены изумительной картиной. Перед нами через долину и как будто совсем рядом вырисовывались величественные очертания Юнгфрау; холодная и белая, она высоко уходила в ясное небо, выступая из-за холмов на переднем плане, словно из-за приоткрытых ворот. Она мне напомнила исполинский вал, внезапно вырастающий за кормой парохода, красивый величественный вал с белоснежной гривой на макушке и плечах и с грудью, сплошь исчерченной наплывами желтоватой пены.

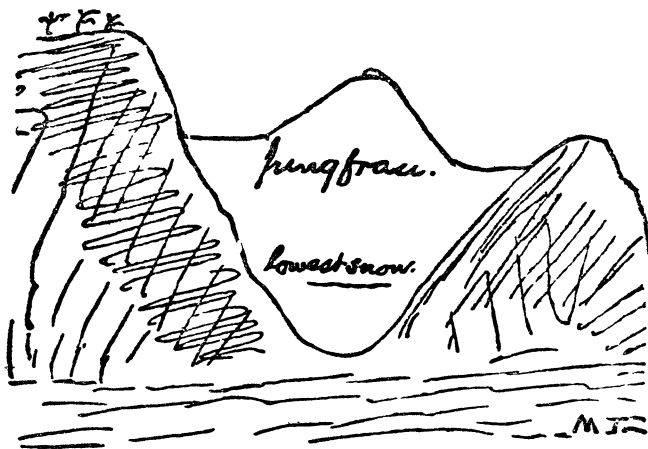
Я достал свой альбом и сделал зарисовку Юнгфрау, просто чтобы запечатлеть ее силуэт.

Я не причисляю этот пустячок к своим законченным работам, вы не найдете его в списке моих признанных Работ, — это всего лишь набросок, я даже не назвал бы его этюдом; правда, мои коллеги художники удостоили его всяческих похвал, но сам я слишком строгий судья своих творений, чтобы им гордиться.

Не верилось, что высокий лесистый холм на переднем плане слева, который кажется много выше Юнгфрау, на самом деле карлик по сравнению с ней. В нем всего две-три тысячи футов высоты, и летом он

лишен, конечно, снежного покрова, тогда как высота Юнгфрау около четырнадцати тысяч футов, и нижняя граница снегов на ней, которая представляется вам чуть ли не на одном уровне с долиной, в действительности лежит на семь тысяч футов выше вершины лесистого холма. Этот обман зрения создается расстоянием. Холм удален от нас на четыре-пять миль, тогда как до Юнгфрау верных восемнадцать — двадцать миль.

Гуляя утром по Торговой улице, я обратил внимание на большую картину, вырезанную вместе с рамой из



цельного куска дерева теплых шоколадных тонов. Есть люди, которые обо всем берутся судить. Один такой всезнайка уверял меня, что лавочники на континенте с англичан и американцев всегда запрашивают лишнее. Другие утверждали, что особенно накладно покупать через курьера, тогда как я был убежден в противном. Увидев картину, я подумал, что она, пожалуй, обойдется дороже, чем готов был бы уплатить мой приятель, для которого я ее предназначал, — но справиться все же не мешало. Я предложил курьеру зайти в лавку и прицениться как бы от себя, — наказав, чтоб он не изъяснялся по-английски и скрыл, что служит у иностранца. После чего я отошел в сторону и стал ждать.

Вскоре курьер вернулся и назвал мне цену. Я подумал: «Да, на сто франков дороже, чем хотелось бы», и оставил мысль о покупке. Но после обеда мы с Гаррисом опять проходили по той же улице, и картина снова поманила меня. Мы зашли в лавку — просто проверить, насколько наш ломаный немецкий поднимет цену. Лавочница спросила ровно на сто франков меньше, чем говорил курьер. Приятный сюрприз! Я сказал, что возьму картину. Записав мой адрес и обещав прислать ее с рассылным, лавочница обратилась ко мне с неожиданной просьбой:

— Только, ради бога, не говорите вашему курьеру, что вы ее купили.

— Откуда вам известно, что у меня есть курьер? — поинтересовался я.

— Очень просто: он сам сказал мне.

— Весьма любезно с его стороны. Но тогда объясните, почему с него вы спросили больше?

— И это проще простого. Ведь вы не потребуете с меня куртажных.

— Ах вот оно что: курьеру вы платите куртажные!

— Разумеется. Курьеру полагаются куртажные. В данном случае они составили бы сто франков.

— Так, значит, торговец не платит своей доли, все издержки несет клиент?

— Бывает, что торговец и курьер улавливаются о цене, превосходящей стоимость товара вдвое или втрое, тогда они делят барыш между собой.

— Понятно. Но и в этом случае все оплачивает клиент?

— Это ясно само собой.

— Но ведь картину купил я сам; почему же это надо скрыть от курьера?

— Ах, боже мой, — взволновалась лавочница. — Да это же отнимет у меня весь мой небольшой заработок. Курьер потребует свои сто франков, и мне придется их платить.

— Ведь не он же покупал. Гоните его прочь.

— Я не смею. Он больше не станет водить ко мне приезжих. Мало того, он сговорится с остальными курьерами, мне объявят бойкот, меня разорят.

Уйдя от нее, я призадумался. Понятно стало, почему курьер мирится с жалованьем в пятьдесят пять долларов плюс дорожные издержки. Месяц или два спустя я догадался также, почему курьер ничего не платит за квартиру и почему мои счета заметно разбухают, когда он со мной, и выглядят сравнительно нормально, когда я дня на два, на три оставляю его где-нибудь одного.

Прояснилось и еще одно загадочное обстоятельство. Как-то в небольшом городишке я пошел в банк за деньгами и прихватил с собой курьера в качестве переводчика. Пока он выполнял все формальности, я просматривал в киоске газеты. Вдруг банковский конторщик самолично жалует ко мне, вручает мне деньги и так галантен, что доводит меня до порога, раскрывает передо мной дверь и провожает учтивыми поклонами, точно я бог весть какая персона. Я был крайне удивлен. А надо сказать, курс доллара за все время моего пребывания в Европе был в мою пользу, и только в одном этом случае, когда конторщик так ласково со мной обошелся, я получил номинальную сумму, проставленную на чеке, хотя в переводе на франки рассчитывал получить куда больше. Это был первый случай, что я взял с собой в банк курьера. У меня тогда же возникло подозрение, и больше я не доверял ему своих банковских операций.

И все же я чувствовал, что готов нести и эту повинность и ни за что не откажусь от курьера, ибо хороший курьер — это преимущество, которого не оценишь на доллары и центы. Путешествие без курьера — это вечная трепка нервов, это неисчерпаемый источник мелких неприятностей, нескончаемая изводящая пытка — особенно для раздражительного человека, который плохо справляется с житейскими трудностями и панически боится мелочных забот.

Без курьера путешествие по самым прекрасным местам не доставит вам ни малейшего удовольствия, тогда как путешествие с курьером — это ничем не омраченный праздник. Курьер всегда у вас под рукой, за ним не нужно посылать; если на ваши звонки долго нет ответа, как оно обычно и бывает, вы только открываете дверь и говорите, а уж курьер услышал, и он

присмотрит, чтобы ваше желание было исполнено, или же устроит всесветный скандал. Вам достаточно сказать, куда и когда вы намерены ехать, а в остальном положитесь на него. Ни расписание поездов, ни стоимость билетов, ни пересадки, ни выбор гостиницы вас уже не волнуют. Курьер в должное время посадит вас на дилижанс или в извозчичью пролетку, погрузит на поезд или пароход, ваш багаж своевременно уложен и отослан куда следует, по вашим счетам уплачено. Пусть другие дорожные люди выходят на полчаса раньше вашего, чтобы в сумасшедшей свалке драться за несуществующие места, — вам незачем торопиться: место вам обеспечено, и вы успеете занять его.

А что творится на станции! Люди давят и топчут друг друга, торопясь всучить весовщику свой багаж; они вступают в горячие объяснения с этим извергом рода человеческого, которому ни до чего и ни до кого дела нет. Но мало получить багажную квитанцию — нужно оплатить и проштемпелевать ее, а там пассажиру предстоит еще одна физическая и нравственная баталия — добраться до кассы и купить билеты; и вот, когда нервы у него превратились в мочалку, он должен томиться в зале ожидания, стоя впрытик в ужасающей тесноте и давке вместе с измученной женой и детьми, нагруженный верхним платьем, чемоданами и узлами, пока двери наконец не откроются, а там толпа в последнем отчаянном порыве устремится к поезду — лишь для того, чтобы убедиться, что он набит до отказа, а там слоняясь по платформе взад-вперед, мучаясь неизвестностью — прицепят новый вагон или нет. Каждый из них к этому времени способен убить человека. Вы же сидите с полным комфортом в купе, покуриваете и лишь со стороны наблюдаете эти страдания.

В поезде кондуктор бдительно оберегает ваш покой, он никого к вам не пустит, ссылаясь на то, что вы оспенный больной и вас нельзя беспокоить. Курьер заранее поладил с поездной прислугой. На полустанке он забежит узнать, не нужна ли вам вода, или газета, или еще что-нибудь; на большой станции приплет вам завтрак в купе, в то время как другие пассажиры

давят друг друга в буфете; если с вашим вагоном что-нибудь стрясется в дороге и его придется отцепить и если начальник станции вздумает посадить вас вместе с вашим агентом в чужое купе, курьер шепнет ему, что вы французский герцог, глухонемой от рождения, и тогда это должностное лицо самолично явится к вам и почтительно, знаками, доложит, что распорядился прицепить для вас особый салон-вагон.

В таможенном дворе люди скупой струйкой просачиваются через рогатку, с сокрушением и возмущением наблюдая за тем, как досмотрщик роется в их чемоданах и переворачивает все вверх дном; вы же передаете ключи курьеру и спокойно ждете. Приехав на место, вы можете угодить в страшный ливень — да так оно часто и бывает. Вся толпа пассажиров еще добрый час возится со своим багажом, сначала отыскивает его, потом переправляет на дилижансе, между тем курьер, не теряя ни минуты, подсаживает вас в экипаж, и по приезде в гостиницу вы узнаете, что номера уже три дня как заказаны, все готово, и вам остается только лечь спать. А ведь иным пассажирам придется колесить по всему городу под проливным дождем и наведаться не в одну гостиницу, прежде чем они устроятся на ночлег.

Я не привел здесь и половины преимуществ, истекающих из наличия хорошего курьера, и все же, думается, я привел их достаточно, чтобы показать, что раздражительный человек, который может позволить себе это удовольствие и все же от него отказывается, наводит неразумную экономию. Такого никудышного курьера, как у меня, трудно было сыскать во всей Европе, и все же с ним было легче, чем без него. Да и не стоило ему быть хорошим курьером, ведь я не поручил ему свои покупки. А по тому жалованью, какое я платил, он был достаточно хорош. Да что там говорить, путешествовать с курьером — блаженство, путешествовать без курьера — нечто прямо противоположное.

Мне не везло на курьеров; и все же попался мне один, которого по справедливости можно назвать мастером своего дела. Это был молодой поляк Джозеф Н.

Верей. Он знал восемь языков и всеми будто бы владел в совершенстве; человек с головой, распорядительный, проворный и пунктуальный, он был находчив, никогда не терялся, знал все лазейки и секреты своего ремесла и все умел делать лучше и быстрее других; с детьми и больными он был просто незамесим; от нанимателя требовалось только одно — передоверить ему все хлопоты и ни о чем не тревожиться. Его адрес: «Контора Гэй и сын» на Стрэнде в Лондоне; когда-то он работал в этой фирме проводником при туристских экскурсиях. Хорошие курьеры — редкость, а потому, если читателю в скором времени предстоит путешествие, пусть заметит себе этот адресок.

Глава IV

Гисбахский водопад. — Чем он привлекает туристов — Курзал. — Из Интерлакена в Церматт пешком. — Мы нанимаем кабриолет. — Кандерштегская долина. — На перегонки с бревном.

В окрестностях Интерлакена, по ту сторону Бриенцского озера, находится великолепный Гисбахский водопад; ночью он освещен, как в театре, феерическими огнями, и есть у этих огней свое название, а какое — я сейчас не припомню. Говорят — это зрелище, которое должен увидеть каждый турист. У меня был, конечно, соблазн посмотреть его, но попасть туда можно только на катере, а поехать на катере я считал для себя невозможным. Я задался целью пройти Европу пешком, а не обрыскать ее на катере. Я заключил с собой молчаливый договор и должен был твердо его держаться. Увеселительные прогулки на катере я еще разрешал себе, но дело делать обязан был пешком.

Не без тайного вздоха решился я на эту потерю, но с честью перенес разочарование, и победа еще больше возвысила меня в моих глазах. К тому же ничто не могло превзойти красотой и величием то зрелище, которое я видел перед собой. Могучий купол Юнгфрау мягко вырисовывался в небе, облитый серебря-

ным сиянием звезд. В этом безмолвном, торжественном и грозном величии было что-то, навевающее благоговейные чувства. То была как бы встреча с глазу на глаз с неизменной и нерушимой вечностью, — тем острее ощущали вы легковесность и ничтожность собственного существования. Возникало чувство, будто за вами следит некий задумчивый глаз — не застывшая в неподвижности громада скал и льда, но дух, глядящий с высоты через медленный бег веков на миллионы исчезнувших племен и поколений и творящий над ними суд; дух, что и впредь станет творить суд над миллионами и пребудет вечно, неизменяемый и неизменный, когда всякая жизнь исчезнет бесследно и земля обратится в пустыню.

Во власти этих чувств я, сам того не замечая и словно блуждая в потемках, старался постичь тайну очарования, которое влечет людей к Альпам больше, чем к другим горам на свете, — тайну некоей странной, таинственной, неизреченной силы; раз испытал ее действие, вы уже ее не забудете; раз испытал ее действие, всегда будете ощущать в душе голод, неутолимое томление, подобное тоске по родине; и эта тоска будет терзать, и преследовать вас, и звать, пока не дозовется. Я встречал десятки людей — с воображением и без воображения, образованных и необразованных, приезжавших сюда из года в год и бесцельно бродивших по Швейцарским Альпам, не отдавая себе отчета в том, что их сюда привело. Сперва, говорили они, это было праздное любопытство — все кругом толковали об Альпах; но теперь они приезжают сюда ежегодно, потому что не могут иначе, и по той же причине обречены ездить сюда всю жизнь. Не однажды пытались они разбить эти оковы, устоять, — но тщетно; а сейчас им уже не хочется их разбивать. Другие более ясно определяют свои чувства: по их словам, ничто не вселяет в них такого спокойствия и мира, как пребывание в Альпах; все их огорчения, заботы и обиды умолкают здесь, перед благодатной ясностью Альп. Великий Дух Гор овеивает своим дыханием их мятущиеся души и замученные сердца, принося им исцеление; все низменные

чувства и грязные помыслы оставляют их перед зримым престолом творца.

Дорога вела вниз, к курзалу, что бы ни значило это слово, — и мы устремились вслед за людским потоком — посмотреть, какие развлечения нас там ждут. То был обычный концерт под открытым небом в разукрашенном парке, куда вам приносили вино, пиво, молоко, виноград, сыворотку и т. д. Для некоторых больных, от которых уже отказались врачи и медицина, сыворотка и виноград представляют единственное лечение, они только и держатся, что на сыворотке и винограде. Один из этих живых покойников рассказал мне печальным и безжизненным голосом, что сыворотка — его единственное прибежище, он ничего не пьет, кроме сыворотки, и обожает, обожает сыворотку, хотя его от сыворотки уже с души воротит. На этой шутке он испустил свой последний вздох — такова оказалась целебная сила сыворотки.

Другие мощи, спасающиеся от разложения виноградной диетой, поведали мне, что виноград здесь совсем особенный, лечебный, и что виноградный доктор прописывает и отсчитывает его больным, будто это пилюли. Пациенты особенно слабого здоровья начинают с такой дозы: одна ягодка перед завтраком, три за завтраком, две между завтраком и полдником, три до обеда, семь за обедом, четыре за ужином и половина ягодки на сон грядущий, для повышения тонуса. Эта доза регулярно и постепенно увеличивается в зависимости от состояния больного — каждому по его потребностям и возможностям, — и со временем вы можете увидеть, как пациент принимает по одной виноградинке ежесекундно, а всего — по бочке в день.

Тот же больной рассказал мне, что люди, излечившиеся по этой системе и развязавшиеся с диетой, навсегда сохраняют привычку разговаривать так, будто они диктуют что-то мешкотному секретарю: после каждого слова они останавливаются, чтобы высосать сок воображаемой виноградины. Говорить с этими людьми — тоска смертная. Он также рассказал мне, что людей, излечившихся по сывороточной системе, столь же легко отличить от других представителей рода челове-

ческого по их манере откидывать голову после каждого слова, чтобы хлебнуть воображаемой сыворотки. По его словам, стоит понаблюдать беседу двух бывших больных, исцеленных двумя описанными диетами: их поминутные паузы и сопроводительные движения так методичны и равномерны, что человек неподготовленный рискует принять таких собеседников за пару автоматов. Путешествуя, можно увидеть много замечательного, надо только, чтобы везло на встречи.

Я не стал долго прохлаждаться в курзале; музыка, хоть и недурная, показалась мне пресной после грозов и молний виртуозки из Арканзаса. К тому же в идей предприимчивой душе родилась новая дерзновенная идея: ни больше и ни меньше как пройти из Интерлакена в Церматт через Гемми и Висп — и непременно пешком. Надо было еще обдумать детали и подготовиться к своевременному выступлению. Курьер (не тот, о ком шла речь раньше, а другой) предложил расспросить о дороге нашего портье. Это было разумное предложение. Портье взял рельефную карту и показал нам весь предстоящий маршрут со всеми его высотами и низинами, с деревьями и реками так ясно, как если бы мы проплывали над ними на воздушном шаре. Превосходная штука, эта рельефная карта! Портье даже записал для нас на листке бумаги все наши дневные переходы и названия гостиниц, где придется заночевать, и объяснил все так наглядно, что заблудиться мы могли разве только при высоко оплачиваемой посторонней помощи.

Я препоручил курьера джентльмену, уезжавшему в Лозанну, и мы легли спать, разложив свои альпинистские доспехи в таком порядке, чтобы сразу же забраться в них по пробуждении.

Однако, когда мы в восемь утра спустились в столовую, погода хмурилась, предвещая дождь. Недолго думая, я нанял пароконную коляску на первую треть путешествия. Два-три часа мы тряслись по ровной дороге, огибающей красивое Тунское озеро; перед нами, словно в смутном сне, тянулась неоглядная водная даль, а впереди маячили призрачные Альпы, одетые мгlistым туманом. Потом зарядил сильный дождь и

заслонил все, кроме ближайших предметов. Мы укрылись кожаным фартуком коляски и спрятались под зонтиками, между тем как наш возница, ничем не прикрытый, сидел на козлах под проливным дождем, вбирая в себя всю мокреть, и только встряхивался; ему это как будто даже нравилось. Сегодня дорога всецело принадлежала нам, и я наслаждался путешествием как никогда.

Пока мы поднимались Кинтальской долиной, разъяснилось, а вскоре рассеялась и тяжелая гряда туч, скрывавшая от нас горизонт, и из-за нее, точно из-за дымчатой портьеры, выступили величественные очертания и уходящая в облака вершина Блюмиса. Мы так и ахнули. Нам в голову не приходило, что за низким траурным пологом скрывается нечто столь неожиданное. Оказывается, то, что мы принимали за мгновенные проблески неба, были бледные снега на гребне Блюмиса, просвечивавшие сквозь клубящуюся пелену тумана.

Пообедали мы в Фрутигенской харчевне, и наш возница тоже мог бы там пообедать, но, рассудив, что с едой и выпивкой ему в столь короткий срок не управиться, он решил основательно заложить за галстук и полностью в том преуспел.

В харчевне закусывали пожилой немец с двумя дочерьми — девицами на выданье; они уезжали как раз перед нами, и видно было, что их возница тоже как следует зарядился и пребывает в таком же приподнятом и благодушном настроении, как и наш, а этим многое сказано. Оба канала были преполнены братской любви друг к другу и отменной любезности к своим седокам, которых они осыпали знаками внимания и полезной информацией. Они привязали вожжи к сидению и сбросили шляпы и плащи, чтоб без помехи обмениваться дружескими излияниями и сопровождать их соответственной жестикულიцией.

Дорога была узкая и ровная, она бежала вверх и вниз по холмам, тянувшимся в ряд, лошади к ней приобыкли, да здесь и некуда было свернуть, — так почему же возницам не воспользоваться случаем и не позабавить седоков и друг дружку? Морды наших

лошадей приветливо просовывались через задок передней коляски, и пока они с натугой тянули в гору, наш возница, встав, занимал разговорами своего коллегу, а коллега, тоже стоя и обратившись спиной к пейзажу, отвечал ему. Перевалив через вершину, мы более живым аллюром поехали вниз. Однако программа не изменилась. Я и сейчас вижу эту картину: передний возница забрался с коленями на высокие козлы, оперся локтями на их спинку и отечески улыбается седокам или, потряхивая растрепанной шевелюрой, сияя веселыми глазами и задорным румянцем, сует старому немцу свою карточку и превозносит до небес свою упряжку и свой экипаж, между тем как обе коляски мчатся во всю прыть под уклон, и одному богу известно, чем это кончится для нас — гибелью или незаслуженным спасением.

К заходу солнца достигли мы прелестной зеленой долины, испещренной точками шале; этот уединенный уголок представляет собой самостоятельное крошечное царство, монастырскую обитель, защищенную отвесными стенами горных круч, снеговые вершины которых, разбросанные в пенном прибое тумана, кажутся отрезанными от дольного мира. С далеких, курящихся паром высот ползут, петляя, молочно-белые ручейки, с трудом прокладывая себе дорогу к краю огромной нависшей стены, чтобы, прыгнув вниз серебряным лучом, рассыпаться на мельчайшие атомы и обратиться в клубы светящейся пыли. Здесь и там в снежной пустыне этой высокогорной области поблескивают в своих ложах края ледников, выделяясь морской синезеленой окраской и напоминая своим губчатым строением соты из льда.

Выше по долине, под головокружительным обрывом, примостилась деревушка Кандерштег, где мы намеревались заночевать. Мы обрели кров в рекомендованной нам гостинице. Однако прелесть угасающего дня выманила нас наружу, мы тут же вышли и, следуя течению грохочущего ледяного потока, взобрались к его далекому месторождению — своего рода крохотной гостиной, устланной зеленым ковром, которой служили стенами отвесные обрывы, огражденные часто-

колом обледенелых вершин. Это была самая идеальная крокетная площадка, какую только можно пожелать, совершенно ровная — миля в длину, полмили в ширину. Стены ее были столь громадны и все вокруг взято в таком большом масштабе, что сама она по контрасту казалась совсем маленькой, — вот я и сравнил ее с уютненькой гостиной, устланной ковром. Это место приходилось так высоко над Кандерштегом, что между ним и снеговыми вершинами уже ничего не было. Мне еще не приходилось бывать в таком близком соседстве с недосыгаемыми высотами. Снежные пики всегда отпугивали меня своим надменным величием, теперь же мы были с ними на самой короткой ноге, — если позволительно употребить столь фамильярное выражение по отношению к такому царственному величию.

Здесь увидели мы ручейки, питающие поток, приведший нас сюда, они вытекали из-под закраин зеленоватых ледников; два-три ручейка, вместо того чтобы ринуться в пропасть, исчезали в расселинах скал, а потом били сильными струями из отверстий на полдороге вниз.

Описанный выше зеленый уголок носит название Гастернталь. Ледниковые талые воды сливаются здесь в бурливый поток, который дальше встречает на своем пути узкую теснину между двух обрывов и становится здесь яростным ручьем, который с громом и ревом мчится к Кандерштегу, плеща и перекатываясь через исполинские валуны и расшвыривая, точно соломинки, случайно попавшие в него бревна и коряги. Повсюду бьют из гор пенистые каскады. Тропа, выющаяся вдоль ручья, так узка, что нужно быть начеку и, заслышав вдали коровьи колокольцы, искать глазами места пошире, где могли бы разминуться корова и честный христианин, — а тут не слишком богато по части таких мест. Здешние коровы носят на шее церковные колокола, и это очень разумно, так как рядом с говорливым ручьем обыкновенный колокольчик слышен на такое же расстояние, как тиканье часов.

Мне нужно было поразмяться, поэтому я предложил своему агенту сталкивать в быстрину бревна и

засохшие деревья, прибитые к берегу течением, а сам уселся на валуне и наблюдал, как их крутит и переворачивает вверх тормашками и уносит вниз кипящим потоком. Это было необыкновенно увлекательное зрелище. Когда же я достаточно поразмялся, я подал моему агенту мысль тоже заняться гимнастикой, а для этого побегать вперегонки с таким бревном. Я даже поставил на бревно какую-то безделицу, и не прогадал.

После обеда мы бродили в мягких сумерках Кандерштегской долины, радуясь игре последних лучей умирающего дня на гребнях и шпилях окрестных вершин — как контрасту с торжественным спокойствием в горном мире и как благодарной темой для разговора. Все дневные звуки умолкли, слышались только приглушенные жалобы ручья да случайное позвякивание отдаленных коровьих колокольцев. Здесь царил глубокий, всеохватывающий покой; здесь можно было растратить в грезах всю свою жизнь и не заметить, не почувствовать этой утраты.

Вместе с солнцем ушло лето, а вместе со звездами завернула зима. В маленьком отельчике, притулившимся к высокой горе, по всей видимости безголовой, было зверски холодно, но мы тепло укрылись и встали во благовремении, для того чтобы узнать, что все приезжие уже три часа как двинулись к Гемми и что, стало быть, наше доброе намерение быть полезными немецкому семейству (главным образом, конечно, старику) при переходе через перевал пропало втуне.

Глава V

Старый проводник. — Опасное жилье. — Горные цветы. — Горные свиньи. — Несостоявшееся приключение — Восхождение на Монте-Розу. — Среди снегов. — Штурм вершины.

Мы наняли единственного оставшегося на нашу долю проводника, чтобы пойти с ним в горы. Ему было за семьдесят, но он мог бы отдать мне девять десятых своей бодрости и силы — и остатка ему вполне хватило

бы доживать свой век. Он взвалил на себя наши сумки, пальто и альпенштоки, и мы начали подниматься по узкой тропе. Дело предстояло жаркое, и вскоре он попросил у нас наши сюртуки и жилеты, — мы отдали их, мы не решились бы отказать почтенному человеку в этой просьбе, даже если б ему было сто пятьдесят лет.

Начиная подъем, мы увидели ясно выделявшееся в небе микроскопическое шале, прилепившееся к самой, казалось, высокой из окружающих вершин. Гора приходилась слева от нас, по ту сторону узкого входа в долину. Но когда мы поравнялись с домиком, вокруг нас уже вздымались горы куда более высокие, и мы поняли, что шале стоит не выше крохотного Гастерт-таля, где мы побывали накануне вечером. И все же в своем одиночестве среди диких каменных громад оно казалось вознесенным на огромную высоту. Перед ним лежала ничем не огороженная лужайка величиной, как нам казалось, с бильярдный стол, так сильно наклоненная вниз и так быстро приводившая к обрыву, что страшно было представить себе человека, ступившего на нее ногой. А вдруг хозяин домика, выйдя во двор, поскользнется на апельсинной корке, ведь тут не за что ухватиться, не за что зацепиться — он так и покажется кубарем: пять оборотов — и только его и видели! А какое огромное расстояние предстоит ему падать, ведь редкая птица долетит до места его старта. И сколько раз его зацепит и тряхнет по пути уже без всякой для него пользы. Выйти подышать воздухом в такой дворик — все равно что прогуляться по радуге. И я уж скорее предпочел бы радугу — ведь падать примерно столько же, так уж лучше съехать вниз по дуге, чем все время подсакивать и расшибаться. Я не мог понять, как живущие там крестьяне взбираются на эту крутизну — разве что с помощью воздушного шара.

Поднимаясь вверх, видели мы все новые и новые пики, все более мощные и величавые, — раньше их заслоняли от нас ближайшие вершины. Стоя перед группой таких великанов, мы оглянулись на маленькое шале: так вот оно где — далеко внизу, на небольшой

гряде, окаймляющей долину! Теперь оно стояло настолько ниже, насколько было выше нас, когда мы начинали восхождение.

Спустя некоторое время тропа привела к решетке, нависшей над пропастью, мы перегнулись через нее и увидели глубоко внизу свою уютную гостиную — крохотный Гастернталь с его родничками, бьющими под сильным напором из гладкой стены. Так, каждый раз открывали мы для себя новую вершину мира лишь для того, чтобы убедиться, к своему разочарованию, что из-за нее выступает, крадучись, другая, еще более высокая вершина. Глядя вниз на Гастернталь, мы готовы были верить, что достигли высшей точки, — но нет, нас ждали впереди горы еще более гигантские. Мы все еще не миновали лесную зону, все еще зеленели кругом подушки густого мха и мерцали многоцветными огнями бесчисленные цветы.

Больше всего, пожалуй, привлекали нас цветы. Когда встречались цветы неизвестных нам видов, мы срывали по два-три цветка — и набрали богатейшие букеты. Но особенно правилось нам по знакомым растениям и ягодам наблюдать смену времен года. Так, например, на уровне моря стоял конец августа; в Кандерштегской долине, там, где начинается подъем к перевалу, попадались цветы, которые на уровне моря должны распуститься лишь через две-три недели; а выше вступили мы в октябрь и здесь собирали бахромчатую горечавку. Я не вел записи и позабыл подробности, но составление цветочного календаря доставило нам в тот день немало радости.

На высокогорных лугах мы нашли в изобилии пышные пурпурные цветы — так называемую альпийскую розу, но нигде не попадался нам неказистый фаворит Швейцарских Альп — эдельвейс. Эдельвейс значит — благородный и белый. Может быть, он и благородный, но ни красивым, ни белым его не назовешь. Ворсистые лепестки эдельвейса напоминают цветом пепел плохой сигары, а фактуру — дешевый плюш. Правда, у него благородная и аристократическая манера держаться больших высот, но это скорее объясняется его непривлекательной наружностью; да эдельвейс, кстати, и не

монополист высокогорья — сюда частенько вторгаются семейства красивейших цветов долины. У каждого встречного в Альпах красуется на шляпе эдельвейс. Он любимец как туземцев, так и туристов.

Все утро, пока мы беспечно поднимались вверх и развлекались как могли, нас обгоняли пешеходы, шагавшие крупно и решительно, с сосредоточенным видом людей, заключивших пари. Это были джентльмены, щеголявшие обычно в широких штанах до колен, длинных чулках домашней вязки и подбитых гвоздями высоких шнурованных башмаках. Вернувшись домой в Англию или Германию, они станут рассказывать, на сколько миль им удалось обскákat путеvodитель. Однако мне кажется, что прогулка не давала им полной радости, не считая, конечно, того огромного наслаждения, какое доставляет ходьба по зеленым долинам, по холмам, где гуляет ветер; обычно они поднимались в угрюмом одиночестве, — а ведь и самый красивый ландшафт много теряет, если восторги путника остаются неразделенными.

Все утро мимо нас по тесной тропе тянулась двойная шеренга туристов верхом на мулах — одна туда, другая — обратно. Мы с Гаррисом, не щадя себя, упражнялись в немецком обычае учтиво приветствовать каждого встречного, снимая перед ним шляпу, — и неуклонно следовали этому правилу, хотя нам чуть ли не все время приходилось нести шляпу в руке и хотя наша учтивость часто не находила отклика. И все же эта процедура была не бесполезна, так как помогала нам выделять среди других — англичан и американцев. Все жители континента, разумеется, отвечали на наши поклоны, как, впрочем, и некоторые англичане и американцы, но, как общее правило, обе эти нации не удостоаивали нас вниманием. Когда мужчины и женщины с гордым видом проходили мимо, мы знали, что можем смело обратиться к ним на своем родном языке и на том же языке получить у них нужную справку. Американцы и англичане не менее учтивы, нежели другие нации, они лишь более сдержанны — результат привычки и воспитания. В местности пустынной и каменистой, высоко над зоной раститель-

жости, встретили мы караван в двадцать пять молодых людей верхом на мулах, сплошь американцев. Эти юноши, разумеется, не скупилась на ответные поклоны: они были еще так молоды, что без труда перенимали чужеземные нравы и обычаи.

Где-то на самой кромке этой пустыни, под защитой голых неприступных утесов, скрывавших в своих расщелинах сугробы вечного снега, росла чахлая, унылая трава и в нескольких лачугах ютились человек и семейство свиней. По-видимому, этот участок мог еще сойти за «собственность»; у него имелась, конечно, своя денежная стоимость, и он, несомненно, был обложен налогом. Я подумал, что здесь проходит последняя в мире граница недвижимого имущества. Попробуйте оценить денежную стоимость какого-нибудь участка, лежащего между этим местом и дальнейшими пустынными пространствами! Хозяин свиней мог по справедливости считать, что ему принадлежит честь владеть концом света, ибо если возможен некий определенный конец света, то он, конечно, нашел его.

Отсюда мы шли вперед безрадостным царством буранов. Повсюду вздымались каменные громады, валы и бастионы голых, бесплодных скал, нигде ни намек хотя бы на подобие растения, дерева или цветка — ни проблеска жизни. Морозы и бури неисчислимых столетий секли и долбили эти скалы, с неиссякающей энергией разрушая их, так что понизу вся эта местность представляет собой хаотическое нагромождение огромных обломков и осколков, сброшенных наземь. Грязные сугробы векового снега теснили нашу тропу с обеих сторон. Мертвое запустение этих мест было столь полным, как если бы оно осуществлялось по рабочим чертежам Доре. Но то и дело в просвете ворот и арок вдруг возникал обшитый сверкающим льдом собор, вознося свое белоснежное величие с такой мощью и таким величием, что по сравнению с ним наши соборы казались приземистыми плебеями, — и это зрелище захватывало нас, и мы забывали что где-то в мире существует что-то некрасивое.

Я сказал, что эти места являли только смерть и запустение, но сейчас я вспомнил: в самом унылом, заброшенном и бесплодном уголке, где каменная крошка и осыпь лежали особенно густо, где вековые сугробы снега подступали вплотную к тропе, где ветры ярились особенно беспощадно и все кругом имело особенно печальный и суровый вид и говорило о полной безрадостности и безнадежности, попалась мне одинокая крошечная незабудка — она цвела вовсю, без тени уныния в осанке, поднимая вверх свою яркую голубую звездочку со всей отвагой и прелестью победительницы, — единственная счастливая душа, единственное смеющееся существо во всей безутешной пустыне. Кажалось, она говорила: «Не будем падать духом! Пока мы здесь, давайте радоваться жизни!» Я решил, что незабудка заработала право жить в более приветливых условиях; и я сорвал ее и отослал в Америку — другу, который сумеет оценить перенесенную ею борьбу, борьбу без малейшей поддержки, когда, надеясь единственно на себя, она сумела победить это бескрайнее альпийское одиночество и безутешность, вырваться из плена уныния и скорби о том, что изменить невозможно, приободриться и хоть на миг узреть более светлые стороны бытия.

В полдень остановились мы на привал в маленькой, но крепко сколоченной харчевне под названием «Шваренбах». Она стоит на одинокой площадке среди снежных пиков, и тучи, проплывая, постоянно задевают ее своей бахромой, и что ни день поливает ее дождь, заносит снег, сечет ледяная крупа и яростный ветер. Это единственное жилье на перевале Гемми.

Здесь нас едва не увлекло приключение в чисто альпийском духе. Неподалеку от харчевни высились Большие Альтели, окуная в небо свои снежные султаны и как будто приглашая нас отважиться на восхождение. Я тотчас же зажегся этой мыслью и решил раздобыть проводников, веревки и все, что полагается для того, чтобы совершить этот подвиг. Гаррису я велел отправиться к хозяину харчевни и договориться с ним о нашем снаряжении. Сам же я тем временем засел за книги, чтобы составить себе хотя бы некоторое поня-

тие о том, что представляет собой пресловутое лазание по горам и как за него взяться, ибо в этой области я был еще полным профаном. Открыв книгу мистера Хинчклифа «Летние месяцы в Альпах» (год издания 1857), я углубился в его отчет о восхождении на Монте-Розу. Он начинался словами:

«При мысли о предстоящей нам завтра великой экспедиции мною овладело радостное возбуждение, и я долго не мог успокоиться...»

Прочтя это место, я спохватился, что сам я чересчур спокоен, и несколько раз прошелся по комнате, чтобы привести себя в надлежащее настроение; но уже следующее замечание автора, что экспедиции предстояло выступить в два часа ночи, значительно остудило мой восторг. Однако я снова подстегнул свой энтузиазм и стал читать о том, как мистер Хинчклиф оделся при свете свечи и вскоре «оказался внизу, среди проводников, сновавших по коридору и занятых укладкой провианта и другими приготовлениями», и как он, устремив глаза в холодную ясную ночь, увидел, что —

«Небо было усеяно звездами, которые здесь казались больше и ярче, чем они представляются нам сквозь атмосферу, которой дышат обитатели земли в более низких зонах. Они были подобны светильникам, подвешенным к темному небосводу, и их нежное мерцание пролиvalo фантастический свет на снежные поля у подножья Маттерхорна, упирающегося макушкой в Большую Медведицу и увенчанного диадемой ее сверкающих звезд. Ни один звук не нарушал торжественного молчания ночи, за исключением отдаленного рокота стремительных ручьев, которые низвергаются с высокого плато ледника св. Теодула, падают с отвесных скал и теряются в лабиринте трещин, бороздящих Горнёрский ледник».

Он откусал кофе с гренками, и в половине третьего ночи караван выступил из Рифельской гостиницы и начал подниматься по крутой тропе. В половине пятого мистер Хинчклиф случайно обернулся и перед ним открылся «великолепный вид на Маттерхорн: розово-перстая заря уже коснулась его, и он пылал, подобный огромной пирамиде огня, встающей из бесплодного

океана скал и льда». А там и Брейтхорн и Дан-Бланш подернулись румянцем; но «массив Монте-Розы закрывал от нас солнце, и нам предстояли еще долгие часы восхождения, прежде чем мы увидим его, хотя в воздухе уже чувствовалось теплое дыхание новорожденного дня».

Мистер Хинчклиф, точно зачарованный, смотрел на заоблачный купол Монте-Розы и на бескрайние снежные пустыни, охранявшие ее крутые подступы; но тут главный проводник подошел к нему и сказал, что, по его глубокому убеждению, ни одному человеку не взять этой вершины и не ступить на нее ногой. Тем не менее отважные альпинисты продолжали двигаться вперед.

Медленно взбирались они выше и выше; миновали Большое плато; долго карабкались вверх по крутому плечу горы, прилипая, точно мухи, к его изрытой поверхности, и вскоре очутились перед отвесной стеной, откуда, по-видимому, часто срывались вниз огромные глыбы льда и снега. Тогда они двинулись в обход и вскоре наткнулись на «лабиринт расселин и трещин в снежном покрове», снова свернули и «полезли вверх по высокому склону, настолько крутому, что приходилось двигаться зигзагами, чтобы облегчить себе подъем».

Усталость вынуждала их то и дело останавливаться минуты на две. Во время одной из таких передышек кто-то крикнул: «Глядите, Монблан!» — и «только тут мы поняли, на какую вышину успели забраться, ибо перед нами был властелин Альп, окруженный своими сателлитами, а видели мы его из-за Брейтхорна, который сам насчитывает четырнадцать тысяч футов высоты!»

Участники экспедиции двигались пешком, связанные толстой веревкой на одинаковом расстоянии друг от друга; если кому-нибудь случалось поскользнуться на этой головокружительной высоте, остальные, опираясь на свои альпенштоки, могли удержать его от верного падения на глубину в несколько тысяч футов. Но вот они подошли к оледенелому гребню, идущему вверх под острым углом; по одну его сторону лежала

пропасть. Чтобы подняться на гребень, передовому приходилось вырубать во льду ступеньки, и едва он отрывал ногу от еле заметной ямки, как на его место становился следующий.

«Медленно и упорно двигались мы вперед по опасной крутизне, и для многих из нас было счастьем, что ноги требовали всего нашего внимания, ибо слева от нас свисал пологий ледяной карниз, с которого оступившийся неминуемо должен был сорваться, если только его не спасут совместные усилия товарищей, а справа мы могли бы бросать камешки в зияющую пропасть, прямо на огромный ледник внизу.

Итак, необходима была величайшая осторожность, а между тем в этом опасном положении мы подверглись атаке грозного врага альпинистов — сурового северного ветра. Ветер засыпал нас тучами снежной пыли, забивавшейся во все складки одежды; он высоко взметал в воздух ледяные осколки, вылетавшие из-под ледоруба Петера, и швырял их в бездну. С нами он грозил поступить так же безжалостно, и при особенно сильных порывах мы втыкали свои альпенштоки в лед и налегали на них всем телом».

Одолев кое-как опасный склон, путники сели отдохнуть прислонясь к скале и свесив ноги над бездонной пропастью. Потом они начали подъем к подножью другого гребня, еще более опасного и неприступного.

«Это был совсем узкий гребень с почти отвесными склонами, а главное, покрывавший его ледяной панцирь местами принимал форму остро отточенного ножа; на такие участки, хоть они тянулись только шага на три-четыре, страшно было смотреть, — но, подобно мечу, ведущему истинно верующего к вратам рая, они вели к желанной цели, и их нельзя было миновать. В двух-трех местах гребень так сужался, что ступня с обращенным наружу — для устойчивости — носком наполовину повисала над пропастью, а пятка упиралась в ледяной выступ, чуть более скошенный, чем скала. В этих случаях мы с Петером брались за руки, он отступал от меня на расстояние вытянутых до отказа рук и, найдя более или менее твердую опору для ног в двух и более шагах от меня, откуда уже

можно было одним прыжком перебраться на скалу, приглашал меня последовать за ним; а тогда и я отваживался на два осторожных шага и уже на третьем встречал его протянутую руку, готовую меня поддержать. То же самое повторяли за нами другие участники экспедиции. Как-то я поскользнулся правой ногой в сторону пропасти, но, падая, зацепился локтем за ледяной выступ; оглянувшись назад, я успел стать ногой на верхушку утеса в крикетный мяч величиной, торчавшую из льда на краю пропасти. Зацепившись таким образом в двух местах, я, может быть, и сам бы справился, но мне пришлось бы пережить несколько неприятных минут. К счастью, Петер был рядом, он дернул веревку и мгновенно поставил меня на ноги. Веревка при таких восхождениях оказывает неоценимую помощь!»

И вот наконец вся партия собралась у подножия большого бугра, или купола, одетого льдом и припорошенного снегом, — то была макушка горы, последний клочок земной тверди между восходителями и пустыней небосвода. Снова заработали ледорубы, и люди, подобно причудливым насекомым, стали карабкаться вверх, ввинчивая каблук в ничто, в воздух, в пар, лишь кое-где подбитый обрывками и клочками облаков, проплывающих ленивой чередой где-то там, внизу. Вдруг один из восходящих потерял упор под носком и упал! Он болтался в воздухе на конце веревки, как паук на паутине, пока товарищи не втащили его наверх.

Несколько минут спустя весь отряд построился на крошечной площадке, на самой вершине, и под яростным напором ветра глядел вниз — на зеленые просторы Италии и безбрежный океан вздыбленных Альп.

Когда я дочитал до этого места, ко мне в номер вошел Гаррис и с благородным энтузиазмом доложил, что веревки и проводники обеспечены и дело теперь за мной. На что я сказал ему, что решил пока что воздержаться от подъема на Альтели. Восхождение на Альпы, пояснил я ему, несколько отличается от того, как я себе его представлял, а потому, прежде чем приступить к нему, я считаю нужным подробнее с ним

познакомиться. Однако я попросил Гарриса не отпустить проводников, а предложить им последовать за нами в Церматт, так как они мне там понадобятся. Я сказал ему, что на меня сошел дух приключений и, кажется, я на верном пути к тому, чтобы сделаться ярым альпинистом. И я сказал ему, что и недели не пройдет, как мы с ним совершим такой подвиг, что у людей более робкого нрава волосы встанут дыбом.

Мои слова чрезвычайно обрадовали Гарриса и загорили в нем честолюбивую мечту. Он тут же побежал сказать проводникам, чтобы они последовали за нами в Церматт, захватив с собой все свое снаряжение.

Глава VI

Новое увлечение. — Озеро Даубензее. — Мы слоняемся по горам. — Поиски шляпы. — «Отель дез Альп» — Лейкские воды. — Стена Гемми. — Знаменитая «Стремьянка». — Нам подменяют одежду.

Что может быть лучше и драгоценнее, чем новое увлечение! Как оно захватывает человека! Как волнует, как обуревают душу! Я вышел из харчевни «Шваренбах» новым, в корне изменившимся человеком! Меня окружал новый мир, я смотрел на все новыми глазами. До сей поры, глядя вверх на исполинские снеговые горы, я благоговел перед их величием и грандиозностью, перед невыразимой грацией их очертаний; теперь, взирая на них, я видел твердь, которые должно взять приступом, завоевать. Мое восхищение их величием и благородной красотой несколько не уменьшилось, напротив — к старому увлечению прибавилось новое. Меря глазами пядь за пядью их крутые склоны, я прикидывал возможность — или невозможность — измерить их шагами. Завидев сверкающий ледяной шлем, пробившийся за облака, я представлял себе цепочку черных точек, упорно ползущих вверх и соединенных между собой тончайшей нитью.

Мы обогнули одинокое озерце по названию Давбензее и вскоре увидели невдалеке, по правую руку,

ледник, подобный величественной реке, замерзшей в движении и перегороженной в устье отвесной стеной. Мне еще не приходилось видеть ледник так близко.

Вскоре набрали мы на новенькую дощатую стойку и на кучку людей, строивших каменное здание: значит, у «Шваренбаха» будет недолге конкурент. Здесь мы купили бутылку-другую пива, — во всяком случае, мне это называли пивом, но я понял по цене, что это раствор драгоценных камней, а по вкусу понял, что раствор драгоценных камней для питья не пригоден.

Мы находились в угрюмой, дикой местности. Но вот перед нами что-то вроде трамплина, вознесенного над обрывом. Мы подошли и ахнули, пораженные контрастом: перед нами простиралась сказочно-волшебная страна. На глубине двух-трех тысяч футов раскинулась ярко-зеленая равнина с прелестным городком и серебряной лентой реки, извивающейся среди лугов; этот райский уголок обступили со всех сторон гигантские кручи, одетые сосновым лесом, а над макушками сосен высились в обманчивой близости купола и шпили массива Монте-Розы. Какой восхитительно зеленой и красивой показалась нам эта тесная долина! Расстояние не скрадывало деталей, а только мельчило, придавая им изящество, мягкость и миниатюрность: так выглядят города и ландшафты, когда смотришь на них в обратный конец подзорной трубы.

Прямо под нами вздымался; вырастая из долины, утес с зеленой маковкой, напоминающей перекосившуюся скамью, а вокруг этой скамьи, как бы покрытой зеленым сукном, сновало множество белых и черных овец, — с нашей вышки они представлялись нам гусеницами-переростками. Вознесенная на высоту, скамья казалась совсем близкой, но то был лишь обман зрения, она лежала глубоко внизу.

И вот начался спуск по самой удивительной тропе, какую мне когда-либо приходилось видеть. Чрезвычайно узкая, она штопором вилась по исполинскому обрыву, упираясь в каменную стену и повиснув над отвесной пустотой. Здесь тянулась нескончаемая вереница проводников, носильщиков, мулов, носилок и

туристов, поднимавшихся вверх. При встрече с отъез-
шимся мулом тут приходилось тесновато. Завидев или
заслышав издали, что подходит мул, я прилипал к
стене. Я, разумеется, и сам предпочитал держаться
стены, но я держался бы ее так или иначе, ибо мул
предпочитает держаться края, — на такой круче при-
ходится сообразовываться с тем, что предпочитает мул.
По счастью, он во всех случаях избирает наружный
край. Его жизненное призвание заключается в том,
чтобы перетаскивать объемистые тюки и корзины,
привязанные поперек спины, и он приучен держаться
наружного края горной тропы, для того чтобы его
кладь не вошла в опасное соприкосновение со сте-
ной. Однако и тогда, когда в порядке исключения ему
приходится сменить мертвый груз на живой, он, по
врожденной глупости, остается верен своему обыкнове-
нию, и одна нога у пассажира неизменно болтается над
долинным миром, тогда как сердце у него поминутно
уходит в пятки. Не раз наблюдал я, как задняя нога
мула, сорвавшись с карниза, обрушивается в пропасть
комья земли и грязи, и замечал, какое кислое выражс-
ние бывало в эти минуты у пассажира любого пола и
возраста.

В одном месте узкая тропа на восемнадцать дюймов расширена каменной кладкой, а поскольку здесь крутой поворот, то ее в незапамятные времена обнесли деревянной оградой, сплошь обшитой досками. От ветхости доски расшатались и прогнили, а каменную кладку источило прошедшими недавно проливными дождями. Одной проезжавшей здесь молодой американке сильно не повезло: ее мул, оступившись на повороте, пустил задней ногой под откос всю источенную часть каменной кладки заодно с вывернутым столбом; рванувшись что есть сил, мул кое-как удержался на тропе, но на девушку в ту минуту страшно было смотреть: ее щеки могли поспорить белизной со снегами Монблана.

Тропа эта не что иное, как выемка, выдолбленная по стене обрыва; у путника под ногами каменный карниз шириной в четыре фута, а над головой каменный навес шириной в те же четыре фута, — все вместе напоминает узкую веранду; выглянув из этой галереи,

путник видит перед собой на расстоянии брошенного камня такую же голую каменную стену, уходящую вверх и вниз и образующую противоположную сторону теснины или трещины. Чтобы увидеть подножие своей стены, путнику нужно лечь наземь и высунуть нос наружу. Я этого не сделал, потому что боялся испачкаться.

Примерно через каждые сто ярдов на особенно опасных местах поставлены деревянные ограды или заборы; но все они обветшали, а иные завалились в сторону пропасти и не внушают обманчивых надежд людям, нуждающимся в опоре. В одном месте от ограды уцелела только верхняя доска; какой-то юный англичанин, бежавший вниз во всю прыть, с размаху бросился к ограде и всей тяжестью облокотился на предательскую доску, очевидно желая заглянуть в пропасть; доска — ни много ни мало — на целый фут отклонилась в сторону пропасти! Я чуть не задохнулся от ужаса. Но что до юноши, то он только удивился и так же, махом, побежал дальше, как будто и не подозревая, от какой крупной неприятности он еле-еле избавился.

Альпийские носилки представляют собой обитую подушками коробку, прикрепленную к двум длинным шестам, или же кресло с подножкой. Их несут по-сменно дюжие носильщики. Сидеть в носилках удобно, и в них меньше трясет, чем в любом экипаже. Мужчину редко встретишь в носилках, ими пользуются женщины, — они сидят бледные-бледные, точно душа с телом расстается, смотрят обычно себе в колени и на пейзаж не обращают внимания.

Но особенно пугалась высоты лошадь, которую провели мимо нас на поводу. Бедняжка выросла на зеленой мураве Кандерштегской долины и впервые попала в такое страшное место. Она то и дело останавливалась, косила глазом на головокружительную бездну, широко раздувала ноздри, и ее селезенка екала так громко, как будто лошадь возвращалась со скачек. При этом ее все время была дрожь, как в параличе. Красивое животное казалось живою статуей,

олицетворяющей страх, но сердце сжималось глядеть на ее страдания.

С этой погибельной тропой связана одна трагическая история. Бедекер со свойственным ему лаконизмом рассказывает ее в трех строках.

«Спускаться верхом на лошади не рекомендуется. В 1861 году графиня д'Эрлинкур, выпав из седла, свалилась в пропасть и убила насмерть».

Мы заглянули вниз и увидели памятник, поставленный в ознаменование этого события. Он стоит на дне теснины, в нише, выдолбленной в скале, защищающей его от бушующих вод и бурь. Старик проводник, который все молчал, а на вопросы отвечал односложно, на этот раз проявил необычную словоохотливость. Он рассказал нам, что графиня была юной и прекрасной — в сущности, еще девочка. Она незадолго до этого вышла замуж, то было ее свадебное путешествие. Ее молодой супруг ехал чуть впереди; один проводник вел под уздцы лошадь графа, другой — лошадь графини.

— Проводник, что вел под уздцы графскую лошадь, — рассказывал старик, — случайно оглянулся, бедняжка сидела ни жива ни мертва и не отрываясь глядела в пропасть; и вдруг она медленно склонила голову, медленно подняла руки к лицу — вот так, прижала пальцами веки — вот так, потом покачнулась в седле, пронзительно вскрикнула, в воздухе только взвилось ее платье — и все было кончено.

И после паузы:

— Да, да, проводник все это видел, видел собственными глазами. Он видел все в точности так, как я рассказал вам.

И после следующей паузы:

— Да, да, он видел все именно так. Боже мой, это был я. Я и был тот проводник!

То было величайшее событие его жизни, не удивительно, что старику запомнилась каждая мелочь. И мы выслушали все, что он мог нам рассказать — как все произошло, и что было потом, и что говорили о печальном случае в народе, — поистине, это был горестный рассказ.

Мы находились уже на последнем витке штопора, как вдруг на высоте в сто — сто пятьдесят футов от подножья обрыва у Гарриса сорвало ветром шляпу и покатило вниз к крутой осыпи из щебня и осколков камня, сброшенных непогодю со стены обрыва. Не торопясь спустились мы вниз по осыпи, рассчитывая без труда найти беглянку, да не тут-то было. Часа два провели мы в поисках — не потому что дорожили этой старой соломой, но из чистого задора, — мы понять не могли, куда она запропастилась в таком месте, где все просматривалось с первого взгляда.

Не случается ли вам, читая в постели, положить разрезальный нож рядом, а потом вы его никак не найдете, если, конечно, он не с саблю величиной. Шляпа Гарриса по части упрямства могла перещеголять любой разрезальный нож, и мы махнули на нее рукой; зато мы нашли линзу от бинокля и, покопавшись в грудке камней, постепенно обнаружили и другие линзы и металлическую оправу. Все это мы впоследствии отдали собрать, и владелец сорванца бинокля может получить назад свою потерянную собственность, представив необходимые доказательства и возместив нам издержки. Мы, собственно, надеялись найти и владельца и собрать его по частям, — это составило бы неплохой эпизод для моей книги; но на этот раз нам не повезло. Однако мы не отчаивались: оставались еще места, где можно было поискать как следует. Успокоившись на том, что владелец бинокля где-то здесь, мы решили переночевать в Лейке, а потом вернуться за ним сюда.

Мы сели, отерли пот с лица и стали толковать о том, что мы сделаем с останками, когда их найдем. Гаррис собирался пожертвовать их в Британский музей, я же предполагал отправить их вдове по почте. В этом разница между мной и Гаррисом: Гаррис все делает напоказ, тогда как для меня на первом плане — простое человеческое сердце, даже если такие чувства стоят мне денег. Гаррис ратовал за свое предложение — против моего; я ратовал за мое предложение — против предложения Гарриса. Постепенно разговор наш перешел в спор, а затем и в перебранку.

Наконец я сказал со всей свойственной мне твердостью:

— Мною решение принято. Тело получит вдова.

На что Гаррис ответил со свойственной ему запальчивостью:

— И мною решение принято. Тело получит музей. Я сказал хладнокровно:

— Музей его получит, когда рак свистнет.

На что Гаррис:

— А вдове никакой свист не поможет, об этом позабочусь я.

После обмена кое-какими комплиментами я сказал:

— Уж больно ты хорохоришься, как я погляжу, насчет этих останков. Какое ты, собственно, имеешь к ним отношение?

— Какое отношение? Да самое непосредственное. Никто про них и знать бы не знал, кабы я не нашел бинокль. Труп принадлежит мне, и я сделаю с ним все что захочу.

Я был начальником экспедиции — следовательно, все открытия и находки принадлежали мне. Останки были моими по праву, и я мог настоять на своих правах, но, не желая портить себе кровь, предложил Гаррису разыграть их в орлянку. Я поставил на решку и выиграл, но то была победа впустую, ибо, хотя мы проискали весь следующий день, мы так и не нашли ни косточки. До сих пор не могу понять, что случилось с тем парнем.

Город в долине назывался Лейк, или Лейкербад. Мы спустились по зеленому откосу, поросшему горечавкой и другими цветами, и вскоре вышли на узкие улочки предместья и по лужам жидкого «удобрителя» запагали к центру. Эту деревушку следовало бы вымостить или хотя бы устроить здесь перевоз.

Тело Гарриса представляло собой излюбленное пастбище серн: оно буквально кишело прожорливыми гадинами, вся кожа его, когда он раздевался, бывала покрыта сыпью, точно у больного скарлатиной. Увидев, что я направляюсь в харчевню под вывеской «Серна», он наотрез отказался за мной следовать. Он сказал, что в Швейцарии и без того хватает серн, и не

к чему выискивать гостиницы, которые избрали их своей специальностью. Мне было решительно все равно, так как серны ко мне равнодушны, у меня с ними чисто шапочное знакомство; но для успокоения Гарриса, мы отправились в «Отель дез Альп».

За табльдотом наблюдали мы такую сценку. Напротив сидел человек с угрюмой физиономией, и не столько угрюмой, сколько надутой, и не так надутой, как свирепой, — не разбери-поймешь, а только заметно было, что он изрядно «заложил», но не хочет в этом сознаться. Он взял со стола закупоренную бутылку, подержал наклонно над рюмкой и, отставив ее с довольным видом, сосредоточил свое внимание на еде.

Вскоре он поднес рюмку ко рту, но, конечно, она оказалась пустой. Озадаченный, он искоса посмотрел на соседку, почтенную седую даму, явно не способную ни на что дурное. Покачал головой, словно говоря: «Не похоже, чтобы она!» И снова занес закупоренную бутылку над рюмкой, боязливо водя по сторонам слезящимися глазами — не смотрит ли кто. Поев, он снова пригубил рюмку, и снова она оказалась пустой. Он искоса бросил такой обиженный и укоризненный взгляд на свою ничего не подозревавшую соседку, что просто смех разбирал. Но дама знать ничего не хотела, кроме своего жаркого. Тогда он взял бутылку и рюмку, кивнул себе с понимающим видом, решительно переставил их налево от тарелки, снова налил, снова заработал ножом и вилкой, а потом уверенно взял рюмку — и опять она оказалась пустой.

Он остолбенел от удивления. Выпрямился на стуле и со скорбной миной воззрился сначала на одну, потом на другую соседку — обе деловито жевали. Тогда он тихонько отодвинул тарелку, поставил рюмку прямо перед собой и, придерживая ее левой рукой, начал наливать себе правой. На этот раз и он заметил, что оттуда ничего не льется. Он перевернул бутылку вверх дном — как есть ничего; и тут на лице у него появилось плаксивое выражение: «Ик!.. вылакали все до капли!» — пожаловался он сам себе. После чего, покорно отставив бутылку, продолжал есть всухомятку.

За тем же табльдотом была у меня под наблюде-

нием дама, самый крупный экземпляр из всех виденных мною дам — конечно, в частной жизни. Она была более семи футов росту и пропорционального сложения. Я случайно наступил на правый фланг ее правой ступни, и откуда-то из-под потолка раздался зычный окрик: «Pardon, m'sieu, вы слишком много себе позволяете!» Вот тут-то я впервые ее и заметил.

Случилось это, когда мы проходили полутемным холлом, и я только смутно различал ее очертания. Потом я увидел ее уже в столовой. Она села за соседний стол, между мной и двумя прелестными барышнями, которые совсем затерялись за ее спиной. Она была хороша собой и замечательно сложена, скажем прямо — сложена, как богиня. Но рядом с ней все меркло и терялось. Дамы в ее присутствии казались маленькими девочками, мужчины — плюгавыми ничтожествами. Все производили впечатление каких-то недоносков и так примерно себя и чувствовали. Она сидела ко мне спиной, — я сроду не видел такой спины. Я глядел на эту спину и мечтал: «Ах, если бы увидеть ее при свете восходящей луны!» Ни один человек не двигался с места, все под тем или иным предлогом ждали, чтобы она отобедала и вышла из-за стола: всем любопытно было увидеть ее во весь рост. И никто не пожалел о потерянном времени. Когда, поднявшись в своем царственном величии, она торжественно проследовала к выходу, каждому стало ясно, что именно такой должна быть императрица.

Мы поздно попали в Лейк и не видели эту даму в зените ее веса и славы. Она страдала ожирением и приехала сбавить в весе на здешних водах. Пять недель вымачивания — по пяти часов в сеанс ежедневно — сделали свое дело, она вошла в норму.

Местные воды излечивают ожирение и кожные болезни. Больные часами просиживают в больших бассейнах. Бывает, что десяток джентльменов и дам соберутся в таком бассейне и проводят время в светских развлечениях и играх. Им дают плавучие пюпитры и столы, и они, погружившись в воду по грудь, читают, завтракают или сражаются в шахматы. Туристу не возбраняется заглянуть в такое ванное заведение и

полюбоваться непривычным зрелищем. Здесь есть даже кружка для сбора в пользу бедных, куда он может опустить свою лепту. Таких купален в городе несколько, их легко узнаешь по веселым возгласам и смеху, доносящимся оттуда. Вода здесь проточная и все время сменяется, иначе человек, лечащийся, скажем, от стригущего лишая, исцелился бы только частично, ибо, избавившись от лишая, рисковал бы схватить чесотку.

На следующее утро мы не спеша возвращались по той же зеленой долине, а перед нами изгибались волнистые линии все тех же голых отвесных стен, верлушками уходящих в облака. Я никогда не видел и вряд ли когда увижу еще такую голую, словно чисто выметенную стену, возносящуюся на пять тысяч футов. Может быть, в природе имеются еще такие, но вряд ли в местах, где вы можете подойти к ним так запросто. Эта каменная громада отличается еще одной особенностью: от подножия до мощных башен ее очертания и взаимное расположение частей напоминают сооружение, воздвигнутое человеком. Вы найдете здесь зачатки оконных арок, карнизов, дымовых труб, деление на этажи и пр. Здесь можно просиживать целыми днями с неслабеющим интересом, пядь за пядью изучая утонченные красоты и изысканные пропорции этого великолепного здания. Та часть стены, что повернута к городу, рассматриваемая в профиль, представляет собой поистине чудо. Она спускается из облачной выси террасами округлых циклопических выступов — своего рода лестница богов; вершину этой лестницы венчает несколько изъеденных бурями башен, громоздящихся одна на другой, а кругом призрачными знаменами реют никогда не рассеивающиеся клочья тумана. Если бы существовал король — владыка мира, для него трудно было бы сыскать более подходящую резиденцию. Оставалось бы только выдолбить изнутри весь камень и провести электричество. В таком дворце он мог бы давать аудиенции сразу целому народу.

Безуспешно поискав дорогие нам останки, мы принялись разглядывать в подзорную трубу отдаленное

тоже, прорытое грандиозной лавиной, когда-то сорвавшейся с лесистых вершин по ту сторону города, — она снесла на своем пути немало домов и погребла немало народу; после этого мы пошли дорогой, ведущей к Роне, чтобы попутно взглянуть на знаменитую «Стремянку». Эта опасная штука прилажена к отвесной скале в двести — триста футов высотой. Местные крестьяне и крестьянки лазают по ее ступенькам вверх и вниз с тяжелой ношей за спиной. Я поручил Гаррису забраться наверх, чтобы напитать эту книгу жуткой романтикой его впечатлений, и Гаррис успешно выполнил мое поручение через субагента, которому я потом уплатил три франка из своего кармана. С содроганием вспоминаю свои чувства, когда я, прильнув к этому шаткому сооружению, висел между небом и землей — в лице Гаррисова уполномоченного. Порой все плыло перед моими глазами, и я с трудом подавлял приступы слабости, овладевавшие мной перед лицом столь чудовищной опасности. Многие на моем месте повернули бы назад, но я не таков: я твердо шел к поставленной себе цели, полный решимости добиться своего. Я испытывал законное чувство гордости, но вместе с тем знал, что ни за какие сокровища в мире не повторил бы свой подвиг. Боюсь, что когда-нибудь я еще сломаю себе шею, увлеченный дерзостной авантюрой, но никакие угрозы и предостережения не в силах надолго меня остановить. Когда в гостинице распространилась весть, что я поднимался по этой сумасшедшей «Стремянке», интерес к моей особе заметно повысился.

На следующее утро, встав пораньше, мы поехали на лошадях в долину Роны, а оттуда поездом в Висп. Там мы навьючили на себя наши рюкзаки и прочие пожитки и под проливным дождем двинулись по узкому ущелью в Церматт. Часами тащились мы берегом бурливого потока, под величественной грядой Малых Альп, одетых доверху в бархатную зелень; и отовсюду с туманных высот на нас глядели крохотные швейцарские домики, окруженные газоном.

Дождь лил как из ведра, ручей рокотал без умолку, а мы шли все вперед и вперед, радуясь и ливню и рокоту ручья. В том месте, где он всего выше взмывает

свою белоснежную гриву, где грохочет всего пестрей и обрушивает на огромные валуны всю свою силу и ярость, кантональные власти перекинули самый хлипкий деревянный мостик, какой только можно себе вообразить. Когда мы переходили через него вместе с целым взводом всадников, я заметил, что он трясется от каждой более крупной капли дождя. Я поделился своим впечатлением с Гаррисом, — он тоже заметил это. Я тут же подумал, что, если б я имел слона, который был бы мне дорог как память, я дважды подумал бы, прежде чем пуститься на нем по этому ненадежному мостику.

В половине пятого достигли мы деревни Сент-Николас и, вымокнув по колено в навозной жиже, нашли приют в новой уютной гостинице у церковки. Придя, мы разделись и легли в постель, а весь свой гардероб отослали вниз для просушки. То же самое сделали и остальные насквозь отсыревшие туристы. Одежды набралось уйма, в кухне ее перетасовали самым беспардонным образом и с самыми плачевными последствиями. Когда нам в четверть седьмого принесли наши вещи, я недосчитался своих невыразимых; взамен я получил другие, весьма экстравагантные, с оборочками вместо манжет, стянутые поверху узенькой тесемкой и не доходившие мне до колен. Нельзя сказать, чтобы они были безобразны, но они делили меня пополам, и обе половины не желали иметь друг с другом ничего общего. Человек, вырядившийся так для путешествия в швейцарские горы, должен быть совершеннейшим идиотом. Рубашка, еще более куцая, вовсе не имела рукавов, а если имела, то такие, которые мистер Дарвин назвал бы «зачаточными». Эти зачатки рукавов были зачем-то украшены кружевцем, тогда как на пластроне рубашки не наблюдалось ни малейшего украшения. Вязаная шелковая нижняя сорочка была тоже новомодного фасона, и не сказать, чтобы неразумного: она застегивалась сзади и была снабжена внутренними карманами для лопаток; однако кроили ее явно не на меня, и я чувствовал себя в ней премерзко. Кроме того, мою визитку отдали кому-то другому, а мне принесли редингот, который подошел бы

жирафе. Воротничок пришлось подвязать — за неимением на упомянутой дурацкой рубаше хотя бы одной единственной пуговицы.

Одевшись к обеду, который подавали в шесть тридцать, я чувствовал себя последним неудачником и неряхой: в одном месте невыносимо тянет, в другом болтается и висит. Впрочем, и остальные туристы явились к табльдоту не в лучшем виде: все в платье с чужого плеча, ничего своего, кровного. Какой-то верзила сразу признал на мне свой редингот, когда увидел, как он шлейфом волочится за мной по полу, но никто не посягал на мою рубашку и невыразимые, хоть я и описал их наиподробнеешим образом. Кончилось тем, что я, ложась спать, отдал их горничной, и она, по-видимому, отыскала владельца, так как утром мои собственные вещи ждали меня на стуле за дверью.

Среди туристов был английский священник — душа-человек, — так он и вовсе не вышел к табльдоту. У него, видите ли, пропали штаны, причем без всякой замены. Как он объяснил мне, дело тут не в цирлих-манирлих, — ему нужно не больше, чем другим, — но для священника выйти к обеду в одних исподниках, значит дать повод к неуместным разговорам.

Глава VII

Воскресный звон. — Чудо-ледник. — Без пяти минут несчастный случай. — Маттерхорн. — Церматт. — Отечество альпинистов. — Ужасное приключение. — Ненасытные.

В Сент-Николасе нам не дали проспать. Церковный колокол зазвонил в четыре тридцать утра, и по тому, как долго он не унимался, я заключил, что швейцарскому грешнику не так-то легко втемяшить, что его приглашают в церковь. Чуть не все колокола на свете никуда не годны, у них резкий дребезжащий звук, который действует на нервы и наводит на грех, но такого подлого колокола, как здесь, я нигде не встречал, — его звон просто сводит с ума. И все же существование этого колокола еще можно как-то

оправдать: община здесь бедная, не каждому по карману приобрести часы, — другое дело Америка, там нет дома, где не было бы часов, а следовательно, нет ни малейшего оправдания для той сумятицы непрерывных звуков, что низвергаются по воскресеньям с наших колоколен и затопляют окрестность. В Америке вы услышите в воскресный день больше богохульств, нежели во все прочие дни недели вместе взятые, — и это воскресное богохульство куда злей и хлеще будничного. А все по вине наших дрянных колоколов, которые дребезжат, как разбитый горшок.

Мы не жалеем средств на постройку храмов; мы воздвигаем здание, которое делает городу честь, и украшаем его позолотой и фресками, и холим его, и берем под него ссуду в банке, и разбиваемся в лепешку, стараясь придать ему побольше величия и блеска, — а потом перечеркиваем все свои труды, подвешивая к нему колокол, от которого несдобровать никому, кто его услышит, ибо одних он награждает головной болью, других — пляской св. Витта, а всех остальных — вертячкой.

Американская деревня летом в десять часов утра — это ли не мир, покой и благомыслие, — а поглядите на нее часом позже!.. Стихотворение мистера По «Колокола» осталось и по сей день незаконченным, но оно и к лучшему, а то исполняющие его артисты или чтецы изошряются на все голоса, стараясь передать звучание различных колоколов, но что они стали бы делать, если бы дошло до церковного колокола? Какой бы это был «камуфлет», по любимому выражению Джозефа Аддисона. Церковь хлопочет о том, чтобы люди избавлялись от пороков, но не худо бы ей для примера избавиться от своих. Она все еще кое в чем придерживается обычаев, которые были полезны когда-то, но давно уже утратили резон и смысл и отнюдь не служат ей к украшению. Один из этих обычаев — церковный благовест, напоминающий людям, что пора молиться, — в городе, где чуть ли не у каждого есть часы; другой — это чтение с амвона городских объявлений, с которыми все, кого они интересуют, уже ознакомились по утренней газете. Священник, по сложившейся традиции, зачитывает пастве даже слова

исполняемого гимна — пережиток, восходящий к тому времени, когда сборники гимнов еще не печатались большими тиражами и стоили дорого; сейчас у каждого есть сборник гимнов и эти публичные чтения абсолютно никому не нужны. Мало сказать — не нужны, они мучительны. Если бы священник выпалил в церкви из дробовика, он не мог бы попасть в худшего чтеца, нежели он сам. Я это говорю не из дерзостной гордыни и не по суетному легкомыслию, а исключительно из уважения к истине. Какого ни возьми среднего священника, независимо от национальности и вероисповедания, читает он из рук вон плохо. Кажется, уж что-что, а такую молитву, как «Отче наш», он мог бы прочесть как следует, ведь она ему более чем знакома, — так нет же: священник, читая ее, мчит на всех парах, как будто от этого она скорее дойдет по адресу. Человек, не понимающий, что такое паузы, и не умеющий выделять их в тексте, не в силах передать великую простоту и благородство этого произведения.

Мы довольно рано позавтракали и зловонными деревенскими улочками вышли на дорогу в Церматт, радуясь возможности удрать от колокольного звона. Постепенно по правую руку от нас возникло поразительное зрелище. То была закраина гигантского ледника — массивная ледяная стена; она глядела на нас с заоблачной высоты альпийской вершины, четко вырисовываясь в голубом небе. Мы пытались определить на глаз высоту ледяной стены от подошвы доверху и клали на нее несколько сот футов, а Гаррис давал и вдвое. Мы даже подсчитали, что если выставить в ряд у этой стены Собор св. Павла, Собор св. Петра, Хеопсову пирамиду и вашингтонский Капитолий, а на стену посадить человека, то он не сможет повесить свою шляпу ни на один из шпилей: ему пришлось бы для этого нагнуться футов на триста — четыреста, что, конечно, человеку недоступно.

Меня ледник приводил в восхищение своей могучей красотой, и я считал, что никому и в голову не придет искать в нем каких-то изъянов. Но я ошибся. Гаррис уже несколько дней злился на все и вся. Заядлый протестант, он то и дело принимался ворчать:

— Ни в одном протестантском кантоне вы не увидите такого убожества, такой нищеты и грязи, как в этом, католическом; вы не увидите улиц и переулков, залитых нечистотами, ни лачуг, похожих больше на свинные хлевы, ни жестяной репы хвостиком вверх вместо церковного купола; а что до колоколов, так там вы вообще не услышите колокольного звона.

В это утро он придирался буквально ко всему. Начал он с грязи: «В протестантском кантоне даже после дождя не бывает такой грязи». Потом перешел на собак: «В протестантских кантонах вы не встретите лопоухих собак». Потом на дороги: «В протестантских кантонах нет такого положения, чтобы дороги строились сами собой, — там их строят люди, там если построят дорогу, так это дорога!» Потом на коз: «В протестантских кантонах вы не увидите коз, проливающих слезы, там коза самое веселое создание в мире». Потом пошло насчет серн: «Протестантская серна такого себе не позволит: она укусит разок-другой, да и пойдет себе своей дорогой. А здешние серны попросят переночевать, а потом от них не отделаешься». Потом насчет дорожных указателей: «В протестантском кантоне вы при всем желании не заблудитесь, а здесь вы днем с огнем не сыщете дорожного указателя». И дальше: «Здесь вы нигде не увидите на окне цветочного ящика, ничего не увидите, разве что кое-где кошку, да и то какую-нибудь мямлю; а возьмите вы протестантский кантон: там окна утопают в цветах, а кошки бегают целыми ватагами. Здешние власти не думают о дорогах, оставляют их на самотек, а вы, чуть что не так, платите им три марки штрафа: ваша лошадь-де сошла с дороги; а какие это дороги — не дороги, а чистое недоразумение». И насчет зоба: «Тоже мне, зоб называется: я тут во всем кантоне не видел зоба, который не уместился бы в моей шляпе».

Так он ворчал на все что ни придется; я думал, что уж к этому величественному леднику ему будет трудно придаться, и осторожно высказался в этом духе, но он и глазом не сморгнул:

— Посмотрели б вы на ледники в протестантских кантонах, — сказал он брюзгливо,

Его ответ задел меня. Но я сдержался и спросил:
— А этот чем вам не угодил?

— Чем, спрашиваете? Поглядите, как он содержится. Власти здесь не заботятся о ледниках. Вон сколько щебня и мусора нанесла туда морена, а никому и дела нет.

— Ну, власти здесь при чем? Ведь это же не от них зависит!

— Не от них? То-то и есть, что от них! Было бы желание! Поглядели бы вы на протестантские ледники, вот уж где ни соринки. Возьмем хотя бы Ронский ледник, даром, что он достигает пятнадцати миль в длину и восьмисот футов в толщину! Будь этот ледник протестантским, разве у него такой был бы вид!

— Чепуху вы городите! Ну что бы они стали с ним делать?

— Побелили бы его! У них так положено!

Разумеется, я не поверил ни одному его слову, но предпочел промолчать: что толку спорить с ханжой! Про себя я даже усомнился: в протестантском ли кантоне Ронский ледник? Но так как я и сам хорошенько не знал, то счел за лучшее не пререкаться с человеком, который и соврать не постесняется, лишь бы меня переспорить.

Милях в девяти от Сент-Николаса мы миновали мостик, перекинутый через бурный Висп, и подошли к длинной шаткой ограде, которая будто бы страховала путников от опасности свалиться в реку с отвесной стены в сорок футов высотой. Навстречу нам шло трое детей, восьмилетняя девочка бежала впереди. В нескольких шагах от нас она поскользнулась и упала, при этом ножки ее попали под ограду и на мгновение повисли над рекой. Мы оцепенели от ужаса, считая, что ей конец, так как берег здесь круто шел под уклон и она не могла спастись; но девочка ловко выкарабкалась из западни и, смеясь, побежала дальше.

Мы подошли к месту, где она упала, и увидели два длинных следа, которые ее ножки провели в жидкой грязи, прежде чем повиснуть в воздухе. Если бы нечто ее не задержало на лету, девочка соскользнула бы на дно пропасти, ударилась бы о прибрежную скалу,

и поток подхватил бы ее тело и понес бы его, швыряя о торчащие из воды валуны, и в две минуты превратил бы в бесформенный ком. Мы чуть не оказались свидетелями ее гибели.

И тут ярко проявился невозможный характер Гарриса и его закоренелый эгоизм. Этот человек думает только о себе. Битый час он толковал о том, как он счастлив, что девочка уцелела. Первый раз вижу такого субъекта. Лишь бы *он* был счастлив, остальное его не касается! Я уже не раз подмечал в нем эту черту. Конечно, многое он говорит сгоряча, под впечатлением минуты, — возможно, что даже в большинстве случаев, — но от этого никому не легче, а в конечном счете все сводится к тому же эгоизму. Никуда от этого не денешься! В данном случае мне казалось, что неприличие его поведения все же откроется ему; но нет, он знай долдонит свое: как он счастлив, что с девочкой ничего не случилось, — наплевать ему на мои чувства, на то, что у меня, можно сказать, вырвали изо рта лакомый сюжет. Он радуется, что избежал некоторых неприятных переживаний, не думая о том, что теряю я, его друг, — это ли не эгоизм! Он, конечно, не подумал, какую редкую возможность сулил мне этот так удачно подвернувшийся случай: описать, как труп девочки вылавливают из реки, как убиты горем ее родители, сколько волнений среди односельчан, а затем и похороны по швейцарским обычаям, а затем и придорожный памятник, который мы воздвигаем на собственные деньги, с условием, что на нем будут высечены и наши имена. В конце концов мы попадаем в Бедекер и он нас увековечивает. Я молчал. Я был слишком уязвлен, чтобы жаловаться и роптать. Раз Гаррис может так поступить со мной, раз он в подобную минуту ведет себя так легкомысленно и безответственно, да еще и бахвалится этим, — после всего, что я для него сделал, — я скорее отсеку себе руку, чем покажу, как глубоко я ранен.

Мы приближались к Церматту, а следовательно — и к прославленному Маттерхорну. Месяц назад это название было для нас пустым звуком, но все последние дни мы двигались словно сквозь двойной ряд витрин,

все плотнее и плотнее заставленных его изображениями, — масло, пастель, акварель, фотографии, хромолитографии, гравюры на дереве, цинке и меди — так что в конце концов эта гора стала для нас отчетливо видимым, знакомым образом. Мы были уверены, что узнаем Маттерхорн, как только он где-нибудь нам попадется. И мы не ошибались. Августейший монарх был еще очень далеко, когда мы впервые увидели его, но ошибиться было невозможно. Он уже тем своеобразен, что стоит сам по себе; к тому же он необычайно крут и отличается весьма оригинальной формой: он торчит в небе колоссальным клином, верхняя треть которого слегка загнута влево. Широкое основание чудовищного клина покоится на большом плато, сплошь обложенном ледниками и лежащем на высоте в десять тысяч футов над уровнем моря; если принять в расчет, что клин достигает пяти тысяч футов, то полная высота горы составит пятнадцать тысяч футов над уровнем моря. Таким образом, вся громада этой величественной скалы, этого рассекающего небо монолита, возвышается над линией вечных снегов. Но в то время как его великаны-соседи состоят выше талии как бы из сплошного снега, Маттерхорн круглый год стоит черный, голый и угрюмый, только кое-где припудренный и заштрихованный белым, — склоны его так круты, что снег на них не задерживается. Его своеобразная форма, его горделивое одиночество, его нежелание являться с себе подобными делают его, так сказать, Наполеоном горного мира. «Великий, сумрачный, самобытный» — это определение пристало ему не меньше, чем прославленному полководцу.

Представьте же себе монумент высотой в милю, стоящий на цоколе в две мили высотой! Ибо вот что такое Маттерхорн — монумент! Его назначение отныне и вовеки нести стражу над никому не ведомым местом упокоения юного лорда Дугласа, который в 1865 году сорвался с высоты в четыре тысячи футов, после чего его больше не видели. Такого памятника не удостоился еще ни один человек! Самые импозантные памятники в мире — лишь ничтожные песчинки по сравнению с ним; и они рассыплются прахом, и самое место, где

они стояли, исчезнет из людской памяти, — и только этот пребудет вечно¹.

Прогулка из Сент-Николаса в Церматт производит огромное впечатление. Поражает грандиозность масштабов, какие здесь определила себе природа. Вы все время идете между отвесных стен, уходящих в небо и представляющих в верхней своей части хаотическое нагромождение причудливых скал, выделяющихся холодной белизной на фоне голубого неба. Тут и там на вершине обрыва в своем сказочном великолепии сверкает огромный ледник или же низвергаются по зеленым склонам искристые водопады. Ничего пресного, дешевого, банального — здесь все величественно и прекрасно. Небольшая долина эта представляет собой первоклассную картинную галерею, ибо в нее нет доступа посредственности: из конца в конец увесил ее Создатель своими шедеврами.

Мы прибыли в Церматт в три часа пополудни, спустя девять часов после выхода из Сент-Николаса. Расстояние по путеводителю — двенадцать миль, по шагомеру — семьдесят две. Все, что мы видели вокруг, показывало, что мы в самом сердце и отечестве горного туризма. Снежные пики не держались здесь поодаль, с надменной чопорностью аристократов, — они подступали совсем близко с приветливым дружелюбием; проводники, увешанные ледорубами, веревками и другими орудиями своего опасного ремесла, сидели рядком на длинной каменной ограде перед отелем в ожидании нанимателей; загорелые туристы в горных костюмах, с проводниками и носильщиками, то и дело прибывали, возвращаясь из рискованных походов в Высокие Альпы, в мир пиков и ледников; мужчины и женщины верхом на мулах проходили непрерывной чередой, возвращаясь в отель после удивительных

¹ Катастрофа, стоившая жизни лорду Дугласу (см главу XII), сопровождалась еще тремя жертвами. Трое его спутников упали с высоты около мили, и тела их были найдены лежащими друг подле друга на леднике, доставлены в Церматт и похоронены на тамошнем кладбище. Останки лорда Дугласа так и не были найдены. Его могила, как могила Моисея, останется навсегда неизвестной — М. Т.

приключений и подвигов, которые так и пойдут расти в блеске и величии в рассказах у английских и американских камельков и в конце концов перешагнут все границы возможного.

Нет, это был не сон, не бутафорское отечество альпинистов, созданное нашим разгоряченным воображением, ибо здесь был сам мистер Гердлстон — знаменитый англичанин, поднявшийся один, без проводников, на головокружительные альпийские вершины. У меня не хватило бы фантазии выдумать мистера Гердлстона: я с трудом постигал его величие даже на расстоянии в несколько шагов. Я предпочел бы видеть перед собой целые гайдпарки пушек, нежели все те жуткие обличия, в каких ему представала смерть, — смерть среди горных пропастей и пиков. По-видимому, ни одно удовольствие не сравнится с удовольствием совершить опасное восхождение на горную вершину; но это удовольствие доступно только ограниченному кругу лиц, способных находить в нем удовольствие. Я не сразу пришел к такому заключению, а добрался до него, так сказать, маршрутным поездом, везущим песок и гравий. Но теперь я всесторонне обдумал этот вопрос и меня уже не собьешь с толку. Удовлетворить страсть альпиниста к опасным восхождениям почти невозможно; когда эта страсть найдет на него, он уподобляется голодному, перед которым поставлены лакомые яства; у него могут быть на очереди неотложные дела — не важно, они подождут. Мистер Гердлстон, как обычно, проводил летние каникулы в Альпах и провел их положенным ему порядком, изыскивая самые экстравагантные способы свернуть себе шею; но каникулы пришли к концу, и он уже уложил чемоданы, намереваясь отослать их в Англию, как вдруг его обуяла жажда снова взойти на недоступную вершину Вейсхорн, но уже по неизведанному и совершенно немыслимому маршруту, о котором он только что слышал. Он тотчас же распаковал свои чемоданы, и на пару с приятелем, нагруженные рюкзаками, веревками, ледорубами и фляжками молока, они выступают в горы. Ночь они проведут где-нибудь высоко в снегах, а в два часа утра встанут и завершат

свое отважное предприятие. Меня так и подмывало отправиться вместе с ними, но я подавил в себе это желание — подвиг, на который мистер Гердлстон, при всей своей душевной твердости, явно не способен.

Дамы тоже подвержены мании восхождения и не в силах от нее излечиться. Незадолго до нашего прибытия одна знаменитая альпинистка поднималась на Вейсхорн. Во время сильного бурана высоко в горах вся партия вместе с проводниками сбилась с тропы и долго проблуждала среди ледников и неприступных утесов, пока нашла дорогу домой. Когда эта альпинистка спустилась вниз, оказалось, что она двадцать три часа кряду была на ногах!

Наши проводники, нанятые на перевале Гемми, уже поджидали нас в Церматте. Итак, ничто не мешало и нам пуститься в поиски приключений, надо было только назначить время и место. Я решил свой первый вечер в Церматте употребить на то, чтобы в порядке подготовки ознакомиться с альпийскими восхождениями.

Я перелистал несколько книг и вот что узнал из них. В первую голову следует обзавестись тяжелой прочной обувью, подбитой гвоздями. Альпеншток должен быть из самого лучшего дерева, так как если он сломается в критическую минуту, это может стоить жизни его владельцу. Необходим еще и ледоруб для вырубания ступенек на большой крутизне. Рекомендуются запастись и лестницей, ибо некоторые крутые утесы можно одолеть лишь с помощью этого инструмента — или снаряда — и нельзя одолеть без него; такого рода препятствия зачастую вынуждают туриста пускаться в обход, теряя много времени, тогда как лестница избавила бы его от лишних трудов. Альпинисту положено иметь с собой от ста пятидесяти до пятисот ярдов крепкой веревки для спуска по очень крутым или скользким склонам, по которым никаким другим способом спуститься невозможно. Положено еще запастись стальным крюком на другой веревке — тоже весьма полезный снаряд: когда требуется одолеть сравнительно невысокий подъем, который все же чересчур высок для лестницы, достаточно забросить крюк

наверх так, как бросают лассо; крюк вопзится в утес, и восходитель взберется по веревке наверх, перебирая руками и по возможности гоня от себя мысль, что, если крюк сорвется, придется тебе сверзиться вниз и лететь до тех пор, пока не очутишься в такой части Швейцарии, где тебя совсем не ждут. Еще одно важное условие — необходимо припасти веревку, которой вся партия могла бы связаться: в случае если кто-либо сорвется с горы или свалится в бездонную трещину в леднике — остальные удержат его на этой веревке и спасут. Необходима также шелковая вуаль для защиты лица от снега, града, ледяной крупы и ветров, а также очки с цветными стеклами в защиту от опаснейшего врага альпиниста — снеговой слепоты. Наконец, нужны носильщики — таскать запасы провизии, вина, научные приборы и спальные мешки для всей партии.

В заключение я прочитал о чрезвычайном происшествии, случившемся с мистером Уимпером на Маттерхорне, куда он в единственном числе отправился разведать маршрут. Дело было на высоте в пять тысяч футов над городком Брейль. Мистер Уимпер осторожно обходил обрыв, к которому примыкал крутой склон, покрытый коркой обледенелого снега. Склон этот спускался в широкий овраг, змеившийся на глубине в двести футов и приводивший к пропасти глубиной в восемьсот футов, дно которой представляло поверхность ледника. Внезапно мистер Уимпер поскользнулся и упал. Приводим его рассказ:

«Тяжелый рюкзак перевесил, я рухнул вниз головой и ударился о грудку камней на глубине в двенадцать футов; мое падение потревожило камни, и я вместе с ними кувырком полетел дальше в овраг, потеряв по дороге палку, причем падал я в несколько приемов, все более затяжными скачками, ударившись раз пять головой — где о лед, где о камень, и каждый раз все сильнее; от последнего удара я, завертевшись в воздухе, пролетел футов пятьдесят — шестьдесят, с одного края оврага на другой; по счастью, я довольно благополучно ударился о скалу всем левым боком. Здесь платье мое на минуту зацепилось, я покатился в снег и продолжал скользить уже гораздо медленнее.

Хорошо, что на этот раз я летел вверх головой и, сделав несколько отчаянных усилий, задержался на самом краю пропасти, в горловине оврага. Палка, шляпа и вуаль пролетели мимо меня и исчезли из виду, и грохот потревоженных камней, донесшийся со дна пропасти, сказал мне, как близок я был к гибели. В семь-восемь скачков я пролетел футов двести. Еще каких-нибудь десять футов — и гигантское сальто в восемь-сот футов увлекло бы меня на дно пропасти.

Положение мое оставалось достаточно серьезным. Я изо всех сил цеплялся за камни, а между тем кровь сочилась более чем из двадцати порезов. Самыми тяжелыми были раны на голове; я старался зажать их одной рукой, пока другой держался за камень, — но тщетно, при каждом биении пульса кровь брызгала фонтаном. Наконец, в минуту просветления, я схватил большой ком снега и в виде пластыря приложил его к голове. Это была удачная мысль: кровотечение приостановилось. Я кое-как встал на ноги и успел еще перейти на безопасное место, где и свалился без чувств. Солнце садилось за горизонт, когда я очнулся, а на Большую Лестницу я вышел уже в густой темноте. И все же благодаря везению и осторожности мне удалось совершить весь спуск до Брейля — четыре тысячи семь-сот футов, — ни разу не упав и не сбившись с тропы».

Раны на несколько дней задержали его в постели. А потом он встал и опять взялся за старое. Таков настоящий альпинист, — уж, кажется, столько получил удовольствия, а ему подавай еще!

Глава VIII

Я решаю штурмовать Рифельберг. — Приготовления — Персонал и снаряжение — Мы выступаем в поход — Первые трудности. — Чудесное извлечение. — Проводник проводника.

Кончив чтение, я почувствовал себя другим человеком; с восторгом, энтузиазмом, затаив дыхание, следил я за опасными приключениями моих авторов и

делил с ними их победы. Долго сидел я молча, как оглушенный, а потом повернулся и сказал Гаррису:

— Я решился!

Что-то в моем тоне поразило его; когда же, заглянув в мои глаза, он прочел все, что в них было написано, Гаррис заметно побледнел. С минуту он колебался, но потом сказал:

— Говори!

И я ответил ему с олимпийским спокойствием:

— *Я поднимусь на Рифельберг.*

Если бы я подстрелил моего бедного друга, он не мог бы упасть со стула более внезапно. Если бы я был родным его отцом, он не мог бы взмолиться горячее, чтобы я оставил свое намерение. Но я был глух к его доводам. Убедившись наконец, что меня ничто не поколеблет, он прекратил уговоры, и только его судорожные рыдания еще возмущали тишину. Я сидел в мраморной неподвижности, устремив глаза в пустоту, — в душе я уже сражался с опасностями; а друг с немым обожанием взирал на меня сквозь слезы. Наконец он бросился мне на шею и сказал срывающимся голосом:

— Твой Гаррис тебя не покинет! Умрем вместе!

Я похвалил своего благородного друга, и в приливе бодрости он позабыл свои страхи и думал лишь о предстоящих подвигах. Он хотел уже, не откладывая дела в долгий ящик, звать проводников, чтобы выступить в два часа утра, ибо таково, по его понятиям, было обыкновение альпинистов; но я растолковал ему, что в эти глухие часы ночи нас никто не увидит; выступать среди ночи принято не из деревни, а из горного лагеря, после первой ночевки. Я сказал, что мы выступим в три-четыре пополудни; тем временем Гаррис оповестит проводников и познакомит всю публику с нашим планом.

Я лег в постель — но не для сна: ни один человек, готовящийся в альпинистский поход, не в силах уснуть перед завтрашним выступлением. Всю ночь я лихорадочно метался в постели и с радостью услышал, что часы бьют половину двенадцатого и можно спуститься к раннему обеду. Я встал, измученный и злой, и со-

шел в столовую, где сразу же оказался в центре общего внимания, ибо новость уже распространилась. Трудно есть спокойно, когда чувствуешь себя героем дня, — но какое это сладостное чувство!

Как это принято в Церматте перед большим восхождением, проводить нас собралось все население — и местные и приезжие; люди побросали свои дела, спеша занять удобный пункт, чтобы увидеть выступление каравана. В наш отряд входило сто девяносто восемь человек, включая мулов; или двести пять, включая коров. Вот полная роспись экспедиции:

Старший персонал

Я сам
Мистер Гаррис
Проводников — 17
Врачей — 4
Геолог — 1
Ботаник — 1
Священника — 3
Геодезиста — 2
Барменов — 15
Латинист — 1

Младший персонал

Ветеринар — 1
Дворецкий — 1
Кельнеров — 12
Лакей — 1
Цирюльник — 1
Шеф-повар — 1
Поваров-помощников — 9
Пирожника — 4
Кондитер — 1

Обоз и прочее

Носильщиков — 27
Мулов — 44
Погонщиков мулов — 44

Прачек и гладилиц для
простого белья — 3
Того же — для тонкого
белья — 1
Коров — 7
Доярок — 2

Итого: 154 человека и
51 животное.

Общий итог — 205.

Довольствие и прочее

Окороков — 16 ящиков
Муки — 2 бочки
Виски — 22 бочки
Сахару — 1 бочка
Лимонов — 1 бочонок

Инвентарь

Матрацов пружинных — 25
Матрацов волосяных — 2
Постельные принадлежности
для таковых
Комарников — 2
Палаток — 29

Сигар 2000

Пирогов — 1 бочка

Пеммикана — 1 тонна

Костылей — 143 пары

Арники — 2 бочки

Корпии — 1 кипа

Снотворного и болеутоляющего — 27 бочонков

Научный инструментарий

Ледорубов — 97

Ящиков динамита — 5

Нитроглицерина — 7 бидонов

Сорокафутовых лестниц — 22

Веревки — 2 мили

Зонтиков — 154

Только к четырем часам пополудни моя кавалькада была полностью укомплектована. Мы выступили без промедления. Такой эффектной и многочисленной экспедиции Церматт еще не видел.

Я распорядился, чтобы старший проводник построил людей и животных в одну шеренгу, с интервалами в двенадцать футов, и связал их крепкой веревкой. Он вздумал было возражать, что первые две мили нам предстоит идти по совершенно ровной местности, без всяких обрывов, что никакой тесноты пока не предвидится и что веревкой связываются только в самых экстренных случаях. Но я его не слушал. Мне было известно из книг, что много несчастных случаев в Альпах произошло единственно оттого, что люди вовремя не связались. Я не собирался внести свое имя в этот список. Проводнику пришлось повиноваться.

Когда партия построилась и ждала сигнала к выступлению, я сам залюбовался этим эффектным зрелищем. Весь караван растянулся на 3122 фута — полмили с лишним; кроме меня и Гарриса, все шли пешком, все в зеленых вуалях и темных очках, у каждого вокруг тульи шляпы белела вуаль, у каждого через плечо висел моток веревок, у каждого за поясом был ледоруб, каждый в левой руке нес свой альпеншток, а в правой — свой закрытый зонтик, и у каждого болталась за плечами пара костылей. Вьюки на спине у мулов и рога у коров были перевиты эдельвейсами и альпийскими розами.

Только я и мой агент были верхом. Мы ехали позади, на самом опасном посту, и каждый из нас был для верности связан с пятью проводниками. Наши оруженосцы несли за нами ледорубы, альпенштоки и прочее снаряжение. Из предосторожности мы выбрали

самых малорослых ослов: это позволяло нам в критическую минуту выпрямить ноги и встать, пропустив ослика вперед. Все же я не рекомендую туристам этот способ передвижения — по крайней мере для увеселительных прогулок, — так как длинные уши этих животных могут испортить самый приятный вид. У нас с Гаррисом имелись костюмы для горных восхождений, но на сей раз мы предпочли обойтись без них. Из уважения к многочисленным туристам обоего пола, которые не преминут высыпать из всех отелей, чтобы нас проводить, а также из уважения к тем туристам, которые встретятся нам в пути, мы решили совершить восхождение в цилиндрах и фраках.

Ровно в четверть пятого я подал сигнал к выступлению, и мои связные передали его по всей линии. Большая толпа, собравшаяся перед отелем «Монте-Роза», расступилась при нашем приближении с криками «ура!»; в то время как авангард проходил мимо них, я отдал приказ: «На плечо! Готовсь! Пли!» — и мгновенно на протяжении полумили открылись зонтики. Это было прекрасное зрелище, вдвойне эффектное благодаря своей неожиданности. Альпы еще не видели ничего подобного. Меня приветствовали оглушительными аплодисментами, а я проезжал мимо восторженных зрителей с обнаженной головой, держа цилиндр в руке. Только этим и мог я выразить свою признательность, так как от полноты чувств лишился языка.

У околицы мы напоили скотину из желоба, по которому текла вода, отведенная из холодного ручья, и вскоре оставили за собой твердыни цивилизации. В пять тридцать подошли мы к мосту через Висп, я выслал вперед отряд для рекогносцировки и, убедившись в прочности моста, благополучно провел по нему весь караван. Путь вел теперь пологими склонами, поросшими зеленой травой, к винкельматтенской церкви. Не задерживаясь для ее осмотра, я произвел фланговое движение налево и прошел по мосту через речку Финделенбах, предварительно также испытав его прочность. Здесь я снова развернулся направо и вскоре вступил на приветливый участок луга, пустынного, если не

считать двух покинутых сторожек в дальнем его конце. Лучшего места для стоянки нечего было и желать. Мы раскинули палатки, поужинали, выставили часовых, занесли в путевой журнал все события минувшего дня и легли спать.

Проснулись мы в два часа утра и оделись при свечах. Было холодно и неприятно. Кое-где проглядывали звезды, но большую часть неба затянули тучи, и величественную башню Маттерхорна скрывала траурная пелена. Старший проводник советовал ждать: он боялся дождя. Мы подождали до девяти, а потом тронулись в путь при довольно благоприятной погоде.

Дорога — размытая дождем и усеянная камнями тропа — вела ужасающими кручами, густо поросшими лиственницей и кедром. А тут еще, на беду нашу, наступали на нас встречные туристы, возвращавшиеся назад, — кто верхами, кто пешком, тогда как сзади теснили и толкали нас путники, поднимавшиеся, как и мы, в гору и старавшиеся нас обогнать.

Наши затруднения росли и множились. Часам к двум дня все семнадцать проводников заявили, что не сделают и шагу дальше — им нужно посоветоваться. Посоветовавшись больше часа, они сообщили мне, что их первоначальное подозрение подтвердилось: мы, кажется, сбились с пути. Я спросил: не могут ли они сказать наверняка? На что проводники ответствовали, что полной уверенности у них нет и быть не может, так как ни один из них никогда не бывал в этих краях. У них серьезные опасения, что мы заблудились, но доказательств нет никаких, за исключением того, что они понятия не имеют, где мы находимся. С некоторых пор нам перестали попадаться встречные туристы, и это их крайне тревожит.

Дело ясное, мы влипли. Проводникам, естественно, не хотелось искать дорогу одним, и мы отправились всем скопом. Для большей безопасности шли медленно и осторожно, так как нас окружал густой лес. Мы не стали подниматься в гору, а пошли в обход, в надежде набрести на старую тропу. К вечеру, когда все уже устали, наткнулись мы на большую скалу величинной с крестьянский дом. При виде этого неожиданного

препятствия все приуныли, всеми овладели отчаяние и страх. Люди плакали, причитали и вопили, что никогда уж не придется им увидеть родные места и прижать к сердцу своих близких. Посыпались упреки, меня обвиняли в том, что я легкомысленно увлек их в это гибельное предприятие. Слышались даже угрозы по моему адресу.

В такую минуту нельзя было проявить слабость. Я произнес речь, напомнив им, что и другие альпинисты не раз бывали в подобных переделках и что только мужество и упорство спасали их от гибели. Я обещал, что не покину их, обещал, что спасу их. В заключение я сказал, что у нас достанет провианта на то, чтобы выдержать любую осаду, — и неужто же власти в Церматте не хватятся, что полмили людей и мулов таинственно исчезли над самым их носом, и не станут нас разыскивать? Нет, Церматт вышлет спасательную экспедицию, и нас вызволят отсюда.

Моя речь произвела впечатление. С просветлевшим челом люди раскинули палатки, и ночь застала нас уже под кровом. И тут я пожал плоды своей предусмотрительности: я не зря захватил с собой некое снадобье, которое не упоминается ни в одном из классических трудов по альпинизму, за исключением этого. Я имею в виду снотворное. Если бы не это благодетельное средство, никто из моих людей глаз не сомкнул бы в ту тревожную ночь. Если бы не этот кроткий утешитель, пришлось бы им всю ночь ворочаться с боку на бок, не находя покоя, — так как виски предназначалось только для меня. Утром они были бы не в силах взяться за свою тяжелую работу. Итак, все спали в ту ночь, кроме меня, Гарриса да еще барменов. Я не мог позволить себе уснуть в столь трудный час. Я считал, что отвечаю за вверенные мне жизни. Я хотел быть начеку и в полной готовности — на случай обвала. Теперь, правда, мне известно, что в этой местности не бывает обвалов, но тогда я этого еще не знал.

Всю ночь мы следили за погодой, я глаз не спускал с барометра, чтоб не прозевать малейших его колебаний. Но стрелка барометра все время показывала «Без перемен». Не описать словами, каким надежным,

ласковым, верным другом был для меня этот ценный прибор в ту годину бедствий. Барометр, собственно, был неисправен и не имел другой стрелки, кроме неподвижного медного указателя, но об этом я узнал только задним числом. И, сказать по совести, приведись мне снова очутиться в таком положении, я не пожелал бы себе лучшего барометра, чем этот.

В два часа ночи люди встали и позавтракали; как только рассвело, все опять связались и дружно двинулись на штурм скалы. Мы перепробовали все известные нам средства, в том числе и крюк на веревке, — но без особого успеха, вернее — без полного успеха. Кто-то даже удачно забросил крюк, он зацепился, и Гаррис полез вверх, перебирая руками, но крюк сорвался, и если бы под Гаррисом случайно не очутился один из священников, мой бедный друг наверняка остался бы калекой. К счастью для него, покалечился священник; он тут же взгромоздился на костыли, а я приказал отставить крюк, как орудие чересчур опасное при большом скоплении народа.

На минуту мы растерялись, не зная, что еще предпринять, но кто-то вспомнил о лестницах. Одну из них тотчас же прислонили к скале, и люди, связавшись по двое, стали на нее взбираться. Другую лестницу перебросили на ту сторону, для спуска. Не прошло и получаса, как все наши переправились через скалу, так что эту вершину, во всяком случае, нам удалось взять. Тогда мы издали свое первое ликующее «ура!» Но радость наша была преждевременна, ибо кто-то спросил: а как же мы переправим животных?

Это была серьезная, можно сказать неразрешимая задача. Люди упали духом; опять нам угрожала общая паника. Но едва нависла грозная опасность, как приспело и чудесное спасение. Один из мулов, который был уже нам известен как любитель смелых экспериментов, попытался сжевать пятифунтовый бидон нитроглицерина. Это произошло в ближайшем соседстве со скалой. Взрыв повалил всех нас наземь и забросал грязью и щебнем; все страшно перепугались, так как он сопровождался чудовищным грохотом и под нашими ногами затряслась земля. Но все же происшествие это

пошло нам на пользу — скалы как не бывало! На ее месте зияла свежая воронка в тридцать футов в поперечнике и пятнадцать в глубину. Взрыв услышали даже в Церматте, и часа полтора спустя многие жители городка были сбиты с ног, а кто и ранен падающими сверху кусками мороженого мультяного мяса, — что показывает яснее всяких цифр, как высоко взлетел наш смелый экспериментатор.

Нам оставалось только навести мост через воронку и продолжать путь. Люди бодро приступили к делу. Я сам руководил работой. Прежде всего я послал большой отряд рубить и обтесывать деревья, которые должны были послужить нам сваями. Дело подвигалось медленно, так как ледорубы не слишком пригодны для валки леса. Потом сваи были накрепко вбиты рядами в землю по дну воронки, я положил на них в ряд шесть моих сорокафутовых лестниц, а поверх этих еще шесть. На образовавшийся настил был накидан слой веток, а затем насыпан слой земли в шесть дюймов толщиной. По бокам вместо перил я протянул веревки — и мост был готов. Стадо слонов могло бы пройти по нему с полной безопасностью. К вечеру весь караван переправился на другую сторону и лестницы были разобраны.

Утро застало нас в отличном настроении, но дорога была трудная, идти приходилось по сильно пересеченной местности, в густом лесу; постепенно людьми овладело уныние, я видел вокруг себя озабоченные, пасмурные лица, и даже наши проводники считали, что дело плохо, — мы безнадежно заплутались. Уже то, что мы все еще не встречали туристов, давало повод к тревоге. Но имелось и другое основание думать, что мы не только заплутались, но и забрели бог весть куда: к этому времени за нами наверняка были посланы спасательные отряды, а между тем мы не видели ни малейшего их признака.

Я чувствовал, что в наших рядах усиливается разложение; надо было что-то предпринять, и как можно быстрее. К счастью, я никогда не теряюсь. Я тут же придумал меру, которую все единодушно одобрили, как в высшей степени целесообразную. Взяв веревку

в три четверти мили длиной, я привязал ее к поясу одного из проводников и приказал ему пойти искать дорогу, с тем что мы будем дожидаться его здесь. В случае неудачи веревка приведет его назад; в случае же удачи он даст нам сигнал — несколько раз сильно дернув веревку, — и вся экспедиция поднимется как один человек и присоединится к нему. Он пошел и сразу же затерялся среди деревьев. Я сам разматывал веревку, и все следили за тем, как она уползает, словно живая. Порой она еле плелась, порой убегала во всю прыть. Раза два нам почудилось, что мы принимаем сигнал, и со всех уст уже готовы были сорваться возгласы ликования, но тут же выяснилось, что тревога ложная. Наконец, когда уползло уже с полмили веревки, она перестала скользить по траве и лежала на месте без движения — одну... две... три минуты, меж тем как мы ждали, затаив дыхание.

Отдыхает ли проводник? Оглядывает ли с высоты окрестность? Расспрашивает ли о дороге встречного горца? Стоп! А не стало ли бедняге плохо от переутомления и тревоги?

Эта мысль потрясла нас. Я уже готовился выслать спасательный отряд, как вдруг веревка отчаянно задергалась, я насилу удержал ее в руке. Тут загремело такое дружное «ура», что приятно было слышать. «Спасены! Спасены!» — перекатывалось по всей растянувшейся линии каравана.

Мы тотчас же собрались и выступили в путь. Сначала дорога была недурна, но постепенно она становилась все хуже, и этому не предвиделось конца. Мы прошли уже добрых полмили, рассчитывая вот-вот увидеть проводника; но проводник, очевидно, не ждал нас, так как веревка убегала все дальше, а с нею убегал и он. Видно, он так и не нашел дороги, а увязался за каким-то крестьянином, который вызвался его проводить. Нам ничего не оставалось, как тащиться следом, что мы и делали. Прошло три часа, а мы все еще тащились следом. Это не только удивляло нас, но и бесило. К тому же мы очень устали, — ведь сначала мы из кожи лезли, чтобы догнать проводника, но зря старались: хотя он шел не быстро,

неповоротливому каравану трудно было угнаться за ним по такой местности.

К трем часам пополудни мы окончательно выдохлись, а веревка все убегала. Накипавшее недовольство перешло в громкий ропот и открытое возмущение. Вспыхнул мятеж. Люди отказывались идти дальше. Они говорили, что мы весь день только и делаем, что бежим по собственному следу, описывая круг за кругом. Они кричали, что надо привязать к дереву наш конец веревки, тогда проводник остановится, мы нагоним его и убьем. Это было разумное требование, и я отдал соответственный приказ.

Как только мы привязали веревку, вся экспедиция ринулась вперед с тем нетерпением, какое возбуждает жажда мести. Но после утомительного марша нам преградила путь высокая каменная осыпь такой крутизны, что никто из нас в нашем теперешнем состоянии не мог на нее взобраться. Каждая попытка приводила к новому увечью. Не прошло и двадцати минут, как пять человек у меня оказались на костылях. Всякий раз, как кто-либо, ища опоры, пытался ухватиться за веревку, она слабела, и он падал кувырком. Это повторилось не раз и не два и наконец навело меня на удачную мысль. Я отдал приказ каравану сделать поворот на месте и построиться в походном порядке. Привязав веревку к заднему мулу, я скомандовал:

— Шаг на месте! Правый фланг вперед — марш!

Отряд двинулся под звуки бравурной песни, и я сказал себе: «Только бы веревка выдержала — мы этого собаку проводника заполучим в лагерь, как миленького!» Я глаз не спускал с веревки, которая теперь скользила вниз по осыпи, и уже заранее торжествовал, а между тем меня ждало великое разочарование. К веревке оказался привязан не проводник, а крайне недовольный старый черный баран. Возмущение обманутой экспедиции не знало границ. Люди готовы были излить свой безрассудный гнев на ни в чем не повинное бессловесное животное. Но я бросился между ними и жертвой — и, не дрогнув перед оцетинившейся стеной ледорубов и альпенштоков, объявил, что только через мой труп учинят они такое злодейство. Произнося эти

слова, я понимал, что подписываю свой приговор и что только чудо может помешать этим бесноватым привести в исполнение свой злобный замысел. Как сейчас, вижу перед собой страшную стену ледорубов; вижу надвигающуюся орду так же ясно, как видел тогда; читаю ненависть в иступленных взорах. Помню, я опустил голову на грудь, и чувствую — сейчас еще чувствую — как в мягких частях у меня отдается внезапное землетрясение, вызванное тем самым бараном, которого я хотел спасти ценою собственной жизни; в ушах у меня еще гремят раскаты смеха, прокатившиеся по всей колонне, когда я пролетел над ее рядами, подобно сипаю, которым выстрелили из родменовской пушки.

Я был спасен! Да, я был спасен, — но лишь в силу того благодетельного инстинкта неблагодарности, который природа вложила в сердце этого подлого животного. Милосердие, к которому тщетно взывало мое красноречие, было порождено смехом. Барана отпустили на свободу, а мне даровали жизнь.

Впоследствии мы узнали, что едва между нами и проводником легло расстояние в полмили, он задумал бежать. Боясь, как бы мы чего не заподозрили, он решил сделать так, чтобы веревка продолжала двигаться как ни в чем не бывало: для этого он и поймал барана; мы же, в то время как он сидел на нем и привязывал его к веревке, вообразили, что он упал в обморок от усталости и истощения. Как только он отпустил барана, тот стал метаться как очумелый, стараясь освободиться от веревки, — по этому-то сигналу мы и вскочили с радостными кликами, готовые следовать его зову. Весь день мы пробегали за бараном, описывая круг за кругом, — это окончательно выяснилось, когда мы спохватились, что за семь часов семь раз напоили своих животных из одного и того же родника. Уж на что я дошлый лесовик, а и то ничего не заметил, пока мое внимание не привлекла свинья. Свинья все время валялась в луже, а так как это была единственная попавшаяся нам свинья, то, принимая во внимание неоднократность ее появления при полной тождественности отличительных примет, я в конце концов и

пришел к заключению, что свинья все та же, — а отсюда напрашивался вывод, что и родник все тот же. Так оно и оказалось.

Я потому привожу здесь этот замечательный случай, что он наглядно показывает разницу между активностью ледника и активностью свиньи. Установлено, что ледники находятся в постоянном движении; полагаю, что мои наблюдения доказывают столь же убедительно, что свинья, лежащая в луже, наоборот, неподвижна. Было бы интересно услышать суждение других наблюдателей по этому вопросу.

Остается сказать несколько слов о проводнике, прежде чем мы окончательно с ним распростимся. Привязав барана к веревке, он пошел куда глаза глядят, пока не повстречал корову. Рассудив, что корова больше разумеет, чем любой проводник, он ухватил ее за хвост и, оказывается, не прогадал. Корова не торопясь спускалась с горы и мирно пощипывала травку, пока не пришло ей время доиться, а тогда она направилась домой, прямехонько в Церматт, и притащила с собой проводника.

Глава IX

Продолжение похода. — Научные изыскания. — Образчик молодого американца. — Прибытие в Рифельбергскую гостиницу. — Восхождение на Горнер-Грат. — Вера в термометр. — Маттерхорн.

Мы раскинули лагерь на затерянной в глуши поляне, куда нас завел баран. Люди выбились из сил. Мысль, что мы заблудились, лишала их покоя, и только под действием доброго ужина они приободрились. Не давая им опомниться и впасть в прежнее уныние, я накачал их снотворным и отправил спать.

Наутро, когда я раздумывал над нашим бедственным положением, напрасно ища выхода, ко мне зашел Гаррис с картой Бедекера, убедительно показывавшей, что гора, на которой мы плутали, находится в Швейцарии — все в той же Швейцарии — каждой своей

пядью. Так значит — мы вовсе не потерялись, как думали. Эта мысль принесла мне огромное облегчение, с меня свалился камень весом по крайней мере в две таких горы. Я тотчас же приказал распространить эту весть по всему лагерю, карта была вывешена для общего обозрения. Эффект был волшебный. Как только люди убедились воочию, что не сами они потерялись, а потерялась только вершина горы, все воспрянуло духом. «Ну и бог с ней, с вершиной, — заговорили кругом, — это ее забота, не наша».

Теперь, когда тревога улеглась, я решил дать людям отдышаться и тем временем развернуть исследовательскую работу экспедиции. Прежде всего я снял показания барометра, в надежде определить, на какой мы высоте, но так ничего и не добился. Из чтения учебных книг я усвоил, что не то барометры, не то термометры полагается прокипятить, чтобы они лучше работали, и, не зная, к которому из двух приборов это относится, прокипятил для верности и тот и другой. Но опять-таки ничего не добился. Познакомившись с этими приборами поближе, я увидел, что оба они неисправны: на барометре не имелось никакой стрелки, кроме медного указателя, а стеклянный шарик термометра был набит оловянной фольгой. Я мог бы сварить оба эти предмета до полной мягкости и ничего бы не достиг.

Тогда я откопал другой барометр, новехонький, без малейшего изъяна. Кипятил я его добрых полчаса в гороховом супе, который готовили к обеду наши повара. Результат был самый неожиданный: на барометр кипячение не оказало никакого действия, зато суп на диво отдавал барометром, так что наш шеф-повар, человек в высшей степени добросовестный, счел нужным изменить его название в обеденной карточке. Суп так всем понравился, что я предложил повару ввести его в наш постоянный рацион. Кто-то возразил, что барометру от этого не поздоровится, но меня это не смутило. Я убедился на опыте, что барометр не показывает высоту, а раз так, то я не видел в нем проку. Для предсказаний погоды он был нам не нужен: о том, что погода меняется к лучшему, мне не обязательно было знать; о том же, что она меняется к худшему, доста-

точно убедительно предупреждали нас мозоли Гарриса. Гаррис еще в бытность нашу в Гейдельберге выверил и отрегулировал свои мозоли в тамошней государственной обсерватории, и на них вполне можно было положиться. Итак, я сдал новый барометр поварам на предмет изготовления супов для старшего персонала экспедиции, а поскольку выяснилось, что испорченный барометр тоже дает отличный навар, я распорядился пустить его на усиление питания наших подчиненных.

Прокипятив новый термометр, я добился блестящих результатов: ртутный столбик поднялся до 200° по Фаренгейту. Другие ученые участники экспедиции усмотрели в этом доказательство, что мы поднялись на высоту в двести тысяч футов над уровнем моря. Так как мы не видели вокруг себя снега, то и сделали вывод, что верхняя его граница проходит где-то на высоте десяти тысяч футов с лишним и потом уже не возобновляется. Этот любопытный факт, по-видимому, никем из наблюдателей до сих пор не наблюдался. А между тем это не только интересное, но и очень ценное открытие, так как оно открывает доступ цивилизации и земледелию на вершины высочайших Альп. Мы испытывали немалую гордость оттого, что забрались так высоко, и только мысль, что, если бы не баран, нам удалось бы подняться еще на двести тысяч футов выше, омрачала нашу радость.

Успех этого опыта побудил меня повторить его на моем фотоаппарате. Вынув аппарат из футляра, я прокипятил одну из камер, но на сей раз потерпел неудачу. Деревянная коробка вздулась и треснула, а что касается линз, то я не заметил в них ни малейшего улучшения.

Было у меня еще желание прокипятить проводника. Этот опыт, возможно, повысил бы коэффициент его полезного действия, — понизить его он не мог. Но мне не удалось осуществить мой замысел. У этой братии нет интереса к науке: намеченный мною для опыта проводник не склонен был поступиться своими удобствами для научных целей.

В разгар моих ученых исследований произошел один из тех досадных эпизодов, жертвою которых обычно становятся люди невежественные и легкомыс-

ленные. Один из носильщиков выстрелил по серне, не попал и покалечил нашего латиниста. Я не слишком огорчился, ведь со своим делом латинист может справиться и на костылях, но факт остается фактом: не подвернись так удачно латинист, заряд угодил бы в мула. А это уже совсем другое дело; если говорить об абсолютной ценности, то латиниста не сравнишь с мулом. И так как трудно надеяться, что в нужную минуту вас выручит латинист, то я и отдал приказ, что впредь охота на серн в пределах лагеря должна производиться без всякого оружия, а единственно с помощью указательного пальца.

Едва я оправился от пережитого потрясения, как тут же подоспело другое, на время окончательно меня расстроившее: по лагерю пронесся слух, будто один из барменов свалился в пропасть.

К счастью, это оказался не бармен, а капеллан. В предвидении такой возможности я, кстати, и прихватил с собой некоторый лишек капелланов, но по части барменов у нас ощущалась нехватка, тут мы явно про считались.

На следующее утро мы сняли лагерь и со свежими силами, в отличном настроении двинулись в путь. Я с особенным удовольствием вспоминаю этот день, ознаменованный тем, что мы вышли наконец на дорогу. Да, мы нашли дорогу и самым удивительным образом. Часа два с половиной брели мы наугад, пока не подошли к массивному утесу футов в двадцать высотой. На этот раз я не стал дожидаться указаний бессловесного мула. Я так наострился в этой экспедиции, что знал уже больше любого мула. Я тут же заложил динамит и убрал с дороги утес. И только тогда спохватился, к великому своему огорчению и сожалению, что на вершине утеса стояло шале.

Я сам подобрал с земли тех членов пострадавшего семейства, которые упали рядом со мной, в то время как мои подчиненные подобрали остальных. По счастью, никто из этих добрых людей особенно не пострадал, однако все они не на шутку обозлились. Я объяснил главе семейства, как все случилось, рассказал, что ищу дорогу и что, конечно, вовремя предупредил бы

его, если бы знал, что там наверху кто-то есть. Я объяснил ему, что действовал с самыми добрыми намерениями, и выразил надежду, что не слишком упал в его мнении оттого, что подбросил его в воздух на полсотню футов. Я высказал и ряд других справедливых и разумных мыслей, а когда я в заключение предложил заново отстроить шале, оплатить причиненный ущерб да подкинуть в придачу образовавшуюся от взрыва воронку, из которой может выйти отличный погреб, он смягчился и выразил полное удовлетворение. До сих пор у него не было погреба. Правда, мы слегка подпортили ему вид из окон, но то, что он терял на виде, мы возместили ему погребом, — одно окупалось другим. Он сказал мне даже, что на всей горе нет другой такой ямы, и так оно, верно, и было бы, если бы безвременно погибший мул не вздумал полакомиться нитроглицерином.

Сто шестнадцать человек по моему приказу взялись за работу, и в пятнадцать минут из груды обломков возникло отличное шале, еще более живописное, чем то, что стояло здесь раньше. Его хозяин объяснил нам, что мы находимся на Фели-Штутце, повыше Швегматта, и я очень обрадовался этому известию, ибо оно определяло наше положение с точностью, которой нам так не хватало последние два дня. Мы узнали также, что подошли к подножию собственно Рифельберга, и что, следовательно, первый этап восхождения благополучно завершен.

Перед нами простирался великолепный пейзаж. Мы видели отсюда и стремительный Висп, делающий свой первый прыжок в мир из огромной арки, пробитой талыми водами в подножии величественного Горнерского ледника; видели и Фургенбах, вытекающий из-под Фургенского ледника.

Отстроенное нами шале стояло как раз на мулевой тропе, ведущей к вершине Рифельберга. Мы сразу же догадались об этом, потому что мимо него прямо-таки¹ нескончаемой вереницей тянулись туристы. Хо-

¹ Прямо-таки — выражение, не имеющее гражданства в изящной английской словесности, но вполне его заслуживающее. Ведь ни одно подлинно изысканное слово или выражение не употребляется в своем точном значении. — М. Т.

заяин шале занимался тем, что держал здесь буфет. Взрыв на несколько минут прервал его торговлю, так как весь его запас бутылок был разбит вдребезги. Но я отдал хозяину из своих запасов большое количество виски, чтобы он продавал его под видом альпийского шампанского, и большое количество уксуса, который вполне мог сойти за рейнское вино, и он заторговал так же бойко.

Оставив экспедицию отдыхать под открытым небом, мы с Гаррисом зашли в шале: прежде чем возобновить поход, я хотел привести в порядок мои дневники и научные записи. Но не успел я погрузиться в работу, как в дверь заглянул высокий, стройный, дюжий американец лет двадцати трех, уже побывавший на вершине и теперь спускавшийся вниз. Он подошел ко мне с той уверенной развязностью, которая иным юношам заменяет светскую непринужденность. Он носил короткую стрижку и аккуратнейший прямой пробор, да и во всех прочих отношениях смахивал на тех американцев, которые, желая слыть оригиналами, ставят в своей подписи вместо первого имени инициал, а второе выписывают полностью. Он отрекомендовался, улыбаясь той деланной улыбкой, какой улыбаются придворные на сцене, сжал мою руку в своих отманикюренных когтях, трижды поклонился, перегибаясь в талии, как это делают те же придворные на сцене, и сказал мне покровительственно-снисходительным тоном, — я привожу его точные слова:

— Счастлив познакомиться, честное слово! Очень рад, клянусь честью! Читал ваши маленькие опусы и весьма одобряю. Узнал, что вы здесь, и счел своим неизменным долгом...

Я показал ему на стул, и он уселся. Этот гранд был внуком некоего американца, небезызвестного в свое время и еще не окончательно забытого, который едва не сделался великим человеком и при жизни таковым и почитался.

Я не спеша ходил по комнате, размышляя о научных проблемах, и краем уха слышал следующий разговор:

В н у к. Впервые в Европе?

Г а р р и с. Я? Да, впервые.

В. *(с легким вздохом о тех незабвенных радостях, которые нам лишь однажды дано вкусить в их перво-
зданной свежести)*. Ах, мне знакомы ваши чувства! Впервые в Европе! Святая романтика! Ах, если бы испытать это вновь!

Г. Да сказать по правде, мне ничего подобного не снилось. Сплошное очарование. Я даже...

В. *(с изысканным жестом, как бы говорящим: «Увольте меня от ваших неуклюжих излияний, дру-
жище!»)*. Как же, знаю, знаю! Вы заходите в соборы и ахаете. Вы слоняетесь по бесконечным картинным галереям и ахаете; вы бродите по местам, где самая почва пропитана историей, и не перестаете ахать и охать; вас переполняет священный трепет от ваших первых наивных встреч с Искусством, и вы ног под собой не чувствуете от гордости и счастья. Вот именно, от гордости и счастья — самое подходящее выражение. Что ж, наслаждайтесь, это ваше право, упивайтесь невинными восторгами!

Г. А вы? Или вас это уже не трогает?

В. Меня? О святая простота! Попутешествуйте с мое, милейший, и вы не станете задавать таких вопросов. Мне слоняться по залам банальной галереи, зевать на фрески банальных соборов, плестись по торной тропе любителя банальных достопримечательностей — нет уж, извините!

Г. Но что же вы тогда делаете?

В. Что делаю? Порхаю, ношусь с места на место — всегда в полете, в движении, и всюду сторонюсь исхоженных дорог. Сегодня я в Париже, завтра в Берлине, а там устремляюсь в Рим. Но не ищите меня ни в галереях Лувра, ни в излюбленных прибежищах всех этих зевак, наводняющих ныне европейские столицы. Если уж вам захочется найти меня, ищите в тех одиноких уголках и закоулках, куда рядовой турист и не заглянет. Сегодня вы найдете меня в хижине безвестного крестьянина, где я чувствую себя как дома; завтра увидите в каком-нибудь позабытом замке, погруженным в благоговейное созерцание жемчужины

искусства, которую более равнодушный глаз оставит без внимания, а менее изощренный и вовсе не заметит; или же вы найдете меня на правах гостя во внутренних покоях дворца, в его недоступном святилище, тогда как чернь довольствуется беглым осмотром нежилых комнат, которые покажет ей подкупленный слуга.

Г. Так вы желанный гость в подобных местах?

В. Меня там принимают с распростертыми объятиями.

Г. Поразительно! Чем же это объяснить?

В. Имя моего дедушки открывает мне доступ к любому европейскому двору. Стоит мне назвать себя, и передо мной распахиваются все двери. Я порхаю от двора к двору, летаю, куда захочется, и всюду мне рады. Я чувствую себя так же хорошо в любом европейском дворце, как вы в кругу своих родственников. Мне кажется, я уже перезнакомился со всем титулованным миром Европы. У меня всегда полны карманы самых заманчивых приглашений. На днях я еду в Италию, где на меня абонировалось несколько знатных фамилий, — придется побывать у всех по очереди. В Берлине я ношусь как в угаре — ни одно из дворцовых празднеств не обходится без меня. И куда бы я ни направился — везде одно и то же.

Г. Хорошо же вам живется! Зато представляю, как тянется для вас время в Бостоне, когда вы возвращаетесь домой.

В. Еще бы! Но там меня, почитай, и не видят. Вот уж болото, скажу я вам! Человеку с духовными запросами там в пору повеситься. Глухая провинция, хотя сами бостонцы в таком от себя восторге, что ничего этого не замечают. Человек бывалый, знающий свет и много путешествовавший, видит это невооруженным глазом, но так как изменить он все равно ничего не может, то предпочитает махнуть рукой да и поискать себе среды, которая больше гармонировала бы с его вкусами и духовными запросами. Я наезжаю в Америку не больше чем раз в году, когда ничего лучшего не предвидится, и очень скоро бегу оттуда. Я, можно сказать, постоянный житель Европы.

Г. Понимаю. Вы, стало быть, вырабатываете себе план...

В. С чего вы это взяли, простите? Я враг всяких планов! Я отдаюсь на волю случая, мгновенной прихоти, меня не связывают никакие узы, никакие обязанности, я ничем решительно себя не ограничиваю. Слишком я бывалый путешественник, чтобы стеснять себя какими-то надуманными целями, ставить себе какие-то задачи. Я просто путешественник, заядлый путешественник, — словом, человек большого света. Я не говорю себе: поеду-ка я туда-то или туда-то, — я вообще ничего не говорю, я действую. На той неделе вы можете меня увидеть во дворце у испанского гранда, или в Венеции, или по дороге в Дрезден. Не исключено, что я заверну и в Египет. Зайдет между моими друзьями разговор: «Он где-то на нильских порогах», — а в эту самую минуту кто-нибудь им передаст, что меня видели вовсе в Индии. Вечно я преподношу им подобные сюрпризы. Обо мне так и говорят: «Да, в последний раз, когда нам довелось о нем слышать, он был в Иерусалиме, но кто его знает, где его носит сейчас».

Вскоре Внук поднялся и стал прощаться: вспомнил, должно быть, про randevu, которое назначил ему знакомый император. Расшаркиваясь, он снова проделал весь ритуал: на расстоянии вытянутой руки оцарапал меня своим маникюром, прижал другую руку к жилетке и, весь перегнувшись в талии, трижды поклонился.

— Рад, весьма рад, честное слово, — приговаривал он. — Желаю всяческой удачи.

После чего он удалился, лишив нас своего светлейшего присутствия. Великое дело быть внуком своего дедушки!

Я изобразил его здесь без всякой нарочитости, ибо то раздражение, которое он во мне возбудил, вскоре улеглось, оставив после себя одну лишь жалость. Нельзя сердиться на пустое место! Я старался передать его речь дословно, а если в чем и погрешил против точности, то не погрешил против духа и смысла его речей. Он да еще невинный болтун, повстречав-

шийся нам на швейцарском озере, — быть может, самые колоритные и своеобразные представители Молодой Америки, каких мне случилось видеть за время моих заграничных странствий. Я старался дать здесь их верные изображения, отнюдь не карикатуры. Двадцатитрехлетний внучек раз пять отозвался о себе как о «бывалом путешественнике» и не менее трех раз отрекомендовался (с невозмутимой уверенностью, от которой меня корежило) светским человеком. Восхитительно, как он поносил бостонцев за неисправимый провинциализм и без сожаления и упрека предоставлял их собственной участи.

Построив караван в походном порядке, я объехал его из конца в конец, чтобы проверить, все ли связаны веревкой, и отдал приказ о выступлении. Вскоре дорога вывела нас на зеленый простор. Наконец-то мы выбрались из проклятого леса, и ничто больше не заслоняло от нас цель нашей экспедиции — нашу вершину, вершину Рифельберга.

Мы поднимались по тропе, проложенной для выючных мулов; она поворачивала то вправо, то влево, но неизменно вела вверх; то и дело на нас налетали, расстраивая наши ряды, ватаги туристов — кто взбирался вверх, кто спускался вниз, — и я не видел среди этих оголтелых ни одной связанной веревкою партии. Я продвигался вперед с величайшей осторожностью, так как тропа местами была не шире двух ярдов, к тому же наружный ее край полого спускался к обрыву глубиной футов в восемь-девять. Мне все время приходилось подбадривать моих путников, легко поддававшихся паническим настроениям.

Мы еще засветло достигли бы вершины, если бы нас не задержала потеря одного из зонтиков. Я склонен был отказаться от розысков, но мои спутники возроптали, резонно ссылаясь на то, что на этой открытой местности нам особенно нужно остерегаться лавин и обвалов. Пришлось раскинуть лагерь и выслать многочисленный поисковый отряд.

Утром нас ждали новые трудности, однако близость желанной цели укрепляла наше мужество. Но вот к полудню мы одолели последнее препятствие и наконец

ступили на вершину, не потеряв в пути ни одного человека, за исключением мула, сожравшего нитроглицерин. Итак, великая цель была достигнута, невозможное стало возможным. Победителями вошли мы с Гаррисом в большую столовую Рифельбергской гостиницы и горделиво поставили в угол наши альпенштоки.

Да, я совершил великое восхождение; но было ошибкой пускаться в такой поход во всем параде. Наши цилиндры смялись в блин, наши фрачные фалды свисали лохмотьями, грязь, покрывавшая нас с ног до головы, не служила нам к украшению, и впечатление мы производили не только малоприятное, но и подозрительное.

В гостинице мы застали человек семьдесят пять туристов, главным образом женщин и детей, и все они взирали на нас с таким нескрываемым удивлением, что наши лишения и страдания были вознаграждены. Итак, мы взяли вершину штурмом, и как наши имена, так и памятные даты были запечатлены на каменном монументе, воздвигнутом в честь этого события и в назидаение будущим туристам.

Желая определить высоту, я прокипятил термометр и получил неожиданный результат: *вершина горы оказалась несравненно ниже, чем то место на ее склоне, где я производил свои первые измерения.* Догадываясь, что мне посчастливилось сделать замечательное открытие, я решил его проверить. Над гостиницей возносился еще более высокий пик (под названием Горнер-Грат), и вот, невзирая на то, что у его подножия на головокружительной глубине лежит ледник и что подъем необычайно труден и опасен, я решил взойти на вершину и прокипятить на ней термометр. Итак, я отправил вперед большой отряд, вооруженный мотыгами, которыми нас снабдили в гостинице; двум старшим проводникам было приказано следить за тем, чтобы по всему пути были выдолблены ступеньки, я же замыкал эту цепь, связавшись веревкой с двумя проводниками. Открытый ветрам пик, собственно, и был вершиной, так что я совершил даже бóльший подвиг, чем намеревался. Это геройское деяние увековечено на другом каменном монументе.

Итак, я погрузил термометр в кипящую воду, и он подтвердил мои ожидания. Вершина, которая, по существующим сведениям, возносится на две тысячи футов выше местоположения Рифельбергской гостиницы, на самом деле лежит на девять тысяч футов ниже его. Таким образом, мне удалось установить, что, начиная с известной точки, чем выше кажется расположение предмета, тем оно фактически ниже. Наше восхождение было и само по себе замечательным достижением, но этот мой вклад в науку — дело неизмеримо большей важности.

Ученые педанты скажут вам, что чем выше вы поднимаетесь, тем ниже точка кипения воды и что будто бы этим и объясняется кажущаяся аномалия. На это я возражаю им, что я основываю свою теорию не на поведении кипящей воды, а на показаниях кипящего термометра. А показания термометра — такая штука, с которой нельзя не считаться.

С моей наблюдательной вышки открылся мне великолепный вид на Монте-Розу, да и чуть ли не на все Альпы. До самого горизонта громоздились в первозданном хаосе снеговые гребни мощных гор. Можно было подумать, что перед нами белеют палатки широко раскинувшего свой ратный стан войска бробдингнегов.

Но одиноко и величественно, каждому бросаясь в глаза, стоял исполинский Маттерхорн, врезая в небо свой отвесный клин. Крутые склоны его были запорошены снегом, а верхняя половина тонула в густых облаках, но порой они рассеивались паутиной дымкой, позволяя на минуту увидеть очертания этой величественной башни. Спустя некоторое время Маттерхорн принял обличье вулкана: он стоял обнаженный сверху донизу, и только у самой его вершины вились бесконечные гирлянды белых облаков и, постепенно разматываясь, косо уплывали вверх к солнцу; эти растянувшиеся на много миль клубы испарений вырывались, казалось, из кратера вулкана. А вот и новая метаморфоза: один из склонов горы совсем очистился, тогда как противоположный склон от подножья и до самой маковки заволокло густой пеленой, от которой то и

дело отслаивались летучие клочья, исчезающие за острым ребром монолита, словно завитки дыма, относимые ветром за стену горящего дома. Маттерхорн — неутомимый экспериментатор, добывающий все новых редкостных эффектов. При заходе солнца, когда весь дольний мир окутан мраком, он один среди победившей тьмы поднимает в небо свой огненный палец. При восходе солнца он не менее прекрасен¹.

Все авторитеты сходятся на том, что в Альпах не найдется другого такого доступного места, с которого открывалась бы грандиозная панорама белоснежного величия Альп, их могучей, возвышенной красоты, как вершина Рифельберга. А потому мой совет туристам — обвязаться веревкой и смело лезть наверх, ибо я достаточно показал, что при должной выдержке, осмотрительности и ясном рассудке это вполне достижимое предприятие.

Хотелось бы добавить одно замечание, — так сказать, в скобках, — мне его подсказывают только что уроненные слова: «белоснежное величие». Каждому из нас не однажды доводилось видеть горы, холмы и равнины, покрытые снегом, и мы склонны думать, что все эффекты и аспекты, создаваемые снегом, нам достаточно знакомы. А между тем это далеко не так, если вы не видели Альп. Возможно, что объем и расстояние добавляют нечто новое, — во всяком случае, здесь *есть* что-то новое. Помимо всего прочего, вам первым делом бросается в глаза ослепительная, насыщенная белизна альпийского снега, освещенного солнцем, она-то и представляется новым, непривычным для глаза. Привычный нам снег отливает всякими оттенками, — на полотнах живописцев он отсвечивает чаще всего синевой, — но вы не заметите ни малейших

¹ **Примечание.** Мне посчастливилось на короткое время увидеть Маттерхорн свободным от облаков. Я тут же навел на него аппарат и получил бы превосходный снимок, если бы его не испортили уши моего осла. Я хотел сам написать вид Маттерхорна для моей книги, но так как пейзаж не принадлежит к числу моих сильных сторон, поручил сделать это профессионалу. — М. Т.

оттенков в альпийском снеге, когда его видишь изда- лека и когда его белизна кажется особенно безупреч- ной. А уж что до невообразимого великолепия этого снега, когда он сверкает и искрится на солнце, то ска- зать о нем можно только одно — что оно невообразимо.

Глава X

Путеводители. — Я строю планы насчет обратного пути. — Ледник как средство передвижения. — Спуск на парашютах. — У каждого находится отговорка. — Мы оставляем ледник. — На пути в Церматт.

Путеводители хоть кого обескуражат. Читатель ви- дел, с какими трудностями сталкивается человек, со- вершая великое восхождение из Церматта к Рифель- бергской гостинице. А посмотрите, какую ахинею не- сет на этот счет Бедекер!

1. Дистанция — три часа ходу.
2. Сбиться с дороги невозможно.
3. Проводник не требуется.
4. От Рифельбергской гостиницы до Горнер-Грата полтора часа ходу.
5. Подъем нетруден. Проводник не требуется.
6. Церматт — высота над уровнем моря 5315 футов.
7. Рифельбергская гостиница — высота над уровнем моря 8429 футов.
8. Горнер-Грат — высота над уровнем моря 10 289 футов.

Я самым энергичным образом опроверг эту гали- матью, сообщив мистеру Бедекеру следующие дан- ные:

1. Переход от Церматта к Рифельбергской гости- нице — семь дней.
2. Сбиться с дороги вполне возможно. А если со- мной это случилось с первым, не откажите засвиде- тельствовать мой приоритет.
3. Проводники нужны, так как, не будучи мест- ным жителем, трудно разобраться в надписях, ука- зывающих дорогу.

4. Высота ряда пунктов над уровнем моря дается с обычной для Бедекера точностью. Он только обсчитывает вас на каких-нибудь сто восемьдесят — сто девяносто тысяч футов.

Арника оказывает прямо-таки волшебное действие. Мои люди мучительно страдали, так как в силу сидячей жизни натерли себе волдыри. В течение двух-трех дней они могли только лежать или ходить, но арника так помогла им, что на четвертый день все они уже были в состоянии сидеть. Полагаю, что выдающимся успехом нашего великого начинания я обязан преимущественно арнике и снотворному.

Когда здоровье и силы моих людей восстановились, я стал думать о том, как переправить их вниз. Мне не хотелось снова подвергать этих храбрецов трудностям, опасностям и испытаниям пройденного мучительного пути. Прежде всего у меня мелькнула мысль о воздушных шарах, но, разумеется, с этой идеей пришлось расстаться, — ибо где их взять, воздушные шары? Были у меня и другие планы, но по здравом размышлении я и от них отказался. Наконец я напал на правильную мысль. Установлено, что ледники непрерывно движутся, — я вычитал это в Бедекере. И мне пришло в голову, что всего проще нам спуститься в Церматт на борту Горнерского ледника.

Отлично! Правда, надо было еще обдумать, как бы нам поудобнее переправиться на ледник, — спуститься обычной, бесконечно петляющей мульей тропой казалось мне и долго и утомительно. Опять я раскинул мозгами, и у меня блеснула гениальная мысль. Стоя на Горнер-Грате, мы видели внизу на глубине в тысячу двести футов огромную замерзшую реку — это и есть Горнерский ледник. А ведь у нас имелось с собой сто пятьдесят четыре зонта — чем не парашюты?

Охваченный энтузиазмом, я посвятил в эти смелые планы Гарриса и уже готов был перейти к делу: вся моя команда должна была собраться на Горнер-Грате и, вооружившись зонтами, прыгать повзводно — каждый взвод под началом своего проводника. Но Гаррис удержал меня, умоляя не торопиться.

— Практиковался ли этот метод в Альпах когда-

либо раньше? — полюбопытствовал он; и, услышав, что мне ничего о таких попытках не известно, заявил, что считает это предприятие весьма ответственным. Чем сразу прыгать всей командой, не разумнее ли совершить сперва индивидуальный опыт и посмотреть, что получится.

Это был дельный совет, и я сразу же внял ему. Поблагодарив своего агента, я предложил ему самому, не откладывая дела в долгий ящик, привязаться к вонту и произвести попытку; если спуск сойдет благополучно, распорядился я, пусть он помашет нам шляпой, и тогда я тем же порядком посажу на борт всю остальную команду.

Гаррис был тронут моим доверием и сказал мне это с заметной дрожью в голосе, однако тут же добавил, что он недостойн такого явного предпочтения: как бы другие не стали ему завидовать, еще скажут, пожалуй, что он бесчестными путями домогался этого назначения, тогда как он не только не искал его, но даже втайне о нем не помышлял.

Я сказал Гаррису, что эти чувства делают ему честь, но нельзя же из-за какой-то завистливой мелюзги отказаться от неповторимой возможности — заработать славу человека, первым спустившегося на парашюте с Альп. Нет, убеждал я его, он должен принять мое предложение, ибо это уже не предложение, а приказ.

Гаррис с чувством поблагодарил меня, сказав, что такая постановка вопроса в корне меняет дело. После чего он удалился и вскоре вернулся с зонтом, проливая слезы признательности и стуча зубами от восторга. В это время невдалеке показался наш главный проводник. При виде его лицо Гарриса озарилось неизъяснимой нежностью, и он сказал:

— Дня четыре назад этот человек нанес мне тяжкое оскорбление, и я поклялся, что не я буду, если не заставлю его понять и признать, что самая благородная месть — воздать врагу добром за содеянное зло. А потому я отказываюсь в его пользу. Назначь его!

Я заключил своего великодушного друга в объятия и воскликнул:

— Ты благородная душа, Гаррис! Клянусь, ты никогда не пожалеешь о своем геройском поступке, и весь мир о нем услышит. Когда-нибудь тебе будет предоставлена еще более замечательная возможность — если я только буду жив, конечно, — запомни это!

И тут я подозвал к себе главного проводника и поручил ему прыгать с зонтом. Но он отнесся к моему предложению без всякого энтузиазма, моя идея его не зажгла.

— Мне привязаться к зонту и спрыгнуть с Горнер-Грата? Нет уж, прошу прощенья! Если мне захочется отправиться ко всем чертям, я найду более приятный способ это сделать.

Как выяснилось из дальнейшего, он считал мой проект более чем опасным — безумным. Он не убедил меня, но, не желая серьезно рисковать и ставить под угрозу интересы всей экспедиции в целом, я отпустил его. Я не знал, как мне быть, пока не вспомнил о латинисте.

Латинист был немедленно приглашен. Но тут же стал отказываться, ссылаясь на неопытность, на отвращение к публичным выступлениям, на полное отсутствие любознательности и так далее и тому подобное. Другой член экспедиции некстати схватил насморк и боялся сквозняков. Третий не решался прыгать за недостатком опыта и умения и ставил условием предварительную долгую тренировку. Четвертый боялся дождя, так как у него прохудился зонт. У каждого находилась отговорка. А в результате получилось то, о чем читатель, конечно, давно догадывается: на превосходнейшей идее пришлось поставить крест — только потому, что не нашлось предприимчивого человека, который решился бы воплотить ее в жизнь! Увы, мне пришлось пожертвовать моим гениальным проектом, хоть я и уверен, что кто-нибудь еще при моей жизни воспользуется им и присвоит себе мои лавры.

Ничего не поделаешь — пришлось спуститься посуху. Я повел экспедицию трудной и утомительной тропой для мулов, и мы заняли по возможности удоб-

ные позиции на середине ледника, ибо середина, по словам Бедекера, движется быстрее. Однако в целях экономии более тяжелую часть багажа я отправил малой скоростью, оставив его на окраине ледника.

Я ждал и ждал, но ледник не двигался. Дело шло к вечеру, спускались сумерки, а мы все стояли на месте. Мне пришло в голову поискать в Бедекере, нет ли там расписания, — хорошо было бы выяснить час отправления. Я попросил дать мне этот справочник, но он куда-то затерялся. У Брэдшо наверняка имелось расписание, но и Брэдшо затерялся.

Что мог я сделать в таком положении? Я раскинул палатки, привязал животных к колышкам, подоил коров, поужинал, накачал людей снотворным, расставил часовых и отправился на покой, приказав разбудить меня, как только вдали покажется Церматт.

Проснулся я в одиннадцатом часу утра, глянул во круг — и остолбенел от удивления: мы не сдвинулись ни на пядь! Сперва я ничего не понимал, потом решил, что проклятая посудина села на мель. Тогда я срубил несколько деревьев, поставил на штирборте и бакборте мачты, а потом часа три возился, как дурак, стараясь отпихнуться шестом. Напрасно! Шутка ли сказать: ледник насчитывает полмили в ширину и от пятнадцати до двадцати миль в длину, — догадайся тут, каким именно местом он угодил на мель! Среди экипажа началась тревога, и вскоре мои дневальные с белыми, как стенка, лицами, прибежали доложить, что судно дало течь.

В эту критическую минуту нас спасло единственно мое хладнокровие, иначе не миновать бы нам новой паники. Я повелел показать мне эту течь. Меня подвели к огромному валуну, торчавшему посреди глубокого омута с кристально чистой водой. Течь и мне показалась серьезной, но я хранил свои опасения про себя. Я соорудил насос и приказал своим людям выкачать из ледника всю воду. Эта мера блестяще себя оправдала. Вскоре я убедился, что никакой течи нет. Огромный валун в свое время скатился со скалы и упал на середину ледника; каждый день его пригревало солнце, и он все глубже уходил в талый лед, пока

не оказался в глубоком омуте с кристально чистой студеной водой, где мы его и обнаружили.

Тут кстати был найден Бедекер, и я принялся лихорадочно листать его. Но никакого расписания не нашел. В Бедекере просто говорилось, что ледник движется безостановочно. Положившись на это, я захлопнул книжку и выбрал себе местечко получше, откуда я мог бы наблюдать сменяющиеся виды. Некоторое время я сидел спокойно, от души наслаждаясь, пока не спохватился, что виды вокруг не меняются. Я сказал себе: «Эта старая калоша, видно, опять села на мель!» — и обратился к Бедекеру: нет ли там каких-нибудь указаний относительно непредвиденных помех в пути. Вскоре я наткнулся на фразу, которая точно ослепительной вспышкой осветила положение. Фраза эта гласила: «Горнерский ледник движется в среднем со скоростью до одного дюйма в день». Никогда еще я не был так возмущен! Никогда мое доверие не было так предательски обмануто! Я мысленно подсчитал: дюйм в день, около тридцати футов в год. Примерное расстояние до Церматта составляет три с одной восемнадцатой мили. Итак, чтобы добраться на леднике до Церматта, потребуется пятьсот лет с лишком. Я сказал себе: «Этак скорее дойдешь пешком; и чем покрывать чьи-то жульнические махинации, я и в самом деле пойду пешком».

Когда я рассказал Гаррису, что пассажирская часть ледника — его центральная, так сказать курьерская часть — прибудет в Церматт летом 2378 года, а следующий малой скоростью багаж придет спустя еще два-три столетия, он разразился громовой речью:

— Узнаю европейские порядки! Слыханное ли дело — дюйм в день! Пятьсот лет, чтобы одолеть три несчастных мили! Впрочем, я несколько не удивлен! Ведь ледник-то католический! Это видно с первого взгляда. Ну и порядки у них!

Я стал возражать Гаррису: ледник, насколько мне известно, только одним краем входит в католический кантон.

— Ну, значит он правительственный, — не успокаивался Гаррис. — Что католический, что правительст-

венный — все едино. Ведь здесь правительство — полный хозяин, вот все у них и делается спустя рукава, полегоньку да потихоньку. То ли дело у нас, где у руля частная инициатива, — разве у нас станут терпеть такое разгильдяйство? Не станут, будьте покойны! Нашего бы Тома Скотта сюда, на эту неповоротливую чурку, она бы у него забегала.

Я сказал, что, конечно, Том Скотт прибавил бы леднику скорости, но лишь при условии, что это коммерчески себя окупит.

— У него все себя окупит, — не сдавался Гаррис. — В том-то и разница между правительством и частным лицом. Правительству на все наплевать; частному лицу — нет. Том Скотт прибрал бы к рукам здешнюю деловую жизнь; за два года акционерный капитал Горнерского ледника у него бы удвоился, а еще через два года все другие ледники по всей стране были бы пущены с молотка за неуплату налогов. — И после минутного размышления: — До дюйма в день — до одного дюйма, вы только подумайте! Нет, я теряю всякое уважение к ледникам!

Я чувствовал примерно то же. Мне доводилось плавать по каналам на барже, и трястись на волах, и тащиться на плотах и по Эфесско-Смирненской железной дороге, — но там, где встанет вопрос о надежном, солидном, спокойном, неторопливом движении, я поставлю деньги только на ледник. Как средство пассажирского сообщения ледник, по-моему, ни черта не стоит, но уж насчет «малой скорости» он за себя стоит, тут даже немцам есть чему поучиться.

Итак, я приказал людям свернуть лагерь и приготовиться к сухопутному переходу в Церматт. Во время сборов мы сделали замечательную находку: в толщу ледника вмерз какой-то темный предмет. Когда его извлекли с помощью ледорубов, это оказался кусок невыделанной шкуры животного, а может быть, и обломок обитого шкурой сундука. Впрочем, при ближайшем рассмотрении теория сундука была отвергнута, а дальнейшие дискуссии и обследования развеяли ее окончательно, и все представители ученого мира

отказались от нее, за исключением того, кто первый ее выдвинул. Этот энтузиаст держался за свою теорию с той фанатической страстностью, которая присуща всем основателям научных теорий, и со временем он даже привлек на свою сторону несколько величайших умов нашего века, написав остроумнейший памфлет под заглавием: «Доказательства в пользу того, что обитый шкурой сундук в диком состоянии принадлежал к раннеледниковому периоду и вместе с пещерным медведем, первобытным человеком и другими оэлитами древнесилурийского семейства бродил по необъятным просторам предвечного хаоса».

Каждый из наших ученых предлагал свою теорию, каждый выдвигал своего претендента на роль владельца найденной шкуры. Я склонялся к мнению геолога экспедиции, утверждавшего, что найденный кусок шкуры когда-то, в незапамятные времена, покрывал сибирского мамонта; но на этом единомыслие и кончалось, ибо геолог усматривал в этой реликвии доказательство того, что Сибирь во времена оны находилась на месте нынешней Швейцарии, я же видел в ней доказательство того, что первобытный швейцарец не был таким неотесанным дикарем, каким его изображают, что он отличался высоким интеллектом и был усердным посетителем зверинцев.

В тот же вечер, претерпев немало лишений и опасностей, мы вышли к ледяной арке, сквозь которую бесноватый Висп, вскипая, вырывается из-под пяты Горнерского ледника, выбрали удобную поляну и расположились на ней биваком. Все трудности остались позади, наше отважное предприятие было успешно завершено, и мы наслаждались заслуженным отдыхом. На другой день мы триумфаторами вступили в Церматт и были встречены народным ликованием и великими почестями. Местные власти преподнесли мне грамоту, скрепленную многочисленными подписями и печатями, коей доводился до общего сведения и удостоверялся тот факт, что я совершил восхождение на Рифельберг. Я ношу эту грамоту на шее, и ее положат со мной в могилу, когда меня не станет.

Ледники. — Какими опасностями они угрожают — Их чудовищные размеры. — Путешествующий ледник. — Скорость движения. — Восхождение на Монблан. — Исчезновение проводников. — Встреча старых друзей. — Шамонийские мощи.

Сейчас я лучше разбираюсь в вопросе о движении ледников, чем в ту пору, когда собирался совершить путешествие на Горнерском леднике. Я кое-что «подчитал» с тех пор. Так, мне известно, что эти исполинские ледяные массивы обладают не одинаковой скоростью. Если Горнерский ледник проходит в день расстояние меньше дюйма, то Унтераарский делает восемь дюймов, а иные ледники развивают скорость до двенадцати, шестнадцати и даже двадцати дюймов в день. По словам одного ученого, скорость движения ледников колеблется от двадцати пяти до четырехсот футов в год.

Что такое ледник? Проще всего сказать, что это замерзшая река, залегающая в извилистой ложине между горами. Но такой ответ не дает представления о его огромных размерах. Ибо толщина льда у него достигает порой шестисот футов, а мы не знаем таких глубоких рек. Глубина наших рек исчисляется в шесть, двадцать, в редких случаях — пятьдесят футов; нам трудно представить себе ледяную реку в шестьсот футов глубиной.

Поверхность ледника не бывает гладкой и ровной, она пересечена глубокими впадинами и торчащими буграми, иногда она кажется бушующим морем, застывшим в ту минуту, когда волнение достигло апогея; поверхность ледника не представляет собой сплошной массы, она изрезана трещинами и расселинами, то узкими, то широкими. Немало путников, поскользнувшись или оступившись на льду, проваливались в них и гибли. Бывали случаи, когда человека вытаскивали живым, но это возможно только, если он не провалился слишком глубоко. Пусть он не разбился, не ранен, — на большой глубине он неизбежно окоченеет. Трещины в леднике не идут прямо до самого дна, они просмат-

риваются самое большее на глубину в двадцать — сорок футов; человека, провалившегося в трещину, ищут — в надежде, что он застрял на таком расстоянии, где помощь еще возможна, хотя на деле поиски почти всегда обречены на неуспех.

В 1864 году партия туристов спускалась с Монблана. Пробираясь по мощному леднику, которых так много в этой высокогорной области, все они, как полагается, связались веревкой, и только один молодой носильщик отделился от остальных, затеяв пройти по ледяному мостику, перекинутому через трещину. Под его тяжестью мостик рухнул, и юноша свалился вниз. Его спутникам не видно было, глубоко ли он упал, и они надеялись его спасти. Отважный молодой проводник Мишель Пайо вызвался спуститься за ним.

К кожаному поясу проводника прикрепили две веревки, а конец третьей дали ему в руки, чтобы он обвязал ею товарища, если найдет его. Юношу спустили в трещину и спускали все ниже между голубыми стенками кристального льда — видно было, как он достиг поворота и исчез за ним. Все глубже и глубже спускали его в бездонную могилу; достигнув глубины в восемьдесят футов, он свернул еще за один угол и отсюда спустился еще на восемьдесят футов между отвесными стенами пропасти. Достигнув уровня на сто шестьдесят футов ниже поверхности льда, он разглядел в полумраке, что трещина делает здесь новый изгиб и уходит под крутым уклоном вниз, в неведомую глубь, — дальнейший путь был неразличим в потемках. Как же должен был чувствовать себя человек в этом гиблом месте, да еще зная, что кожаный пояс может не выдержать нагрузки и лопнуть? Пояс так сдавил юношу, что он боялся задохнуться. Он крикнул друзьям, чтобы они вытащили его, но те не слышали. Они по-прежнему разматывали веревку, спуская его все ниже и ниже. Тогда юноша изо всех сил дернул за третью веревку; товарищи поняли сигнал и вытащили бесстрашного малого из ледяных челюстей смерти.

Потом они привязали к веревке бутылку и спустили вниз на двести метров, но она так и не достигла дна. Когда бутылку вытащили, она вся заиндевела —

верный знак, что если даже бедняга не разбился при падении, то он довольно скоро погиб от мороза.

Ледник походит на исполинский, непрестанно движущийся плуг, сокрушающий все на своем пути. Он толкает перед собой массы обломков горной породы, которые, налезая друг на друга, пересекают устье его ложа как бы длинной могильной насыпью или крутой двускатной крышей. Это то, что называется мореной. Такие же морены громоздит ледник и по обе стороны своего ложа.

Сколь ни внушительны современные ледники, их не сравнишь с теми, какие бывали в доисторические времена. Вот что говорит, например, мистер Уимпер:

«Когда-то, в отдаленные времена, долина Аосты была вся из конца в конец занята грандиозным ледником, тянувшимся от Монблана до Пьемонтской равнины. Передний его край, почти не двигавшийся с места в течение столетий, оставил здесь огромные отложения. Длина ледника превышала *восемьдесят миль*, и он затоплял бассейн, имевший от двадцати пяти до тридцати пяти миль в поперечнике и оцепленный высочайшими альпийскими пиками. Склоны этих грандиозных гор, достигавших высоты в несколько тысяч футов, тогда, как и теперь, постепенно разрушались под действием климатических изменений и засыпали ледник огромными обломками, о чем свидетельствуют ныне морены Иврей, состоящие из обломков угловатой, необкатанной формы».

«Морены в окрестностях Иврей поражают своими размерами. Та, что тянулась по левому берегу ледникового ложа, насчитывает *тринадцать миль* в длину, а высота ее достигает местами *двух тысяч ста тридцати футов* над дном долины! Конечные же морены (те, что ледник толкал перед собой) покрывают площадь около двадцати квадратных миль. Толщина льда у выхода из долины Аосты должна была достигать по меньшей мере *двух тысяч футов*, а ширина — *пяти с четвертью миль*».

Нам нелегко представить себе такую грандиозную ледяную глыбу. Если бы можно было отрубить переднюю кромку такого ледника — продолговатую плиту в

три мили шириной, пять с четвертью миль длиной и две тысячи футов толщиной, ею можно было бы укрыть весь Нью-Йорк; шпиль церкви св. Троицы торчал бы из нее примерно настолько же, насколько гвоздик торчит из подошвы сапога.

«Валуны, перенесенные с Монблана на равнину пониже Иврей, позволяют нам судить о том, как долго существовал ледник, занесший их сюда. Эти валуны на четыреста двадцать тысяч футов удалены от родных утесов, и даже полагая, что они проходили в год по четыреста футов, их путешествие продолжалось не менее тысячи пятидесяти пяти лет. На самом же деле они двигались, вероятно, гораздо медленнее».

Впрочем, бывают случаи, когда ледники меняют свой обычный черепаший аллюр на более стремительный. Какое это, должно быть, изумительное зрелище! Мистер Уимпер приводит случай, имевший место в Исландии в 1721 году:

«Надо думать, что в ледниках или под ледниками, по соседству с горой Котлуджа скопились (от внутреннего тепла земли или же по другим причинам) огромные запасы талых вод; колоссальным напором воды ледники были сорваны со своих причалов и снесены в открытое море. За несколько часов исполинские глыбы льда прошли по суше расстояние в десять миль; эти ледяные массы были так огромны, что покрыли море на семь миль от берега, опустившись на морское дно на глубину в шестьсот футов. Земля, по которой они прошли, была оголена. Все неровности почвы, все бугры и вмятины сглажены. Все почвенные наслоения начисто содраны, и обнажена каменистая подпочва. По дошедшему до нас в одном описании образному выражению, вся поверхность словно *состругана рубанком*».

Переведенное с исландского сообщение очевидца рассказывает, что гороподобные руины величественного ледника так густо покрыли море, что даже с самой высокой вершины не видно было открытой воды. На земле это небывалое нашествие оставило свой след в виде протянувшейся на много миль исполинской ледяной стены, или вала.

«Чтобы дать представление о высоте этого ледяного вала, достаточно сказать, что с высоко расположенной фермы Хофдабрекка нельзя было увидеть лежащей напротив, на высоте в шестьсот сорок футов, фермы Хьорлейфсхофди; она видна была только со склона горы к востоку от Хофдабрекки, на высоте в тысяча двести футов».

Все эти описания помогут читателю уяснить, почему человек, общающийся с ледниками, кажется себе в конце концов изрядным ничтожеством. Как бы высоко он ни мнил о себе, Альпы во взаимодействии с ледниками вытряхнут из него всю его самонадеянность, сведя ее к нулю; надо только, чтобы он находился в их суверенном обществе достаточно долго, дабы их влияние могло проявиться во всей своей действительной силе.

Итак, альпийские ледники движутся, и теперь никто уже этого не оспаривает. А ведь было время, когда над этой истиной смеялись; говорили, что если ледяные глыбы протяжением во много миль своим ходом ползают по скалам, то почему бы не ползать и самим скалам? Но прибавлялись все новые доказательства, и мир наконец поверил.

Ученые не только утверждали, что ледники движутся, но и вычисляли скорость их движения. Они изучали аллюр какого-нибудь ледника, а потом предсказывали с уверенностью, что за столько-то лет он пройдет такое-то расстояние. О том, с какой поразительной точностью делаются эти подсчеты, свидетельствует следующий любопытный рассказ.

В 1820 году два англичанина и один русский и с ними семь проводников совершали восхождение на Монблан. Они поднялись на большую высоту и уже приближались к вершине, когда на них обрушилась лавина. Часть партии смело с крутого склона на двести футов вниз, при этом пятеро проводников провалились в трещину ледника. Одного из них спас длинный барометр, висевший у него за спиной: барометр лег поперек трещины, и это дало упавшему возможность продержаться, пока не подспела помощь; другого таким же образом спас его альпеншток. Но трое их

товарищей погибли; их имена — Пьер Бальма, Пьер Карье и Огюст Тераз. Их увлекло в бездонные глубины трещины.

Доктор Форбс, известный английский геолог, часто посещал Монблан и его окрестности, занимаясь, между прочим, и вопросом о движении ледников. В одной из этих экскурсий он вывел окончательную цифру скорости движения ледника, поглотившего трех проводников, и предсказал, что по истечении тридцати пяти — сорока лет после катастрофы ледник отдаст свои жертвы, выбросив их к подножью горы.

Убийственно медленное и тягучее путешествие, движение, неуловимое для глаза, — но оно совершалось своей неизменной чередой, не прекращаясь ни на мгновение. Камень, скатившись с горы, проделал бы этот путь за несколько минут, — отправная точка видна была из деревни, лежавшей внизу, в долине.

Предсказание сбылось с примечательной точностью: по прошествии сорока одного года после катастрофы останки погибших были выброшены к подножью ледника.

Я нашел интересное описание этого случая у Этьена Д'Арв в его «Истории Монблана». Привожу его здесь в сокращенном виде.

Двенадцатого августа 1861 года — народ еще стоял у ранней обедни — в мэрию городка Шамони прибежал запыхавшийся проводник, неся за спиной зловещую ношу. Это был мешок с человеческими останками, подобранными на Боссонском леднике у наружного выхода трещины. Проводник полагал, что останки эти принадлежали жертвам катастрофы 1820 года, и тщательное расследование, проведенное местными властями, вскоре доказало правильность его догадки. Содержимое мешка было выложено на длинный стол и составлена официальная опись. Вот, примерно, что в ней значилось:

Отдельные кости от трех человеческих черепов. Пряжи черных и белокурых волос. Человеческая челюсть с безупречными белыми зубами. Предплечье и кисть руки — то и другое белое и свежее, все пальцы в целости, отчасти сохранилась подвижность суставов.

На безымянном пальце заметна царапина и след крови, несколько не потускневший за сорок один год. Левая ступня, тоже белая, не тронута разложением.

Вместе с останками найдены были клочки жилетов, шляп, башмаков, подбитых шипами, и другой одежды; голубиное крыло с черными перьями; обломок альпенштока; оловянный фонарь и, наконец, отварной бараний окорок, единственный из найденных предметов, издававший зловоние. По словам проводника, баранина, когда он подобрал ее, несколько не пахла, но, пролежав с час на солнце, начала разлагаться.

Были вызваны свидетели для опознания печальных останков, и тут произошла трогательная сцена. Из очевидцев ужасной катастрофы, происшедшей чуть не полвека назад, оставались в живых двое: Мари Куте (спасенный альпенштоком) и Жюльен Давуасу (спасенный барометром). Оба старца вошли и были допущены к столу. Давуасу, у которого в его восемьдесят с лишком лет уже дремали память и рассудок, молча, пустыми глазами уставился на страшное зрелище, не проявляя и тени интереса; не то семидесятидвухлетний Куте — его умственные способности еще вполне сохранились, и то, что он увидел, глубоко его потрясло.

— Белокурый, — показал он, — это Пьер Бальма, в тот день на нем была соломенная шляпа. Этот обломок черепа с пучком белокурых волос — его, Пьера Бальма, и эта шляпа — его. Пьер Карье был жгучий брюнет, это его череп, а вот и его войлочная шляпа. А это рука Бальма, я очень хорошо ее помню.

Старик склонился и поцеловал эту руку, а потом любовно сжал ее в своих пальцах и воскликнул с чувством:

— Эх, Бальма, Бальма, смел ли я думать, что мне еще в этой жизни суждено пожать твою руку, добрый старый друг!

Было что-то зловещее и трогательное в том, как седой ветеран сжимал в своей руке руку товарища, который уже сорок лет как покинул этот мир. Когда их руки встретились в последний раз, обе они были еще одинаково сильны и молоды; а теперь одна рука почернела, и сморщилась, и одеревенела от старости, а

другая была все такой же молодой и красивой и безупречно упругой, точно сорок лет промелькнули как миг, не оставив по себе следа. В одном случае время шло, в другом стояло на месте. Человек, не видевший друга десятки лет, помнит его таким, каким видел напоследок, и при новой встрече с удивлением, с ужасом замечает в нем перемены, произведенные временем. Случай с Мари Куте, которому пришлось увидеть друга таким же, каким он хранил его в памяти все сорок лет, быть может единственный в истории человечества.

Куте опознал и другие останки:

— Это шляпа Огюста Тераза. Тераз нес клетку с голубями: мы хотели выпустить их, когда взберемся на вершину. Это крыло одного из тех голубей. А вот и обломок моей палки. Этой палке я обязан спасением! Не думал я, что еще раз увижу деревяшку, которая удержала меня над могилой, поглотившей моих бедных товарищей!

Никаких телесных останков Тераза не нашли. Были проведены тщательные поиски, но безуспешно. И только спустя год, при возобновлении этой попытки, кое-что удалось найти. Было обнаружено много остатков одежды, принадлежавшей погибшим, а также обломок фонаря и обрывок зеленой вуали в пятнах крови. Но вот еще одна любопытная подробность.

Один из искавших вдруг увидел руку в рукаве, торчавшую из расщелины в ледяной стене, с кистью, словно протянутой для пожатия. «Ногти на белой руке все еще сохраняли розовый оттенок, а положение протянутых вперед пальцев, казалось, выражало красноречивое приветствие вновь обретенному свету дня».

Рука так и осталась в одиночестве; туловища не нашли. Снятая со льда, она очень быстро утратила свои свежие краски, розовые ногти покрылись алебастровой белизною смерти. То была третья *правая* рука; таким образом удалось установить, что найдены останки всех трех жертв.

Русского, принимавшего участие в памятном восхождении, звали доктор Гамель. Он при первой же

возможности покинул Шамони, проявив полное равнодушие к происшедшей катастрофе и не оказав никакого внимания, не говоря уж о помощи, вдовам и сиротам погибших, за что вся община от души его кляла. Месяца за четыре до знаменательной находки некий Бальма, проводник из Шамони, родственник погибшего, случайно попав в Лондон, встретил в Британском музее еще вполне бодрого старого джентльмена, который обратился к нему со словами:

— Я случайно услышал ваше имя. Вы не из Шамони, мосье Бальма?

— Из Шамони, сэр.

— Ну как, не нашлись еще трупы трех моих проводников? Я — доктор Гамель.

— Увы, нет, мосье!

— Ничего, найдутся рано или поздно.

— Да, доктор Форбс и мистер Тиндол уверяют нас в том же. Ледник будто бы рано или поздно отдаст свои жертвы.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь. А какой это будет удачей для Шамони. Туристы повалят к вам толпами. Вы можете создать музей из останков, публика это любит.

Идея, столь чудовищная, никак не способствовала примирению жителей Шамони с ненавистным для них именем доктора Гамеля. Все же ему нельзя отказать в знании человеческой природы. О его идее прослышали местные власти, они самым серьезным образом обсудили ее за своим совещательным столом, и только решительная оппозиция друзей и родственников покойных помешала привести ее в исполнение: те потребовали для найденных останков христианского погребения и сумели настоять на своем.

Во избежание расхищения этих жалких реликвий, их приходилось неусыпно сторожить. И все же кое-какие мелочи попали на рынок. Лохмотья и обрывки парусины были пущены в продажу из расчета двадцать долларов за ярд. Остатки фонаря и кое-какие другие аксессуары оценивались на вес золота. А какой-то англичанин уплатил фунт стерлингов за пуговицу от брюк.

Катастрофа на Маттерхорне в 1865 году. — Взятие Маттерхорна — Начало восхождения. — Страшное падение. — Гибель лорда Дугласа и трех его товарищей.

Одна из самых памятных альпийских катастроф произошла в июле 1865 года на Маттерхорне. Мы уже вскользь упоминали о ней на предыдущих страницах. Подробности этой трагедии вряд ли известны в Америке, а большинство наших читателей и вовсе о ней не слыхало. Наиболее достоверное сообщение принадлежит перу мистера Уимпера. Я решил включить сюда добрую часть его рассказа: во-первых потому, что он интересен, а во-вторых для того, чтобы дать читателю наглядное представление о том, с какими опасностями связано досужее времяпрепровождение, именуемое альпинизмом. То была за несколько лет девятая попытка мистера Уимпера одолеть эту непокорную каменную глыбу — единственная увенчавшаяся успехом. До него никому не удавалось совершить это восхождение, хотя попыток делалось немало.

РАССКАЗ МИСТЕРА УИМПЕРА

Мы выступили из Церматта 13 июля, в половине шестого, в ясное, безоблачное утро. Нас было восемь человек — Кроз (проводник), старый Петер Таугвальдер (проводник) с двумя сыновьями, лорд Ф. Дуглас, мистер Хэдау, его преподобие мистер Хадсон и я. Для того чтобы обеспечить равномерное движение, было решено идти по двое — турист в паре с местным горцем. Мне досталось идти с Таугвальдером-младшим. Кроме того, мне досталось нести кожаные мехи с вином, и после каждого привала я потихоньку доливал их водой, так что они раз от разу становились полнее. Все сочли это добрым предзнаменованием и чуть ли не чудом.

В первый день мы не рассчитывали подняться высоко и шли не торопясь. К полудню, на высоте в одиннадцать тысяч футов, мы вышли на удобную поляну и

раскинули здесь палатку. До конца дня каждый отдыхал, как хотел, — кто грелся на солнце, кто делал зарисовки, а кто пополнял свои коллекции камней или растений. Хадсон приготовил чай, я — кофе, а с наступлением вечера каждый залез в свой спальный мешок.

Четырнадцатого мы встали затемно и, как только чуть посветлело, возобновили подъем. Один из молодых Таугвальдеров вернулся в Церматт. За несколько минут мы обогнули ребро горы, скрывавшее от нас ее восточный склон, пока мы стояли на биваке. Теперь, когда мы видели его сверху донизу, он казался огромной естественной лестницей, уходившей ввысь на три тысячи футов. Подъем был где легче, где труднее, но где бы мы ни встретились с серьезным препятствием, всегда у нас была возможность обойти его справа или слева стороной. Мы всего лишь несколько раз прибегали к веревке, впереди шел то Хадсон, то я. В шесть двадцать мы достигли высоты в двенадцать тысяч восьмьсот футов и сделали получасовой привал. Отдохнув, продолжали восхождение до девяти пятидесяти пяти и на высоте в четырнадцать тысяч футов сделали второй привал.

Мы подошли к той части горы, которая с Рифельберга кажется отвесной или даже нависающей. Подниматься дальше с восточной стороны было уже невозможно. Некоторое время мы шли по *arête* — то есть по гребню, — увязая в снегу, а потом свернули вправо и вышли на северный склон. Идти стало труднее, все время приходилось быть начеку. Нога то и дело соскальзывала, не находя упора; общий наклон горы здесь не достигает сорока градусов, поэтому скопилось много снега, снег забил все трещины, и только тут и там торчали скалистые выступы. Часто их покрывала наледь. Это место требовало от восходителя большой сноровки, хотя для привычного горца оно и не представляло особенной трудности. Около четырехсот футов мы шли почти что по горизонтали, потом поднялись на шестьдесят футов, держа курс прямо на вершину, после чего спустились к гребню, обращенному в сторону Церматта. Долгий и опасный обход одного нескладного

выступа снова вывел нас на снежный склон. Рассеялось последнее сомнение! Маттерхорн был наш! До вершины осталось сделать каких-нибудь двести футов по неглубокому снегу.

Чем выше мы поднимались, тем больше росло наше радостное возбуждение. Склон становился более пологим, и тут можно было идти несвязанными. Мы с Крозом пустились наперегонки и одновременно вышли к финишу. В час сорок пополудни вся земля лежала у наших ног, Маттерхорн был завоеван!

Тем временем подошли остальные. Кроз взял палочный шест и воткнул его в высокий сугроб.

— Да, — сказал кто-то, — древко у нас есть, дело за флагом.

— Есть и флаг! — возразил Кроз и, сбросив с себя рубашку, привязал ее к палке. Флаг получился не больно авантажный, к тому же не было ветра, но все же он был виден отовсюду. Его увидели из Церматта, из Рифеля, из Валь-Турнанша...

Час пробыли мы на вершине —

Один лишь час, но полный славы...

Он пролетел незаметно, мы начали собираться.

Посоветовавшись, как лучше организовать спуск, мы с Хадсоном решили, что Кроз пойдет впереди, а за ним Хэдау. Хадсон, который крепостью ног мог поспорить с любым проводником, вызвался идти третьим. Следующим предстояло идти лорду Дугласу, а за ним старому Петеру, сильнейшему из всех остальных. Я предложил Хадсону, чтобы, выйдя на более трудный участок, наши передовые из предосторожности навесили на скалы веревку. Хадсон одобрил это предложение, но мы так толком и не договорились. Партия построилась в указанном порядке, ждали только, чтобы я зарисовал вершину и присоединился к ним. Тут кто-то вспомнил, что надо оставить в бутылке записку с именами восходителей, и мне поручили это сделать. Отряд тем временем двинулся в путь.

Несколькими минутами позже связались и мы с Петером-младшим и, последовав за остальными, догнали

их в то самое время, когда они подошли к опасной круче. Спускались с величайшей осторожностью: двигались поочередно, и только когда спустившийся находил твердую опору, начинал спускаться следующий. Дополнительной веревки, однако, так и не навесили, никто о ней не вспомнил. Когда мне пришла в голову эта мера предосторожности, я не думал лично о себе, а потом и я как-то упустил ее из виду. Первое время мы двое шли позади, отдельно, но около трех часов пополудни лорд Дуглас попросил меня привязаться к Петеру: он боялся, что, если кто-нибудь поскользнется, старик Таугвальдер не устоит на ногах.

Несколько минут спустя в гостиницу «Монте-Роза» вбежал с криком остроглазый подросток: он только что видел, как с вершины Маттерхорна сорвался обвал и рухнул на Маттерхорнский ледник. Никто ему не поверил, его даже отчитали — зачем он зря народ пугает. На самом деле он был прав; и вот что он увидел.

Михель Кроз отложил свой ледоруб и, для верности, сам своими руками переставлял ноги мистера Хэдау с одной зарубки на другую. Как я понимаю, никто другой в это время не спускался. Однако полной уверенности у меня нет: наши двое передовых были частично заслонены от меня выступом скалы. Судя по движению их плеч, Кроз, оказав помощь мистеру Хэдау, повернулся, очевидно с намерением спуститься на одну-две ступеньки ниже. И как раз в эту минуту мистер Хэдау поскользнулся, налетел на него и сбил его с ног. Я услышал испуганный возглас Кроза и увидел, что оба они летят вниз. Мгновение — и веревка сорвала со ступеньки Хадсона, а затем и лорда Дугласа. Все произошло в две-три секунды. Услышав громкий крик Кроза, мы со старым Петером уперлись ногами насколько позволяла скала. Веревка между нами была туго натянута, и мы одновременно ощутили рывок. Мы держались крепко; но как раз посередине между лордом Фрэнсисом Дугласом и Таугвальдером веревка оборвалась. Несколько секунд мы видели, как несчастные наши товарищи скользят в пропасть, лежа на спине и раскинув руки в тщетной попытке за что-нибудь

ухватиться. Пока мы их видели, они были невредимы; но потом они один за другим исчезли из виду, а там их пошло швырять с обрыва на обрыв к Маттерхорнскому леднику с высоты в четыре тысячи футов. С той минуты как оборвалась веревка, мы уже ничем не могли им помочь. Так погибли наши товарищи!

В течение последующих двух часов чуть не каждая секунда грозила стать для меня последней; Таугвальдер, отец и сын, потрясенные происшедшим, не только не могли оказать мне никакой помощи, но и сами в этом состоянии ежеминутно рисковали оступиться. По прошествии некоторого времени мы почувствовали себя в силах сделать то, что должны были сделать с самого начала, — не довольствуясь связывавшей нас веревкой, мы стали навешивать на устойчивые скалы дополнительные веревки. Время от времени мы их срезали, оставляя куски позади. Но и при этой добавочной опоре людям страшно было сдвинуться с места; старый Петер несколько раз поворачивал ко мне свое мертвенно-бледное лицо и, весь дрожа, отчаянно повторял: *«Не могу!»*

Около шести часов пополудни мы вышли к гребню, глядющему на Церматт; теперь опасность миновала. Мы все озирались по сторонам, ища следов наших злополучных товарищей, мы громко звали их, перегнувшись через гребень, но никто не откликался. Наконец мы оставили эти попытки, убедившись в их бесполезности. В полном молчании, слишком подавленные, чтобы говорить, собрали мы свои пожитки и то небольшое, что осталось из вещей погибших, и завершили спуск.

Таков красноречивый и волнующий рассказ Уимпера. В Церматте говорили шепотком, будто Таугвальдер-старший, когда стряслось несчастье, перерезал веревку — из страха, что она увлечет его за собой; но мистер Уимпер утверждает, что видел конец веревки, — он был именно оборван, а не перерезан. Впрочем, добавляет он, если бы Таугвальдер и захотел перерезать

веревку, он просто не успел бы, так неожиданно и мгновенно все произошло.

Тело лорда Дугласа так и не было найдено. Должно быть, оно застряло где-нибудь на недоступном карнизе, нависшем над пропастью. Лорду Дугласу было девятнадцать лет. Трое других пролетели вниз без малого четыре тысячи футов. Их тела были найдены на следующий день мистером Уимпером и другими, кто вышел на поиски; они лежали рядом на леднике. Все трое погребены на церматтском кладбище, возле церкви.

Глава XIII

Швейцария. — Кладбище в Церматте. — Из местечка Сент-Николас в Висп. — Опасное путешествие. — Шильонский замок. — Монблан и его соседи. — Сумасшедшая езда. — О том, как иногда полезно напиться.

Швейцария это просто-напросто огромный бугристый камень, подернутый тонкой кожицей травы. Поэтому могилы здесь не роют, а взрывают с помощью пороха и запала. Швейцарцам не по карману содержать большие кладбища, каждый фут травяной кожицы у них на счету и слишком ценен. Она им насущно необходима для поддержания жизни.

Кладбище в Церматте занимает не более осьмушки акра. Могилы выдолблены в горной породе на долгие времена, но они сдаются лишь во временное пользование, пока не явится новый постоялец, потому что здесь не захоранивают мертвецов друг на дружке. Насколько я понимаю, каждое семейство обзаводится собственной могилой, как обзаводится домом. Отец умирает и оставляет сыну дом, а сам в свой черед наследует могилу отца. Из дома он переезжает в могилу, в то время как его предшественник из могилы переезжает в церковный подвал. Я видел во дворе церкви ящик с изображением черепа и скрещенных костей, и мне объяснили, что в этом ящике останки переносятся с погоста в подвал.

В подвале, говорят, хранятся перевязанные веревкой черепа и кости нескольких сот горожан. Они образуют кучу в восемнадцать футов длиной, семь футов высотой и восемь футов шириной. Мне рассказывали также, что в некоторых швейцарских деревнях все черепа клеймятся, и если кому-нибудь понадобится разыскать черепа своих предков за несколько поколений, он может это сделать по записям в фамильных книгах.

Англичанин, проживший в этой местности несколько лет, сообщил нам, что здесь колыбель обязательного обучения. По его словам, распространенный в Англии взгляд, будто обязательное обучение приводит к снижению рождаемости внебрачных детей, а равно и к пьянству, — ошибочно, оно вовсе не дает таких результатов. В протестантских кантонах случаи соращения девиц будто бы многочисленнее, чем в католических, где на страже их чести стоит исповедь. Но тогда почему же исповедь не охраняет чести замужних женщин во Франции и Испании?

Тот же англичанин рассказал мне, что в кантоне Валлес среди бедного крестьянства существует обычай: братья мечут жребий — кому выпадет желанная судьба жениться. После чего счастливчик женится, а его братья, обреченные на холостую жизнь, героически впрягаются в лямку и общими усилиями тянут вновь основанную семью.

Из Церматта в Сент-Николас мы выехали в фургоне; было десять утра, лил проливной дождь. Мы снова проезжали мимо утесов, поросших зеленой травой и усеянных крошечными домиками, глядевшими на нас с бархатистых зеленых стен высотой в тысячу — тысячу двести футов. Даже пресловутой серне не взобраться на эти кручи. Влюбленные, живущие на двух противоположных склонах, должно быть целуются в подзорную трубу и перемигиваются с помощью ружейных выстрелов.

В Швейцарии плугом крестьянину служит широкая лопата, которой он ковыряет и переворачивает тоненький пласт земли на своей родной скале; пахарь здесь — истинный герой. По дороге в Сент-Николас показали нам одну могилу и поведали ее трагическую

историю. Крестьянин трудился на своей земле — сдира с нее кожу — и даже не на самом отвесе, а на более или менее обычной крутизне, — говоря образно, он ковырялся не на фасаде своей фермы, а на крыше, около стрехи, — и по рассеянности выпустил из рук лопату, чтобы смочить ладони, как это водится у крестьян; но тут он потерял равновесие и сверзился со своего участка. Бедняга упал навзничь и коснулся земли не раньше, чем пролетел тысячу пятьсот футов¹. Мы героизируем жизнь моряка и солдата, потому что им приходится глядеть в лицо смерти. И мы не видим героизма в крестьянском труде, потому что не живем в Швейцарии.

Из Сент-Николаса мы отправились в Висп, иначе Виспах, пешком. Несколько дней подряд шли проливные дожди, причинившие много вреда в Швейцарии и Савойе. Мы видели реку, изменившую свое русло, она ринулась с горы в новом месте, снося все на своем пути. Два бедных, но драгоценных хутора у самой дороги были вконец разрушены: один смыло водой до каменистой подпочвы, другой похоронен под нагромождением обломков скал, гравия, тины и мусора. Во всем наглядно проявилась здесь неукротимая сила бушующих вод. Несколько молодых деревьев пригнуло до самой земли, содрало с них кору и занесло щебнем и обломками. Бесследно исчезло проходившее здесь шоссе.

Там, где шоссе лепится высоко по склону горы, а его наружный край защищен не слишком основательной каменной оградой, мы то и дело проезжали места, где кладка обрушилась, оставив опасные бреши, куда мог провалиться мул; сплошь и рядом видели мы крошащуюся каменную кладку, развороченную копытами, — кому-то здесь угрожал несчастный случай. В одном месте, где кладка была сильно повреждена и беспорядочные следы копыт показывали, что мул, споткнувшись, делал отчаянные усилия устоять, я с надеждою заглянул в головокружительную пропасть. Однако там никого не было.

¹ Заметим, что это случилось в воскресенье. — М. Т.

В Швейцарии, как и в других европейских странах, заботятся о речном благоустройстве. Берега рек из конца в конец одеты в камень, напоминая набережные Сент-Луиса и других городов на Миссисипи.

По дороге из Сент-Николаса, идущей под сенью величественных Альп, наткнулись мы на кучку ребятишек, игравших в необычную и своеобразную на первый взгляд игру — на самом же деле естественную и закономерную. Все играющие были связаны между собой веревкой, в руках у них были палки, изображавшие альпенштоки и ледорубы, и лазили они по тихой и скромной навозной куче осторожно, с такой оглядкой, как если б им угрожала бог весть какая опасность. Проводник, возглавлявший шествие, усердно и деловито вырубал воображаемые ступеньки, и никто из этих обезьянок не двигался с места, пока ступенька перед ним не освобождалась. Если бы мы задержались, нам пришлось бы, конечно, увидеть воображаемый несчастный случай, и мы присутствовали бы при удачном штурме вершины и слышали бы восторженное «ура» храбрецов, а потом они стали бы любоваться «великолепным видом», а потом бросились бы в изнеможении наземь, чтобы на этой возвышенной позиции дать отдых усталым членам.

В Неваде, на серебряных приисках, я видел ребятишек, игравших в рудокопов. Разумеется, гвоздем программы был «несчастный случай» на руднике. Главную роль играли двое — тот, кто сваливался в шахту, и тот, кто спускался вниз за его трупом. Одному пострелу непременно хотелось быть и тем и другим — и он сумел поставить на своем. Сначала он падал в шахту и умирал, а потом, выйдя на поверхность, снова спускался вниз за собственным трупом.

Обычно роль героя достается самому бойкому мальчику: в Швейцарии он — главный проводник, в Неваде — главный рудокоп, в Испании — главный тореадор и т. д.; но один известный мне семилетний сорванец, сынишка проповедника, выбрал себе роль, по сравнению с которой все здесь названные представляют лишь жалкую потугу на величие. Отец Джимми запретил ему в одно воскресенье править воображаемой

лошадью, запретил ему в другое воскресенье водить воображаемый корабль, запретил в третье воскресенье командовать воображаемой армией и т. д. и т. п. Наконец малыш сказал:

— Чего только я не перепробовал, а ты мне все запрещаешь. Во что же мне, наконец, играть?

— Не знаю, Джимми, — играй в такую игру, которая не нарушала бы день субботний.

В следующее воскресенье проповедник на цыпочках подошел к детской, заглянул в щелку, чтобы проверить, хорошо ли ведут себя ребята, и увидел посреди комнаты стул, а на спинке стула кепку Джимми; одна из сестренок сняла кепку, пожевала ее, а потом протянула другой сестре со словами: «Отведай этого плода, он вкусный». Его преподобие только руками развел, догадавшись, что его чада играют в «Изгнание из рая». Его, правда, капельку утешило то, что главные роли Джимми отдал девочкам. «Я был несправедлив к Джимми, — упрекнул себя отец, — смотрите, какая скромность! Как это он не пожелал быть Адамом или Евой»? Однако и эта капелька утешения вскоре испарилась. Оглядевшись, его преподобие увидел Джимми: он стоял в углу, нахохлившись, с мрачным и неприступным видом. Сомнений не было: *то был сам бог Саваоф во плоти*. Какой наивно дерзновенный замысел!

В Виспах мы прибыли к восьми вечера, всего лишь через семь часов по выходе из Сент-Николаса. Это составляет полторы мили в час, даром что идти приходилось все время под гору и по невообразимой грязище. Ночевали мы в гостинице «Солнце», — я запомнил это потому, что хозяйка, портье, официантка и горничная не были здесь самостоятельными лицами, а уместались вчетвером в одном и том же изящном муслиновом платье безупречной свежести и опрятности и были представлены самой миловидной юной феей, какую мне пришлось видеть в этих краях. Это была хозяйская дочка. Из всех, кого я встречал в Европе, сравниться с ней могла бы только дочь трактирщика из шварцвальдской деревни.

Побольше бы людей в Европе женилось и держало гостиницы!

На следующий день мы со знакомым английским семейством отправились поездом в Бреве, а оттуда на пароходе по озеру в Ушй (предместье Лозанны).

Ушй запомнилось мне не красотой расположения и живописными окрестностями, хоть и это не так уж мало, но как место, где я обнаружил в лондонском «Таймсе» неожиданную склонность к юмору. Правда, это был юмор невольный. В намерения почтенной редакции он отнюдь не входил. Открытием этим я обязан приятелю англичанину, вырезавшему для меня сей предосудительный абзац. Представьте себе мое изумление, когда я увидел на постной физиономии газеты веселую ухмылку.

«Опровержение. Телеграфное агентство Рейтер просит нас рассеять недоумение, вызванное появившейся на столбцах нашей газеты от 5-го с. м. телеграммой из Брисбейна от 2-го с. м. о том, что леди Кеннеди якобы «благополучно разрешилась близнецами; старший из новорожденных — сын». Как выяснилось, в полученной агентством депеше были следующие слова: «Губернатор Квинсленда *двойню сынок первым*». Когда стало известно, что сэр Артур Кеннеди не женат и что в текст телеграммы, очевидно, вкралась ошибка, мы затребовали ее повторения. Сегодня (11-го с. м.) нами получен ответ агентства Рейтер, из коего явствует, что в сообщении из Брисбейна значилось: «Губернатор Квинсленда *произнес речь о чести воина и возложил венок первым*». (Речь идет об открытии памятника видному военному деятелю.) Слова, приведенные курсивом, были при передаче из Австралии искажены, что и привело к указанному недоразумению».

Я всегда глубоко сочувствовал страданиям шильонского узника, чью историю Байрон поведал миру в волнующих стихах, — поэтому я сел на пароход и совершил паломничество в Шильонский замок, чтобы увидеть подземелье, где триста лет назад бедный Боннивар томился в жестоком заточении. Я рад, что

побывал там, это посещение отчасти рассеяло болезненное чувство, которое возбуждал во мне злосчастный узник. Оказалось, что его темница вполне удобное, прохладное и просторное помещение, — странно, что он был ею так недоволен. Вот если бы его заточили в местечке Сент-Николас, в частном доме, где в воздухе носятся запахи удобрений, где козы ночуют в одном помещении с заезжим туристом, которым куры пользуются как своим насестом, а коровы навещают его в ту самую минуту, когда он расположен к возвышенным размышлениям, — тогда, конечно, другое дело; но уж в этой-то приятной темнице ему вряд ли приходилось скучать. В узкие щели романтических амбразур льются щедрые потоки света, а потолок поддерживают высокие величественные колонны, высеченные, должно быть, из горной породы; мало того, колонны сплошь исписаны именами посетителей; некоторые из них — как Байрон и Виктор Гюго — пользуются мировой известностью. Почему же Боннивар не развлекался, разбирая эти подписи? Кроме того, здесь толчется столько туристов и курьеров, они ходят сюда табунами, — что, собственно, мешало ему с приятностью проводить с ними время? Мне думается, что страдания Боннивара сильно преувеличены.

Опять мы сели в поезд и отправились в Мартиньи, по дороге к Монблану. И уже на следующий день, с восьми утра, выступили в поход. Общества у нас было хоть отбавляй: туристы в фургонах, туристы на мулах, а главное — тучи пыли. Это был караван, растянувшийся на добрую милю. Дорога вела в гору, неизменно в гору, и была изрядно крутой. Жара стояла невыносимая, мужчины и женщины, которые тряслись в медлительных фургонах и на нерасторопных мулах и жарились на солнце, заслуживали всяческого сожаления. Мы хотя бы пробирались кустарниками, укрываясь в их тени, а этим беднякам такое счастье было недоступно. Они уплатили за проезд и за свои деньги хотели кататься.

Мы держали курс на Тет-Нуар и не могли пожаловаться на недостаток прекрасных видов. В одном месте дорога вела по туннелю, проложенному в выступе

горы, внизу зияло ущелье, на дне которого бурлил стремительный ручей, а справа и слева радовали глаз скалистые кручи и горы, одетые лесом. Водопадов на маршрут к Тет-Нуару тоже отпущено предостаточно.

Нам оставалось с полчаса ходьбы до деревни Аржантьер, когда на горизонте возник сверкающий белоснежный купол, и вскоре он прочно встал перед нами, вписанный в мощные ворота, образуемые соседними горами и напоминающие букву V. Сомнений не было: перед нами высился Монблан, «властитель Альп». С каждым нашим шагом величественный собор вырастал все выше и наконец уперся, как нам показалось, в зенит.

Некоторые из ближайших соседей Монблана — голые смуглые гиганты, стройные, как колокольни, — поражали своей необычной формой. Иные, как бы отточенные у верхушки, поднимали ввысь острие, слегка отогнутое в кончике, как изящный женский палец; чудовищно огромный конус был похож не то на сахарную голову, не то на митру епископа; снег скатывался с его склонов и задерживался только в расселинах.

Высоко в горах, когда еще не начинался спуск к Аржантьеру, мы поглядели на соседнюю вершину и увидели игру преломленных лучей на белых облачках, легких и воздушных, точно осенняя паутина. Особенно хороши были светло-розовые и светло-зеленые тона. Здесь не было насыщенных красок, а только легчайшие оттенки. Они сочетались в сказочную гамму. Мы сели, чтобы насладиться дивным зрелищем, которое длилось всего лишь несколько минут. Краски то и дело менялись, они искрились, переливались, растворялись друг в друге и то бледнели, то вспыхивали в неуловимой, капризной, трепетной смене нежных опаловых вспышек, преобразуя тончайшую дымку белого облачка в изысканную ткань, достойную служить одеждой ангелу.

Вскоре мы сообразили, что эта безостановочная переливчатая игра красок напоминает, — ну конечно же мыльный пузырь, когда, витая в воздухе, он зажигается всеми оттенками цветов, присущими окружающим

предметам. Мыльный пузырь — это, пожалуй, самое восхитительное, самое изысканное чудо природы! Да, эта призрачная ткань всего больше напоминала проткнутый мыльный пузырь, повешенный против солнца для просушки. Интересно, сколько стоил бы мыльный пузырь, будь он единственным в мире? Мне думается, за такие деньги можно было бы приобрести пригоршню кохиноров.

Переход из Мартиньи в Аржантьер мы совершили за восемь часов, оставив за флагом всех мулов и все фургоны и перекрыв собственный рекорд. Для переезда в долину Шамони мы наняли открытую багажную телегу, после чего пошли на часок пообедать. Тем временем наш возчик постарался напиться в дым. Он вез с собой приятеля, который тоже напился в дым.

Как только мы тронулись в путь, возчик сообщил нам, что, пока мы обедали, успели прибыть и отбыть все остальные туристы.

— Однако, — сказал он веско, — пусть это вас не беспокоит... не огорчает... и не тревожит — видите вон те столбы пыли впереди? Скоро мы их обгоним, и вы их больше не увидите... положитесь на меня... это говорю вам я, король возчиков! Глядите!

Он щелкнул кнутом, и мы с грохотом покатали по дороге. Меня еще в жизни так не трясло. Недавние проливные дожди во многих местах размыли шоссе, но наш возчик ни разу не остановился, нигде не придержал лошадей. Мы неслись как угорелые, не разбирая дороги, через кучи щебня и мусора, через овраги и рытвины, через неогороженные поля, где касаясь двумя колесами земли, а где и вовсе ее не касаясь. Время от времени этот тихий сумасшедший с величественным добродушием оглядывался на меня через плечо, повторяя:

— Ну что, убедились? Говорил я вам, что я король возчиков!

Каждый раз, как мы благополучно избегали гибели, побывав на самом ее краю, он повторял с невозмутимым самодовольством:

— Чувствуете, джентльмены? Это вам повезло, это редкий, неповторимый случай — не всякому седоку

выпадает счастье проехаться с королем возчиков! А ведь вы видите, я не обманул вас, я и взаправду король!

Он говорил по-французски, икая на знаках препинания. Его приятель, тоже француз, говорил, правда, по-немецки, но придерживался той же системы знаков препинания. Приятель называл себя «капитаном Монблана» и был не прочь подняться с нами на Монблан. Он сообщил нам, что совершил рекордное число восхождений — сорок семь, а его брат — тридцать семь. Его брат считается лучшим проводником в мире, кроме него самого конечно, но даже его брат — не капитан Монблана, это — заметьте себе — титул, присвоенный лично ему.

«Король» сдержал слово, он обогнал далеко растянувшийся караван туристов, ураганом промчавшись мимо. Вследствие этого нам достались в гостинице куда лучшие комнаты, чем те, на какие мы могли рассчитывать, если б его величество не оказался таким артистом по части лихой езды, или, вернее, если бы он предусмотрительно не напился перед выездом из Аржантьера.

Глава XIV

Шамони. — Контрасты. — Цех проводников. — Возвращение туриста. — Завоеватель Монблана. — Зависть в мире ученых. — Горная музыка — Я не могу понять, что мне мешает.

Никому не сиделось дома, все высыпали на главную улицу местечка и, не задерживаясь на тротуарах, разбредлись по мостовой; все слонялись, шатались, околачивались без дела, судили и рядили, с нетерпением и интересом ожидая поезда — то бишь, дилижансов, так как близился час их прибытия; шесть больших почтовых карет должны были с минуты на минуту прийти из Женеви, и жителям местечка было во многих отношениях важно узнать, сколько приедет народу и какого. Такой оживленной деревенской улицы мы еще не видели на континенте.

Гостиница стояла у бурливого ручья, и его музыкальный рокот далеко разносился в воздухе; в темноте мы не видели ручья, но и по звуку угадывали, где он протекает. Перед гостиницей раскинулся просторный, обнесенный оградой двор, и на нем в этот час кучками толпились жители деревни: кого привлекло сюда просто желание встретить дилижансы, а кого и надежда наняться на завтра в проводники к приезжим экскурсантам. Тут же во дворе стоял телескоп, обращенный своей огромной трубой к сверкающей в небе вечерней звезде. На длинной террасе гостиницы расположились туристы; кутаясь в плащи и пледы, они посиживали под нависающей громадой Монблана и судачили или предавались размышлениям.

Никогда я не видел горы в такой обманчивой близости; казалось, до ее широких склонов рукой подать, а ее величественный купол и парившая рядом гроздь пiazнных минаретов как будто нависали над головой. Ночь спустилась на улицы, и повсюду мерцали фонари; могучие подножья и кряжи гор были одеты глубоким мраком, тогда как их вершины плавали в нежном призрачном сиянии, — собственно, в дневном свете, но было в нем что-то чарующее, не имевшее ничего общего с привычным для нас жестким блеском белого дневного света. В этом сиянии, при всей его силе и яркости, чудилась какая-то неизъяснимая проникновенная нежность. Нет, это был не обычный назойливый прозаический дневной свет, он более подходил бы какой-нибудь заколдованной стране — или небу.

Мне и раньше доводилось наблюдать сочетание лунного и дневного света, но никогда я не видел дневной свет и ночную тьму в таком тесном соседстве. И уж во всяком случае я впервые наблюдал эту игру освещения на предмете, столь близко расположенном, что контраст становился особенно разительным и как бы объявляющим войну природе.

Дневной свет угас. И вскоре из-за торчащих в небе гранитных шпилей, или пальцев, — о них я уже говорил, они приходились чуть левее Монблана и стояли прямо у нас над головой, — выкатилась луна, но у нее так и не хватило сил подняться еще немного и воспа-

ритель над вершинами. Она только, проплывая мимо и задевая за частокол пиков, нет-нет да и высовывала из-за него на одну треть свой сверкающий диск; и тогда наплывшая вершина казалась на фоне серебряного щита эбеновой статуэткой; потом, как бы своей волею и силой, она сползала с него, чтобы вновь стать бесплотным призраком, уступая место соседке, и та наползала на незапятнанный диск, перечеркивая его жирным восклицательным знаком. Одна из вершин казалась на фоне луны искусно вырезанным, черным, как чернила, силуэтом заячьей головки. А рядом таинственно парили над нами неосвещенные пики и минареты, в то время как другие ослепительно сверкали яркой белизной лунного и снежного сияния, являя необычайное, незабываемое зрелище.

Когда же луна, миновав частокол башен, скрылась за белой громадой Монблана, нам был явлен, как бы на экране, самый выигрышный номер вечерней программы. Прянув из-за горы, в небе разлилось зеленоватое сияние; плавающие в нем клочья и ленты тумана, озаренные этим феерическим светом, зареяли в воздухе языками бледно-зеленого пламени. А вскоре из-за горы показался венчик расходящихся полос, они ширились веером и тянулись ввысь, пока не дотянулись до зенита. Дух захватывало, такое это было необычайное и возвышенное зрелище.

И действительно, эти мощные полосы света и тени, встающие из-за темного массива и занявшие половину тусклого, блеклого неба, были самым великим чудом, какое мне приходилось видеть. С ним ничто не сравнится, ибо ничего похожего на свете нет. Если бы ребенок спросил меня, что это такое, я бы ответил: «Склонись перед этим зрелищем, ибо то венец славы над сокрытой главой Создателя». Нам случается и больше грешить против истины, когда мы пытаемся объяснить подобные тайны нашим маленьким вопрошателям. Я, конечно, мог бы узнать причину столь изумившего меня явления, расспросив местных людей, ибо оно не редкость на Монблане, но я предпочел ничего не знать. Мы утратили то благоговейное чувство, с каким дикарь наблюдает радугу, потому что знаем, как она

делается. Но проявив излишнюю любознательность в этом вопросе, мы больше потеряли, чем выиграли.

Мы с Гаррисом прошли квартала два по главной улице и вышли на перекресток, где сосредоточены лучшие здешние лавки и где сейчас толпилось особенно много народу; это была Шамонийская биржа. Мужчины в костюмах носильщиков и проводников толклись здесь в надежде наняться к туристам.

Неподалеку стояла контора высокого должностного лица, именуемого Главнoуправляющим Шамонийского цеха Проводников. Цех этот представляет замкнутую корпорацию, управляемую по строго установленным законам. Существует великое множество всяких маршрутов для экскурсий, как опасных, так и безопасных, как требующих руководства проводников, так и совершаемых без всякого руководства. В этих тонкостях разбирается контора. Там, где, по ее мнению, нужен проводник, вам запрещают обходиться без оного. Кроме того, здесь вас защитят от грабительских цен: закон устанавливает, сколько платить в каждом случае. Проводники обслуживают туристов в порядке очереди, вам не дано право выбрать человека, которому вы собираетесь доверить свою жизнь: если очередь наниматься выпала самому худшему, извольте довольствоваться худшим. Плата проводнику колеблется от полудоллара (за незначительную экскурсию куда-нибудь поблизости) до двадцати долларов, в зависимости от расстояния и трудности дороги. За восхождение на Монблан, включая и спуск, с вас возьмут двадцать долларов, и это будет только справедливо. Экскурсия берет обычно три дня, к тому же приходится вставать в такую рань, что хоть это, как говорится, и прибавляет человеку «здоровья, богатства и разума», но в степени, пожалуй, уже чрезмерной для смертного. Плата носильщику за ту же экскурсию — десять долларов. Несколько болванов — то бишь, туристов — обычно объединяются в группу, чтобы поделить расходы и тем облегчить их; если бы какой-нибудь бол... то бишь, турист, вздумал идти один, ему все равно понадобилось бы энное число носильщиков и проводников, и путешествие обошлось бы слишком дорого.

Мы зашли в контору Главноуправляющего. На стенах висели карты гор, несколько литографированных изображений прославленных проводников, а также портрет ученого, господина де Соссюра.

В стеклянных шкафах были выставлены под ярлыками остатки башмаков и обломки альпенштоков, равно как и другие знаменательные реликвии — в напоминание о несчастных случаях на Монблане. Тут же лежала конторская книга, где велась запись всех восхождений, начиная с № 1—2, предпринятых Жаком Бальма и де Соссюром в 1787 году, и кончая еще неостывшим № 685. Кстати № 685 тут же собственной персоной стоял у официального стола в ожидании драгоценного официального диплома, из которого все его родичи и потомки в Германии в свое время узнают, что их родич и предок имел неосторожность взобраться на Монблан. Видно было, что получение диплома его ошастливило, он даже не замедлил возвестить во всеуслышание, что очень счастлив.

Мне захотелось купить такой диплом для одного американского приятеля, человека слабого здоровья, который никогда не путешествовал, а между тем мечтой его жизни было взобраться на Монблан; но Главноуправляющий предерзко отказался продать мне хотя бы один экземпляр. Я был оскорблен в своих лучших чувствах. Я не преминул сказать ему, что не ожидал столкнуться здесь с подобной дискриминацией по национальному признаку: ведь он только что продал такой диплом джентльмену из Германии, а чем мои деньги хуже; уж я найду на него управу, я покажу ему, как торговать с немцами и отказывать в своей продукции американцам; мне довольно заикнуться, и у него отнимут патент; а если Франция не пожелает прикрыть его лавочку, я перенесу этот вопрос на международную арену; им объявят войну, их страну потопят в крови; мало того, я создам конкурирующее предприятие и буду продавать дипломы за полцены.

И я привел бы свою угрозу в исполнение, как говорится, за простое спасибо; но никто не сказал мне «спасибо». Я также пытался воззвать к чувствам немца, но какое там! Он не желал уступить мне диплом ни даром,

ни за деньги. Я объяснил ему, что мой друг болен и не может приехать, на что он сказал, что ему начхать на моего друга, диплом ему нужен лично для себя, — уж не воображаю ли я, что он для того рисковал сломать себе шею, чтобы благодетельствовать чьим-то больным друзьям? Нет уж, дудки! И тогда я поклялся сделать все что в моих силах, чтобы насолить Монблану.

В той же конторской книге имелся перечень всех происшедших на Монблане катастроф. Начинался он с того случая в 1820 году, когда трое проводников доктора Гамеля из России провалились в трещину ледника; упоминалось здесь и о том, как ледник сорок один год спустя доставил их останки в долину. Последняя катастрофа была помечена 1877 годом.

Выйдя из конторы, отправились мы бродить по городку. Перед небольшой церковкой стоял памятник бесстрашному Жаку Бальма, первым ступившему на вершину Монблана. Он совершил свой подвиг в одиночестве и потом повторял его неоднократно. Почти полвека отделяет его первое восхождение от последнего. В почтенном возрасте, семидесяти двух лет, он отправился в горы один и, карабкаясь на отвесную кручу пика Дю-Миди, оступился и упал. Так он и умер на ходу, в упряжке.

К старости Бальма стал жаден до денег; он уходил тайком искать несуществующее и немислимое в этих местах золото, воображая, что оно ждет его где-то среди головокружительных пропастей и вершин. Один из таких походов за золотом и стоил ему головы. Потомство почтило память не только Бальма — в вестибюле гостиницы стоит бюст де Соссюра, а к одной из дверей на верхнем этаже прикреплена дощечка, гласящая, что в этом номере останавливался Альберт Смит. Если Бальма и де Соссюр, так сказать, открыли Монблан, то в доходную статью превратил его Смит. Его очерки в журнале «Блэквуд» и серия публичных лекций произвели сенсацию, и публика с таким рвением устремилась на Монблан, словно что-то забыла там.

Гуляя по городу, увидели мы в темноте светящуюся красную точку — должно быть, сигнальный фонарь. Казалось, он был совсем рядом, не более чем в сотне

ярдов выше по горе, минутах в десяти ходу. Хорошо еще, что нам попался по дороге прохожий и мы прикурили у него наши трубки, вместо того чтобы подняться для этого к красному фонарю, как собирались вначале. Прохожий и сказал нам, что сигнальный фонарь установлен на Гран-Мюле на высоте шесть тысяч пятьсот футов над долиной. По своему рифельбергскому опыту я знал, что мне понадобилось бы дня четыре, чтобы взобраться на такую высь. Нет, лучше уж совсем не курить, чем тащиться в несусветную даль за огоньком.

Укороченная перспектива горы приводит и днем к обманам зрения. Так, например, вы видите невооруженным глазом сторожку у ледника, а чуть повыше и в глубине видите то самое место, где ночью горит сигнальный огонь; вам кажется, что обе точки лежат одна от другой на расстоянии брошенного камня. На самом же деле их разделяют три тысячи футов высоты. Когда смотришь снизу, этому не веришь, а между тем это так.

Гуляя, мы все время следили за движением луны, да и по возвращении на веранду гостиницы глаз с нее не сводили. Дело в том, что у меня своя собственная теория влияния притяжения на преломление лучей. Она состоит в том, что гравитация рефракции, находясь в зависимости от атмосферной компенсации, одновременно подвержена действию рефракции земной коры, вследствие чего в местах, где проходят высокие горные цепи, это проявляется с наибольшей силой, а отсюда естественно предположить, что одическое и идиллическое начала, взаимно уравниваясь, так воздействуют друг на друга, что это не позволяет луне подняться выше чем на двенадцать тысяч двести футов над уровнем моря. Эта смелая теория была встречена яростным возмущением одной части моих ученых братьев и недоуменным молчанием другой. В числе первых можно назвать профессора Г., в числе последних — профессора Т. Увы, такова цеховая зависть: ни один ученый не способен отнестись благосклонно к теории, основоположником которой явился не он сам. Этим людям чуждо чувство коллегиальности. Их даже возмущает, когда я обращаюсь к ним как к коллегам. Для того чтобы вы могли судить, как далеко заводит их

злоба, приведу следующий пример. Я предложил профессору Г. опубликовать мою замечательную теорию, выдав ее за свою собственную; я даже просил его об этом как о товарищеской услуге; я даже предложил ему, что опубликую ее сам, выдав за его теорию. И вместо благодарности услышал, что, если я посмею приписать ему этот вздор, он притянет меня к ответу за клевету. Я уже хотел предложить ее господину Дарвину, зная его за человека без предрассудков, но воздержался, понимая, что моя теория слишком далека от его генеалогических интересов.

Так и пришлось мне скрепя сердце признать свое отцовство, и я особенно рад этому нынче вечером, когда пишу эти строки и когда моя теория так блестяще подтвердилась. Высота Монблана около шестнадцати тысяч футов, и луны за ним совсем не видно; но рядом с Монбланом стоит пик высотой в двенадцать тысяч двести шестнадцать футов. Луна скользила за башнями вершин, и когда она приблизилась к этому пику, я затаил дыхание, ибо в тот миг для меня как для ученого решалось — быть или не быть. Я не в силах описать чувства, которые, подобно морскому прибою, волновали мою грудь, когда луна зашла за этот шпиль и только верхним своим краем, примерно на два фута четыре дюйма, показалась из-за него. Итак, я спасен! Я знал, что ей не подняться выше, и оказался прав: луна проплыла позади всех пиков, но так и не поднялась ни над одним из них.

Каждый раз как луна проходила за одним из этих острых пальцев, она отбрасывала на пустое небо его тень в виде длинного косо́го, резко очерченного темного луча, казалось наделенного ударной силой, подобно восходящей струе воды, выбрасываемой пожарной машиной. Забавно было видеть густую добротную тень земного предмета на таком невещественном экране, как атмосфера.

Наконец мы легли и сразу уснули, но уже часа через три я проснулся; в висках стучало, голова раскалывалась на части. Я чувствовал себя больным, разбитым, невыспавшимся и несчастным. И сразу же меня осенило: виноват ручей! Повсюду в горных деревушках и

на дорогах Швейцарии у вас стоит в ушах грохот ручьев. Вы уверяете себя, что это восхитительная музыка, вам приходят в голову и другие поэтические сравнения; вы лежите в удобной постели и вас баюкает этот шум. Но мало-помалу вы начинаете ощущать в голове свинцовую тяжесть — не поймешь, отчего и откуда; кругом царит полная тишина, а вы замечаете, что в ушах у вас стоит сердитый, отдаленный, неумолчный ропот, подобный тому, какой вы слышите, прижимая к уху морскую раковину, — не поймешь, отчего и откуда; какая-то сонливость и рассеянность владеют вами; ваш мозг не удерживает ни единой мысли, ни одной не додумывает до конца; если вы сели писать, запас слов у вас иссякает, вы не находите нужного выражения; неподвижно, забыв, что собирались делать, сидите вы за столом, настороженно подняв голову, с пером в руке, закрыв глаза, и мучительно прислушиваетесь к заглушенному грохоту далекого поезда, стоящему у вас в ушах; и даже в глубоком сне напряжение не оставляет вас, вы все прислушиваетесь, мучительно прислушиваетесь и наконец просыпаетесь в тревоге и раздражении, не отдохнув. Не поймешь, отчего это и откуда. Каждый день вы чувствуете себя так, словно всю ночь промаялись в спальном вагоне, и только по прошествии многих недель догадываетесь, что всему виной эти неотвязно преследующие вас ручьи. Но едва вы уразумели причину, вы должны бежать из Швейцарии, — с этой минуты страдания ваши удесятятся. Отныне грохот ручья сводит вас с ума, ибо разыгравшееся воображение превращает физическую боль в изводящую пытку. Теперь при встрече с ручьем вами овладевает такой леденящий страх, что вы готовы бежать без оглядки, словно от неумолимого врага!

Спустя девять-десять месяцев после того, как я избавился от этой напасти с ручьями, рев и грохот парижских улиц снова навел на меня эти чувства. В поисках тишины и спокойствия я перебрался в гостинице на шестой этаж. К полнучи шум улегся, и я уже забылся первым легким сном, как вдруг меня встревожил новый звук; я прислушался: должно быть, какой-то веселый сумасшедший, стараясь не шуметь, отплясывал над

моей головой качучу. Разумеется, мне ничего не оставалось, как ждать, пока он уgomонится. В течение пяти нескончаемо долгих минут он шаркал, точно заведенный автомат, и наконец остановился; короткая пауза, и что-то тяжелое грохнулось об пол. «Слава богу, он снимает башмаки», — сказал я себе. Но после небольшой паузы шарканье возобновилось! «Должно быть, пытается танцевать в одном башмаке, из спортивного интереса», — предположил я. Тут опять наступила пауза, опять что-то тяжелое полетело на пол. «Ну вот, он скинул и второй башмак, — обрадовался я, — теперь уgomонится». Но ничего подобного! В следующую минуту шарканье возобновилось. «Проклятье! — рассердился я. — Уж не откалывает ли он свои па в домашних туфлях?» Спустя немного опять пауза, и опять что-то грохнулось об пол. «Черт бы его побрал! — взбеленился я. — Значит, на нем было две пары башмаков!» Битый час этот маг и чародей только и делал, что шаркал по полу подошвами да сбрасывал с ног башмак за башмаком, — я насчитал уже двадцать пять пар и чувствовал, что схожу с ума. Я вынул пистолет и на цыпочках прокрался наверх. Негодяй стоял посредине целого гектара распяленных башмаков, один башмак он надел на руку и усиленно шаркал... то бишь, возил по нему щеткой. Итак, тайна разъяснилась. Он и не думал танцевать. Он служил в гостинице чистильщиком сапог и занимался делом.

Глава XV

Вид на Монблан — Восхождение на телескопе. — Быстрое и благополучное возвращение — Я требую диплома и нарываюсь на отказ — Катастрофа 1866 года. — Первая альпинистка.

Утром, позавтракав в Шамонийской гостинице, мы спустились во двор поглазеть на прибывающие и отбывающие экскурсии, на туристов с их мулами, проводниками и носильщиками; потом стали глядеть в телескоп на снежный горб Монблана. Он сверкал и переливался

на солнце. Его огромный полированный гладкий купол, казалось, высился в каких-нибудь пятистах ярдах. Неворуженным глазом мы только смутно различали дом на Пьер-Пуантю, у окраины большого ледника, тогда как в телескоп могли изучить его во всех подробностях, — а ведь это три тысячи футов с лишним над уровнем долины. Пока я вглядывался в дом, к нему подъехала женщина на муле; я видел ее так ясно, что мог бы описать ее костюм; я видел, как она кивает обитателям дома, как одной рукой натягивает вожжи, а другой закрывает глаза от солнца. За отсутствием навыка в обращении с телескопом — по правде сказать, я впервые глядел в настоящий телескоп — я не мог поверить, что эта всадница так далеко от нас. Я не сомневался, что сейчас увижу ее и невооруженным глазом; но стоило мне оторваться от стекла, как мул и все эти ясно зримые человеческие фигуры исчезли, а дом снова стал крошечным и еле видимым. Я снова приложился к стеклу — и все опять ожило. От женщины и мула ложились на стену дома густые угольные тени, и я разглядел, как силуэт осла прядет ушами.

Телескопулист, или телескопулярий, — не знаю, как правильнее, — сообщил нам, что партия туристов совершает сейчас восхождение на вершину и что вскоре они покажутся на верхних уступах горы; мы решили понаблюдать это зрелище.

И тут мне пришла в голову блестящая мысль: а что если мне подняться с этой партией на вершину, чтобы потом с полным правом говорить: «И я там побывал!» Я не сомневался, что телескопу ничего не стоит поставить меня в трех шагах впереди головного. Телескопулянт подтвердил, что это вполне возможно. Тогда я спросил, сколько с меня причитается за уже сделанное восхождение? Он сказал, что франк. А во что обойдется восхождение полное? Три франка. Я, разумеется, решил совершить полное восхождение, но сперва спросил, не очень ли это опасно. Нисколько, ответил он, телескопом совершенно безопасно. Он уже многих желающих переправил на вершину и ни одного человека не потерял. Я спросил его, что будет стоить мне подняться вместе с Гаррисом и с положенным числом проводни-

ков и носильщиков. За Гарриса он спросил два франка, что же до проводников и носильщиков, то он не советовал их брать, разве что мы уж очень робкого нрава. При восхождении на телескопе их никто не нанимает, это не столько помощь, сколько обуза. Он сказал, что партия, прокладывая себе путь на вершину горы, приближается к самому трудному участку; если мы не будем терять времени, минут через десять мы их догоним, и тогда ничто не помешает нам воспользоваться услугами их носильщиков и проводников без их ведома и особой приплаты.

Я сказал ему, что мы желаем выступить немедленно. По-моему, я сказал это достаточно хладнокровно — о чем бы ни говорила внезапная бледность и дрожь, охватившая меня при мысли об испытаниях, на которые я так безрассудно себя обрекаю. Вновь во мне пробудился мой старый боевой задор, и я сказал, что, раз решившись, уже не отступаю: я поднимусь на Монблан, хотя бы это стоило мне жизни. И я сказал этому человеку, пусть наставит как нужно свою машину, — мы готовы в путь.

У Гарриса душа ушла в пятки, и он стал упираться, но я вдохнул в него мужество, обещав всю дорогу держать его руку в своей. Итак, бросив последний грустный взгляд на окружающие нас картины благодатного лета, я приник к стеклу, исполненный решимости подняться в царство суровых льдов и вечного снега.

С величайшими предосторожностями, поминутно оглядываясь, пробирались мы по Боссонскому леднику, через зияющие трещины и пропасти, мимо внушительных ледяных башен и контрфорсов, увешанных исполинскими сосульками. Необозримая ледяная пустыня, простиравшаяся по сторонам, казалась дикой и угрюмой, и столько опасностей окружало нас, что я не раз был готов повернуть вспять и только огромным напряжением воли заставлял себя идти вперед.

Благополучно миновав ледник, мы с невероятной быстротой стали взбираться по крутизне. Спустя семь минут после выступления мы достигли зоны, где местность резко изменилась. Перед самыми нашими

глазами простирался как бы бескрайний, сверкающий снегом материк, запрокинутый назад, в небо. Следуя благоговейным взглядом по этим чудовищным склонам, теряющимся в небесной дали, я чувствовал, как ничтожно и мелко все то, что до сих пор представлялось мне венцом могущества и величия.

После короткого отдыха мы опять стремглав понеслись вверх. Минуты через три увидели мы группу восходителей и остановились понаблюдать ее на расстоянии. Двенадцать человек, связанных веревкой с промежутками в пятнадцать футов, с трудом тащились веревницей по наклонному снежному хребту, отчетливо выделяясь в ясной лазури неба. С ними была одна женщина. Мы видели, как они поднимают и опускают ноги; видели, как они с размеренностью маятников взмахивают в лад альпенштоками, а потом всей тяжестью опираются на них; видели, как женщина машет кому-то носовым платком. С трудом ползли они вверх, выбиваясь из сил, — шутка сказать, они в три часа утра вышли из Гран-Мюле на Боссонском леднике, а было уже одиннадцать. Мы видели, как они повалились на снег и поочередно пили что-то из бутылки. После небольшого отдыха вся группа двинулась дальше, и только у последнего короткого перегона, отделявшего их от цели, мы к ним присоединились.

Вскоре все мы стояли на вершине. Поистине необъятная ширь простиралась у наших ног! К юго-западу, на самом горизонте, молчаливым прибоем клубились вершины Фарнезийского Оберланда, и их снеговые гребни неясно мерцали в туманной дали; на севере высился исполинский силуэт Доннерветтерхорна в монашеском капюшоне грозowych туч; правее шагали в торжественном шествии вершины Цизальпинских Кордильер, купающиеся в розовой дымке; на востоке громоздились мощные массивы Брехунхорна, Свистунхорпа и Каценъяммерхорна, их голые, без единого облачка, пики холодно белели в небе; за ними в отдалении вырисовывались шпили и башни Аллеганских и Кавказских гор; южнее курился гордый Попокатепетль и неприступный Бумагомаратель; на западе-юго-западе в пурпуре заката сонно дремала величественная

гряды Гималаев, а там, куда ни глянь, повсюду до самого горизонта глаз блуждал по взволнованному морю исцелованных солнцем Альп, отмечая то тут, то там благородные очертания и величественные купола Пудельхорна, Сабельхорна, Табельхорна и Гोनобобельхорна, облитые полуденным солнцем и испещренные нежнейшими бликами и тенями дрейфующих облаков.

Перед этим сказочным зрелищем все мы в один голос издали восторженный вопль, но тут кто-то рядом недовольно заворчал:

— Вы что, белены объелись? Орете на всю улицу!

Окрик мгновенно перенес меня обратно в Шамони. Спустившись с заоблачных высот, я дал незнакомцу два-три душеспасительных совета. Разделавшись с ним, я обратился к телескопмену и, заплатив ему сполна, сказал, что мы удовлетворены прогулкой и не станем возвращаться на вершину, чтобы спуститься, как полагалось бы, телескопом. Телескопмен был тронут нашей предупредительностью, избавлявшей его от лишних хлопот: ибо если бы мы захотели вернуться, ему пришлось бы снимать нас с горы при помощи линзы.

Я считал, что уж теперь-то нам обязательно дадут дипломы. Мы сходили к Главноуправляющему, но этот субъект до тех пор кормил нас завтраками, что мы так и уехали ни с чем. Вот до чего доводят шовинистические предрассудки! Впрочем, и он с нами хлебнул горя. Он надолго запомнит нас и наше восхождение на Монблан. Он даже высказал сожаление, что в Шамони нет сумасшедшего дома. Очевидно, боялся, что мы сведем его с ума. Мы с Гаррисом, собственно, этого и добивались, и если не преуспели, то единственно за недостатком времени.

Пусть читатель не ждет от меня ясного совета — лезть ему на Монблан или не лезть. Могу сказать одно: если он трусоват, то радости этой экскурсии не возместят ему предстоящих трудностей и лишений; если же он человек неробкого десятка, если он молод и здоров и наделен характером и волей и если он в состоянии на всякий случай — чем черт не шутит! — обеспечить семью, то восхождение доставит ему бездну удовольствия, а уж последующих восторгов, рассказов и

воспоминаний о том, что он увидел с вершины, хватит ему с избытком на всю жизнь.

Впрочем, и такого человека я не стал бы уговаривать лезть на Монблан, как не стал бы и отговаривать. Если же он по собственному почину предпримет такую попытку, я поставил бы ему, осторожности ради, следующих два условия: во-первых, выбрать ясный, безветренный день, а во-вторых — ни в коем случае не платить телескопмену вперед. Ходят смутные толки, будто наивных туристов, заплативших вперед, этот изверг, подняв на вершину, оставляет там на вечные времена.

Однажды в том же Шамони прохожие, глядя в телескоп, стали свидетелями ужасающей трагедии. Представьте себе дознание, на котором слышатся следующие вопросы и ответы:

Следователь. Вы присутствовали при том, как этот человек погиб?

Свидетель. Да, присутствовал.

Следователь. Где он в это время находился?

Свидетель. Близ самой вершины Монблана.

Следователь. А где находились вы?

Свидетель. На главной улице Шамони.

Следователь. И какое между вами было расстояние?

Свидетель. *Пять с лишним миль*, считая по прямой.

Катастрофа эта произошла в 1866 году, ровно год и месяц спустя после несчастного случая на Маттерхорне. Трое отважных англичан¹, имевших большой опыт горных восхождений, надумали подняться на Монблан одни, без проводников и носильщиков. Все попытки отговорить их от этой затеи ни к чему не привели. В Шамони имеется много сильных телескопов. Эти огромные медные трубы, стоящие на своих помостах на всех удобных для наблюдения местах и нацеленные в небо, производят впечатление мощной артиллерии: можно подумать, что городок готовится отразить нашествие ангелов. Как читатель и сам понимает, в тот август

¹ Сэр Джордж Янг с братьями Джеймсом и Альбертом.

1866 года от желающих поглядеть в телескоп просто отбою не было, — все в городке знали об опасном предприятии трех смельчаков, и каждого томило предчувствие беды. Все утро все трубы телескопов были устремлены на вершину горы, и у каждой стояла толпа встревоженных жителей. Но снежная пустыня оставалась безлюдной.

Наконец — время уже подходило к одиннадцати — кто-то из глядевших в трубу крикнул: «Идут! Вот они!» И действительно, высоко-высоко, на одной из верхних террас Большого Плато, показались три крошечные фигурки, поднимавшиеся с невиданной быстротой и уверенностью. Вскоре они скрылись в «коридоре», и целый час их не было видно. Потом они снова показались втроем уже на вершине Монблана. Пока все шло как нельзя лучше. В течение нескольких минут стояли они на этой высочайшей точке Европы под прицелом многочисленных труб, затем начали спускаться. И вдруг все трое исчезли. А секунду спустя они снова появились на склоне горы, но только на две тысячи футов ниже.

Очевидно, все трое полетели с отвесного ледяного склона прямо к его подножью у закраины ледника. Зрители, наблюдавшие на огромном расстоянии, конечно считали, что видят теперь три трупа, и глазам своим не поверили, когда двое упавших встали и склонились над третьим. В течение двух с половиной часов было видно, как они хлопочут над распростертым недвижимым телом. Вся жизнь в городке остановилась, люди толпились на улице; все были поглощены тем, что происходит на одинокой сценической площадке, вознесенной на высоту в пять миль. Наконец оба уцелевших брата — один из них двигался с трудом — начали спуск, оставив третьего, бездыханного, лежать на льдине. За ними наблюдали — шаг за шагом, — пока оба не скрылись в глубине «коридора». Еще до того, как они успели выбраться оттуда, надвинулись сумерки, и телескопы потеряли свою чудесную силу.

Уцелевшим путникам предстояло совершить свой трудный путь впотьмах, так как до самого Гран-Мюле не было места, где бы они могли остановиться и

передохнуть, а между тем этот долгий спуск даже среди бела дня представляет большую опасность. Старейшие проводники говорили, что им не справиться, что оба неминуемо погибнут.

И все же храбрецы справились. Они благополучно спустились в Гран-Мюле. Даже пережитое потрясение не лишило братьев их испытанного хладнокровия и мужества. Из официального донесения явствует, что они с величайшим трудом в течение многих часов прокладывали себе дорогу среди ужасающих опасностей, пробыв в пути от наступления сумерек до двух часов ночи, так как спасательная экспедиция из Шамони прибыла на Гран-Мюле в три часа утра и отправилась к месту катастрофы уже под предводительством «только что вернувшегося» сэра Джорджа Янга.

После двадцатичетырехчасового труднейшего высокогорного похода сэр Джордж снова ушел наверх во главе спасательного отряда из шести проводников, чтобы спустить в долину тело погибшего брата. Это также было ошибкой — небольшому отряду такая задача не под силу. Вскоре прибыл второй спасательный отряд и в ожидании вестей расположился в сторожке на Гран-Мюле. В течение десяти часов после ухода сэра Джорджа на поиски этот новый отряд тщетно оглядывал снежные склоны со своего наблюдательного пункта среди ледяной пустыни, на высоте в десять тысяч футов над уровнем моря; вся первая половина дня протекла в бесплодном ожидании — нигде не видно было ни одного живого существа.

Это внушало тревогу. Вскоре после полудня на помощь сэру Джорджу и ушедшим с ним проводникам выступил новый отряд из шести человек. В сторожке их проводили взглядом, и снова началось томительное ожидание. Еще четыре часа протекли без вестей. В пять часов выступил новый отряд — на этот раз из трех проводников. Они несли лекарства и еду для подкрепления сил своим ранее ушедшим товарищам. Они взяли с собой фонари, так как надвигалась ночь, а тут еще, в довершение всех бед, заморосил холодный дождик.

В тот самый час, когда эта тройка начала свое опасное восхождение, Главноуправляющий по Монблану и

округе предпринял не менее опасный спуск в Шамони за свежими подкреплениями. Однако двумя-тремя часами позже, в семь пополудни, неизвестность, державшая всех в тревоге, благополучно разрешилась. Сверху донесся звук рожка, и высоко в горах на снегу замелькали черные точки. Наблюдатели с волнением считали их — четырнадцать, — слава богу, ни один не погиб. Спустя полтора часа все благополучно прибыли и разместились под крышей сторожки. Они принесли с собой тело погибшего. Сэр Джордж Янг, дав себе несколько минут роздыха, приступил к долгому и трудному спуску в Шамони. Он достиг подошвы горы часа в два-три утра, пробыв на ногах среди ледников и отвесных скал два дня и две ночи. Его выносливость не уступала его мужеству.

Причину непонятной задержки сэра Джорджа и спасательных отрядов оказался густой туман, поднявшийся на месте катастрофы, а также трудности, связанные с их задачей — спустить мертвое тело по кручам.

При освидетельствовании на трупе не заметно было ушибов, и врач не сразу обнаружил перелом шейных позвонков. Один из спасшихся братьев отделался легкими повреждениями, другой же остался и вовсе невредим. Как братья уцелели, сорвавшись с обрыва и пролетев две тысячи футов, и поныне остается неразрешимой загадкой.

Немало женщин совершило восхождение на Монблан. Два или три года назад юной англичанке мисс Стрэтон пришла в голову дерзновенная мысль штурмовать Монблан зимой. Смелое предприятие увенчалось успехом. Мало того — поднимаясь, она отморозила себе два пальца; достигнув вершины, скоропалительно влюбилась в своего проводника, а по возвращении вниз вышла за него замуж. Трудно представить себе ситуацию более романтическую, чем такого рода любовное объяснение в небесных высях, на одинокой обледенелой вершине, когда термометр показывает нуль и задувает вьюга.

Первой из женщин взойшла на Монблан двадцатидвухлетняя Мария Парадиз — в 1809 году. Она совер-

шила этот подвиг в сопровождении своего возлюбленного, который не был даже проводником. После этого слабый пол на тридцать лет уgomонился, и только в 1838 году некая мадемуазель д'Анжвилль повторила этот подвиг. В Шамони мне посчастливилось напасть на старинный наивный дагерротип, изображающий ее «в один из моментов» восхождения.

Впрочем, я ценю эту карточку не столько как произведение искусства, сколько как страничку из истории костюма, ибо мадемуазель д'Анжвилль надела в этот поход панталоны, что было очень разумно, но свела все преимущества своего наряда к нулю, накинув поверх панталон еще и юбку, что было полным идиотством.

Об одном из самых прискорбных случаев, порожденных пагубным влечением мужчин к восхождению на опасные вершины, — случае, происшедшем на Монблане в 1870 году, — в скупых словах рассказывает мосье д'Арв в своей «Истории Монблана». Я опишу его вкратце в следующей главе.

Глава XVI

Одиннадцать человек — жертвы катастрофы — Партия восходителей — Записная книжка обреченного на гибель, — Спасение было рядом — Покорное ожидание смерти

Пятого сентября 1870 года партия в одиннадцать человек выступила из Шамони, чтобы совершить восхождение на Монблан. Трое из одиннадцати были туристы: мистеры Рэндолл и Бин — американцы, и мистер Джордж Коркиндейл — шотландец; с ними шли три проводника и пятеро носильщиков. В тот же день партия достигла сторожки на Гран-Мюле; шестого, на заре, они возобновили подъем. День был погожий, ясный, за продвижением путников следили в телескопы из Шамони; в два часа пополудни видели, как вся группа поднялась на вершину. Несколько минут спустя видели, как они начали спускаться, — и тут густое облако скрыло их от наблюдателей.

Прошло восемь часов, а тучи так и не рассеялись; спустилась ночь, но никто не вернулся в Гран-Мюле. Смотритель сторожки, Сильвен Куте, заподозрил неладное и послал в долину за помощью. На поиски была послана группа проводников, но когда они после утомительного подъема подошли к сторожке, внезапно поднялась метель. Решено было переждать, так как сделать что-либо в такую погоду было невозможно.

Бешеный буран длился, не ослабевая, больше недели, однако, 17-го Куте и несколько проводников вышли из сторожки и кое-как добрались до вершины. Здесь, среди снежной пустыни, отряд наткнулся на пять трупов; они лежали на боку, словно отдыхая, — видно было, что люди изнемогли от голода и усталости, окоченели от мороза, и смерть застигла их во сне. Пройдя несколько шагов дальше, Куте обнаружил еще пять трупов. Одиннадцатый труп — носильщика — так и не был найден, хотя его упорно искали.

В кармане одного из американцев — мистера Бина — найдена была записная книжка со скупыми карандашными записями, которые позволяют нам как бы присутствовать душой и телом среди обреченных в последние часы их жизни, вместе с ними смотреть в глаза тем ужасам, что видел их слабеющий взор и сознавал их угасающий рассудок.

«Вторник, 6 сентября. Я достиг вершины Монблана вместе с партией в десять человек — мистер Коркиндейл, мистер Рэндолл и восемь проводников. Мы взошли на вершину в половине третьего. Едва начали спуск, как снег повалил хлопьями. Ночь провели в пещере, вырытой в сугробе, но она плохо защищала нас, и я всю ночь страдал невыносимо

7 сентября, утро. Убийственный холод. Идет густой непрерывный снег. Проводники ни минуты не отдыхают.

Вечером. Милая Хесси, мы уже два дня на Монблане; нас захватила ужасная вьюга, мы сбились с пути и сидим в норе, вырытой в снегу на высоте в пятнадцать тысяч футов. Я уже не надеюсь отсюда выбраться».

Они без конца кружили и кружили, ослепленные метелью, безнадежно заплутавшись на пространстве в сто

квадратных ярдов; наконец, сраженные холодом и усталостью, они вырыли в снегу яму и легли умирать медленно, дюйм за дюймом, а между тем еще пять шагов вывели бы их на спасительную тропу. Жизнь и безопасность были рядом, а они того не знали, — вот что больше всего потрясает в этой трагической повести.

Приводя заключительные фразы скорбного дневника, автор «Истории Монблана» говорит о них так:

«Здесь буквы пошли крупные и беспомощные, — видно, что рука пишущего стынет и цепенеет; но духом он бодр; вера и смирение умирающего выражены с возвышенной простотой:

«Быть может, мою записную книжку найдут и перешлют тебе. Нам нечего есть, ноги у меня уже окоченели, едва хватает сил написать тебе несколько слов. Средства на воспитание Ч. я тебе оставил, — знаю, ты сумеешь ими распорядиться. Я умираю с верой в бога и с глубокой нежностью к тебе. Простите все. Встретимся на небесах... Все мои мысли о вас».

Обычно Альпы даруют смерть своим жертвам с милосердной быстротой, но здесь закон нарушен. На долю этих людей выпала самая жестокая кончина, какая известна в истории Альп, сколь эта история ни насыщена ужасными трагедиями.

Глава XVII

«Отель де Пирамид». — Боссонский ледник. — Один из аттракционов — Совет туристу — Сборщик податей на леднике. — Кристально-чистая ледяная вода. — Процент смертности. — Увеселительная поездка.

Мы с мистером Гаррисом взяли проводников и носильщиков и поднялись к «Отель де Пирамид», стоящему на высокой морене, что граничит с Боссонским ледником. Дорога вела круто в гору, мимо лесов и цветущих лугов, — совсем была бы приятная прогулка, если бы не утомительный подъем.

С террасы отеля ледник был виден как на ладони. Мы отдохнули и тропинкой, высеченной по внутрен-

нему, крутому склону морены, сошли прямо на ледник. Здесь нам показали местную достопримечательность — длинный искусственный грот, похожий на туннель. Хозяин грота, захватив свечи, повел нас внутрь. Ширина туннеля — три-четыре фута, высота — около шести футов. Стены из сплошного прозрачного льда струят густо-синий свет, исполненный очарования и напоминающий о заколдованных пещерах и тому подобных чудесах. Пройдя несколько шагов и вступив в сумерки, мы оглянулись назад, и нам предстала чудесная, залитая солнцем картина: далекие леса и холмы, вписанные в массивную арку туннеля и видимые сквозь голубоватое сияние, наполняющее грот.

Грот тянется чуть ли не на сто ярдов в длину; когда мы дошли до конца, владелец скрылся со свечами где-то в боковом туннеле, оставив нас в непроглядной темноте, погребенных в недрах ледника. Уж не замыслил ли он убить нас и ограбить? Мы сразу же нащупали в карманах спички, решив продать свою жизнь как можно дороже и, если придется худо, спалить к чертям весь ледник. Но тут нам стало ясно, что человек передумал: он запел низким мелодическим голосом, и в ответ ему грянуло причудливое и благозвучное эхо. Вскоре он вернулся, сделав вид, будто только затем и покидал нас. А мы сделали вид, будто ему верим, оставив все свои подозрения при себе.

Итак, опять мы были на волосок от гибели, и только пронизательность и хладнокровие спасли нас, прибавив еще одно счастливое избавление к длинному списку прежних. Тем не менее каждому туристу рекомендуется посетить ледяной грот — он того стоит, — но только советуя идти с большим и хорошо вооруженным войском. Артиллерия необязательна, хотя и она не помешает, если представится возможность ее прихватить. Весь путь туда и обратно составляет три с половиной мили, из них три мили по ровному месту. Мы прошли его меньше чем за день, но мой совет не слишком опытным ходокам, если время терпит, растянуть его на два дня. В Альпах нет расчета переутомляться, нет расчета производить за день двухдневную работу ради единственной жалкой цели — хвалиться потом достигнутым

результатом. Куда разумнее и целесообразнее выполнить задачу за два дня, а потом, в рассказе, один день опустить. Это избавит вас от усталости и не повредит рассказу. Все рассудительные альпинисты так и поступают.

Мы отправились к Главноуправляющему и попросили у него эскадрон проводников и носильщиков для подъема на Монтанвер. Но болван только вытаращил на нас глаза:

— Для подъема на Монтанвер вам не нужны проводники и носильщики, — заявил он.

— А что нам, по-вашему, нужно?

— Таким, как вы... Карета скорой помощи.

Эта грубая выходка так меня задела, что я решил обратиться к другому поставщику.

Уже на следующее утро мы спозаранку достигли высоты в пять тысяч футов над уровнем моря. Тут мы сделали привал и позавтракали. В этом месте — оно именуется Кайе — к услугам путника сторожка, а также источник с ледяной водой. Прибитое к двери объявление сообщает на французском языке: «Здесь можно за 50 сантимов увидеть живую серну». Мы воздержались от столь капитальных затрат, так как предпочитаем видеть мертвых серн.

В начале первого мы завершили подъем и добрались до новой гостиницы на Монтанвере. Отсюда на шесть миль вдаль виден огромный ледник, знаменитый Мерде-Гляс. Он кажется зыблущимся морем, как бы замерзшим в движении, но подальше от берега оно вздыбилось хаосом кипящих ледяных валов.

Мы спустились коварной тропой, проложенной по крутому откосу морены, и вторглись на ледник. Куда ни глянь, везде скользили по нему туристы обоого пола, точно на многолюдном катке.

Однажды сюда забралась императрица Жозефина. Она поднялась на Монтанвер в 1810 году, но не одна: перед ней расчищала дорогу, — а быть может и устилала коврами, — армия слуг, и императрица следовала за ними под охраной шестидесяти восьми проводников.

Ее преемница посетила Шамони, но то была уже поездка совсем другого рода. Это было спустя семь не-

дель после падения Первой империи; бедняжка Мария-Луиза, отставная императрица, путешествовала в скромном качестве беглянки. Она прибыла ночью, в бурю, всего с двумя сопровождающими и стояла перед хижинкой крестьянина усталая, в испачканном платье, промокшая до костей, с «еще не стершимся с чела алым отпечатком утерянной короны», — стояла и молила о разрешении войти. Напрасно! Лишь за несколько дней до того рукоплескания и льстивые восторги целой нации звенели в ее ушах — и пасть так низко!

Мы благополучно, но не без тайных опасений, пересекли Мер-де-Гляс. Дрожь пробирала при виде глубоких синих таинственных расщелин во льду. На огромные круглые, скользкие ледяные волны было так трудно взобраться, а скатиться с них и попасть в зияющую трещину так легко, что мы чувствовали себя прескверно.

На дне раздولا между двумя самыми высокими ледяными волнами увидели мы какого-то пройдоху, делавшего вид, будто он высекает во льду ступени для вящей безопасности туристов. Он явно бил баклуши, но, завидев нас, вскочил, выскоблил во льду две-три ступеньки, пригодные разве что для кошки, и спросил с нас франк или два; потом снова уселся подремать, до прихода следующей партии. За этот день он взыскал дань уже с двухсот или трехсот туристов, хотя не нанес леднику сколько-нибудь заметного ущерба. Мне приходилось слышать о многих тепленьких местечках, но такого теплого места, как сбор пошлины на леднике, пожалуй не найдешь.

День стоял невыносимо жаркий, все время мучительно хотелось пить. Невыразимое наслаждение — утолять жажду чистой, прозрачной ледниковой водой! Вдоль каждого сколько-нибудь заметного ребра ледника текли прозрачные ручейки по желобкам, ими же проточенным во льду; но в особенности много собиралось воды во впадинах, выдолбленных во льду валунами; каждая из них представляла теперь чашу с гладкими белыми стенками и дном изо льда, и каждая чаша была до краев наполнена такой чистой водой, что невнимательному наблюдателю она казалась пустой. Вид у этих озерц столь заманчивый, что, даже не

испытывая жажды, я ложился на лед, погружал в них лицо и пил, пока не начинало ломить зубы. В Швейцарских Альпах мы всегда имели благословенную возможность утолить жажду водой, — в Европе это недоступно нигде, кроме как в горах. В горной Швейцарии, куда ни забредешь, повсюду вдоль дороги бегут искристые ручейки восхитительно холодной воды, и мы с моим спутником только и делали, что пили воду и хвалили ее от души.

Вообще же по всей Европе, за исключением горных местностей, вода такая вялая и безвкусная, что и сказать невозможно, и подают ее тепловатой; впрочем, все равно — ей и лед не поможет. Она неизлечимо безвкусная, неизлечимо вялая; ею можно только мыться, — удивительно, что большинство местного населения об этом не догадывается. В Европе вам скажут с презрением: «У нас никто здесь не пьет воду». И в самом деле, их вполне можно понять; здесь во многих местах имеются все предпосылки для введения своеобразного сухого закона. В Париже и Мюнхене, например, каждый вам скажет: «Не пейте нашу воду, это сущий яд».

Либо Америка куда здоровее Европы, невзирая на свою «смертельную» приверженность к ледяной воде, либо у нас статистика смертности ведется не так тщательно, как в Европе. Впрочем, я думаю, мы достаточно точно ведем свою статистику, а если так, то наши города не в пример здоровее городов Европы. Германское правительство составляет ежемесячные таблицы смертности для всего мира и публикует их. Я вырезал сведения за несколько месяцев: удивительно, как упорно и регулярно каждый город дает один и тот же процент смертности — из месяца в месяц. Эти таблицы можно было бы печатать со стереотипа — так мало они отличаются друг от друга. Они составлены на основании еженедельных сводок и показывают, сколько в среднем умирает за год людей на каждую тысячу человек населения. Мюнхен неизменно представлен числом 33 на тысячу. Чикаго так же твердо держится на цифре 15—17, Дублин — на цифре 48 и т. д.

В этой таблице фигурируют только немногие американские города, но они широко разбросаны по всей

стране и в целом верно показывают условия жизни в городах Соединенных Штатов; что касается деревень и небольших поселков, то можно заранее сказать, что жизнь в них куда здоровее, нежели в наших городах.

Вот вам данные для американских городов, фигурирующих в немецких таблицах:

Чикаго — годовое число смертей на тысячу человек населения — 16; Филадельфия — 18; Сент-Луис — 18; Сан-Франциско — 19; Нью-Йорк (американский Дублин) — 23.

А посмотрите, как подскочат цифры, едва мы перейдем к трансатлантическому списку:

Париж — 27; Глазго — 27; Лондон — 28; Вена — 28; Аугсбург — 28; Брауншвейг — 28; Кенигсберг — 29; Кельн — 29; Дрезден — 29; Гамбург — 29; Берлин — 30; Бомбей — 30; Варшава — 31; Бреславль — 31; Одесса — 32; Мюнхен — 33; Страсбург — 33; Пешт — 35; Кассель — 35; Лиссабон — 36; Ливерпуль — 36; Прага — 37; Мадрас — 36; Бухарест — 39; Санкт-Петербург — 40; Триест — 40; Александрия (Египет) — 43; Дублин — 48; Калькутта — 55.

Эдинбург на одном уровне с Нью-Йорком — 23; во всем списке не найдется города, который по условиям жизни превосходил бы Нью-Йорк, исключая Франкфурт-на-Майне (20). Но и Франкфурт уступает Чикаго, Сан-Франциско, Сент-Луису и Филадельфии.

Я не удивился бы, если бы точная перепись, произведенная во всем мире, показала, что смертность в Америке в два раза ниже, чем в других странах.

Я враг всякой инсинуации, но все же, по моему разумению, приведенные здесь статистические данные указывают на то, что население Европы втихомолку пьет эту мерзкую воду.

Мы вскарабкались на морену с противоположной стороны ледника, а потом проползли около сотни ярдов по ее острому гребню, каждую минуту рискуя сорваться и упасть на ледник. Лететь пришлось бы каких-нибудь сто футов, но они прикончили бы меня так же верно, как тысяча, поэтому я соответственно и оценивал эту высоту и был от души рад, когда прошел весь путь до конца. Морена представляет собой позицию, которую крайне неудобно брать штурмом. Издали она напоми-

нает бесконечно длинную могильную насыпь из тончайшего песка, аккуратно выложенную и приглаженную; но вблизи она оказывается нагромождением валунов всех размеров, от булыжника с человеческую голову и до глыбы величиной с дом.

Вскоре мы достигли места, именуемого «Mauvais Pas» или, если перевести с чувством, «Убийственная тропа». Эта сумасшедшая дорожка лепится по обрыву на высоте в сорок — пятьдесят футов, причем единственной опорой путнику служат железные перила. Я продвигался медленно, осторожно, со стесненной душой и кое-как дополз до середины. Здесь я немножко воспрянул, — но тут же пал духом: мне навстречу шел боров — длинноносый мужлан, обросший щетиной, — он уставил на меня свое рыло и недоуменно раздувал ноздри. Не правда ли, какое удовольствие встретиться в Швейцарии на прогулке с боровом! Как это экзотично и романтично! Об этом стоило бы написать поэму. Боров не мог повернуть назад, даже если бы обнаруживал к этому склонность. Было бы глупо отстаивать свое достоинство на тропинке, где и стоять не так-то просто, да мы и не пытались его отстаивать. За нами следовало еще человек двадцать — тридцать туристов обоего пола; и все мы безропотно повернули назад, а боров поплелся за нами. Противное животное нисколько не смутилось тем, что произошло, с ним это случилось не впервой.

До ресторана «Château»¹ на макушке утеса мы добрались в четыре пополудни. Здесь мы нашли целую фабрику сувениров с обширным, разнообразным и дешевым ассортиментом. Я купил очередной разрезальный нож — на память — и поручил выжечь на моем альпенштоке названия Монблана, «Mauvais Pas» и прочих мест, после чего мы спустились в долину и пошли домой, не связавшись веревкой. Здесь это можно себе позволить — долина шириной в пять миль и совершенно ровная.

В гостиницу мы вернулись около девяти, и на следующее утро выехали дилижансом в Женеву, устроив-

¹ Замок (франц.).

пись наверху, под пестрым тентом. Сколько мне помнится, нас было там человек двадцать с лишним. Дилижанс такой высокий, что взбираться наверх пришлось по приставной лестнице. Огромный экипаж был битком набит и внутри и снаружи. Одновременно с нами отошли еще пять дилижансов, все переполненные. Мы заказали места дня за два и уплатили по установленной таксе — пять долларов за место; другие пассажиры поступили умнее: доверившись Бедекеру, они предпочли ждать до последней минуты, и кое-кому удалось получить место за доллар или за два. Бедекер прекрасно осведомлен насчет порядков в компаниях, владеющих гостиницами, железными дорогами и дилижансами, и говорит о них всю правду. Он верный друг путешественника.

Впервые увидели мы Монблан во всем его великолепии, только отъехав от него на много миль; величественно устремленный в небо, белый, холодный, торжественный, он словно пригнетает к земле весь прочий мир, который по сравнению с ним кажется маленьким и вульгарным, дешевым и пошлым.

Когда Монблан наконец скрылся из виду, один старик англичанин поудобнее уселся в своем кресле и сказал:

— Что ж, хорошенького понемногу! С главными особенностями швейцарского пейзажа — с Монбланом и зобом — я уже знаком, теперь можно домой!

Глава XVIII

Женева. — Американские нравы. — Галантность. — Полковник Бейкер из Лондона. — Справедливость по-арканзасски. — Безопасность женщины в Америке. — Город Шамбери. — Турин. — Оскорбленная женщина. — Честность итальянцев.

Несколько дней мы отдыхали в Женеве, чудесном городе, где изготавливаются точные хронометры для всего света, но где свои городские часы почему-то не желают правильно указывать время.

Здесь до пропасти маленьких магазинчиков, а в магазинчиках до пропасти прелестных вещей, но стоит вам войти в такое злачное место, как на вас набрасываются, предлагая купить то одно, то другое, то третье, и так донимают и терзают, что вы счастливы оттуда выбраться и уже ни за что не решитесь повторить свою оплошность. В Женеве лавочники мелкого разбора так же назойливы и настойчивы, как приказчики в Парижском Grand Magasin du Louvre — этом чудовищном муравейнике, где наглое приставание и преследование возведено в науку.

В небольших женевских лавках цены очень гибки — тоже особенность не из приятных. Я как-то загляделся на висящие в витрине детские бусы — просто смотрел на них, они мне были не нужны; я всю жизнь обходился без бус и не собирался их носить и впредь. Но тут из магазина выбежала хозяйка и предложила мне купить эти бусы за тридцать пять франков. Я сказал, что цена недорогая, но что бусы мне не нужны.

— Но, *monsieur*, посмотрите, какие они хорошенькие!

Я охотно с ней согласился, но заметил, что в моем возрасте и при моем скромном образе жизни я не рискну их надеть. Тогда она бросилась в магазин, вынесла бусы и стала совать их мне в руки, приговаривая:

— Вы только посмотрите, что за прелесть. Конечно же *monsieur* возьмет их, ну хотя бы за тридцать франков. Ах, что я... Но раз уж я сказала... Себе в убыток, поверьте, но надо же человеку как-то жить.

Я опустил руки, надеясь тронуть ее своей беззащитностью. Но нет, она завертела бусами перед самым моим носом, приговаривая:

— Ах, *monsieur*! Разве можно перед этим устоять! — Потом навесила их мне на сюртучную пуговицу и с обреченным видом сложила руки: — Бедненькие мои, отдала я вас за тридцать франков — никто и не поверит! Но господь добр, он вознаградит меня за эту жертву.

Я осторожно отделил бусы, вложил ей в руку и пошел прочь, качая головой и ощущая на своем лице глупую, смущенную улыбку, — на нас уже озирались про-

хожие. Хозяйка между тем высунулась из двери и, потрясая бусами в воздухе, закричала мне вслед:

— Берите, monsieur, за двадцать восемь!

Я покачал головой.

— Ну, двадцать семь. Это чудовищный убыток, просто разоренье, но берите, только берите!

Я продолжал отступать, все так же качая головой.

— Mon dieu, ничего не поделаешь, берите за двадцать шесть! Что сказано, то сказано. Идите же сюда!

Я и тут покачал головой. Неподалеку от меня всю дорогу шла няня с девочкой англичанкой. Они и дальше пошли за мной следом. Лавочница подбежала к няне, сунула ей бусы в руки и затараторила:

— Ладно, отдаю их monsieur за двадцать пять. Отнесите ему в гостиницу, а насчет денег не беспокойтесь, я могу и подождать — до завтра или даже до послезавтра, если нужно. — И обращаясь к девочке: — Когда твой папочка пришлет мне деньги, приходи и ты, мой ангельчик! Увидишь, какую славную штучку я для тебя приготовила!

Провидение сжалилось надо мной: няня решительно и бесповоротно отказалась взять бусы, и на этом дело кончилось.

В Женеве не много «достопримечательностей». Я попытался найти дома, где некогда обитали две не слишком приятные личности — Руссо и Кальвин, — но безуспешно. Поставив крест на этих поисках, я решил вернуться домой. Но принять такое решение оказалось легче, чем его выполнить: это не город, а какие-то дебри. Я заплутался в лабиринте кривых и узких улочек и часа два не мог понять, на каком я свете. Наконец я набрел на улицу, показавшуюся мне знакомой, и мысленно поздравил себя: «Вот я и дома!» Но я ошибся: то была «Улица Ада». Потом я вышел в другое как будто знакомое мне место и вздохнул свободнее: «Теперь-то я в самом деле дома!» Опять ошибка: это была «Улица Чистилища». Через некоторое время я опять воскликнул: «Но теперь-то я вышел куда надо! Хотя... что же это?.. «Райская улица»? Видно, я дальше от дома, чем когда-либо». Станные названия для улиц, уж не Кальвин ли их придумал? «Ад» и «Чистилище»

подходили к тем улицам как нельзя лучше, а в названии «Райская» я усмотрел иронию.

Наконец я вышел к озеру, и все стало на место. Я проходил мимо сверкающих витрин ювелиров, когда передо мной разыгралась следующая сценка. По улице шла дама, и некий денди во всем параде, выйдя из ворот, так рассчитал свой шаг, чтобы натолкнуться прямо на нее, когда она поравнялась с ним; он не сделал попытки посторониться, он не извинился, он ее даже не заметил. Ей пришлось остановиться, а он профланировал мимо. Я не мог понять, что это: дерзкая выходка или случайность? Той же развязной походкой незнакомец подошел к стулу и сел за столик; еще двое-трое таких же франтов сидели за другими столиками и тянули подслащенную воду. Я ждал. Тем временем показался какой-то юноша, и мой денди не замедлил сыграть с ним тот же номер. Мне все же не верилось, что это преднамеренная выходка. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я обошел квартал кругом, — и действительно, когда я приблизился быстрым, решительным шагом, мой денди так же лениво, с развалцем направился мне наперерез и вышел на мою трассу как раз вовремя, чтобы принять на себя всю тяжесть моего тела. Это показало мне, что и предыдущие его художества были не случайны, а сугубо нарочиты.

Ту же фатовскую игру я наблюдал потом в Париже, но там она была вызвана не желанием пофорсить, а только полным эгоистическим безразличием к правам и удобствам ближнего. Впрочем, в Париже вы встретитесь с этим не так часто, как можно бы ожидать, ведь здесь даже закон говорит, что слабый должен «уступать дорогу сильному». У нас возница, переехавший на улице прохожего, платит штраф; в Париже штраф платит пострадавший. По крайней мере так я слышал от многих, хотя однажды мне привелось стать свидетелем случая, который поколебал мою уверенность: у меня на глазах всадник сшиб с ног старуху, и полицейские арестовали его и увели. Похоже было, что они и в самом деле намеревались его наказать.

Мне меньше всего пристало ссылаться на превосходство наших американских обычаев, ибо разве они не

излюбленная мишень для шуток и насмешек всей благовоспитанной Европы? И все же я отважусь указать на одно маленькое преимущество наших нравов: у нас женщина может в любое время дня ходить по городу куда ей вздумается, и ни один мужчина не посмеет ее задеть; если же в Лондоне женщина решится выйти одна на улицу, хотя бы и днем, она всегда рискует нарваться на неприятность или прямое оскорбление — и не со стороны подвыпившего матроса, а мужчин, всем своим обликом и одеждой напоминающих джентльменов. В таких случаях говорят, что это был не джентльмен, а проходимец в наряде джентльмена. Однако случай с полковником Валентайном Бейкером опровергает этот довод, так как офицером в британской армии может стать только представитель дворянского сословия. Этот субъект, оказавшись в купе вагона вдвоем с беззащитной девушкой... но это слишком гнусная история, да и читатель, конечно, помнит ее. Очевидно, Лондон уже притерпелся к Бейкерам и к повадкам Бейкеров, иначе Лондон был бы возмущен и оскорблен. Бейкера «содержали под арестом»... в гостиную, причем отбоя не было от посетителей, и ему оказывали столько внимания, как если бы он совершил по меньшей мере шесть убийств; а когда его уже ждала петля, он предпочел «обратиться на путь истинный», по примеру присноблаженного Чарльза Писа. Арканзас — хоть с моей стороны и несколько бестактно трубить о наших преимуществах, тем более что сравнения ни для кого не убедительны, — Арканзас Бейкера непременно повесил бы. Я не поручусь за то, что его стали бы сперва судить, но в том, что Арканзас его повесил бы, я ни минуты не сомневаюсь.

Даже самой низко павшей женщине не опасно показываться у нас на улице — ее пол и слабость служат ей достаточной защитой. Она не встретит у нас той благовоспитанности, какою славится Старый Свет, но встретит зато больше человечности. Одно искупает другое с лихвой.

Рано поутру нас разбудил музыкальный рев осла, мы встали и начали готовиться к поистине тяжелому пешему походу — в Италию; но дорога оказалась

чересчур для нас ровная, и мы предпочли сесть в поезд. Поездка, правда, отняла у нас бездну времени, но это не столь важно, спешить нам было некуда. Мы четыре часа тащились до Шамбери. Швейцарские поезда, взбираясь на гору, делают местами по три мили в час, зато они безопасны.

Старинный французский город Шамбери своими узкими причудливыми улочками напомнил нам Гейльбронн. В переулках стоял благодатный покой, так что, если бы не палящее солнце, бродить по ним было бы несравненным удовольствием. На одной из таких улочек шагов в восемь шириной, очаровательно извилистой и застроенной курьезными старинными домиками, я видел трех спящих жирных свиней под присмотром маленького мальчика (тоже спящего); под забавными старомодными окошками изгибались, повторяя кривую улицу, цветочные ящики, а с краю одного такого ящика свисали голова и плечи спящей кошки. Пять спящих тварей были, казалось, единственными здешними обитателями. Ни один звук не нарушал господствующую кругом тишину. Дело было в воскресенье, — непривычно видеть на континенте такое дремотное воскресенье. В нашей части города мы наблюдали в тот вечер другую картину. Прибыл из Алжира опаленный солнцем и изрядно потрепанный полк, очевидно истомившийся жаждой в дороге. Солдаты пели и пили всю ночь до зари под ласковым летним небом.

Часов в десять утра на следующий день выехали мы в Турин по железной дороге, богато украшенной туннелями. Жаль только, что мы забыли прихватить фонарь и не могли любоваться видами. Наше купе было переполнено. Здоровенная швейцарка с пучком кудели на макушке, корчившая из себя даму, хотя видно было, что ей привычнее стирать тонкое белье, чем носить его, пристроилась у окна, протянув ноги на противоположное сиденье и подперев их в икрах поставленным на ребро чемоданом. Узурпированное таким образом место принадлежало двум американцам, которых крайне стесняли эти величественные женские ноги, обутые в гробы. Один из американцев вежливо попросил освободить место. Швейцарка устала на него свои круг-

лые очи и промолчала. Спустя некоторое время он так же вежливо повторил просьбу. Тогда она сказала обиженным тоном и на правильном английском языке, что уплатила за билет и не позволит каким-то иностранным прощелыгам ущемлять ее права, хоть она и едет одна и некому ее защитить.

— Но ведь и у меня есть права, сударыня. Мой билет дает мне право на полное место, а вы захватили добрую половину.

— Я не желаю с вами разговаривать, сударь! По какому праву вы ко мне пристаёте? Я с вами незнакома. Так и видно, что вы из страны, где не знают, что такое джентльмен. Ни один джентльмен не обошелся бы так с дамой.

— Я из страны, где ни одна дама не подала бы мне повода для такого разговора.

— Сударь, вы оскорбляете меня! Вы хотите сказать, что я не дама, — что ж, тем лучше, меньше всего я хотела бы походить на ваших землячек.

— Не беспокойтесь, сударыня, вам такая опасность не грозит; тем не менее прошу вас, будьте добры освободить мое место.

Но тут чувствительная прачка ударилась в слезы.

— Никогда, никогда еще меня так не оскорбляли, — приговаривала она, всхлипывая. — Никогда, никогда! Как вам не стыдно, зверь вы, аспид, разве вы не видите, что у меня больные ноги? Стоит мне опустить их, я криком кричу от боли.

— Господь с вами, сударыня, что же вы молчали? Тысячу извинений — и от всей души. Я не знал, не мог знать, что у вас больные ноги! Сидите себе на здоровье. Я бы и не заикнулся, если б только знал. Мне крайне жаль, что так вышло, смею вас уверить.

Но он так и не добился ни одного милостивого слова. Она рыдала и сопела — чуть потише, но так же безуспешно — битых два часа, все больше донимая пассажира своим похоронным оборудованием и не замечая его смиренных попыток выказать ей внимание и соболезнование. Наконец поезд остановился у итальянской границы, и она вскочила как встрепанная и затопала к выходу такой же твердой стопой, как любая прачка

ее племени. И как же я потом угрызался, что дал себя провести!

Турин — прекрасный город. Размахом своей планировки он, по-моему, превосходит самые смелые пожелания. Он расположен посреди безбрежной голой равнины, — можно подумать, что земля здесь ничего не стоит и что за нее не платят налогов, так щедро ее расходуют. Улицы непомерно широки, их пересекают огромные площади; дома, большие и красивые, тянутся однообразными кварталами, прямыми как стрела, теряющимися вдаль. Тротуары шириной с обычную европейскую улицу осенены двойными аркадами на массивных каменных столбах или колоннах. И по такой просторной улице вы из конца в конец идете все время под навесом, мимо множества нарядных магазинов и уютных ресторанчиков.

В городе имеется просторный и довольно длинный пассаж, сверкающий греховно-прельстительными витринами, крытый стеклом и вымощенный приятными по тону неяркими мраморными плитами, образующими красивые узоры; вечерами, когда ослепительно горят газовые рожки и все ломится от жадной до развлечений публики, прогуливающейся взад и вперед с веселыми возгласами и смехом, пассаж представляет зрелище, которым стоит полюбоваться.

Здесь все поставлено на самую широкую ногу: общественные здания производят впечатление не только своей пышной архитектурой, но и внушительными пропорциями; на широких площадях воздвигнуты бронзовые памятники; в гостинице нам отвели две спальни сокрушительных размеров плюс гостиная под стать спальням. Хорошо, что дело было летом и гостиную не надо было отапливать, — попробуйте отопить парк. Но в таком помещении вам в любую погоду покажется тепло — от алых штофных занавесок, от стен, обитых чем-то столь же пламенеющим, и от таких же четырех диванов и целого взвода стульев. Мебель, канделябры, ковры, украшения — все здесь яркое и дорогое, все с иголочки новенькое. Мы скромно отказались от гостиной, но нам объяснили, что она идет в придачу к двум спальням и что мы можем пользоваться ею при жела-

нии. В качестве бесплатного приложения мы, так и быть, согласились ею пользоваться.

В Турине, должно быть, много читают, здесь на каждые двадцать квадратных футов приходится больше книжных магазинов, чем вы увидите в других городах. Да и сынами Марса город тоже не обижен. Форма итальянских офицеров, пожалуй, самая красивая, какую я встречал; впрочем, и те, кто носит эту форму, как правило, хороши собой. Они не очень высоки, но зато прекрасно сложены, у них тонкие черты, смуглые лица и блестящие черные глаза.

Я уже загодя, за несколько недель, стал собирать у туристов сведения об Италии. Все сходилось на том, что итальянцы народ продувной и с ними надо держать ухо востро. Как-то вечером, гуляя по Турину, я увидел на площади кукольное представление. Публики было человек двенадцать — пятнадцать. Балаганчик походил на гроб взрослого человека, поставленный стоймя; верхняя, открытая его часть изображала мишурный салон, — большой носовой платок мог бы заменить отсутствующий занавес; несколько дюймов свечных огарков служили огнями рамп; на сцену то и дело выскакивали фигурки величиною с куклу, они обращались друг к другу с пространными речами и усиленно жестикулировали, причем разговоры их почти неизменно кончались потасовкой. Кто-то наверху дергал за веревочки, причем иллюзия была далеко не полной, так как зритель видел не только веревочки, но и управляющую ими смуглую руку, к тому же все актеры и актрисы говорили одним и тем же густым басом. Публика толпилась перед балаганом, видимо от души наслаждаясь представлением.

Когда спектакль кончился, какой-то малый, в одной жилетке, стал обходить зрителей с медным блюдечком. Я не знал, сколько дать, и решил положиться на соседей. К сожалению, их было только двое, и они мало чем помогли мне, так как ничего не дали. За неимением итальянских денег я положил на блюдечко швейцарскую монету, примерно в десять центов. Закончив обход, малый в жилетке высыпал всю выручку на сцену. Между ним и его невидимым хозяином завязался ожив-

ленный разговор, в результате которого означенный малый стал проталкиваться через немногочисленную публику, — я почему-то сразу подумал, что он ищет меня. Моим первым побуждением было удрать, но, поразмыслив, я решил, что нечего праздновать труса: проявлюка я лучше мужество, окажу сопротивление и не дам себя в обиду. Малый подошел ко мне, он и в самом деле вертел в руках мою швейцарскую монету. Он что-то сказал мне; я, конечно, не понял ни слова, но догадался, что он требует с меня итальянских денег. Вокруг нас уже толпились любопытные. Меня зло взяло, и я сказал, конечно по-английски:

— Я знаю, что деньги швейцарские, хотите — берите, не хотите — дело ваше, других у меня нет.

Малый все норовил вернуть мне монету и что-то лепетал. Я с негодованием отдернул руку и произнес:

— Нет, приятель, мне отлично известно, что вы за народ! Лучше не пробуйте на мне своих фокусов, как раз обожжетесь! Если вы и потеряете на обмене, не ищите убытков с меня. Я прекрасно видел: вам платит далеко не всякий; своих вы не трогаете, а ко мне пристали, потому что я иностранец и, по вашим расчетам, примирюсь с любым вымогательством, лишь бы не нарваться на скандал. Но не на того напали! Либо берите эти деньги, либо ничего не получите.

Малый стоял передо мной, вертя в руках монету, растерявшийся и озадаченный. Он явно не понял ни слова из моей речи. Но тут итальянец, знавший по-английски, вмешался в наш разговор. Он сказал:

— Вы, сударь, не поняли мальчика. Он ничего от вас не требует. Он думает, что вы дали ему столько денег по оплошности, и торопится вернуть их вам, — боится, что вы уйдете, так и не обнаружив свою ошибку. Возьмите у него монету, дайте ему взамен пенни, и все у вас кончится к общему удовольствию.

Должно быть, я густо покраснел, — да и было отчего. Воспользовавшись услугами того же переводчика, я извинился перед малым, но благородно отказался взять назад свои десять центов. Я сказал, что такая уж у меня привычка транжирить деньги, — это моя вторая натура. После чего я ретировался, с намерением

занести в свою памятную книжку, что итальянцы, связанные со сценой, не обманывают публику.

Эпизод с кукольником напомнил мне одну темную страницу моей биографии. Однажды я обобрал дряхлую слепую побирушку в церкви — стащил у нее четыре доллара. Вот как это было. Когда я путешествовал за границей с моими «Простаками», наш пароход остановился в русском порту Одесса, и вместе с другими пассажирами я сошел на берег осмотреть город. Вскоре я отстал от своих спутников и бродил в приятном одиночестве; было уже далеко за полдень, когда я вошел в православную церковь познакомиться с ее внутренним устройством. Уходя, я заметил в притворе двух слепых старушек, они стояли неподвижно, выпрямившись, у стены и протягивали за подающим свои заскорузлые коричневые ладони. Я опустил монету в руку ближайшей нищенки и направился к выходу. Пройдя шагов пятьдесят, я спохватился, что мне придется заночевать на берегу: меня предупредили, что наше судно в четыре часа уйдет по какой-то надобности и вернется на стоянку лишь к утру. А было уже сколько-то пятого. Я высадился на берег с двумя монетами в кармане, примерно одного размера, но разного достоинства: это были французский золотой стоимостью в четыре доллара и турецкая монета на два с половиной цента. С внезапным недобрým предчувствием судорожно лезу в карман и вытаскиваю турецкую монету.

Каково же было мое положение! В гостинице требуют плату вперед, вот и грани всю ночь мостовую, того гляди в участок попадешь как подозрительная личность! У меня был один только выход — я бросился обратно к церкви и вошел крадучись. Старухи все еще стояли в притворе, и на ладони у ближайшей поблескивал золотой. У меня отлегло от сердца. Я тихонько подошел, чувствуя себя последним негодяем, вытащил из кармана турецкую монету и уже протянул дрожащую руку, чтобы совершить бесчестный обмен, как вдруг сзади послышался кашель. Я отпрянул, точно пойманный за руку, и стоял ни жив ни мертв, пока какой-то верующий медленно тащился к алтарю.

Я год околачивался там, пытаюсь украсть монету, — то есть мне это показалось годом, хотя времени прошло, конечно, значительно меньше. Молящиеся входили и уходили; их вряд ли собиралось больше, чем по три сразу, но церковь ни минуты не пустовала. Всякий раз как я уже готовился осуществить свой умысел, кто-нибудь входил или выходил и мешал мне; но вот желанный миг настал: в церкви никого, исключая меня и обеих нищенок. Я схватил с ладони старухи золотой и опустил в нее турецкий медяк. Бедняжка зашамкала, призывая на меня благословение божие, и каждый звук резал меня, как ножом. А затем я бросился наутек, подгоняемый нечистой совестью, и, отбежав за милю от церкви, все еще оглядывался, нет ли за мной погони.

Этот случай послужил мне полезным и благодетельным уроком: я тут же на месте дал себе клятву больше никогда не грабить в церкви дряхлых слепых побирушек; и я остался верен слову. Самые незабываемые уроки морали те, которые мы черпаем не из книжных наставлений, а из жизни.

Глава XIX

В Милане. — Мои приключения в этом городе. — Честный кондуктор. — Собор. — Старые мастера. — Картина Тинторетто. — Чувствительные туристы. — Картина Бассано. — «Обитый шкурой сундук».

В Милане мы чуть ли не все дни проводили в обширной красивой Аркаде — или галерее, или как она там называется. Представьте себе целые кварталы новых высоких, величественных зданий, богатых архитектурными украшениями и статуями, а между ними улицы, крытые стеклом на большой высоте, с тротуарами из разноцветных полированных мраморных плит, выложенных красивым узором; а по этим мраморным улицам повсюду разбросаны столики, за которыми сидят люди — едят, пьют, курят, меж тем как мимо проплывают толпы гуляющих, — вот это и есть Аркада. Я сидел бы здесь весь день. Окна нарядных ресторанов

раскрыты настежь, вы завтракаете и видите перед собой словно движущееся представление.

Мы бродили по городу, наблюдая его уличную жизнь. Проехались и на omnibuse; затрудняясь спросить у кондуктора, сколько платить за проезд, ввиду полного незнания итальянского, я протянул ему несколько медяков, из которых он выбрал два, после чего принес мне свою тарифную таблицу, чтобы показать, что он не обсчитал меня. Я занес в свою записную книжку: итальянские кондуктора не обманывают публику.

Подле собора наблюдал я другой пример честности. Старик продавал кукол и игрушечные веера. Две девочки американки взяли по вееру, сунули старику франк и три медяка и пошли дальше; но он тут же позвал их обратно и вернул им франк и один медяк. Отсюда явствует, что в Италии лица, причастные к сцене, городскому транспорту и игрушечному промыслу, не обманывают публику.

Запас товаров в магазинах здесь, по-видимому, не велик. В вестибюле магазина, торгующего главным образом готовым платьем, увидели мы десяток манекенов, сбившихся в кучку, все в расхожих шерстяных костюмах, с ярлыками, на которых значилась цена. Один из костюмов стоил сорок пять франков — девять долларов на наши деньги. Гаррис вошел в магазин и попросил показать ему такой костюм. Это не потребовало больших хлопот: старик лавочник тут же втащил манекен в лавку, пообчистил щеткой, потом раздел до гола и отправил его одеяние к нам в гостиницу. Он пояснил нам, что не держит у себя двух одинаковых костюмов, а шьет каждый раз новый, чтобы приодеть свой манекен.

В другом квартале мы натолкнулись на шестерых итальянцев, у которых из-за чего-то заварилась ссора. Итальянцы приплясывали на месте и отчаянно жестикулировали — головой, руками, ногами, всем телом; то и дело кто-нибудь, окончательно рассвирепев, бросался вперед и потрясал кулаком под самым носом у противника. Мы простояли там с полчаса, чтобы помочь при уборке трупа, но итальянцы кончили тем,

что заключили друг друга в объятия и облобызались. Случай был поучительный, но знали бы мы, что драки не будет и все обойдется миром, мы не стали бы терять зря столько времени. Новая запись: когда итальянцы ссорятся, они обманывают зрителя.

Вскоре нас постигло новое разочарование. Мы подошли к толпе, с увлечением что-то разглядывавшей, и увидели в центре ее человека: склонившись над коробкой, поставленной наземь и прикрытой лоскутом старого одеяла, он с жаром лопотал по-своему, отчаянно жестикулируя. То и дело он ухватывал кончиком пальцев краешек одеяла, словно желая показать, что тут нет никакого обмана, и при этом все приговаривал; но каждый раз, как я уже готовился увидеть какой-нибудь сногсшибательный фокус, он опускал одеяло и продолжал свои объяснения. Наконец он все-таки открыл коробку, достал из нее ложку с какой-то жидкостью и давай совать всем направо и налево — словно желая убедить зрителей, что все у него по-честному, без надувательства, — и залопотал с еще большим азартом. Я ждал, затаив дыхание, что сейчас он зажжет жидкость и протлотит. В одной руке я припас цент, в другой — флорин, с намерением отдать ему первый, если он останется жив, а второй — в случае его смерти, так как гибель его сулила мне барыш в виде литературного гонорара, а в таких случаях я не стою за ценой. Но мошенник прикончил свое завлекательное представление тем, что подсыпал в жидкость какого-то порошка и почистил ложку; после чего он поднял ее высоко в воздух и замахал ею с таким победным видом, как если бы сотворил небывалое чудо. Зрители восторженно захлопали, а мне вспомнилась сентенция из учебника истории, что сыны юга падки на зрелища и в этом отношении весьма неприхотливы.

Мы провели незабываемый час в величественном соборе. В высокие окна лился свет, и косые разноцветные полосы прорезали густые сумерки, падая где на колонну, где на картину, где на коленопреклоненную фигуру молящегося. Орган рокотал, раскачивались кадильницы, на отдаленном алтаре мерцали свечи, и молчаливо скользили мимо них священники в торже-

ственных одеяниях, — это было одно из тех зрелищ, которые начисто смывают все суетные мысли и погружают душу в благоговейное спокойствие. В нескольких шагах от меня остановилась нарядная молодая американка; устремив взгляд на залитый огнями алтарь, она почтительно склонила голову, но тут же выпрямилась, высоко подбросила каблуком свой шлейф и, ловко подхватив его на лету, быстро вышла из церкви.

Посетили мы и картинные галереи и другие признанные миланские достопримечательности, — не потому, что я снова хотел писать о них, но чтобы убедиться: научили ли меня чему-нибудь истекшие двенадцать лет? С этой же целью я потом побывал в знаменитых музеях Рима и Флоренции. Оказалось, что кое-чему я все же научился. Когда-то я писал о старых мастерах, утверждая, что копии лучше оригиналов. Это была большая ошибка. Старые мастера и сейчас не увлекли меня, но все же по сравнению с копиями они божественно хороши. Копия по отношению к оригиналу — это примерно то же, что анемичная, вымученная, безжизненная группа новеньких восковых фигур по сравнению с группой настоящих, полнокровных мужчин и женщин, которых они тщатся воспроизвести. В старых картинах привлекает теплый, сочный, мерцающий колорит, который так же ласкает глаз, как смятые, приглушенные полутона ласкают ухо. Колоритом больше всего и славятся старые картины, а копияист передать его бессилён. Художники, с которыми мне пришлось беседовать, признавали, что это мягкое освещение, этот теплый, мерцающий колорит придается *временем*. Но тогда зачем славить старых мастеров, которые тут ни при чем, не правильней ли было бы славить старое время? Быть может, картина была кимвалом звенящим, пока время не смягчило и не облагородило ее краски?

Беседуя с одним художником в Венеции, я спросил его:

— Почему все в таком восторге от старых мастеров? Я был в Палаццо дожей и видел там целые акры очень плохой живописи — неправильная перспектива, неверные пропорции. Собаки Паоло Веронезе меньше

всего похожи на собак, а его лошади — это какие-то пузыри на четырех ногах; у одной из его мужских фигур правая нога приходится с левой стороны тела; на большом полотне, где император (Барбаросса?) лежит распростертый перед папой, трое мужчин на переднем плане выше тридцати футов ростом — если судить по фигуре мальчика, стоящего на коленях в центре переднего плана; по этому же масштабу — в папе семь футов, а дож — и вовсе иссохший карла ростом не более четырех футов.

— Да, — ответил мне художник. — Старые мастера были нередко плохими рисовальщиками, они не придавали большого значения правдивости и точности деталей: а все-таки, невзирая на беспомощность рисунка, перспективы и пропорции, на выбор тем, уже неспособных увлечь зрителя, как они увлекали его триста лет назад, — невзирая на все это, в их картинах есть нечто божественное, нечто недоступное и неведомое искусству ни одной из последующих эпох, — нечто, способное привести в отчаяние современных художников; к счастью, заранее махнув рукой, они не утруждают себя и мыслью о подобном совершенстве.

Вот что он сказал мне, — сказал то, чему верил. И не только верил, но чувствовал.

Рассуждения, а в особенности рассуждения без технических знаний, в таких случаях бесполезны. Они не помогут вопрошающему. Они только цепью безупречных логических построений приведут его к заключению, в котором художник не найдет ни капли смысла. Итак, беспомощность рисунка, перспективы и пропорций; равнодушие к правдивой детали; краски, волшебное очарование которых зависит не от художника, а от времени, — вот что определяет старого мастера. Вывод: старый мастер был плохим художником, старый мастер был не старым мастером, а старым подмастерьем. Однако, признав правильность ваших предположений, ваш друг художник осудит ваш вывод; он будет стоять на том, что, невзирая на сокрушительный список общепризнанных недостатков, в старом мастере есть нечто божественное и недостижимое и что никакими рассуждениями этого не опровергнешь.

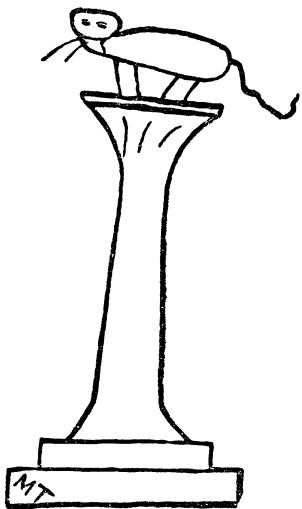
Что ж, мне это понятно. Есть ведь женщины, чье неизъяснимое очарование делает их красавицами в глазах людей им близких; а между тем сторонний наблюдатель, подойдя к делу с меркой рассудка, ничего в этой красоте не поймет. Он посмотрит на такую женщину и скажет: «Подбородок мал, а нос длинен; лоб высок, волосы слишком рыжие; да и лицо бледновато, и фигура нескладная». И в заключение: «Нет, эту женщину красавицей не назовешь». На что ее ближайший друг с полным основанием ответит: «Ваши предположки верны, ваши рассуждения безупречны, — а вывод все же ошибочен: эта женщина — старый мастер, она из красавиц красавица, но лишь для тех, кто хорошо ее знает; такую красоту трудно описать словами, — но это не мешает ей быть красотой».

Итак, на этот раз я с бóльшим удовольствием смотрел в Европе на старых мастеров, чем в прежние годы, но все же то было спокойное удовольствие, без особого жара. В прошлое мое посещение Венеции ни одна картина меня не взволновала, тогда как на этот раз я каждый день ради двух картин ходил в Палаццо дожей и просиживал там по несколько часов. Одна из них — трехакровое полотно Тинторетто в Великой палате Совета. Двенадцать лет назад эта картина не произвела на меня особенного впечатления (гид сказал, что это восстание на небе), — и я был не прав.

На этом замечательном полотне мастерски передано движение. Десятки тысяч фигур, и каждая что-то делает. Во всей композиции чувствуется мощный порыв. Одни фигуры стремглав летят вниз, сцепив руки над головой; другие плывут в грядях облаков — кто навзничь, кто ничком; торжественные процессии епископов, страстотерпцев и ангелов устремляются к центру картины с разных сторон, все охвачены ликованием, во всем чувствуется безудержное движение. По полотну разбросано пятнадцать — двадцать фигур с книгами, однако сосредоточиться им трудно, они протягивают книги другим, но и тем не до чтения. И лев св. Марка тоже здесь со своей книгой, и сам св. Марк с поднятым пером; они значительно переглядываются и с серьезными минами обсуждают, как пишется такое-то

слово, — лев благоговейно возвел глаза, между тем как св. Марк называет буквы. Трактовка этого эпизода поистине восхитительна. Это величайшая удача несравненной картины.

Я приходил каждый день и не уставал любоваться великолепным полотном. Как я уже говорил, на нем царит движение непередаваемой силы: фигуры поют, славословят, многие трубят в трубы. Впечатление шума



Лев св. Марка.

так жизненно, что, поддавшись ему, зрители, желая обменяться замечаниями, сплошь и рядом кричат их друг другу на ухо, в сложенные рупором руки, боясь, что иначе их не услышат. Здесь не редкость увидеть туриста, который, проливая слезы умиления, орет жене на ухо в сложенные трубкой ладони: «О, радость — быть там и наконец обрести покой!»

Только истинно великий художник способен создавать такие эффекты с помощью немой кисти.

Двенадцать лет назад я не оценил бы этой картины. И год тому назад я не оценил бы ее. Занимаясь живописью в Гейдельберге, я прошел прекрасную школу. Всем, что я сегодня представляю собой в искусстве, я обязан Гейдельбергу.

Другое великое творение, очаровавшее меня, — бессмертная картина Бассано «Обитый шкурою сундук». Висит она в Палате Совета десяти. Это одно из трех сорокафутовых полотен, украшающих ее стены. Композиция картины выше всякой похвалы. Посетителя здесь не бьют, так сказать, по голове обитым шкурою сундуком, он не вынесен на первый план, как это часто бывает с главными идеями других бессмертных творений; нет, сундук заботливо убран на второй план, под-

чинен целому, он приберегается, искусно и мудро придерживается в резерве; и когда мастер осторожно и планомерно вас к нему подводит, вы застигнуты врасплох, огорошены, и сундук предстает перед вами как величайшая неожиданность.

Безмерное восхищение охватывает вас при мысли о том, сколько мастерства, сколько творческих усилий вложено в эту изощренную композицию. При беглом взгляде на картину вы и не догадываетесь о присутствии обитого шкурою сундука; «Обитый шкурою сундук» не упомянут и в названии; оно гласит: «Папа Александр III и дож Циани, победитель императора Фридриха Барбароссы»; как видите, название скорее рассчитано на то, чтобы отвлечь внимание от сундука; повторяю, ничто не указывает на присутствие сундука, но все планомерно, шаг за шагом к нему подводит. Давайте же внимательнее поглубже и познакомимся поближе с этой на диво искусно-безыскусственной композицией.

На крайнем левом фланге изображены две женщины, одна из них держит на руках ребенка, который через плечо матери глядит на раненого воина с перевязанной головой, сидящего на земле. Казалось бы, излишние фигуры, — но нет, они помещены здесь с умыслом: глядя на них, вы не можете не заинтересоваться пышной процессией вельмож, епископов, алебардщиков и знаменосцев, движущейся на втором плане; а увидев процессию, вы невольно последуете за ней, чтобы узнать, куда она направляется; и процессия приводит вас к папе, который, стоя в центре полотна, беседует с дожем, почтительно обнажившим голову, — беседует с полным спокойствием, хотя футах в двенадцати человек бьет в барабан, неподалеку от барабанщика двое трубят в рог, а вокруг них гарцуют, горяча коней, многочисленные всадники; итак, двадцать два фута этого великого творения представляют сплошной праздник, благопорядочное шествие воскресной школы, тогда как на следующих одиннадцати с половиной футах мы видим беспорядок, смуту и неповиновение. И это не случайность, мы и здесь усматриваем ясное намерение. Зритель без этого, пожалуй, так бы и прилип к папе и дожу, вообразив, что в них и заклю-

чена главная идея; привлеченный же беспорядком по соседству, он невольно любопытствует, чем он вызван. И вот на самом дальнем конце беспорядка, в четырех футах от правого края картины и в полных тридцати шести футах от левого, перед зрителем с неожиданностью электрического разряда возникает «Обитый шкурою сундук» во всем своем несравненном совершенстве, и тут искусство мастера одерживает величайшую победу. С этой минуты все прочее на сорокафутовом полотне теряет всякое очарование: вы видите сундук, обитый шкурой сундук, — и больше ничего, а увидеть его — значит пасть перед ним ниц. Бассано не случайно вкрапил по соседству со своей Главной Идеей несколько деталей, коих назначенье — лишний раз отвлечь и рассеять внимание зрителя и тем оттянуть и усилить заключительный эффект; так, например, он поставил справа нагнувшегося человека в красной шапке, столь яркой, что глаз не может на ней не задержаться; слева же, футах в шести, поместил всадника в пурпурном кафтане, на гордом скакуне, и кафтан уводит ваш взгляд в другую сторону; мало того, между пурпурным всадником и сундуком он пристроил обнаженного по пояс человека, взвалившего на спину (а не на плечи!) весьма затейливый мешок с мукой, и эта небезынтересная подробность конечно же остановит ваше внимание и еще некоторое время проманежит вас, как рукавица или куртка, брошенная преследующему свою жертву волку, — пока наконец, после всех оглядок и задержек, даже самый тупой и равнодушный зритель не устремит глаза на мировой шедевр, и в эту минуту он без сил повалится на стул или обопрется на плечо своего гида, ища опоры.

Описания такого шедевра заранее обречены на неудачу, и все же им нельзя отказать в известном значении. Крышка у сундука сводчатая, это правильный полукруг в стиле романской архитектуры, так как в ту пору в республике на смену быстро клонившегося к упадку греческого искусства шло растущее влияние Рима. По краю крышки, где она соприкасается со стенками, сундук обит, или обшит, шкурой. Некоторые критики считают, что шкура несколько холодна по тону;

но я вижу здесь большую заслугу художника, который, видимо, хотел подчеркнуть контрастом пламенеющий жар замка. Свет в этой части холста распределен с большим искусством, *le motif*¹ согласован с колоритом заднего плана, *la technique*² выше всякой похвалы. Головки медных гвоздей написаны в чистейшем стиле раннего Ренессанса. Мазки положены уверенно и смело, что ни гвоздь — то портрет. Ручка сбоку сундука, очевидно, была пройдена вторично — по-моему мелом, но гениальная хватка старого мастера и сейчас еще чувствуется в том, как непринужденно — даже слишком непринужденно — ручка висит на стенке сундука. Щетина совсем «настоящая», она пегая и расцветивает сундук белыми и рыжими пятнами. Все до мелочи выписано; волосок прилегает к волоску, как и полагается щетине на шкуре, находящейся в неактивном, покоящемся состоянии. Вся эта часть холста написана с таким совершенством, которое поднимает сундук на недостижимые вершины искусства, это уже не мелочной, плюгавый реализм, — вы чувствуете в сундуке живую душу.

Словом, с какой точки зрения ни смотреть на сундук, это жемчужина, диво, чудо из чудес. Некоторые эффекты даже слишком смелы, они напоминают самые отважные дерзания рококо, сирокко и византийских школ; однако рука мастера нигде не дрогнет — спокойно, величественно и уверенно кладет она мазок за мазком и в конце концов с искусством, заставляющим забыть об искусстве, своими особыми таинственными средствами набрасывает на *tout ensemble*³ некое неусловимое нечто, которое проясняет, утончает, возвышает и одухотворяет более прозаические слагаемые, оживляя их волшебством поэзии.

В европейских сокровищницах искусства найдутся картины, приближающиеся к «Сундуку», есть две, которые, пожалуй, могут с ним сравниться, — но нет ни одной, которая бы его превосходила. «Обитый шкурою

¹ Центральный образ (франц.).

² Техника (франц.).

³ Все в целом (франц.).

сундук» — такое совершенство, что производит впечатление даже на людей, обычно нечувствительных к искусству. Год назад его увидел служащий багажного депо компании «Ири» и еле удержался, чтобы не налепить на него накладную. А один таможенный смотритель при виде сундука сначала уставился на него в немом восхищении, потом бессознательно сложил одну руку горстью и сунул ее за спину, а другой рукой полез в карман за мелком. Эти факты в пояснениях не нужны.

Глава XX

В Венеции. — Мое археологическое открытие. — Сокровища Св. Марка. — Вор, ограбивший храм, повешен. — Мы столуемся в частном доме. — Питание в Европе.

В Венеции приезжего долго держит во власти собор. Секрет его притягательной силы отчасти в том, что он очень стар, отчасти в том, что он очень уродлив. Многим прославленным зданиям не хватает одного существенного качества — гармонии; они представляют собой бессистемное смешение уродливого с прекрасным; но это никуда не годится, это смущает, это утомляет. Вас охватывает какая-то безотчетная неловкость и тревога. Другое дело Собор св. Марка: вы чувствуете вожденное спокойствие, созерцая его снаружи, созерцая его изнутри, и вы чувствовали бы себя так же спокойно на его крыше или в его подвалах; он безобразен весь до мелочей, и это совершенство безобразия не нарушается бестактным вторжением каких-то неуместных красот; а в результате перед вами некое величавое гармоническое воплощение успокаивающего, пленительного, умиротворяющего и ласкающего душу уродства. Всякое совершенство растет и никогда не падает в ваших глазах, и это вернейшее доказательство того, что перед вами истинное совершенство. Св. Марк представляет собой истинное совершенство. Его благородное, его царственное уродство постепенно так захватило меня, что мне трудно было хотя бы на короткое

время от него оторваться. Всякий раз как его приземистые купола исчезали из моих глаз, мною овладевало уныние, и всякий раз как они появлялись передо мной, меня охватывал искренний восторг, я не знал более блаженных часов, чем те, что проводил сидя перед кофейней Флориана и глядя на собор через площадь. Взгромоздясь на ряды низких толстоногих колонн, со спиной, утыканной куполами, он кажется огромным бородавчатым насекомым, выползшим погулять и поразмыслить на досуге.

Св. Марк — не самое старое здание на свете, однако оно кажется самым старым, особенно внутри. Когда древняя мозаика на его стенах начинает осыпаться, ее восстанавливают, но не заменяют новой, а сохраняют ее причудливый старый узор. У старины свое очарование, и приукрашивать ее — значит портить. Однажды я сидел на красной мраморной скамье в притворе и рассматривал старинную мозаичную фреску на тему «Размножайтесь и наполняйте землю». Собор восходит к седой древности, но фреска изображает событие еще большей давности, по сравнению с нею собор кажется молодым. Однако тут же я обнаружил древность по-старше и выдавшего виды собора и означенного исторического события: то было спиралевидное ископаемое величиной с тулью шляпы, вкрапленное в мраморную доску скамьи и отполированное до гладкости сидалищами туристов. По сравнению с непостижимой древностью скромного ископаемого все прочее показалось мне легкомысленно современным, незрелым, не далее как позавчерашним. Чувство древности собора рассеялось под впечатлением этой поистине почтенной древности.

Св. Марк — монументальное здание, непреходящий символ истового и простодушного благочестия средних веков. Кто только мог, похищал в языческом храме колонну и дарил свою поживу храму христианскому, так что последний покоится на многочисленных трофеях, приобретенных столь своеобразным способом. В наши дни считалось бы зазорным добывать на большой дороге кирпич на построение церкви, но в те далекие времена это не ставилось в грех. Самому

Св. Марку также пришлось однажды пострадать от своеобразного грабителя. Этот эпизод занесен в анналы Венеции, но его можно было бы включить в сказки «Тысячи и одной ночи», он был бы там на месте.

Четыреста пятьдесят лет тому назад некий человек по имени Стаммат, родом с острова Кандии, состоявший в свите принца из дома Эсте, был допущен к осмотру сокровищ Св. Марка. Его греховный взор был ослеплен ими; он спрятался за один из алтарей, лелея святотатственный умысел, но, обнаруженный одним из священников, был изгнан из храма. Однако он снова забрался туда, теперь уже с помощью подделанных ключей. Ночь за ночью проникал он в храм, работал усердно и терпеливо, совсем один и, одолевая препятствие за препятствием, умудрился наконец вынуть большую плиту из мраморной облицовки сокровищницы. Он так обтесал ее, что мог по желанию вынимать и вставлять обратно. После этого он в течение многих недель приходил еженощно на свои золотые прииски, чтобы в безопасности любоваться их богатствами, а перед рассветом возвращался к себе домой, унося под полою какое-нибудь сокровище, достойное короля. Ему не надо было хватать что попало и бежать без оглядки — никто не гнался за ним. Он мог брать вещи по зрелому выбору, сообразуясь со своим вкусом. О том, как беспрепятственно он действовал, чувствуя себя в полной безопасности, можно судить хотя бы по тому, что он утащил даже рог единорога, соблазненный этой диковиной, а так как рог не проходил в отверстие, Стаммат перепилил его пополам, — затея, потребовавшая многих часов кропотливой работы. Он уносил свои трофеи домой, пока это занятие, утратив прелесть новизны, ему не прискущало; после чего он опочил от трудов, удовлетворенный своей добычей. Еще бы, ведь его коллекция, по сегодняшним ценам, стоила около пятидесяти миллионов долларов.

Стаммат мог вернуться на родину первейшим богачом, а там протекли бы годы, прежде чем его хищения были бы замечены; но он был только человеком: счастье, о котором никто не знал, не радовало его, ему

нужно было кому-нибудь открыться. И вот, взяв торжественную клятву с некоего кандийского дворянина по имени Криони, он повел его к себе и ошеломил зрелищем своего сверкающего клада. Подметив на лице гостя выражение, показавшееся ему подозрительным, Стамматто выхватил кинжал, чтобы заколоть его, но Криони его убедил, что этот взгляд выражал лишь радость и восторг. Стамматто подарил земляку огромный карбункул, одно из главных сокровищ республики — дож впоследствии украсил им свой парадный головной убор, — и на этом друзья расстались. Криони тут же пошел во дворец и донес на преступника, представив в качестве улики карбункул. Стамматто был схвачен, допрошен и с обычной для старого венецианского суда оперативностью приговорен к казни. Он был повешен на Пьяцца между двумя большими колоннами, на шею ему накинута золоченая веревка — очевидно, во внимание к его златолюбию. Он так ничем и не попользовался из своей добычи — все было возвращено казне.

В Венеции нам повезло: мы столовались в частном доме — преимущество, редко выпадающее нашему брату на континенте. Если бы путешественнику можно было останавливаться в частных домах, Европа приобрела бы для него прелесть, которой сейчас ей явно недостает. Увы, он осужден мыкаться по гостиницам — невеселое, скажем прямо, занятие. Человеку, привыкшему к американским продуктам питания и американской кухне, не угрожает в Европе голодная смерть, но зачахнуть он, по-моему, вполне может, а со временем, пожалуй, и умрет.

Взять хотя бы то, что он лишен привычного завтрака. Уже это — большая потеря, крайне для него чувствительная. Правда, он может получить некую призрачную, бутафорскую замену, грубую подделку под завтрак; но много ли от нее толку, — а вот того настоящего, что ему нужно, он ни за какие деньги не получит.

Разберемся подробнее: простой, обычный завтрак среднего американца состоит из кофе и бифштекса; но кофе — напиток неизвестный в Европе: вам могут

здесь предложить только то, что в европейских гостиницах выдается за кофе, а это так же не похоже на то, что вы просите, как ханжество не похоже на благочестие. Эта мутная, пресная, тошнотворная бурда почти столь же непригодна для питья, как и та, которую подают в американских отелях. Молоко к нему вам приносят того сорта, которое во Франции именуется «христианским», ибо оно подверглось обряду крещения.

После нескольких месяцев знакомства с европейским «кофе» у человека слабеет рассудок, а с ним и вера, и его одолевают сомнения: а вдруг тот душистый напиток, который он привык пить дома, с густым слоем жирных, запекшихся сливок, плавающих поверху, лишь сон, пустое наваждение?

Далее — возьмите хлеб. По виду и по вкусу он как будто соответствует своему назначению, но вам его подают холодным — холодным, вязким и нерасполагающим; и при этом никакого выбора, никакого разнообразия, все та же осточертевшая жвачка.

Далее — возьмите то, что здесь называют маслом, — оно безвкусно, как трава, в нем ни намек на соль, и сделано оно бог знает из чего.

А потом — бифштекс. В Европе имеются бифштексы, но здесь их только портят. Их даже нарезать толком не умеют. Бифштекс подается на круглой оловянной тарелочке. Он лежит на самой ее середине, обложенный картофелем, 'насквозь пропитанным жиром; по форме, по величине и толщине он как мужская ладонь с отрубленными пальцами. Он слегка пережарен, слегка пересушен, слегка напоминает по вкусу резину и ничего не говорит ни уму, ни сердцу.

И вот представьте себе бедного изгнанника, сидящего перед этим безжизненным предметом; и представьте себе, что ангел, вдруг спустившись на землю из горнего мира, поставил перед ним мощный бифштекс «портерхаус», этак дюйма в полтора толщиной, горячий, огневой, потрескивающий с пылу с жару; он чуть припорошен душистым перцем и сдобрен тающими кусочками масла несравненного качества и

свежести; он источает драгоценный мясной сок, смешивающийся с подливкой, среди архипелага аппетитнейших грибочков; по отдаленным окраинам обширного бифштекса в двух-трех местах кудрявятся желтоватые выселки нежного жира; длинная белая косточка, отделяющая филейную часть от вырезки, торчит на положенном месте. И вообразите, что ангел принес ему вдобавок большую чашку домашнего кофе по-американски — со взбитыми сливками, порцию настоящего масла — ядреного, желтого, горстку свежее испеченных дымящихся бисквитов, тарелку горячих гречишных лепешек под прозрачным, как слеза, сиропом, — какими словами описать восторг и благодарность ошачествленного изгнанника!

Обед в Европе получше завтрака, но и тут сплошные недостатки и неполадки, а главное — вы не наедаетесь. Вы идете к столу голодный и жадно принимаетесь за еду: набрасываетесь на суп и чувствуете — чего-то в нем не хватает. «Ладно, — думаете вы, — вот доберусь до рыбы!» Пробируете рыбу — опять не то; но вы все еще надеетесь, что следующее блюдо будет наконец тем самым, которого вам не хватает, — оказывается, опять что-то не так. И вы переходите от блюда к блюду, точно мальчик, который гонится за бабочкой: вот-вот он ее схватит, а она все не дается. И кончается дело у вас, как и у него: вы как будто и наелись, а не сыты; мальчик набегался и наигрался до упаду, тешил себя надеждой, — а бабочки не поймал. Быть может, какой-нибудь американец и скажет вам, что где-то, когда-то, путешествуя по Европе, он встал из-за табльдота вполне удовлетворенный; но не верьте ему — ведь и среди американцев попадаются такие, которым недолго соврать.

И не то чтоб было мало перемен, — но это какое-то унылое разнообразие бесцветных блюд, какое-то бездарное, мертвящее «ни то ни се», какая-то «середина на половину». Ничего забористого, пикантного — того, что называется «букетом». Быть может, если бы жаркое подавалось на стол одним большим куском и нарезалось на глазах у клиента, — это пробудило бы в нем ощущение чего-то всамделишного, настоящего.

Но нет: мясо подают нарезанное ломтиками и обносят им сидящих за столом; и вы не чувствуете ни малейшего волнения, ваше сердце молчит. А теперь представьте себе: на блюде лежит, задравши ножки, огромная жареная индейка, жирная, истекающая соком... Но не стоит продолжать, разве они сумеют зажарить индейку! Им и цыпленка-то не зажарить как следует; а нарезают они его топором.

Вот более или менее обычное летнее меню табльдота:

Суп (не разбери поймешь какой).

Рыбное блюдо — камбала, горбуша или мерлан — обычно более или менее съедобно.

Жаркое — барагина или говядина — скорее похоже на жареную подошву, и к нему прошлогодний картофель.

Пате — или что-нибудь другое из мучного — «относительно» съедобно.

Овощ — в единственном числе, но поданный во всем параде — обычно безвкусная чечевица, или зеленые бобы, или вываренная спаржа.

Жареный цыпленок — вкусом, как жеваная бумага.

Салат-латук — более или менее съедобный.

Клубника или вишни — в последней стадии разложения.

Абрикосы и фики — попадают и свежие, но что в них голку.

Виноград — обычно хороший, а иногда, по ошибке, попадется и порядочный персик.

Изменения в этом меню допускаются самые минимальные. После двух недель такой кормежки вы замечаете, что эти изменения только кажущиеся; на третьей неделе вам подают то же, что на первой, на четвертой то же, что и на второй. Три-четыре месяца такой унылой тождественности прикончат и самый здоровый аппетит.

В то время как пишутся эти строки, меня угнетает мысль, что уже много месяцев как я не ел ничего порядочного, питательного, но скоро-скоро я закушу как следует — скромно, как говорится, в узком кругу, сам с собой. Я выбрал несколько блюд и составил небольшое меню, которое поедет домой с предшествующим пароходом и будет горячим стоять на столе к моему прибытию. Вот оно:

Редис. Печеные яблоки со сливками.
 Улитки жареные; улитки тушеные. Лягушки.
 Цесарка из иллинойсских прерий.
 Миссурийские куропатки на вертеле.
 Кофе по-американски с домашними сливками.
 Американское масло.
 Жареный цыпленок — по-южному.
 Бифштекс «портерхаус».
 Картофель «саратога».
 Цыпленок на вертеле — по-американски.
 Горячий бисквит — по-южному.
 Горячие булочки — по-южному.
 Гренки — по-американски.
 Прозрачный кленовый сироп.
 Виргинская грудинка на вертеле.
 Устрицы на створке раковины.
 Моллюски «Вишневая косточка».
 Сан-францисские моллюски паровые.
 Суп из устриц. Суп из моллюсков.
 Филадельфийский черепаховый суп.
 Устрицы, испеченные в раковине, — по-северному.
 Крабы. Коннектикутский пузанок.
 Балтиморский окунь.
 Речная форель из Сьерра-Невады.
 Озерная форель из Тахо.
 «Овечья голова» и «барабанщик» (рыба) — Новый Орлеан.
 Черный морской окунь из устья Миссисипи.
 Ростбиф по-американски.
 Жареная индейка а-ля «День благодарения».

Клюквенная подливка. Сельдерей
 Опоссум. Енот.
 Бостонская грудинка с бобами.
 Грудинка с овощами — по-южному.
 Мамалыга. Вареный лук. Рспа.
 Тыква. Кабачки. Спаржа.
 Перуанская фасоль. Бататы.
 Латук. Суккоташ — по-индейски. Бобы в стручках.
 Картофельное пюре. Кетчуп.
 Картофель в мундире.
 Молодой картофель, очищенный.
 Ранний розовый картофель, испеченный в золе — по-южному (подается горячим).
 Нарезанные помидоры с сахаром или уксусом. Помидоры тушеные.
 Молодая кукуруза в зернах, с маслом и перцем.
 Молодая кукуруза в початках.
 Горячий кукурузный хлеб с тревухой — по-южному.
 Горячие кукурузные лепешки — по-южному.
 Горячий сдобный хлеб — по-южному.
 Горячий папушник — по-южному.
 Пахтанье. Молоко со льда.
 Печеные яблоки в тесте с домашними сливками.
 Яблочный пирог. Яблочные оладьи.
 Яблочная слойка — по-южному.
 Персиковый лимонад — по-южному.
 Персиковый пирог. Мясной пирог — по-американски.
 Жареная дикая индейка.
 Вальдшнеп.
 Балтиморская утка.
 Тыквенный пирог. Кабачковый пирог.
 Все виды американских кондитерских изделий.

Свежие американские фрукты и ягоды, включая клубнику, которая не отсчитывается по ягодке, словно драгоценность, а выдается щедрыми порциями.

Ледяная вода, остуженная не в никчемном бокале, а в честном, добропорядочном холодильнике.

Американцу, который рассчитывает провести около года в европейских гостиницах, рекомендуем снять копию с этого списка и не расставаться с ним. В нем он найдет незаменимое средство для возбуждения аппетита в угнетающей атмосфере убогого табльдота.

Иностранцам наша кухня, должно быть, так же не нравится, как их кухня нам. И не удивительно, ведь со вкусами не рождаются, их приобретают. Я могу расхваливать свое меню до потери сознания, но шотландец только покачает головой: «Где же у вас хаггис?» — удивится он. А житель островов Фиджи вздохнет и спросит: «Где же у вас жареный миссионер?»

Я чувствую в себе безусловное призвание ко всему, что касается кулинарии, и способности мои не однажды получали признание профессионалов. Мне даже приходилось поставлять рецепты для поваренных книг. Вот несколько проектов по изготовлению кексов и проч., которыми я недавно снабдил одного моего приятеля, собирающегося выдать в свет поваренную книгу. Так как я забыл приложить к ним диаграммы и таблицы, их пришлось, разумеется, снять.

Подовый кекс на золе

На порцию воды взять порцию кукурузной муки грубого размола и четверть порции соли. Хорошенько вымесить, разделать в форме лепешки и дать постоять, — но не на ребре, а плашмя. Разгрести уголь на поду и поставить на него пирог, присыпав горячей золой на дюйм. Когда испечется, счистить золу, оставив тонкий слой. Эту сторону мазать маслом и есть, благословясь.

№3. Ни один дом не должен обходиться без этого талисмана. Замечено, что бродяги, отведав подового кекса, никогда не возвращаются за добавкой.

Новоанглийский пирог

Для приготовления этого превосходного блюда, представляющего незаменимый завтрак, следует замесить достаточное количество муки и воды и довести тесто до твердости железобетона. Расплющить в виде диска и загнуть края на три четверти дюйма. Подсушивать несколько дней при постоянной, не слишком высокой температуре. Тем же способом и из того же материала изготовить для этого редута крышку. Загрузить сушеными яблоками, потушив их до мягкости, и утрамбовать всю массу гвоздикой, лимонными корками и ломтями цитрона; добавить две порции тростникового сахара, припаять крышку и поставить пирог в укромное место, пока не окаменеет. Подавать к завтраку холодным, пригласив врагов.

Кофе по-немецки

Бочку воды поставить на огонь и довести до кипения; потереть кофейный боб о боб цикория и последний бросить в воду. Вываривать и выпаривать до тех пор, пока аромат кофе и букет цикория не улетучатся в необходимой степени; отставить в сторону для охлаждения. Выпрячь затем из плуга останки бывшей коровы, положить под гидравлический пресс и, получив чайную ложечку бледно-голубой жижи, которую немцы по недомыслию именуют молоком, развести в кружке тепловатой воды, чтобы разбавить его вредоносную крепость. После чего звонить к завтраку. Разлить полученный напиток по остуженным чашкам и пить, соблюдая умеренность. Во избежание перевозбуждения, обвязать голову мокрым полотенцем.

Как разделить птицу на части по немецкой методе

Пользоваться дубиной, избегая суставов.

Мои недоумения по поводу некоторых несообразностей — Искусство в Риме и Флоренции — Увлечение фиговым листком. — «Венера» Тициана. — Смотреть смотри, а описывать не смей — Настоящий шедевр. — «Моисей» Тициана — Домой.

Уму непостижимо, что делается на белом свете. Так, например, искусству сегодня дозволена та же нескромная вольность, что и в давние времена, тогда как права литературы в этом смысле за последние восемьдесят — девяносто лет существенно урезаны. Фильдингу и Смолетту разрешалось изображать современные им грубые нравы столь же грубым языком; вокруг нас в наши дни тоже не ощущается недостатка в грязи и пороке, — однако нам не дозволено слишком близко их касаться, даже оставаясь чопорными пуристами в языке. Не то в искусстве. Кисти художника и сейчас не возбраняется живописать любой предмет, как бы он сам по себе нас ни возмущал и ни отгалкивал. Расхаживая по улицам Рима и Флоренции, я каждой порой своего тела источал сарказм при виде того, что сделало со статуями наше поколение. Все эти творения, простоявшие века в своей безгрешной наготе, теперь приодеты фиговыми листочками. Ни одно не избежало этой участи. Раньше, быть может, никто и не замечал их наготы, теперь же ее нельзя не заметить, фиговый листок только подчеркивает ее. Но всего нелепее, пожалуй, что фиговым листком прикрывается лишь холодный и бескровный мрамор, который без этой бутафорской эмблемы скромности так и оставался бы холодным и бесстрастным, тогда как теплокровные картины, куда сильнее действующие на воображение, избежали этой операции.

У дверей галереи Уффици во Флоренции вы можете увидеть две статуи — мужчины и женщины; безносые, побитые, почерневшие от вековой грязи, они мало чем напоминают человеческие существа, — но это не помешало все тому же щепетильному поколению предусмотрительно и стыдливо прикрыть их наготу фиговыми листками. Но вот вы входите и направляе-

тесь к малой галерее «Трибуна» — наиболее посещаемой во всем мире — и видите на стене самую греховную, самую развратную, самую неприличную картину, какую знает мир, — «Венеру» Тициана. И дело даже не в том, что богиня голая разлеглась на кровати, — нет, все дело в положении одной ее руки. Воображаю, какой поднялся бы вопль, если бы я осмелился описать ее позу, — а между тем Венера лежит в этой позе, в чем мать родила, и каждый, кому не лень, может пожирать ее глазами, — и она вправе так лежать, ибо это — произведение искусства, а у искусства свои привилегии. Я наблюдал, как молоденькие девушки украдкой на нее поглядывают; наблюдал, как юноши в самозабвении не сводят с нее глаз; наблюдал, как немощные старики липнут к ней с жадным волнением. Меня так и подмывает описать ее — единственно затем, чтобы увидеть, какое священное негодование поднимется во всем мире, услышать, как средний, немудрящий человек станет поносить меня на все корки за мою скотскую распущенность и т. д. и т. п. Весь мир утверждает, что никакое словесное описание эффектного зрелища не может сравниться по силе воздействия с непосредственным зрительным впечатлением. Но тот же мир позволяет своим сыновьям и дочерям — да и самому себе — смотреть на Тицианову потаскушку, хотя и не потерпит ее словесного описания. Из чего видно, что мир не так последователен в своих суждениях, как хотелось бы.

Немало есть изображений женской наготы, ни в ком не вызывающих нечистых мыслей. Я прекрасно это знаю, и не о них идет речь. Я хочу лишь подчеркнуть, что «Венера» Тициана к ним не принадлежит. Думаю, что она была написана для *bagnio*¹, но оказалась заказчикам слишком уж забористой, и ее отвергли. Такая картина где угодно покажется чересчур забористой, и уместна она разве только в общедоступной публичной галерее. В «Трибуне» имеются две Венеры кисти Тициана, но тот, кто видел их, легко поймет, которую из двух я имею в виду.

¹ Публичный дом (*utaz*).

Во всякой европейской галерее найдутся кошмарные изображения льющейся крови, резни, вываливающихся мозгов, гниения, картины величайшего страдания, картины ужасов, выписанных во всех деталях; такие картины и сейчас повседневно пишутся художниками и выставляются для обозрения, не вызывая упреков, — ибо, как произведения искусства, они безгрешны и никого не смущают. Но пусть только художник литературного цеха позволит себе добросовестно и точно описать что-нибудь подобное, и критика съест его живьем. Да что тут толковать, дело ясное: искусство сохранило свои привилегии, а литература их утратила. Пусть кто хочет ломает голову над тем, почему и как это случилось и откуда такая непоследовательность, — мне недосуг этим заниматься.

Если «Венера» Тициана порочит и позорит «Трибуну» и от этого никуда не уйдешь, то его «Моисей» служит ей к вящей славе и украшению. Бесхитростная правдивость этого благородного творения пленяет и восхищает каждого посетителя, будь то человек с образованием или невежда. Утомленные целыми гектарами пухлых, румяных и бессмысленных младенцев, населяющих полотна старых итальянских мастеров, вы отдыхаете душой на этом несравненном дитяти и чувствуете священный трепет, непреложно говорящий вам, что наконец-то перед вами то самое, настоящее. Это — поистине дитя человеческое, это — сама жизнь. Вы видели его тысячу раз, видели именно таким, и вы безоговорочно признаете, что Тициан был Мастером. Кукольные личики других младенцев на картинах могут означать что угодно. Не то — Моисей. Самый прославленный из художественных критиков сказал о нем: «Здесь не может быть двух мнений: это явно ребенок, попавший в беду».

На мой взгляд, «Моисей» не имеет картины себе равной среди прочих творений итальянских мастеров, за исключением «Обитого шкурой сундука» Бассано. Я уверен, что если бы все прочие полотна старых мастеров были утеряны и остались только эти два, мир не оказался бы в накладе.

Желание увидеть бессмертного «Моисея» и привело меня во Флоренцию — и, по счастью, я попал туда вовремя: его как раз собирались перевезти в более укромное и лучше охраняемое место, ввиду участвовавших в Европе случаев ограбления прославленных галерей.

Я заказал весьма способному художнику копию с этой картины; Пеннимейкер, гравер иллюстраций Доре, изготовил для меня гравюру, и я с великим удовольствием ее здесь прилагаю.

Заглянули мы и в Рим и в другие итальянские города, побывали и в Мюнхене и в Париже — отчасти из спортивного азарта, отчасти потому, что они входили в нашу первоначальную программу, а мы решили не отступать от нее.

Из Парижа я совершил еще вылазку в Бельгию и Голландию — пешком, хоть и не упустил случая где возможно проехаться по железной дороге или по каналу, — и «в общем и целом» с приятностью провел время. В Испании и других краях я побывал через своих агентов, чтобы сберечь время и подметки.

Мы пересекли Ламанш и из Англии отбыли на пароходе «Галлия» компании «Кунард» — отличном судне. Я был счастлив вернуться домой, безмерно счастлив — так счастлив, что, казалось, ничто и никогда уже не заставит меня покинуть отчий край. Ни одно из моих заграничных впечатлений не сравнится с той радостью, какую я испытал, снова увидев Нью-Йоркский порт. У Европы по сравнению с нами много преимуществ, но они не могут возместить нам те еще более ценные преимущества, каких вы не найдете нигде, кроме как в нашей стране. Попадая за океан, мы чувствуем себя неприкаянными отщепенцами. Впрочем, и сами европейцы чувствуют себя не лучше. Все они живут в холодных темных склепах, пусть роскошных с виду, но лишенных удобств. Жить так, как живет средняя европейская семья, было бы для средней американской семьи тяжелым испытанием.

А в общем, как мне кажется, короткие прогулки по Европе для нас предпочтительнее долгих. Короткие

прогулки не дают нам оевропеиться, они не оскорбляют нашего чувства национальной гордости — и в то же время усиливают нашу привязанность к своей родине, стране, своему народу; тогда как затянувшееся пребывание на чужбине притупляет эти чувства, как мы видим сплошь и рядом. К такому выводу, как мне кажется, приходит всякий, кто общается с американцами, долго жившими за границей.

Ничто не придает книге такого веса и достоинства, как приложение.

Геродот

А. Об ужасающей трудности немецкого языка

Достаточно крупицы знаний, чтобы породнить весь мир.

Притчи, XXXII, 7.

В Гейдельберге я часто заходил в кабинет редкостей и однажды привел его хранителя в восторг своим немецким языком. В тот день я изъяснялся только по-немецки. Он слушал меня с интересом и, когда услышал достаточно, сказал, что моя немецкая речь — настоящий раритет, даже «уникум», и что он охотно приобрел бы ее для своей коллекции.

Бедняга не подозревал, чего мне стоило достичь такого совершенства, иначе он понимал бы, что подобная покупка разорила бы любого коллекционера. Мы с Гаррисом уже несколько недель, не помня себя, долбили немецкие вокабулы, и хотя достигли многого, однако ценой невероятных усилий и трудностей: достаточно сказать, что нам за это время пришлось похоронить трех учителей. Люди, никогда не изучавшие немецкий, понятия не имеют, до чего он путанный.

Смею вас заверить, что такого безалаберного, беспорядочного, скользкого и увертливого языка, как немецкий, во всем свете не сыщешь. Вас носит в этом хаосе, как щепку в волнах; а когда вы уже думаете, что нащупали твердую почву среди бултыхания и сумятицы десяти частей речи, вы, пере-

вернув страницу, читаете: «Учащемуся необходимо усвоить следующие исключения». Пробегаете страничку до конца и видите, что исключений больше, чем примеров на самое правило. И снова вы за бортом — и в поисках нового Арарата вязнете в зыбучих песках неизвестности. Вот какую муку я претерпел и претерпеваю доньше! Каждый раз, как мне покажется, что из четырех загадочных падежей я выбрал единственно правильный, в мое предложение вторгается какой-нибудь замухрышка-предлог, обладающий, однако, чудовищной разрушительной силой, — и все летит вверх тормашками. Допустим, учебник спрашивает о местонахождении некоей птицы (учебнику всегда нужно знать то, что решительно никому не интересно): «Где птица?» — допытывается он. На каковой вопрос я должен ответить — опять-таки по учебнику, — что птица залетела в кузницу по причине дождя. Разумеется, ни одна уважающая себя птица в кузницу не залетит, но я обязан держаться учебника. Вот я и начинаю подбирать немецкие слова. Начинаю, конечно, с конца, как и полагается у немцев. И рассуждаю так: Regen (дождь) — слово мужского рода, а может быть, женского или среднего; ладно, сейчас не время это выяснять. Итак, это либо der Regen, либо die Regen, либо das Regen, смотря по тому, что скажет словарь, когда я к нему обращусь. Предварительно же, в интересах науки, будем исходить из гипотезы, что Regen — мужского рода. Итак, дождь — der Regen, но лишь при условии, если он дан в исходном положении, то есть только назван, но не дополняет и не объясняет другие слова, — иначе говоря, если он стоит в именительном падеже; но ведь дождь падает на землю и, как водится, лежит на ней лужами, а лежать — это «действие, указывающее на состояние» (по законам немецкой грамматики, лежать — тоже действие), и следовательно, тут требуется дательный падеж — dem Regen. На самом же деле здесь есть указание на переходное действие — дождь не просто лежит, он идет, и даже идет назло птице, а это означает движение, глаголы же, обозначающие движение, требуют после себя винительного падежа, и, следовательно, тут не dem Regen, а den Regen. Составив таким образом исчерпывающий грамматический гороскоп слова «Regen», я уверенно отвечаю учебнику, что птица залетела в кузницу wegen (по причине) den Regen. Но тут мой учитель вежливо осаживает меня, поясняя, что словечко «wegen», затесавшись в фразу, при всех

условиях и невзирая на лица подвергает предмет в родительный падеж, и птица, стало быть, забралась в кузницу «wegen des Regens».

№3. В дальнейшем из еще более авторитетного источника я узнал, что и на это правило существует исключение, позволяющее говорить «wegen den Regen», — правда, лишь в особо указанных и трудно объяснимых случаях; но исключение это распространяется только на слово «дождь».

Существует десять частей речи, и с каждой хлопот не оберешься. Самое обычное рядовое предложение в немецкой газете представляет собой неповторимое, внушительное зрелище: оно занимает полгазетного столбца; оно заключает в себе все десять частей речи, но не в должной последовательности, а в хаотическом беспорядке; оно состоит из многоэтажных слов, сочиненных тут же, по мгновенному наитию, и не предусмотренных ни одним словарем, — шесть-семь слов наращиваются друг на дружку просто так, без швов и заклепок (разумей, дефисов). Такое предложение трактует о четырнадцати — пятнадцати различных предметах, каждый — в своем особом вводном предложении, причем несколько малых вводных включены в одно большое, как круглые скобки в квадратные; наконец, все большие и малые скобки заключены в скобки фигурные, из коих первая стоит в начале величественного предложения, вторая — на середине последней строчки, а уже за нею идет глагол, и только тут вы узнаете, о чем, собственно, речь; следом же за глаголом — как я понимаю, украшения ради — пишущий подсыпает с десятков всяких «haben sind gewesen gehabt haben geworden sein», и прочее и тому подобное, и только теперь импозантное сооружение завершено. Это заключительное «амнь» представляет собой нечто вроде росчерка при подписи: не обязательно, но красиво. Немецкую книгу читать не так уж трудно — надо только поднести ее к зеркалу или стать на голову, чтобы перевернуть порядок слов, — научиться же читать и понимать немецкую газету не способен, по-моему, ни один иностранец.

Впрочем, даже немецкая книга не свободна от увлечения вводными предложениями, хотя здесь они укладываются в несколько строк, и раз уж вы добрались до глагола, он кое в чем вам помогает — поскольку вы не все еще перезабыли.

Вот для примера фраза, позаимствованная мною из превосходного популярного романа, она заключает в себе небольшое

вводное предложение. Я даю здесь буквальный перевод и ставлю в помощь читателю скобки и дефисы, хотя в подлиннике ни того, ни другого нет. Там вы полностью предоставлены самому себе — добирайтесь как знаете в потемках до отдаленного глагола.

«Когда же он на улице (в-шелку-и-бархате-щеголяющую-и-крикливо-по-последней-моде-разодетую) государственную советницу встретил» и т. д. и т. д.

Я взял это предложение из «Тайны старой девы» г-жи Марлит. Оно построено по всем правилам немецкого синтаксиса; обратите внимание на то, как далеко отстоит глагол от операционной базы читателя. А вот в немецкой газете вы обнаружите глагол разве что на следующей странице; бывает, говорят, и так, что, нанизав колонки две эффектнейших вводных предложений и прочих прелиминариев, пишущий вторых и вовсе забывает о глаголе, — и получается, что читатель зря потратил время и силы: его любознательность осталась неудовлетворенной.

Наша литература тоже отчасти подвержена этой заразе: случаи заболевания вводными предложениями встречаются повседневно в наших книгах и газетах; но у нас это указывает на неопытность автора и некоторое затмение ума, тогда как у немцев это, по-видимому, свидетельство литературной изощренности и того фосфоресцирующего интеллектуального тумана, который выдает себя у них за ясность мысли. А между тем ни о какой ясности здесь не может быть и речи. У любого суда присяжных достанет соображения в этом разобраться. Какой ералаш в голове, какое несварение мозгов должно быть у человека, если, желая сказать, что кто-то повстречал на улице жену советника, он вдруг прерывает естественный ход событий, останавливает своих героев на полдороге и не дает им с места сдвинуться, пока не отбарабанит целый список того, во что героиня была одета. Это явная нелепость. Невольно вспомнишь зубного врача, который, наложив щипцы на ваш зуб и пригвоздив к нему все ваше внимание, вдруг пустится рассказывать бесконечный анекдот, прежде чем сделать роковой рылок. Вводные предложения в зубоврачевании и в литературе одинаково свидетельствуют о дурном вкусе.

У немцев встречается еще одна разновидность скобок: глагол делят на две части, из которых первая ставится в начале увлекательного пассажа, а вторая приберегается к концу.

Трудно представить себе большую путаницу и неразбериху. Такие глаголы называются приставочными. Немецкая литература кишмя кишит приставочными глаголами. И чем дальше обе части глагола отскакивают одна от другой, тем больше доволен собой автор. Один из популярнейших глаголов этого типа *reiste ab*, что значит — уехал. Поясню на цитате из другого романа, — я перевел ее на английский, значительно сократив:

«Наконец чемоданы были уложены, и он — У —, поцеловав мать и сестер и снова прижав к груди возлюбленную Гретхен, которая в своем простеньком кисейном платице, с единственной туберозой в пышных волнах густых волос, неровным, спотыкающимся шагом спустилась по лестнице, все еще бледная от ужасов и волнений вчерашнего вечера, но мечтая еще хоть раз прильнуть к груди того, кого она любила больше жизни, — ЕХАЛ».

Однако не стоит задерживаться на приставочных глаголах. С ними всякое торпение потеряешь! А не послушаетесь моего доброго совета — не миновать вам размягчения мозга или затвердения. Личные местоимения и прилагательные тоже источник невообразимой путаницы, и желательно по возможности их упразднить. Так, например, одно и то же словечко означает «вы», означает «она», означает «ее», означает «оно», означает «они» и означает «их». Представьте же себе, как нищенски беден должен быть язык, где одно слово исполняет обязанности шести, будучи при том хилым, хрупким созданием из трех букв. А главное, представьте себе положение слушателей, которые не знают, о чем с ними говорят. Вот почему, когда я слышу обращенное ко мне словечко *sie*, я готов растерзать говорящего, особенно если мы незнакомы.

Перехожу к прилагательным. Казалось бы, чего тут мудрить: чем проще, тем лучше. Но именно поэтому изобретатель злополучного немецкого языка все усложнил и запутал, как только мог. Возьмем выражение «наш добрый друг» или «наши добрые друзья». В нашем — просвещенном — языке существует одна лишь эта форма, и нам ее вполне хватает. Иное дело немецкий язык. Когда немцу попадает в руки прилагательное, он принимается склонять его на все лады, пока не досклоняется до абсурда. Это, если хотите, та же латынь. Так, он говорит:

Единственное число:

<i>Именительный:</i>	Mein guter Freund
<i>Родительный:</i>	Meines guten Freundes
<i>Дательный:</i>	Meinem guten Freunde
<i>Винительный:</i>	Meinen guten Freund.

Множественное число:

<i>Именительный:</i>	Meine guten Freunde
<i>Родительный:</i>	Meiner guten Freunde
<i>Дательный:</i>	Meinen guten Freunden
<i>Винительный:</i>	Meine guten Freunde

Пусть кандидат в сумасшедший дом запомнит все эти варианты, и за его избрание можно быть спокойным. В Германии лучше вовсе не иметь друзей, чем столько с ними возиться.

Выше я показал, как адски трудно склонять «мой добрый друг»; но это лишь треть ожидающих вас неприятностей: ведь прилагательные бывают не только мужеского, но и женского и среднего рода и в зависимости от этого подвергаются все новым чудовищным искажениям. Прилагательных в этом языке больше, чем черных кошек в Швейцарии, и каждое из них так же обстоятельно склоняется, как и в указанном примере. Трудно?хлопотливо?.. Словами этого не передашь! Один студент калифорниец говорил мне, что предпочтет уклониться от доброй выпивки, чем просклонять два немецких прилагательных.

Человек, выдумавший немецкий язык, явно не жалел трудов, чтобы запутать его елико возможно. Так, например, в обычных случаях вы пишете дом — Haus, лошадь — Pferd, собака Hund; но если те же слова встретятся вам в дательном падеже, извольте прибавлять к ним этакий бессмысленный довесок в виде никому не нужной буквы «е» и пишете — Hause, Pferde, Hunde. Однако такое же «е» служит в немецком, как «s» в английском, для обозначения множественного числа. Вот и получается, что бедный новичок, не разобравшись, ходит месяц дурак дураком, принимая одну дательную собаку за двойняшек; и не раз бывало, что такой же новичок, не располагающий большими капиталами, покупая одну собаку, платил за двух: он, видите ли, думал, что покупает собаку во множественном

числе, тогда как это была собака в дательном падеже единственного числа Закон, неукоснительно придерживающийся грамматики, будет на стороне продавца, так что в суд подавать бесполезно.

По-немецки все существительные пишутся с прописной, и это, надо сказать, удачная идея, а удачные идеи в этом языке особенно бросаюся в глаза по причине их большой редкости. Я считаю такое написание удачным потому, что вы с первого же взгляда видите, что перед вами существительное. Правда, и тут возможна путаница, ведь любое имя собственное можно принять за обозначение предмета, а это заведет вас в такие дебри, что потом уже не докопаетесь до смысла. Это тем более возможно, что немецкие имена собственные всегда что-нибудь значат. Я как-то перевел одно предложение следующим образом: «Разъяренная тигрица сорвалась с привязи и начисто сожрала злополучный еловый лес» (Tannenwald); но когда, набравшись храбрости, я усомнился в этом факте, выяснилось, что Tannenwald в данном случае фамилия человека.

У каждого существительного свой род, но не ищите здесь ни логики, ни системы; а посему род каждого существительного в отдельности нужно вызубрить наизусть. Иного пути нет. Чтобы справиться с этой задачей, надо иметь память, смку, как грессбук. В немецком девушка лишена пола, хотя у репы, скажем, он есть. Какое чрезмерное уважение к репе и какое возмугительное пренебрежение к девушке! Полюбуйтесь, как это выглядит черным по белому, — я заимствую этот диалог из отлично зарекомендованной хрестоматии для немецких воскресных школ:

Гретхен. Вильгельм, где репа?

Вильгельм. Она пошла на кухню.

Гретхен. А где прекрасная и образованная английская дева?

Вильгельм. Оно пошло в театр

Чтобы покончить с родом немецких существительных, остается добавить следующее В этой области царит полнейший беспорядок: так, дерево — мужского рода, почки на нем — женского, а листья — среднего рода; лошади — бесполое животные, собаки — мужского, а кошки — женского пола, — в том числе, понятно, и коты; рот у человека, шея, грудь, локти, ноги, пальцы, ногти и тело — мужского рода; голова — мужского или

среднего, смотря по тому, какое слово вы употребили, а не в зависимости от того, кто обладатель головы: так что голова у немца — мужского, или — в лучшем случае — среднего рода; нос, губы, руки, бедра и большие пальцы ног — женского рода; а волосы, уши, глаза, подбородок, колени, сердце и совесть вовсе не имеют пола. Очевидно, изобретатель этого языка только понаслышке знал, что такое совесть.

Из вышеприведенного анатомического исследования видно, что в Германии мужчина только мнит себя мужчиной, — при ближайшем рассмотрении у него должны возникнуть сомнения. Он убеждается, что, по сути дела, представляет собой нелепую смесь полов; и если он может утешаться тем, что хотя бы на добрую треть принадлежит к мужественному мужескому полу, то ведь то же самое может сказать о себе любая женщина и корова в стране.

Правда, слово «женщина» по-немецки — женского рода, по явному недосмотру изобретателя этого языка, но зато жена (Weib) — отнюдь нет, и это крайне огорчительно. Жена по-немецки — существо бесполое, она — среднего рода. Но точно так же, если верить грамматике, рыба — мужского пола, рыба чешуя — женского, а рыбачка — среднего. Однако определить жену как существо бесполое, значит дать неполное, суженное ее определение, — это плохо; но еще хуже, когда определение страдает излишней полнотой. Англичанин по-немецки — Engländer; чтобы превратить его в англичанку, достаточно к концу слова прибавить — «in» — Engländerin. Кажется, ясно, однако немцу этого мало, и он впереди слова ставит артикль женского рода: die Engländerin. Это все равно что сказать «она-англичанка». Такое определение, на мой взгляд, страдает излишней полнотой.

Но предположим, что новичок вызубрил десятки существительных и усвоил, какого они рода, — этого еще мало, ибо, как дойдет до дела, язык у него отказывается, говоря о неодушевленном предмете, вместо привычного англичанину «оно» произнести «он», «она». И если он даже мысленно составит предложение с положенными местоимениями на положенных местах — у него язык не повернется вместо законного «оно» произнести эти немислимые «он» и «она». И даже пробегая текст глазами, он будет невольно подставлять привычные ему местоимения, тогда как должно это звучать примерно так:

Хмурый, пасмурный День! Прислушайтесь к Плеску Дождя п барабанному Дробу Града, — а Снег, взгляните, как реют ее Хлопья, и какой Грязь кругом! Люди вязнут по Колено. Бедное Рыбачка застряло в непролазном Тине, Корзина с Рыбой выпал у него из Рук; стараясь поймать увертливых Тварей, оно укололо Пальцы об острую Чешую; одна Чешуйка попала ему даже в Глаз, и оно не может вытащить ее оттуда. Тщетно разевает оно Рот, призывая на Помощь, Крики его тонут в яростной Вое Шорма. А тут откуда ни возьмись — Кот, хватает большого Рыбу и, видимо, хочет с ним скрыться. Но нет! Она только откусила Плавник и держит ее во Рту, — уж не собирается ли она проглотить ее? Но нет, храбрый рыбацки Собачка оставляет своих Щенков, спасает Плавник и тут же съедает ее в Награду за свой Подвиг. О ужас! Молния ударил в рыбацки Корзину и зажег его. Посмотрите, как Пламя лижет обреченную рыбацкину Собственность своим яростным пурпурным Языком; а сейчас она бросается на беспомощный рыбацки Ногу и сжигает его дотла, кроме большую Палец, хотя та порядком обгорела. Но все еще развеваются его ненасытные Языки; они бросаются на рыбацки Бедро и пожирают ее; бросаются на рыбацкину Руку и пожирают его; бросаются на его нищенскую Платье и пожирают ее; бросаются на рыбацкино Тело и пожирают его; обвиваются вокруг Сердца — и оно опалено; обвивает Шею — и он опален; обвивают Подбородок — и оно опалено; обривают Нос — и она опалена. Еще Минута, и, если не подоспел Помощь, Рыбачке Конец. Время не ждет, неужто никто не явится и не утешит Бедняжку! О Счастье! Проворной Столой приближается Она-Англичанка! Но увы! Благородная Она-Женщина опоздала: ибо где теперь злополучное Рыбачка? Оно избавилось от Страданий, отойдя в лучший Мир; единственное, что осталось во Утешение его близким, это дымящийся Куча Пепла. О бедный, бедный Куча Пепла! Соберем же его нежно и почтительно на презренное Лопата и предадим вечному Упокоению, вознося Молитву о том, чтобы, вернувшись к новой Жизни, он обрел один-единственный, непре-

¹ Я пишу здесь существительные с прописных букв — на немецкий (и староанглийский) лад. — М. Т.

ложный и верный Пол, закрепленный за ним в вечную Собственность, вместо множества лоскутных разномастных Полов, усеивающих его Ключьями, словно шелудивого Собаку.

Читатель и сам теперь видит, как трудно неискушенному человеку управиться с этой свистопляской местоимений.

Мне кажется, о каком бы языке ни шла речь, чисто внешнее, начертательное, и звуковое сходство между словами, не сходными по значению, неизбежно служит для иностранца камнем преткновения. Такие случаи можно наблюдать и в английском языке, но особенно их много в немецком. Есть, например, слово *vermählt*, — будь оно неладно! Благодаря то ли действительному, то ли воображаемому сходству, я постоянно путаю его с тремя-четырьмя другими словами — *vermalt*, *verschmäht*, *verdächtigt* и *verschämt*¹, и только обратившись к словарю, убеждаюсь, что единственное его значение — «женатый». Таких слов не перечесть, и со всеми ними просто мучение. В довершение всех бед немало есть слов, между которыми существует кажущееся сходство, но мороки с ними не меньше. Таковы, например, слова «*verheuern*» (сдавать внаем, снимать), и «*verheirathen*» (другой синоним для «жениться»). Мне рассказывали об англичанине, который постучался к некоему гейдельбергскому жителю и на чистейшем немецком языке, какой только был ему доступен, заявил, что не прочь «жениться» на его вилле. Есть слова, которые при ударе на первом слоге означают одно, а при ударе на последнем слоге — другое. Так, одно и то же слово означает «беглец» и «беглое проглядывание книги»; одно и то же слово «*umgehen*» означает «часто встречаться» с человеком и «избегать его», смотря по тому, куда падает ударение. Поставишь его не туда — и нарвешься на неприятность!

В немецком языке существует ряд очень полезных слов. Например, слово *Schlag* и слово *Zug*. В словаре «Шлягу» отведено три четверти колонки, а «Цугу» — все полторы. «Шляг» означает — удар, ушиб, розга, рана, сотрясение, грохот, размер, ритм, такт, темп, род, сорт, вид, штрек, апоплексия, огород, поле, валка леса, пенье, щебетанье, чириканье, щекот соловья. Но таковы только собственные, прямые значения этого слова,

¹ Причастия, образованные от глаголов разного значения: малевать, презирать, подозревать, стыдиться.

его постоянные, строго прикрепленные значения; дело в том, что есть тысячи способов открепить его, и тогда оно взвьется к небу и пойдет парить на крыльях, так что и не удержишь. Достаточно прикрепить к его хвосту то или иное слово-довесок, и оно примет любое угодное вам значение. Начните хотя бы с Schlagader — «артерия», а потом пройдитесь по всему алфавиту — вплоть до Schlagwasser — «трюмная вода» и включая Schlagmutter — «теща»¹.

То же самое и «Цуг». Его прямое значение — тяга, сквозняк, движение, шествие, колонна, вереница, стадо, стая, упряжка, обоз, поезд, караван, черта, линия, штрих, шахматный ход, закидывание сети, дыхание, предсмертная судорога, агония, орудийная нарезка, шнурок. Когда к слову «Цуг» присоединены его законные довески, оно может значить решительно все на свете, — значения, которое ему несвойственно, ученым еще не удалось открыть.

Таким словам, как «Шляг» и «Цуг» цены нет. Вооружась ими, а также неизбежным «Альзо!», иностранец может на что угодно отважиться на немецкой земле. Немецкое «Альзо!» тождественно нашему «Знаете ли» и в разговорной речи ничего не значит, хотя, напечатанное, имеет порой какой-то смысл. Стоит немцу открыть рот, как оттуда выпадает очередное «Альзо!», а стоит ему закрыть его, как он раскусывает пополам новое «Альзо», рвущееся следом.

Оснастившись этими тремя магическими словами, иностранец сразу почувствует себя хозяином положения. Он может говорить не задумываясь, что ни придет в голову, может излить наудалую весь свой нехитрый запас немецких слов, а случись заминка, не беда — пусть только кинет в пробойну слово «Шляг»: девяносто девять шансов против одного, что оно заткнет дыру, как пробка или затычка. В крайнем случае пусть, не робея, бросит следом «Цуг». «Шляг» и «Цуг» вместе могут законопатить любую брешь; если же паче чаяния и они не выручат, у него еще есть в запасе «Альзо!». «Альзо!» даст ему возможность перебиться до подыскания следующего слова. В Германии, готовясь к словесному бою, не забудь прихватить парочку «Шлягов» и «Цугов» — с ними не пропадешь. Если даже остальные твои заряды будут расстреляны в воздух, эти что-нибудь да зацепят. А потом скажи спокойно: «Альзо!» —

¹ Последнее немецкое слово вымышлено.

и перезаряди снова. Ничто так не способствует впечатлению плавности, непринужденности и свободы в немецкой (и английской) речи, как вовремя ввернутое «Альзо!» (и «Знаете ли»).

В своей записной книжке я нашел следующую интересную заметку:

1 июля. — Вчера в местном лазарете у больного путем иссечения было успешно удалено из горла тринадцатисложное слово; пациент — немец из окрестностей Гамбурга. К сожалению, хирурги, полагая, что он носит в себе целую панораму, неправильно определили место для разреза, вследствие чего больной скончался. Этот трагический случай произвел в городе тяжелое впечатление.

Текст этой заметки подводит меня к самой интересной и поучительной части моей темы — к вопросу о длине немецких слов. Иные из них так длинны, что их видишь в перспективе. Вот несколько примеров:

Freundschaftsbezeugungen.

Dilettantenaufdringlichkeiten.

Stadtverordnetenversammlungen

Этого уже не пазовешь словами — это алфавитные процессии. К тому же они не какая-нибудь редкость. Разверните любую немецкую газету, и вы увидите, как они торжественно маршируют через всю страницу, а при некотором воображении увидите знамена и услышите духовой оркестр. Как бы скромны ни были сами по себе речи, подобные слова придают им воинственное звучание. Я большой любитель курьезов, и когда мне встречается подобный интересный экземпляр, я набиваю его и ставлю за стекло. У меня уже собралась ценная коллекция. Дубликаты я пускаю в обмен и таким образом систематически ее пополняю. Вот несколько забавных экземпляров, которые мне удалось приобрести на распродаже имущества одного прогоревшего коллекционера:

Generalstaatsverordnetenversammlungen.

Altertumswissenschaften.

Kinderbewahrungsanstalten.

Unabhängigkeitserklärungen.

Wiederherstellungsbestrebungen.

Waffenstillstandsunterhaltungen

Конечно, когда такие грандиозные горные цепи тянутся че-

рез всю страницу, они облагораживают и украшают литературный ландшафт, — но вообразите, каково приходится неискушенному новичку, когда они преграждают ему дорогу; он не может ни проползти под ними, ни перевалить через них, ни проложить в них туннель. В смятении он кидается к словарю, но и словарь бессилён ему помочь. Словарь должен же где-то провести черту, он знать не хочет подобных словообразований. И он, конечно, прав. Эти длинные штуки едва ли можно считать словами, это скорее словосочетания, и человека, их придумавшего, следовало бы убить. Это составные слова с опущенными дефисами. Отдельные их элементы можно найти в словаре, но только в свободном, рассеянном состоянии. Вы можете выловить их поодиночке и кое-как уразуметь их слитное значение, но это скучное и хлопотливое занятие. Я испытал этот способ на некоторых приведенных выше экспонатах.

«Freundschaftsbezeugungen» — это, по-видимому, «Дружбоизъявления», — неудачный и неуклюжий вариант более обычного «Изъявления дружбы». «Unabhängigkeitserklärungen» — как я догадываюсь — не что иное, как «Независимостипровозглашения», — по-моему, это ничуть не лучше, чем «Провозглашения независимости». «Generalstaatsverordnetenversammlungen» — очевидно, переводится как «Общепредставителейзаконодательнойпалатысобрания», — но разве это не напыщенный синоним для менее вычурных «Сессий законодательной палаты»? Было время, когда и наша литература грешила такими словесными выкрутасами, но, к счастью, эта мода миновала. В ту пору мы говорили о «приснопамятных» делах и обстоятельствах, тогда как теперь довольствуемся менее пышным — «памятные» и как ни в чем не бывало переходим к очередным делам. В те дни нам мало было набальзамировать событие и предать его приличествующему погребению — нет, подавай нам в каждом случае роскошный монумент!

К сожалению, в наших газетах патологическая страсть к словообразованию встречается и по сей день, как вредный пережиток, причем и мы, по немецкой методе, опускаем дефисы. Вот какие формы принимает это заболевание. Вместо того чтобы писать: «Мистер Симонс, секретарь окружного и районного судов, приезжал вчера в город», мы на новый лад пишем: «Секретарь окружного и районного судов Симонс приезжал вчера в город». Это не экономит нам ни времени, ни чернил и вместе с тем звучит куда корявее. У нас часто встретишь на

страницах газет такого рода сообщения: «Миссис товарищ прокурора окружного суда Джонсон возвращается на днях к началу сезона в свою городскую резиденцию». Поистине, порочное титулование — оно не только не экономит время и труд, но еще и приписывает миссис Джонсон официальный чин, который она носить не вправе. Но эти робкие попытки наших борзописцев бледнеют перед тяжеловесной и мрачной немецкой системой нагромождать несуразные многоэтажные слова. Для примера приведу сообщение из отдела городской хроники, напечатанное в маннгеймской газете.

«В третьегоднядвенадцатомчасу ночи в небезызвестномнашемугородутрактире «Возчик» вспыхнул пожар. Когда огонь достиг аистомнаконькекрышисвитого гнезда, оба аистородителя его покинули. Но как только в бушующем океанепламени загорелось и самое гнездо, быстровернувшаяся аистихамать ринулась в огонь и погибла, осеняя птенцов крылами».

Даже тяжеловесные немецкие обороты не в силах умалить величия этой картины и, наоборот, выгодно оттеняют его. Заметка датирована прошлым месяцем. Я не воспользовался ею раньше, так как ждал вестей об аистотце. Я жду их и поныне.

«Альзо!» Если мне так и не удалось показать, что немецкий язык труден для изучения, то это вышло вопреки и наперекор моим стараниям. Мне рассказывали об американском студенте, который на вопрос, каковы его успехи в немецком, сказал, не обинуясь: «Какие там успехи! Я битых три месяца корплю над грамматикой, а выучил всего-навсего одну фразу: «Двей гляс» («Два стакана пива»). После минутного молчания он прибавил с чувством: «Но уж ее-то я знаю».

Если мне также не удалось показать, что изучение немецкого способно довести человека до иступления, то виновато в этом мое неумение — намерения у меня были самые честные. Недавно мне пришлось услышать об одном вконец истстрадавшемся американском студенте: единственное полюбившееся ему немецкое слово, в котором он находил прибежище и отдохновение, когда мужество изменяло ему и терпение его иссякало, было слово «damit» (ср. английское «damn it» — «проклятье!»). Но оно радовало его своим звучанием, а не смыслом¹. И вот, узнав, что ударение в нем падает не на первый слог, бедный

¹ Слово это по-немецки всего-навсего означает: «чтобы». — М. Т.

малый, лишившись последней опоры и утехи, стал чахнуть и вскоре отдал богу душу.

Мне кажется, что описание грандиозного, волнующего, потрясающего события должно звучать по-немецки бледнее, чем по-английски. Наша звуковая палитра этого плана богата глубокими, сильными, раскатистыми оттенками, тогда как соответствующие немецкие слова представляются мне тусклыми, будничными, невыразительными. Треск, гул, шум, взрыв, зов, рев; гром, гроза, грохот; вопль, крик, визг, вой, стон, бой, ад — великолепные слова, в них чувствуется сила и экспрессия, родственные описываемым предметам, тогда как их немецкие эквиваленты, вялые и пресные, скорее пригодны для колыбельной, навевающей на младенца сон, — таково мое убеждение, а если я ошибаюсь, то, значит, эти мои внушительные ушки предназначены скорее для декоративных целей, нежели для более высокой миссии — правильно воспринимать и оценивать звуки. Вряд ли кто захочет пасть в битве, скромно именуемой «Шляхт»! Даже чахоточному показалось бы, что он укутан слишком жарко, если бы он в одном крахмальном воротничке и кольце с печаткой собрался погулять в грозу, называемую таким чирикающим словом, как «Гевиттер». А до чего тускло звучит даже самое выразительное из немецких слов, означающих взрыв, — «Аусбрух»! Наше «арбуз» и то лучше. Думается, немцы не прогадали бы, если бы позаимствовали у нас это слово для обозначения более сильных взрывов. Немецкое «Хёлле», соответствующее нашему «ад», напоминает «еле-еле». До чего же это мелко, легкомысленно и неубедительно! Вряд ли кому-нибудь покажется обидным, если ему предложат провалиться в «еле-еле».

Разобрав подробнейшим образом недостатки немецкого языка, я перехожу к более приятной и не столь трудоемкой задаче — к выяснению его достоинств. Я уже упомянул о правиле писать существительные с прописной. Но гораздо важнее другое преимущество немецкого языка, состоящее в том, что слова пишутся так, как слышатся. Выучив за один урок немецкий алфавит, вы можете верно произнести любое слово, не обращаясь ни к чьей помощи. Но пусть человек, изучающий английский язык, спросит, как прочесть слово из трех букв: BOW. Разве вам не придется ему ответить: «Никто не скажет, как это слово читается само по себе, без контекста. Только выяснив, что оно значит в каждом данном случае: оружие,

стреляющее стрелами, поклон или нос корабля, — мы сможем сказать вам, как его произносить».

В немецком немало слов необычайно выразительных и впечатляющих. Таковы слова, характеризующие мирную домашнюю жизнь скромных людей, исполненных родственной приязни друг к другу; слова, имеющие отношение к любви во всех ее формах и проявлениях, начиная с добрых чувств и доброй воли, обращенных на случайного прохожего, и кончая нежной страстью; слова, живописующие природу в ее самых кротких и пленительных проявлениях, — луга и леса, птицы и цветы, благоухание и солнечный свет лета и лунное сияние тихих зимних вечеров, — короче говоря, слова, обнимающие все формы и оттенки покоя, отдохновения и душевной гармонии; слова из мира волшебной сказки; но особенно богат этот язык выразительными словами для обозначения высоких и сильных чувств. У немцев есть песни, исторгающие слезы даже у тех, кто не знает их языка. А это верный знак того, что слово звучит правдиво, что оно правильно и точно передает заключенный в нем смысл. Так ухо внимлет миру, а через ухо — и сердце.

Немцы, видимо, не боятся повторять одно и то же слово, лишь бы оно соответствовало своему назначению. Они, если нужно, обращаются к нему вновь и вновь. Это мудро! Мы, пишущие по-английски, смертельно боимся повторений; стоим слову два-три раза встретиться в абзаце, и мы, из страха, как бы нас не заподозрили в неряшестве, готовы пожертвовать точным значением и удовлетвориться приблизительным смыслом, лишь бы не впасть в эту воображаемую ошибку вкуса. Быть может, повторение и не очень приятно, но насколько же хуже негочность!

Есть люди, которые с пеной у рта критикуют чужую религию или чужой язык, а потом преспокойно переходят к своим делам, так и не преподав спасительного совета. Я не из их числа. Я показал, что немецкий язык нуждается в коренной реформе, и не отказываюсь провести эту реформу. Во всяком случае, я готов преподать дельный совет. Такое предложение могло бы показаться нескромным. Но я посвятил свыше двух месяцев тщательному и кропотливому изучению немецкого языка, и это дает мне уверенность, что я вполне способен

сделать то, на что не решился бы при более поверхностных знаниях.

Во-первых, я упразднил бы дательный падеж, так как его не отличишь от множественного числа. К тому же дательный падеж дело темное: вы никогда не знаете, в дательном вы падеже или нет, и узнаете об этом только случайно, — и никто не скажет вам, с каких пор вы в нем находитесь, почему, и зачем, и как вы из него выберетесь. Словом, дательный падеж это бесполезное украшательство, и самое лучшее — от него отказаться.

Во-вторых, я передвинул бы глагол поближе вперед. Какой бы дальнобойной силой ни обладал глагол, он, при нынешних немецких расстояниях, не накроет подлежащего, а разве только покалечит его. А потому я предлагаю, чтобы эта важнейшая часть речи была перенесена на более удобную позицию, где ее можно было бы увидеть невооруженным глазом.

В-третьих, я позаимствовал бы из английского десятка два слов покрепче, чтобы было чем ругаться¹ и чтобы можно было о ярких делах говорить ярким языком.

В-четвертых, я навел бы порядок в определении рода, сообразуясь с волею всевышнего. Этого требует простое уважение, не говоря уже о чем-то большем.

В-пятых, я упразднил бы в немецком языке непомерно длинные составные слова или потребовал бы, чтобы они преподносились по частям — с перерывами на завтрак, обед и ужин.

Советую, впрочем, совсем их упразднить: понятия лучше перевариваются и усваиваются нами, когда они приходят не скопом, а друг за дружкой. Умственная пища похожа на вся-

¹ Слову «verdammt» со всеми его видоизменениями и вариациями нельзя отказать в содержательности, но звучит оно так вяло и пресно, что не оскорбляет вашего чувства приличия даже в устах дамы. Немки, которых никакие уговоры и понуждения не заставят совершить грех, с поразительной легкостью отпускают это ругательство, когда им случится порвать платье или если им не понравится бульон. Это звучит почти так же безобидно, как «Бог мой!». Немки то и дело говорят: «Ах, Готт!», «Мейн Готт!», «Готт им Химмель!», «Херр Готт!» и т. п. Должно быть, они считают, что и у наших дам такой обычай. Однажды я слышал, как милая и славная старушка немка говорила молодой американке: «Наши языки удивительно похожи, — не правда ли? Мы говорим: «Ах, Готт!», а вы: «Годдам!». — *М. Т.*

кую другую — приятнее и полезнее вкушать ее ложкою, чем лопатой.

В-шестых, я попросил бы каждого оратора не тратить лишних слов и, закончив фразу, не сопровождать ее залпом ничемных «хабен зинд гевезен гехапт хабен геворден зейя». Такие побрякушки лишь умаляют достоинство слога, не способствуя его украшению. Следовательно — это соблазн, и я предлагаю всячески с ним бороться.

В-седьмых, я упразднил бы все вводные предложения, а также скобки — круглые скобки, и квадратные скобки, и фигурные, и расфигурные скобки всех степеней и видов. Я потребовал бы от человека любого сословия и состояния говорить к делу, просто и без затей, а не умеешь — сиди и молчи. Нарушение этого закона должно караться смертью.

В-восьмых, я сохранил бы «Шляг» и «Цуг» с их привесками и убрал бы все прочие слова. Это значительно упростит язык.

Я перечислил здесь самые, на мой взгляд, необходимые и важные меропрятия. Большого на даровщинку не ждите. У меня есгь еще немало ценных предложений, — придержу их на тот случай, если меня, после проявленной мною инициативы, официально пригласят на государственный пост по проведению реформы немецкого языка.

Глубокие филологические изыскания привели меня к выводу, что человек, не лишенный способностей, может изучить английский язык в тридцать часов (исключая произношение и правописание), французский — в тридцать дней, а немецкий — в тридцать лет. Отсюда как будто следует, что не мешало бы этот последний язык пообкорнать и навести в нем порядок. Если же он останется в своем нынешнем виде, как бы не пришлось почтительно и деликатно сдать его в архив, причислив к мертвым языкам. Ибо, поистине, только у мертвецов найдется время изучить его.

**РЕЧЬ В ЧЕСТЬ 4 ИЮЛЯ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПО-НЕМЕЦКИ
НА БАНКЕТЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
КЛУБА АВТОРОМ ЭТОЙ КНИГИ**

Джентльмены! С самого моего прибытия месяц назад в эту страну чудес, в этот обширный вертоград германского духа, мой английский язык часто бывал мне в тягость, словно лишнее место в багаже, которое зря таскаешь за собой по стране,

где нет даже камер хранения; и вот на прошлой неделе я сел за работу и выучил немецкий язык.

Also! Es freut mich dass dies so ist, denn es muss, in ein hauptsächlich степени, höflich sein, dass man при такой okazji sein Rede in die Sprache des Landes, где ты гостить, aussprechen soll. Dafür habe ich, aus reinische Verlegenheit, — то бишь, Vergangenheit, — то бишь, Höflichkeit, aus reinische Höflichkeit я решил произнести свою речь на немецком языке, um Gottes willen! Also! Sie müssen so freundlich sein und verzeih mich, если мне случится где-нибудь обмолвиться von ein oder zwei Engli-scher Worte, hie und da, denn ich finde dass die deutsche ist не слишком богатый язык, и когда человеку действительно есть что сказать, приходится ему кое-что признать у языка, кото-рому есть чем поделиться.

Wenn aber man kann nicht meinem Rede verstehen, so werde ich ihm später dasselbe übersetz, wenn er solche Dienst verlangen wollen haben werden sollen sein hätte. (Я не знаю, к чему нужны воллен хабен верден золлен зейн хэтте, но, по моим наблюдениям, их всегда ставят в конце немецкого предложе-ния, — эффекта ради, как я полагаю).

Это великий и заслуженно почитаемый во всем мире день, — день, который недаром чтут истинные патриоты всех широт и национальностей, день, дающий обильный материал для раз-мышлений и речей; und meinem Freunde, то бишь — meinen Freunden, то бишь — meines Freundes, а впрочем, берите лю-бое на выбор, всем им одна цена, а я совсем запутался в этих падежах — also! Ich habe gehabt haben worden gewessen sein, как говорит Гёте в своем «Потерянном Рае», ich... ich... то есть ich... но не пересест ли нам на другой поезд?

Also! Die Anblick so viele Grossbrittanischer und Amerika-nischer hier zusammengetroffen in Bruderliche согласи, ist zwar весьма утешительное и волнующее зрелище. Но что же пробудило в вас эти высокие чувства? И может ли лаконичным немецкий язык подняться до изображения такого импульса? Вы скажете, что это Freundsschaftsbezeugungenstadtverordneten-versammlungenfamilieneigenthümlichkeiten? Nein, o nein! Пусть это и короткое, и благородное слово, но оно бессильно проник-нуть в самую сердцевину импульса, приведшего к этому друже-скому собранию и породившего diese Anblick, — eine Anblick welche ist gut zu sehen, — gut für die Augen на чужбине, в да-лекой, незнакомой стране — eine Anblick solche als, по люби-

мому выражению гейдельбергских жителей, nennt man «ein schönes Aussicht»! Ja, freilich natürlich wahrscheinlich ebenso-wohl! Also! Die Aussicht auf dem Königsstuhl mehr grösserer ist, aber geistliche sprechend nicht so schön, lob Gott! Потому что sie sind hier zusammengetroffen, in Bruderlichem согласи, ein grossen Tag zu feiern — великий день, который даровал великие преимущества не одной только местности или стране, но ошастливил своими дарами и все другие страны, познавшие ныне свободу и научившиеся ее любить. Hundert Jahre vorüber, waren die Engländer und die Amerikaner Feinde; aber heute sind sie herzlichen Freunde, Gott sei Dank! Так пусть же эта добрая дружба пребудет нерушимой, пусть эти знамена, перемешавшиеся в дружеском единении, не расстанутся вовек; пусть никогда они больше не реют над враждующими полчищами и не обгаются братской кровью, что искони была, есть и останется братской, — доколе на карту не будет нанесена линия, которая могла бы сказать нам: «Здесь преграда, не позволяющая крови предков влиться в жилы потомков!»

Б. Легенда замков «Ласточкино гнездо» и «Братья»

(По рассказу капитана, но с некоторыми сокращениями)

I

Лет триста тому назад в замке «Ласточкино гнездо» и в замке побольше под самым Неккарштейнахом, проживали два рыцаря, два брата-близнеца, оба старые холостяки. Родных у них не было. И были они очень богаты. Они бились во многих сражениях и, украшенные почетными шрамами, удалились в частную жизнь. По своим делам это были честные и достойные люди, но в народе им дали довольно нелестные прозвища: одному — господин Недам, другому — господин Непроси. Старым рыцарям так полюбились их прозвища, что, если кто из горожан называл их настоящим именем, они его поправляли.

В те времена самым знаменитым ученым Европы был доктор Рейхман из Гейдельберга. Вся Германия гордилась этим замечательным человеком, что не мешало ему жить очень скромно, — ведь великие ученые всегда бедняки. Но если не было у него денег, то было зато другое богатство: его дочь —

прелестная юная Хильдегард, и его библиотека. Библиотеку он собирал всю свою жизнь, том за томом, и дрожал над ней, как дрожит скупец над накопленным золотом. Он не раз говорил, что две нити привязывают его к жизни — дочь и библиотека; перерезьте хотя бы одну из нитей, и он умрет. И вот как-то в злосчастную минуту старый простака, в надежде добыть дочери приданое, доверил свои небольшие сбережения проходимцу, пообещавшему выгодно пустить их в оборот. Мало того, он не читая подписал подsunутую ему бумагу. Ибо таков обычай поэтов и ученых — подписывать не читая. А между тем коварная бумага чего только не возлагала на его ответственность. И вот как-то вечером он узнает, что должен тому проходимцу ни много ни мало — восемь тысяч золотых! Это известие пришибло старика. В его доме воцарилась скорбь.

— Что ж, продадим библиотеку, — молвил старый ученый. — Ничего другого у меня нет. Одну ниточку придется перерезать.

— А что это тебе даст, отец? — спросила дочь.

— Сущий пустяк! Мои книги стоят в лучшем случае семьсот золотых. А на аукционе они пойдут и вовсе за гроши.

— Значит, ты напрасно отдашь половину своего сердца, радость своей жизни, а долг почти не убавится?

— Ничего не поделаешь, дитя мое. Наше сокровище придется пустить с молотка. Мы обязаны уплатить сколько можем.

— Отец, я чувствую, святая Дева не оставит нас в беде. Не будем терять надежду.

— Ей не совершить такого чуда, не сотворить восемь тысяч золотых на пустом месте, а нам ничто другое не поможет.

— Она может свершить и более великое, отец. Увидишь, она спасет нас.

К утру усталый старик задремал в своем кресле: всю ночь он глаз не сводил с любимых книг, — так осиротевший смотрит на дорогие черты покойника, стараясь закрепить их в своей памяти, чтоб было чем потом наполнить бездонную пустоту. Но тут к нему вбежала дочь и, осторожно разбудив его, сказала:

— Предчувствие не обмануло меня, святая Дева спасет нас. Этой ночью она трижды явилась мне во сне, говоря: «Ступай к господам Недам и Непроси и умоли их прийти на торги». Разве не говорила я, что добрая Дева спасет нас, да будет ее имя трижды благословенно!

Старик, как ни горько было у него на душе, расхохотался.

— Уж лучше воззвать к камням, на которых воздвигнуты замки этих рыцарей, чем к тем, что заключены в их сердце, дитя мое! Зачем им книги на ученых языках? Они и на своем читать не горазды.

Но ничто не могло поколебать веру Хильдегард. Рано утром, веселая, как птичка, она отправилась в нуть вверх по Неккару.

Между тем господа Недам и Непроси сидели в Недамовом замке «Ласточкино гнездо» за первым завтраком, сдобривая еду перебранкой. Надо сказать, близнецы души друг в друге не чаяли, но был один вопрос, о котором они не могли говорить спокойно, а не говорить о нем тоже не могли.

— Предсказываю тебе, — кричал Недам, — ты еще по миру пойдешь со своей несчастной страстью помогать тем, кто будто бы беден и благороден. Все эти годы я заклинал тебя бросить эту блажь и поберечь свои деньги, но на тебя ничто не действует. Вечно ты прячешь от меня свои тайные благодеяния, хотя не было случая, чтобы я не вывел тебя на чистую воду. Каждый раз как какой-нибудь бедняк вдруг с чьей-то помощью становится на ноги, я уже знаю, что тут без тебя не обошлось. Осел ты неисправимый!

— Кроме, конечно, тех случаев, когда помогаешь ты. Ведь что я делаю для одного бедняка, ты делаешь для десяти. И ты еще растрезвонил на всю округу свое прозвище «Недам», лицемер несчастный! Да я бы скорее дал себя повесить, чем стал так морочить людей. Твоя жизнь — сплошной обман. Но поступай как знаешь, моя совесть чиста! Чего только я не делал, чтобы спасти тебя от разорения, — ведь к этому ведет твоя шальная благотворительность! Но теперь я в сотый раз умываю руки. Блаженный простофиля, вот ты кто!

— А ты блаженный старый олух! — взвился Недам.

— Клянусь, ноги моей больше не будет в доме, где меня так поносят. Свинья ты невоспитанная!

На этом слове господин Непроси вскочил в негодовании. По счастью, что-то помешало их дальнейшим объяснениям, и обычная ссора братьев сменилась обычным нежным примирением. Седовласые чудаки мирно распростились, и господин Непроси отправился к себе в замок.

Спустя полчаса перед Недамом предстала Хильдегард. Услышав ее печальную повесть, он сказал:

— Мне поистине жаль тебя, милое дитя; но я очень беден; к тому же книги — это хлам, мне они без интереса. Желаю тебе удачи, но сам я на торги не приду.

Он произнес эти жестокие слова как мог ласковее, но у девушки сердце разрывалось от его слов. Когда же она ушла, старый притворщик сказал, потирая руки:

— Вот удача так удача! На этот раз я спас карман моего брата без его ведома и согласия. Ничто другое не помешало бы ему броситься на выручку старому ученому, гордости Германии. Девушка не посмеет к нему обратиться после того приема, какой оказал ей его брат Недам.

Однако он ошибся. Святая Дева повелела, и Хильдегард повиновалась. Она пошла к Непроси и рассказала ему о своем горе. Он холодно ответил:

— Я бедняк, дитя мое, и не вижу в книгах толку. Желаю тебе удачи, а уж на торги меня не жди.

Но едва Хильдегард ушла, он рассмеялся и сказал:

— Эх, и разозлился бы мой безмозглый мягкосердечный братец, если бы узнал, как хитро я уберег его карман! Ведь он со всех ног помчался бы на помощь старому ученому. А теперь девушка и близко к нему не подойдет.

Когда Хильдегард вернулась домой, отец спросил, каковы ее успехи.

— Дева Мария обещала нам помочь, — отвечала Хильдегард, — и она сдержит слово, хоть и не тем путем, как я думала. У нее свои пути, и они самые верные.

Старик погладил ее по голове и скептически улыбнулся, но он всей душой порадовался непоколебимой вере дочери.

II

На другой день в большом зале «Таверны Рыцарей» собралось много охотников поглядеть на аукцион. Хозяин заведения отдал под торги свой лучший зал, сказав, что сокровище почтеннейшего сына Германии негоже пускать с молотка в каком-нибудь неказистом помещении. Хильдегард с отцом уселись рядом с книгами, взявшись за руки, молчаливые и печальные. Народу набился полный зал. Торг начался.

— Продается ценная библиотека! Вот она перед вами, вся как есть! Кто сколько даст? — возгласил аукционист.

— Пятьдесят золотых!

— Сто!

— Двести!

— Триста!

— Четыреста!

— Пятьсот золотых!

— Пятьсот двадцать пять!

Короткая заминка.

— Пятьсот сорок!

Более долгая заминка, аукционист удвоил свои старания.

— Пятьсот сорок пять!

Еще более долгая заминка, аукционист поощряет, убеждает, уговаривает — бесполезно, все как в рот воды набрали.

— Ну, кто же больше? Пятьсот сорок пять — раз, пятьсот сорок пять — два...

— Пятьсот пятьдесят!

Голос — сдавленный, визгливый — принадлежал согбенному старичку в рваных лохмотьях и с зеленой нашлапкой на левом глазу. Все, кто был рядом, оглянулись и уставились на него. Это был переодетый Недам, говоривший измененным голосом.

— Отлично, кто больше? — продолжал аукционист. — Раз, два...

— Пятьсот шестьдесят!

Голос, хриплый, низкий, на этот раз донесся из противоположного угла комнаты, где толпа стояла особенно густо. Многие оглянулись и увидели старика в необычном наряде, опиравшегося на костыли. Это был переодетый Непроси в синих очках и с длинной белой бородой. Он говорил измененным голосом.

— Идет! Кто больше?

— Шестьсот!

Общее оживление в зале. Послышались одобрителыне замечания. Кто-то крикнул:

— Не сдавайся, Нашлепка!

От этого задорного возгласа публику еще больше разобрало и десяток голосов подхватил:

— Не сдавайся, Нашлепка! Всыпь ему!

— Кто больше? Раз — шестьсот! Два — шестьсот! И — последний раз...

— Семьсот!

— Урра! Молодчина, Костыль! — крикнули из толпы.

И другие подхватили и закричали хором:

— Ура Костыль! Молодчина Костыль!

— Правильно, господа! Вот это по-настоящему! А ну, кто больше?

— Тысяча!

— Трижды ура Нашлепке! Задай ему перцу, Костыль!

— Кто больше? Кто больше?

— Две тысячи!

А пока толпа надрывалась и выла от восторга, Костыль бормотал про себя: «Кому это так понадобились эти дурацкие книжки? Ну да все равно, не видать их ему как своих ушей. Гордость Германии сохранит свою библиотеку, хотя бы мне пришлось разориться дотла, чтобы купить ее для него».

— Кто больше? Кто больше?

— Три тысячи!

— А ну-ка, выпьем все за Зеленую Нашлепку! Ур-р-ра!

А пока они пили, Нашлепка бормотал: «Этот калека, видно, сбрендил; но все равно — старый ученый получит свою библиотеку, хотя бы мой кошелек совсем отощал».

— Кто больше? Кто больше? Кто больше?

— Четыре тысячи!

— Урра!

— Пять тысяч!

— Урра!

— Шесть тысяч!

— Урра!

— Семь тысяч!

— Урра!

— Восемь тысяч!

— Отец, мы спасены! Говорила я тебе — Дева Мария сдержит свое слово.

— Да будет благословенно ее святое имя! — сказал старый ученый с глубоким волнением.

Толпа ревела:

— Ура! Ура! Ура! Не сдавайся, Нашлепка!

— Кто больше? Кто больше?..

— Десять тысяч! — Из-за царившего в зале возбуждения Недам совсем забылся и прокричал это, не изменив голоса. Брат тотчас же узнал его и пробормотал под рев и шум в зале: «Ага, это ты, дурачина! Так получай свои книжки, уж я то знаю, на что они тебе сдались!»

Сказав это, он незаметно удалился, и аукцион пришел к концу.

Недам пробрался сквозь толпу к Хильдегард, шепнул ей что-то на ухо и тоже скрылся. Старый ученый обнял дочь и сказал:

— Поистине, божья мать сделала больше, чем обещала. Дитя, у тебя теперь богатое приданое. Подумай только, две тысячи золотых!

— Более того, — воскликнула Хильдегард. — Она и книги тебе вернула: незнакомец шепнул мне, что купил их не для себя. «Пусть славный сын Германии владеет ими по-прежнему», — сказал он. Мне хотелось узнать, как его зовут, поцеловать его руку, испросить у него благословения, — но то был ангел, посланный Девой; а мы, смертные, не достойны обращаться к тем, кто обитает в горних высях.

В. Немецкие газеты

Газеты, выходящие в Гамбурге, Франкфурте, Бадене, Мюнхене и Аугсбурге, строятся все по единой схеме. Я беру эти газеты, потому что знаю их лучше. В них нет передовых статей; нет сообщений частного характера, — и это скорее достоинство, чем недостаток; нет отдела юмора; нет полицейской хроники; нет донесений из зала суда; нет сообщений о боксерских встречах и прочих собачьих драках, о скачках, состязаниях в ходьбе и стрельбе, о регатах и других спортивных событиях; нет застольных речей; нет «Смеси», представляющей окрошку из фактов и сплетен; нет отдела «По слухам», где речь идет о ком-то и о чем-то; нет гаданий и пророчеств о ком-то и о чем-то; нет списка патентов, выданных и выправляемых, нет вообще ничего по этой части; нет критики властей предрежающих, как выше-, так и нижестоящих, ни жалоб по их адресу, ни восхвалений; нет субботних столбцов на душевспасительные темы, ни понедельничного пересказа воскресных прокисших проповедей; нет «Предсказаний погоды»; нет «Хроники», приподнимающей завесу над тем, что творится в городе; нет вообще местного материала, кроме сообщений о разездах высочайших особ или же о предстоящем заседании некоего совещательного органа.

После такого сокрушительного перечня всего, чего мы не находим в немецкой газете, возникает вопрос: а что же в ней есть? Ответить на это легче легкого: горстка телеграмм — преимущественно о европейских политических событиях, национальных и международных; письма и донесения корреспондентов на те же темы; биржевые отчеты. Только и всего. Вот из чего состоит немецкая газета. Немецкая газета это самое бездарное, самое унылое и тоскливое порождение ума человеческого. От наших отечественных газет читатель частенько приходит в ярость, тогда как от немецких он только тупеет. Так, первоклассные немецкие газеты охотно оживляют свои унылые столбцы — вернее, думают, что оживляют, — какой-нибудь заковыристой, бездонно-глубокой литературно-критической статьей, статьей, которая уводит вас вниз-вниз-вниз, в недра ученых изысканий, ибо чем немецкая газета хочет блистать, так это своей ученостью. И когда вы наконец выплываете наверх и снова дышите чистым воздухом и радуетесь благодатному свету дня, вы решаете единогласно и при отсутствии воздержавшихся, что литературная критика — негодное средство для оживления газеты. Иногда вместо критической статьи первоклассные газеты преподносят вам то, что считается у них бойким и веселым фельетоном, — на тему о погребальных обрядах у древних греков, или о способах бальзамирования мумий в древнем Египте, или об основаниях, позволяющих думать, что у некоторых народов, населявших землю до всемирного потопа, существовали известные предубеждения относительно кошек. Это небезынтересная тема; это не лишенная приятности и даже увлекательная тема, — но только пока она не попала в руки одного из этих ученых гробокопателей. А тогда вы убеждаетесь, что и самую увлекательную тему можно трактовать так, чтобы у вас испортилось настроение.

Как я уже говорил, обычная немецкая газета состоит сплошь из корреспонденций; ничтожная их часть передается по телеграфу, остальные приходят по почте. Каждая корреспонденция снабжена подзаголовком — Лондон, Вена или какой-нибудь другой город, и датой отправления. Перед названием города ставится буква или знак, удостоверяющие личность корреспондента, чтобы в случае надобности его можно было разыскать и повесить. Из знаков в ходу звездочки, крестики, треугольнички, полумесяцы и т. п.

Иные газеты прибывают слишком быстро, другие слишком медленно. Так, газета, на которую я подписался в Гейдельберге, успевала постареть на сутки, пока добиралась до моей гостиницы. И наоборот, одна из вечерних газет, которые я получал в Мюнхене, приходила на сутки раньше срока.

Некоторые не слишком солидные газеты печатают в своих подвалах, в подражание французским, романы с продолжениями — в день по чайной ложке. Чтобы составить себе понятие, как развивается сюжет, надо подписаться по крайней мере лет на пять.

Спросите коренного мюнхенца, какая газета считается у них лучшей, и он вам скажет, что в Мюнхене имеется только одна хорошая газета — та, что выходит в Аугсбурге, за сорок — пятьдесят миль от баварской столицы. Это все равно что сказать, что лучшая нью-йоркская газета выходит в Нью-Джерси. Да, аугсбургская «Альгемайне цайтунг» действительно «лучшая мюнхенская газета», и ее-то я и имел в виду, когда говорил о «первоклассных немецких газетах». Даже развернутая во всю ширину, она покажется вам меньше одной страницы нью-йоркского «Геральда». Текст, как и полагается, напечатан с обеих сторон листа, но шрифт такой крупный, что весь материал для чтения, набранный шрифтом «Геральда», уместился бы на одной его странице, и осталось бы еще место для объявлений и доброй части завтрашнего номера.

Но такова первоклассная газета. Газеты, издающиеся в самом Мюнхене, почитаются тамошней публикой второсортными. Если вы спросите, какая из второсортных газет у них лучшая, вам скажут, что между ними нет никакой разницы, все они на одно лицо. У меня сохранился номер такой газеты, это «Мюнхенер тагесанцайгер» от 25 января 1879 года. Говорят, сравнения неубедительны, но сравнения могут быть и беспристрастными; и я хочу без всякого пристрастия сравнить эту газету, выходящую в городе со стосемидесятитысячным населением, с газетами других стран. Я не вижу другого средства разъяснить этот вопрос читателю просто и наглядно.

Столбец обычной американской газеты содержит от тысячи восьмьсот до двух с половиной тысяч слов. Весь материал для чтения в одном номере такой газеты содержит от двадцати пяти до пятидесяти тысяч слов. Весь материал для чтения в сохранившемся у меня номере мюнхенской газеты содержит тысячу шестьсот пятьдесят четыре слова — я не поленился

сосчитать. Это составит примерно один столбец нашей газеты. Один-единственный номер лондонского «Таймса», самой пухлой газеты в мире, содержит обычно сто тысяч слов одного только материала для чтения. Считая, что «Анцайгер», как и все газеты, выходит двадцать шесть раз в месяц, приходим к выводу что один номер «Таймса» мог бы снабдить эту газету печатным материалом на два с половиной месяца вперед!

«Анцайгер» выходит на восьми страницах; размером такая страница примерно тринадцать с половиной на семнадцать дюймов — где-то посредине между грифельной доской школьника и дамским носовым платком. Четверть первой страницы занята огромным заголовком, что создает впечатление неустойчивого равновесия; остаток первой страницы, а также и вся вторая страница предназначены для чтения, остальные шесть отданы рекламе.

Весь материал для чтения уложен в двести пять коротких строк, набранных цигеро и разбитых восемью заголовками того же шрифта. Меню такое: на первом месте, под заголовком цигеро, для создания должного настроения набрана проповедь в четыре газетных строчки, призывающая род человеческий помнить, что, хотя мы лишь странники в земной юдоли, нам предстоит унаследовать небо и что, «покинув землю, мы воспарим в горную обитель» Такая четырехстрочная проповедь, пожалуй, вполне достаточный немецкий эквивалент восьми или десяти столбцам вчерашних проповедей, которыми по понедельникам угощают нью-йоркцев утренние газеты. Ниже идут последние новости (двухдневной давности) под заголовком «Телеграммы», протелеграфированные ножницами из вчерашней «Аугсбургер цайтунг». Четырнадцать и две трети строки — из Берлина, пятнадцать строк — из Вены, две и пять восьмых — из Калькутты Тридцать три коротких строки телеграфных сообщений для города, насчитывающего сто семьдесят тысяч жителей — это, конечно, не слишком много. Далее идут «Новости дня», где изложены следующие факты: принц Леопольд едет в Вену с официальным визитом — шесть строк; принц Арнульф возвращается из России — две строки; в десять часов утра соберется ландтаг для рассмотрения избирательного закона — три строки плюс одно слово; информация городского управления — пять с половиной строк; цена билетов на предстоящий благотворительный бал — двадцать три строки (то есть добрая четверть первой страницы); извещение о предстоящем

вагнеровском гала-концерте во Франкфурте-на-Майне в исполнении грандиозного оркестра в составе восьмидесяти инструментов — семь с половиной строк. Вот и вся первая страница. Всего на этой странице восемьдесят пять строк, включая три заголовка. Из этих строк около пятидесяти, как видите, посвящены местной хронике. Так что репортеры работой не перегружены.

Ровно половину второй страницы занимает рецензия на оперную постановку — всего пятьдесят три строки (из коих три заголовка) — плюс десять строк траурных объявлений.

Вторая половина второй страницы состоит из двух заметок под общим заголовком «Разное». В одной сообщается о размолвке между русским царем и его старшим сыном — двадцать одна строка с половиной; другая рассказывает о зверском убийстве крестьянского мальчика его родителями — сорок строк, — то есть одна пятая всего материала для чтения в этом номере.

Представьте себе, что вы найдете в одной пятой материала для чтения американской газеты, выходящей в городе со семидесятитысячным населением! Чего там только нет! И можно ли такую уйму материала втиснуть в одну главку этой нашей книги, чтобы читатель, потеряв место, где он остановился, потом и не нашел его? Конечно же нет! Я переведу сообщение о детоубийстве слово в слово, чтобы дать читателю ощутительное представление, чему посвящена одна пятая (если прикинуть на глаз) содержания мюнхенской газеты.

«Оберкрейцберг, 21 января. В газете «Донау цайтунг» получено подробное сообщение о преступном акте, которое мы приводим здесь в сокращенном виде. В Раметуахе, деревушке под Эппеншлягом, проживали молодые супруги с двумя детьми, один из которых, пятилетний мальчик, был рожден за два года до того, как его родители сочетались законным браком. По этой причине, а также потому, что некий родственник в Иггенсбахе оставил мальчику по духовному завещанию четырех марок, злодей отец задумал от него избавиться. Преступные родители решили по свидетельству их односельчан, к сожалению запоздалому, извести ребенка самым бесчеловечным способом, договорившись морить его голодом и всячески истязать. Ребенка заперли в темный подвал, и деревенские жители, проходя мимо, слышали, как он плачет и просит хлеба. Долгая пытка и систематическая голодовка в конце концов убили мальчика, он умер 3 января. Внезапная (sic!) смерть

ребенка возбудила подозрение, тем более что родители чрезвычайно торопились с похоронами Шестого января было наряжено следствие. Ужасное зрелище открылось очевидцам! Труп ребенка представлял собою форменный скелет. В желудке и кишках — ни малейших остатков пищи. Слои мяса на костях был толщиной в тупую сторону ножа. При порезах из него не вытекло ни капли крови. На коже — ни одного нетронутого места, хотя бы в доллар величиной повсюду раны, царапины, ссадины, рубцы, все тело в кровоподтеках, подошвы ног и те в сплошных ранах. Изверги родители оправдывались тем, что ребенок не слушался и его приходилось сурово наказывать. Наконец, он будто бы свалился со скамьи и сломал себе шею. Однако спустя две недели по окончании следствия их арестовали и посадили в деггендорфскую тюрьму».

Арестовали «спустя две недели по окончании следствия»! Знакомая картина! Такая распорядительность полицейских властей куда больше, чем немецкая журналистика, напоминает мне дорогое отечество.

На мой взгляд, немецкая газета не приносит сколько-нибудь заметной пользы, но зато не приносит и вреда. А это само по себе достоинство, которое трудно переоценить.

Немецкие юмористические журналы выходят на добротной бумаге, печать, рисунки, оттиски — отличные, юмор приятный, не назойливый. Таковы же и две-три фразы, представляющие подпись к рисункам. Мне запомнилась карикатура: истерзанного вида бродяга подсчитывает монеты у себя на ладони. Подпись гласит: «Что-то невыгодно стало побираться. За целый день всего пять марок. Чиновник и то, бывает, больше зарабатывает». На другой карикатуре коммивояжер хочет раскрыть свой чемоданчик с образцами.

Купец (с раздражением). Нет-нет, увольте. Я ничего не куплю.

Коммивояжер. Разрешите только показать вам...

Купец. И видеть не желаю.

Коммивояжер (помолчав минуту, укоризненно). Дали бы хоть мне поглядежь. Я их три недели не видел.

ПРИНЦ И НИЩИЙ

ПЕРЕВОД

Б. Н. ЧУКОВСКОГО и Н. Е. ЧУКОВСКОГО

*Милым и благонравным детям,
Сузи и Кларе Клеменс,
с чувством сердечной любви
посвящает эту книгу их отец.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту повесть я расскажу вам в том виде, в каком я слышал ее от одного человека, слышавшего ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот от своего и так дальше. Триста лет, а быть может, и более отцы передавали ее сыновьям, и таким образом она была сохранена для потомства. Возможно, что это исторический факт, но возможно — предание, легенда. Пожалуй, все это было, а пожалуй, и не было, но все же могло бы быть. Возможно, что в старое время в эту историю верили мудрецы и ученые, но возможно и то, что только простые неученые люди верили в нее и любили ее.

О, в милосердии двойная благодать:
Блажен и тот, кто милует, и тот,
Кого он милует. Всего сильнее
Оно в руках у сильных; королям
Оно пристало больше, чем корона.

Шекспир, «Венецианский купец»

Глава I

РОЖДЕНИЕ ПРИНЦА И РОЖДЕНИЕ НИЩЕГО

Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия.

В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила бога о нем, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва знакомые между собою, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Никто не работал, все праздновали — бедные и богатые, простолюдины и знатные, — пировали, плясали, пели, угощались вином, и такая гульба продолжалась несколько дней и ночей. Днем Лондон представлял собою очень красивое зрелище: на каждом балконе, на каждой крыше развевались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть: на всех перекрестках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только и разговоров было, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Уэльском, а тот лежал, завернутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутерьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди, — ему это было безразлично. Но нигде

не слышно было толков о другом ребенке, Томе Кенти, запеленатом в жалкие тряпки. Говорили о нем только в той нищенской, убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот.

Глава II

ДЕТСТВО ТОМА

Перешагнем через несколько лет.

Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим городом по тем временам. В нем насчитывалось сто тысяч жителей, иные полагают — вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенти, — невдалеке от Лондонского моста. Дома были деревянные; второй этаж выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы у них были из крепких, положенных крест-накрест балок; промежутки между балками заполнялись прочным материалом и сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были маленькие, с мелкими ромбами стекол, и открывались наружу на петлях, как двери.

Дом, где жил отец Тома, стоял в вонючем тупике за Обжорным рядом. Тупик назывался Двор Отбросов. Дом был маленький, ветхий, шаткий, доверху набитый беднотой. Семья Кенти занимала каморку в третьем этаже. У отца с матерью существовало некоторое подобие кровати, но Том, его бабка и обе его сестры, Бэт и Нэн, не знали такого неудобства: им принадлежал весь пол, и они могли спать где им вздумается. К их услугам были обрывки двух-трех старых одеял и несколько охапок грязной, обветшавшей соломы, но это вряд ли можно было назвать постелью, потому что по утрам все это сваливалось в кучу, из которой к ночи каждый выбирал, что хотел.

Бэт и Нэн были пятнадцатилетние девчонки-близнецы, добродушные замарашки, одетые в лохмотья, и глубоко невежественные. Мать мало чем отличалась от них. Но отец с бабкой были сущие дьяволы: они напивались где только могли и тогда воевали друг с другом или с кем попало, кто только под руку подвернется. Они ругались и сквернословили на каждом шагу, в пьяном и в трезвом виде. Джон Кенти был вор, а его мать — нищенка. Они научили детей просить милостыню, но сделать их ворами не могли.

Среди нищих и воров, наполнявших дом, жил один человек, который не принадлежал к их числу. То был добрый старик священник, выброшенный королем на улицу с ничтожной пенсией в несколько медных монет. Он часто уводил детей к себе и тайком от родителей внушал им любовь к добру. Он научил Тома читать и писать, от него Том приобрел и некоторые познания в латинском языке. Старик хотел научить грамоте и девочек, но девочки боялись подруг, которые стали бы смеяться над их неуместной ученостью.

Весь Двор Отбросов представлял собою такое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил Кенти. Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Они происходили каждую ночь и длились чуть не до утра. Пробитые головы были здесь таким же заурядным явлением, как голод. И все же маленький Том не чувствовал себя несчастным. Иной раз ему приходилось очень туго, но он не придавал своим бедствиям большого значения: так жилось всем мальчишкам во Дворе Отбросов; поэтому он полагал, что иначе и быть не должно. Он знал, что вечером, когда он вернется домой с пустыми руками, отец изругает его и прибьет, да и бабка не даст ему спуска, а поздней ночью подкрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет ему черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него, хотя уже не раз попадалась во время этих предательских действий и получала в награду тяжелые побои от мужа.

Нет, Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Он просил милостыню не слишком усерд-

но — лишь бы только избавиться от отцовских побоев, — потому что законы против нищенства были суровы и попрошайек наказывали очень жестоко. Немало часов проводил он со священником Эндрью, слушая его дивные старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о волшебниках и феях, о заколдованных замках, великолепных королях и принцах. Воображение мальчика было полно всеми этими чудесами, и не раз ночью, в темноте, лежа на тощей подстилке из колкой соломы, усталый, голодный, избитый, он давал волю мечтам и скоро забывал и обиды и боль, рисуя себе сладостные картины восхитительной жизни какого-нибудь изнеженного принца в королевском дворце. День и ночь его преследовало одно желание: увидеть своими глазами настоящего принца. Раз он высказал это желание товарищам по Двору Отбросов, но те подняли его на смех и так безжалостно издевались над ним, что он решил впредь не делиться своими мечтами ни с кем.

Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания и книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазий были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым. Правда, он и теперь зачастую возился в грязи с таким же удовольствием, как прежде, но плескаться в Темзе стал он не только для забавы: теперь ему нравилось также и то, что вода смывает с него грязь.

У Тома всегда находилось на что поглазеть возле майского шеста в Чипсайде или на ярмарках. Кроме того, время от времени ему, как и всем лондонцам, удавалось полюбоваться военным парадом, когда какую-нибудь несчастную знаменитость везли в тюрьму Тауэра сухим путем или в лодке. В один летний день ему пришлось видеть, как сожгли на костре в Смитфилде бедную Энн Эскью, а с нею еще трех человек; он слышал, как некий бывший епископ читал им длинную проповедь, которая, впрочем, очень мало заинте-

ресовала его. Да, в общем жизнь Тома была довольно-таки разнообразна и приятна.

Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так сильно подействовали на него, что он, сам того не замечая, стал *разыгрывать* из себя принца, к восхищению и потехе своих уличных товарищей. Его речь и повадки стали церемонны и величественны. Его влияние во Дворе Отбросов с каждым днем возрастало, и постепенно сверстники привыкли относиться к нему с восторженным почтением, как к высшему существу. Им казалось, что он так много знает, что он способен к таким дивным речам и делам! И сам он был такой умный, ученый! О каждом замечании и о каждом поступке Тома дети рассказывали старшим, так что вскоре и старшие заговорили о Томе Кенти и стали смотреть на него как на чрезвычайно одаренного, необыкновенного мальчика. Взрослые в затруднительных случаях стали обращаться к нему за советом и часто дивились остроумию и мудрости его приговоров. Он стал героем для всех, кто знал его, — только родные не видели в нем ничего замечательного.

Прошло немного времени, и Том завел себе настоящий королевский двор! Он был принцем; его ближайшие товарищи были телохранителями, камергерами, шталмейстерами, придворными лордами, статс-дамами и членами королевской фамилии. Каждый день самозванного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из старинных романов; каждый день великие дела его мнимой державы обсуждались на королевском совете; каждый день его высочество мнимый принц издавал приказы воображаемым армиям, флотам и заморским владениям.

Потом он в тех же лохмотьях шел просить милостыню, выпрашивал несколько фартингов, глодал черствую корку, получал обычную долю побоев и ругани и, растянувшись на охалке вонючей соломы, вновь предавался мечтам о своем воображаемом величии. А желание увидеть хоть раз настоящего живого принца росло в нем с каждым днем, с каждой неделей и в конце концов заслонило все другие желания и стало его единственной страстью.

В один январский день, он, как всегда, вышел в поход за милостыней. Несколько часов подряд, босой, продрогший, уныло слонялся он вокруг Менсинг-Лэйн и Литтл-Ист-Чип, заглядывая в окна харчевен и глотая слюнки при виде ужаснейших свиных паштетов и других смертоубийственных изобретений, выставленных в окне: для него это были райские лакомства, достойные ангелов, по крайней мере судя по запаху, — отведывать их ему никогда не случалось. Моросил мелкий холодный дождь; день был тоскливый и хмурый. Под вечер Том пришел домой такой измокший, утомленный, голодный, что даже отец с бабкой как будто пожалели его, — конечно, на свой лад: наскоро угостили его тумаками и отправили спать. Долго боль и голод, а также ругань и потасовки соседей не давали ему уснуть, но наконец мысли его унеслись в дальние чудесные страны, и он уснул среди принцев, с ног до головы усыпанных золотом и драгоценными камнями. Принцы жили в огромных дворцах, где слуги благоговейно склонялись перед ними или летели выполнять их приказания. А затем, как водится, ему приснилось, что *он и сам* — принц.

Всю ночь он упивался своим королевским величием; всю ночь окружали его знатные леди и лорды; в сиянии яркого света он шествовал среди них, вдыхая чудесные ароматы, восхищаясь сладостной музыкой и отвечая на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы то улыбкой, то царственным кивком.

А утром, когда он проснулся и увидал окружающую его нищету, все вокруг, — как всегда после плодотворного сна, — показалось ему в тысячу раз непригляднее. Сердце его горестно заныло, и он залился слезами.

Глава III

ВСТРЕЧА ТОМА С ПРИНЦЕМ

Том встал голодный и толодный пошел из дому, но все его мысли были поглощены призрачным величием его ночных сновидений. Он рассеянно брел

по улицам, почти не замечая, куда идет и что происходит вокруг. Иные толкали его, иные ругали, но он был погружен в свои мечты, ничего не видел, не слышал. Наконец он очутился у ворот Темпл-Бара. Дальше в эту сторону он никогда не заходил. Он остановился и с минуту раздумывал, куда он попал, потом мечты снова захватили его, и он очутился за городскими стенами. В то время Стренд уже не был проселочной дорогой и даже считал себя улицей, — но вряд ли он имел право на это, потому что, хотя по одну сторону Стренда тянулся почти сплошной ряд домов, дома на другой стороне были разбросаны далеко друг от друга — великолепные замки богатейших дворян, окруженные роскошными садами, спускавшимися к реке. В наше время на месте этих садов теснятся целые мили угрюмых строений из камня и кирпича.

Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножия красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем, оплакивавшим безвременную кончину супруги; потом опять неторопливо побрел по прекрасной пустынной дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу — Вестминстерскому. Пораженный и счастливый, глядел он на громадное здание с широко раскинувшимися крыльями, на грозные бастions и башни, на массивные каменные ворота с золочеными решетками, на колоссальных гранитных львов и другие эмблемы английской королевской власти. Неужели настало время, когда его заветное желание сбудется? Ведь это королевский дворец. Разве не может случиться, что небеса окажутся благосклонны к Тому и он увидит принца — настоящего принца, из плоти и крови?

По обеим сторонам золоченых ворот стояли две живые статуи — стройные и неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы крестьян и городских жителей, чающих хоть одним глазком увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Нарядные экипажи с нарядными господами и такими же нарядными слугами на запятках въезжали

и выезжали из многих великолепных ворот дворцовой ограды.

Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо часовых; сердце его сильно стучало, в душе пробудилась надежда. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик, смуглый и загорелый от игр и гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атласы, сверкающий драгоценными камнями; на боку у него висели маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал; на ногах были высокие изящные сапожки с красными каблучками, а на голове прелестная алая шапочка с ниспадающими на плечи перьями, скрепленными крупным драгоценным камнем. Поблизости стояло несколько пышно разодетых господ — без сомнения, его слуги. О, это конечно принц! Настоящий, живой принц! Тут не могло быть и тени сомнения. Наконец-то была услышана молитва мальчишки-нищего!

Том стал дышать часто-часто, глаза его широко раскрылись от удивления и радости. В эту минуту все его существо было охвачено одним желанием, заслонившим собою все другие: подойти ближе к принцу и всласть наглядеться на него. Не сознавая, что делает, он прижался к решетке ворот. Но в тот же миг один из солдат грубо оттащил его прочь и швырнул в толпу деревенских зевак и столичных бездельников с такой силой, что мальчик завертелся вьюном.

— Знай свое место, бродяга! — сказал солдат.

Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами:

— Как смеешь ты обижать этого бедного отрока? Как смеешь ты так грубо обращаться даже с самым последним из подданных моего отца короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!

Посмотрели бы вы, как склонилась пред ним изменчивая, ветреная толпа, как обнажились все головы! Послушали бы, как радостно толпа закричала: «Да здравствует принц Уэльский!»

Солдаты отдали честь алебардами, отворили ворота и снова отдали честь, когда мимо них прошел принц Нищеты в развевающихся лохмотьях и поздоровался за руку с принцем Несметных Богатств.

— Ты кажешься голодным и усталым, — произнес Эдуард Тюдор. — Тебя обидели. Следуй за мной.

С полдюжины придворных лакеев бросились вперед — уж не знаю зачем: вероятно, они хотели вмешаться. Но принц отстранил их истинно королевским движением руки, и они мгновенно застыли на месте, как статуи. Эдуард ввел Тома в роскошно убранную комнату во дворце, которую он называл своим кабинетом. По его приказу были принесены такие яства, каких Том в жизни своей не видывал, только читал о них в книгах. С деликатностью и любезностью, подобающими принцу, Эдуард отослал слуг, чтобы они не смущали нищего гостя своими презрительными взорами, а сам сел рядом и, покуда Том ел, задавал ему вопросы.

— Как тебя зовут, отрок?

— Том Кенти¹, с вашего позволения, сэр.

— Странное имя. Где ты живешь?

— В Лондоне, осмелюсь доложить вашей милости. Двор Отбросов за Обжорным рядом.

— Двор Отбросов! Еще одно странное имя!.. Есть у тебя родители?

— Родители у меня есть. Есть и бабушка, которую я не слишком люблю, — да простит мне господь, если это грешно!.. И еще у меня есть сестры — Нэн и Бэт, они близнецы.

— Должно быть, твоя бабушка не очень добра к тебе?

— Она ни к кому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло.

— Обижает она тебя?

— Лишь тогда она не колотит меня, когда спит или затуманит свой разум вином. Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее.

Глаза маленького принца сверкнули гневом.

¹ Кенти (canty) — бойкий, веселый, живой (англ.).

— Как? Бьет? — вскрикнул он.

— О да, смею доложить вашей милости!

— *Бьет!* Тебя, такого слабосильного, маленького! Слушай! Прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король, мой отец...

— Вы забываете, сэр, что она низкого звания, Тауэр — темница для знатных.

— Правда! Это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее. А отец твой добр к тебе?

— Не добрее моей бабки Кенти, сэр.

— Отцы, кажется, все одинаковы. И у моего прав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань он, по правде сказать, не скупится. А как обходится с тобою твоя мать?

— Она добра, сэр, и никогда не причиняет мне ни огорчений, ни боли. И Нэн и Бэт так же добры, как она.

— Сколько им лет?

— Пятнадцать, с вашего позволения, сэр.

— Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать. Леди Джейн Грэй, моя двоюродная сестра, мне ровесница; они обе миловидны и приветливы; но моя другая сестра, леди Мэри, у которой такое мрачное, хмурое лицо... Скажи, твои сестры запрещают служанкам смеяться, дабы те не запятали свою душу грехом?

— Мои сестры? Вы полагаете, сэр, что у *них* есть служанки?

Минуту маленький принц смотрел на маленького нищего с важной задумчивостью, потом произнес:

— Как же, скажи на милость, могут они обойтись без служанок? Кто помогает им снимать на ночь одежду? Кто одевает их, когда они встают поутру?

— Никто, сэр. Вы хотите, чтобы на ночь они раздевались и спали без одежды, как звери?

— Без одежды? Разве у них по одному только платью?

— Ах, ваша милость, да на что же им больше? Ведь не два же у них тела у каждой.

— Какая странная, причудливая мысль! Прости мне этот смех; я не думал обидеть тебя. У твоих добрых сестер, Нэн и Бэт, будет платьев и слуг доста-

точно, и очень скоро: об этом позаботится мой казначей. Нет, не благодари меня, это пустое. Ты хорошо говоришь, легко и красиво. Ты обучен наукам?

— Не знаю, как сказать, сэр. Добрый священник Эндрю из милости обучал меня по своим книгам.

— Ты знаешь латынь?

— Боюсь, что знания мои скудны, сэр.

— Выучись, милый, — это нелегко лишь на первых порах. Греческий труднее, но, кажется, ни латинский, ни греческий, ни другие языки не трудны леди Елизавете и моей кузине. Послушал бы ты, как эти юные дамы говорят на чужих языках! Но Расскажи мне о твоём Дворе Отбросов. Весело тебе там живется?

— Поистине весело, с вашего разрешения, сэр, если, конечно, я сыт. Нам показывают Панча и Джуди, а также обезьянок. О, какие это потешные твари! У них такая пестрая одежда! Кроме того, нам дают представления: актеры играют, кричат, дерутся, а потом убивают друг друга и падают мертвыми. Так занятно смотреть, и стоит всего лишь фартинг; только иной раз очень уж трудно добыть этот фартинг, смею доложить вашей милости.

— Рассказывай еще!

— Мы, мальчики во Дворе Отбросов, иногда сражаемся между собою на палках, как подмастерья.

У принца сверкнули глаза.

— Ого! От этого и я бы не прочь. Рассказывай еще!

— Мы бегаем взапуски, сэр, кто кого перегонит.

— Мне пришлось бы по вкусу и это! Дальше!

— Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг в друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и...

— Я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так. Пожалуйста, рассказывай еще!

— Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайте; мы зарываем друг друга в песок; мы делаем из грязи пироги... О, это прекрасная грязь! В целом мире ничто не доставляет нам больше приятности.

Мы прямо-таки валяемся в грязи, не в обиду будь вам сказано, сэр!

— Ни слова больше, прошу тебя! Это чудесно! Если бы я только мог облачиться в одежду, которая подобна твоей, пойти босиком, всласть поваляться в грязи, хоть один-единственный раз, но чтобы меня никто не бранил и не сдерживал, — я, кажется, с радостью отдал бы корону.

— А я... если бы я хоть раз мог одеться так, как вы, ваша светлость... только один-единственный раз...

— О, вот чего тебе хочется? Что ж, будь по-твоему! Снимай лохмотья и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным! Позабавимся, покуда возможно, а потом опять переоденемся, прежде чем придут и помешают.

Не прошло и пяти минут, как маленький принц Уэльский облачился в тряпье Тома, а маленький принц Нищеты — в великолепное цветное королевское платье. Оба подошли к большому зеркалу, и — о чудо! — им показалось, что они вовсе не менялись одеждой! Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Наконец удивленный принц сказал:

— Что ты об этом думаешь?

— Ах, ваша милость, не требуйте, чтобы я ответил на этот вопрос. В моем звании не подобает говорить о таких вещах.

— Тогда скажу об этом я. У тебя такие же волосы, такие же глаза, такой же голос, такая же поступь, такой же рост, такая же осанка, такое же лицо, как у меня. Если бы мы вышли нагишом, никто не мог бы сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэльский. Теперь, когда на мне твоя одежда, мне кажется, я живее чувствую, что испытывал ты, когда грубый солдат... Послушай, откуда у тебя этот сияняк на руке?

— Пустяки, государь! Ваша светлость знаете, что тот злополучный часовой...

— Молчи! Он поступил постыдно и жестоко! — воскликнул маленький принц, топнув босой ногой. —

Если король... Не двигайся с места, пока я не вернусь! Таково мое приказание!

В один миг он схватил и спрятал какой-то предмет государственной важности, лежавший на столе, и, выскочив за дверь, помчался в жалких лохмотьях по дворцовым покоем. Лицо у него разгорелось, глаза сверкали. Добежав до больших ворот, он вцепился в железные прутья и, дергая их, закричал:

— Открой! Отвори ворота!

Солдат, тот самый, что обидел Тома, немедленно исполнил это требование; как только принц, задыхаясь от монаршего гнева, выбежал из высоких ворот, солдат наградил его такой звонкой затрещиной, что он кубарем полетел на дорогу.

— Вот тебе, нищенское отродье, за то, что мне из-за тебя досталось от его высочества! — сказал солдат.

Толпа заревела, захохотала. Принц выкарабкался из грязи и гневно подскочил к часовому, крича:

— Я принц Уэльский! Моя особа священна, и тебя повесят за то, что ты осмелился ко мне прикоснуться!

Солдат отдал ему честь алебардой и, ухмыляясь, сказал:

— Здравия желаю, ваше королевское высочество! — Потом сердито: — Поди ты вон, полоумная рвань!

Толпа с хохотом сомкнулась вокруг бедного маленького принца и погнала его по дороге с гиканьем и криками:

— Дорогу его королевскому высочеству! Дорогу принцу Уэльскому!

Глава IV

НЕВЗГОДЫ ПРИНЦА НАЧИНАЮТСЯ

Толпа травила и преследовала принца в течение многих часов, а потом отхлынула и оставила его в покое. Пока у принца хватало сил яростно отбиваться от черни, грозя ей своей королевской немилостью, пока

он мог по-королевски отдавать ей приказания, это забавляло всех, но когда усталость наконец принудила принца умолкнуть, он утратил для мучителей всякую занимательность, и они отправились искать себе других развлечений. Принц стал озираться вокруг, но не узнавал местности; он знал только, что находится в Лондоне. Он пошел куда глаза глядят. Немного погодя дома стали редеть, прохожих встречалось все меньше. Он окунул окровавленные ноги в ручей, протекавший там, где теперь находится Фарингдон-стрит, отдохнул несколько минут и снова пустился в путь. Скоро добрал он до большого пустыря, где было лишь несколько беспорядочно разбросанных зданий и стояла огромная церковь. Принц узнал эту церковь. Она была окружена лесами, и всюду возились рабочие: ее перестраивали заново. Принц сразу приободрился. Он почувствовал, что его злоключениям — конец, и сказал себе: «Это древняя церковь Серых монахов, которую король, мой отец, отнял у них и превратил в убежище для брошенных и бедных детей и дал ей новое название — Христова обитель. Здешные питомцы, конечно, с радостью окажут услугу сыну того, кто был так щедр и великодушен к ним, тем более что этот сын так же покинут и беден, как те, что ныне нашли здесь приют или найдут его в будущем».

Скоро он очутился в толпе мальчуганов, которые бегали, прыгали, играли в мяч, в чехарду, — каждый забавлялся, как мог, и все страшно шумели. Они были одеты одинаково, как одевались в те дни подмастерья и слуги¹. У каждого на макушке была плоская черная шапочка величиною с блюдце, — она не защищала головы, потому что была очень мала, и уж совсем не украшала ее; из-под шапочки падали на лоб волосы, подстриженные в кружок, без пробора; на шее — воротник, как у лиц духовного звания; синий камзол с широкими рукавами, плотно облегавший тело и доходивший до колен; широкий красный пояс, ярко-желтые чулки, перетянутые выше колен подвязками, и туфли

¹ Смотри примечание 1 в конце книги. (Прим. автора.)

с большими металлическими пряжками. Это был достаточно безобразный костюм.

Мальчики прекратили игру и столпились вокруг принца. Тот проговорил с прирожденным достоинством:

— Добрые мальчики, скажите вашему начальнику, что с ним желает беседовать Эдуард, принц Уэльский.

Эти слова были встречены громкими криками, а один наглый подросток сказал:

— Ты, что ли, оборванец, посол его милости?

Лицо принца вспыхнуло гневом, он привычным жестом протянул было руку к бедру, но ничего не нашел. Все дружно захохотали, и один мальчишка крикнул:

— Видали? Он и впрямь был уверен, что у него, как у принца, есть шпага!

Эта насмешка вызвала новый взрыв хохота. Эдуард гордо выпрямился и сказал:

— Да, я принц. И не подобает вам, кормящимся щедротами отца моего, так обращаться со мною.

Слова его показались чрезвычайно забавными, и толпа опять захохотала. Подросток, который вступил в разговор раньше всех, крикнул своим товарищам:

— Эй вы, свиньи, рабы, нахлебники царственного отца его милости, или вы забыли приличия? Скорее на колени вы все, да стучайте лбами покрепче! Кланяйтесь его королевской особе и его королевским лохмотьям!

И с буйным весельем они все упали на колени, воздавая своей жертве глумливые почести.

Принц пнул ближайшего мальчишку ногой и с негодованием сказал:

— Вот тебе покуда задаток, а завтра я тебя вздерну на виселицу!

Э, это уж не шутка! Какие тут шутки! Смех мгновенно умолк, и веселье уступило место ярости. Голосов десять закричало:

— Держи его! Волоки его в пруд! Где собаки? Хватай его, Лев! Хватай его, Клыкастый!

Затем последовала сцена, какой никогда еще не видела Англия: плебеи подняли руку на священную особу наследника и стали травить его псами, которые чуть не разорвали его.

К ночи принц очутился в густо населенной части города. Тело его было в синяках, руки в крови, лохмотья забрызганы грязью. Он бродил по улицам, все больше теряя мужество, — усталый и слабый, еле волоча ноги. Он уже перестал задавать вопросы прохожим, потому что те отвечали ему одними ругательствами. Он бормотал про себя:

— Двор Отбросов! Только бы хватило у меня сил не упасть и дотащиться до него, — тогда я спасен. Родные этого мальчишки отведут меня во дворец, скажут, что я не принадлежу к их семье, что я истинный принц, — и я снова стану, чем был.

Время от времени он вспоминал, как его обидели мальчишки из Христовой обители, и говорил себе:

— Когда я сделаюсь королем, они не только получат от меня пищу и кров, но будут учиться по книгам, так как сытый желудок немногого стоит, когда голодают сердце и ум. Эту историю я постараюсь хорошенько запомнить, чтобы урок, полученный мною сегодня, не пропал даром и мой народ не страдал бы от невежества. Знание смягчает сердца, воспитывает милосердие и жалость¹.

В окнах зажглись огни. Поднялся ветер, пошел дождь. Наступила сырая, холодная ночь. Бездомный принц, бесприютный наследник английского трона шел все дальше и дальше, углубляясь в лабиринты грязных улиц, где теснились кишачие ульи нищеты.

Вдруг какой-то пьяный огромного роста грубо схватил его за шиворот и сказал:

— Опять прошлялся до такого позднего часа, а домой небось не принес ни одного медного фартинга! Ну смотри! Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра, не будь я Джон Кенти!

Принц вырвался из рук пьяницы и, брезгливо потирая оскверненное его прикосновением плечо, вскричал:

— О, ты *его* отец? Слава благим небесам! Отведи меня в родительский дом, а его уведи оттуда.

— *Его* отец? Не знаю, что ты хочешь сказать, но

¹ Смотри примечание 2 в конце книги. (Прим. автора.)

знаю, что *твой* отец — я... И скоро ты на собственной шкуре...

— О, не шути, не лукавь и не мешкай! Я устал, я изранен, я не в силах терпеть. Отведи меня к моему отцу, королю, и он наградит тебя такими богатствами, какие тебе не снились и в самом причудливом сне. Верь мне, верь, я не лгу, я говорю чистую правду! Протяни мне руку, спаси меня! Я воистину принц Уэльский!

С изумлением уставился Джон Кенти на мальчика и, качая головой, пробормотал:

— Спятил с ума, словно сейчас из сумасшедшего дома.

Потом он опять схватил принца за шиворот, хрипло засмеялся и выругался:

— В своем ты уме или нет, а мы с бабкой пересчитаем тебе все ребра, не будь я Джон Кенти!

И он потащил за собой упирающегося, разъяренного принца и скрылся вместе с ним в одном из ближайших дворов, провожаемый громкими и веселыми криками гнусного уличного сброда.

Глава V

ТОМ — ПАТРИЦИЙ

Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом, потом отошел, подражая благородной осанке принца и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект, потом обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди, как делал это пять или шесть недель назад на его глазах один благородный рыцарь, отдавая честь коменданту Тауэра при передаче ему знатных лордов Норфолька и Сэррея для заключения в тюрьму. Том играл изукрашенным драгоценными камнями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство

комнаты, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчики со Двора Отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой, или будут качать головами и приговаривать, что от чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка?

Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять; он жадно прислушивался к каждому звуку. Сперва ему было не по себе, потом он встревожился, потом не на шутку струхнул. Вдруг войдут какие-нибудь люди и застанут его в одежде принца, а принца нет, и никто не объяснит им, в чем дело. Ведь они, чего доброго, тут же повесят его, а потом уж начнут дознаваться, как он сюда попал. Он слышал, что у знатных людей решения принимаются быстро, когда дело идет о таких мелочах. Тревога его росла. Весь дрожа, он тихонько отворил дверь в соседний покой. Нужно поскорее отыскать принца. Принц защитит его и выпустит отсюда. Шестеро великолепно одетых господ, составлявших прислугу принца, и два молодых пажа знатного рода, нарядные, словно бабочки, вскочили и низко поклонились ему. Он поспешно отступил и захлопнул за собою дверь.

«Они смеются надо мной! — подумал он. — Они сейчас пойдут и расскажут... О, зачем я попал сюда на свою погибель!»

Он зашагал из угла в угол в безотчетной тревоге и стал прислушиваться, вздрагивая при каждом шорохе. Вдруг дверь распахнулась, и шелковый паж доложил:

— Леди Джейн Грэй.

Дверь затворилась, и к нему подбежала вприпрыжку прелестная, богато одетая юная девушка. Вдруг она остановилась и проговорила с огорчением:

— О! почему ты так печален, милорд?

Том обмер, но сделал над собой усилие и пролепетал:

— Ах, сжался надо мною! Я не милорд, я всего только бедный Том Кенти из Лондона, со Двора Отбросов. Прошу тебя, позволь мне увидеть принца, дабы он, по своему милосердию, отдал мне мои лохмотья и позволил уйти отсюда целым и невредимым. О, сжался, спаси меня!

Мальчик унал на колени, простирая к ней руки, моля не только словами, но и взглядом. Девушка, казалась, онемела от ужаса, востом воскликнула:

— О милорд, ты на коленях — передо мной! — и в страхе убежала.

Том в отчаянии упал на пол и сказал про себя!

«Ни помощи, ни надежды! Сейчас придут и схватят меня».

Между тем, пока он лежал на полу, цепenea от ужаса, страшная вестъ разнеслась по дворцу. Шепот переходил от слуги к слуге, от лорда к леди, — во дворцах всегда говорят шепотом, — и по всем длинным коридорам, из этажа в этаж, из зала в зал проносилось: «Принц сошел с ума! Принц сошел с ума!» Скоро в каждой гостиной, в каждом мраморном зале блестящие лорды и леди и другие столь же ослепительные, хотя и менее знатные особы оживленно шептались друг с другом, и на каждом лице была скорбь. Внезапно появился пышно разодетый царедворец и мерным шагом обошел всех, торжественно провозглашая:

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!

Под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вестн, обсуждать ее и выносить за пределы дворца! Именем короля!

Шушуканье сразу умолкло, как будто все шептавшиеся вдруг онемели.

Вскоре по коридорам пронеслось пчелиное жужжанье:

— Принц! Смотрите, принц идет!

Бедный Том медленно шел мимо низко кланявшихся ему придворных, стараясь отвечать им такими же поклонами и смиренно поглядывая на всю эту

странную обстановку растерянными, жалкими глазами. Двое вельмож поддерживали его под руки с обеих сторон, чтобы придать твердость его походке. Позади шли придворные врачи и несколько лакеев.

Затем Том очутился в богато убранном покое дворца и услышал, как за ним захлопнули дверь. Вокруг него стали те, кто сопровождал его.

Перед ним на небольшом расстоянии полулежал очень грузный, очень толстый мужчина с широким мясистым лицом и недобрый взглядом. Огромная голова его была совершенно седая; бакенбарды, окаймлявшие лицо, тоже были седые. Платье на нем было из дорогой материи, но поношено и местами потерто. Распухшие ноги, — одна из них была забинтована, — покоились на подушке. В комнате царила тишина, и все, кроме Тома, почтительно склонили головы. Этот калека с суровым лицом был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его неожиданно стало ласковым:

— Ну что, милорд Эдуард, мой принц? С чего тебе вздумалось шутить надо мною такие печальные шутки, надо мной — твоим добрым отцом королем, который так любит и ласкает тебя?

Бедный Том выслушал, насколько ему позволяли его удрученные чувства, начало этой речи, но когда слова «твоим добрым отцом королем» коснулись его слуха, лицо у него побелело, и он, как подстреленный, упал на колени, поднял кверху руки и воскликнул:

— Ты — *король*? Ну, тогда мне и вправду конец!

Эти слова ошеломили короля, глаза его растерянно перебегали от одного лица к другому и наконец остановились на мальчике. Тонем глубокого разочарования он проговорил:

— Увы, я думал, что слухи не соответствуют истине, но боюсь, что ошибся, — он тяжело вздохнул и ласково обратился к Тому: — Подойди к отцу, дитя мое. Ты нездоров?

Тому помогли подняться на ноги, и, весь дрожа, он робко подошел к его величеству, королю Англии. Сжав его виски между ладонями, король любовно и пристально вглядывался в его испуганное лицо, как бы ища утешительных признаков возвращающегося

рассудка, потом притянул к груди кудрявую голову мальчика и нежно потрепал ее рукой.

— Неужели ты не узнаешь своего отца, дитя мое? — сказал он. — Не разбивай моего старого сердца, скажи, что ты знаешь меня! Ведь ты меня *знаешь*, не правда ли?

— Да. Ты мой грозный повелитель, король, да хранит тебя бог!

— Верно, верно... это хорошо... Успокойся же, не дрожи. Здесь никто не обидит тебя, здесь все тебя любят. Теперь тебе лучше, дурной сон проходит, не правда ли? И ты опять узнаешь самого себя — ведь *узнаешь*? Сейчас мне сообщили, что ты называл себя чужим именем. Но больше ты не будешь выдавать себя за кого-то другого, не правда ли?

— Прошу тебя, будь милостив, верь мне, мой августейший повелитель: я говорю чистую правду. Я низжайший из твоих подданных, я родился нищим, и только горестный, обманчивый случай привел меня сюда, хотя я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня. О, скажи это слово, государь!

— Умирать? Не говори об этом, милый принц, успокойся. Да снидет мир в твою встревоженную душу... ты не умрешь.

Том с криком радости упал на колени:

— Да наградит тебя господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны!

Том вскочил на ноги и с веселым лицом обратился к одному из двух сопровождавших его лордов:

— Ты слышал? Я не умру! Это сказал сам король!

Все склонили головы с угрюмой почтительностью, но никто не тронулся с места и не сказал ни слова. Том помедлил, слегка смущенный, потом повернулся к королю и боязливо спросил:

— Теперь я могу уйти?

— Уйти? Конечно, если ты желаешь. Но почему бы тебе не побыть здесь еще немного? Куда же ты хочешь идти?

Том потупил глаза и смиренно ответил:

— Возможно, что я ошибся; но я счел себя сво-

бодным и хотел вернуться в конуру, где родился и рос в нищете, где поныне обитают моя мать, мои сестры; эта конура — мой дом, тогда как вся эта пышность и роскошь, к коим я не привык... О, будь милостив, государь, разреши мне уйти!

Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу. Но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда:

— Быть может, он помешался на одной этой мысли, и его разум остается по-прежнему ясным, когда обращается на другие предметы? Пошли, господь, чтоб это было так! Мы испытаем его!

Он задал Тому вопрос по-латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинскою фразою. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи также выразили свое удовольствие.

— При его учености и дарованиях, — заметил король, — он мог бы ответить гораздо лучше, однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно. Как вы полагаете, сэр?

Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил:

— Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением.

Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока и уже веселее продолжал:

— Хорошо! Следите все. Будем испытывать его дальше.

И он предложил Тому вопрос по-французски. Том с минуту молчал, смущенный тем, что все взгляды сосредоточились на нем, потом застенчиво ответил:

— С вашего позволения, сэр, мне этот язык неизвестен.

Король откинулся назад, на подушки. Несколько слуг бросились ему на помощь, но он отстранил их и сказал:

— Не тревожьте меня... это минутная слабость, не больше. Поднимите меня. Вот так, достаточно. Поди сюда, дитя, положи свою бедную помраченную голову на грудь отцу и успокойся! Ты скоро поправишься;

это мимолетная причуда, это пройдет. Не пугайся! Скоро ты будешь здоров.

Затем он обратился к остальным, и лицо его из ласкового мгновенно стало грозным, а в глазах забли- стали молнии.

— Слушайте, вы все! — сказал он. — Сын мой безумен, но это помешательство временное. Оно вызвано непосильными занятиями и слишком замкнутой жизнью. Долой все книги, долой учителей! Забавляйте его играми, развлекайте такими забавами, которые служат к укреплению сил, это восстановит его здоровье!

Король поднялся еще выше на подушках и продолжал с большим одушевлением:

— Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший, он будет царствовать! Слушайте дальше и разгласите повсюду: всякий говорящий о его недуге посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу!.. Дайте мне пить... я весь в огне... горе истощает мои силы... Так. Возьмите прочь эту чашу... Поддержите меня. Так, хорошо. Он сумасшедший? Будь он тысячу раз сумасшедший — все же он принц Уэльский, и я, король, дам этому публичное подтверждение. Ныне же он будет утвержден в сане принца-наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Повелеваю вам немедленно приступить к делу, лорд Гертфорд!

Один из лордов склонил колено перед королевским ложем и сказал:

— Вашему королевскому величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному...

— Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. Неужели этот человек никогда не умрет? Неужели он будет вечной преградой моим королевским желаниям? И сыну моему не быть утвержденным в своих наследных правах лишь потому, что гофмаршал Англии запятнан государственной изменой и недостойно утвердить его в сане наследника? Нет, клянусь всемогущим богом! Предупреди мой парламент, чтобы

еще до восхода солнца он вынес смертный приговор Норфольку, иначе парламент жестоко поплатится! ¹

— Королевская воля — закон! — произнес лорд Гертфорд и, поднявшись с колен, вернулся на прежнее место.

Выражение гнева мало-помалу исчезло с лица короля.

— Поцелуй меня, мой принц! — сказал он. — Вот так... Чего же ты боишься? Ведь я твой отец, я люблю тебя.

— Ты добр ко мне, недостойному, о могущественнейший и милосердный государь, это поистине так. Но... но... меня удручает мысль о том, кто должен умереть, и...

— А, это похоже на тебя, это похоже на тебя! Я знал, что сердце у тебя осталось прежнее, хотя рас-судок твой помрачен; у тебя всегда было доброе сердце. Но этот герцог стоит между тобою и твоими высокими почестями. Я назначу на его место другого, кто не запятнает своего сана изменой. Успокойся, мой добрый принц, не утруждай напрасно этим делом свою бедную голову...

— Но не я ли ускорю его смерть, мой повелитель? Как долго мог бы он прожить еще, если бы не я?

— Не думай о нем, мой принц! Он недостоин этого. Поцелуй меня еще раз и вернись к твоим утехам и радостям! Моя болезнь изнурила меня, я устал; мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Гертфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом!

Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял, — что теперь его отпустят на свободу. И снова он услышал негромкое жужжанье голосов: «Принц, принц идет!»

Чем дальше Том шел меж двух рядов раззолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой раззолоченной

¹ Смотри примечание 3 в конце книги. (Прим. автора.)

клетки — несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если господь бог, по своему милосердию, не сжадется над ним и не вернет ему волю.

И куда бы он ни повернулся, ему чудилось, что он видит летящую в воздухе отрубленную голову и врезавшееся ему в память лицо великого герцога Норфолькского с устремленным на него укоризненным взором.

Его недавние мечты были так сладостны, а действительность оказалась так мрачна и ужасна!

Глава VI

ТОМУ ДАЮТ НАСТАВЛЕНИЯ

Тома привели в парадный зал и усадили в кресло. Но ему было очень неловко сидеть, так как кругом стояли пожилые и знатные люди. Он попросил было, чтобы они тоже присели, но они только кланялись ему или бормотали слова благодарности и продолжали стоять. Том повторил свою просьбу, но его «дядя», граф Гертфорд, шепнул ему на ухо:

— Прошу тебя, не настаивай, милорд: не подобает им сидеть в твоём присутствии.

Доложили, что пришел лорд Сент-Джон. Почти-тельно склонившись перед Томом, лорд сказал:

— Я прислан королем по секретному делу. Не угодно ли будет вашему королевскому высочеству отпустить всех находящихся здесь, за исключением милорда графа Гертфорда?

Заметив, что Том как будто не знает, как отпустить придворных, Гертфорд шепнул ему, чтобы он сделал знак рукою, не утруждая себя речью, если у него нет желания говорить.

Когда свита удалилась, лорд Сент-Джон продолжал:

— Его величество повелевает, чтобы, в силу важных и веских государственных соображений, его высочество принц скрывал свой недуг, насколько это в его силах, пока болезнь не пройдет и принц снова не

станет таким, каким был прежде. А именно: он не должен ни перед кем отрицать, что он истинный принц, наследник великой английской державы, он обязан всегда соблюдать свое достоинство государя-наследника и принимать без всяких возражений знаки повиновения и почтения, подобающие ему по праву и древнему обычаю; король требует, чтобы он перестал рассказывать кому бы то ни было о своем якобы низком происхождении и низкой доле, ибо эти рассказы суть не что иное, как болезненные измышления его переутомленной фантазии; чтобы он прилежно старался воскресить в своей памяти знакомые ему лица, и в тех случаях, когда это не удастся ему, пусть он хранит спокойствие, не выказывая удивления или иных признаков забывчивости; во время же парадных приемов, если он будет в затруднении, не зная, что говорить или делать, пусть скрывает от любопытных свою растерянность, но советуется с лордом Гертфордом или со мною, своим покорным слугой, ибо граф и я специально для этого приставлены к нему королем и будем всегда под рукою, вплоть до отмены сего приказа. Так повелевает его величество король, который шлет привет вашему королевскому высочеству, моля бога, чтобы он по своему милосердию послал вам скорое исцеление и осенил вас своей благодатью.

Лорд Сент-Джон поклонился и отошел в сторону. Том покорно ответил:

— Так повелел король. Никто не смеет ослушаться королевских велений или ловко перекраивать их для собственных надобностей, если они кажутся слишком стеснительными. Желание короля будет исполнено.

Лорд Гертфорд сказал:

— Так как его величество соизволил повелеть не утруждать вас чтением книг и другими серьезными делами подобного рода, то не благоугодно ли будет вашему высочеству провести время в беспечных забавах, дабы не утомиться к банкету и не повредить своему здоровью?

На лице Тома выразилось удивление; он вопросительно посмотрел на лорда Сент-Джона и покраснел, встретив устремленный на него скорбный взгляд.

— Память все еще изменяет вам, — сказал лорд, — и потому слова лорда Гертфорда кажутся вам удивительными; но не тревожьтесь, это пройдет, как только вы начнете поправляться. Лорд Гертфорд говорит о банкете от города; месяца два тому назад король обещал, что вы, ваше высочество, будете на нем присутствовать. Теперь вы припоминаете?

— Я с грустью должен сознаться, что память действительно изменила мне, — ответил Том неуверенным голосом и опять покраснел.

В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Джейн Грэй. Лорды обменялись многозначительными взглядами, и Гертфорд быстро направился к двери. Когда молодые принцессы проходили мимо него, он шепнул им:

— Прошу вас, леди, не подавайте виду, что вы замечаете его причуды, и не выказывайте удивления, когда его память будет изменять ему... вы с горечью увидите, как часто это с ним случается.

Тем временем лорд Сент-Джон говорил на ухо Тому:

— Прошу вас, сэр, соблюдайте свято волю его величества: припоминайте все, что можете, *делайте вид*, что припоминаете все остальное. Не дайте им заметить, что вы изменились. Ведь вы знаете, как нежно любят вас игравшие с вами в детстве принцессы и как это огорчит их. Угодно вам, сэр, чтобы я остался здесь?.. Я и ваш дядя?

Том жестом выразил согласие и невнятно пробормотал какое-то слово. Ему уже пошла впрок наука, и в простоте души он решил возможно добросовестнее исполнять королевский приказ.

Несмотря на все предосторожности, беседа между Томом и принцессами становилась иногда несколько затруднительной. По правде говоря, Том не раз готов был погубить все дело и объявить себя непригодным для такой мучительной роли, но всякий раз его спасал такт принцессы Елизаветы. Оба лорда были настороже и тоже удачно выручали его двумя-тремя словами, сказанными как бы ненароком. Один раз маленькая леди

Джейн привела Тома в отчаяние, обратившись к нему с таким вопросом:»

— Были ли вы сегодня с приветствием у ее величества королевы, милорд?

Том растерялся, медлил ответом и уже готов был брякнуть наобум что попало, но его выручил лорд Сент-Джон, ответив за него с непринужденностью царедворца, привыкшего находить выход из всякого щекотливого положения:

— Как же, миледи! Государыня доставила ему сердечную радость, сообщив, что его величеству лучше. Не правда ли, ваше высочество?

Том пролепетал что-то, что можно было принять за подтверждение, но почувствовал, что ступает на скользкую почву. Несколько позже в разговоре было упомянуто о том, что принцу придется на время оставить учение.

Маленькая принцесса воскликнула:

— Ах, какая жалость! Какая жалость! Ты делал такие успехи. Но ничего, не тужи, это ненадолго. У тебя еще будет время озарить свой разум такой же ученостью, какою обладает твой отец, и овладеть таким же количеством иноземных языков, какое подвластно ему.

— Мой отец? — на мгновенье забывшись, воскликнул Том. — Да он и на своем-то родном говорит так, что понять его могут разве только свиньи в хлеву! А что касается какой ни на есть учености... — Он поднял глаза и, встретив хмурый, предостерегающий взгляд милорда Сент-Джона, запнулся, покраснел, потом продолжал тихо и грустно: — Ах, мой недуг снова одолевает меня, и мысли мои сбиваются с верной дороги. Я не хотел нанести оскорбления его величеству.

— Мы знаем это, государь, — почтительно сказала принцесса Елизавета, ласково взяв руку «брата» и держа ее между своими ладонями. — Не тревожься этим! Виноват не ты, а твой недуг.

— Ты нежная утешительница, милая леди, — с признательностью вымолвил Том, — и, с твоего позволения, я от всей души благодарю тебя.

Один раз вертушка леди Джейн выстрелила в Тома какой-то несложной греческой фразой. Зоркая прин-

цесса Елизавета сразу заметила по невинному недоумению на лице принца, что выстрел не попал в цель, и спокойно ответила вместо Тома целым залпом звонких греческих фраз, затем тотчас же заговорила о другом.

Время протекало приятно, и в общем беседа шла гладко. Подводные рифы и мели встречались реже и реже, и Том уже чувствовал себя более непринужденно, видя, как все стараются помочь ему и не замечать его промахов. Когда выяснилось, что принцессы должны сопровождать его вечером на банкет у лорда-мэра, сердце Тома всколыхнулось от радости, и он вздохнул с облегчением, почувствовав, что не будет одинок в толпе чужих, хотя час тому назад мысль, что принцессы поедут вместе с ним, привела бы его в неописуемый ужас.

Оба лорда, ангелы-хранители Тома, получили от этой беседы меньше удовольствия, чем остальные ее участники. Они чувствовали себя так, будто вели большой корабль через опасный пролив; все время они были настороже, и их обязанности отнюдь не казались им детской игрой. Так что, когда визит юных леди подошел к концу и доложили о лорде Гилфорде Дадли, они почувствовали, что сейчас не следует слишком перегружать их питомца и что, кроме того, не так-то легко пуститься в новое хлопотливое плавание и привести свой корабль обратно, — поэтому они почтиительно посоветовали Тому отклонить посещение. Том и сам был этому рад, зато лицо леди Джейн слегка омрачилось, когда она узнала, что блестящий юноша не будет принят.

Наступило молчание. Все как будто ждали чего-то, Том не понимал, чего именно. Он посмотрел на лорда Гертфорда, тот сделал ему знак, но он не понял и этого знака. Леди Елизавета со своей обычной находчивостью поспешила вывести его из затруднения. Она сделала ему реверанс и спросила:

— Ваше высочество, брат мой, разрешите нам удалиться?

— Поистине, миледи, вы можете просить у меня чего угодно, — сказал Том, — но я охотнее исполнил бы всякую другую вашу просьбу, — поскольку это в

моих скромных силах, — чем лишить себя благодати и света вашего присутствия, но прощайте и да хранит вас господь!

Он усмехнулся про себя и подумал: «Недаром в моих книгах я жил только в обществе принцев и научился подражать их цветистым учтивым речам!»

Когда знатные девы ушли, Том устало повернулся к своим тюремщикам и сказал:

— Не будете ли вы так любезны, милорды, не позволите ли мне отдохнуть где-нибудь здесь в уголке?

— Дело вашего высочества — приказывать, а наше — повиноваться, — ответил лорд Гертфорд. — Отдых вам воистину потребен, ибо вскоре вам предстоит совершить путешествие в Лондон.

Лорд прикоснулся к колокольчику; вбежал паж и получил повеление пригласить сюда сэра Уильяма Герберта. Сэр Уильям не замедлил явиться и повел Тома во внутренние покои дворца. Первым движением Тома было протянуть руку к чаше воды, но бархатно-шелковый паж тотчас же схватил чашу, опустил ее на одно колено и поднес ее принцу на золотом блюде.

Затем утомленный пленник сел и хотел было снять с себя башмаки, робко прося взглядом позволения; но другой бархатно-шелковый назойливый паж поспешил опуститься на колени, чтобы избавить его и от этой работы. Том сделал еще две или три попытки обойтись без посторонней помощи, но ни одна не имела успеха. Он наконец сдался и с покорным вздохом пробормотал:

— Горе мне, горе! Как еще эти люди не возьмутся дышать за меня!

В туфлях, в роскошном халате, он наконец прикорнул на диване, но заснуть не мог: голова его была слишком переполнена мыслями, а комната — людьми. Он не мог отогнать мыслей, и они остались при нем; он не умел выслать вон своих слуг, и потому они тоже остались при нем, к великому огорчению Тома и их самих.

Когда Том удалился, его знатные опекуны остались вдвоем. Некоторое время оба молчали, в раздумье

качая головами и шагая по комнате. Наконец лорд Сент-Джон заговорил:

— Скажи по совести, что ты об этом думаешь?

— По совести, вот что: королю осталось недолго жить, мой племянник лишился рассудка, — сумасшедший взойдет на трон, и сумасшедший останется на троне. Да спасет господь нашу Англию! Ей скоро понадобится помощь господня!

— Действительно, все это похоже на истину. Но... нет ли у тебя подозрения... что... что...

Говорящий запнулся и не решился продолжать: вопрос был слишком щекотлив. Лорд Гертфорд стал перед Сент-Джоном, посмотрел ему в лицо ясным, открытым взглядом и сказал:

— Говори! Кроме меня, никто твоих слов не услышит. Подозрения в чем?

— Мне очень не хотелось бы выражать словами, милорд, то, что у меня на уме, ты так близок ему по крови. Прости, если я оскорблю тебя, но не кажется ли тебе удивительным, что безумие так изменило его? Я не говорю, чтобы его речь или осанка утратили свое царственное величие, но все же они в некоторых ничтожных подробностях *отличаются* от его прежней манеры держать себя. Не странно ли, что безумие изгладило из его памяти даже черты его отца; что он забыл даже обычные знаки почтения, какие подобают ему от всех окружающих; не странно ли, что, сохранив в памяти латинский язык, он забыл греческий и французский? Не обижайся, милорд, но сними у меня тяжесть с души и прими искреннюю мою благодарность! Меня преследуют его слова, что он не принц, и я...

— Замолчи, милорд! То, что ты говоришь, — измена! Или забыл ты приказ короля? Помни, что, слушая тебя, я и то делаюсь соучастником твоего преступления.

Сент-Джон побледнел и поспешил сказать:

— Я ошибся, я признаю это сам. Будь так великодушен и милостив, не выдавай меня! Я никогда больше не буду ни размышлять, ни говорить об этом. Не поступай со мною слишком сурово, иначе я погибший человек.

— Я удовлетворен, милорд. Если ты не станешь повторять свой оскорбительный вымысел ни мне, ни кому другому, твои слова будут считаться как бы не сказанными. Оставь свои пустые подозрения. Он сын моей сестры: разве его голос, его лицо, его внешность не знакомы мне от самой его колыбели? Безумие могло вызвать в нем не только те противоречивые странности, которые подмечены тобою, но и другие, еще более разительные. Разве ты не помнишь, как старый барон Марли, сойдя с ума, забыл свое собственное лицо, которое знал шестьдесят лет, и считал, что оно чужое, — нет, больше того, утверждал, будто он сын Марии Магдалины, будто голова у него из испанского стекла, и — смешно сказать! — не позволял никому прикасаться к ней, чтобы чья-нибудь неловкая рука не разбила ее. Гони прочь свои сомнения, добрый милорд. Это истинный принц, я хорошо его знаю, и скоро он станет твоим королем. Тебе полезно подумать об этом: это важнее всех других обстоятельств.

В течение дальнейшей беседы лорд Сент-Джон многократно отрекался от своих ошибочных слов и утверждал, что теперь-то он доподлинно знает, где правда, и больше никогда, никогда не станет предаваться сомнениям. Лорд Гертфорд простился со своим собратом тюремщиком и остался один стеречь и опекать принца. Скоро он углубился в размышления, и, очевидно, чем дольше думал, тем сильнее терзало его беспокойство. Наконец он вскочил и начал шагать по комнате.

— Вздор! Он *должен* быть принцем! — бормотал он про себя. — Во всей стране не найдется человека, который решился бы утверждать, что два мальчика, рожденные в разных семьях, чужие друг другу по крови, могут быть похожи один на другого, словно два близнеца. Да если бы даже и так! Было бы еще более диковинным чудом, если бы какой-нибудь немыслимый случай дал им возможность поменяться местами. Нет, это безумно, безумно, безумно!

Спустя некоторое время лорд Гертфорд сказал себе:

— Если бы он был самозванец и называл себя принцем — это было бы естественно; в этом, несомненно, был бы смысл. Но существовал ли когда-нибудь

такой самозванец, который, видя, что и король и двор — все величают его принцем, *отрицал* бы свой сан и отказывался от почестей, которые воздаются ему? Нет! Клянусь душою святого Святина, нет! Он истинный принц, потерявший рассудок!

Глава VII

ПЕРВЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД ТОМА

Около часа дня Том покорно перенес пытку переодевания к обеду. Его опять нарядили в такой же роскошный костюм, как и раньше, но сменили на нем решительно все — от воротничков до чулок. Затем с большими церемониями Тома проводили в просторный, богато убранный зал, где был накрыт стол на одного человека. Вся утварь была из литого золота и так великолепно изукрашена, что буквально не имела цены: то была работа Бенвенуто. В комнате толпились высокородные прислужники. Капеллан прочел молитву, и проголодавшийся Том готов был уже наброситься на еду, но его задержал милорд граф Беркли, обвязавший его шею салфеткой, — важная обязанность подвизывания салфетки принцам Уэльским была наследственной в семье этого лорда. Был здесь и виночерпий, предупреждавший всякую попытку Тома налить себе своими руками вина. Тут же находился другой лорд — отведыватель: он состоял при его высочестве принце Уэльском исключительно для того, чтобы пробовать по первому требованию все подозрительные блюда, и, таким образом, рисковал быть отравленным. В то время отведыватель был уже ненужным украшением в королевской столовой, так как ему не часто приходилось исполнять свои обязанности; но были времена за несколько поколений до Генриха VIII, когда должность отведывателя была чрезвычайно опасной и мало кто добивался этого почетного звания. Кажется странным, что эту обязанность не возложили на какого-нибудь пса или алхимика, — но кто постигнет дворцовые обычаи!

Был тут и милорд д'Арси, первый камергер, — зачем и для какой надобности, неизвестно, но он был тут, и этого было достаточно! Был тут и лорд-дворецкий. Он стоял у Тома за спиной и следил, чтобы весь церемониал был соблюдаем до мельчайших подробностей. Церемониалом распоряжались лорд главный лакей и лорд главный повар, которые стояли поблизости. Кроме них, у Тома было еще триста восемьдесят четыре человека прислуги, но, разумеется, не все они находились в столовой, — и четверть всего их количества не прислуживала за этим обедом. Том даже не подозревал, что они существуют.

Все присутствующие были предварительно вышколены, целый час им внушали не забывать, что у принца временное помрачение рассудка, и не удивляться его причудам. Вскоре эти «причуды» обнаружились перед ними вполне, но вызвали не насмешки, а только сострадание и грусть. Слугам горько было видеть, что их возлюбленный принц поражен такой тяжелой болезнью.

Бедный Том брал кушанья прямо руками, но никто не позволил себе улыбнуться или хотя бы подать вид, что заметил его поведение. Он с любопытством и глубоким интересом разглядывал свою салфетку, потому что ткань ее была очень тонка и красива, и наконец простодушно сказал:

— Пожалуйста, унесите ее прочь, чтобы я как-нибудь нечаянно не запачкал ее.

Наследственный подвязыватель салфетки без всяких возражений почтительно убрал ее.

Том с любопытством разглядывал репу и салат, а потом спросил, что это такое и можно ли это есть, потому что и репу и салат лишь незадолго до того перестали вывозить из Голландии как особое лакомство и начали выращивать в Англии¹. На его вопрос ответили серьезно и почтительно, не выказав ни тени удивления. Покончив с десертом, он набил себе карманы орехами; но никто не удивился такому поступку, — все притворились, будто не замечают его.

¹ Смотри примечание 4 в конце книги. (Прим. автора.)

Зато вскоре самому Тому пришлось почувствовать, что он допустил оплошность. Он очень сконфузился, так как за весь обед это было первое, что ему позволили сделать собственными руками, и он не сомневался, что сделал что-то очень неприличное, не подобающее королевскому сану. Дело в том, что мышцы его носа стали подергиваться. Кончик носа сморщился и вздернулся кверху. Это состояние затягивалось, и тревога Тома росла. Он с мольбою глядел то на одного, то на другого из окружавших его лордов, даже слезы выступили у него на глазах. Лорды бросились к нему с огорченными лицами, умоляя сказать, что случилось. Том сказал с неподдельным страданием в голосе:

— Прошу снисхождения, милорды: у меня мучительно чешется нос. Каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь при этих чрезвычайных обстоятельствах? Пожалуйста, поспешите ответом, дольше я не в силах терпеть!

Никто не улыбнулся. Напротив, у всех были скорбные, растерянные лица, все смущенно переглядывались, как бы спрашивая друг у друга совета. Но перед ними была глухая стена, и во всей английской истории ничто не указывало, как через нее перешагнуть. Главного церемониймейстера не было, и никто не дерзал пуститься в плавание по этому неведомому морю, никто не отважился разрешить на свой риск столь важную, серьезную проблему. Увы! Наследственного чесальщика в Англии не существовало. Тем временем слезы вышли из своих берегов и потекли у Тома по щекам. Нос все настойчивее требовал, чтобы его почесали, и наконец природа прорвалась сквозь преграды придворного этикета, и Том, мысленно молясь о прощении, если он поступает неправильно, облегчил удрученные сердца приближенных, собственноручно почесав свой нос.

Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому большой неглубокий сосуд из чистого золота, наполненный ароматной розовой водой для полоскания рта и омовения пальцев. Наследственный подвязыватель салфетки стал поблизости, держа наготове полотенце. Том несколько времени в недоумении рассматривал таз, потом взял его в руки, поднес к губам, с самым

серьезным видом отпил из него глоток и возвратил его лорду-прислужнику:

— Нет, милорд, это мне не по вкусу. Запах приятный, но крепости никакой.

Эта новая сумасбродная выходка принца, еще раз доказывавшая, что рассудок его поврежден, болезненно отозвалась во всех сердцах и никому не показалась забавной.

А Том, сам того не зная, сделал еще одну оплошность: поднялся с места и вышел из-за стола как раз в ту минуту, когда придворный священник стал у него за креслом, поднял руки и возвел глаза к небу, готовясь начать благодарственную молитву. Но и тут никто как будто не заметил, что принц совершает необычный поступок.

Теперь нашего маленького друга по его настойчивой просьбе отвели в кабинет принца Уэльского и предоставили себе самому. В кабинете по дубовым стенным панелям были развешаны на крючках различные части блестящего стального вооружения с чудесной золотой инкрустацией. Все эти доспехи принадлежали принцу и были недавно подарены ему королевой, мадам Парр.

Том надел наголенники, рукавицы, шлем с перьями и все остальное, что можно надеть без посторонней помощи; он хотел было позвать кого-нибудь, чтобы ему помогли завершить туалет, но вспомнил об орехах, принесенных с обеда, и, подумав, как весело будет грызть их не на глазах у толпы, без всяких великих наследственных лордов, которые докучают тебе непрошенными услугами, поспешил развесить все эти прекрасные доспехи по местам. Скоро он уже щелкал орехи и чувствовал себя почти счастливым, впервые после того, как господь бог в наказание за его грехи превратил его в королевского сына. Когда все орехи были съедены, он заметил в шкафчике несколько книг с заманчивыми названиями, в том числе одну об этикете при английском дворе. То была ценная находка! Он улегся на роскошный диван и самым добросовестным образом принялся за изучение этой науки. Оставим его там до поры до времени.

Глава VIII

ВОПРОС О ПЕЧАТИ

Около пяти часов Генрих VIII очнулся от неосвежающей, тяжелой дремоты и пробормотал про себя:

— Тревожные сны, тревожные сны! Уже недалек мой конец, и сны предвещают его. Слабеющее дыхание подтверждает предзнаменования снов.

Вдруг злобное пламя сверкнуло в глазах короля, и он проговорил еле слышно:

— Но *тот* умрет раньше меня!

Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил, угодно ли будет его величеству принять лорда-канцлера, который дожидается в соседней комнате.

— Пусть войдет! Пусть войдет! — нетерпеливо крикнул король.

Лорд-канцлер вошел и, склонив колено перед королевским ложем, сказал:

— По указу вашего величества пары королевства в парадных одеждах находятся в зале суда и, приговорив к смерти герцога Норфолькского, почтительно ожидают ваших повелений.

Лицо короля озарилось свирепой радостью.

— Поднимите меня! — приказал он. — Я сам предстану пред моим парламентом и собственною моею рукою приложу печать к приговору, избавляющему меня от...

Голос его оборвался, краска на щеках сменилась пепельной бледностью. Придворные опустили его на подушки и поспешили привести в чувство аптечными снадобьями. Немного погодя король грустно сказал:

— Увы, как жаждал я этого сладкого часа, и вот он приходит слишком поздно, и мне не дано насладиться столь желанным событием. Иди же, иди скорее, — пусть другие исполнят этот радостный долг, который я бессилён исполнить. Я доверяю мою большую печать особой государственной комиссии; выбери сам тех лордов, из которых будет состоять эта комиссия, и тотчас же принимайтесь за дело. Торопись,

говорю тебе! Прежде чем солнце взойдет и опустится снова, принеси мне голову Норфолька, чтобы я мог взглянуть на нее.

— Воля короля будет исполнена. Не угодно ли вашему величеству отдать приказание, чтобы мне вручили теперь же большую печать, дабы я мог совершить это дело.

— Печать? Но ведь печать хранится у тебя!

— Простите, ваше величество! Два дня назад вы сами взяли ее у меня и при этом сказали, что никто не должен касаться ее, пока вы своей королевской рукой не скрепите смертного приговора герцогу Норфолькскому.

— Да, помню... я действительно взял ее... помню... Но куда я девал ее?.. Я так ослабел... В последние дни память изменяет мне все чаще и чаще. Все это так странно, так странно...

И король залепетал что-то невнятное, тихо покачивая седой головой и безуспешно стараясь сообразить, что же он сделал с печатью.

Наконец лорд Гертфорд осмелился преклонить колено и напомнить ему:

— Дерзаю доложить вашему величеству: здесь многие, в том числе и я, помнят, что вы вручили большую государственную печать его высочеству принцу Уэльскому, чтобы он хранил ее у себя до того дня, когда...

— Правда, истинная правда! — воскликнул король. — Принеси же ее! Да скорее: время летит!

Лорд Гертфорд со всех ног побежал к Тому, но вскоре вернулся смущенный, с пустыми руками, и сказал:

— С прискорбием я должен сообщить моему повелителю королю тягостную и безотрадную весть: по воле божией болезнь принца еще не прошла, и он не может припомнить, была ли отдана ему большая печать. Я посмел доложить об этом вашему величеству, полагая, что вряд ли стоит разыскивать ее по длинной анфиладе обширных покоев, принадлежащих его высочеству. Это было бы потерей драгоценного времени и...

Стон короля прервал его речь. С глубокой грустью в голосе король произнес:

— Не беспокойте его! Бедный ребенок. Десница господня тяжко легла на него, и мое сердце разрывается от любви и сострадания к нему и скорбит, что я не могу взять его бремя на свои старые, удрученные заботами плечи, дабы он был спокоен и счастлив.

Король закрыл глаза, пробормотал что-то и смолк. Через некоторое время глаза его снова открылись. Он повел вокруг себя бессмысленным взглядом, и наконец взор его остановился на коленопреклоненном лорде-канцлере. Мгновенно лицо его вспыхнуло гневом.

— Как, ты еще здесь? Клянусь господом богом, если ты сегодня же не покончишь с изменником, завтра твоя шляпа останется праздною, так как ее не на что будет надеть.

Канцлер, дрожа всем телом, воскликнул:

— Смилуйтесь, ваше величество, мой добрый король! Я жду королевской печати.

— Ты, кажется, рехнулся, любезнейший! Малая печать, та, которую прежде возил я с собою в чужие края, лежит у меня в сокровищнице. И если исчезла большая, разве тебе недостаточно малой? Ступай! И — слышишь? — не смей возвращаться без его головы.

Бедный канцлер с величайшей поспешностью убежал от опасного королевского гнева; а комиссия не замедлила утвердить приговор, вынесенный раболепным парламентом, и назначить на следующее утро казнь первого пэра Англии, злополучного герцога Норфолькского¹.

Глава IX

ПРАЗДНИК НА РЕКЕ

В девять часов вечера весь широкий фасад дворца, выходящий на реку, засверкал веселыми огнями. В сторону города река, насколько хватало взгляда, была сплошь покрыта рыбацкими барками и увеселительными судами; вся эта флотилия, увешанная раз-

¹ Смотри примечание 5 в конце книги. (Прим. автора.)

ноцветными фонариками, тихо колыхалась на волнах и была похожа на бесконечный сияющий сад, цветы которого тихо колеблются от дуновения летнего ветра. Великолепная терраса с каменными ступенями, ведущими к воде, была так широка, что на ней могла бы поместиться вся армия какого-нибудь немецкого княжества. На террасе выстроились ряды королевских алебардчиков в блестящих доспехах, и множество слуг сновало вверх и вниз, взад и вперед, торопливо заканчивая последние приготовления.

Но вот раздался чей-то приказ, и в тот же миг на террасе не осталось ни одного живого существа. Самый воздух, казалось, замер от напряженного ожидания. Вся река была полна мириадами людей, которые, стоя в лодках и заслоняя руками глаза от яркого света фонарей и факелов, устремляли взоры по направлению к дворцу.

К ступеням террасы подплывали одно за другим золоченые придворные суда. Их было сорок или пятьдесят. У каждого высокий нос и высокая корма были покрыты искусной резьбой. Одни суда были изукрашены знаменами и узкими флажками, другие — золотой парчой и разноцветными тканями с вышитым на них фамильным гербом, а иные — шелковыми флагами. К этим шелковым флагам было привешено несметное множество серебряных бубенчиков, из которых при малейшем дуновении ветра так и сыпались во все стороны веселые брызги музыки. Суда, принадлежавшие лордам свиты принца Уэльского, были убраны еще более вычурно: их борта были обвешаны расписными щитами с изображениями различных гербов. Каждую королевскую барку тянуло на буксире маленькое судно. Кроме гребцов, на каждом из этих судов сидели воины в сверкающих шлемах и латах, а также музыканты.

В главных воротах уже появился авангард ожидаемой процессии — отряд алебардчиков. «Алебардщики были одеты в черные штаны с бурыми полосками, бархатные шапочки, украшенные сбоку серебряными розами, и камзолы из темно-красного и голубого сукна с вышитыми золотом тремя перьями — гербом принца — на спине и на груди; древки их алебард были обтя-

нуты алым бархатом с золочеными гвоздиками и золотыми кистями. Алебардщики выстроились в две длинные шеренги, тянувшиеся по обеим сторонам лестницы от дворцовых ворот до самой воды. Между этими двумя шеренгами лакеи принца в золотистых ливреях растянули плотную полосатую ткань, или ковер. Как только это было исполнено, во дворце раздались звуки труб, музыканты, находившиеся в лодках, грянули веселую прелюдию, и два церемониймейстера с белыми булавами вышли медленной и величавой поступью из ворот. За ними следовал офицер с гражданским жезлом; за этим офицером — другой, несущий меч города; затем несколько сержантов городской стражи в полной парадной форме и с нашивками на рукавах; затем герольдмейстер ордена Подвязки в мантии, надетой сверх лат; вслед за ним несколько рыцарей ордена Бани, все с белым кружевом на рукавах; за ними их оруженосцы; потом судьи в алых мантиях и шапочках; затем лорд-канцлер Англии в открытой спереди пурпуровой мантии, отороченной мехом горноста; затем депутация от городских гильдий в ярко-пунцовых плащах и наконец главы различных гражданских обществ в полном параде. Далее появились и сошли вниз по ступенькам двенадцать французских вельмож в роскошных нарядах, состоявших из шелковых стеганых белых камзолов с золотыми полосками, коротких плащей красного бархата на подкладке из лиловой тафты и *hauts-de-chausses*¹ багрового цвета. Они составляли свиту французского посла. За ними шли двенадцать кавалеров из свиты испанского посла, одетые в черный бархат, без всяких украшений. За ними следовало несколько знатнейших английских вельмож, каждый со своей свитой».

Во дворце загремели трубы, и в воротах появился дядя принца, будущий великий герцог Соммерсетский, в «камзоле из черной с золотом парчи и в малиновом атласном плаще, затканном серебряной сеткой и золотыми цветами». Он повернулся, приподнял шапочку с перьями, изогнул стан в низком, почтительном поклоне

¹ Широкие штаны до колен. (*франц.*)

и начал спускаться спиною к толпе, кланяясь на каждой ступеньке.

Вслед за тем раздались продолжительные звуки фанфар и возгласы: «Дорогу его высочеству, могущественному лорду Эдуарду, принцу Уэльскому!» Высоко над дворцовыми стенами взвился длинный ряд красных огненных языков; послышался грохот, будто гром прокатился; вся огромная толпа народа на реке заревела, приветствуя принца, и Том Кенти, виновник и герой всего этого торжества, появился на террасе, слегка кивая царственной головой.

На нем был «великолепный белый атласный камзол с нагрудником из алой парчи, усеянный алмазной пылью и опушенный горностаем. Поверх камзола накинут был белый с золотом парчовый плащ с изображением герба из трех перьев, подбитый голубым атласом, испещренный жемчугами и другими драгоценными камнями и застегнутый брильянтовой пряжкой. На шее у него висели орден Подвязки и многие иноземные ордена», — всякий раз, когда на него падал свет, драгоценные камни сияли ослепительным блеском. О! Том Кенти, рожденный в лагуче, возвращенный в лондонских зловонных канавах, близко знакомый с лохмотьями, нищетою и грязью, — какое зрелище представлял он собою!

Глава X

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

Мы оставили Джона Кенти в ту минуту, когда он тащил подлинного, законного принца во Двор Отбросов, а крикливая чернь, радуясь новой потехе, преследовала его по пятам. Нашелся только один человек, который вступился за пленника, но этого человека никто не стал слушать, да вряд ли кто и расслышал его — такой был оглушительный шум. Принц продолжал отбиваться, возмущаясь жестокостью своего угнетателя. Джон Кенти наконец потерял и ту малую долю терпения, которая еще осталась в нем, и яростно

замахнулся на принца дубиной. Единственный защитник мальчика подбежал, чтобы предотвратить избиение, и удар пришелся ему по руке.

— Что ты суешься? — заревел Джон Кенти. — Вот же тебе, получай!

Непрощенный защитник получил удар дубиной по черепу — раздался стон, темное тело свалилось на землю, под ноги набежавшей толпы. Через минуту убитый остался лежать один в темноте, а толпа уже мчалась дальше, — этот случай не омрачил ее веселья.

Вскоре принц очутился в жилище Джона Кенти. Наружная дверь была заперта от всех посторонних. При тусклом свете сальной свечи, вставленной в бутылку, принц едва мог рассмотреть очертания гнусной трущобы и ее обитателей. В углу, у стены, с видом животных, привыкших к жестокому обращению, сидели, скорчившись на полу, две девочки-замарашки и женщина средних лет; они в страхе ожидали побоев. Из другого угла выползла тощая старая ведьма, седая, растрепанная, со злыми глазами.

— Отойди, не мешай! — обратился к ней Джон Кенти. — Тут у нас идет такая комедия, что любо. Ты останься в сторонке, пока не позабавишься всласть, а потом уж бей его сколько хочешь. Поди сюда, милый! Ну-ка, повтори свои дурацкие речи, если еще не забыл их. Как тебя зовут? Ты кто такой?

От обиды кровь снова прихлынула к щекам юного принца, и он посмотрел Джону прямо в лицо пристальным негодующим взглядом.

— Ты наглец! — сказал он. — Ты не смеешь требовать, чтобы я говорил. Повторяю тебе еще раз: я Эдуард, принц Уэльский, и никто другой.

Старая ведьма была так ошеломлена этим ответом, что ноги ее не сдвинулись с места, словно были прибиты к полу гвоздями; у нее даже дух захватило. С глупым недоумением уставилась старуха на принца, и это показалось ее свирепому сыну таким забавным, что он разразился хохотом.

Но на мать и сестер Тома Кенти слова принца произвели совсем другое впечатление: за минуту перед тем они боялись, что отец искалечит несчастного,

теперь же эта тревога сменилась другою. С выражением горя и ужаса они подбежали к принцу и заголосили:

— О бедный Том, бедный мальчик!

Мать упала на колени перед принцем, положила руки ему на плечи и сквозь выступившие слезы взволнованно глядела ему в глаза.

— Бедный ты мой мальчик! — сказала она. — Твои глупые книжки сделали наконец свое недоброе дело и отняли у тебя рассудок. И за что они тебе так полюбились? Сколько раз я предупреждала тебя! Разбил ты мое материнское сердце!

Принц посмотрел ей в лицо и учтиво сказал:

— Твой сын здоров и не теряет рассудка, добрая женщина! Успокойся! Отпусти меня во дворец, где он обретается ныне, и король, мой отец, возвратит тебе его без промедления.

— Король — твой отец! О дитя мое! Умоляю тебя, не повторяй этих слов, грозящих тебе смертью и всем твоим близким — погибелью! Страхни с себя этот отвратительный сон! Память твоя заблудилась, верни ее на истинный путь! Посмотри на меня — разве я не твоя мать, которая родила тебя и любит тебя?

Принц покачал головой и неохотно ответил:

— Бог свидетель, как тяжело мне огорчать твое сердце, но, право же, я никогда не видал твоего лица.

Женщина опять села на пол и разразилась душевраздирающими рыданиями и воплями.

— Ну что ж! Продолжайте комедию! — заревел Кенти. — Эй вы, Нэн и Бэт! Этакие невежи! Что же вы стоите в присутствии принца? На колени, вы, нищенское отродье, да кланяйтесь ему хорошенько! — И он опять залился грубым хохотом.

Девочки робко вступились за брата.

— Пошли его спать, отец! — сказала Нэн. — Пусть он выспится, отдохнет, и рассудок вернется к нему. Вели ему ложиться поскорее.

— Да, да, отпусти его спать, — сказала Бэт. — Разве ты не видишь, какой он сегодня усталый. Если ты дашь ему отдых, он завтра будет усерднее просить подаяния и воротится домой не с пустыми руками.

Эти слова отрезвили отца, и веселость его мгновенно исчезла. Мысли его направились на деловые заботы. Он сердито повернулся к принцу и сказал:

— Завтра мы должны заплатить два пенса хозяину этой дыры. Два пенса за полгода... немалая плата... Иначе нас выгонят вон. Покажи, что ты собрал сегодня! Тебе, лодырю, и просить неохота.

Принц сказал:

— Не оскорбляй меня своими пошлыми дразгами! Повторяю тебе: я — сын короля.

Раздался звонкий удар — тяжелая рука Джона Кенти опустилась с размаху на плечо принца, и тот упал бы, если бы его не подхватила мать Тома; прижимая его к своей груди, она собственным телом защищала его от хлещущего града пинков и ударов. Перепуганные девочки забились в угол, но на помощь сыну поспешила пылавшая злобой бабка. Принц вырвался из рук миссис Кенти и крикнул:

— Вы не должны страдать из-за меня, сударыня! Пусть эти свиньи тешатся надо мною одним.

Услыхав это, «свиньи» до того рассвирепели, что, не теряя времени, набросились на принца и жестоко исколотили его, да кстаті прибили и девочек с матерью за сочувствие к жертве.

— А теперь, — сказал Кенти, — все спать! Мне уже прискучила эта комедия!

Погасили огонь, и семья улеглась. Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязные слова жалости и утешения. Она сберегла для него немного еды, но от боли мальчик потерял аппетит — по крайней мере черные невкусные корки нисколько не привлекали его. Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством и, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал ей пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок «безумия» сокрушил сердце бедной матери; она снова и

снова прижимала его к груди и наконец ушла на свою постель вся в слезах.

И вот, в то время как она лежала и плакала, раздумывая обо всем происшедшем, в голову ее закралась мысль, что в этом мальчике есть что-то такое неуловимое, почти незаметное, чего не было в Томе Кенти, будь он безумный или в здравом уме. Она не могла бы сказать, что именно вызывало ее сомнения, но сильный материнский инстинкт подсказывал ей, что чем-то этот мальчик чужой. А вдруг он ей и вправду не сын? О, нелепость! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свои тревоги и горести. И однако она вскоре убедилась, что навязчивая мысль не покидает ее. Эта мысль преследовала ее, смущала ее, изнуряла; женщина не в силах была отогнать эту мысль от себя. Наконец она поняла, что ей не будет покоя, пока она не подвергнет мальчика испытанию и не узнает наверное — ее ли он сын, или нет, иначе ей не избавиться от докучных и невыносимых сомнений. Да, конечно, то был лучший способ покончить со всеми тревогами, и она стала тут же придумывать, к какому ей прибегнуть испытанию; но как она ни раскидывала умом, ни одно придуманное ею испытание не казалось ей абсолютно верным, абсолютно надежным, а ненадежные были для нее непригодны. Очевидно, она напрасно ломает себе голову, надо отказаться от этой затеи. Но в ту минуту, как она пришла к такому грустному заключению, ее слуха коснулось ровное дыхание мальчика: было ясно, что он уснул. Она стала прислушиваться к этому мерному дыханию. Вдруг спящий тихонько вскрикнул, как вскрикивают во время тревожного сна. Эта случайность мгновенно подсказала ей план, стоивший всех остальных. С лихорадочной поспешностью, но бесшумно она стала вновь зажигать свечу, бормоча про себя: «Если бы я увидела его в *ту минуту*, я бы сразу узнала всю правду. С самых младенческих лет — с того дня, как у него перед глазами взорвался порох, — у него появилась привычка прикрывать глаза не ладонью внутрь а ладонью наружу, не так, как прикрыли бы другие. Стоит только испугать его во время сна или глубокой задумчивости,

и он повторит это движение. Я видела сотни раз; он всегда поступает так, всегда одинаково. Теперь я узнаю, узнаю!»

Со свечою в руке, заслонив огонек, она тихо подкралась к спящему, осторожно наклонилась над ним, чуть дыша от волнения, и вдруг придвинула свечу к самым его глазам, отняла руку, закрывавшую пламя, и в ту же минуту у самого его уха стукнула об пол костяшками пальцев. Спящий широко раскрыл глаза, повел вокруг себя удивленным взглядом, но не сделал никаких особенных жестов.

Бедная женщина чуть не лишилась чувств от изумления и горя, но постаралась скрыть свою тревогу и успокоила мальчика, так что он снова уснул; тогда она ушла от него, грустно размышляя о страшных результатах своего испытания. Она хотела убедить себя, что ее Том позабыл свои привычные жесты под влиянием безумия, но это ей никак не удавалось.

«Нет, — думала она, — ведь руки-то у него не безумные! Не могли же они отвыкнуть от такой старой привычки в такое короткое время. О, как тяжел для меня этот день!»

Но теперь упрямые сомнения сменились у нее в сердце такой же упрямой надеждой; она не могла заставить себя примириться с той истиной, которую так достоверно узнала. «Надо попробовать вновь, эта неудача — случайность». И она второй и третий раз через некоторые промежутки времени неожиданно будила мальчугана, но, как и в первый раз, он спросонок не сделал никакого движения рукой. Она едва добрела до постели и погрузилась в сон, совсем разбитая.

«Но я не могу отречься от него! Нет, не могу, не могу! Я *не хочу* допустить, чтобы это был не мой сын».

Теперь, когда бедная мать уже не тревожила принца, его огорчения мало-помалу утратили власть над ним, страшная усталость взяла верх, и веки его сомкнулись в глубоком, спокойном сне. Часы проходили, а он все спал как убитый. Так прошло часа четыре или пять. Потом оцепенение ослабело, он пошевелился и пробормотал сквозь сон:

— Сэр Уильям!

И через минуту опять:

— Сэр Уильям!

И снова:

— Сэр Уильям Герберт, поди-ка сюда, послушай, какой странный сон мне привиделся... Такого сна я еще никогда не видел! Сэр Уильям, ты слышишь? Мне приснилось, что меня подменили, что я стал нищим и... Эй, сюда! Стража! Сэр Уильям! Как, здесь даже нет дежурного лакея? Ну, погодите же! Я вам задам!..

— Что с тобой? — прошептал чей-то голос. — Кого ты зовешь?

— Сэра Уильяма Герберта. А ты кто такая?

— Я? Кто же, как не сестра твоя Нэн? О! Том, я и забыла! Ты все еще сумасшедший! Бедняга! Лучше бы мне не просыпаться, чем видеть тебя сумасшедшим. Но прошу тебя, придержи свой язык, не то нас всех изобьют до смерти!

Изумленный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад, на грязную солому.

— Увы! Значит, это не было сном! — воскликнул он.

Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему; он вспомнил, что он уже не любимейший королевский сын, на которого с обожанием смотрит народ, но нищий, отверженный, оборванный пленник, в жалкой норе, пригодной только для диких зверей, в обществе воров и попрошаек.

Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости, у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил:

— Кто там стучит? Чего надо?

Чей-то голос ответил:

— Знаешь ли ты, кого уложил ты дубиной?

— Не знаю и знать не хочу.

— Скоро запоешь другую песню. Если хочешь спасти свою шею, беги! Человек этот уже умирает. Это наш поп, отец Эндрью.

— Господи помилуй! — крикнул Кенти. Он разбудил всю семью и хрипло скомандовал:

— Вставайте живей и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!

Пять минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собой по темному переулку, шепотом внушая ему:

— Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя. Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами!

И, обращаясь к остальным, он прорывал:

— Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту и, как дойдет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк.

В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы, на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала; набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен, и Саутворкский тоже. Вся Темза сверкала разноцветными огнями; поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали; казалось, весь Лондон высыпал на улицу.

Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кипящим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Говоря о семье, мы не имеем в виду принца, — Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление. Стараясь протиснуться сквозь толпу, Кенти сильно толкнул какого-то дюжего лодочника, разгоряченного спиртными напитками, и тот своей огромной ручищей схватил его за плечо и сказал:

— Куда ты так торопишься, друг? Зачем грязнишь свою душу какими-то пустыми делишками, когда у всех добрых людей и верноподданных его величества праздник?

— Не суйся в чужие дела, — грубо отрезал Кенти. — Убери лапу и дай мне пройти.

— Нет, брат, коли так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэльского. Это уж я тебе говорю: не пропустим! — сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу.

— Так давайте чашу, да поскорей, поскорей!

Тем временем этой сценой заинтересовались другие гуляки.

— Чашу любви! Чашу любви! — закричали они. — Заставьте этого грубияна выпить чашу любви, не то мы бросим его на съедение рыбам.

Принесли огромную чашу любви. Лодочник взял ее за одну ручку и, поднимая другою рукою конец воображаемой салфетки, поднес ее, как исстари повелось, Джону Кенти, который, соблюдая древний обычай, взялся одной рукой за другую ручку, а другой рукой должен был снять крышку¹. Таким образом, ему, конечно, пришлось на секунду выпустить руку принца. Тот, не теряя времени, нырнул в лес человеческих ног, окружавший его, и был таков... Через минуту найти его в этом живом волнующемся море было так же трудно, как найти шестипенсовую монетку, брошенную в Атлантический океан.

Едва только принц понял это, он поспешил заняться своими собственными делами, не думая больше о Джоне Кенти. И другое стало ясно ему: а именно, что город чествует вместо него — самозванного принца Уэльского.

Из этого он заключил, что маленький нищий, Том Кенти, умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть.

Значит, принцу остается одно: разыскать дорогу в ратушу, явиться туда и обличить самозванца. Принц

¹ Смотри примечание 6 в конце книги. (Прим. автора.)

тут же решил, что Тому нужно дать несколько дней на покаяние перед господом богом, а потом повесить, вздернуть на дыбу и четвертовать его, по тогдашнему закону и обычаю, как виновного в государственной измене.

Глава XI

В РАТУШЕ

Королевский баркас в сопровождении блестящей флотилии величественно шел вниз по Темзе среди множества ярко освещенных судов. Воздух был насыщен музыкой, на берегах реки бушевало пламя праздничных факелов, город, лежавший вдали, был окутан мягким лучистым заревом от бесчисленных невидимых костров; над ним высились тонкие шпили, усеянные искрами огней; издали эти шпили напоминали длинные пики, разукрашенные драгоценными камнями. На всем пути флотилию приветствовали с берегов неустанные хриплые крики и несмолкаемые пушечные выстрелы.

Для Тома Кенти, утопавшего в шелковых подушках, эти звуки и это зрелище были чудом несказанно великолепным, поразительным. Но на его юных приятельниц, сидевших с ним рядом, на принцессу Елизавету и леди Джейн Грэй, они не производили никакого впечатления.

У Даугэйта флотилия свернула в Баклерсбери по прозрачным водам Уолбрука (русло которого вот уже два столетия засыпано и погребено под целыми милями сплошных зданий), мимо ярко освещенных домов и мостов, усеянных толпами веселых зевак, и наконец остановилась в бассейне, где ныне находится Бардж Ярл, в самом центре древнего города Лондона. Том в сопровождении блестящей свиты сошел на берег, пересек Чипсайд и после короткого перехода по Старой Джури и по улице Бэзингхолл добрался до ратуши.

Том и его спутницы были встречены с подобающей церемонией лордом-мэром и отцами города в нарядных

пурпуровых мантиях и с золотыми цепями на шее; их повели через большой зал к королевскому столу, помещавшемуся под роскошным балдахином; впереди шли герольды, возвещая о их прибытии, а также сановники с городским жезлом и мечом. Лорды и леди, назначенные для того, чтобы прислуживать Тому и двум принцессам, стали у них за креслами.

За другим столом, пониже, сидели вельможи и прочие именитые гости вместе с отцами города; члены палаты общин расположились за отдельными столиками, расставленными во множестве в средней части зала. Гигантские статуи Гога и Магога — старинных стражей города — равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это обычное для них зрелище: много забытых поколений сменилось у них на глазах. Затрубили трубы, герольды возвестили о начале обеда, и на высоком помосте у левой стены появился толстый дворецкий в сопровождении слуг, несших с величавой торжественностью половину быка — настоящий королевский ростбиф, горячий, дымящийся, ждущий ножа.

После молитвы Том (его научили заранее) встал (а за ним все остальные) и отпил из огромной золотой чаши любви, потом передал ее принцессе Елизавете, та в свою очередь — леди Джейн; а затем чаша обошла весь зал. Так начался банкет.

К полуночи, когда пир был в полном разгаре, толпу угостили одним из тех живописных зрелищ, которыми так восхищались наши предки. Описание его до сих пор сохранилось в причудливом рассказе очевидца-историка:

«Очистили место, и затем вошли граф и барон, одетые, по турецкому обычаю, в длинные халаты из расшитой шелками парчи, усеянной золотыми блестками; на головах у них были чалмы из малинового бархата, перевитые толстыми золотыми шнурами; у каждого за поясом висело на широкой золотой перевязи по две сабли, именуемые ятаганами. За ними следовали другой граф и другой барон в длинных кафтанах желтого атласа с поперечными белыми полосками, в каждой

белой полоске была алая, тоже атласная; согласно русскому обычаю, они были в серых меховых шапках и сапогах с загогулинами, то есть с длинными, загнутыми кверху носками (около фута в длину); у каждого в руке был топор. Далее следовал некий рыцарь, за ним лорд-адмирал и пятеро дворян в малиновых бархатных камзолах, низко вырезанных сзади, а спереди — до самых ключиц, причем серебряные цепочки сплетались у них на груди; поверх камзолов на них были короткие плащи из малинового атласа, на голове же шапочки с фазаньими перьями — вроде тех, какие носят танцоры, — эти были наряжены по прусскому обычаю. Затем вошли факельщики, числом до сотни, одетые, как мавры, в красный и зеленый атлас; а лица у них были черные. Потом явились ряженные — в машкерах. Потом выступили менестрели и стали плясать, а за ними и лорды и леди тоже закружились в такой бешеной пляске, что было любо смотреть!»

Пока Том со своего возвышения любовался этой «бешеной» пляской, замирая от восторга перед пестрым калейдоскопом красок, каким представлялось ему неистовое кружение разноцветных фигур, вертящихся там, внизу, — оборванный, но настоящий принц Уэльский у ворот ратуши громко заявлял свои права, жаловался на свои обиды и, требуя, чтобы его впустили, обличал самозванца. Это забавляло толпу чрезвычайно; все теснились вперед, вытягивая шеи, чтобы взглянуть на маленького бунтаря, потом стали трунить и глумиться над ним ради потехи, чтобы еще больше раззадорить его. Оскорбленный до слез, он все же стоял на своем, с королевской надменностью бросая вызов толпе. Насмешки не прекращались, новые издевательства язвили его, и он наконец закричал:

— Вы, свора невоспитанных псов! Говорят вам, я — принц Уэльский! И хоть я одинок и покинут друзьями и нет никого, кто сказал бы мне доброе слово или захотел помочь мне в беде, — все же я не уступлю своих прав и буду отстаивать их!

— Принц ты или не принц — все равно: ты храбрый малый, и отныне не смей говорить, что у тебя нет

ни единого друга! Вот я стану рядом с тобою и докажу тебе, что ты ошибаешься. И клянусь тебе, Майлс Гендон не худший из тех, кого ты мог бы найти себе в качестве друга, не слишком утомив себя поисками. Дай отдохнуть своему языку, дитя мое, а я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наречии.

Говоривший был высок, хорошо сложен, мускулист. По одежде, по всем своим ухваткам и даже по внешности он смахивал на дона Цезаря де Базана. Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток, а золотые галуны плачевно потускнели; брыжи на воротнике были измяты и продраны, широкие поля шляпы опущены книзу; перо на шляпе было сломано, забрызгано грязью и вообще имело изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения; на боку у незнакомца болталась длинная шпага в заржавленных железных ножнах. Задорная осанка сразу выдавала в нем лихого забияку. Речь этого диковинного воина была встречена взрывом насмешек и хохота, посыпались крики: «Вот еще один ряженный принц!» — «Берегись, приятель, своего языка, не то наживешь с ним беды!» — «У, какие у него злые глаза!» — «Оттащи от него мальчишку, волокита щенка в пруд!»

Мгновенно осуществляя эту счастливую мысль, кто-то схватил принца за шиворот, но незнакомец так же мгновенно обнажил шпагу и свалил дерзкого наземь звонким ударом плашмя. Тотчас же десять голосов закричало: «Убить этого пса! Бей его! Бей!» И толпа набросилась на воина; а тот прислонился к стене и, как безумный, размахивал длинной шпагой, раскидывая вокруг себя наступавших. Жертвы падали справа и слева, но толпа, топча их ногами, накидывалась на героя с неослабевающей яростью. Минуты его были, казалось, уже сочтены и гибель неизбежна, как вдруг затрубила труба, и чей-то голос загредел:

— Дорогу королевскому гонцу!

Прямо на толпу скакал конный отряд. Все бросились кто куда, врассыпную, а храбрый незнакомец подхватил принца на руки и скоро был далеко от толпы и вне опасности.

Но вернемся в ратушу. Заглушая шумное ликование пирующих, внезапно в зал ворвался чистый и четкий звук рога. Мгновенно наступила тишина, и в глухом безмолвии раздался один голос — голос вестника, присланного из дворца. Все как один человек встали и обратились в слух.

Речь гонца завершилась торжественным возгласом: — Король умер!

Словно по команде, все склонили головы на грудь и несколько мгновений оставались в полном молчании, потом бросились на колени перед Томом, простирая к нему руки с оглушительными криками, от которых, казалось, задрожало все здание:

— Да здравствует король!

Взоры бедного Тома, ослепленного этим поразительным зрелищем, растерянно блуждали по сторонам и остановились на принцессах, опустившихся перед ним на колени, потом на лорде Гертфорде. На лице его выразилась решимость. Он нагнулся к лорду Гертфорду и шепнул ему на ухо:

— Скажи мне правду, по чести, по совести! Если бы я сейчас отдал приказ, какого никто не имеет права отдать, кроме короля, был бы этот приказ исполнен? Никто не встал бы и не крикнул бы «нет»?

— Никто, государь, ни один человек в целом королевстве. В лице твоём повелевает владыка Англии. Ты — король, твоя воля — закон.

Тогда Том проговорил твердым голосом, горячо, с большим одушевлением:

— Так пусть же отныне воля короля будет законом милости, а не законом крови. Встань с колен и скорее в Тауэр! Объяви королевскую волю: герцог Норфолькский останется жив!¹

Слова эти мгновенно были подхвачены и, передаваясь из уст в уста, облетели всю залу. И не успел Гертфорд выйти, как стены ратуши снова потряс оглушительный крик:

— Кончилось царство крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!

¹ Смотри примечание 7 в конце книги. (Прим. автора.)

ПРИНЦ И ЕГО ИЗБАВИТЕЛЬ

Выбравшись из толпы, Майлс Гендон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи дошли до Лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца — нет, короля, — потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли зараз: «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного, бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добр и ласков к нему. Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь, словно раскаты грома:

— Да здравствует король Эдуард Шестой!

При этих криках глаза принца засверкали, он весь с головы до пят затрепетал от гордости.

«Ах, — думал он, — как это замечательно и как странно: *я — король!*»

Наши друзья с трудом пролагали себе путь сквозь густую толпу, заполнявшую мост. Этот мост был любопытным явлением: он существовал уже шестьсот лет и все это время служил чем-то вроде очень людной и шумной проезжей дороги, по обе стороны которой, от одного берега до другого, тянулись ряды складов и лавок с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост сам по себе был чем-то вроде отдельного города; здесь была своя харчевня, были свои пивные, пекарни, мелочные лавки, свои съестные рынки, свои ремесленные мастерские и даже своя церковь. На двух соседей, которых он связывал воедино, на Лондон и Саутворк, мост смотрел как на пригороды и только в этом видел

их значение. Обитатели Лондонского моста составляли, так сказать, корпорацию; город у них был узенький, всего в одну улицу длиною в пятую часть мили. Здесь, как в деревне, каждый знал подноготную каждого, знал всех предков своего соседа и все их семейные тайны. На мосту, само собою, была и своя аристократия — почтенные старинные роды мясников, пекарей и других, по пятьсот — шестьсот лет торговавшие в одних и тех же лавчонках, знавшие от доски до доски всю славную историю моста со всеми его диковинными преданиями, — эти уж всегда и говорили особым, «мостовым» языком, и думали «мостовыми» мыслями, и лгали весьма пространно, выразительно и основательно, как умели лгать лишь на мосту. Население моста было невежественно, узколобо, спесиво. Иным оно и быть не могло: дети рождались на мосту, вырастали на мосту, доживали там до старости и умирали, ни разу не побывав в другой части света, кроме Лондонского моста. Эти люди, естественно, воображали, что нескончаемое шествие, двигавшееся через мост день и ночь, смешанный гул криков и возгласов, ржание коней, мычание коров, блеяние овец и вечный топот ног, напоминавший отдаленные раскаты грома, — было единственной ценностью во всем мире. Им даже казалось, что они как бы ее хозяева, владельцы. Так оно и было — по крайней мере в те дни, когда король или какой-нибудь герой устраивал торжественную процессию в честь своего благополучного возвращения на родину: жители моста всегда могли за известную плату показывать из своих окон зевакам это пышное зрелище, потому что в Лондоне не было другого места, где шествие могло бы развернуться такой длинной, прямой, непрерывной колонной.

Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили жизнь во всех иных местах нестерпимо скучной и пресной. Рассказывают, будто некий старик семидесяти одного года покинул мост и уехал в деревню на покой, но там он целые ночи ворочался в постели и был не в состоянии уснуть — так угнетала, давила и страшила его невыносимая тишь. Измучившись вконец, он вернулся на старое место, худой и страшный, как

привидение, и мирно уснул и сладко грезил под колыбельную песню бурливой реки, под топот, грохот, гром Лондонского моста.

В те времена, о которых мы пишем, мост давал своим детям «предметные уроки» по истории Англии: он показывал им посиневшие, разлагавшиеся головы знаменитых людей, надетые на железные палки, которые торчали над воротами моста... Но мы отклонились от темы.

Гендон занимал комнату в небольшой харчевне на мосту. Не успел он со своим юным приятелем добраться до двери, как чей-то грубый голос закричал:

— А, пришел наконец! Ну, теперь уж ты не убежишь, будь покоен! Вот погоди, я истолку твои кости в такой порошок, что, быть может, это научит тебя не запаздывать... Заставил нас ждать столько времени!..

И Джон Кенти уже протянул руку, чтобы схватить мальчугана.

Майлс Гендон преградил ему дорогу:

— Не торопись, приятель! По-моему, ты напрасно ругаешься. Какое тебе дело до этого мальчика?

— Если тебе так хочется совать нос в чужие дела, так знай, что он мой сын.

— Ложь! — горячо воскликнул юный король.

— Прекрасно сказано, и я тебе верю, мой мальчик, — все равно, здоровая у тебя голова или с трещиной. Отец он тебе или нет, я не дам тебя бить и мучить этому гнусному негодяю, раз ты предпочитаешь остаться со мной.

— Да, да... я не знаю его, он мне гадок, я лучше умру, чем пойду с ним.

— Значит, конечно, и больше разговаривать не о чем.

— Ну, это мы еще посмотрим! — закричал Джон Кенти, шагнув к мальчику и отстраняя Гендона. — Я его силой...

— Только тронь его, ты, двуногая падаль, и я проколю тебя, как гуся, насквозь! — сказал Гендон, загородив ему дорогу и хватаясь за рукоять шпаги. Кенти попятился. — Заруби у себя на носу, — продолжал Гендон, — что я взял этого малыша под защиту, когда

на него была готова напасть целая орава подобных тебе негодяев и чуть было не прикончила его; так неужели ты думаешь, что я брошу его теперь, когда ему грозит еще худшая участь? Ибо отец ты ему или нет, — а я уверен, что ты врешь, — для такого мальчика лучше скорая смерть, чем жизнь с таким зверем, как ты. Поэтому проваливай, да поживее, потому что я не охотник до пустых разговоров и не очень-то терпелив от природы.

Джон Кенти отступил, бормоча угрозы и проклятия, и скоро скрылся в толпе. А Гендон со своим питомцем поднялся к себе на третий этаж, предварительно распорядившись, чтобы им принесли поесть. Комната была бедная, с убогой кроватью, со старой, поломанной и разрозненной мебелью, тускло освещенная двумя тощими свечками. Маленький король еле добрел до кровати и повалился на нее, совершенно истощенный голодом и усталостью. Он целый день и часть ночи провел на ногах, — был уже третий час, — и все это время ничего не ел. Он пробормотал сонным голосом:

— Пожалуйста, разбуди меня, когда накроют на стол! — и тотчас же впал в глубокий сон.

Смех заискрился в глазах Гендона, и он сказал себе:

«Клянусь богом, этот маленький нищий расположился в чужой квартире и на чужой кровати с таким непринужденным изяществом, как будто у себя, в своем доме, — хоть бы сказал «разрешите мне», или «сделайте милость, позвольте», или что-нибудь в этом роде. В бреду больного воображения он называет себя принцем Уэльским, и, право, он отлично вошел в свою роль. Бедный, маленький, одинокий мышонок! Без сомнения, его ум повредился из-за того, что с ним обращались так зверски жестоко. Ну что же, я буду его другом, — я его спас, и это сильно привязало меня к нему; я уже успел полюбить дерзкого на язык сорванца. Как бесстрашно сражался он с обнаглевшею чернью — словно настоящий солдат! И какое у него миловидное, приятное и доброе лицо теперь, когда во сне он забыл свои тревоги и горести! Я стану учить

его, я его вылечу; я буду ему старшим братом, буду заботиться о нем и беречь его. И кто вздумает глумиться над ним или обижать его, пусть лучше сразу заказывает себе саван, потому что, если потребуется, я пойду за мальчугана хоть в огонь!»

Он наклонился над принцем и ласково, с жалостью, с участием смотрел на него, нежно глядя его юные щеки и откидывая со лба своей большой загорелой рукой его спутавшиеся кудри. По телу мальчика пробежала легкая дрожь.

«Ну вот, — пробормотал Гендон, — как это благородно с моей стороны — оставить его неукрытым! Чего доброго, простудится насмерть! Как же мне быть? Если я его возьму на руки и уложу под одеяло, он проснется, а ведь он так нуждается в отдыхе».

Гендон поискал глазами, чем бы накрыть спящего, но ничего не нашел. Тогда он снял с себя камзол и укутал принца.

«Я привык и к стуже и к легкой одежде, — подумал он. — Холод и сырость мне нипочем».

И он зашагал взад и вперед по комнате, чтобы хоть немного согреться, продолжая разговаривать сам с собой:

«В его поврежденном уме засела мысль, что он принц Уэльский. Странно будет, если здесь у меня останется принц Уэльский, в то время как подлинный принц уже не принц, а король... Но его бедный мозг свихнулся на одной этой выдумке и не сообразит, что теперь уж ему надо забыть о принце и величать себя королем... Я целых семь лет провел в заточении, на чужбине, и ничего не слыхал о доме, но если мой отец жив, он охотно примет несчастного мальчика и великодушно приютит его под своим кровом ради меня, точно так же и мой добрый старший брат Артур. Мой другой брат, Гью... Ну, да я разможжу ему череп, если он вздумает вмешиваться не в свое дело, это злое животное с сердцем лисы! Да, мы поедем туда — и возможно скорее».

Вошел слуга с дымящимся блюдом, поставил его на сосновый столик, придвинул стулья и ушел, полагая, что такие дешевые жильцы могут прислуживать

себе сами. Стук хлопнувшей двери разбудил мальчика; он вскочил и сел на кровати, радостно озираясь вокруг; но тотчас же на лице его выразилось огорчение, и он пробормотал про себя с глубоким вздохом:

— Увы, это был только сон! Горе мне, горе!

Тут он заметил на себе камзол Майлса Гендона, перевел глаза на самого Гендона, понял, какую жертву тот ему принес, и ласково сказал:

— Ты добр ко мне! Да, ты очень добр ко мне! Возьми свой камзол и надень, больше он мне не понадобится, — затем он встал, подошел к умывальнику, помещавшемуся в углу, и остановился в ожидании. Гендон с веселым оживлением сказал:

— Какой у нас чудесный ужин! Мы сейчас поедим на славу, потому что еда горяча и вкусна. Не горюй: сон и еда сделают тебя опять человеком!

Мальчик не отвечал, он устремил на высокого рыцаря пристальный взгляд, полный сурового изумления и даже некоторой досады.

Гендон в недоумении спросил:

— Чего не хватает тебе?

— Добрый сэр, я хотел бы умыться...

— Только-то? Ты можешь делать здесь что тебе вздумается, не спрашивая позволения у Майлса Гендона. Будь как дома, не стесняйся, пожалуйста.

Но мальчик не трогался с места и даже раза два нетерпеливо топнул маленькой ногой. Гендон был совсем озадачен.

— Что с тобою? Скажи на милость.

— Пожалуйста, налей мне воды и не говори столько лишних слов!

Гендон чуть было не расхохотался, но, сдержавшись, сказал себе: «Клянусь всеми святыми, это восхитительно!» — и поспешил исполнить просьбу своего дерзкого гостя. Он стоял подле, буквально остолбенев, пока его не вывел из оцепенения новый приказ:

— Полотенце!

Майлс взял полотенце, висевшее под самым носом у мальчика, и, ни слова не говоря, подал ему. Потом он стал сам умываться, а его приемный сын в это время уже уселся за стол и готовился приступить

к еде. Гендон поспешил покончить с умыванием, придвинул себе другой стул и хотел уже сесть, как вдруг мальчик с негодованием воскликнул:

— Остановись! Ты хочешь сидеть в присутствии короля?

Этот удар поразил Гендона в самое сердце.

«Бедняжка! — пробормотал он. — Его помешательство с каждым часом растет, и это понятно: после той важной перемены, какая произошла в государстве, он воображает себя *королем*! Ну что же, надо мириться и с этим, иного способа нет, — а то он еще, чего доброго, велит заключить меня в Тауэр». И, довольный этой шуткой, он отодвинул свой стул, стал за спиной короля и начал прислуживать, как умел, по-придворному.

За едой королевская суровость мальчугана немного смягчилась, и, едва он насытился, у него возникло желание поболтать.

— Ты, кажется, назвал себя Майлсом Гендоном, так ли я расслышал?

— Так, государь, — отвечал Майлс и про себя добавил: «Если уж подделываться к безумию этого бедного мальчика, так надо именовать его и государем и вашим величеством; не нужно ничего делать наполовину; я должен войти в свою роль до тонкости, иначе я сыграю ее плохо и испорчу все это доброе дело, дело любви и милосердия».

После второго стакана вина король совсем согрелся и сказал:

— Я хотел бы узнать тебя ближе. Расскажи мне свою историю! Ты храбр, и вид у тебя благородный, — ты дворянин?

— Наш род не особенно знатный, ваше величество. Мой отец — мелкий барон, выслужившийся из дворян, сэр Ричард Гендон, из Гендонского замка, близ Монкс-голма, в Кенте.

— Я не припомню такой фамилии. Но продолжай, расскажи мне свою историю.

— Рассказывать придется не много, ваше величество, но, может быть, это позабавит вас на полчаса, за неимением лучшего. Мой отец, сэр Ричард, человек великодушный и очень богатый. Матушка моя умерла,

когда я был еще мальчиком У меня два брата: Артур — старший, душою и нравом в отца, и Гью — моложе меня, низкий, завистливый, вероломный, порочный, лукавый, сушая гадина. Таким он был с самого детства, таким был десять лет назад, когда я в последний раз видел его, — девятнадцатилетний, вполне созревший подлец; мне было тогда двадцать лет, Артуру же двадцать два. В доме, кроме нас, жила еще леди Эдит, моя кузина, — ей было тогда шестнадцать лет, — прекрасная, добросердечная, кроткая; дочь графа, последняя в роде, наследница большого состояния и прекращавшегося после ее смерти графского титула. Мой отец был ее опекуном. Я любил ее, она меня. Но она была с детства обручена с Артуром, и сэр Ричард не потерпел бы, чтобы подобный договор был нарушен. Артур любил другую и убеждал нас не падать духом и не терять надежды, что время и счастливая судьба помогут каждому из нас добиться своего. Гью же был влюблен в имущество леди Эдит, хотя уверял, что любит ее самое, — но такова была его всегдашняя тактика: говорить одно, а думать другое. Однако его ухищрения не привели ни к чему: завоевать сердце Эдит ему так и не удалось; он мог обмануть одного лишь отца. Отец любил его больше всех нас и во всем ему верил. Гью был младший сын, и другие ненавидели его, — а этого во все времена бывало достаточно, чтобы завоевать благосклонность родителей, к тому же у него был вкрадчивый, лстивый язык и удивительная способность лгать, — а этими качествами легче всего морочить слепую привязанность. Я был сумасброден, по правде — даже *очень* сумасброден, хотя сумасбродства мои были невинного свойства, ибо никому не приносили вреда, только мне. Я никого не опозорил, никого не разорил, не запятнал себя ни преступлением, ни подлостью и вообще не совершил ничего, не подобающего моему благородному имени.

Однако мой брат Гью умел воспользоваться моими проступками. Видя, что Артур слаб здоровьем, и надеясь извлечь выгоду из его смерти, если только удастся устранить меня с дороги, Гью... Впрочем, это длинная история, мой добрый государь, и не стоит ее

рассказывать. Короче говоря, младший брат очень ловко преувеличил мои недостатки, выставил их в виде преступлений, и в довершение всех своих низких поступков он нашел в моей комнате шелковую лестницу, подброшенную им же самим, и при помощи этой хитрости, а также показаний подкупленных слуг и других лжесвидетелей убедил моего отца, будто я намерен увести Эдит и жениться на ней наперекор его воле.

Отец решил отправить меня на три года в изгнание. «Эти три года, вдали от Англии и родительского дома, — сказал он, — может быть, сделают из тебя человека и воина и хоть отчасти научат тебя жизненной мудрости». За эти годы моего долгого искуса я участвовал в континентальных войнах, изведal суровую нужду, тяжкие удары судьбы, пережил немало приключений, а в последнем сражении я был взят в плен и целых семь лет томился в чужеземной тюрьме. Благодаря ловкости и мужеству я наконец вырвался на свободу и помчался прямо сюда. Я только что приехал. У меня нет ни приличной одежды, ни денег — и еще меньше сведений о том, что происходило за эти семь лет в Гендонском замке, что случилось с ним и его обитателями. Теперь, государь, с вашего позволения, вам известна моя жалкая повесть!

— Ты жертва бесстыдной лжи, — сказал маленький король, сверкнув глазами. — Но я восстановлю твои права, клянусь святым крестом! Это говорит тебе король!

Под влиянием рассказа о злоключениях Майлса у короля развязался язык, и он выложил перед изумленным слушателем все свои недавние невзгоды. Когда он закончил рассказ, Майлс сказал себе:

«Какое, однако, у него богатое воображение! Поистине он обладает необыкновенным талантом, иначе он не сумел бы, будь он здоров или безумен, сплести такую правдоподобную и пеструю сказку что называется из воздуха, из ничего. Бедный свихнувшийся мальчик! Покуда я жив, у него будет и друг и убежище. Я не отпущу его от себя ни на шаг; он станет моим баловнем, моим малолетним товарищем. И мы

его вылечим, мы вернем ему разум, он непременно прославится, его имя прогремит на всю страну, а я буду везде похваляться: «Да, он мой, я подобрал его, когда он был бездомным оборвышем, но и тогда уже мне было ясно, какие таятся в нем силы, и я предсказывал, что люди со временем услышат о нем. Смотрите на него: разве я не был прав?»

Тут заговорил король вдумчивым, размеренным голосом:

— Ты избавил меня от стыда и обиды, а быть может, спас мою жизнь и, следовательно, мою корону. Такая услуга требует щедрой награды. Скажи мне, чего ты желаешь, и, насколько это в моей королевской власти, твое желание будет исполнено.

Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он уже хотел было поблагодарить короля и переменить разговор, сказав, что он только исполнил свой долг и не желает награды, но ему пришла в голову более разумная мысль, и он попросил позволения помолчать несколько минут, чтобы обдумать это милостивое предложение. Король с важностью кивнул головой, заметив, что в делах, имеющих такое большое значение, лучше не торопиться.

Майлс подумал несколько минут и сказал себе:

«Да, именно этой милости и надо просить. Иначе ее невозможно добиться, а между тем опыт только что прошедшего часа показал, что продолжать таким образом было бы и неудобно и утомительно. Да, предложу ему это; как хорошо, что я не отказался от такого благоприятного случая».

Он опустился на колено и промолвил:

— Моя скромная услуга не выходит за пределы простого долга всякого верноподданного, и потому в ней нет ничего замечательного, но раз вашему величеству угодно считать ее достойной награды, я беру на себя смелость просить о следующем. Около четырехсот лет тому назад, как известно вашему величеству, во время распри между Джоном, королем Англии, и французским королем, было решено выпустить с каждой стороны по бойцу и уладить спор поединком, прибегнув к так называемому суду божью. Оба короля да

еще король Испании прибыли на место поединка, чтобы судить об исходе спора; но когда вышел французский боец, он оказался до того грозен и страшен, что никто из английских рыцарей не решился помериться с ним оружием. Таким образом, спор — очень важный — должен был решиться не в пользу английского монарха. Между тем в Тауэре как раз в это время был заключен лорд де Курси, самый могучий боец Англии, лишенный всех своих владений и почестей и давно уже томившийся в темнице. Обратились к нему; он согласился и прибыл на единоборство во всеоружии. Но как только француз завидел его огромную фигуру и услышал его славное имя, он пустился бежать, и дело французского короля было проиграно. Король Джон вернул де Курси все его титулы и владения со словами: «Проси у меня, чего хочешь; твое желание будет исполнено, хотя бы оно стоило мне половины моего королевства». Де Курси упал на колени, как я теперь, и ответил: «В таком случае, государь, предоставь мне и моим потомкам право оставаться в присутствии королей Англии с покрытой головой, куда будет существовать королевский престол». Просьба его была уважена, как известно вашему величеству, и за эти четыреста лет род де Курси не прекращался, так что и до сего дня глава этого старинного рода невозбранно остается в присутствии короля в шляпе или племе, не испрашивая на то никакого особого позволения, — чего не смеет сделать никто другой¹. И вот, основываясь на этом прецеденте, я прошу у короля одной только милости и привилегии, которая будет для меня больше чем достаточной наградой, а именно: чтобы мне и моим потомкам на все времена разрешено было *сидеть* в присутствии английского короля.

— Встань, сэр Майлс Гендон, я посвящаю тебя в рыцари, — с важностью произнес король, ударяя его по плечу его же шпагой, — встань и садись. Твоя просьба уважена. Пока существует Англия, пока суще-

¹ Лорды Кингсэл, потомки де Курси, до сих пор пользуются этой привилегией. (Прим. автора.)

ствует королевская власть, это почетное право останется за тобой.

Его величество отошел в задумчивости, а Гендон опустился на стул у стола и проговорил про себя:

«То была прекрасная мысль, она выручила меня из беды, так как ноги мои ужасно устали. Не приди мне она в голову, я был бы вынужден стоять еще много недель, пока мой бедный мальчик не вылечится от своего помешательства. — Спустя некоторое время он продолжал: — Итак, я стал рыцарем царства Снов и Теней! Весьма странное, диковинное звание для такого не склонного к мечтам человека, как я. Но не стану смеяться — боже меня сохрани! — ибо то, что не существует для меня, для него подлинная действительность. Да и для меня это в одном отношении истинно: это показывает, какая у него добрая и благородная душа... — Через несколько минут он прибавил: — Но что, если этот чудак вздумает и при других величать меня громким титулом, который он мне сейчас даровал? Забавное будет несоответствие между моим рыцарским званием и моей жалкой одеждой! Ну, да все равно — пусть зовет, как хочет, если ему это нравится. Я буду доволен...»

Глава XIII

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦА

После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота.

Король сказал:

— Убери эти тряпки! — разумея свою одежду.

Гендон раздел его без всяких возражений и уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью: «Он опять завладел моей кроватью. Черт возьми! Что же я буду делать?»

От маленького короля не ускользнуло замешательство Гендона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом:

— Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее.

Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне.

— Бедняжка! Ему, право, следовало бы родиться королем! — с восхищением промолвил Гендон. — Он играет свою роль в совершенстве. — И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе: «Все эти семь лет у меня было еще меньше удобств; жаловаться на теперешнее мое положение значило бы гневить всевышнего».

Он уснул на рассвете, а в полдень встал и, то там, то здесь приподнимая одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой.

Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает.

— Я уже кончил, государь, — сказал Гендон. — У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять: ты нуждаешься в отдыхе. Дай, я укрою тебя с головой, так ты скорее согреешься.

Не успел он договорить, как король снова очутился в царстве снов.

Майлс на цыпочках вышел из комнаты и через тридцать или сорок минут так же бесшумно вернулся — с костюмом для мальчика. Костюм был ношенный, из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый — как раз для того времени года. Майлс сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос:

«Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше; но когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым...

Красотка жила в городишке у нас,
У нас в городишке жила..

Он, кажется, пошевелился; не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон, между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка... Камзол ничего, недурен — кое-где ушить, и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут два-три стежка не помешают... Башмаки отличные, прочные, крепкие, в них будет сухо и тепло. Они будут для

него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком и зимою и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки! Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную большую иглу мне дали в придачу... Вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко».

И действительно, это было для него нелегким делом. Майлс поступил, как обыкновенно поступают мужчины и, по всей вероятности, будут поступать до скончания веков: держал неподвижно иголку и старался вдеть нитку в ушко, тогда как женщины поступают как раз наоборот. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гендон был терпелив: уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку; он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу.

«За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже; денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться два-три дня, пока доберемся до Гендон-холла, а там у нас всего будет вдоволь...

Любила она муженька ..

Черт возьми! Я загнал иголку себе под ноготь!.. Положим, это не беда, не в первый раз случается... а все-таки неприятно... Эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен! Всем твоим злоключениям наступит конец, да и рассудок вернется к тебе...

Любила она муженька своего,
Но ее любил...

Вот благородные, крупные стежки. — Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением. — В них есть размах и величие, рядом с ними мелкие, скарёдные стежки портного кажутся плебейскими и жалкими...

Любила она муженька своего,
Но ее любил другой...

Ну, вот и готово! Неплохая работа, и главное — быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему

умыться, накормлю его; а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Табард, в Саутворке».

— Извольте вставать, ваше величество! — громко сказал он. — Не отвечает!.. Эй, ваше величество!

«Кажется, мне все-таки придется оскорбить его священную особу прикосновением, если сон его глух к человеческой речи. Что это?..»

Он откинул одеяло... Мальчик исчез.

Гендон онемел от изумления, огляделся вокруг и тут только заметил, что лохмотья мальчика тоже исчезли. Он страшно рассвирепел, стал бушевать, звать хозяина. В эту минуту вошел слуга с завтраком.

— Ты, бесовское отродье, объясни, что это значит, или прощайся со своею презренною жизнью! — загремел воин и так свирепо подскочил к слуге, что тот от удивления и страха совсем растерялся и с минуту был не в состоянии выговорить ни слова. — Где мальчик?

Дрожа и запинаясь, слуга дал требуемое объяснение:

— Не успели вы уйти отсюда, ваша милость, как вдруг прибегает какой-то молодой человек и говорит, что ваша милость требует мальчика сейчас же к себе, на конец моста, на саутворкский берег. Я ввел его в комнату, он разбудил мальчугана и передал ему поручение. Тот чуть-чуть поворчал, зачем его беспокоили «так рано», но сейчас же напялил на себя свою рвань и пошел с молодым человеком, только промолвил в сердцах, что было бы учтивее, если бы ваша милость пришли за ним сами и не посылали чужого... а то выходит...

— А то выходит, что ты идиот! Идиот и болван, и надуть тебя ничего не стоит, повесить бы всех твоих родичей! Но, может быть, беды еще нет. Может быть, мальчишку не хотели обидеть. Я пойду за ним и приведу сюда. А ты тем временем накрой-ка на стол! Пой! Пой! Одеяло на кровати положено так, будто под ним кто-то лежит, — это случайно?

— Не знаю, мой добрый господин! Я видел, как молодой человек возился у кровати, — тот самый, что приходил за мальчиком.

— Тысяча смертей! Это было сделано, чтобы обма-

нуть меня! Да, это было сделано, чтобы выиграть время... Слушай! Тот молодец был один?

— Один, ваша милость!

— Ты уверен в этом?

— Уверен, ваша милость!

— Подумай, собери свои мысли, не торопись!

Подумав немного, слуга сказал:

— Приходил-то он один, с ним никого не было; но теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на мост, туда, где толпа погуще, откуда-то выскочил разбойничьего вида мужчина, и как раз в ту минуту, как он подбежал к ним...

— Ну, что же *тогда*? Договаривай! — нетерпеливо загремел Гендон.

— Как раз в эту минуту толпа заслонила их, и больше уж я их не видал, так как меня кликнул хозяин, который обозлился за то, что стряпчему забыли подать заказанную баранью ногу, хотя я беру всех святых в свидетели, что винить в этом *меня* — все равно что судить неродившегося младенца за грехи его...

— Прочь с моих глаз, осел!.. Я просто с ума сойду от твоей болтовни. Стой! Куда же ты бежишь? Не может постоять и минуту на месте! Что же, они пошли в Саутворк?

— Точно так, ваша милость!.. Потому, как я вам докладывал, я в этой бараньей ноге непричинен, все равно как младе...

— Ты *все еще* здесь? И все еще мелешь вздор? Убирайся, покуда цел!

Слуга исчез. Гендон побежал вслед за ним, обогнал его и, прыгая по лестнице через две ступеньки зараз, в один миг очутился внизу.

«Это тот гнусный разбойник, который звал его своим сыном... Я потерял тебя, мой бедный маленький безумный повелитель! Какая горькая мысль! Я так полюбил тебя! Нет! Клянусь всем святым, я тебя *не* потерял! Не потерял, потому что я обещаю всю Англию и все же найду тебя. Бедный ребенок! Там остался его завтрак... и мой... ну да мне теперь не до еды. Пусть он достанется крысам! Скорее, скорее, медлить нельзя!»

И, торопливо пробираясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил, как будто эта мысль была особенно приятна ему:

«Он поворачал, но *пошел*... да, пошел, так как думал, что его зовет Майлс Гендон... Милый мальчик! Никого другого он не послушался бы, уж я знаю!»

Глава XIV

«LE ROI EST MORT — UIUE LE ROI!»

В это самое утро, на рассвете, Том Кенти проснулся от глубокого сна и открыл глаза в темноте. Несколько мгновений он лежал молча, пытаясь разобраться в путанице впечатлений и мыслей, чтобы хоть отчасти уразуметь их значение. И вдруг воскликнул веселым, но сдержанным голосом:

— Я понял! Понял! Слава богу, теперь я окончательно проснулся. Приди ко мне, радость! Исчезни, печаль! Эй, Нэн! Бэт! Сбросьте с себя солому, бегите скорее ко мне: я сейчас расскажу вам самый дикий, безумный сон, какой только могут навевать на человека ночные духи! Эй, Нэн, где же ты? Бэт!

Чья-то темная фигура появилась у его постели, чей-то голос произнес:

— Что угодно тебе повелеть?

— Повелеть?.. О горе мне, я узнаю твой голос! Говори... кто я такой?

— Ты? Еще вчера ты был принцем Уэльским, ныне же ты мой августейший повелитель, Эдуард, король Англии.

Том зарылся головой в подушку и жалобно пролепетал:

— Увы, то был не сон! Иди отдыхай, добрый сэр... Оставь меня одного с моим горем.

Том опять уснул. И немного спустя ему приснился замечательный сон. Будто на дворе лето и будто он

¹ Король умер — да здравствует король! (*франц.*)

играет один на прекрасной лужайке, которая зовется Гудмэнс-филдс; как вдруг к нему подходит карлик, ростом не больше фута, горбатый, с длинной рыжей бородой, и говорит:

— Копай возле этого пня!

Том послушался и нашел целых двенадцать блестящих новых пенсов — сказочное богатство! Но лучшее было впереди, потому что карлик сказал:

— Я знаю тебя. Ты юноша добрый и достойный похвал; твои горести кончились, пришел день награды. Копай на этом самом месте каждый седьмой день, и всякий раз ты будешь находить здесь сокровище — двенадцать новых, блестящих пенсов. Только не говори никому, это тайна.

Затем карлик исчез, а Том со своей добычей помчался в Двор Отбросов, говоря себе: «Теперь я каждый вечер могу давать отцу по одному пенни; он будет думать, что я собрал их, прося подавание, это развесит его сердце, и он перестанет меня колотить. Один пенни в неделю я буду давать доброму священнику, который учит меня, а остальные четыре — матери, Нэн и Бэт. Мы не будем больше голодать и ходить оборванцами. Прощайте, страхи, тревоги, побои».

Во сне он в один миг очутился в своем убогом жилье, прибежал туда запыхавшись, но глаза у него так и прыгали от счастья; он бросил четыре монеты на колени матери, крича:

— Это тебе!.. Все тебе, все до одной! Тебе, и Нэн, и Бэт! Я добыл их честно, не украл и не выпросил.

Счастливая удивленная мать прижала его к груди и воскликнула:

— Становится поздно... не угодно ли будет вашему величеству встать?

Ах, он ждал не такого ответа. Сон рассеялся. Том проснулся.

Он открыл глаза. У его постели стоял на коленях роскошно одетый первый лорд опочивальни. Радость, вызванная обманчивым сном, сразу исчезла: бедный мальчик увидел, что он все еще пленник и король. Комната была переполнена царедворцами в лиловых

мантях — траурный цвет — и знатными прислужниками монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесей смотрел на все это великолепное собрание.

Затем началась трудная церемония одевания, причем все время придворные один за другим становились на колени, приветствуя маленького короля и выражая ему сочувствие по поводу его тяжелой утраты. Прежде всего лорд обер-шталмейстер взял рубашку и передал ее первому лорду егермейстеру, тот передал ее второму лорду опочивальни, этот в свою очередь — главному лесничему Виндзорского леса, тот — третьему обер-камергеру, этот — королевскому канцлеру герцогства Ланкастерского, тот — хранителю королевской одежды, этот — герольдмейстеру Норройскому, тот — коменданту Тауэра, этот — лорду заведующему дворцовым хозяйством, тот — главному наследственному подвязывателю королевской салфетки, этот — первому лорду адмиралтейства, тот — архиепископу Кентерберийскому, и наконец архиепископ — первому лорду опочивальни, который надел рубашку — или, вернее, то, что от нее осталось, — на Тома. Бедный мальчик не знал, что и подумать; это напомнило ему передачу из рук в руки ведер во время пожара.

Каждая принадлежность его туалета подвергалась тому же медленному и торжественному процессу. В конце концов эта церемония так наскучила Тому, так ужасно наскучила, что он чуть не вскрикнул от радости, увидав, что вдоль линии уже начали странствовать его длинные шелковые чулки: значит, церемония приближалась к концу. Но радость его была преждевременна. Первый лорд опочивальни получил чулки и уже готовился облечь ими ноги Тома, как вдруг лицо его покрылось багровыми пятнами и он сунул чулки обратно в руки архиепископа Кентерберийского, пробормотав с изумлением:

— Смотрите, милорд!

Очевидно, с чулками что-то было неладно. Архиепископ побледнел, потом покраснел и передал чулки адмиралу, прошептав:

— Смотрите, милорд!

Адмирал передал чулки наследственному подвязывателю королевской салфетки, причем у него едва хватило силы пролепетать:

— Смотрите, милорд!

Таким образом, чулки пространствовали обратно вдоль всей линии, через руки лорда заведующего дворцовым хозяйством, коменданта Тауэра, герольдмейстера Норройского, хранителя королевской одежды, канцлера герцогства Ланкастерского, третьего обер-камергера, главного лесничего Виндзорского леса, второго лорда опочивальни, первого лорда егермейстера, сопровождаемые все тем же удивленным и испуганным шепотом: «Смотрите! Смотрите!», пока наконец не попали в руки лорда обер-шталмейстера. Тот, белый, как полотно, с минуту разглядывал причину общего испуга, затем хрипло прошептал:

— Господи помилуй! От подвязки отскочил наконецник! В Тауэр главного хранителя королевских чулок! — и в изнеможении склонился на плечо первого лорда егермейстера, чтобы восстановить свои силы, покуда не доставят такие чулки, у которых подвязки находятся в полной исправности.

Но все на свете рано или поздно кончается, и, таким образом, наступила пора, когда Том Кенти получил наконец возможность покинуть постель. Один придворный налил воды в таз, другой руководил умыванием, третий держал наготове полотенце. Том благополучно совершил обряд омовения, после чего к делу приступил королевский цирюльник. Из рук этого художника Том вышел грациозным и миловидным, как девочка. В плаще и штанах из пурпурного атласа и в шляпе с пурпурными перьями он торжественно проследовал в утреннюю столовую сквозь густую толпу придворных, которые расступались перед ним и преклоняли колени.

После завтрака его провели в тронный зал! Это была пышная церемония: его сопровождали первые сановники Англии, а также почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках. В тронном зале ему предстояло заняться государственными делами. Его «дядя», лорд Гертфорд, поместился

у самого трона, чтобы помогать королю своими мудрыми советами.

Раньше всех предстали перед Томом именитые лорды, душеприказчики покойного короля. Они ходатайствовали, чтобы Том утвердил некоторые их распоряжения. Это была пустая формальность, — однако не совсем, так как в то время еще не было лорда-протектора. Архиепископ Кентерберийский доложил постановление совета о похоронах покойного монарха и в заключение прочел подписи душеприказчиков, а именно: архиепископ Кентерберийский; лорд-канцлер Англии; Уильям лорд Сент-Джон; Джон лорд Рассел; Эдуард граф Гертфорд; Джон виконт Лисли; Катберт, епископ Дургэмский...

Том не слушал, — его еще раньше смутил в этом документе один удивительный пункт. Он повернулся к лорду Гертфорду и шепотом спросил:

— На какой день назначены похороны?

— На шестнадцатое число будущего месяца, государь!

— Это просто удивительно! Разве он продержится так долго?

Бедный малый! Королевские обычаи были для него еще внове. Он привык к тому, что покойников на Дворе Отбросов спроваживали в могилу гораздо быстрее.

Двумя-тремя словами лорд Гертфорд успокоил его.

Затем статс-секретарь доложил о постановлении государственного совета, назначившего на другой день в одиннадцать часов прием иностранных послов. Требовалось согласие короля.

Том вопросительно посмотрел на лорда Гертфорда. Тот шепнул:

— Ваше величество да соблаговолит изъявить согласие. Они придут, чтобы выразить вам соболезнование их августейших повелителей по поводу тяжелой утраты, постигшей ваше величество и всю Англию.

Том поступил, как ему было сказано. Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше

изумился он, узнав, что из этих денег двадцать тысяч еще не уплачено¹. И окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти что пуста, а его тысяча слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалованья.

Том с горячим убеждением сказал:

— Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз насупротив рыбного рынка у Билингсгэйта... Он...

«Дядя» крепко сжал Тому руку, чтобы остановить его безумную речь; тот вспыхнул и остановился на полуслове; но никто не выразил удивления, как будто никто и не слышал его слов.

Какой-то секретарь доложил, что покойный король в своей духовной завещал пожаловать графу Гертфорду герцогский титул, возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пэра, а сына Гертфорда сделать графом, равно как и возвысить в звании других знатных слуг короны. Совет решил назначить заседание на шестнадцатое февраля для утверждения и исполнения воли покойного. А так как почивший король никому из поименованных лиц не пожаловал письменно поместий, необходимых, чтобы поддержать столь высокое звание, то совет, будучи осведомлен о личных желаниях его величества по этому поводу, счел за благо, если на то будет соизволение ныне царствующего монарха, назначить Сеймуру «земель на пятьсот фунтов стерлингов», а сыну Гертфорда «на восемьсот фунтов стерлингов», прибавив к этому первый же участок земли «на триста фунтов стерлингов», «какой освободится за смертью какого-нибудь епископа»².

Том чуть было не брякнул, что лучше бы сначала

¹ Юм, История Англии. (Прим. автора.)

² Юм, История Англии. (Прим. автора.)

уплатить долги покойного короля, а потом уж расходовать такие огромные деньги; но предусмотрительный Гертфорд, вовремя тронув его за плечо, спас его от подобной бестактности, и он изъявил свое королевское согласие, хотя в душе был очень недоволен.

С минуту он сидел и раздумывал, как легко и просто он теперь совершает такие блистательные чудеса; и вдруг у него мелькнула мысль: почему бы не сделать свою мать герцогиней Двора Отбросов и не пожаловать ей поместья? Но в то же мгновение он с горечью сообразил, что ведь он король только по имени, на самом же деле он весь во власти этих важных старцев и величавых вельмож. Для них его мать — создание больного воображения; они выслушают его недоверчиво и пошлют за доктором — только и всего.

Скучная работа продолжалась. Читались всякие многословные, утомительно-нудные петиции, указы, дипломы и другие бумаги, относящиеся к государственным делам; наконец Том сокрушенно вздохнул и пробормотал про себя:

— Чем прогневил я господа бога, что он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух, поля и луга и запер меня в этой темнице, сделал меня королем и причинил мне столько огорчений?

Тут бедная, утомленная его голова стала клониться в дремоте и наконец упала на плечо; дела королевства приостановились за отсутствием августейшего двигателя, имеющего власть превращать чужие желания в законы. Тишина окружила дремавшего мальчика, и государственные мужи прервали обсуждение дел.

Перед обедом Том, с разрешения своих тюремщиков Гертфорда и Сент-Джона, провел приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Джейн Грэй, хотя принцессы были весьма опечалены тяжелой утратой, постигшей королевскую семью. Под конец ему нанесла визит «старшая сестра», впоследствии получившая в истории имя «Марии Кровавой». Она заморозила Тома своей высокопарной беседой, которая в его глазах имела только одно достоинство — краткость. На несколько минут его оставили одного, затем к нему был допущен худенький мальчик лет двенадцати,

платье которого, за исключением белоснежных кружев на вороте и рукавах, было сверху донизу черное — камзол, чулки и все прочее. В его одежде не было никаких признаков траура, только лиловый бант на плече. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнаженную голову, и, когда подошел, опустился на колени. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и наконец сказал:

— Встань, мальчик. Кто ты такой? Что тебе надобно?

Мальчик встал на ноги; он стоял в изящной, непринужденной позе, но на лице у него были тревога и грусть.

— Ты, конечно, помнишь меня, милорд? Я твой паж, мальчик для порки.

— Мальчик для порки?

— Так точно, ваше величество. Я Гэмффри... Гэмффри Марло.

Том подумал, что его опекунам не мешало бы рассказать ему об этом паже. Положение было щекотливое. Что ему делать? Притвориться, будто он узнает мальчугана, а потом каждым словом своим обнаруживать, что он никогда и не слышал о нем? Нет, это не годится. Спасительная мысль пришла ему в голову: ведь такие случаи будут, пожалуй, нередки. С настоящего дня лордам Гертфорду и Сент-Джону частенько придется отлучаться от него по делам, поскольку они — члены совета душеприказчиков; не худо бы самому придумать способ, как выпутываться из затруднений подобного рода. «Дельная мысль! Попробую испытать ее на мальчишке... и посмотрю, что из этого выйдет».

Минуты две Том в замешательстве тер себе лоб и наконец сказал:

— Теперь, мне кажется, я немного припоминаю тебя... но мой разум отуманен недугом...

— Увы, мой бедный господин! — с чувством искреннего сожаления воскликнул паж для порки, а про себя подумал: «Значит, правду о нем говорили... не в своем уме, бедняга... Но, черт возьми, какой же я забывчивый! Ведь велено не подавать и виду, что замечаешь, будто у него голова не в порядке».

— Странно, как память изменяет мне в последние дни, — сказал Том. — Но ты не обращай внимания.. я быстро поправлюсь; часто мне достаточно бывает одного небольшого намека, чтобы я припомнил имена и события, ускользнувшие из моей памяти. («А порой и такие, о которых я раньше никогда не слышал, в чем сейчас убедится этот малый».) Говори же, что тебе надо!

— Дело мелкое, государь, но все же я дерзаю напомнить о нем, с дозволения вашей милости. Два дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать три ошибки в греческом переводе за утренним уроком... вы помните это?..

— Д-д-да, кажется помню... («Это даже не совсем ложь: если бы я стал учиться по-гречески, я, наверное, сделал бы не три ошибки, а сорок».) Да, теперь помню... продолжай!

— Учитель, разгневавшись на вас за такую, как он выразился, неряшливую и скудоумную работу, пригрозил больно высечь меня за нее... и...

— Высечь *тебя*? — вскричал Том. Он был так удивлен, что даже позабыл свою роль. — С какой же стати ему сечь *тебя* за мои ошибки?

— Ах, ваша милость опять забываете!.. Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок.

— Правда, правда... Я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и когда потом я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня... и...

— О, что ты говоришь, мой государь? Я, ничтожнейший из слуг твоих, посмел бы учить *тебя*?!

— Так в чем же твоя вина? Что это за странная загадка? Или я и вправду рехнулся, или это ты сумасшедший? Говори же... объясни скорее.

— Но, ваше величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особе принца Уэльского; поэтому, когда принц провинится, вместо него бьют меня. Это правильно, так оно и быть должно, потому что такова моя служба и я ею кормлюсь¹.

¹ Смотри примечание 8 в конце книги. (Прим. автора.)

Том с изумлением смотрел на этого безмятежно спокойного мальчика и говорил про себя:

«Чудное дело! Вот так ремесло! Удивляюсь, как это не наняли мальчика, которого причесывали бы и одевали вместо меня. Дай-то бог, чтоб наняли!.. Тогда я попрошу, чтобы секли меня самого, и буду счастлив такой заменой».

Вслух он спросил:

— И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя?

— Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня, но, может быть, его отменят совсем, ввиду траура, хотя наверняка я не знаю; поэтому-то я и осмелился прийти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостивом обещании вступить за меня...

— Перед учителем? Чтобы тебя не секли?

— Ах, это вы помните?

— Ты видишь, моя память исправляется. Успокойся, твоей спины уже не коснется розга... Я позабочусь об этом.

— О, благодарю вас, мой добрый король! — воскликнул мальчик, снова преклоняя колено. — Может быть, с моей стороны это слишком большая смелость, но все же...

Видя, что Гэмфри колеблется, Том поощрил его, объявив, что сегодня он «хочет быть милостивым».

— В таком случае я выскажу все, что у меня на сердце. Так как вы уже не принц Уэльский, а король, вы можете приказать что вам вздумается, и никто не посмеет ответить вам «нет»; и, конечно, вы не потерпите, чтобы вам и впредь докучали уроками, вы швырнете постылые книги в огонь и займетесь чем-нибудь менее скучным. Тогда я погиб, а со мною и мои сиротелые сестры.

— Погиб? Почему?

— Моя спина — хлеб мой, о милостивый мой повелитель! Если она не получит ударов, я умру с голода. А если вы бросите учение, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоняйте меня!

Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал:

— Не огорчайся, милый! Я закреплю твою должность за тобою и за всеми твоими потомками.

Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул:

— Встань, Гэмфри Марло! Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты и твои потомки будут великими пажамы для порки при всех принцах английской державы. Не терзай себя скорбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалованье, по всей справедливости, придется утроить, настолько увеличится твой труд.

— Спасибо, благородный повелитель! — воскликнул Гэмфри в порыве горячей признательности. — Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты. Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марло, будут счастливы.

Том сообразил, что мальчишка может быть ему очень полезен. Он заставил Гэмфри разговориться, что оказалось нетрудно. Гэмфри был в восторге, что может способствовать «исцелению» Тома, ибо всякий раз, как он воскрешал в расстроенном уме короля те или иные происшествия, случившиеся в классной комнате или в других королевских покоях, юный король и сам чрезвычайно отчетливо «припоминал» все подробности этих событий. К концу беседы, за какой-нибудь час, Том приобрел множество полезнейших сведений о разных эпизодах и людях, связанных с придворной жизнью; поэтому он решил черпать из этого источника ежедневно и распорядился всегда беспрепятственно допускать к нему Гэмфри, если только его величество владыка Британии не будет беседовать в это время с кем-нибудь другим.

Не успел Гэмфри уйти, как явился Гертфорд и принес Тому новые горести. Он сообщил, что лорды государственного совета, опасаясь, как бы преувеличенные рассказы о расстроенном здоровье короля не распространились в народе, сочли за благо, чтобы его величество через день-другой соизволил обедать публично; здоровый цвет его лица, его бодрая поступь в сочета-

нии с его спокойными жестами, непринужденным и милостивым обращением лучше всего положат конец кривотолкам — в случае если недобрые слухи *уже* вышли за пределы дворца.

Граф принялся деликатнейшим образом наставлять Тома, как подобает ему держаться во время этой пышной процедуры. Под видом довольно прозрачных «напоминаний» о том, что его величеству было будто бы отлично известно, он сообщил ему весьма ценные сведения. К великому удовольствию графа оказалось, что Тому нужна в этом отношении весьма небольшая помощь, так как он успел выведать об этих публичных обедах у Гэмфри Марло, быстрокрылая молва о них уже носилась по дворцу. Том, конечно, предпочел умолчать о своем разговоре с Гэмфри.

Видя, что память короля так сильно окрепла, граф решил подвергнуть ее, будто случайно, еще несколькими испытаниям, чтобы судить, насколько подвинулось выздоровление. Результаты получились отрадные — не всегда, а в отдельных случаях: там, где оставались следы от разговоров с Гэмфри. Милорд остался чрезвычайно доволен и сказал голосом, полным надежды:

— Теперь я убежден, что, если вы, ваше величество, напряжете свою память еще немного, вы разрешите нам тайну большой государственной печати. Нынче эта печать нам ненадобна, так как ее служба окончилась с жизнью нашего почившего монарха, но еще вчера ее утрата имела для нас важное значение... Угодно вашему величеству сделать усилие?

Том растерялся: большая печать — это было нечто совершенно ему неизвестное. После минутного колебания он взглянул невинными глазами на Гертфорда и простодушно спросил:

— А какова она с виду?

Граф чуть заметно вздрогнул и пробормотал про себя:

— Увы, ум его опять помутился. Неразумно было заставлять его напрягать свою память...

Он ловко перевел разговор на другое, чтобы Том и думать забыл о злополучной печати. Достигнуть этого ему было очень нетрудно.

Глава XV

ТОМ — КОРОЛЬ

На другой день явились иноземные послы, каждый в сопровождении блистательной свиты. Том принимал их, восседая на троне с величавой и даже грозной торжественностью. На первых порах пышность этой сцены пленяла его взор и воспламеняла фантазию, но прием был долог и скучен, большинство речей тоже были долги и скучны, так что удовольствие под конец превратилось в утомительную и тоскливую повинность. Время от времени Том произносил слова, подсказанные ему Гертфордом, и добросовестно старался выполнить свой долг, — но это было для него еще внове, он конфузился и достиг очень малых успехов. Вид у него был королевский, но чувствовать себя королем он не мог; поэтому он был сердечно рад, когда церемония кончилась.

Большая часть дня пропала даром, как выразился он мысленно, — в пустых занятиях, к которым вынуждала его королевская должность. Даже два часа, уделенные для царственных забав и развлечений, были ему скорее в тягость, так как он был скован по рукам и ногам чопорным и строгим этикетом. Зато потом он отдохнул душою наедине со своим мальчиком для порки, беседа с этим юнцом доставила Тому и развлечение и полезные сведения.

Третий день царствования Тома Кенти прошел так же, как и другие дни, с той разницей, что теперь тучи у него над головой немного рассеялись, — он чувствовал себя не так неловко, как в первое время, начиная привыкать к своему положению и к новой среде; цепи еще тяготили его, но он ощущал их тяжесть значительно реже и с каждым часом обнаруживал, что постоянная близость знатнейших лордов и их преклонение пред ним все меньше конфузят и удручают его.

Одно только мешало ему спокойно ждать приближения следующего, четвертого дня — страх за свой первый публичный обед, который назначен был на этот день. В программе четвертого дня были и другие, более

серьезные вещи: Тому предстояло впервые председательствовать в государственном совете и высказывать свои желания и мысли по поводу той политики, какой должна придерживаться Англия в отношении разных государств, ближних и дальних, разбросанных по всему земному шару; в этот же день предстояло официальное назначение Гертфорда на высокий пост лорда-протектора, и еще много важного должно было совершиться в тот день. Но для Тома все это было ничто в сравнении с пыткой, ожидавшей его на публичном обеде, когда он будет одиноко сидеть за столом, под множеством устремленных на него любопытных взглядов, в присутствии множества ртов, шепотом высказывающих разные замечания о его малейшем движении и о его промахах, если ему не повезет и он сделает какие-нибудь промахи.

Но ничто не могло задержать наступления четвертого дня, и вот этот день наступил. Он застал бедного Тома угнетенным, рассеянным; дурное состояние духа держалось очень долго: Том был не в силах стряхнуть с себя эту тоску. Обычные утренние церемонии показались ему особенно тягостными. Он снова почувствовал, как удручает его вся эта жизнь в плену.

Незадолго до полудня его привели в обширный аудиенц-зал, где он в беседе с графом Гертфордом должен был ждать, пока пробьет условленный час официального приема первых сановников и царедворцев.

Немного погодя Том подошел к окну и стал с интересом всматриваться в кипучую жизнь большой дороги, проходившей мимо дворцовых ворот. О, как бы ему хотелось принять участие в ее бойкой и привольной суете! Вдруг он увидел беспорядочную толпу мужчин, женщин и детей низшего, беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге.

— Хотел бы я знать, что там происходит! — воскликнул он с тем любопытством, которое подобные события всегда пробуждают в мальчишеских душах.

— Вы — король... — низко кланяясь, сказал ему граф. — Ваше величество разрешит мне выполнить ваше желание?

— Да, пожалуйста! Еще бы! С удовольствием! — взволнованно крикнул Том и про себя добавил, чрезвычайно обрадованный: «По правде говоря, быть королем не так уж и плохо: тяготы этого звания нередко возмещаются разными выгодами».

Граф кликнул пажа и послал его к начальнику стражи:

— Пусть задержат толпу и узнают, куда она бежит и зачем. По приказу короля...

Несколько минут спустя многочисленный отряд королевских гвардейцев, сверкая стальными доспехами, вышел гуськом из ворот и, выстроившись на дороге, преградил путь толпе. Посланный вернулся и доложил, что толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь за преступления, совершенные ими против спокойствия и величия английской державы.

Смерть, люта́я смерть ожидает троих несчастных! В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства; он не подумал о нарушении закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам, — он не мог думать ни о чем, кроме виселицы и страшной судьбы, ожидающей осужденных на казнь. От волнения он даже забыл на минуту, что он не настоящий король, а поддельный, и, прежде чем он успел подумать, из уст его вырвалось приказание:

— Привести их сюда!

Тотчас же он покраснел до ушей и уже хотел было попросить извинения и отменить свой приказ, но, заметив, что ни граф, ни дежурный паж не удивились его словам, промолчал. Паж, как ни в чем не бывало, отвесил низкий поклон и, пятясь, вышел из зала, чтобы исполнить королевскую волю. Том ощутил прилив гордости и еще раз сознался себе, что звание короля все же имеет свои преимущества.

«Право, — думал он, — все это очень похоже на то, о чем я недавно мечтал, читая старые книги отца Эндрью и воображая себя королем, который диктует законы и приказывает всем окружающим: сделайте то,

сделайте другое. Там — в моих мечтах — никто не смел послушаться меня».

Двери распахнулись; один за другим провозглашались громкие титулы, и входили вельможи, носившие их. Половина зала наполнилась знатью в великолепных одеждах. Но Том почти не признавал присутствия этих людей, так сильно он был взволнован, захваченный мыслью о совсем другом, более интересном. Он рассеянно опустился на трон и впился глазами в дверь, не скрывая своего нетерпения. Увидев это, собравшиеся лорды не решились тревожить его и стали тихонько шептаться о разных государственных делах вперемешку с придворными сплетнями.

Немного погодя послышалась мерная поступь солдат, и в зал вошли преступники в сопровождении помощника шерифа и взвода королевской гвардии. Помощник шерифа преклонил перед Томом колени и тотчас же отошел в сторону; трое осужденных тоже упали на колени, да так и остались; гвардейцы поместились за троном. Том с любопытством вглядывался в преступников. Какая-то подробность в одежде или в наружности мужчины пробудила в нем смутное воспоминание.

«Этого человека я как будто уже где-то видел, — подумал он, — но где и когда, не припомню».

Как раз в эту минуту преступник бросил быстрый взгляд на Тома и столь же быстро поник головой, ослепленный грозным блеском королевского величия; но для Тома было достаточно этой секунды, чтобы разглядеть его лицо.

«Теперь я знаю, — сказал он себе, — это тот самый незнакомец, который вытащил Джайлса Уитта из Темзы и спас ему жизнь в первый день Нового года; день был ненастный и ветреный... Благородный, самоотверженный подвиг! Жалко, что этот человек стал преступником и оказался сейчас в таком печальном положении. Я отлично помню, в какой день и даже в котором часу это было, потому что часом позже, когда на башне пробило одиннадцать, бабка Кенти задала мне такую отличную, восхитительно свирепую

трепку, в сравнении с которой все предыдущие и последующие могут показаться нежнейшей лаской».

Том приказал увести на короткое время женщину с девочкой и обратился к помощнику шерифа:

— Добрый сэр, в чем вина этого человека?

Шериф преклонил колено.

— Смею доложить вашему величеству, он лишил жизни одного из ваших подданных при помощи яда.

Жалость Тома к преступнику, а также восхищение героической смелостью, которую тот проявил при спасении тонувшего мальчика, потерпели жестокий удар.

— Его вина доказана? — спросил он.

— Вполне доказана, ваше величество!

Том вздохнул и сказал:

— Уведите его, он заслужил смерть... Это жаль, потому что еще недавно он был храбрецом... то есть... то есть... я хочу сказать, что у него такой вид...

Осужденный внезапно почувствовал прилив энергии и, в отчаянии ломая руки, стал умолять «короля» прерывистым, испуганным голосом:

— О великий король, если тебе жалко погибшего, сжался и надо мной! Я не виновен, улики против меня очень слабы... Но я говорю не об этом; суд надо мною уже совершен, и отменить приговор невозможно. Я умоляю только об одной милости, ибо та кара, на которую я осужден, выше моих сил. Пощады, пощады, о великий король! Окажи мне королевскую милость, внемли моей мольбе: дай приказ, чтобы меня повесили!

Том был поражен. Он не ожидал такой просьбы.

— Какая странная *милость*! Разве тебя ведут не на виселицу?

— О нет, мой добрый государь. Я осужден быть *заживо сваренным в кипятке*.

При этих неожиданных и ужасных словах Том чуть не спрыгнул с трона. Опомившись от изумления, он воскликнул:

— Будь по-твоему, бедняга! Если даже ты отравил сто человек, ты не будешь предан такой мучительной казни!

Осужденный припал головой к полу, изливаясь в страстных выражениях признательности, и закончил такими словами:

— Если когда-нибудь, боже избави, тебя постигнет беда, — пусть тебе зачтется твоя милость ко мне.

Том повернулся к графу Гертфорду:

— Милорд, можно ли поверить, чтобы этого человека осудили на такую жестокую казнь?

— Таков закон, ваше величество, для отравителей. В Германии фальшивомонетчиков варят живыми в кипящем масле, и не вдруг, а постепенно спускают их на веревке в котел — сначала ступни, потом голени, потом...

— О, пожалуйста, милорд, перестань, замолчи! Я не могу этого вынести! — воскликнул Том, закрывая лицо руками, чтобы отогнать ужасную картину. — Заклинаю тебя, милорд, отдай приказ, чтобы этот закон отменили!.. О, пусть никогда, никогда не подвергают несчастных людей таким пыткам.

Лицо графа выразило живейшее удовольствие; он был человек сострадательный и склонный к великодушным порывам, что не так часто встречалось среди знатных господ в то жестокое время. Он сказал:

— Благородные слова вашего величества — смертный приговор этому закону. Они будут занесены на скрижали истории к чести вашего королевского дома.

Помощник шерифа уже намеревался увести осужденного, но Том знаком остановил его.

— Добрый сэр, — сказал он. — Я хотел бы вникнуть в это дело. Человек говорит, что улики против него очень слабы. Скажи мне, что ты знаешь о нем?

— Осмелюсь доложить вашему королевскому величеству, на суде выяснилось, что человек этот входил в некий дом в селении Ислингтон, где лежал некий больной; трое свидетелей показывают, что это было ровно в десять часов утра, а двое — что это было несколькими минутами позже. Больной был один и спал; этот человек вскоре вышел и пошел своей дорогой, а час спустя больной умер в страшных муках, сопровождаемых рвотой и судорогами.

— Что же, видел кто-нибудь, как этот человек давал ему яд? Яд найден?

— Нет, ваше величество!

— Откуда же известно, что больной был отравлен?

— Осмелюсь доложить вашему величеству, доктора говорят, что такие признаки бывают только при отравлении.

Веская улика в то наивное время. Том сразу понял всю ее неотразимую силу и сказал:

— Доктора знают свое ремесло. Должно быть, они были правы. Плохо твое дело, бедняга!

— Это еще не все, ваше величество! Есть и другие, более тяжкие улики. Многие показали на суде, что колдунья, после того исчезнувшая из деревни неизвестно куда, предсказывала по секрету всем и каждому, что больному *суждено быть отравленным* и, больше того, что отраву даст ему незнакомый темноволосый прохожий в простом поношенном платье. Осужденный вполне подходит под эти приметы. Прошу ваше величество отнестись с должным вниманием к этой тяжелой улике, ввиду того что все это было *заранее предсказано*.

Довод подавляющей силы в те суеверные дни. Том почувствовал, что такая улика решает все дело, что вина бедняка доказана, если придавать какую-нибудь цену таким доказательствам. Но все же ему захотелось предоставить несчастному еще одну возможность обелить себя, и он обратился к нему со словами:

— Если можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори!

— Ничто меня не спасет, государь! Я невиновен, но доказать свою правоту не могу. У меня нет друзей, иначе я мог бы привести их в свидетели, что я даже не был тогда в Ислингтоне, ибо находился за целую милю от этого места, на Уоппинг-Олд-Стерс. Больше того, государь, — я мог бы доказать, что в то самое время, когда я, как они говорят, *загубил* человека, я *спас* человека. Утопающий мальчик...

— погоди! Шериф, назови мне тот день, когда было совершено преступление.

— В десять часов утра или несколькими минутами позже в первый день Нового года, мой августейший...

— Отпустить его на свободу, такова моя королевская воля!

Выговорив это, Том опять отчаянно покраснел и поспешил загладить, как мог, свой некоролевский порыв:

— Меня возмущает, — сказал он, — что человека могут вздернуть на виселицу из-за таких пустых и легковесных улик!

Шепот восхищения пронесся по залу. Восхищались не приговором, так как мало кто из присутствующих решился бы одобрить помилование уличенного отравителя, — восхищались умом и решимостью, проявленными в этом случае Томом. Слышались такие замечания, высказываемые вполголоса:

— Нет, он не сумасшедший, наш король! Он в полном рассудке.

— Как разумно он ставил вопросы... такое властное, крутое решение напоминает нам прежнего принца!

— Слава богу, его болезнь прошла! Это не слабый итенец, это король. Он держал себя, совсем как его покойный родитель.

Так как воздух был насыщен такими хвалебными возгласами, они не могли не дойти до ушей Тома; у него появилось ощущение непринужденности, и по всему его телу разлились какие-то приятные чувства.

Но вскоре молодое любопытство заставило его позабыть эти чувства: Тому захотелось узнать, какое кровавое преступление могли совершить женщина и маленькая девочка, и по его приказу обе они, испуганные и плачущие, предстали перед ним.

— А эти что сделали? — спросил он у шерифа.

— Разрешите доложить, ваше величество, что они уличены в гнусном преступлении, и виновность их ясно доказана. Судьи, согласно закону, приговорили их к повешению. Обе они продали душу дьяволу — вот в чем их преступление.

Том содрогнулся. Его приучили гнушаться людьми, которые общаются с дьяволом, но его отвращение было побеждено любопытством, и он спросил:

— Где же это было... и когда?

— В полночь, в декабре, в развалинах церкви, ваше величество.

Том опять содрогнулся.

— Кто был при этом?

— Только эти двое, ваше величество, и *тот, другой*.

— Они сознались в своей вине?

— Никак нет, государь, отрицают.

— В таком случае как же их вина стала известна?

— Некие свидетели, ваше величество, видели, как они входили туда. Это возбудило подозрение, которое потом подтвердилось. В частности, доказано, что при помощи власти, полученной ими от дьявола, они вызвали бурю, опустошившую всю окрестность. Около сорока свидетелей показали, что буря действительно была. Таких свидетелей нашлась бы и тысяча. Они все хорошо помнят бурю, так как все пострадали от нее.

— Конечно, это дело серьезное! — Том некоторое время молчал, размышляя о мрачных злодеяниях колдуний, и наконец спросил:

— А женщина тоже пострадала от бури?

Несколько старцев, присутствовавших в зале, закивали головами в знак одобрения мудрому вопросу. Но шериф, не подозревая, к чему клонится дело, просто-душно ответил:

— Точно так, ваше величество. Она пострадала, и, как все говорят, поделом... Ее жилище снесло ураганом, и она с ребенком осталась без крова.

— Дорого же она заплатила за то, чтобы сделать зло самой себе. Даже если бы она заплатила всего только фартинг, и то можно было бы сказать, что ее обманули; а ведь она загубила свою душу и душу ребенка. Следовательно, она сумасшедшая; а раз она сумасшедшая, она не знает, что делает, и, следовательно, ни в чем не виновна.

Старцы опять закивали головами, восхищаясь мудростью Тома. Один придворный пробормотал:

— Если слухи справедливы и король — сумасшедший, не мешало бы этим сумасшествием заразиться иному здоровому.

— Сколько лет ребенку? — спросил Том.

— Девягь лет, смею доложить вашему величеству.

— Может ли ребенок, по английским законам, вступать в сделки и продавать себя, милорд? — обратился Том с вопросом к одному ученому судье.

— Закон не позволяет малолетним вступать в какие-нибудь сделки или принимать в них участие, милосердный король, ввиду того что их незрелый ум не в состоянии состязаться с более зрелым умом и злоумышленными кознями старших. *Дьявол* может купить душу ребенка, если пожелает и если дитя согласится, — дьявол, но никак не англичанин... в последнем случае договор недействителен.

— Ну, это дикая выдумка, чуждая христианской религии! Как же может английский закон предоставлять дьяволу такие права, каких не имеет ни один англичанин! — воскликнул Том в благородном негодовании.

Этот новый взгляд на вещи вызвал у многих улыбку, и многие потом повторяли эти слова в придворных кругах в доказательство того, как самобытно мышление Тома и как проясняется его помутившийся разум.

Старшая преступница перестала рыдать и жадно, с возрастающей надеждой впивала в себя каждое слово. Том это заметил, и ему стало еще более жаль эту одинокую, незащищенную женщину, стоявшую на краю гибели. Он спросил:

— Что же они делали, чтобы вызвать бурю?

— *Они стаскивали с себя чулки, государь!*

Это изумило Тома и разожгло его любопытство до лихорадочной дрожи.

— Удивительно! — воскликнул он пылко. — Неужели это всегда производит такое страшное действие?

— Всегда, государь... по крайней мере если женщина того пожелает и произнесет при этом нужное заклинание — мысленно или вслух.

Том обратился к женщине со страстной настойчивостью:

— Покажи свою власть! Я хочу видеть бурю!

Щеки суеверных придворных внезапно побелели от страха, и у большинства явилось желание, хотя и не высказанное, уйти поскорее из зала; но Том ничего не заметил, он был всецело поглощен предстоящей ката-

строфой. Видя, что на лице у женщины написано удивление, он с горячим увлечением прибавил:

— Не бойся, за это ты не будешь отвечать. Больше того: тебя сейчас же отпустят на волю, и никто тебя пальцем не тронет. Покажи твою власть.

— О милостивый король, у меня нет такой власти... меня оговорили.

— Тебя удерживает страх. Успокойся. Тебе ничего не будет. Вызови бурю, хоть самую маленькую, — я ведь не требую большой и разрушительной, я даже предпочту безобидную, — вызови бурю, и жизнь твоя спасена: ты уйдешь отсюда свободная вместе со своим ребенком, помилованная королем, и никто во всей Англии не посмеет осудить или обидеть тебя.

Женщина простерлась на полу и со слезами твердила, что у нее нет власти совершить это чудо, иначе она, конечно, с радостью спасла бы жизнь своего ребенка и была бы счастлива потерять свою собственную, исполнив приказ короля, сулящий ей такую великую милость.

Том настаивал. Женщина повторяла свои уверения. Наконец Том произнес:

— Мне сдается, женщина сказала правду. Если бы моя мать была на ее месте и получила бы от дьявола такую волшебную силу, она не задумалась бы ни на минуту вызвать бурю и превратить всю страну в развалины, лишь бы спасти этой ценой мою жизнь! Надо думать, что все матери созданы так же. Ты свободна, добрая женщина, и ты и твое дитя, — ибо я считаю тебя невиновной. Теперь, когда тебе уже нечего бояться и ты прощена, сними с себя, пожалуйста, чулки, и если ты для меня вызовешь бурю, я дам тебе в награду много денег.

Спасенная женщина громко изъяснила свою благодарность и поспешила исполнить приказ короля. Том следил за ее действиями со страстным вниманием, которое слегка омрачилось тревогой: придворные стали явно выражать беспокойство и страх. Женщина сняла чулки и с себя и с ребенка и, очевидно, была готова сделать все от нее зависящее, чтобы землетрясением отблагодарить короля за его великодушную милость,

но из этого ровно ничего не вышло. Том был разочарован. Он вздохнул и сказал:

— Ну, добрая душа, перестань утруждать себя зря: видно, бесовская сила тебя покинула; если же когда-нибудь она вернется к тебе, пожалуйста не забудь обо мне — устрой для меня грозу¹.

Глава XVI

ПАРАДНЫЙ ОБЕД

Час обеда приближался, но — странное дело! — эта мысль почти не тревожила Тома и уже совсем не пугала его. Утренние события внушили ему веру в себя; бедный, испачканный сажей котенок за эти четыре дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком. Взрослому и в месяц не сделать бы подобных успехов. Никогда еще не проявлялось так явственно уменье детей легко приспособляться к обстоятельствам.

Поспешим же, — благо нам дано это право, — в большой зал для парадных банкетов и посмотрим, что там происходит в то время, как Том готовится к великому торжеству. Это обширный покой с золочеными колоннами и пилястрами, с расписными стенами, с расписным потолком. У дверей стоят рослые часовые, неподвижные, как статуи, в богатых и живописных костюмах; в руках у них алебарды. На высоких хорах, идущих вокруг всего зала, помещается оркестр; хоры битком набиты пышно разодетыми горожанами обоего пола. Посредине комнаты, на высоком помосте, стол Тома. Впрочем, предоставим опять слово летописцу:

«В зал входит джентльмен с жезлом в руке и вместе с ним другой, несущий скатерть, которую, после того как они трижды благоговейно преклонили колени, он постилает на стол; затем они оба снова преклоняют колени и удаляются. Тогда приходят двое других — один опять-таки с жезлом,^{*} другой с огромной солон-

¹ Смотри примечания к главе XV в конце книги. (Прим. автора.)

кой, тарелкой и хлебом. Подобно первым, преклонив колени, они ставят принесенное ими на стол и удаляются с теми же церемониями. Наконец приходят двое придворных, оба в великолепных одеждах, у одного из них в руках столовый нож; простершись трижды на ковре изящнейшим образом, они приближаются к столу и начинают тереть его хлебом и солью, причем они делают это с таким страхом и трепетом, как если бы за этим столом уже восседал король»¹.

Так заканчиваются торжественные приготовления к пиршеству. Но вот мы слышим в гулких коридорах звуки рога и далекий невнятный крик: «Дорогу королю! Дорогу его светлому величеству!» Эти звуки повторяются снова и снова, все ближе; наконец у самых наших ушей раздаются и эти возгласы, и эта военная музыка. Еще минута, и в дверях возникает великолепное зрелище: мерной поступью входит сверкающая пышная процессия. Пусть дальше опять говорит летописец:

«Впереди идут джентльмены, бароны, графы и рыцари, кавалеры ордена Подвязки. Все роскошно одеты, у всех обнаженные головы; далее шествует канцлер между двумя лордами: один несет королевский скипетр, а другой — государственный меч острием кверху, в красных ножнах с вытисненными на них золотыми лилиями. Далее идет сам король. При его появлении двенадцать труб и множество барабанов исполняют приветственный туш, а на хорах все встают и кричат: «Боже, храни короля!» Вслед за королем идут вельможи, приставленные к его особе, а по правую и по левую руку его — почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках».

Все это было красиво и очень приятно. Сердце Тома сильно билось, и в глазах светился веселый огонь. Все его движения были изящны. Это изящество достигалось именно тем, что Том не делал ни малейших усилий, чтобы достигнуть его, так как он был весь поглощен и очарован радостным зрелищем и мажорными звуками. Да и трудно ли быть изящным в красивом и

¹ Ли Хант, Город, стр. 408, цитата из старинных путевых записок. (Прим. автора.)

ловко шпиготом наряде, после того как ты уже успел привыкнуть к нему, — особенно в те минуты, когда этого наряда даже и не замечаешь. Помня данные ему наставления, Том отвечал на общие приветствия легким наклонением головы и милостивыми, благосклонными словами:

— Благодарю тебя, мой добрый народ!

Он сел за стол не снимая шляпы и нимало не смущаясь этой вольностью, так как обедать в шляпе был единственный царственный обычай, равно присущий и королям и Кенти. Свита короля разделилась на несколько живописных групп и осталась с непокрытыми головами.

Затем под звуки веселой музыки вошли королевские телохранители — «самые высокие и сильные люди во всей Англии, специально отобранные по этому признаку». Но опять-таки предоставим слово летописцу:

«Вошли гвардейцы-телохранители с непокрытыми головами, в алой одежде с золотыми розами на спине; они уходили и входили опять, всякий раз принося новые кушанья на золотых и серебряных блюдах. Эти блюда принимал некий джентльмен в том самом порядке, как их приносили, и ставил их на стол, между тем как лорд, предназначенный для отведывания блюд, давал каждому из телохранителей попробовать то кушанье, которое он только что принес, дабы удостовериться, что оно не отравлено».

Том отлично пообедал, хотя и сознавал, что сотни глаз впиваются в каждый кусок, который он кладет себе в рот, и с таким интересом глядят, как он разжевывает этот кусок, будто перед ним не еда, а взрывчатое вещество, угрожающее разнести его на мелкие части и разбросать по всему залу. Он старался быть очень медлительным в каждом движении и вдобавок не делать ничего самому, а ждать, пока специально предназначенный для этой цели придворный не опустится перед ним на колени и не сделает за него то, что надобно. В течение всего обеда Том ни разу не попал впросак — блистательный успех, без малейших изъянов.

Когда обед кончился и Том удалился в окружении пышной свиты под радостный стук барабанов, веселые звуки фанфар и громогласные приветствия толпы, он

почувствовал, что, хотя обедать публично не такое уж легкое дело, все же он готов претерпевать эту пытку по нескольку раз в день, если такою ценою он может избавиться от других, более неприятных и тяжких обязанностей своего королевского звания.

Глава XVII

КОРОЛЬ ФУ-ФУ ПЕРВЫЙ

Майлс Гендон торопливо прошел весь мост до саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего, в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далеко, как и прежде. Он поужинал в харчевне Табард и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким примерно образом:

«Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет! Потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один-единственный друг и защитник — Майлс Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гендон-холлу, так как знает, что Майлс держит путь туда, в свой родной дом. Да, дело ясное: надо не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монксгоlm, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике».

Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю.

Оборванец, который, по словам трактирного слуги,

подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, и на левый глаз был наклеен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк и через некоторое время вышел с ним на большую проезжую дорогу. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости. Он останется здесь.

Молодой человек сказал:

— Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит, раненный, в лесу? Ладно, оставайся!..

Король сразу заговорил по-другому.

— Раненый? — воскликнул он. — Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом, а сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!

Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу; время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни, полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. Никого! Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил:

— Где же он?

В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика, но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ними по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил:

— Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?

— Брось эти шутки и перестань бушевать! — сказал бродяга. — Не так уж хорошо я перерядился, чтобы ты не мог узнать родного отца.

— Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько расскаешься!

Джон Кенти ответил сурово и внушительно:

— Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя; но если ты вынудишь меня, я тебя накажу... Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обращать внимание на твои безумные речи, но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставляю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал, — меня зовут Джон Гоббс, а тебя — Джек; запомни это покрепче! А теперь отвечай: где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место; известно тебе, где они?

Король угрюмо ответил:

— Не приставай ко мне со своими загадками! Моя мать умерла; мои сестры во дворце.

Молодой человек чуть опять было не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника:

— Тихе, Гуго, не дразни его; он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся; сейчас я дам тебе поесть.

Гоббс и Гуго стали о чем-то тихо разговаривать между собой, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак, в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся, за неимением одеяла, соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем — утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир; при этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить, но для мальчика были связаны с этим именем

только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным, целебным сном.

Много времени спустя — он не мог сказать, сколько именно, — еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услышал над собой унылый частый стук дождя по крыше; ему стало хорошо и уютно; но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер; вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали вповалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища; были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные; были слепцы-нищие с повязками или пластырями на глазах; были калеки с костылями и деревяшками; больные с гноящимися, кое-как перевязанными ранами; был подозрительного вида разносчик со своим коробом; точильщик ножей, лудильщик, цирюльник — каждый со своим инструментом; были молоденькие девушки, почти еще дети, были взрослые женщины в расцвете сил и старые, сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались; все они были грязны и неряшливы; было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах и несколько голодных собак с веревками на шее: они служили слепцам поводырями.

Ночь уже наступила, пир только что кончился, начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик:

— Песню! Песню! Пой, Летучая мышь! Пой, Дик,
и ты, Безногий!

Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, а вся орава нестройно подхватывала припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусавыми звуками, что даже стропила задрожали.

Вот как примерно звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена:

Притон, прощай, не забывай,
Уходим в путь далекий.
Прощай, земля, нас ждет петля
И долгий сон, глубокий.

Нам предстоит висеть в ночи,
Качаясь над землею,
А нашу рухлядь палачи
Поделят меж собою¹.

Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке, — он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком, но и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время, и когда он объявил, что «случайно» убил человека, все остались довольны; когда же он прибавил, что убитый — священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он «шатался столько месяцев», на что он ответил:

— В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие

¹ Заимствовано из книги «Английский бродяга», изданной в Лондоне в 1665 году. (Прим. автора.)

строгие и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уже совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал.

Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил:

— Двадцать пять овчин, верстаков, напилков, кулаков, корзинщиков, да еще старухи и девки. Большинство здесь. Остальные пошли на восток, по зимней дороге; на заре и мы пойдем за ними.

— В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он?

— Бедняга, он теперь в преисподней, питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке.

— Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный.

— Правильно! Черная Бэсс, его подруга, все еще с нами, но только сейчас ее нет — ушла на восток бродяжить. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения: никто не видал ее пьяной больше четырех раз в неделю.

— Она всегда себя держала строго, я помню; хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распуценнее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха и злющая, но зато умна, как черт.

— Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь; до последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг старой ее головы. Я говорю — она всех кляла и ругала. А уж ругалась она — можно тысячу лет прожить и не услышать такой мастерской ругани! Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь.

Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственно вздохнули; на минуту компания приуныла, так как

даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби — в таких, например, случаях, как этот, когда талант и искусство погибают, ни к кому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного вкруговую, скоро рассеял их тоску.

— А больше никто не попался из наших приятелей? — спросил Гоббс.

— Кое-кто попался. Чаще всего попадают новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечьи пастбища. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стегают плетью до крови; забьют в колоду и высекут; он опять идет просить милостыню, — его опять угостят плетью и отрежут ему ухо; за третью попытку к нищенству — а что ему, бедняге, остается делать? — его клеймят раскаленным железом и продают в рабство; он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился и еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокел, Бэрнс и Годж, покажите ваши украшения!

Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми, зажившими рубцами от плетей; один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо; другой показал клеймо на плече — букву V, и изувеченное ухо; третий сказал:

— Я Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем... Жена и ребята померли; может, они в раю, а может, и в аду, но только, слава богу, не в *Англии*! Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб; один больной умер, доктора не знали с чего, — и мою мать сожгли на костре как ведьму, а мои ребятки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон! Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада! Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить из дома в дом,

прося милостыню, таская за собою голодных ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах.. Выпьем еще раз за милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребяташки... ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетями из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, — один только глоток, один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла! Я опять стал жить подаванием; протягивал руку за черствой коркой, а получил колодки и потерял одно ухо, — смотрите, видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню — и вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе; но все же я продолжал просить, и наконец меня продали в рабство — вот на моей щеке под этой грязью клеймо; если смыть эту грязь, вы увидите красное R, выжженное раскаленным железом! Раб! Понятно ли вам это слово? *Английский раб!* Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают — будь проклята страна, создавшая такие законы! — я буду повешен¹.

Звонкий голос прозвучал в темноте:

— Ты не будешь повешен! С нынешнего дня этот закон отменяется!

Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидели быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля; когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы:

— Кто это? Что это? Кто ты такой, малыш?

Нимало не смущаясь этих удивленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством:

— Я Эдуард, король Англии.

Раздался дикий хохот, не то насмешливый, не то восторженный, — уж очень забавна показалась шутка. Король был уязвлен, он сказал резко:

¹ Смотри примечание 10 в конце книги. (*Прим. автора*)

— Вы невоспитанные бродяги! Так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал!

Он бранил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний. Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать крикунов, и наконец это ему удалось. Он сказал:

— Друзья, это мой сын, мечтатель, дурак, помешанный; не обращайтесь на него внимания: он воображает, что он король.

— Разумеется, я король, — обратился к нему Эдуард, — и ты в свое время убедишься в этом себе на горе. Ты сознался, что убил человека, тебя вздернут за это на виселицу.

— Ты задумал выдать меня? Ты? Да я своими руками...

— Потихе, потихе! — прервал его силач атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса наземь. — Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов? Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сук. — Потом обернулся к его величеству: — А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе сдуру пришла такая охота, но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена: мы, может быть, дурные люди и кое в чем поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю; все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом: да здравствует Эдуард, король Англии!

— Да здравствует Эдуард, король Англии!

Клич оборванцев прогремел, как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью, он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой:

— Благодарю тебя, мой добрый народ.

Этот неожиданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно:

— Брось это, мальчик, это неумно и нехорошо... Если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул.

Лудильщик громко предложил:

— Фу-фу Первый, король дураков!

Титул сразу понравился, и все заорали, надрывая глотку:

— Да здравствует Фу-фу Первый, король дураков!

Они гикали, свистели, мяукали, хохотали.

— Тащите его сюда, мы его коронуем!

— Мантию ему!

— Скипетр ему!

— На трон его!

Все эти возгласы и двадцать других посыпались разом, и не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными, грязными рукавами и передниками:

— Смилуйся над нами, о сладчайший король!

— Не попирай ногами твоих ничтожных червей, о благородный монарх!

— Сжался над твоими рабами и осчастливь их королевским пинком!

— Приласкай и пригрей нас лучами твоей милости, о палящее солнце единовластия!

— Освяти землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными!

— Удостой плюнуть на нас, о государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости!

Но самую удачную шутку отколол весельчак лудильщик. Преклонив колени, он сделал вид, что целует ногу короля; тот с негодованием оттолкнул его ногой; тогда лудильщик стал подходить к каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице, которого коснулась королевская ножка, говоря, что после такой чести оно не должно подвергнуться

грубому влиянию воздуха и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по сто шиллингов за один взгляд. Это было так утомительно, что вся орава млела от восхищения и зависти.

Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха. «Если б я их тяжко обидел, они не могли бы поступить со мной более жестоко; но я обещал им милость, — и вот как они отблагодарили меня!»

Глава XVIII

ПРИНЦ У БРОДЯГ

Вся орава поднялась на рассвете и двинулась в путь. Над головой низко нависло небо, земля под ногами была скользкая, в воздухе веяло зимним холодом. Шайка приуныла; одни были угрюмы и молчаливы, другие сердиты и раздражительны; все были не в духе, каждому хотелось опохмелиться.

Атаман отдал Джека на попечение Гуго, коротко приказав Джону Кенти держаться в стороне и оставить сына в покое; а Гуго он велел не слишком грубо обращаться с мальчиком.

Мало-помалу погода стала лучше, тучи поднялись выше. Бродяги больше не дрожали от холода и воспрянули духом. Постепенно они развеселились, принялись зубоскалить и задевать прохожих, попадавшихся им навстречу. Это означало, что они снова стали ценить жизнь и ее радости. Их, очевидно, боялись: все уступали им дорогу и смиренно переносили их дерзости и насмешки, не осмеливаясь огрызнуться. Они снимали с изгороди развешанное для просушки белье, иногда на глазах у владельцев, которые не только не возражали, но даже были как будто благодарны, что бродяги не захватили и изгороди.

Вскоре они вторглись к небогатому фермеру и расположились как дома, пока дрожащий от страха хозяин и его домашние опустошали кладовую, чтобы приготовить им завтрак. Они трепали по подбородку

фермершу и ее дочерей, когда те подносили им кушанья, и с хохотом, похожим на лошадиное ржание, обзывали их обидными прозвищами. Они швыряли кости и овощи в фермера и его сыновей, заставляя их увертываться, и шумно хлопали в ладоши, когда попадали в цель. В конце концов они вымазали маслом голову одной из хозяйских дочек, возмущившейся их наглыми шутками. Уходя, они грозились прийти опять и сжечь дом вместе с хозяевами, если те посмеют донести об их проделках властям.

Около полудня, после долгой и утомительной ходьбы, орава сделала привал под изгородью, за околицей довольно большой деревни. Часок отдохнули, а потом бродяги разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню с нескольких концов одновременно и заняться каждому своим ремеслом. Джека послали с Гуго. Они побродили по улице, и наконец Гуго, не находя, к чему приложить свое искусство, сказал:

— Нечего украсть. Жалкая деревушка. Нам придется просить милостыню.

— *Нам?* Ну уж нет! Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану.

— Ты не станешь просить милостыню? — воскликнул Гуго, с удивлением вытаращив глаза на короля. — Скажи, с каких это пор ты так переменялся?

— Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах.

— Я? Глупец!

— Побереги свои любезности — надолго хватит. Твой отец говорит, что ты всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет? Может, ты даже отважишься *утверждать*, что он врет? — поддразнивал Гуго.

— Это *его* ты называешь моим отцом? Да он солгал.

— Ну ладно, приятель! Будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим; повеселился — и хватит, а то как бы не нажить беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдерет.

— Можешь не трудиться, я и сам ему скажу.

— Мне нравится твоя храбрость, ей-богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно, незачем их добывать самому. Но довольно об этом! Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать, не сомневаюсь, что он и врет при случае, — и лучшие из нас это делают; но тут ему незачем врать. А умный человек не тратит даром такой полезной вещи, как ложь! Но если тебе не нравится просить милостыню, чем же мы займемся? Будем обворовывать кухни?

Король сказал раздраженно:

— Брось болтать глупости, ты мне надоел!

Гуго рассердился.

— Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню; будь по-твоему. Но вот что я заставляю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих. Посмей только отказать!

Король презрительно посмотрел на него и хотел что-то возразить, но Гуго перебил его:

— Тсс! Вот идет человек с добрым лицом. Я сейчас упаду наземь, будто в припадке. Когда этот человек подбежит ко мне, ты начини вопить, упав на колени, притворись, будто плачешь, кричи, словно дьяволы у тебя в брюхе, и скажи: «О сэр, это мой бедный, горемычный брат, у нас нет друзей. Именем господи заклинаю тебя. будь милосерд, сжался над больным, всеми брошенным, несчастным бедняком, удели одно маленькое пенни от избытка твоего обиженному богом, погибающему человеку!» И помни: не переставай выть и не унимайся, покуда не выманишь у него пенни, иначе плохо тебе будет.

И Гуго тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте; а когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшные мученья.

— О боже! — воскликнул добрый прохожий. — Ах, бедняга, как он страдает! Я помогу тебе.

— Ах, нет, добрый сэр, не трогай меня, — пошли тебе господи всякого благополучия! Мне страшно

больно, когда до меня дотрагиваются во время припадка. Вот мой брат расскажет твоей милости, что со мной делается, когда меня начинает вот этак корчить. Дай пенни, добрый сэр, и оставь меня мучиться.

— Одно пенни! Да я дам тебе целых три, бедный ты человек!

И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги.

— Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье! Пойди сюда, мальчик, помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где...

— Он вовсе мне не брат... — перебил его король.

— Как! Он тебе не брат?

— Вот! Вы слышите? — застонал Гуго, скрежеща на короля зубами. — Он отрекается от родного брата, от брата, который одной ногой стоит в могиле!

— Если он твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик! Как тебе не стыдно! Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой! Если он не брат тебе, кто же он тогда?

— Нищий и вор! Он взял у тебя деньги и в это самое время залез к тебе в карман. Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам, в остальном можешь положиться на бога.

Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока не очутился вне опасности. Он свернул на первую попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собой. Несколько часов он торопливо шел, поминутно с тревогой оглядываясь, не гонятся ли за ним; но наконец страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его. Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать и грубо выгнали вон: его одежда не внушала доверия.

Разгневанный и оскорбленный, он поплелся дальше, решив, что впредь не станет подвергать себя таким унижениям. Но голод сильнее гордости, и под вечер

он еще раз попытался найти приют на ферме; здесь его, однако, приняли еще хуже: изругали и посулили задержать как бродягу, если он не уберется сейчас же.

Наступила ночь, темная и холодная. А король все еще ковылял на усталых ногах. Ему поневоле приходилось идти и идти: едва он присаживался, холод пронизывал его до костей. Все чувства и впечатления во время этого странствия в торжественном мраке ночи по пустынным дорогам и полям были для него новы и странны. Временами он слышал голоса — они приближались, звучали совсем близко и постепенно замирали. Он не мог рассмотреть людей, а видел только неясные, скользкие тени; в этом было что-то призрачное, жуткое, и он вздрагивал от страха. Иногда он видел мерцающий свет вдали — словно в ином мире; иногда слышал звяканье овечьего колокольчика, далекое, неясное; приглушенное мычание коров, долетавшее до него с ночным ветром, было полно уныния; по временам из-за невидимых полей и лесов доносился жалобный вой собаки. Все звуки доносились издалека; и маленькому королю казалось, что все живое отступило от него вдаль, что он стоит, одинокий, затерянный, посреди беспредельной пустыни.

Он спотыкался, но все шел и шел. Мрачное обаяние этих новых впечатлений охватило его. Порою над головой у него чуть слышно шелестела сухая листва, и он вздрагивал от этого шороха, — ему казалось, что это шепчутся какие-то люди. Он шел и шел, пока наконец внезапно не увидел совсем близко свет жестяного фонаря. Он отпрянул назад, в тень, и стал ждать. Фонарь стоял возле сарая, у отворенной двери. Король подождал немного — ни звука, ни шороха. Он так озяб, а гостеприимный сарай так манил к себе, что наконец он решился войти. Быстро, бесшумно прокравшись к двери, он переступил порог и в ту же минуту услышал за собой голоса; он поскорее юркнул за бочку и присел на корточки. Вошли два батрака с фонарем и, болтая, принялись за работу. При свете фонаря король успел рассмотреть внутренность сарая и, заметив на другом конце его что-то вроде большого стойла, решил добраться до него, когда останется один; он заметил

также, что на полпути к стойлу лежит груда попон, и твердо вознамерился заставить их послужить этой ночью короне Англии.

Батраки кончили работать и ушли, забрав фонарь и заперев за собою двери. Дрожащий от холода король, спотыкаясь в потемках, поспешно добрался до попон, захватил их сколько мог и затем благополучно проскользнул к стойлу. Из двух попон он устроил себе постель, а остальными двумя укрылся. Теперь он был счастливым королем, хотя его одеяла были стары, тонки и не очень грели, да вдобавок от них еще противно пахло лошадиным потом.

Король продрог, его мучил голод, но все же он так устал, что вскоре его охватила дремота. Однако как раз в ту минуту, когда он готов был заснуть по-настоящему, он ясно почувствовал, что кто-то дотронулся до него! Он сразу проснулся и затаил дыхание. У него чуть сердце не лопнуло, так испугало его это таинственное прикосновение в темноте. Он лежал неподвижно и прислушивался, едва дыша. Но все было безмолвно и недвижимо. Он слушал, как ему казалось, очень долго, но все по-прежнему было безмолвно и недвижимо. Он опять погрузился в дремоту; и вдруг снова ощутил таинственное прикосновение! Как ужасно прикосновение чего-то беззвучного и невидимого! Мальчик почувствовал безумный страх. Что ему делать? Это был вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Покинуть это довольно удобное ложе и бежать от неведомого врага? Но куда бежать? Из сарая все равно выбраться нельзя — он заперт; а бродить в темноте из угла в угол в четырех стенах, как в тюрьме, когда за тобою скользит невидимый призрак, который может каждую минуту дотронуться до твоего плеча или руки, — нет, это еще страшнее. Но лежать всю ночь, умирая от страха, разве это лучше? Нет. Что же тогда делать? Он хорошо знал, что ему оставалось только одно: протянуть руку и выяснить наконец, кто к нему прикасался.

Это легко было решить, но трудно выполнить. Три раза он робко протягивал руку впотьмах и тотчас же судорожно отдергивал ее назад, — не потому, что она

прикоснулась уже к чему-нибудь, а потому, что он чувствовал, что она сейчас к чему-нибудь прикоснется. Но на четвертый раз он протянул руку немного дальше, и рука его слегка дотронулась до чего-то теплого и мягкого. Он окаменел от ужаса: ум его был в таком смятении, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но он ошибся, не зная непобедимой силы человеческого любопытства. Скоро его рука, дрожа, уже опять тянулась в ту сторону — настойчиво тянулась, наперекор его решению, почти против воли. Он нащупал пучок длинных волос. Он вздрогнул, но провел рукой по волосам и дотронулся до чего-то, похожего на теплую веревку; провел рукой по веревке и нащупал — невиннейшего тельца! Веревка была вовсе не веревкой, а телячьим хвостом.

Королю стало стыдно, что он натерпелся столько страхов и мучений из-за таких пустяков; но, по правде говоря, ему нечего было особенно стыдиться: он ведь испугался не тельца, а чего-то страшного, несуществующего, что он представил себе вместо тельца; всякий другой мальчик в те суеверные времена испугался бы не меньше его.

Король был в восторге не только оттого, что страшное чудовище оказалось простым тельцем, но и оттого, что у него нашелся товарищ; он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что даже близость этого смиренного животного была ему отрадна. Люди так обижали его, так грубо с ним обходились, что для него было поистине утешением обрести наконец товарища, у которого хотя и нет глубокого ума, но по крайней мере доброе сердце и кроткий нрав. Он решил позабыть о своем высоком сане и подружиться с тельцем.

Поглаживая рукой его теплую гладкую спинку, — тельце лежал совсем близко, — король сообразил, что новый друг может сослужить ему службу. Он взял свою постель и подтащил ее поближе к тельцу; потом свернулся клубочком, опустив голову на спину тельца, натянул попону на себя и на своего друга, — и через минуту ему было так же тепло и удобно, как на пуховиках в королевском дворце в Вестминстере.

И сразу пришли приятные мысли, жизнь стала казаться радостнее. Он уже больше не слуга преступников, он избавлен от общества низких и грубых бродяг; над головой его крыша, ему тепло, — словом, он счастлив. Дул ночной ветер; он налетал порывами, от которых дрожал и трясся старый сарай, замирал, потом снова стонал и выл по углам и под крышей. Но все это было музыкой для короля теперь, когда ему стало хорошо и удобно; пусть дует и злится ветер, пусть плачет, свистит и стонет — ему все равно. Он только сильнее прижимался к своему другу, наслаждаясь теплом, и незаметно уснул блаженным сном без сновидений, ясным и мирным. Вдали заливались собаки, печально мычали коровы, бушевал ветер, дождь яростно стучал по крыше, а его величество, властитель Англии, безмятежно спал; и рядом с ним спал теленок, простое создание, равнодушное к бурям и не стесняющееся спать рядом с королем.

Глава XIX

ПРИНЦ У КРЕСТЬЯН

Проснувшись рано утром, король заметил, что мокрая, но догадливая крыса прокралась ночью к нему и приютилась у него на груди. Когда он пошевелился, крыса убежала. Мальчик с улыбкой сказал:

— Глупая, чего ты боишься? Я такой же бездомный, как и ты. Стыдно мне было бы обидеть незащитного, когда я сам незащищен. Я признателен тебе за доброе предзнаменование: когда король опустил так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя.

Он встал, вышел из стойла и в ту же минуту услышал детские голоса. Дверь сарая отворилась, и вошли две маленькие девочки. Заметив короля, они сразу перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, разглядывая его с большим любопытством; потом

пошептались, потом подошли ближе и опять остановились, опять поглядели на него и опять зашептались. Мало-помалу они набрались храбрости и начали говорить о нем довольно громко. Одна сказала:

— У него лицо красивое.

Другая прибавила:

— И волосы кудрявые.

— Но одет он очень скверно.

— И какой голодный на вид!

Они подошли ближе, застенчиво обошли несколько раз вокруг него, внимательно его рассматривая, словно он был каким-то странным, невиданным зверем, боязливо и зорко наблюдая за ним, как бы боясь, что этот зверь, чего доброго, укусит. В конце концов они остановились перед ним, держась за руки, как бы ища защиты друг у дружки, и вытаращили на него свои простодушные глазенки; потом одна из них, набравшись храбрости, напрямик спросила:

— Кто ты, мальчик?

— Я король, — ответил он с достоинством.

Девочки слегка отшатнулись, широко раскрыв глаза, и полминуты не могли выговорить ни слова; потом любопытство взяло верх.

— Король? Какой король?

— Король Англии.

Девочки посмотрели друг на дружку, потом на него, потом опять друг на дружку — удивленно, смущенно. Затем одна из них сказала:

— Ты слышишь, Марджери? Он говорит, что он король. Может ли это быть правдой?

— Как же это может быть неправда, Присси? Разве он станет лгать? Ведь ты понимаешь, Присси, если это не правда, значит это ложь. Подумай как следует. Все, что не правда, то — ложь; с этим уж ничего не поделаешь.

Довод был здравый и неопровержимый; сомнения Присси сразу рассеялись.

Она подумала минутку, положила на честность короля и бесхитростно сказала:

— Если ты вправду король, я тебе верю.

— Я вправду король.

Таким образом дело уладилось. Королевское звание его величества было признано без дальнейших споров, и девочки принялись расспрашивать его, как он попал сюда, и почему он так не по-королевски одет, и куда он идет. Король и сам был рад отвести душу — рассказать о своих злоключениях кому-нибудь, кто не станет смеяться над ним или сомневаться в правдивости его слов; он с жаром рассказал свою историю, на время позабыв даже о голоде, и добрые девочки выслушали его с глубоким сочувствием. Но когда он дошел до последних своих несчастий и они узнали, как давно он ничего не ел, они перебили его на полуслове и потащили домой, чтобы поскорее накормить.

Теперь король был счастлив и весел.

«Когда я вернусь во дворец, — говорил он себе, — я буду всегда заботиться о маленьких детях, в память того, как эти девочки не испугались меня и поверили мне, когда я был в несчастье, а те, кто старше их и считают себя умнее, только издевались надо мною, выставляя меня лжецом».

Мать девочек приняла короля участливо: ее доброе женское сердце было тронуто горькой долей бездомного мальчика, да еще вдобавок помешанного. Она была вдова и далеко не богата, сама натерпелась довольно горя и потому умела сочувствовать несчастным. Она вообразила, что помешанный мальчик убежал от своих родных или сторожей, и все допытывалась, откуда он пришел, чтобы вернуть его домой; она называла соседние города и деревни, но все ее расспросы были напрасны. По лицу мальчика и по его ответам она видела, что ему незнакомо то, о чем она говорит. Он просто и охотно говорил о придворной жизни, раза два всплакнул, вспомнив о покойном короле, «своем отце», но как только разговор переходил на более низменные темы, мальчик становился безучастным и умолкал.

Женщина была озадачена, но не сдалась. Хлопоча у очага, она пускалась на всевозможные хитрости, чтобы выведать, кто такой этот мальчик. Она заговорила с ним о коровах — он остался равнодушен; завела речь об овцах — то же самое; таким образом, ее догадки насчет

того, что он был пастухом, оказались ошибочными; она заговорила о мельниках, о ткачах, лудильщиках, кузнецах, о всевозможных мастерствах и ремеслах; потом о сумасшедшем доме, о тюрьмах, о приютах — напрасно: она всюду потерпела поражение. Впрочем, нет; может быть, он чей-нибудь слуга? Да, теперь она была уверена, что нашла на верный след: без сомнения, он служил в каком-нибудь доме. Она завела об этом разговор. Но и тут ничего не добилась: разговор о подметании комнат и топке очага, видно, тяготил мальчишка; чистка посуды не вызывала в нем никакого восторга. Тогда добрая женщина, уже теряя надежду, на всякий случай заговорила о стряпне. К великому ее удивлению и радости, лицо короля вдруг просияло! Ага, наконец-то она поймала его; она была горда, что добилась этого так проницательно и политично. Ее уставший язык мог наконец отдохнуть, потому что король, вдохновленный пожирающим его голодом и соблазнительным запахом, исходившим от брызгающих пеною горшков и кастрюль, пустился в долгие красноречивые описания разных лакомых блюд. Через три минуты женщина уже говорила себе: «Ну конечно, я была права: он работал на кухне!»

А король называл все новые и новые блюда и обсуждал их с таким воодушевлением и знанием дела, что женщина думала:

«Откуда он знает столько кушаний, да еще таких мудреных, которые подают за столом только у богачей и вельмож? А, понимаю! Теперь он оборванец, но прежде, пока не свихнулся, служил, должно быть, во дворце. Да, наверно он работал на кухне у самого короля! Надо испытать его!»

Чтобы проверить свою догадку, она велела королю присмотреть за кушаньем, намекнув, что он может и сам постряпать, коли у него есть охота, и приготовить одно-два блюда лишних. Потом вышла из комнаты, сделав знак своим дочкам следовать за нею.

Король пробормотал:

— В былые времена такое же поручение было дано другому английскому королю, нет ничего унижительного для моего достоинства заняться делом, до которого сни-

зошел сам Альфред Великий. Но я постараюсь лучше него оправдать доверие своей хозяйки, так как у него лепешки подгорели.

Намерение было доброе, но исполнение оказалось много хуже; скоро и этот король, как и тот — в былые времена, углубился в свои мысли, и случилась та же беда: кушанье подгорело. Женщина вернулась вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели, и быстро вывела короля из задумчивости, обругав его на совесть и без всяких церемоний. Затем, видя, что он сам огорчен тем, что не оправдал ее доверия, смягчилась и опять стала доброй и ласковой.

Мальчик вкусно и сытно позавтракал и после еды прибодрился и повеселел. Этот завтрак был замечателен тем, что и хозяйка и гость относились друг к другу снисходительно, забывая о высоте своего звания; и в то же время ни гость не сознавал, что ему оказывается милость, ни хозяйка. Женщина собиралась покормить этого бродягу объедками где-нибудь в уголке, как кормят бродяг или собак, но ее мучила совесть, что она изругала его, ей хотелось чем-нибудь это загладить, и она посадила его за один стол с собою и своими детьми и — умышленно подчеркивая это — обращалась с ним как с равным. Король со своей стороны укорял себя за то, что не оправдал доверия семьи, которая отнеслась к нему так ласково, и решил искупить свою вину, снизойдя к ним и не требуя, чтобы фермерша и дети стояли и прислуживали ему, в то время как он будет восседать один за столом, как приличествует его сану и званию. Каждому из нас полезно иногда отложить в сторону свое чванство. Добрая женщина весь день была счастлива, хваля себя за свое снисхождение к маленькому бродяге, а король тоже был доволен собой, потому что подарил своим благоволением простую крестьянку.

Когда завтрак был съеден, фермерша велела королю вымыть посуду; это в первую минуту смутило его, и он хотел было отказаться, но потом сказал себе: «Альфред Великий присматривал за лепешками; без сомнения, он вымыл бы и посуду, если бы его о том попросили. Попробую-ка и я!»

Проба оказалась неудачной; он был очень изумлен, так как думал, что вымыть деревянные ложки и миски — пустое дело. Занятие это оказалось скучным и хлопотливым, однако король кое-как справился. Ему уже не терпелось продолжать путь, но отделаться от домовитой фермерши было не так-то легко, она давала ему то одну, то другую работу, и он все исполнял добросовестно и довольно успешно. Между прочим, она посадила его вместе с девочками чистить зимние яблоки, но это у него не ладилось, тогда она велела ему наточить кухонный нож, потом заставила его расчесывать шерсть, — и он скоро решил, что давно перещеголял доброго короля Альфреда в разных показных геройствах, которые выходят такими замечательными в рассказах и исторических книгах, — словом, что с него достаточно. И когда после обеда фермерша дала ему корзинку с котятками и велела их утопить, он отказался. Вернее, он собирался отказаться, так как чувствовал, что надо же где-нибудь поставить точку и что удобнее всего отказаться именно топить котят, — но ему помешали. Помешали Джон Кенти с коробом разносчика за спиной и Гуго!

Король увидел обоих негодяев, приближавшихся к воротам, прежде чем они успели его заметить; не сказав ни слова, он взял корзинку с котятками и тихонько вышел в заднюю дверь. Котят он оставил в сених, а сам пустился во всю прыть по узкому переулку.

Глава XX

ПРИНЦ И ОТШЕЛЬНИК

Теперь он был скрыт от дома высокой изгородью. В смертельном страхе он напряг все силы и помчался к далекому лесу. Он ни разу не оглядывался до тех пор, пока не достиг лесной опушки; тогда он оглянулся и увидел вдали двух мужчин. Этого было достаточно, он не стал рассматривать их, а поспешил дальше и не убавлял шага, пока не очутился в сумрачной чаще леса.

Тут только он остановился, полагая, что теперь он в безопасности. Он чутко прислушался — кругом стояла глубокая, торжественная тишина — тяжелая тишина, угнетающая душу. Лишь изредка, напрягая слух, он различал звуки, но такие отдаленные, глухие и таинственные, что казалось, то были не настоящие звуки, а лишь их стонущие и плачущие призраки. Эти звуки были еще страшнее той тишины, которую они нарушали.

Вначале он хотел до самого вечера не двигаться с места, но от бега он вспотел, и теперь ему стало холодно; пришлось идти, чтобы согреться ходьбой. Он пустился напрямик через лес, надеясь выйти где-нибудь на дорогу, но ошибся. Он все шел и шел; но чем дальше, тем, казалось, гуще становился лес. Стемнело, и король понял, что скоро наступит ночь. Он содрогнулся при мысли, что ему придется заночевать в таком жутком месте; он стал торопиться, но от этого двигался еще медленнее, так как в полутьме не видел, куда ступает, и то и дело спотыкался о корни, запутывался в ветках и колючих кустах.

Как он обрадовался, когда наконец увидел слабый огонек! Он осторожно подошел к огоньку, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться. Этот огонек светился в оконце убогой маленькой хижинки. Оконце было без стекол. Король услышал голос и хотел убежать и спрятаться, но, поняв, что тот, кому принадлежал голос, молится, передумал. Он подкрался к окну, единственному во всей хижине, приподнялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комната была маленькая, с земляным полом, плотно утоптанном; в углу было устроено ложе из камыша, покрытое изодранными одеялами; тут же у постели виднелись ведро, кружка, миска, несколько горшков и сковородок; рядом невысокая скамейка и табурет о трех ножках; в очаге догорало пламя. Перед распятием, освещенным одною только свечой, стоял на коленях старик, а возле него, на старом деревянном ящике, рядом с человеческим черепом лежала раскрытая книга. Старик был большой, костистый; волосы и борода у него были очень длинные и белые, как снег; на нем было одеяние из овечьих шкур, ниспадавшее от шеи до пят.

«Святой отшельник! — сказал себе король. — Накопец-то мне повезло».

Отшельник поднялся с колен. Король постучался. Низкий голос ответил:

— Войди, но оставь грех за порогом, потому что земля, на которую ты ступишь, священна!

Король вошел и остановился. Отшельник устремил на него блестящие, беспокойные глаза и спросил:

— Кто ты такой?

— Я король, — услышал он ответ, простой и скромный.

— Добро пожаловать, король! — в восторге воскликнул отшельник.

Затем, лихорадочно суетясь и беспрестанно повторяя «добро пожаловать», отшельник подвинул скамейку к огню, усадил на нее короля, подбросил в огонь охапку хвороста и возбужденно забегал по комнате из угла в угол.

— Добро пожаловать. Многие искали приюта в этом святилище, однако оказались недостойны и были изгнаны. Но король, отвергший корону, презревший суетные почести, подобающие его сану, и облекшийся в лохмотья, чтобы провести свои дни в молитве и умерщвлении плоти, — он достоин, он желанный гость! Он останется здесь до самой кончины.

Король поспешил прервать его и сообщил ему подлинные обстоятельства дела, но отшельник не обратил на его слова никакого внимания, даже, по-видимому, не слышал их, а продолжал говорить с возрастающим жаром и все повышая голос:

— Здесь ты пребудешь в мире. Здесь никто не откроет твоего убежища, чтобы беспокоить тебя мольбами вернуться к пустой и суетной жизни, которую ты покинул, повинуясь божьему велению. Здесь ты будешь молиться; ты будешь изучать священное писание; ты будешь размышлять о безумии и обольщениях мира сего и о блаженстве будущей жизни; ты будешь питаться черствым хлебом и травами и ежедневно бичевать свое тело ради очищения души. Ты будешь носить на голом теле власяницу; ты будешь пить только воду; ты будешь наслаждаться покоем — да, полным покоем, ибо

тот, кто придет искать тебя, вернется осмеянный; он не найдет тебя, он не смутит тебя.

Старик продолжал ходить из угла в угол. Он уже не говорил вслух, а что-то бормотал про себя. Король воспользовался этим, чтобы рассказать свою историю. Под влиянием смутной тревоги и какого-то неясного предчувствия он рассказал ее очень красноречиво. Но отшельник продолжал ходить и бормотать, не обращая на него внимания. Все еще бормоча, он приблизился к королю и сказал выразительно, подчеркивая каждое слово:

— Тсс! Я открою тебе великую тайну!

Он наклонился к мальчику, но тотчас же отшатнулся, как бы прислушиваясь, подошел, крадучись, к окну, высунул голову, вглядываясь в потемки, потом на носках вернулся, приблизил свое лицо к самому лицу короля и прошептал:

— Я — архангел!

Король сильно вздрогнул и сказал себе: «Уж лучше бы мне остаться с бродягами! Теперь я во власти сумасшедшего!»

Его тревога усилилась и ясно отразилась у него на лице. Тихим взволнованным голосом отшельник продолжал:

— Я вижу, ты чувствуешь, какая святость окружает меня! На челе твоём начертан благоговейный страх! Никто не может пребывать в этой святости и не ощутить этого страха, ибо это святость неба. Я улетаю туда и возвращаюсь во мгновение ока. Пять лет назад сюда, на это самое место, с небес были ниспосланы ангелы, чтобы возвестить мне о том, что я удостоен архангельского чина. От них исходил ослепительный свет. Они преклонили передо мною колени, ибо я еще более велик, чем они. Я вознесся в небеса и беседовал с патриархами... Дай мне руку, не бойся... дай мне руку. Знай, что ты коснулся руки, которую пожимали Авраам, Исаак, Иаков! Я был в золотых чертогах, я видел самого господа бога!

Он остановился, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела его речь; затем лицо его исказилось, и он снеса вскочил на ноги, восклицая сердито:

— Да, я архангел. *Только архангел!* А я мог бы быть папой! Это истинная правда. Мне это сказал голос во сне двадцать лет тому назад. Да, меня должны были сделать папой! И я был бы папой, ибо такова воля небес. Но король разорил мой монастырь, и меня, бедного, гонимого монаха, лишили крова и отняли у меня мою великую будущность.

Он опять забормотал, в бессильной ярости ударяя себя кулаком по лбу; время от времени у него вырывались то проклятия, то жалобные возгласы.

— И вот почему я только архангел, когда мне предназначено было сделаться папой!

Так продолжалось целый час, а бедный маленький король сидел и мучился. Но вот ярость старика утихла, и он стал необычайно ласков. Голос его смягчился, он сошел с облаков на землю и принялся болтать так просто, так сердечно, что вскоре совсем покориł сердце короля. Он усадил мальчика поближе к огню, стараясь устроить его как можно удобнее; ловкой и нежной рукой промыл его порезы и царапины; затем стал готовить ужин, все время весело болтая и то трепля мальчика по щеке, то глядя его по голове так нежно и ласково, что король увидел в «архангеле» человека и вместо страха и отвращения скоро почувствовал к нему уважение и любовь.

До конца ужина все было тихо и спокойно; затем, помолившись перед распятием, отшельник уложил мальчика спать в маленькой соседней каморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и, еще раз приласкав его на прощанье, оставил его и уселся у огня, рассеянно и бесцельно переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось.

Внезапно он вскочил и вошел в комнату гостя с восторгом:

— Ты король?

— Да, — сквозь сон ответил мальчик.

— Какой король?

— Англии.

— Англии? Так Генрих умер?

— Увы, да. Я сын его.

Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои костлявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил:

— Знаешь ли ты, что это по его милости мы стали бездомными и бесприютными?

Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.

— Он спит, крепко спит.

Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал:

— Сердце его полно счастья! — и отвернулся.

Он бесшумно бродил по комнате, чего-то ища; то останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на кровать, и все бормотал, бормотал себе под нос. Наконец он, по-видимому, нашел то, что искал: старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту у огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины, таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали; блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика изо всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая.

Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой.

— Острее становится, — говорил он, — да, острее!

Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух:

— Его отец обидел нас, разорил и отправился в ад гореть на вечном огне! Да, в ад, гореть на вечном огне! Он ускользнул от нас, но на то была божья воля... да, божья воля... и мы не должны роптать. Но он не ускользнул от адского огня! Нет, он не ускользнул от адского огня, всепожирающего, безжалостного, неугасимого, и этот огонь будет гореть до скончания века!

Он все точил, все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух:

— Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но если бы не он, я был бы папой!

Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к постели, опустился на колени и занес над спящим нож. Мальчик опять пошевелился; глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели; через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок.

Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание; потом медленно опустил руку и так же тихо прокрался назад, сказав:

— Полночь давно уже миновала; нехорошо, если он закричит, — вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо.

Он как тень скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки; потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки; он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их; наконец, когда «архангел» уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем «архангел» сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом на голове — так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все время мирно спал и даже не пошевелился.

Глава XXI

ГЕНДОН ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ

Старик, ступая неслышно, как кошка, отошел и принес от очага низкую скамеечку. Он сел так, что одна половина его была вся озарена тусклым колеблющимся светом, а другая оставалась в тени. Не сводя глаз со спящего мальчика, он терпеливо оттачивал нож, все бормоча про себя что-то и хихикая, и не замечал, как

бегут часы; он был похож на чудовищного серого паука, готового проглотить злополучное насекомое, запутавшееся в его паутине.

Наконец, много времени спустя, старик, который смотрел, но ничего не видел, поглощенный своими думами, вдруг заметил, что глаза мальчика открыты, широко открыты и глядят — глядят, застыв от ужаса, на нож! Улыбка дьявольского торжества скользнула по лицу старика, и он, не меняя положения и не прерывая своей работы, спросил:

— Сын Генриха Восьмого, молился ли ты?

Мальчик беспомощно забился в своих узах, и невнятный звук вырвался из его крепко стянутых челюстей. Отшельник истолковал это как утвердительный ответ на свой вопрос.

— Так помолись снова! Читай отходную молитву!

Дрожь пробежала по телу мальчика, лицо его побледнело. Он опять забился на постели, пытаясь освободиться, изгибаясь и поворачиваясь во все стороны; он вырывался отчаянно, но напрасно; между тем старый людоед с улыбкой глядел на него, кивал головой и спокойно продолжал точить нож, время от времени бормоча:

— Твои минуты сочтены, и каждая из них драгоценна... Молись, читай себе отходную!

Мальчик горестно застонал и перестал метаться; он задышался, слезы капля за каплей текли по его лицу, но это жалостное зрелище несколько не смягчило свирепого старика.

Уже начинало светать; отшельник заметил это и заговорил резко, возбужденно:

— Нельзя мне больше растягивать это наслаждение. Ночь почти прошла. Она пролетела для меня как минута, как одна минута; а я хотел бы, чтобы она длилась год! Ну, отродье губителя церкви, закрой глаза, если тебе страшно смотреть...

Дальше речь его стала невнятна. Он упал на колени с ножом в руке и наклонился над стонущим мальчиком.

Но что это? У хижины послышались голоса. Нож выпал из рук отшельника; он набросил на мальчика

овечью шкуру и вскочил, дрожа. Шум усиливался, голоса звучали грубо и гневно, слышны были удары и крики о помощи, затем топот быстро удаляющихся шагов. Тотчас же вслед за тем раздался громовый стук в дверь хижины и крик:

— Эй! Отворяй! Да поскорее, во имя всех дьяволов!

О! Эта брань прозвучала музыкой в ушах короля: то был голос Майлса Гендона!

Отшельник, скрежеща зубами в бессильной злобе, поспешно вышел из каморки, притворив за собою дверь; затем король услышал разговор, происходивший в «молельной»:

— Привет тебе и уважение, почтенный сэр! Где мальчик, мой мальчик?

— Какой мальчик, друг?

— Какой мальчик! Не морочь меня, господин монах, не рассказывай мне сказок, я не расположен шутить. Невдалеке отсюда я встретил двух негодяев, должно быть тех самых, которые украли его у меня, и я выытал у них правду: они сказали, что он опять убежал и что они проследили его до твоей двери. Они показали мне его следы. Ну, нечего больше хитрить! Берегись, святой отец, если ты не отдашь мне его!.. Где мальчик?

— О добрый сэр, ты, должно быть, говоришь об оборванном бродяге царского рода, который провел здесь ночь? Если такие люди, как ты, могут интересоваться такими, как он, то да будет тебе известно, что я послал его с поручением. Он скоро вернется.

— Скоро вернется? Когда? Говори скорее, не теряя времени, не могу ли я догнать его? Когда он вернется?

— Не утруждай себя, он скоро придет.

— Ну, ладно, будь по-твоему! Попытаюсь дождаться его. Однако постой! Ты послал его с поручением, ты? Ну, уж это враки! Он не пошел бы. Он вырвал бы всю твою седую бороду, если бы ты позволил себе такую дерзость! Ты врешь, приятель, наверняка врешь! Не стал бы он никуда бегать ни ради тебя, ни ради любого другого человека.

— Человека — да! Ради человека, может быть, и не стал бы. Но я не человек.

— Господи помилуй, кто же ты?

— Это тайна... смотри, не выдавай ее. Я архангел! Майлс Гендон буркнул что-то не особенно почтительное, затем прибавил:

— Этим, конечно, и объясняется его снисхождение к тебе. Он палец о палец не ударит в угоду простому смертному; но архангелам даже король обязан повиноваться. Тсс! Что это за шум?

Все это время маленький король то дрожал от ужаса, то трепетал от надежды и все время старался стонать как можно громче, чтобы Гендон услышал его стоны, но с горечью убеждался, что либо эти звуки не доходят до его слуха, либо не производят на него никакого впечатления. Последние слова Гендона подействовали на короля, как свежий ветер полей на умирающего! Он опять застонал, напрягая все силы.

— Шум? — сказал отшельник. — Я слышу только шум ветра.

— Может, это ветер. Да, конечно ветер. Я все время слышу слабый шум... Вот опять! Нет, это не ветер! Какой странный звук! Пойдем посмотрим, что это такое!

Радость короля стала почти невыносимой. Его утомленные легкие работали из всех сил, но все было напрасно: туго стянутые челюсти и овечья шкура не пропускали звука. Вдруг его охватило отчаяние: он услышал, как отшельник сказал:

— Ах, это доносится снаружи. Наверно, вон из тех кустов. Пойдем, я провожу тебя.

Король слышал, как они вышли, разговаривая; слышал, как шаги их быстро замерли вдаль, — и он остался один, среди страшного, зловещего безмолвия.

Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем шаги и голоса раздались снова; на этот раз до короля донесся новый звук — стук копыт. Он услышал, как Гендон сказал:

— Дольше я не стану дожидаться. *Не могу.* Он, наверное, заблудился в этом густом лесу. В какую сторону он пошел? Укажи мне дорогу, живо!

— Вот сюда... Но погоди... Я пойду с тобой и буду указывать тебе путь.

— Спасибо... спасибо! Право, ты лучше, чем кажешься с первого взгляда. Не думаю, чтобы нашелся другой «архангел» с таким добрым сердцем... Может быть, ты хочешь ехать верхом? Так возьми ослика, которого я приготовил для моего мальчугана... Или, может быть, ты предпочтешь обхватить своими святыми ногами этого злополучного мула, которого я купил для себя? Меня здорово надули! Этот мул не стоит и месячного процента на медный фартинг, отданный в долг безработному лудильщику.

— Нет, садись сам на мула, а ослика веди за собою! Я больше доверяю собственным ногам — я пойду пешком.

— Тогда поддержи, пожалуйста, эту малую тварь, пока я с опасностью для жизни и со слабой надеждой на успех попытаюсь вскарабкаться на большую.

После этого слышались понукания, крики, свист бича, удары кулаками, отборнейшая громоподобная брань, наконец горькие упреки, которым мул, по-видимому, внял, так как военные действия прекратились.

С невыразимым горем слушал связанный маленький король, как замирали вдали шаги и голоса. Теперь он утратил всякую надежду на освобождение, и мрачное отчаяние овладело его сердцем. «Моего единственного друга увели обманом отсюда, — говорил он себе. — Старик вернется и...»

Он задохнулся и так неистово заметался на постели, что сбросил прикрывавшую его овечью шкуру.

И вдруг услышал звук отворившейся двери! При этом звуке холод пронизал его до костей: ему казалось, что он чувствует нож у своего горла. В смертельном страхе закрыл он глаза, в смертельном страхе открыл их снова — перед ним стояли Джон Кенти и Гуго!

Если бы у него рот не был завязан, он бы сказал: «Слава богу!»

Минуту спустя руки и ноги короля были свободны, и похитители, схватив его под руки с двух сторон, что было духу потащили в глубь леса.

ЖЕРТВА ВЕРОЛОМСТВА

Опять начались скитания короля Фу-фу Первого в обществе бродяг и отщепенцев; опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, а порой — за спиною у атамана — и злые проделки Джона Кенти и Гуго. Кроме Кенти и Гуго, у него не было настоящих врагов; иные даже любили его; и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение двух-трех дней Гуго, под присмотр которому был отдан король, исподтишка делал все что мог, чтобы отравить мальчику жизнь; а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями, — всегда будто случайно. Два раза он наступил королю на ногу — тоже случайно, — и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно бы не заметив; но когда Гуго в третий раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуго, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривали их окриками, бились об заклад, кто победит. Но бедному Гуго не везло — его яростные неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника и отражая сыпавшийся на него град ударов так легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения; и всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника и молниеносный удар обрушивался на голову Гуго, рев и гогот кругом превращались в бурю. Через четверть часа Гуго, избитый, весь в синяках, безжалостно осыпaeмый насмешками, с позором покинул поле битвы, а оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место, рядом с атаманом, где он с подобающими церемо-

ниями был возведен в сан «короля боевых петухов»; его прежний унижительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки.

Все попытки заставить короля приносить пользу шайке окончились неудачей: он упорно отказывался от всякого поручения; мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втолкнули в пустую кухню, — он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали меднику помогать в работе, — он не стал работать; мало того, он грозился прибить медника его же паяльным прутом. В конце концов и медник и Гуго только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стеснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуго просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком, — но ничего не вышло: он не хотел просить милостыни ни для себя, ни для других.

Так прошло несколько дней; невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее мало-помалу становились невыносимыми для маленького пленника, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа отшельника было лишь временной отсрочкой смерти.

Но по ночам, во сне, он забывал обо всем и снова восседал на троне властелином. Зато как ужасно бывало его пробуждение! Начиная с того времени, как его захватили, и до поединка с Гуго тяготы его унижительной жизни росли с каждым днем, и переносить их становилось все трудней и трудней.

На другое утро после поединка Гуго проснулся, пылая мстью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело два плана. Один состоял в том, чтобы как можно больше уязвить гордость и «воображаемое» королевское достоинство мальчика; а если этот план не удастся — взвалить на короля какое-нибудь преступление и потом предать его в руки неумолимого закона.

Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унизит его сверх всякой меры; а когда язва будет готова, он с помощью Кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее прохожим и просить подаяния. Для того чтобы сделать такую искусственную язву, приготавливали тесто из негашеной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен; затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих¹.

Гуго сговорился с медником — тем самым, которого король припугнул паяльным прутом; они повели мальчика будто бы на работу, но как только вышли в поле, повалили его наземь; медник держал его, а Гуго крепко-накрепко привязывал к его ноге припарку.

Король пришел в бешенство, он бушевал, грозился повесить обоих, как только вернет себе свою корону, но они крепко держали его, забавляясь его бессильными попытками вырваться, и хохотали над его угрозами. Между тем мазь начала быстро разъедать кожу; еще немного, и негодяи сделали бы свое дело, если бы им не помешали.

Но им помешали: появился «раб» — тот самый бродяга, который с таким жаром проклинал английские законы. Он разом положил конец мерзкой затее, сорвав припарку с ноги короля.

Король хотел взять у своего спасителя дубину и тут же на месте проучить своих недругов; но тот не позволил, чтобы не поднимать шума, а посоветовал отложить дело до ночи, когда вся шайка будет в сборе и никто из посторонних не помешает. Они все вместе вернулись в лагерь, и о случившемся было донесено атаману. Атаман выслушал, подумал и заявил, что короля не следует заставлять просить милостыню, потому что он, очевидно,

¹ Сведения почерпнуты из книги «Английский бродяга», Лондон, 1665. (Прим. автора)

предназначен к чему-то высшему и лучшему, — и тут же на месте произвел его из нищих в воры!

Гуго был вне себя от радости. Он уже пробовал заставить короля воровать, но потерпел неудачу; теперь, конечно, никаких затруднений не будет: ведь не посмеет же король послушаться самого атамана. Он задумал в тот же день совершить кражу, рассчитывая предать короля во власть закона; притом сделать это так искусно, чтобы все вышло как бы случайно, — «король боевых петухов» был теперь общим любимцем, и бродяги, не питавшие особых симпатий к Гуго, обошлись бы с ним не слишком ласково, если бы тот вероломно предал мальчика общему врагу их — закону.

И вот, выбрав подходящее время, Гуго привел свою жертву в соседний городок. Они медленно бродили по улицам; один из них зорко глядел по сторонам, выжидая удобной минуты, чтобы осуществить свой злобный замысел, другой так же внимательно всматривался во все закоулки, чтобы при первой же возможности пуститься наутек и навсегда спастись от своего постыдного рабства.

Обоим представлялись удобные случаи; но ни тот, ни другой не воспользовались ими, так как в глубине души оба решили на этот раз действовать наверняка; ни один не хотел рисковать, не убедившись заранее в удаче своего предприятия.

Гуго посчастливилось первому: навстречу шла женщина с тяжело нагруженной корзиной. У Гуго злобно сверкнули глаза, и он сказал себе: «Издохнуть мне на этом месте, если я не взвалю это дело на тебя! А тогда — храни тебя бог, король боевых петухов!»

Он стоял с виду спокойный, но внутренне страшно волнуясь, и ждал, чтобы женщина поравнялась с ними; тогда он тихонько сказал:

— Погоди здесь, я сейчас вернусь! — и украдкой пустился следом за женщиной.

Сердце короля наполнилось радостью. Теперь, если только Гуго отойдет достаточно далеко, можно будет убежать.

Но надежде его не суждено было сбыться. Гуго незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из

корзины узел и побежал назад, обмотав узел обрывком старого одеяла, висевшего у него на руке. Женщина подняла страшный крик; она не видела, как исчез узел, но тотчас же заметила кражу, потому что ее ноша вдруг стала легче.

Гуго, не останавливаясь, сунул узел в руки королю.

— Теперь беги за мной, — сказал он, — и кричи: «Держи вора!» Да смотри, старайся сбить их с толку!

Через мгновение Гуго уже скрылся за углом, помчался что есть духу по извилистой улице, а еще через минуту он опять вынырнул на глазах у всех с самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет.

Оскорбленный король швырнул узел на землю; одеяло раскрылось как раз в ту минуту, когда прибежала женщина, за которой уже следовала целая толпа; женщина схватила одной рукой короля за руку, а другой рукой свой узел и, высоко подняв его кверху, начала длинную речь, осыпая мальчика ругательствами и не отпуская его, как он ни старался вырваться.

Больше Гуго ничего не было нужно: враг его пойман и не избежит кары. Он юркнул в переулок и побежал по направлению к лагерю, посмеиваясь, торжествуя, радуясь; он бежал и раздумывал, как бы правдоподобнее рассказать эту историю шайке.

Король между тем отчаянно бился в сильных руках, крепко державших его, и раздраженно кричал:

— Пусти меня, глупая женщина! Говорят тебе: это не я воровал. Очень пужна мне твоя жалкая рухлядь!

Толпа окружила их, осыпая короля бранью и угрозами; здоровенный кузнец, в кожаном фартуке, с засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его, — но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца, а диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал:

— Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. Выпусти мальчика, добрая женщина!

Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая ушибленную руку; женщина

неохотно выпустила маленького короля; зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали. Король, с горящими щеками и сверкающим взором, бросился к своему избавителю:

— Ты долго медлил, сэр Майлс, но теперь пришел вовремя. Повелеваю тебе, изруби эту толпу негодяев в куски!

Глава XXIII

ПРИНЦ АРЕСТОВАН

Гендон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо:

— Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше — совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо.

И подумал: «Сэр Майлс!.. Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь! Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные фантазии!.. И хоть этот мой титул один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его; пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве Снов и Теней, чем добиться ценой унижений графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего».

Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского; полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гендон сказал ему:

— Тише, приятель, прими руку! Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою.

Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзину; Майлс и король шли сзади, а за ними по пятам — толпа народа. Король стал было упираться, но Гендон шепнул ему:

— Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть; если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие? По-видимому, один из этих законов нарушен; когда король снова взойдет на трон,

ему, без сомнения, будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан, поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам.

— Ты прав, ни слова более; ты увидишь, что если король Англии налагает ярмо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ярмо.

У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал; никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и задрожал; только король в своем неведении остался спокойным.

Судья злоежески медлил, потом обратился к женщине с вопросом:

— Во сколько ты оцениваешь твою собственность?

— В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость! Это самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни.

Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал:

— Очисти помещение и запри двери!

Приказ был исполнен.

В суде остались только два служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлс Гендон. Майлс был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатались по лицу.

Судья опять обратился к женщине и сказал ласково:

— Это бедный, невежественный мальчик, может быть голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков; посмотри на него: у него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают... Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше тринадцати с половиной пенсов виновный, по закону, должен быть повешен?

Маленький король вздрогнул и широко открыл глаза от ужаса, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая:

— Что же я наделала!.. Милосердный боже, да я все не хочу, чтобы этот бедняк шел из-за меня на виселицу! Ах, избавьте меня от этого, ваша милость! Скажите, что мне делать?!

Судья, храня подобающее судье спокойствие, просто ответил:

— Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол...

— Ради бога, считайте, что поросенок стоит всего восемь пенсов! Слава тебе, господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех!

Майлс Гендон на радостях совершенно забыл об этикете; он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка; полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сени. Судья записывал все происшедшее в протокол. А Гендону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной; он потихоньку прокрадся в темные сени и услышал следующий разговор:

— Поросенок жирный и, верно, очень вкусный; покупаю его у тебя, вот тебе восемь пенсов.

— Восемь пенсов! Вот чего захотел! Да он мне самой стоил три шиллинга и восемь пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно, не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои восемь пенсов!

— А, ты вот как заговорила!.. Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит восемь пенсов. Значит, ты дала ложную клятву. Ступай со мной — держать ответ за преступление. А мальчишку повесят.

— Ну, ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда восемь пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай.

Женщина ушла вся в слезах. Гендон проскользнул назад, в комнату судьи, туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судья еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме,

а затем к публичной порке плетьюми. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гендон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гендон взял его за руку, поклонился судье, и оба под охраной полицейского отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул:

— Глупец, неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму *живым*?

Гендон наклонился к нему и сказал довольно резко:

— Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудшай дела опасными речами! Что богу угодно, то и случится; ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить; жди терпеливо — еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено¹.

Глава XXIV

ПОБЕГ

Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих возможно скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево; они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их. Эдуард Шестой спрашивал себя, случалось ли когда-нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему:

¹ Смотри примечания к главе XXIII в конце книги. (Прим. автора.)

— Погоди минутку, добрый сэр! Нас никто не слышит. Мне нужно сказать тебе два слова.

— Мой долг запрещает мне разговаривать, сэр! Пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь.

— А все-таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь: *дай бедному мальчику убежать*.

— Как ты смеешь предлагать мне это? Арестую тебя именем...

— Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру. — Гендон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому: — Поросенок, купленный тобою за восемь пенсов, может стоять тебе головы!

Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться. Но Гендон спокойно и терпеливо ждал, пока он уgomонится, затем сказал:

— Ты мне понравился, приятель, мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это, — и он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в сенях и прибавил: — Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?

В первую минуту полицейский онемел от страха и досады; потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил:

— Ты делаешь из мухи слона; мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы.

— И поросенка ты оставил у себя ради забавы?

Полицейский ответил торопливо:

— Конечно, добрый господин. Говорят тебе, что это была шутка.

— Я начинаю тебе верить, — сказал Гендон не то всерьез, не то в насмешку. — Так ты постой здесь немного, а я сбегая спрошу его милость судью, — он ведь человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и в...

Он повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу. Полицейский помедлил немного, потоп-

гался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку:

— Постой, добрый сэр, погоди минутку! Ты говоришь, судью спросишь? Да он на шутки туп, как чурбан! Пойди-ка лучше сюда, давай поговорим! Странное дело! Я, кажется, попал в историю, и все из-за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети... Рассуди же здраво, твоя милость, чего ты хочешь от меня?

— Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до ста тысяч, — сказал Гендон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге.

— Да ведь я тогда пропащий человек! — с отчаянием вскричал полицейский. — Будь же рассудителем, мой добрый сэр; ведь ты же сам понимаешь, что то была шутка и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи: он сделает мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел.

— Это шутка? — с ледяной торжественностью возразил Гендон. — Эта твоя шутка носит в законе название, ты знаешь какое?

— Я этого не знал! Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название... Я думал, что я первый изобрел такую шутку.

— Да, она имеет название. В законах она называется *Non compos mentis lex talionis sic transit gloria mundi*¹.

— Ах, господи!

— И наказание — смертная казнь!

— Господи, помилуй меня, грешного!

— Воспользовавшись преимуществом своего положения, злоупотребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше тринадцати пенсов с полови-

¹ Бессмысленный набор латинских выражений.

ной; а это в глазах закона есть умышленное нанесение ущерба, вероломство, превышение власти, *ad hominem expurgatis in statu quo*, и наказание за это — смерть на виселице, без выкупа, пощады или признания неподсудности.

— Поддержи меня, ради бога, мой добрый сэр, ноги не держат меня! Сжался, избавь меня от гибели, и я стану к вам спиной и ничего не увижу и не услышу.

— Ладно! Наконец-то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине?

— Отдам, непременно отдам! И никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес! Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи.

— Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет бедного мальчика; он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из-за того, что мальчик убежит.

Глава XXV

ГЕНДОН-ХОЛЛ

Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту.

Гендон не хотел переутомлять мальчика; он полагал, что дорожная усталость, еда не вовремя и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего

маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того чтобы, повинувшись голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь.

Проехав миль десять, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения: во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло.

На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля; рассказал, как «архангел» водил его, словно дурака, по всему лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда шатаясь, с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски.

— А старый святоша действительно был очень огорчен, что ваше величество не вернулись к нему, — сказал Гендон, — это было видно по его лицу.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал король и в свою очередь рассказал, что было с ним; выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил «архангела».

В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже о Гью говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет,

Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов; дорога шла через широкие пастбища; отлогие подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул:

— Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом! Отсюда видны башни; а вон тот лес — это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь! В доме семьдесят комнат — подумай только! — и двадцать семь слуг. Недурной дом для таких, как мы с тобой, а? Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение!

Но как они ни торопились, было уже больше трех часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту:

— Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый Красный Лев», вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка, — ничего не изменилось, кроме людей, конечно; за десять лет люди должны измениться; некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто.

Так он болтал не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородами, быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный сад. Перед ними было величественное здание.

— Приветствую тебя в Гендон-холле, король! — воскликнул Майлс. — О, сегодня великий день! Мой отец, и мой брат, и леди Эдит, наверно, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания, — это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и, ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлса Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме и в своем сердце!

Гендон соскочил наземь у подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам подбежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь.

— Обними меня, Гью, — воскликнул он, — и скажи, что ты рад моему возвращению! Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса.

В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на прищельце долгий, пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес:

— У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец; ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно и по лицу твоему и по платью. За кого ты меня принимаешь?

— За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гью Гендона, — резко сказал Майлс.

Тот продолжал так же мягко:

— А себя ты кем воображаешь?

— Воображение тут ни при чем! Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлса Гендона?

Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул:

— Как, ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки! Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною! Скорее идем к свету — дай мне рассмотреть тебя хорошенько.

Он схватил Майлса за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя

вкруг, чтобы разглядеть его со всех сторон; а возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая:

— Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью! Я в самом деле прежний Майлс, твой Майлс, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости.

Он собирался обнять брата; но Гью отстранил его рукой, уныло опустил голову на грудь и с волнением сказал:

— Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование!

Майлс от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова, затем воскликнул:

— *Какое* разочарование? Разве я не брат твой?

Гью печально покачал головой и сказал:

— Молю небо, чтобы это было так и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы! Боюсь, что письмо говорило жестокую правду.

— Какое письмо?

— Полученное из заморских краев лет шесть или семь тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении.

— Это ложь! Позови отца, он узнает меня.

— Нельзя позвать того, кто умер.

— Умер? — Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали. — Мой отец умер! О, горькая весть! Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру, — он узнает меня; узнает и утешит.

— Он тоже умер.

— Боже, будь милостив ко мне, несчастному! Умерли, оба умерли! Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить! Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит...

— Умерла? Нет, она жива.

— Ну, слава богу! Теперь я снова счастлив! Поспешите же, брат, позови ее сюда, ко мне! Если и она ска-

жет, что я не я... Но она этого не скажет; нет, нет, *она* узнает меня! Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позови ее, позови и старых слуг; они тоже узнают меня.

— Все они умерли, кроме пятерых: Питера, Гэлси, Дэвида, Бернарда и Маргарэт.

С этими словами Гью вышел из комнаты. Майлс подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя:

— Странное дело: пятеро мерзавцев живы, а двадцать два честных человека умерли!

Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя; он совершенно забыл о короле. Наконец его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку:

— Не огорчайся своей неудачей, бедный человек: есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью.

— Ах, государь, — воскликнул Гендон, слегка покраснев, — не осуждай меня хоть ты! Подожди — и ты увидишь. Я не обманщик — она сама это скажет; ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал, эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду, я не стал бы обманывать тебя; и если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты: я этого не вынесу.

— Я не сомневаюсь в тебе, — сказал король с детской простотой и доверчивостью.

— Благодарю тебя от всей души! — с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган.

А король прибавил так же просто:

— Ведь ты не сомневаешься во мне?

Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить.

Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлс Гендон бросился к ней, восклицая:

— О моя Эдит, дорогая моя!..

Но Гью спокойно отстранил его и сказал даме:

— Посмотрите на него. Вы его знаете?

При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели; теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим взглядом; капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она сказала:

— Я не знаю его.

Затем она повернулась, подавив стон, и нетвердой поступью вышла из комнаты.

Майлс Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам:

— Вот этот человек. Он вам известен?

Они покачали головами. Тогда их господин сказал:

— Слуги не узнают вас, сэр. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас.

— Твоя жена! — В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. — Ах ты раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю! Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследство и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не замарал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари.

Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам схватить и связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал:

— Он вооружен, сэр Гью, а мы безоружны.

— Вооружен? Так что же! Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его!

Но Майлс посоветовал им быть осторожнее.

— Вы меня знаете: я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти!

Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они пятились.

— Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйте все выходы, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей,— сказал Гью.

На пороге он обернулся к Майлсу и добавил:

— А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству.

— Бегство? Пусть это тебя не беспокоит. Майлс Гендон — хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся!

Глава XXVI

НЕ ПРИЗНАН

Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлса и сказал:

— Странно, чрезвычайно странно! Не понимаю, что это значит.

— Нисколько не странно, государь! Я его знаю, от него другого и ждать нельзя — он был негодяем со дня рождения.

— О, я говорю не о нем, сэр Майлс!

— Не о нем? Так о чем же? Что тебе кажется странным?

— Что короля до сих пор не хватились...

— Как? Что такое? Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы? Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно? Что я скрылся и исчез?

— Совершенно верно, мой король. Я позабыл об этом.

Гендон вздохнул и пробормотал про себя: «Бедный помешанный! Он все еще поглощен своей трогательной мечтой».

— Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на

трех языках: по-латыни, по-гречески и по-английски; а ты завтра утром скачи с ней в Лондон! Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гертфорда; когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною.

— Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее...

Король властно перебил его:

— Молчи! Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола! — И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости: — Повинуйся мне без боязни! Я восстановлю тебя в твоих правах. Я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги и вознагражу тебя.

С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гендон с любовью смотрел на него, говоря себе: «Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мною действительно говорит король; когда он разгневан, он мечет громы и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова! Если только мне не удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение».

Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что, когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман.

— Как она удивительно странно вела себя! — бормотал он. — Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому; я не могу примирить этих мыслей, и в то же время не могу отогнать ни ту, ни другую и не могу дать одной из них перевес над другой. Казалось бы, все так просто: она *должна* была узнать мое лицо, мою фигуру, мой голос, — могло ли быть иначе? А между тем она *сказала*, что не узнает меня, — значит, она в самом деле

меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постояй, я, кажется, начинаю понимать! Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой? Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она вот-вот умрет от страха... Ну конечно она действовала по его принуждению! Я ее отыщу, я найду ее: теперь, когда его нет, она ничего не утаит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми; это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить, она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне порукой: кого любят, того не обманывают.

Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась, и вошла леди Эдит. Она была очень бледна, но шла твердой поступью; осанка ее была полна изящества и кроткого достоинства, а лицо по-прежнему было печально.

Майлс кинулся к ней, полный доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя. Леди Эдит сказала:

— Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются; но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит — вы не преступник; но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно.

Она пристально посмотрела Майлсу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова:

— Это тем более опасно, что вы *очень похожи* на нашего бедного мальчика, которого уже нет в живых.

— Господи, сударыня, но ведь он и *есть* я!

— Я искренне верю, что вы так думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности, я только предостерегаю вас. Мой муж — полный хозяин во всей здешней местности, его власть почти безгранична, он может обога-

тить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого выдаете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой; но, верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает: он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему.

Она снова устремила на Майлса пристальный взгляд и прибавила:

— Если бы вы на самом деле были Майлсом Гендоном, и мой муж знал бы это, и знала бы вся округа — обдумайте мои слова и взвесьте их! — вы подверглись бы той же опасности и точно так же не ушли бы от наказания; он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку.

— Этому я вполне верю, — с горечью сказал Майлс. — Если он имеет власть приказать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба.

Щеки леди Эдит порозовели, она потупила глаза, но голос ее по-прежнему звучал твердо:

— Я вас предупредила и предупреждаю еще раз: уезжайте отсюда! Иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба, я это знаю. Бедный Майлс, и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него и спокойны, — лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания — посягательство на его титул и богатство; вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите! Не медлите! Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время.

Майлс отстранил рукою протянутый ему кошелек и встал.

— Исполните одну мою просьбу, — сказал он. — Посмотрите мне прямо в глаза, я хочу видеть, вынесете

ли вы мой взгляд. Так. Теперь отвечайте мне: кто я? Майлс Гендон?

— Нет. Я вас не знаю.

— Поклянитесь!

Ответ прозвучал тихо, но отчетливо:

— Клянусь!

— Невероятно!

— Бегите! Зачем вы теряете драгоценное время?

Бегите, спасайтесь!

В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба; но Гендона скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен; обоих связали и повели в тюрьму.

Глава XXVII

В ТЮРЬМЕ

Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обыкновенно мелкие преступники. Они были не одиноки: здесь же находилось еще около двадцати скованных узников — молодых и старых, мужчин и женщин, — буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского достоинства, но Гендон был угрюм и молчалив: он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его; и вдруг вместо радости — тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидания, что он растерялся; он не знал даже, как смотреть на свое положение: считать ли его трагическим или просто забавным. Он чувствовал себя как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией.

Но мало-помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала? Этот трудный вопрос долго занимал его ум; в конце концов он пришел к

убеждению, что она его узнала и отсеклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями; но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее.

Закутавшись в тюремные одеяла, изорванные и грязные, Гендон и король провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти: он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть.

В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием: днем появлялись люди (их лица были более или менее знакомы Гендону), чтобы взглянуть на «самозванца», отречься от него и надругаться над ним; а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое-что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого-то старика и сказал ему:

— Преступник в этой комнате. Осмотри всех своими старыми глазами. Быть может, ты узнаешь его.

Гендон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался.

Он сказал себе: «Это Блэк Эндрьюс. Он всю жизнь служил семье моего отца; он добрый, честный человек, сердце у него хорошее. Но теперь честных людей совсем не осталось, все стали лжецы. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные».

Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и наконец сказал:

— Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он?

Тюремщик засмеялся.

— Вот! — сказал он. — Вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь.

Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гендона, потом покачал головой и сказал:

— Нет, это не Гендон и никогда Гендоном не был!

— Правильно! Твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого паршивого пса и... — Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь.

Старик злобно проговорил:

— Пусть благодарит бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжарил его живьем!

Тюремщик захохотал злорадным смехом гиены и сказал:

— Поболтай-ка с ним, старик! Все с ним болтают. Это тебя позабавит.

С этими словами он повернулся и ушел.

Старик упал на колени и зашептал:

— Слава богу, ты вернулся наконец, мой добрый господин! Я думал, что ты уже семь лет тому назад умер, а ты жив! Я узнал тебя с первого взгляда; трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я стар и беден, сэр Майлс, но скажи одно слово — и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это.

— Нет, — сказал Гендон, — не надо. Ты только погубишь себя, а мне не поможешь. Но все-таки благодарю тебя: ты хоть отчасти возвратил мне мою утраченную веру в род человеческий.

Старый слуга был очень полезен королю и Гендону: он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что-нибудь вкусное, чтобы хоть немного скрасить убогую тюремную еду; кроме того, он сообщал текущие новости. Лакомства Гендон приберегал для короля: без них его величество, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщиком. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрьюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что-нибудь новое — шепотом, чтобы его слышал только Гендон; вслух же он лишь ругался.

Так мало-помалу Майлс узнал историю своей семьи. Артур умер шесть лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлсе сильно подорвали здоровье его

отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит; но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлса. Тут-то и пришло известие о том, что Майлс умер; этот удар уложил в постель сэра Ричарда; старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и наконец третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста; после смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него.

Один из рассказов Эндрьюса живо заинтересовал короля:

— Ходит слух, что король помешан. Но только, ради бога, не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни.

Его величество грозно взглянул на старика и сказал:

— Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи.

— Что он говорит, этот мальчик? — спросил Эндрьюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением.

Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ:

— Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через два дня, шестнадцатого, а двадцатого новый будет короноваться в Вестминстере.

— Мне кажется, надо сначала найти его... — пробормотал король; потом убежденно прибавил: — Ну, об этом они позаботятся, и я тоже.

— Объясни мне... — начал старик и запнулся, увидав знаки, которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать:

— Сэр Гью тоже едет на коронацию и много ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда-протектора.

— Какого лорда-протектора? — спросил король.

— Его милости герцога Соммерсетского.

— Какого герцога Соммерсетского?

— Как какого? У нас только один — Сеймур, граф Гертфорд.

Король сердито спросил:

— С каких это пор он герцог и лорд-протектор?

— С последнего дня января.

— Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?

— Он сам и верховный совет с помощью короля.

Его величество вздрогнул, как ужаленный.

— Короля? — вскрикнул он. — Какого короля, добрый человек?

— Какого короля? (Господи помилуй, что это такое с мальчиком?) На этот вопрос ответить нетрудно: ведь король-то у нас только один — его величество, августейший монарх, король Эдуард Шестой, храни его бог! Да! Молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый! Не знаю, сумасшедший он или нет, — говорят, он поправляется с каждым днем, — но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела — помиловал герцога Норфолька, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ.

Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя: неужели этот король — тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным: ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэльского, речь и манеры тотчас выдали бы его, он был бы изгнан из дворца, и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого, — он всемогущ и мог бы расстроить — и наверное расстроил бы — такой заговор.

Размышления короля не привели ни к чему; чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала, чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым.

Гендон, как ни старался, не мог утешить короля; это лучше удалось двум женщинам, прикованным не-далеке от него. Их кроткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласковы с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили: за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил:

— Разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня: я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из-за таких пустяков.

Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал:

— Вы не отвечаете? Будьте добры, скажите мне — вам не грозит тяжелое наказание? Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит!

Женщины попытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать:

— Неужели вас будут бить плетьюми? Нет, нет! Они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут! Ведь не тронут? Не тронут, правда?

Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения:

— О добрая душа, твое участие раздирает нам сердце! Помоги нам, боже, перенести наше...

— Это признание!.. — перебил ее король. — Значит, эти жестокосердые злодеи будут тебя бить плетьюми! О, не плачь! Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества: я вовремя верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения, вот увидишь!

Когда король проснулся утром, женщин уже не было.

— Они спасены! — радостно воскликнул он и с грустью прибавил: — Но горе мне, они так утешали меня!

Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту.

Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести на тюремный двор. Король был в восторге: такое счастье наконец увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом! Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но наконец пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гендоном следовать за другими.

Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу, спиною к стене. Перед ними была протянута веревка; по бокам стояла стража.

Утро было холодное, пасмурное; ночью выпал снежок, огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взметал струйки снега.

Посредине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король с первого взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе:

«Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отвесть кнута! В Англии! Не в языческой стране, а в христианской Англии! Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно! Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилен помочь им. Но берегитесь, злодеи! Настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по сто ударов».

Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из виду. Король услышал какие-

то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления. Стража забежала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь; толпа мало-помалу смолкла, и водворилась глубокая тишина.

Вдруг, по команде, толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой-то человек, стоя на коленях, разжигал костер!

Женщины стояли опустив голову на грудь и закрыв лицо руками; сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась; она кричала, что хочет умереть вместе с матерью; и прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее; пылающий край платья оторвали и бросили в сторону; а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук сторожей; но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым».

Гендон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе: «Он заметно поправляется; он изменился, стал мягче. Прежде он, наверное, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король, требовать, чтобы женщин освободили. Он скоро забудет свой бред, и его бедная голова станет опять здорова. Дай бог, чтобы скорее!»

В тот же день в тюрьму привезли на ночь несколько арестантов, которым предстояло на следующее утро отправиться в разные города, чтобы понести кару за свои преступления. Король долго беседовал с ними, — он с самого начала решил расспрашивать узников, чтобы подготовить себя к своему будущему царствованию. Повесть их страданий терзала его сердце. В числе заключенных была бедная полоумная женщина, укравшая около двух ярдов сукна у ткача; ее за это приговорили к виселице. Другой арестант прежде обвинялся в том, что он украл лошадь; против него не было никаких улик, и он уже избавился было от петли; но не успели его выпустить, как опять арестовали за то, что он убил оленя в королевском парке; на этот раз вина его была доказана и его ждала веревка. Больше всего расстроил и огорчил короля рассказ одного подмастерья; этот юноша сообщил, что он однажды вечером нашел сокола, улетевшего от своего хозяина, и принес его домой, полагая, что имеет на это право. Но суд обвинил его в краже и приговорил к смертной казни.

Взбешенный такой бесчеловечностью, король умолял Гендона бежать с ним из тюрьмы прямо в Вестминстер, чтобы он мог скорее вернуть себе престол; взойдя на трон, он тотчас же поднимет свой скипетр в защиту этих несчастных и спасет им жизнь.

«Бедный ребенок! — вздыхал Гендон. — Эти горестные рассказы опять свели его с ума. А я-то надеялся, что он скоро поправится».

Среди арестантов был старый законник, человек с суровым лицом и непреклонной волей. Три года тому назад он написал памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости; за это его приковали к позорному столбу, отрубили ему уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него штраф в три тысячи фунтов стерлингов и приговорили к тюремному заключению. Недавно он повторил свой проступок, и теперь ему должны были отрубить остаток ушей, взыскать с него пять тысяч фунтов стерлингов, выжечь ему клейма на обеих щеках и до конца жизни держать его в тюрьме.

— Это почетные рубцы, — говорил он, откидывая назад седые волосы и показывая обрубки ушей.

У короля глаза горели гневом. Он сказал:

— Никто не верит мне, и ты не поверишь. Но все равно, через месяц ты будешь свободен, и самые законы, обесчестившие тебя и позорящие Англию, будут вычеркнуты из государственных актов. Свет плохо устроен: королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию¹.

Глава XXVIII

ЖЕРТВА

Тем временем Майлс порядком устал от тюрьмы и бездействия. Когда наконец наступил день суда, он был очень доволен и говорил себе, что обрадуется всякому приговору, лишь бы только его не осудили на дальнейшее заключение в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Он пришел в бешенство, когда его признали «буйным бродягой» и приговорили к унижительному наказанию: он должен был в течение двух часов сидеть в колоде у позорного столба за оскорбление владельца Гендонского замка. Когда он заявил на суде, что он родной брат оскорбленного и законный наследник всех титулов и земель покойного сэра Ричарда, к его словам отнеслись так презрительно, что даже не сочли их достойными рассмотрения.

На пути к позорному столбу он бушевал и грозил, но это не помогало; полицейские грубо волокли его, да еще по временам награждали тумаками за строптивость.

Король не мог пробраться сквозь толпу. Он шел позади, далеко от своего друга и слуги. Самого короля тоже чуть было не приговорили к позорному столбу за дружбу с такой подозрительной личностью, но ввиду его молодости сделали ему надлежащее внушение и отпустили. Когда толпа наконец остановилась, он заметал-

¹ Смотри примечания к главе XXVII в конце книги.
(Прим. автора.)

ся, стараясь пробраться вперед; и после долгих трудов это ему удалось. У позорного столба, осыпaeмый насмешками грубой черни, сидел несчастный рыцарь — личный телохранитель короля Англии! Эдуард на суде слышал приговор, но не вполне понял его значение. Гнев мальчика рос по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану; он пришел в бешенство, когда увидел, как яйцо, пронесаясь в воздухе, разбилось о щеку Гендона, и услышал гогот толпы. Не помня себя от гнева, он подскочил к столбу и набросился на начальника.

— Стыдись! — крикнул он. — Это мой слуга. Выпусти его сейчас же! Я...

— Замолчи! — в ужасе воскликнул Гендон. — Ты погубишь себя!.. Не обращай на него внимания, начальник, он сумасшедший!

— Успокойся, добрый человек, я и не думаю обращаться на него внимания; но я не прочь проучить его немного.

Полицейский обернулся к своему подчиненному и сказал:

— Хлестни этого дурачка раза два плетью, научи его вежливости.

— Всыпь ему полдюжины, — посоветовал сэр Гью, подъехавший в эту минуту посмотреть на расправу.

Короля схватили. Он даже не противился, так он был ошеломлен мыслью о чудовищном оскорблении, угрожавшем его священной особе. На страницах истории уже записан рассказ о наказании кнутом одного из английских королей, — Эдуарду нестерпимо было думать, что он повторит эту позорную страницу. Но делать было нечего, и помощи ждать было неоткуда: приходилось или снести наказание, или молить об отмене его. Выбор трудный: перенести удары король сможет, но унизиться до мольбы он не в силах.

Однако Майлс Гендон выручил его.

— Отпустите ребенка! — взмолился он. — Бессердечные псы, разве вы не видите, какой он маленький и хрупкий? Отпустите его, я беру его плети на себя.

— Прекрасная мысль! — воскликнул сэр Гью, и его лицо искривилось довольной усмешкой. — Отпустите

попрошайку и всыпьте дюжину этому молодцу, да смотрите — полную дюжину!

Король хотел было спорить, но сэр Гью сразу усмирил его.

— Говори, говори, не стесняйся! — сказал он. — Но помни, что за каждое твое слово ему прибавят еще шесть ударов.

Гендона вынули из колоды и обнажили ему спину; когда плеть заходила по ней, бедный маленький король отвернулся и уже не удерживал слез, катившихся по его лицу.

«Доброе, смелое сердце! — говорил он себе. — Это доказательство преданности никогда не изгладится из моей памяти. Я не забуду... Им тоже придется вспомнить!» — прибавил он гневно.

Великодушие Гендона все росло в его глазах, а вместе с тем росла и его благодарность к нему. Он сказал себе: «Кто спасает своего государя от ран и смерти, оказывает ему великую услугу. Он спас меня от смерти. Но это ничто, ничто в сравнении с этим подвигом! Он спас своего государя *от позора!*»

Гендон переносил удары без крика, без стона — стойко, как солдат. Эта стойкость, а также то, что он взял на себя плети, предназначенные мальчику, невольно вызвали уважение даже в грубой и низкой черни, собравшейся поглазеть на любопытное зрелище; насмешки смолкли, и ничего не было слышно, кроме ударов бича. Когда Гендона снова посадили в колоду, на площади, которую еще недавно наполнял оскорбительный шум, царил безмолвие. Король тихонько подошел к Гендону и сказал ему на ухо:

— Не во власти королей отблагодарить тебя, добрая, великая душа, так как тот, кто выше королей, уже создал тебя благородным; но король может возвеличить тебя перед людьми.

Он поднял плеть, валявшуюся на земле, слегка коснулся ею окровавленных плеч Гендона и шепнул:

— Эдуард, король Англии, жалует тебя титулом графа.

Гендон был тронут, слезы потекли по его щекам, но в то же время он так живо чувствовал мрачный юмор

своего положения, что едва мог удержаться от улыбки. Вознестись сразу, раздетым и окровавленным, от позорного столба на недостижимую высоту графского достоинства — что может быть смешнее!

«Как мне везет! — говорил он себе. — Призрачный рыцарь царства Снов и Теней превратился теперь в призрачного графа — головокружительный взлет, особенно для бесперых крыльев! Если так будет продолжаться дальше, меня скоро разукрасят, как майский шест, мишурными украшениями и призрачными почестями; но хоть они сами по себе и не имеют цены, я буду ценить в них любовь того, кто дарит меня ими. Лучше эти бедные, смешные почести, которыми меня осыпают неожиданно и непрошено чистою рукою и от чистого сердца, чем настоящие, покупаемые унижением у завистливых и корыстных властей».

Грозный сэр Гью повернул коня. Живая стена безмолвно расступилась перед ним и так же безмолвно сомкнулась. По-прежнему было тихо, никто не решался ни слова произнести в защиту или в похвалу осужденному; но уже то, что не было слышно ни одной насмешки, само по себе служило данью уважения его мужеству. Запоздалый зритель, не присутствовавший при том, что происходило раньше, и вздумавший позубоскалить над осужденным и запустить в него дохлой кошкой, был сразу сбит с ног и вышвырнут вон; а затем снова наступила та же глубокая тишина.

Глава XXIX

В ЛОНДОН

Отсидев положенное время у позорного столба, Гендон был освобожден и получил приказ выехать из этого округа и никогда больше не возвращаться в него. Ему вернули его шпагу, а также его мула и ослика. Он сел и поехал в сопровождении короля; толпа со спокойной почтительностью расступилась перед ними и, как только они уехали, разошлась.

Гендон скоро погрузился в свои мысли. Ему нужно было многое обдумать. Что ему делать? Куда направиться? Надо непременно отыскать влиятельного покровителя, иначе придется отказаться от наследства и позорно признать себя самозванцем. Но где же можно рассчитывать найти такого влиятельного покровителя? Вот вопрос! У него мелькнула в голове мысль, которая мало-помалу превратилась в надежду — очень слабую, по все же такую, о которой стоило подумать за неимением другой. Рыцарь вспомнил, что ему говорил старый Эндрюс о доброте юного короля и его великодушном заступничестве за обиженных и несчастных. Не попытаться ли проникнуть к нему и попросить у него правосудия? Да, но разве такого бедняка допустят к августейшей особе монарха? Ну да все равно, пока нечего тужить; еще будет время об этом подумать. Гендон был старый солдат, находчивый и изобретательный; без сомнения, когда дойдет до дела, он придумает средство. А теперь надо ехать в столицу. Быть может, за него вступится старый друг его отца, сэр Гэмффри Марло, добрый старый сэр Гэмффри — главный заведующий кухней покойного короля, или конюшными, или чем-то в этом роде, — Майлс не мог с точностью припомнить, чем именно.

Теперь, когда нужно было сосредоточить все свои силы, когда явилась определенная цель, уныние, омрачавшее его дух, рассеялось. Он поднял голову и огляделся вокруг. Он даже удивился, как много они проехали, — деревня осталась далеко позади.

Король трусил за ним на осле, повесив голову; он тоже был углублен в свои мысли и планы. Грустное предчувствие омрачило только что народившуюся радость Гендона: захочет ли мальчик вернуться в город, где всю свою недолгую жизнь он не знал ничего, кроме голода, обид и побоев? Надо спросить его, — все равно этого не избежать. Гендон придержал мула и крикнул:

— Я позабыл спросить тебя, куда ехать. Приказывай, государь!

— В Лондон!

Гендон двинулся дальше, очень довольный, но удивленный ответом

Всю дорогу они ехали без всяких приключений. Но под конец без приключения все-таки не обошлось. Около десяти часов вечера девятнадцатого февраля они въехали на Лондонский мост и очутились в гуще воюющей, горланящей, гогочущей толпы; красные, развеселые от пива лица блестели при свете множества факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота перед мостом, сверху сорвалась разложившаяся голова какого-то бывшего герцога или другого вельможи и, ударившись о локоть Гендона, отскочила в толпу. Вот как недолговечны дела рук человеческих: прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве, уже начали падать... Какой-то горожанин, споткнувшись об упавшую голову, ткнулся своей головой в спину стоящего впереди. Тот обернулся, свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа и сам полетел, сваленный с ног товарищем упавшего.

Время для драки было самое подходящее. Завтра начиналась коронация, и все уже были полны спиртным и патриотизмом; через пять минут драка заняла немалое пространство; через десять или двенадцать она занимала уже не меньше акра и превратилась в побоище. Гендона оттеснили от короля, и оба они затерялись в шумном водовороте ревущих человеческих скопищ. Здесь мы оставим их.

Глава XXX

УСПЕХИ ТОМА

Пока настоящий король бродил по стране полуголодный, полуголодный, то терпя насмешки и побои от бродяг, то сидя в тюрьме с ворами и убийцами, причем все считали его сумасшедшим и самозванцем, — мнимый король Том Кенти вел совсем иную жизнь.

Когда мы видели его в последний раз, он только что начинал находить привлекательность в королевской власти. Королевское звание все больше нравилось ему, и наконец вся жизнь его стала радостью. Он перестал бояться, его опасения понемногу рассеялись, чувство недовкости прошло, он стал держать себя спокойно и непринужденно. Как руду из шахты, добывал он все нужные сведения от мальчишка для порки.

Когда ему хотелось играть или болтать, он вызывал к себе леди Елизавету и леди Джейн Грэй, а затем отпускал их с таким видом, как будто для него это дело обычное. Он уже не смущался тем, что принцессы целовали ему руку на прощанье.

Теперь ему нравилось, что его с такими церемониями укладывают спать на ночь; ему нравился сложный и торжественный обряд утреннего одевания. Он с гордым удовольствием шествовал к обеденному столу в сопровождении блестящей свиты сановников и телохранителей; этой свитой он так гордился, что даже приказал удвоить ее, и теперь у него было сто телохранителей. Он любил прислушиваться к звукам труб, разносившимся по длинным коридорам, и к далеким голосам, кричавшим: «Дорогу королю!»

Он научился даже находить удовольствие в заседаниях совета в тронном зале и притворяться, будто он не только повторяет слова, которые шепчет ему лорд-протектор. Он любил принимать величавых, окруженных пышной свитой, послов из чужих земель и выслушивать любезные приветствия от прославленных монархов, называвших его «братом». О, счастливый Том Кенти со Двора Отбросов!

Он любил свои роскошные наряды и заказывал себе новые. Он нашел, что четырехсот слуг недостаточно для его величия, и утроил их число. Лесть придворных звучала для его слуха сладкой музыкой. Он остался добрым и кротким, стойким защитником угнетенных и вел непрестанную войну с несправедливыми законами; но при случае, почувствовав себя оскорбленным, он умел теперь обернуться к какому-нибудь графу или даже герцогу и подарить его таким взглядом, от которого того кидало в дрожь. Однажды, когда его царственная

«сестра», злая святоша леди Мэри, принялась было доказывать ему, что он поступает неразумно, милуя столько людей, которые иначе были бы брошены в тюрьму, повешены или сожжены, и напомнила ему, что при их августейшем покойном родителе в тюрьмах иногда содержалось одновременно до шестидесяти тысяч заключенных и что за время своего мудрого царствования он отправил на тот свет рукою палача семьдесят две тысячи воров и разбойников¹, — мальчик, полный благородного негодования, велел ей идти к себе и молиться богу, чтобы он вынул камень из ее груди и вложил в нее человеческое сердце.

Но неужели Тома Кенти никогда не смущало исчезновение бедного маленького законного наследника престола, который обошелся с ним так ласково и с такой горячностью бросился к дворцовым воротам, чтобы наказать дерзкого часового? Да! Его первые дни и ночи во дворце были отравлены тягостными мыслями об исчезнувшем принце; Том искренне желал его возвращения и восстановления в правах. Но время шло, а принц не возвращался, и новые радостные впечатления все сильнее овладевали душою Тома, мало-помалу изглаживая из нее образ пропавшего принца; под конец этот образ стал являться лишь изредка и то нежеланным гостем, так как при появлении его Тому становилось больно и стыдно.

Несчастную мать свою и сестер он тоже вспоминал все реже. Вначале он грустил о них, тосковал, хотел их увидеть, но потом стал содрогаться при мысли, что когда-нибудь они предстанут перед ним в лохмотьях, в грязи, и выдадут его своими поцелуями, и стащат его долой с трона назад в грязь, в трущобы, на голод и унижения. В конце концов он почти перестал вспоминать о них и был даже рад этому, так как теперь, когда их скорбные и укоряющие лица вставали перед ним, он казался себе презреннее червя.

В полночь девятнадцатого февраля Том Кенти спокойно заснул в своей роскошной постели во дворце, охраняемый своими верными вассалами и окружен-

¹ Юм, История Англии. (Прим. автора.)

ный всей пышностью королевского сана; счастливый мальчик: на завтра назначено было его торжественное коронование.

В этот самый час настоящий король Эдуард, голодный, мокрый и грязный, утомленный дорогой, оборванный — одежду его изорвали в драке, — стоял, зажатый в толпе, с глубоким любопытством наблюдавшей за кучками рабочих, которые копошились, как муравьи, возле Вестминстерского аббатства. Они доканчивали последние приготовления к завтрашней коронации.

Глава XXXI

БОРОНАЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ

На следующее утро, когда Том Кенти проснулся, воздух был полон глухого гула, вся даль гремела. Для Тома этот гром был музыкой: он означал, что вся Англия дружно напрягает легкие, приветствуя великий день.

Том снова занял первое место в удивительной плавающей процессии на Темзе. По древнему обычаю, королевское шествие должно было пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра. И прежде всего Том отправился к Тауэру. Как только он прибыл туда, стены древней крепости словно внезапно треснули в тысяче мест сразу, и из каждой трещины выскочили красный огненный язык и белый клуб дыма. Раздался оглушительный взрыв, в котором потонули радостные крики толпы; от гула дрожала земля; огонь, дым, треск выстрелов повторялись снова и снова с удивительной быстротой, так что через минуту старый Тауэр исчез в густом облаке дыма; только так называемый Белый Тауэр — высокая башня, украшенная флагами, — высился над этим морем дыма, как горная вершина над грядой облаков.

Разодетый Том Кенти на статном боевом скакуне, покрытом богатой попоной, ниспадавшей почти до земли, возглавлял процессию; сейчас же за ним следовал его «дядя», лорд-протектор Соммерсет, на таком же

прекрасном коне, королевская гвардия в сияющих латах сопровождала его с обеих сторон; за протектором следовала бесконечная вереница пышно разодетых вельмож, ехавших в сопровождении своих вассалов; за ними — лорд-мэр и отцы города в алых бархатных мантиях, с золотыми цепями на груди; за ними — депутация от всех лондонских гильдий в богатой одежде, с пестрыми знаменами корпораций. Шествие замыкала древняя Почетная артиллерийская рота, существовавшая в то время уже около трехсот лет, единственная воинская часть, пользовавшаяся привилегией (сохраненной до наших дней) не подчиняться распоряжениям парламента. Это было блестящее зрелище! Рота выступала среди многолюдной толпы, приветствовавшей ее на каждом шагу оглушительными криками. Вот как рассказывает об этом летописец:

«При въезде короля в город народ встретил его приветственными криками, молитвами, благопожеланиями и другими изъявлениями искренней любви верноподданных к своему государю; и король, повернувшись к толпе сияющим радостью ликом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаграждал свой народ за его верноподданные чувства. В ответ на крики: «Да здравствует король Англии!» — «Да хранит господь его величество Эдуарда Шестого!» — он говорил благосклонно: «Храни господь всех вас! От всего сердца благодарю мой добрый народ!» И народ с восхищением внимал милостивым словам своего короля.

На улице Фенчерч какой-то «прелестный ребенок в роскошном наряде» взошел на подмостки и приветствовал его величество такими стихами:

Да здравствует король! — поют тебе сердца.
Да здравствует король! — мы все тебе поем.
Да здравствует король! Да правит без конца!
Храни тебя господь в величии твоём!

Толпа в один голос повторяла слова ребенка.

Том Кенти смотрел на это волнующееся море радостных лиц, и сердце его ликовало; он чувствовал, что если стоит жить на свете, так только для того, чтобы

быть королем и любимцем народа. Вдруг он увидел вдали двух маленьких оборванцев, его бывших товарищей по Двору Отбросов (один из них занимал должность лорда-адмирала при его потешном дворе, а другой — первого лорда опочивальни), и еще больше возгордился. О, если бы они могли узнать его теперь! Как несказанно счастлив был бы он, если бы они узнали его, если бы увидели, что шутовской король трущоб и задворков стал настоящим королем, что ему прислуживают герцоги и принцы и у ног его весь английский народ! Но он должен был отказать себе в этом удовольствии, он должен был подавить свое желание, потому что такая встреча обошлась бы ему слишком дорого. И Том отвернулся, а мальчики продолжали прыгать и кричать, не подозревая, кому они посылают свои приветствия.

— Милостыни! Милостыни! — кричал народ. И Том бросал в толпу пригоршни новеньких, блестящих монет. Летописец рассказывает: «На верхнем конце улицы Грэсчерч, перед харчевней «Орел», город соорудил великолепную арку, под которой тянулись подмостки с одной стороны улицы до другой. На этих подмостках были выставлены изображения ближайших предков короля. Там сидела Елизавета Йоркская посредине большой белой розы, лепестки которой свивались вокруг нее вычурными фестонами; рядом с ней, в красной розе, сидел Генрих VII; руки царственной четы были соединены, на пальцах красовались выставленные напоказ обручальные кольца. От белой и алой розы тянулся стебель, достигавший вторых подмостков, где Генрих VIII выходил из раскрытой ало-белой розы вместе с Джейн Сеймур, матерью нового короля. От этой пары опять-таки тянулся стебель к третьим подмосткам, где находилось изображение самого Эдуарда VI на троне, во всем его царственном величии. Все подмостки были увиты гирляндами роз, алых и белых».

Это странное и красивое зрелище привело ликующий народ в такой восторг, что его крики совершенно заглушили слабый голос ребенка, которому поручено было прочесть хвалебные стихи, объясняющие значение этой аллегии. Но Том Кенти не жалел об этом: вернопод-

даннический рев толпы был для него слаще всяких стихов, даже самых хороших. Когда Том повернул к толпе свое счастливое юное лицо, народ заметил сходство его с изображением, и снова загремела буря приветствий.

Процессия все подвигалась вперед, проходя под триумфальными арками мимо ярких символических изображений, прославлявших различные добродетели, таланты и заслуги нового короля. «По всей Чипсайд из каждого окна, с каждого карниза свисали знамена и флаги, а также роскошные ковры, дорогие ткани и золотая парча — свидетельство богатств, хранившихся в сундуках; другие улицы были украшены столь же великолепно, и даже еще великолепнее».

— И все эти диковины, все эти чудеса выставлены ради меня, — шептал Том Кенти.

Щеки мнимого короля горели от возбуждения, глаза блестели, он блаженствовал, наслаждался. Вдруг, как раз в то время, когда он поднял руку, чтобы бросить народу пригоршню монет, он увидел в толпе бледное измученное лицо и пристальный взгляд, устремленный на него. У Тома потемнело в глазах: он узнал свою мать! Он быстро заслонил глаза рукой, вывернув ее ладонью наружу, — старый непроизвольный жест, возникший от давно позабытых причин и вошедший в привычку. Еще мгновение — женщина пробилась вперед сквозь толпу, сквозь стражу и очутилась возле него. Она обхватила его ногу, она покрыла ее поцелуями, она зарыдала:

— Дитя мое, любимое дитя! — и подняла к нему лицо, преобразенное радостью и любовью.

Один из телохранителей с бранью потащил ее прочь и сильной рукой отшвырнул назад. Слова: «Женщина, я не знаю тебя!» — уже готовы были сорваться с уст Тома, но обида, нанесенная его матери, уязвила его в самое сердце. И когда она обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на него, прежде чем толпа скроет его окончательно от ее глаз, у нее было такое скорбное лицо, что Тому стало стыдно. Этот стыд испепелил его гордость и отравил всю радость краденого величия. Все почести показались ему вдруг лишенными всякой цены, они спали с него, как истлевшие лохмотья.

А процессия шла и шла; убранство улиц становил-

лось все роскошнее; приветственные клики раздавались все громче. Но для Тома Кенти всего этого словно и не было. Он ничего не видел и не слышал. Королевская власть потеряла для него прелесть и обаяние; в окружающей пышности ему чудился упрек, угрызения совести терзали его сердце. Он говорил себе: «Хоть бы бог освободил меня из этого плена!», невольно повторяя те же слова, какие беспрестанно твердил в первые дни своего принудительного величия.

Сверкающая процессия все извивалась по кривым улицам древнего города, как бесконечная змея в блестящей чешуе; воздух звенел от приветствий толпы; но король ехал поникнув головой и ничего не видя перед собою, кроме скорбного лица своей матери. И в протянутые руки подданных уже не сыпались блестящие монеты.

— Милостыни! Милостыни!

Но он не внимал этим крикам.

— Да здравствует Эдуард, король Англии!

Казалось, вся земля дрожала от этих возгласов, но король не отвечал. До него эти крики доносились как отдаленный прибой, заглушаемый другими звуками, раздававшимися ближе, в его собственной груди, в его собственной совести, — голосом, повторявшим постыдные слова: «Женщина, я не знаю тебя!»

Эти слова звучали в душе короля, как звучит погребальный колокол в душе человека на похоронах близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил.

На каждом повороте его ждали новые почести, новая роскошь, новые чудеса, грохот приветственных выстрелов, ликующие клики толпы; но король ни словом, ни жестом не отзывался на них, так как, кроме укоряющего голоса в своей собственной безутешной душе, он ничего и не слышал.

Мало-помалу и у зрителей изменились лица и вместо радостных стали озабоченными, и приветственные клики раздавались уже не так громко. Лорд-протектор скоро заметил это и сразу понял причину. Он подскочил к королю, низко пригнулся к нему, обнажив голову, и шепнул:

— Государь, теперь не время мечтать! Народ видит твою поникшую голову, твое отуманенное чело и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайся моего совета, дай вновь воссиять твоему королевскому солнцу и озари свой народ его лучами. Подними голову и улыбнись народу.

С этими словами герцог бросил направо и налево по пригоршне монет и вернулся на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, о чем его просили. В его улыбке не было души, но только немногие стояли к нему настолько близко, только немногие обладали настолько острым зрением, чтобы заметить это. Он так грациозно и ласково наклонял свою украшенную перьями голову, с такой царственной щедростью сыпал вокруг новенькие, блестящие монеты, что тревога народа рассеялась и приветственные клики загрели так же громко, как прежде.

А все же герцогу пришлось еще раз подъехать к королю и постараться образумить его. Он прошептал:

— Великий государь, стряхни с себя эту гибельную грусть, глаза целого мира устремлены на тебя! — и с досадой прибавил: — Чтоб она пропала, эта жалкая нищенка! Это она так расстроила ваше величество!

Разряженный король обратил на герцога потухший взор и сказал беззвучным голосом:

— Это была моя мать!

— Боже мой! — простонал лорд-протектор, отъезжая назад. — Дурное предзнаменование оказалось пророчеством: он снова сошел с ума!

Глава XXXII

ДЕНЬ КОРОНАЦИИ

Вернемся на несколько часов назад и займем место в Вестминстерском аббатстве в четыре часа утра, в памятный день коронации. Мы здесь не одни; хотя на дворе еще ночь, но освещенные факелами хоры уже

заполняются людьми; они готовы просидеть шесть-семь часов, лишь бы увидеть зрелище, которое никто не надеется увидеть два раза в жизни — коронацию короля. Да, Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов ночи, когда грянули первые пушки, и уже целая толпа не именитых, но зажиточных граждан, заплатив деньги за доступ на хоры, теснится у входов, предназначенных для людей их сословия.

Часы тянутся довольно тоскливо. Всякая суматоха мало-помалу стихла, так как хоры уже давно набиты битком. Присядем и мы: у нас довольно времени, чтобы осмотреться и подумать. Со всех сторон, куда ни бросишь взгляд, из полумрака, царящего в соборе, выступают части хоров и балконов, усеянных зрителями; другие же части тех же хоров и балконов скрыты от глаз колоннами и выступами. Нам ясно виден весь огромный северный придел собора — пустой в ожидании избранной публики. Нам виден также большой помост, устланный богатыми тканями. Посредине его, на возвышении, к которому ведут четыре ступени, помещается трон. В сидение трона вделан неотесанный плоский камень — Сконский камень, на котором короновались многие поколения шотландских королей; обычай и время настолько освятили его, что теперь он достоин служить и английским королям. И трон и его подножие обтянуты золотой парчой.

Вокруг царит тишина; факелы светят тускло; часы лениво ползут. Но вот наконец рассветает; факелы потушены, мягкий свет разливается по огромному зданию. Теперь ясно можно различить все очертания этого благородного храма, но они вырисовываются мягко, как бы во сне, так как солнце слегка подернуто тучами.

В семь часов дремотное однообразие этого ожидания впервые нарушается: с последним ударом в северном приделе появляется первая знатная леди, одетая, как Соломон в его славе; распорядитель в шелку и бархате провожает ее к отведенному для нее месту; другой, такой же разряженный, подобрав длинный шлейф леди, идет за нею и, когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях. Затем он подставляет ей под ноги

скамеечку и кладет неподалеку корону, чтобы леди удобно было взять ее, когда настанет время всем представителям аристократии возложить на себя свои короны.

Супруги пэров появляются одна за другой, блестящей вереницей, а между ними мелькают нарядные распорядители, усаживая их и устраивая. Теперь внутренность храма представляет собою довольно оживленное зрелище. Везде жизнь, движение, яркие краски. Немного погодя водворяется снова тишина, супруги и дочери пэров все пришли и все уселись на свои места — огромный живой цветник, пестрый и, как Млечный Путь, сверкающий морозной пылью брильянтов. Тут перед вами все возрасты: старухи, сморщенные, желтые, седые, — они помнят коронацию Ричарда III и его смутные, давно забытые времена; и красивые пожилые дамы; и прелестные молоденькие женщины; есть и хорошенькие нежные девушки с блестящими глазами и свежими щечками, — легко может статься, что, когда придет великая минута, они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок: для них это дело новое, и справиться с волнением им будет не легко. Впрочем, нет, — этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа устроена так, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место.

Мы уже видели, что разодетые леди усыпаны брильянтами, мы уже знаем, что это зрелище прелестно; однако настоящие чудеса еще впереди. Около девяти часов небо внезапно проясняется, и солнечный луч, прорезав полумрак собора, медленно движется вдоль скамеек с нарядными дамами; каждый ряд горит ослепительными разноцветными огнями, и внезапная яркость этого зрелища пронзает нас, как электрический ток! Но вот в полосу света вступает чрезвычайное посольство из какой-то дальней восточной земли, замыкающее шествие других иностранных послов, — и у вас захватывает дыхание, такой блеск оно разливает вокруг себя; посол с головы до ног усыпан драгоценными камнями и при каждом движении сыплет вокруг пляшущие снопы алмазных искр.

Однако переведем наш рассказ удобства ради в прошлое время. Прошел час, два часа, два с половиной; глухой артиллерийский залп возвестил о прибытии короля и процессии; утомленная ожиданием толпа ожидалась. Все знали, что придется еще подождать, так как короля нужно облачить и приготовить к торжественной церемонии; а пока ожидание можно будет приятно заполнить разглядыванием паров королевства, появляющихся во всем их пышном наряде; каждого пара распорядители с почетом отводили на место и клали возле него его корону. Зрители на хорах с живым любопытством наблюдали за всем: большинство из них впервые видели графов, герцогов и баронов, имена которых не сходили со страниц истории уже в течение пятисот лет. Когда наконец все пары уселись, с хоров открылось столь дивное зрелище, что действительно стоило взглянуть на него, чтобы потом помнить всю жизнь.

Теперь на подмости вступали один за другим епископы в парадном облачении и в митрах и занимали отведенные им места; за ними следовали лорд-протектор и другие важные сановники, а за сановниками — закованные в сталь гвардейцы.

Прошла минута напряженного ожидания, затем по сигналу грянула торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии из золотой парчи появился в дверях и поднялся на подмости. Вся толпа как один человек встала, и началась церемония коронования.

Все аббатство наполнилось звуками торжественного гимна, и под звуки этого гимна Тома Кенти подвели к трону. Один за другим совершались издревле установленные обряды, величавые и торжественные, и зрители жадно следили за ними; но чем ближе к концу подходила церемония, тем бледнее становился Том Кенти, тем сильнее терзало отчаяние его кающуюся душу.

Наконец наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг словно радуга озарила внутренность собора — это все знатные лорды и леди одновре-

менно взяли свои коронки, возложили их себе на голову и замерли.

Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посредине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик — с непокрытой головой, в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул:

— Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я — король!

В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук. Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул:

— Отпустите его и не троньте! Он действительно король!

Паника овладела собравшимися; пораженные, все приподнялись на своих местах и, переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом:

— Не обращайтесь внимания на слова его величества: им опять овладел недуг. Схватите бродягу!

Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул:

— Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он — король!

Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил. Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить, — так странно и неожиданно было все случившееся. Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе, с гордой осанкой и поднятым челом, он ни разу не остановился; и, пока все колебались в растерянности, он взошел на подмостки. Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул:

— О государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать: возложи на себя свою корону и вступи в свои права!

Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца; но тотчас же лицо его смягчилось, и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль: «Какое поразительное сходство!»

Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно:

— С вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов...

— Я отвечу на них, милорд!

Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце, о принцессах. Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского.

Это было странно. Это было удивительно. Да, это было необъяснимо, — так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал:

— В самом деле, это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король.

Замечание лорда-протектора опечалило Тома Кенти — его все еще называли королем, — и он почувствовал, что теряет надежду.

— Это еще не *доказательства*, — прибавил лорд-протектор.

Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море.

Лорд-протектор подумал, покачал головой, — одна мысль вытеснила все остальные: «И для государства и для всех нас опасно долго возиться с этой роковою загадкой: это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал:

— Сэр Томас, арестуйте этого... Нет, погодите!

Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом:

— Где большая государственная печать? Ответ на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить *только* тот, кто был принцем Уэльским! Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии!

Это была удачная мысль, счастливая мысль. Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор не разгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. Хорошо! Очень хорошо! Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемееет от смущения в сознании своей вины.

И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось, — мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал:

— В этой загадке нет ничего трудного.

И, даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать:

— Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце, — никто не знает его лучше тебя, — и там, возле самого пола, в левом углу, самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь; нажми шляпку гвоздя — и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня да того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадет на глаза, будет большая государственная печать, — принеси ее сюда!

Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю свою жизнь.

Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ, он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах. Том Кенти обернулся к нему и резко сказал:

— Что же ты медлишь? Разве ты не слышал королевского приказа? Ступай!

Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон; многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен: чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя, лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим зараз, или, вернее, нейтральному пространству между обоими. И вышел.

В нарядной группе сановников, стоявших на подмостках, началось движение, вначале едва заметное, но непрерывное, словно в калейдоскопе, когда мелкие частицы пестрой фигуры отпадают от одного центра и переходят к другому, образуя новую фигуру. Так и здесь, постепенно, едва заметно, блестящая свита, окружавшая Тома Кенти, переместилась поближе к пришельцу. Том Кенти остался почти один. Прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых немногие боязливые люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и один за другим, шмыгнув в сторону, присоединились к большинству. И теперь Том Кенти, в царской одежде и самоцветных камнях, стоял совсем одинокий, окруженный пустотой.

В дверях собора показался лорд Сент-Джон. Едва его заметили, все разговоры смолкли, и водворилась глубокая тишина, только его шаги глухо отдавались под высокими сводами. Все, затаив дыхание, с напряженным любопытством следили за ним, все глаза были устремлены на него. Он взшел на подмостки, помедлил немного, затем, отвесив низкий поклон Тому Кенти, сказал:

— Государь, печати там нет!

Если бы на улице показался вдруг зачумленный, чернь шарахнулась бы прочь от него не так стремительно, как это сборище побледневших, испуганных царедворцев отхлынуло от жалкого маленького претендента на английский престол. Миг — и он остался

совершенно один под перекрестным огнем гневных и презрительных взглядов. Лорд-протектор запальчиво крикнул:

— Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьюми! Этот наглец не заслужил ничего лучшего.

Гвардейцы кинулись к мальчику, но Том Кенти властно отстранил их рукой:

— Назад! Кто дотронется до него, ответит головой.

Лорд-протектор пришел в полное недоумение. Он спросил Сент-Джона:

— Хорошо ли вы искали? Впрочем, об этом бесполезно и спрашивать. В высшей степени странно! Когда пропадают мелкие вещи, безделушки, этому не удивляешься. Но каким образом такая объемистая вещь, как английская государственная печать, могла исчезнуть без следа, так, что никто не может найти ее? Такой тяжелый золотой круг...

Том Кенти с заблестевшими глазами подскочил к нему и крикнул:

— Стойте! Какая она была? Круглая? Толстая? На ней были вырезаны буквы и эмблемы? Да? О, теперь я знаю, что такое эта большая печать, из-за которой вы подняли такую кутерьму! Если бы вы мне описали ее раньше, вы бы получили ее три недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит, но не я первый положил ее туда.

— А кто же, государь? — спросил лорд-протектор.

— Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии! И он сам скажет вам, где она лежит, — тогда вы поверите, что он знал это с самого начала. Подумай, государь! Потрудись припомнить! Это было последнее, самое последнее, что ты сделал в тот день, прежде чем выбежал из дворца, переодетый в мои лохмотья, чтобы наказать обидевшего меня солдата.

Наступило гробовое молчание — ни звука, ни шепота! Все глаза были устремлены на того, от кого ждали ответа; а он стоял, наклонив голову и наморщив лоб, и рылся в своей памяти, стараясь среди множества не имеющих цены воспоминаний уловить один-единственный ускользающий пустяк, зная, что, если он пой-

мает этот пустяк — он будет на троне, если же нет — навсегда останется нищим изгнанником. Проходили мгновения, проходили минуты, мальчик напрягал свою память и молчал. Наконец он глубоко вздохнул, медленно покачал головой и выговорил дрожащими губами, с отчаянием в голосе:

— Я припомнил весь тот день, но что я сделал с печатью, припомнить не могу.

Он помолчал, потом поднял глаза и проговорил с кротким достоинством:

— Милорды и джентльмены, если вы хотите лишить вашего законного государя его престола только оттого, что у него нет этого доказательства, я бессилён помогать вам. Но...

— О государь, какое безумие! — в ужасе воскликнул Том Кенти. — погоди! Подумай! Не сдавайся так скоро! Дело еще не потеряно! Слушай, что я тебе скажу, следи за каждым моим словом! Я вызову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах Нэн и Бэт... ну вот, ты это помнишь? И о бабке, и о том, как мы, мальчишки, играем на Дворе Отбросов... Ты и это помнишь? Отлично! Следи только за мной, — ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить и с царственной любезностью отослал придворных, чтобы мне не было стыдно перед ними за свою невоспитанность... Ага, ты и это помнишь!

Том перечислял все подробности одну за другой, и принц кивал головой в знак того, что он припоминает; а сановники слушали и дивились: все это было так похоже на правду, между тем откуда могла возникнуть эта невозможная дружба между принцем и нищим? Никогда еще никакая толпа не была охвачена таким любопытством и не чувствовала себя столь ошеломленной и растерянной.

— Ради шутки, государь, мы поменялись одеждой. Потом мы стали перед зеркалом, и оказалось, что мы так похожи один на другого, будто и не переодевались совсем, — ты помнишь и это, да? Потом ты заметил, что солдат сильно ушиб мне руку, — смотри, я и до сих пор не могу держать ею перо, так одеревенели мои пальцы.

Увидев это, твое высочество вскочил, покаявшись, что ты отомстишь солдату, и побежал к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которую вы называете печатью, лежала на столе, — ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать, потом увидал...

— Стой! Довольно! Благодарение богу, я вспомнил! — воскликнул взволнованным голосом оборванный претендент на престол. — Иди, мой добрый Сент-Джон: в рукавице миланского панциря, что висит на стене, ты найдешь государственную печать!

— Верно, государь, верно! — воскликнул Том Кенти. — Теперь английская держава — твоя, и тому, кто вздумает оспаривать ее у тебя, лучше бы родиться немым! Спешу, милорд Сент-Джон! Пусть твои ноги превратятся в крылья!

Все собрание было теперь на ногах. Все прямо-таки обезумели от беспокойства, тревоги и жгучего любопытства. Собор гудел, как пчелиный улей. Все сразу заговорили возбужденно и пылко, внизу и на помосте — повсюду. Никто ничего не слышал и не интересовался ничем, кроме того, что кричал ему в ухо сосед или что он кричал в ухо соседу. Время промчалось стремительно. И вот по собору пронесся шепот — на подмостках появился Сент-Джон, в поднятой над головой руке он держал государственную печать. Сразу же грянул крик:

— Да здравствует истинный король!

Минут пять в соборе стон стоял от кликов и грома музыки; вихрь носовых платков реял в воздухе. А тот, к кому относились все эти приветствия, маленький оборванец, — отныне первый человек в Англии, — стоял на виду у всех, посредине подмостков, счастливый и гордый, щеки его пылали румянцем, и могущественнейшие вассалы королевства склонили перед ним колени.

Затем все встали, и Том Кенти воскликнул:

— Теперь, о государь, возьми назад твое царское одеяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище!

Лорд-протектор отдал приказание:

— Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр!

Но король, истинный новый король, заявил:

— Не позволю! Только благодаря ему я получил обратно свою корону, — и не смейте трогать и обижать его! А ты, милейший дядя, ты, милорд-протектор, неужели ты не питаешь никакой благодарности к этому бедному мальчику? Ведь, как я слышал, он пожаловал тебя в герцоги (протектор покраснел), но он, оказывается, не был настоящим королем, значит чего стоит теперь твой громкий титул? Завтра ты *через его посредство* будешь ходатайствовать предо мной об утверждении тебя в этом звании, иначе тебе придется распрощаться с твоим герцогством и ты останешься просто графом.

После такой отповеди его светлость герцог Соммерсетский предпочел на время отойти в сторону. Король повернулся к Тому и ласково сказал:

— Мой бедный мальчик, как ты мог вспомнить, куда я спрятал печать, если я и сам не мог вспомнить?

— Ах, государь, это было нетрудно, ибо я не раз употреблял ее в дело.

— Употреблял ее в дело... и не мог сказать, где она находится?

— Да ведь я не знал, что они ее ищут. Они мне не говорили, какая она, ваше величество!

— Что же ты с нею делал?

Щеки Тома густо покраснели; он потупил глаза и молчал.

— Говори, добрый мальчик, не бойся! — успокоил его король. — Что же ты делал с большой государственной печатью Англии?

Том опять запнулся и наконец смущенно выговорил:

— Я щелкал ею орехи!

Бедный ребенок! Эти слова были встречены таким взрывом хохота, что он едва устоял на ногах. Но если кто-нибудь сомневался в том, что Том Кенти не был королем Англии, этот ответ рассеял все сомнения.

Тем временем с Тома сняли роскошную мантию и накинули ее на плечи королю. Мантия прикрыла его нищенские лохмотья. После этого прерванная корона-

ция возобновилась. Настоящий король был помазан миром, на голову его возложили корону, а пушечные выстрелы возвестили эту радость городу, и весь Лондон гудел от восторга.

Глава XXXIII

ЭДУАРД — КОРОЛЬ

И до того, как Майлс Гендон попал в буйную толпу, запрудившую Лондонский мост, его наружность была весьма живописна, а когда он вырвался оттуда, она стала еще живописнее. У него и раньше было мало денег, а теперь и совсем ничего не осталось. Воры обчистили его карманы до последнего фартинга.

Но не беда, лишь бы найти мальчика. Как настоящий воин, он никогда ничего не предпринимал наобум и прежде всего составил план военных действий.

Что мог предпринять мальчик? Куда он мог направиться? Пожалуй, думал Майлс, для него было всего естественнее посетить первым делом то место, где он жил прежде; так поступают все бездомные, покинутые люди, все равно — сумасшедшие они или в здравом уме. Где же он мог прежде жить? Его лохмотья и его близость к грубому бродяге, который, очевидно, хорошо знал его и даже называл сыном, указывали на то, что он жил в одном из беднейших кварталов Лондона. Долго ли придется его искать? Нет, Майлс найдет его легко и быстро. Он будет высматривать не мальчика, а все уличные сборища, большие и малые, и в центре какого-нибудь скопления людей рано или поздно найдет своего маленького друга; чернь, наверное, будет глумиться над ним, так как он, по обыкновению, станет, конечно, провозглашать себя королем. И тогда Майлс Гендон изувечит кого-нибудь из этих грубых людей и уведет своего питомца подальше, утешит, успокоит его ласковым словом и никогда больше не расстанется с ним.

Итак, Майлс отправился на поиски. Час за часом он бродил по грязным улицам и закоулкам, выискивая сборища людей; он находил их на каждом шагу, но

мальчика нигде не было. Это крайне удивило его, но он не отчаивался. В своем плане он не находил никаких изъянов; просто военные действия затянулись на более продолжительный срок, чем он рассчитывал.

До рассвета он исходил не одну милю, повстречал множество всяких людей, но в результате только устал и проголодался. Ему очень захотелось спать. Он не прочь был бы позавтракать, но на это было мало надежды — просить милостыню ему не приходило в голову; а заложить шпагу — это все равно что расстаться с честью. Можно бы продать что-нибудь из одежды, но где сыщешь покупателя на подобную рвань?

В полдень он все еще бродил по улицам, в толпе, которая следовала за королевской процессией; он полагал, что маленького сумасшедшего непременно потянет взглянуть на такое зрелище. Он прошел вслед за процессией весь извилистый путь от Лондона до Вестминстера и до самого аббатства. Он бесконечно долго слонялся в толпе и наконец, ничего не добившись, озабоченный, отошел прочь, обдумывая новый, лучший план. Углубившись в свои мысли, он не сразу заметил, что город остался далеко позади и день клонился к вечеру, а выйдя наконец из задумчивости, увидел, что находится за городом, недалеко от реки, в живописной местности, где расположены были богатые усадьбы. Здесь не любят таких оборванцев, как он.

Погода стояла теплая; он растянулся на земле возле изгороди, чтобы отдохнуть и подумать. Скоро им овладела дремота; до него донеслись отдаленные глухие звуки пушечных выстрелов; он сказал себе: «Коронация кончилась», и тут же уснул. Перед тем он не отдыхал больше тридцати часов подряд. Проснулся он только на следующее утро.

Он поднялся разбитый, полумертвый от голода, умылся в реке, вдоволь напился воды, чтобы наполнить желудок и заковылял к Вестминстеру, ругая себя за то, что потерял столько времени даром. Голод внушил ему новый план: он прежде всего попытается добраться до старого сэра Гэмфри Марло и возьмет у него займы несколько пиллингов, а потом... Но пока и этого довольно, потом будет время усовершенствовать

и разработать новый план, сначала надо выполнить его первую часть.

Часов в одиннадцать он очутился у дворца, и хотя народа, пышно разодетого, кругом было много, он не остался незамеченным благодаря своей одежде. Он пристально вглядывался в лицо каждого встречного, выискивая сострадательного человека, который согласился бы доложить о нем старому сэру Гэмффри; о том, чтобы попытаться самому проникнуть во дворец в таком виде, разумеется не могло быть и речи.

Вдруг мимо него прошел мальчик для порки; увидав Майлса, он вернулся и еще раз прошел мимо, пристально вглядываясь.

«Если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, то я безмозглый осел... Хотя я, кажется, и всегда был ослом. Все приметы налицо. Не может быть, чтобы премудрый господь создал два таких страшилища сразу. Это было бы опасным перепроизводством чудес, ибо цена на них сильно упала бы. Как бы мне заговорить с ним!..»

Но тут сам Майлс Гендон вывел его из затруднения, потому что обернулся назад, почувствовав, что на него пристально смотрят. Подметив любопытство во взгляде мальчика, он сказал:

— Ты только что вышел из дворца; ты из придворных?

— Да, ваша милость!

— Ты знаешь сэра Гэмффри Марло?

Мальчик вздрогнул от неожиданности и подумал про себя: «Боже! Он спрашивает о моем покойном отце!»

Вслух он ответил:

— Хорошо знаю, ваша милость.

— Он там?

— Да, — сказал мальчик и про себя прибавил: «в могиле».

— Не будешь ли ты так любезен сообщить ему мое имя и передать, что я желаю сказать ему два слова по секрету.

— Я охотно исполню ваше поручение, любезный сэр.

— В таком случае скажи, что его дожидается

Майлс Гендон, сын сэра Ричарда. Я буду тебе очень благодарен, мой добрый мальчик!

Мальчик был, по-видимому, разочарован. «Король что-то не так называл его, — сказал он себе, — ну да все равно. Это, должно быть, его брат, и я уверен, что он может дать сведения его величеству о том чудаке». Он попросил Майлса подождать немного, пока он принесет ответ. Он ушел, а Гендон остался ждать его в указанном месте, на каменной скамеечке внутри ниши дворцовой стены, где в дурную погоду укрывались часовые. Не успел он усесться, как мимо прошел отряд алебардщиков под командой офицера. Офицер, увидев чужого человека, остановил своих людей и велел Гендону выйти из ниши. Тот повиновался и немедленно был арестован как подозрительная личность, шатающаяся около дворца. Дело начинало принимать нехороший оборот. Бедный Майлс хотел было объясниться, но офицер грубо приказал ему молчать и велел своим людям обезоружить и обыскать его.

— Может быть, вам бог поможет найти что-нибудь, — сказал бедный Майлс. — Я мнс искал и ничего не нашел, хотя мне так нужно было найти.

И действительно, у него ничего не нашли, кроме запечатанного письма. Офицер разорвал конверт, и Майлс улыбнулся, узнав «каракули» своего бедного маленького друга. Это было послание, написанное королем в тот памятный день в Гендонском замке. У офицера лицо пожелтело, когда он прочел английскую часть письма, а Майлс, выслушав ее, побледнел.

— Еще один претендент на престол! — воскликнул офицер. — Они нынче размножаются, как кролики. Схватите этого негодяя и держите его крепко, пока я снесу это драгоценное послание к королю.

«Ну, теперь все мои злоключения кончились, — бормотал Майлс, — ибо я наверняка скоро буду болтаться на веревке. Эта записка мне не пройдет даром. А что станет с моим бедным мальчиком? Увы, это одному богу известно!»

Через некоторое время Майлс увидел быстро возвращавшегося офицера и собрал все свое мужество, решившись встретить неизбежную смерть, как подобает

мужчине. Офицер тотчас приказал солдатам освободить пленника и возвратить ему шпагу, затем почтительно поклонился и сказал:

— Прошу вас, сэр, следуйте за мной!

Гендон пошел за ним, говоря себе: «Если бы я не знал, что иду на смерть и что мне поэтому следует поменьше грешить, я бы, кажется, придушил этого мерзавца за его издевательскую любезность».

Они прошли через людный двор к главному подъезду дворца, где офицер с таким же почтительным поклоном сдал Гендона с рук на руки разодетому придворному, который в свою очередь отвесил ему низкий поклон и повел через большой зал, между двумя рядами пышно одетых дворцовых лакеев, которые почтительно кланялись Гендону, а за спиной у него давились от смеха. Придворный поднялся с Гендоном по широкой лестнице, застроенной пышно разодетыми джентльменами, и наконец ввел его в обширный покой, где была собрана вся английская знать; он провел Майлса вперед, еще раз поклонился, напомнил ему, что надо снять шляпу, и оставил его среди комнаты. Глаза всех присутствующих устремились на него. Иные сердито нахмурились. Иные улыбались насмешливо.

Майлс Гендон был ошеломлен. Перед ним, всего в каких-нибудь пяти шагах, под пышным балдахином сидел молодой король; отвернувшись немного в сторону и наклонив голову, он беседовал с какой-то райской птицей в образе человека — наверное, с каким-нибудь герцогом. Гендон смотрел и думал, что и без того горько умереть во цвете лет, а тут еще подвергают тебя такому унижению. Ему хотелось, чтобы король скорее покончил с приговором, — некоторые из пышных вельмож, стоявших поближе, вели себя уж слишком нахально. В это время король поднял голову, и Гендон увидел его лицо. Увидел — и у него даже дух захватило! Как очарованный, он смотрел, не спуская глаз с этого прекрасного молодого лица, и вдруг воскликнул:

— Господи, вот он и на троне — владыка царства Снов и Теней!

Не отрывая изумленного взгляда от короля, он пробормотал еще что-то невнятное, потом оглядел все

вокруг — нарядную толпу, стены роскошного зала — и проговорил:

— Но ведь это же *правда*? Это не сон, а *действительность*!

Потом опять взглянул на короля и подумал: «Или это все-таки сон?.. Или он и впрямь повелитель Англии, а не бездомный сумасшедший бродяга, за которого я принимал его? Кто разгадает мне эту загадку?»

Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посредине зала и сел.

Толпа придворных загудела от гнева; чья-то рука жестко опустилась ему на плечо, чей-то голос воскликнул:

— Грубиян, невежа невоспитанный, как ты смеешь сидеть в присутствии короля!

Шум привлёк внимание его величества; король протянул руку и крикнул:

— Оставьте его, не троньте: это его право!

Придворные в недоумении отпрянули. А король продолжал:

— Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга, Майлс Гендон, который своим добрым мечом спас своего государя от ран, а может быть, и от смерти и за это волею короля посвящен в рыцари. Узнайте также, что он оказал королю еще более важную услугу: он избавил своего государя от плетей и позора, приняв их на себя, и за это возведен в звание пэра Англии и графа Кентского, и в награду ему будут пожалованы богатые поместья и деньги, подобающие его высокому званию. Более того, привилегия, которой он сейчас воспользовался, дарована ему королем и останется за ним и его потомками, и все старшие в роде его будут из века в век иметь право сидеть в присутствии английских королей, пока будет существовать престол. Не троньте его!

В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и прибывшие в столицу только сегодня. Всего лишь пять минут находились они в этом зале; они слушали в немом изумлении, переводя взгляд с короля на «воронье пугало» и обратно. То были сэр Гью и леди

Эдит. Но новый граф не замечал их. Он все смотрел на короля, как зачарованный, и бормотал:

— Господи, помилуй меня! Так это мой нищий! Так это мой сумасшедший!.. А я-то хотел похвастаться перед ним своим богатством — родовой усадьбой, в которой семьдесят комнат и двадцать семь человек прислуги! Это о нем я думал, что он никогда не знал иной одежды, кроме лохмотьев, иной ласки, кроме пинков и побоев, и иной еды, кроме отбросов! Это его я взял в приемыши и хотел сделать из него человека! Господи, хоть бы мне дали мешок, куда сунуть голову от стыда!

Но потом он вдруг опомнился, упал на колени и, пока король пожимал ему руки, клялся в верности и благодарил за пожалованные ему титулы и поместья. Затем встал и почтительно отошел в сторону; все смотрели на него с любопытством, а многие с завистью.

В это время король увидел сэра Гью и, сверкнув глазами, гневно воскликнул:

— Лишить этого разбойника его ложного титула и украденных им поместий и заключить под стражу впрямь до моих распоряжений!

Бывшего сэра Гью увели.

Теперь поднялась суeta в другом конце зала; толпа расступилась, и между двух живых стен прошел Том Кенти, причудливо, но богато одетый и предшествуемый камер-лакеем. Том приблизился к королю и опустился на одно колено.

— Я узнал, — сказал король, — обо всем, что ты сделал в эти несколько недель, и очень доволен тобою. Ты управлял моим государством с царственной кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестер? Прекрасно! Мы позаботимся о них. А отца твоего вздернут на виселицу, если ты пожелаешь этого и если позволит закон. Знайте вы все, кто слышит меня, что отныне мальчики, воспитывающиеся в Христовой обители на королевский счет, будут получать не только телесную, но и умственную и духовную пищу. Этот мальчик будет жить там и займет почетное место среди воспитателей; а так как он был королем, то ему подобает особый почет; заметьте его одежду: она присвоена ему одному, и никто не смеет носить точно такую же.

По этой одежде все будут узнавать его и, памятуя, что одно время он был королем, будут оказывать ему подобающие почести. Он находится под особой защитой и покровительством короны, и да будет всем известно, что ему даруется почетный титул королевского воспитанника.

Счастливый и гордый, Том Кенти поднялся с колен и поцеловал руку короля; ему позволено было удалиться. Не теряя времени, он помчался к своей матери, чтобы рассказать ей и сестрам все, что случилось, и поделиться с ними своей радостью¹.

З а к л ю ч е н и е

ПРАВОСУДИЕ И ВОЗМЕЗДИЕ

Когда все тайны разъяснились, Гью Гендон признался, что жена его отреклась от Майлса по его приказанию. Сначала он угрожал ей, что, если она не отречется от Майлса Гендона, ей придется расстаться с жизнью; она ответила, что не дорожит своею жизнью и останется верной Майлсу; тогда муж сказал, что ее пощадят, но Майлс будет убит! И она дала слово и сдержала его.

Гью не преследовали за эти угрозы и за присвоение имущества и титула брата, так как Майлс и Эдит не хотели давать показаний против него; да и вообще жене запрещалось давать показания против мужа. Гью бросил жену и уехал на континент, где вскоре умер, а Майлс, граф Кентский, женился на его вдове. Когда они впервые посетили Гендон-холл, вся округа ликовала и праздновала.

Об отце Тома Кенти так больше и не слыхали.

Король отыскал фермера, которого заклеили и продали в рабство, заставил его бросить преступную пайку и дал ему возможность жить безбедно.

¹ Смотри примечания к главе XXXIII в конце книги. (Прим. автора.)

Он также освободил из тюрьмы старого законника и снял с него штраф. Он пристроил дочерей двух баптисток, которых на его глазах сожгли на костре, и строго наказал того чиновника, который незаслуженно велел избить плетью Майлса Гендона.

Он спас от виселицы подмастерье, который был осужден за то, что поймал заблудившегося сокола; спас женщину, укравшую кусок сукна у ткача; но уже не успел спасти человека, осужденного на смерть за охоту на оленя в королевском парке.

Он оказывал постоянное благоволение судье, сжалившемуся над ним, когда его обвинили в краже поросенка, и с истинным удовольствием видел, как этот судья мало-помалу приобретал всеобщее уважение и сделался известным и почтенным человеком.

До конца дней король любил рассказывать историю своих былых приключений, начиная с той минуты, когда часовой прогнал его от дворцовых ворот, и кончая ночью, когда он искусно вмешался в толпу рабочих, украшавших аббатство, проскользнул в собор, спрятался в гробнице Исповедника и уснул так крепко, что на следующее утро чуть не проспал коронации. Он говорил, что частые повторения этого драгоценного урока укрепляют его в намерении извлечь из него пользу для своего народа и что, пока жив, он будет рассказывать эту историю, оживляя в своей памяти скорбные впечатления и укрепляя в своем сердце ростки страдания.

Майлс Гендон и Том Кенти во все его краткое царствование оставались его любимцами и искренне оплакивали его, когда он умер. Добрый граф Кентский был достаточно благоразумен и не слишком злоупотреблял своей особой привилегией, но все же он воспользовался ею дважды, кроме того случая, который нам известен: один раз — при восшествии на престол королевы Марии, и другой — при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался тою же привилегией при восшествии на престол Иакова I. Прежде чем этой привилегией собрался воспользоваться его сын, прошло около четверти века, и «привилегия Кентов» была забыта большинством придворных,

так что когда в один прекрасный день тогдашний Кент позволил себе сесть в присутствии Карла I, поднялся страшный переполох! Но дело скоро объяснилось, и привилегия была подтверждена. Последний из графов Кентов пал в гражданских войнах времен английской революции, сражаясь за короля, и с его смертью кончилась эта странная привилегия.

Том Кенти дожил до глубокой старости; он был красивый седовласый старик величавой и кроткой наружности. Все искренне уважали его и оказывали почет его странной, особой одежде, которая напоминала о том, что «в свое время он сидел на престоле». При его появлении все расступались, давали ему дорогу и шептали друг другу:

— Сними шляпу, это королевский воспитанник!

И все кланялись ему, а он в ответ ласково улыбался; и эту улыбку ценили высоко, ибо во время описанных здесь событий он вел себя с таким благородством.

Да, король Эдуард VI жил недолго, бедный мальчик, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который хотел он смягчить, и без того достаточно мягок и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук, юный король устремлял на него свои большие красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил:

— Что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты.

По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память.

Примечание 1 — К стр 454

Одежда воспитанников Христовой обители

По всей вероятности, это одеяние повторяло обычный наряд лондонских горожан тех времен, когда подмастерья и слуги носили длинные синие камзолы и когда в моде были желтые чулки; камзол плотно прилегал к телу, но рукава у него широкие; под камзол надевали желтую безрукавку, талию перепоясывали красным кожаным кушаком; узенький церковный воротничок вокруг шеи и плоская черная шапочка величиной с блюдце довершали наряд. — «Достопримечательности Лондона» Тимбса.

Примечание 2 — К стр. 456.

По-видимому, Христова обитель была первоначально основана вовсе не как школа; ее задача заключалась только в том, чтобы спасти детей от влияния улицы, дать им кров, пищу, одеть их и т. д. — «Достопримечательности Лондона» Тимбса.

Примечание 3. — К стр. 464

Приказ о приговоре герцогу Норфолькскому

Король уже быстро приближался к кончине; опасаясь, что Норфольк избежит своей участи, он направил послание палате общин, в котором потребовал, чтобы палата поторопилась с приговором, объясняя это требование тем, что Норфольк все еще носит звание гофмаршала и что необходимо облечь этим зва-

нием другого, достойного совершить церемонию провозглашения королевского сына наследником престола. — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 307.*

Примечание 4. — К стр. 474

Только в конце царствования Генриха VIII в Англии стали выращивать салат, морковь, репу и другие съедобные овощи. До тех пор овощи — в самом незначительном количестве — ввозились из Голландии и Фландрии. Когда королеве Екатерине хотелось салата, она вынуждена была посылать за ним в эти страны. — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 314.*

Примечание 5. — К стр. 479

Приговор Норфольку

Палата лордов, не допросив заключенного, без суда и следствия вынесла ему приговор, который переслала для утверждения в палату общин... Раболепная палата общин покорно выполнила приказ короля; и король, утвердив приговор, повелел казнить Норфолька утром двадцать девятого января (на следующий день). — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 306.*

Примечание 6. — К стр. 490.

Чаша любви

Чаша любви и связанный с нею обряд древнее, чем история Англии. Полагают, что англичане и то и другое заимствовали из Дании. Как далеко ни смотри в глубь веков, ни одна английская пирушка не обходилась без чаши любви. Вот как объясняет предание связанный с нею обряд. В старое время, когда нравы были суровы и грубы, мудрая предосторожность требовала, чтобы у обоих участников пира, пьющих из чаши любви, были заняты обе руки, иначе могло случиться, что в то время покуда один изъясняется другому в чувствах любви и преданности, тот пырнет его ножом!

Спасение герцога Норфолькского

Если бы Генрих VIII прожил еще несколько часов, казнь герцога была бы приведена в исполнение. «Но когда в Тауэр принесли весть, что король сам скончался минувшей ночью, начальник тюрьмы замешкался с казнью; и совет решил, что неблагоприятно начинать новое царствование с казни важнейшего сановника королевства, осужденного к тому же столь несправедливо и тиранически». — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 307.*

Примечание 8. — К стр. 520

Паж для порки

У Иакова I и у Карла II были в детстве пажи для порки, которых наказывали всякий раз, когда эти принцы плохо готовили уроки. Поэтому я дерзнул для достижения собственных целей снабдить таким же пажом и моего принца.

Примечания к главе XV. — Стр. 535

Характер Гертфорда

Юный король проявлял горячую привязанность к своему дяде, который был в основном человек умеренный и честный. — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 324.*

Хотя он (правитель) достоин порицания за слишком большое вмешательство в дела государства, ему нельзя не воздать хвалы за принятые в ту сессию законы, которыми была смягчена строгость прежних установлений и подтверждена конституция. Были отменены все законы, распространявшие понятие измены за пределы статута Эдуарда III; все уголовные законы, введенные во время последнего царствования; все прежние законы против ереси вместе со статутом Шести параграфов. Отныне никто не мог быть привлечен к ответственности за слова, если эти слова были произнесены больше месяца назад. Тем самым оказались отмененными многие из самых жестоких

законов Англии и перед народом забрезжила зоря гражданской и религиозной свободы. Отмененным оказался и тот закон, разрушавший все остальные законы, по которому указ короля приравнялся к законодательному акту парламента. — *«История Англии» Юма, т. III, стр. 339.*

Сваренные в кипятке

В царствование Генриха VIII отравителей, согласно парламентскому акту, варили в кипятке. В следующем царствовании этот закон был отменен.

В Германии, даже в XVII веке, это чудовищное наказание распространялось на фальшивомонетчиков и подделывателей документов. Тэйлор, прозванный «поэтом-лодочником», описывает казнь, свидетелем которой он был в Гамбурге в 1616 году. Фальшивомонетчику был вынесен приговор: «Сварить в масле; причем не бросать сразу в котел, а подвязать его канатом под мышки и с помощью блока опускать в масло постепенно: сперва ступни, потом голени — и таким образом заживо сварить на нем его мясо». — *«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 13.*

Знаменитое дело о чулках

Женщина и ее девятилетняя дочь были повешены в Хэнтингдоне за то, что продали души дьяволу и вызвали бурю, сняв с себя чулки. — *«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 20.*

Примечание 10. — К стр. 545

Рабство

Столь юный король и столь невежественный крестьянин могли ошибаться, — и тут они ошиблись. Крестьянина мучил этот закон по *предчувствию*; король негодовал против закона, которого еще не было: ибо это отвратительное установление родилось как раз в царствование маленького короля. Однако мы, зная его доброту, уверены, что не он был его создателем.

Смертная казнь за мелкие кражи

Когда Коннектикут и Нью-Хейвен составляли свои первые кодексы, в Англии все еще, как и во времена Генриха I, кража вещи, стоившей дороже двенадцати пенсов, считалась крупным преступлением. — *«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 17.*

В одной любопытной старинной книжке под названием «Английский бродяга» говорится, что смертная казнь полагалась за кражу вещей, которые стоили дороже тринадцати с половиной пенсов.

Примечания к главе XXVII. — Стр. 602

Перечисляя кражи, закон выразительно подчеркивает неподсудность духовенства светскому суду. За кражу лошади, или сокола, или сукна у ткача приговаривали к повешению. К виселице приговаривали и за убийство оленя в королевском лесу, и за вывоз овцы за пределы королевства. — *«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 13.*

Уильям Принн, ученый адвокат, был приговорен (гораздо позже эпохи Эдуарда VI) к отрубанию обоих ушей, к лишению адвокатского звания, к уплате 3000 фунтов стерлингов и к пожизненному заключению. Три года спустя он совершил новое кощунство, выпустив памфлет против правительства. Его снова судили и приговорили к отрубанию остатков ушей, к уплате 5000 фунтов стерлингов, к выжиганию на обеих щеках клейма в виде букв М. К. (то есть: «Мятежный Клеветник») и опять же к пожизненному заключению. Этот свирепый приговор был приведен в исполнение с соответствующей ему дикой жестокостью. — *«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 12.*

Примечания к главе XXXIII. — Стр. 634

Христова обитель, или Школа Синих Камзолов, — «благороднейшее учреждение в мире».

Аббатство Серых Братьев опиралось на утвержденное Генрихом VIII решение лондонского муниципалитета, который

постановил учредить приют для бедных мальчиков и девочек. Позже Эдуард VI приказал перестроить старое Аббатство и основал внутри него благородное учреждение, именуемое Школой Синих Камзолов, или Христовой обителью, для обучения и содержания сирот и детей нуждающихся родителей... Эдуард не позволил ему (епископу Ридли) удалиться, пока не было написано письмо (лорду-мэру), затем поручил ему доставить письмо собственноручно и подписал специальное приказание: не мешкая приниматься за дело и доложить об исполнении. За работу взялись ревностно, Ридли сам принимал в ней участие и в результате была создана Христова обитель для обучения бедных детей. (Одновременно король создал и ряд других благотворительных учреждений.) «Господи, — сказал он, — благодарю тебя от всего сердца за то, что ты продлил мою жизнь и дал мне закончить этот труд во славу твоего имени!» Жизнь этого чистосердечного, редкостного человека быстро пришла к концу, и через несколько дней он вернул свою душу своему создателю, моля бога защитить его царство от папизма. — *«Лондон, его прославленные деятели и места» Дж. Хенэджа Джесса.*

В главном зале висит большой портрет короля Эдуарда VI, сидящего на троне, в красной, отделанной горностаем мантии; в левой руке он держит скипетр, а правой протягивает хартию коленопреклоненному лорду-мэру. Рядом с троном стоит канцлер, держа печати, а рядом с канцлером — другие государственные сановники. Епископ Ридли стоит перед королем на коленях, воздев руки, словно моля бога благословить совершающееся; олдермены и прочие во главе с лордом-мэром стоят на коленях, занимая среднюю часть картины; а на переднем плане двойной ряд мальчиков с одной стороны и девочек с другой стороны, начинающийся воспитателем и воспитательницей и кончающийся мальчиком и девочкой, которые выступили вперед из своих безукоризненных рядов и воздели руки перед королем. — *«Достопримечательности Лондона» Тимбса, стр. 98.*

Христова обитель, по древнему обычаю, обладает привилегией обращаться к государю в тех случаях, когда государь — или государыня — посещает Сити, пользуясь гостеприимством лондонского муниципалитета. — *«Достопримечательности Лондона» Тимбса, стр. 98.*

Трапезная вместе со своей прихожей и органной галереей занимает целый этаж в 187 футов длиной, 51 фут шириной и 47 футов высотой; она освещается девятью большими окнами, с южной стороны остекленными цветным стеклом; это, если не считать зал Вестминстера, роскошнейшее помещение в столице. Здесь обедают мальчики, которых в настоящее время около 800; и здесь же происходят «публичные ужины», которые посещают по билетам, выпускаемым казначеем и управителями Христовой обители. На столах стоит сыр в деревянных чашках и пиво в деревянных кувшинах; хлеб разносят в больших корзинах. Входят официальные лица; лорд-мэр — председательствующий — садится в парадное кресло, сделанное из дуба, который рос у церкви св. Екатерины возле Тауэра; поют гимн под музыку органа; «эллинист» — иначе: «главный мальчик» — читает молитвы с кафедры, три удара деревянного молотка призывают к тишине. После молитвы начинается ужин; посетители прогуливаются между столами. Все заканчивается тем, что «мальчики-служители», подняв корзины, чашки, кружки, кувшины и подсвечники, проходят процессией, кланяясь управителям с забавной торжественностью. Это зрелище в 1845 году посетили королева Виктория и принц Альберт.

Из Мальчиков в Сняих Камзолах наиболее прославились Джошуа Барнс — издатель Анакреона и Еврипида, Джереми Марклэнд — известный критик и знаток греческой литературы, Кэмден — антиквар, епископ Стиллинграфлит, Сэмюел Ричардсон — романист, Томас Митчелл — переводчик Аристофана, Томас Барнс, много лет издававший лондонский «Таймс», Кольридж, Чарльз Лэм и Ли Хант.

Ни один мальчик не может быть принят, если ему меньше семи лет и больше девяти; ни один мальчик не может оставаться в школе после пятнадцати лет, исключение делается только для «королевских мальчиков» и для «эллинистов». В школе пятьсот управителей, возглавляемых государем и принцем Уэльским. Чтобы стать управителем, нужно внести пятьсот фунтов стерлингов. — *«Достопримечательности Лондона» Тимбса, стр. 98.*

Многие слышали об «ужасающих Синих законах Коннектикута» и привыкли набожно содрогаться при любом упоминании о них. Есть люди в Америке — и даже в Англии! — которые воображают, что законы эти являлись выдающимся памятником злобы, безжалостности и бесчеловечности; а между тем в действительности именно в них, впервые в «цивилизованном» мире, проявилось *значительное смягчение судебной свирепости*. Этот человеческий и добрый кодекс Синих законов, созданный двести сорок лет тому назад, стоит особняком между столетиями кровавого законодательства до него и ста семьдесятю пятью годами английского кровавого законодательства *после* него.

В Коннектикуте — при Синих законах и при других — не было такого времени, когда бы смертью каралось больше *четырнадцати* различных преступлений. А в Англии еще на памяти ныне живущих людей *сто двадцать три* различных преступления карались смертью!¹ Эти факты стоят того, чтобы о них знать, — а также того, чтобы о них поразмыслить.

¹ См. «Синие законы, подлинные и поддельные» — доктора Дж. Хэммонда Трамбула, стр. 11.

КОММЕНТАРИИ

Книга путевых очерков «Пешком по Европе» возникла в результате поездки за границу, предпринятой Твеном в 1878 году. В сопровождении жены и двух маленьких дочерей Твен отплыл в апреле 1878 года в Германию. Некоторое время он прожил с семьей в Гейдельберге, а затем вместе со своим другом, хартфордским пастором Джозефом Твичелом, совершил в августе — сентябре 1878 года пешеходную экскурсию, продолжавшуюся около пяти недель. Маршрут их, — так же, как и маршрут героев путешествия «Пешком по Европе», — включал долину Неккара, Шварцвальд и Швейцарию. Как видно из сопоставления книги с тогдашними письмами Твена, во многих ее главах отразились непосредственные впечатления и наблюдения автора. Твен, однако, широко пользуется в книге своими любимыми приемами пародийного преувеличения и буффонады; юмористический «герой»-рассказчик, от лица которого идет повествование, и его «агент» Гаррис за частую не имеют ничего общего со своими биографическими прототипами — самим Твеном и его спутником Твичелом.

Похождения горе-туристов, которые пользуются каждым удобным случаем, чтобы избежать трудностей пешеходного маршрута и путешествуют «пешком» то в поезде, то в экипаже, то на плоту, дают писателю повод для многих комических характеристик. Как правило, в книге преобладает добродушный юмор; но в ряде эпизодов, высмеивающих самоуверенность, делячество и тупость американских буржуа, путешествующих по Европе, звучат и сатирические нотки. Таков,

например, рассказ о предприимчивом бизнесмене, который изуродовал величественный памятник Шиллеру надписями, рекламирующими американские патентованные средства. Таков сатирический эпизод, где рассказчик возмущается несправедливостью местных властей по отношению к иностранцам: ведь ему отказались выдать свидетельство о восхождении на вершину Мовблана, хотя он своими глазами видел ее... в телескоп! Запоминается и насмешливо обрисованный портрет самодовольного и невежественного американского юнца, которому безмерно скучно среди исторических достопримечательностей и поэтических пейзажей Швейцарии и который отводит душу в бессмысленной и монотонной болтовне со своими соотечественниками о гостиницах, табльдотах, паровозных линиях и т. п. Пародийный оттенок сказывается и в заключительных главах очерков, где восторженный перечень домашних яств, которыми рассказчик рассчитывает полакомиться по возвращении в США, приводится рядом с ужасающими рецептами приготовления заведомо несъедобных блюд — вроде «кекса на золе» и «новоанглийского пирога».

Вместе с тем в путевых очерках «Пешком по Европе» сказываются и многие из тех предрассудков и предубеждений Твена, какие проявились и в его более ранних «Простаках за границей». Они отразились и в некоторых суждениях писателя о быте и культуре европейцев, и о преимуществах американского образа жизни, и в его трактовке революционных политических традиций Европы. Примером может служить глава XXVI, где так называемый «Люцернский лев» — памятник наемным швейцарским гвардейцам короля Людовика XVI — подает повод автору для путаных, повторяющих чужие вздорные толки рассуждений о французской революции. Иронически отзываясь о Людовике XVI и Марии-Антуанетте, писатель вместе с тем проявляет полное непонимание истинного исторического значения революционной активности французского народа, который он презрительно именует толпой «черни в красных колпаках». Позднее, в конце 80-х годов, Твену предстояло решительно пересмотреть свое отношение к французской революции, — об этом свидетельствуют и его письма и суждения о закономерности революционного террора, высказанные в романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).

Книга «Пешком по Европе» написана неровно: наряду с остроумными эпизодами в ней попадаются и длинные. К тому же пародийная часть очерков в ряде случаев стала со временем менее доходчивой: Твен широко пародировал популярные в 70-х годах, а ныне заслуженно забытые бездарные путеводители и записки путешественников. Так, в частности, по аналогии с традиционными легендами Рейнской области, им были изобретены комически-абсурдные легенды долины Неккара. Принимая во внимание, что многие материалы описательного, справочного и полемического характера, не вошедшие в текст очерков и включенные Твеном в состав «Приложений», в наше время не представляют прежнего интереса для читателей, в настоящее издание включены лишь те «Приложения» к книге «Пешком по Европе», которые имеют художественное значение, — как, например, юмористический этюд Твена о немецком языке. Опущены также ноты песни «Лорелей» на слова Гейне, приложенные Твеном к соответствующей главе очерков.

Работа над книгой «Пешком по Европе» давалась писателю с трудом. В письмах друзьям он часто сетовал на то, как медленно и туго подвигаются его очерки. Он многое рвал, вымарывал, писал заново; из окончательного текста книги были, например, исключены уже написанные главы о Мюнхене и о Франции.

ПРИНЦ И НИЩИЙ

Первый набросок «Принца и нищего» относится к 1877 году; но Твен вплотную приступил к работе над этой повестью в 1880 году, по возвращении из Европы. Работа над «Принцем и нищим» шла настолько же легко, насколько тяжела была для него работа над предыдущей книгой — путевыми очерками «Пешком по Европе». Он писал эту повесть на ферме, где проводил с семьей лето 1880 года, и каждый вечер прочитывал написанное за день своим дочерям — восьмилетней Сузи и шестилетней Кларе. Так определилось и позднейшее посвящение книги дочерям писателя.

«Принц и нищий» был задуман и написан как повесть для детей; но Твен выразил в этой книге многие из своих заветных серьезных мыслей о человеке и обществе. Кое-что здесь

перекликается, — несмотря на разницу во времени и месте действия, — с незадолго до этого изданными «Приключениями Тома Сойера» и в особенности с написанными немногими годами позже «Приключениями Гекльберри Финна». Характерно, что Твен первоначально предполагал даже выпустить «Принца и нищего» и «Гекльберри Финна» в одном томе, и только жена писателя, неодобрительно относившаяся к «грубости» последней повести, отговорила его от этого намерения. «Принц и нищий» был издан в 1882 году и был тепло принят американскими читателями. Престарелая Бичер-Стоу одной из первых поздравила Твена. Единодушие, с каким была принята эта повесть даже в консервативных литературных кругах, объяснялось, впрочем, отчасти и ее несколько условным сказочно-фантастическим колоритом и ее видимой отдаленностью от острых вопросов американской жизни. Вскоре в «Приключениях Гекльберри Финна» и в «Янки при дворе короля Артура» Твену предстояло создать произведения, где «неприятная» правда о действительности высказалась гораздо резче и мрачнее.

Действие «Принца и нищего» происходит в феодальной Англии середины XVI века. Как можно судить по общему замыслу «Принца и нищего» и в особенности по некоторым полемическим примечаниям автора, Твен ставил себе целью обличение несправедливости и жестокости феодальных общественных порядков Старого Света. Твен иронизирует над англичанами, осуждавшими «варварское» законодательство в Новой Англии, как бы предъявляя им контробвинение, призванное доказать гораздо большее варварство английского феодального права. В «Принце и нищем» Твен зло высмеивает монархический строй, показывая на примере своего героя, безродного нищего Тома Кенти, что простые люди могут управлять государством. Но суть повести Твена не только в этом развенчании феодально-сословных принципов.

В «Принце и нищем» (так же как и в «Приключениях Гекльберри Финна») читателям запоминается прежде всего контраст между простодушной мудростью детского, чистого и ясного, взгляда на мир, еще не замутненного социальными предубеждениями или способного по крайней мере возвыситься над ними, — и жестоким и косным общественным строем. Подлинные положительные герои Твена — это нищий Том Кенти и изгнанный из дворца непризнанный принц Эдуард

Тюдор. Эти дети чутки к чужому горю и обидам, в противоположность окружающим их взрослым людям, среди которых есть только немногие исключения, вроде бессребреника-рыцаря Майлса Гендона, с донкихотским великодушием берущего на себя заботы о принце-оборвыше. Всем строем своей повести Твен ополчается против социальной несправедливости, противопоставляя ей бескорыстную мудрость и благородство тех, кто еще не развращен погоней за титулами и богатством. То, что представляется естественным, разумным и необходимым с точки зрения государственных мужей, стоящих у кормила правления в английском государстве, кажется нелепым, несправедливым и ненужным Тому Кенти, умудренному суровым опытом нищеты. И к тем же гуманным выводам приводят маленького принца Эдуарда тяжкие жизненные испытания, через которые он проходит, скитаясь как бездомный бродяга по большим дорогам Англии.

Твен нередко отступал от точных фактов истории в изображении описываемых им событий и исторических лиц. Личность Эдуарда VI, в частности, была идеализирована им. По предположению, высказанному американским исследователем Э. Вагенкнехтом, известную роль в возникновении первоначального замысла «Принца и нищего» могла сыграть книга популярной английской беллетристки Шарлотты Йондж — «Принц и паж» (1865). В центре этой повести для юношества были параллельные судьбы английского короля Эдуарда I и его кузена, могущественного феодала Генри де Монфора, который после разгрома поднятого им восстания скрывается от преследователей в одежде простого нищего и, несмотря на свои увечья и бедность, ведет жизнь более счастливую, чем одинокий во всей своей славе король. В заключении этой повести Генри отказывается променять свои лохмотья и связанную с ними независимость на положение придворного советника короля. Но если эта повесть и могла послужить исходным толчком для обращения Твена к теме «Принца и нищего», то она немногим могла обогатить его воображение.

Быть может, писателю, прилежно изучавшему исторические материалы, относящиеся к описываемому им времени, стали известны легенды, связанные с именем рано умершего Эдуарда VI, возникшие в народе после его смерти. Эдуард VI умер в возрасте семнадцати лет от не распознанной врачами болезни, причем его кончина некоторое время сохранялась

в тайне, так как приближенные к нему вельможи желали воспрепятствовать воцарению его старшей сестры, в будущем королевы Марии Кровавой. Эти обстоятельства способствовали тому, что в народе возникли слухи, будто юный король жив и лишь скрывается до поры до времени. Подобные слухи возникали снова и снова на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1553 года, когда умер король, и вплоть до 1599 года, когда некий валлиец Томас Воун был привлечен к ответственности за распространение сведений о том, что вместо Эдуарда был якобы убит другой мальчик, он же был увезен в Данию, женился на тамошней королеве и в неурожайные голодные годы помогал простым людям Англии, Уэльса и Ирландии зерном и продовольствием.

Если многое в изображении Твеном особенностей описываемой им эпохи и характеров тогдашних общественных деятелей и не выдерживает критики с точки зрения ученого-историка, то читатель охотно прощает ему это, воспринимая его повесть как своего рода притчу-сказку о столкновении доброго, естественного «детского» начала, воплощенного в юных героях, с несправедливостью и жестокостью феодального строя. Самая тема «двойничества» принца и нищего (в которой так много наивной сказочной условности, а вместе с тем и сказочной поэтичности) полна в трактовке писателя высокого нравственного значения. Природа, по мысли Твена, как бы вносит свою поправку в несправедливые социальные законы, провозглашающие неравенство двух мальчиков, рожденных в одном и том же городе, в один и тот же день. Оказывается — и в этом заключен демократический пафос повести Твена, — что принц и нищий могут поменяться местами, потому что, несмотря на все различие происхождения, положения и привычек, они, в сущности, от природы равны.

Повесть Твена и поныне привлекает к себе не только юных читателей, но и читателей взрослых, которые охотно перечитывают ее уже иными глазами, ценя в ней не только драматизм увлекательного сюжета, но и тонкий юмор и иронию автора.

А. ЕЛИСТРАТОВА

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава III

Стр. 23. ...летала из *Новой Шотландии* к *Йосемитской долине*. — Новая Шотландия — провинция на востоке Канады, находящаяся на полуострове того же названия. Йосемитская долина — долина реки Мерсед в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния. Составляет часть территории Йосемитского национального парка-заповедника. Один из популярных центров туризма в США.

Глава VIII

Стр. 43. *Кассаньяк* Поль-Гранье, де (1842—1904) — французский политический деятель и журналист-бонапартист. Приобрел скандальную известность целым рядом судебных процессов и дуэлей. Будучи избран в палату депутатов, имел привычку прерывать оскорбительными репликами ораторов республиканской партии.

...о последнем бурном столкновении во французском парламенте между *мосье Гамбеттой* и *мосье Фурту*... — Речь идет о ссоре между французскими государственными деятелями Л. Гамбеттой (1838—1882) и М. Фурту (1836—1897) в палате депутатов, закончившейся дуэлью, в результате которой ни один из них не пострадал.

Глава X

Стр. 61. ...на представлении «Шогрена» у Уоллэка. — «Шогрен» (1875) — пьеса ирландского драматурга и актера Дайона Бусико (1820—1890), проникнутая антианглийскими настроениями. Уоллэк Джон Лестер (1820—1888) — американский актер и с 1861 года владелец театра, основанного в Нью-Йорке его отцом, актером Джеймсом Уоллэком.

Стр. 63. *Король баварский — поэт...* — Речь идет о баварском короле Людвиге II (1845—1886), увлекавшемся искусством. Для исполнения произведений Р. Вагнера выстроил оперный театр в Байрете. Нередко оперы в театре разыгрывались для него одного. Последние годы своей жизни страдал душевным расстройством.

Глава XI

Стр. 66. *Тернер* Джозеф Маллорд (1775—1851) — английский живописец и гравер, один из крупнейших пейзажистов XIX века.

Глава XII

Стр. 71. *Тилли* Иоганн Церклас (1559—1632) — полководец в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг.

Глава XVI

Стр. 98. *Старая Пинакотека.* — Имеется в виду знаменитая картинная галерея в Мюнхене. Построена в 1826—1836 гг., содержит богатую коллекцию картин старых мастеров, особенно немецких и фламандских.

Стр. 99. *Бинди Альтовити* — итальянский банкир XVI в., покровительствовавший Рафаэлю. Его портрет работы итальянского художника Джулио Романо находится в Мюнхенской Пинакотеке.

Глава XVIII

Стр. 109. *Тэйлор* Баярд (1825—1878) — американский писатель, автор ряда книг о путешествиях, которые он совершил в самые отдаленные уголки мира.

Стр. 111. ...очаровательные рассказы *Фрица Рейтера.* — Рейтер (1810—1874) — немецкий писатель-юморист, писал на

нижненемецком диалекте. Популярность приобрел своими романами и сборником маленьких новелл «Шурр-Мурр» (1861), в которых юмористически рисовал быт немецкой провинции, лицемерие дворянства и ограниченность мещанства.

Глава XXII

Стр. 144. *Ауэрбах* Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, автор «Шварцвальдских деревенских рассказов» (1843—1854), в которых идеализируется патриархальная жизнь деревни.

Стр. 146. *Бедекер*. — Имеется в виду международный справочник-путеводитель, издававшийся немецким издателем Карлом Бедекером (1801—1859), а позднее его сыном.

Стр. 147. *Бонанца*. — Впервые это испанское слово появилось в английском языке на юго-западе США, в годы «золотой лихорадки» в Калифорнии: так местное испанское население называло богатые рудные жилы. Позднее это название закрепилось за некоторыми географическими пунктами.

Глава XXIII

Стр. 155. ...находил их даже в грамматике Керкема и у самого Маколей. — Грамматика Керкема — популярная грамматика английского языка, изданная Сэмюэлом Керкемом в 1823 г. и выдержавшая свыше пятидесяти изданий. Маколей Томас (1800—1859) — английский буржуазный историк, публицист и политический деятель.

Глава XXIV

Стр. 167. *Рескин* Джон (1819—1900) — английский теоретик искусства и публицист. В своей книге «Современные художники» писал: «Невольничий корабль» — самая лучшая картина Тернера и, следовательно, лучший морской пейзаж, когда-либо написанный человеком».

Глава XXV

Стр. 176. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский философ, историк и публицист.

Стр. 183. ...в памятное десятое августа он выдал этих героев на растерзание толпы, штурмовавшей дворец... — Речь идет о штурме 10 августа 1792 г. восставшим народом Парижа королевского дворца Тюильри, ставшего резиденцией Людовика XVI после его переезда из Версаля в Париж (октябрь 1789 г.). Дворец охранялся стражей из швейцарцев.

Стр. 184. ...обширное кладбище революционеров. — Словом «революционер» в настоящем переводе передано слово «Communist» английского оригинала; Твен, как и многие его буржуазные современники, пользуется этим понятием для обозначения революционеров — сторонников имущественного равенства.

Стр. 187. *Старый Мореход* — герой поэмы английского поэта-романтика С. Т. Кольриджа «Песнь о старом моряке» (1798).

Стр. 188. *Джексон Эндрию* (1767—1845) — седьмой президент США (1829—1837).

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I

Стр. 220. *Этот пустынный уголок, когда-то послуживший импровизированным кладбищем для жертв кровавой battue между французами и австрийцами...* — Имеется в виду один из эпизодов франко-австрийских войн 1805—1809 гг.

Глава III

Стр. 239. *«Битва под Прагой»* — музыкальная пьеса чешского композитора Франтишека Коцвара (1730—1791), пользовавшаяся большой популярностью в Лондоне, где жил ее автор.

Глава V

Стр. 257. *Доре* Гюстав (1832—1883) — французский художник; прославился полными фантазии и романтических эффектов иллюстрациями к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Аду» Данте, «Дон-Кихоту» Сервантеса и другим книгам.

Глава VII

Стр. 276. *Стихотворение мистера По «Колокола»*. — Имеется в виду стихотворение американского писателя и поэта Эдгара По (1809—1849), которое посвящено теме колокольного звона, сопутствующего основным векам человеческой жизни.

Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский писатель. Создатель нравоописательной журналистики и семейно-бытового очерка.

Глава VIII

Стр. 289. *Арника* — род многолетних трав; горная арника используется в медицине для примочек при ушибах и ранениях.

Стр. 297. *Родменовская пушка* — названа так по имени ее изобретателя, американца Томаса Родмена (1815—1871), применившего метод охлаждения пушки струей воды внутри ствола.

Глава IX

Стр. 309. *Бробдингнеги* — жители страны великанов в «Путешествии Гулливера» английского писателя Джонатана Свифта.

Глава X

Стр. 315. *Брэдшо*. — Имеется в виду железнодорожный справочник, выпущенный в 1839 г. английским издателем Джорджем Брэдшо (1801—1853) и многократно затем переиздававшийся.

Стр. 317. *Нашего бы Тома Скотта сюда...* — Скотт Томас (1824—1881) — американский железнодорожный магнат, прославившийся скоростным строительством железных дорог в годы Гражданской войны в США.

Глава XVIII

Стр. 373. *...по примеру присноблаженного Чарльза Писа...* — Пис Чарльз — широко известный в XIX в. в Англии преступник. Ему приписывали самые невероятные злодеяния. Кончил жизнь на виселице.

Стр. 379. *Когда я путешествовал за границей с моими «Простаками»*. — Речь идет о книге путевых очерков «Простаки за границей» (1869), написанной М. Твеном после полугодового путешествия по странам Средиземного моря.

Глава XIX

Стр. 380. *Бассано Джакомо* (ок. 1515—1592) — венецианский живописец-колорист.

Глава XX

Стр. 397. *Суккоташ* — блюдо из молодой кукурузы и бобов с соленой свиной.

Стр. 398. *Хаггис* — шотландское национальное блюдо: вареный бараний желудок, фаршированный бараньими потрохами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр. 405. Приписанный Геродоту эпитафия на самом деле принадлежит М. Твену.

Притчи, XXXII, 7 — не только указанной притчи, но и указанного порядкового номера притчи в библии нет.

Стр. 408. *Я взял это предложение из «Тайны старой девы» г-жи Марлит*. — Марлит — псевдоним немецкой романистки Евгении Ион (1825—1887), приобретшей популярность в широких бюргерских кругах своими многочисленными романами и рассказами, типичными для развлекательного чтения немецкого мещанства конца XIX в. Роман «Тайна старой девы» написан в 1868 г.

Стр. 422. *4 июля* — американский национальный праздник в честь провозглашения 4 июля 1776 г. Декларации независимости североамериканских колоний от Англии.

Книга «Пешком по Европе» вышла в свет в марте 1880 года; настоящий перевод сделан по американскому изданию «Харпер энд брозерс» 1907 года.

Глава II

Стр. 444. *...возле майского шеста...* — Майский шест — высокая мачта, украшенная цветами и флагами, вокруг которой, по старому английскому обычаю, происходили весенние гулянья.

Энн Эскью (1521—1546) — протестантка, подвергнутая пыткам и казни за свои религиозные убеждения.

Глава III

Стр. 447. *...у подножия красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем...* — Крест был поставлен Эдуардом I в память его жены Элеонор, умершей в 1290 г.

...роскошный дворец кардинала... — Дворец Хэмптон Корт, принадлежавший кардиналу Уолси, лорду-канцлеру Генриха VIII, а в 1525 г. переданный им королю.

Стр. 450. *Леди Елизавета* — дочь Генриха VIII от его второй жены, Анны Болейн, будущая королева Елизавета I (1533—1603).

Леди Джейн Грэй (1537—1554) — дальняя родственница принца Эдуарда, которую прочили ему в жены. В 1553 г. она вышла замуж за лорда Гилфорта Дадли. После смерти Эдуарда VI, согласно его завещанию, семнадцатилетняя леди Джейн была провозглашена королевой Англии, но через несколько дней победившая партия принцессы Марии казнила леди Джейн и ее мужа как государственных изменников.

Стр. 450. *Леди Мэри* — дочь Генриха VIII от его первой жены Екатерины Арагонской, будущая королева Мария Кровавая (1516—1558), заслужившая это прозвище жестокими преследованиями протестантов.

Глава V

Стр. 457. *...знатных лордов Норфолька и Сэррея..* — Томас Говард, герцог Норфольк, вытеснив кардинала Уолси, стал первым лицом в королевстве, в частности благодаря родству

с двумя из жен Генриха VIII — Анной Болейн и Екатериной Говард. В конце царствования Генриха VIII его в свою очередь оттеснил другой вельможа, граф Гертфорд, обвинив его в стремлении захватить престол для своего сына, Генри Говарда, графа Сэррея. Сэррей был казнен, а казнь Норфолька назначена на 29 января 1547 г. В ночь накануне этого дня Генрих VIII умер, и приговор был отменен, но Норфольк просидел в тюрьме в течение всего царствования Эдуарда VI, то есть до 1553 г.

Стр. 463. *Лорд Гертфорд* — Томас Сеймур, брат третьей жены Генриха VIII, матери принца Эдуарда; став родственником короля, он получил титул графа Гертфорда, а позднее, при Эдуарде VI — герцога Соммерсета.

...наследственный гофмаршал Англии. — Должность главного распорядителя коронаций, королевских бракосочетаний и т. п.

Глава VI

Стр. 469. *Лорд Гилфорд Дадли* — младший сын герцога Нортумберленда, временщика, сменившего герцога Соммерсета к концу царствования Эдуарда VI.

Глава VII

Стр. 473. *Бенвенуто* — Бенвенуто Челлини (1500—1571), знаменитый итальянский скульптор и чеканщик XVI в

Стр. 476. *Парр* — Екатерина Парр (1512—1548), шестая и последняя жена Генриха VIII.

Глава IX

Стр. 481. *...с гражданским жезлом.* — Жезл — церемониальное оружие, восходящее в Англии к XII в. Было присвоено мэрам городов и некоторым другим официальным лицам как знак их достоинства.

Орден Подвязки. — Орден Подвязки — высший английский придворный орден, основанный в 1350 году. Происхождение его названия не установлено. Существует несколько объяснений его. Согласно одному, король Эдуард III дал сигнал к битве при Креси (1346), подняв на конце копья свою под-

вязку. Согласно другой версии, слово «подвязка» служило в этой же битве паролем. Наконец, существует предание, что у фаворитки Эдуарда III, графини Солсбери, на придворном балу упала подвязка. Король поднял ее, сказав: «Стыдно тому, кто подумает об этом дурно» (*Honni soit qui mal y pense* — эти французские слова выгравированы на ордене), и утешил графиню обещанием сделать подвязку знаком высокого почета. Орден состоит из синей бархатной ленты, которая носится под левым коленом, и золотого медальона на синей ленте, который носится на груди.

Орден Бани — английский орден, основанный в 1399 г. Название объясняется тем, что обряд посвящения в рыцари этого ордена включал омовения.

Глава XI

Стр. 494. ...*дон Цезарь де Базан* — персонаж драмы Гюго «Рюи Блаз» (1838), испанский дворянин, впавший в нищету, но сохранивший высокое понятие о чести.

Глава XII

Стр. 506. ...*чего не смеет сделать никто другой*. — Предание, которое большинством английских историков не признается за достоверное, гласит, что право не обнажать головы в присутствии короля было даровано Джону де Курси в начале XIII в. в награду за покорение области Ульстер в Ирландии.

Глава XIV

Стр. 514 ...*лорд обер-шталмейстер* и др. — Действительно существующие в Англии государственные и придворные должности перемешаны в этом перечне с вымышленными.

Стр. 516. *Лорд-протектор* (от лат. *protector* — защитник) — титул некоторых государственных деятелей в Англии XV—XVI вв., в частности регентов при малолетних королях.

Глава XVII

Стр. 544. ...*показал клеймо на плече — букву V*. — V — первая буква английского слова *vagrant* (бродяга).

Глава XIX

Стр. 559. ...делом, до которого снизошел сам Альфред Великий. — Альфред, король саксов (840—901), спасаясь от датчан, захвативших его королевство, укрылся, по преданию, в хижине дровосека. Хозяйка, не зная, кто он, поручила ему присмотреть за лепешками и наградила подзатыльником, когда лепешки подгорели.

Глава XX

Стр. 565. ...по его милости мы стали бездомными и бесприютными. — Генрих VIII порвал с римским папой и провозгласил себя главой реформированной английской церкви. В 1536—1539 гг. он разогнал монахов и конфисковал монастырские земли, которые стал затем раздавать и продавать дворянам.

Глава XXVII

Стр. 598. ...их посадили в тюрьму... за то, что они баптистки. — Термин «баптисты» является у Твена анахронизмом, так как секты под этим названием появились лишь в следующем столетии; но изображение жестоких преследований за всякое несогласие с господствующей церковью вполне соответствует действительности.

Глава XXXI

Стр. 611. Почетная артиллерийская рота. — Речь идет не об артиллерии, а о лучниках, оружие которых в средние века называли иногда «артиллерией».

Стр. 612. ...Елизавета Йоркская посредине большой белой розы... — Борьба за престол двух ветвей английской королевской династии Плантагенетов — Йоркской (имевшей в гербе белую розу) и Ланкастерской (имевшей в гербе алую розу) — получила в истории название Войны Алой и Белой Розы (1455—1485). Она закончилась победой Ланкастеров. На престол вступил, под именем Генриха VII, представитель Ланкастерской линии Генрих Тюдор. Женитьбой на Елизавете Йоркской он положил конец распри и объединил в своем гербе обе розы.

Стр. 616. *Сконский камень*. — По преданию, этот камень с IX века служил тронот шотландским королям в их древней столице Скон. В 1297 г., во время одного из походов на Шотландию, камень был привезен в Лондон английским королем Эдуардом I, а впоследствии был вделан в сиденье коронационного трона.

Заключение

Стр. 635. ...в гробнице *Исповедника*. — Имеется в виду английский король Эдуард Исповедник (1002—1066).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр. 639. *Статут Шести параграфов* — закон (введен в 1539 г.), который устанавливал смертную казнь за несогласие с основными догматами католического вероучения.

Стр. 640. *Тэйлор, прозванный поэтом-лодочником*. — Имеется в виду Джон Тэйлор (1580—1653), лондонский поэт из бедняков, который долго работал лодочником на Темзе, а потом зарабатывал свой хлеб стихами «на случай». Посетив в 1616 г. европейский континент, он описал свое путешествие в книге «Три недели, три дня и три часа наблюдений во время поездки из Лондона в немецкий город Гамбург» (1617).

«Синие законы, подлинные и поддельные» доктора Дж. Хэммонда Трамбула. — Полное название книги, на которую ссылается Твен, — «Подлинные Синие законы Коннектикута и Нью-Хейвена и Поддельные Синие законы, придуманные почтенным Сэмюелом Питерсом» (1876). Это полемическое сочинение имело целью опровергнуть раннего американского историка Сэмюела Питерса, который в своей «Общей истории Коннектикута» говорит о крайней жестокости законов в пуританских поселениях Нового Света. Правильность многих утверждений Питерса доказывается в ряде исторических работ, однако Твен безоговорочно поддерживает Трамбула. Это соответствует тогдашней концепции Твена, основанной на противо-

поставлении феодальной Европы буржуазно-демократической Америке (см. последнее примечание Твена).

Стр. 641. ...старинной книжке, под названием «Английский бродяга». — Твен имеет в виду книгу о жизни лондонского «дна», написанную в конце XVII в. Ричардом Хэдом и Фрэнсисом Керкменом.

«Принц и нищий» печатается в переводе, сделанном по тексту американского издания «Харпер энд брозерс» 1909 года.

ПЕШКОМ ПО ЕВРОПЕ

Перевод Р. Гальпериной

Книга первая

Глава I. Пешком по Европе. — Гамбург. — Франкфурт-на-Майне — Откуда это название? — Урок политической экономии. — Рейнские легенды. — Шельм фон Берген	7
Глава II. Гейдельберг. — Прибытие императрицы. — «Шлосс-отель». — Местоположение Гейдельберга. — Река Неккар. — Гейдельбергский замок — Встреча с вороном. — Язык животных. — Джим Бейкер	11
Глава III. Рассказ Бейкера о синих сойках. — Язык соек. — Бревенчатый домик. — Попытка заполнить глазок в дощатой крыше. — Друзья призываются на помощь. — Великая загадка. — Открытие. — Удачная шутка	19
Глава IV. Студенческая жизнь. — Пять корпораций. — Пивной король. — Посещение лекций — Огромные аудитории. — Сцены в Замковом парке. — Дамы-саморекламистки	23
Глава V. Зал для студенческих поединков. — Дуэлянты — Во избежание тяжелых ранений. — Первый поединок. — Затянувшийся бой. — Второй поединок. — Кровавая сеча. — Лекарь	28
Глава VI. Третий поединок. — Ужасное зрелище. — Обед в антракте. — Последняя встреча. — Ранения в лицо и голову. — Необычайная выдержка у дуэлянтов. — Как мир смотрит на дуэли	33

<i>Глава VII.</i> Корпоративные законы и обычаи. — Раны, которыми гордятся. — Шрамы и рубцы на лице. — Бисмарк — дуэлянт. — Поучительные цифры. — Уроки фехтования. — Цвета корпораций. — Устав	37
<i>Глава VIII.</i> Прославленная французская дуэль. — Столкновение во французском парламенте. — Мосье Гамбетта сохраняет спокойствие. — Я напрашиваюсь в секунданты. — Вызов принят. — Поединок и его последствия	43
<i>Глава IX.</i> Посещение оперы. — Оркестр. — Странное либретто. — Немцы — любители оперы. — Почаще бы таких хоронили. — В публике. — Подслушанный разговор. — Неблагодарное внимание	53
<i>Глава X.</i> Четыре часа с Вагнером. — Немецкая восторженность. — Мудрый обычай. — С опоздавшими не стесняются. — Без помех. — Король — зритель. — Великодушный король	57
<i>Глава XI.</i> Уроки живописи. — Моя картина «Гейдельбергский замок» производит фурор. — Меня путают с Тернером. — Отправляемся на прогулку пешком. — Экскурсия в Гейльбронн. — Вимпфен. — Историческая комната	65
<i>Глава XII.</i> <i>Rathaus.</i> — Старый рыцарь-разбойник. — Его славные дела. — Квадратная башня. — Старинная церковь. — Предание. — Исполнительный кельнер. — Старинный городишко. — Выщербленные камни	70
<i>Глава XIII.</i> Рано ложимся спать. — Одиночество. — Нервное возбуждение. — Меня изводит мышь. — Старое средство. — Результаты. — Мне не удастся уснуть. — Путешествие в темноте. — Разгром	75
<i>Глава XIV.</i> Великолепный выезд. — Плоты на Неккаре. — Внезапная идея. — В Гейдельберг на плоту. — Восхитительное путешествие. — Прибрежные виды. — Сравнение с железной дорогой	81
<i>Глава XV.</i> Вниз по реке. — Обязанности немецких женщин. — Купание с плота. — Девочки в ивняке. — Обед на борту. — Легенда «Пещеры с привидением». — Крестоносец	85
<i>Глава XVI.</i> Старинная рейнская легенда. — Стихотворение «Лорелей». — Печальная судьба графа Германа. — Слова песни и мелодия. — Различные переводы. — Курьезные выдержки	93
<i>Глава XVII.</i> Еще одна легенда. — Непобедимое чудовище. — Огнетушитель одерживает победу. — Рыцарь требует награды. — Опасное плавание. — Плот дает течь. — Наконец на твердой земле. — Ночные тревоги	100
<i>Глава XVIII.</i> Завтрак в саду. — Старый ворон. — Гиршгорнский замок. — Верхненемецкий язык. — Что я узнал о студентах. — Хороший немецкий обычай. — Гаррис практикуется в нем	108
<i>Глава XIX.</i> В Неккарштейнахе. — Дильсбергский замок. —	

В крепостных стенах. — Самобытный уголок. — Древний колодец. — Легенда Дильсбергского замка. — Я сменяю рулевого. — Плот терпит крушение. . . .	117
<i>Глава XX.</i> Коллекция керамики. — Мое собрание безделок. — Этрусская слезница. — Старинный китайский синий фарфор. — Настоящая древность. — Мы едем в Баден-Баден. — Встреча со старым другом. — Будущий ветеринар	127
<i>Глава XXI.</i> Баден-Баден. — Непрístupные девы. — Уловки попрошайек. — сторожиха в ванном заведении. — Зарвавшиеся лавочники. — Старое кладбище. — Благочестивая карга. — Оригинальные сотрапезники . . .	135
<i>Глава XXII.</i> Шварцвальд. — Владетельный князь и его семья. — Набоб. — Новый критерий богатства. — Страничка естественной истории. — Муравей-обманщик. — Немецкая кухня	144
<i>Глава XXIII.</i> Мы отправляемся в дневной поход. — Рассказы на прогулке. — Никодимес Додж. — Поиски работы. — Скелет Джимми Финна. — Неожиданная популярность	154
<i>Глава XXIV.</i> Воскресенье на континенте. — День отдыха. — Случай в церкви. — Императрица у обедни. — Концерты на открытом воздухе. — Очарование музыки и степень ее доступности. — Мы нанимаем курьера . .	162
<i>Глава XXV.</i> Люцерн. — Красота его озера. — Дикая серна. — Заблуждение, с которым надо покончить. — Клеймение альпенштоков. — Компания американцев. — Неожиданное знакомство. — Драгоценные минуты . .	168
<i>Глава XXVI.</i> Торговля в Люцерне. — Немного истории. — Родина часов-кукушек. — Человек, который остановился у Гэдсби. — Претендент на вакансию почтмейстера. — Теннессиец в Вашингтоне	181
<i>Глава XXVII.</i> Ледниковый сад. — Прогулка по озеру. — Жизнь в горах. — Турист, каких много. — «Откуда приехали?» — Ни на шаг без путеводителя. — «Что ж, в общем, как будто все»	191
<i>Глава XXVIII.</i> Риги-Кульм. — Восхождение. — Горная железная дорога. — Йодлеры. — Скалистые ворота. — Опоздали. — Альпийский рог. — Восход солнца вечером	201
<i>Глава XXIX.</i> Мы устраиваемся с удобствами. — Восход солнца с запада. — Взаимные обвинения. — Вид с вершины. — Спуск. — Мы едем по железной дороге. — Завоеванное доверие	212

Книга вторая

<i>Глава I.</i> Путешествие через заместителя. — Экскурсия к горному проходу Фурка. — Озеро Мертвеца. — Истоки Роны. — Ледяные столы. — Гроза в горах. — Гриндельвальд. — Мертвые языки. — Отчет Гарриса	218
--	-----

<i>Глава II.</i> Из Люцерна в Интерлакен. — Горный перевал Брюниг. — Затворничество св. Николая. — Обвалы. — Дети — торговцы съестными припасами. — Как запрягают лошадь. — Немецкие обычаи	227
<i>Глава III.</i> «Отель Юнгфрау». — Кельнерша-бакенбардистка. — Новобрачная из Арканзаса. — Совершенство в дисгармонии. — Полная победа. — Вид из окна. — Нескольких слов о Юнгфрау	237
<i>Глава IV.</i> Гисбахский водопад. — Чем он привлекает туристов. — Курзал. — Из Интерлакена в Церматт пешком. — Мы нанимаем кабриолет. — Кандерштегская долина. — Наперегонки с бревном	246
<i>Глава V.</i> Старый проводник. — Опасное жилье. — Горные цветы. — Горные свиньи. — Несостоявшееся приключение. — Восхождение на Монте-Розу. — Среди снегов. — Штурм вершины	253
<i>Глава VI.</i> Новое увлечение. — Озеро Даубензее. — Мы слоняемся по горам. — Поиски шляпы. — «Отель дез Альп». — Лейкские воды. — Стена Гемми. — Знаменитая «Стремянка». — Нам подменяют одежду	263
<i>Глава VII.</i> Воскресный звон. — Чудо-ледник. — Без пяти минут несчастный случай. — Маттерхорн. — Церматт. — Отечество альпинистов. — Ужасное приключение. — Ненасытные	275
<i>Глава VIII.</i> Я решаю штурмовать Рифельберг. — Приготовление. — Персонал и снаряжение. — Мы выступаем в поход. — Первые трудности. — Чудесное избавление. — Проводник проводника	286
<i>Глава IX.</i> Продолжение похода. — Научные изыскания. — Образчик молодого американца. — Прибытие в Рифельбергскую гостиницу. — Восхождение на Горнер-Грат. — Вера в термометр. — Маттерхорн	298
<i>Глава X.</i> Пугеводители. — Я строю планы насчет обратного пути. — Ледник как средство передвижения. — Спуск на парашютах. — У каждого находится отговорка. — Мы оставляем ледник. — На пути в Церматт	311
<i>Глава XI.</i> Ледники. — Какими опасностями они угрожают. — Их чудовищные размеры. — Путешествующий ледник. — Скорость движения. — Восхождение на Монблан. — Исчезновение проводников. — Встреча старых друзей. — Шамонийские мощи	319
<i>Глава XII.</i> Катастрофа на Маттерхорне в 1865 году. — Взятие Маттерхорна. — Начало восхождения. — Страшное падение. — Гибель лорда Дугласа и трех его товарищей	328
<i>Глава XIII.</i> Швейцария. — Кладбище в Церматте. — Из местечка Сент-Николас в Висп. — Опасное путешествие. — Шильонский замок. — Монблан и его соседи. — Сумасшедшая езда. — О том, как иногда полезно напиться	333
<i>Глава XIV.</i> Шамони. — Контрасты. — Цех проводников. — Возвращение туриста. — Завоеватель Монблана. — За-	

висть в мире ученых. — Горная музыка. — Я не могу понять, что мне мешает	342
<i>Глава XV.</i> Вид на Монблан. — Восхождение на телескопе. — Быстрое и благополучное возвращение. — Я требую диплома и нарываюсь на отказ. — Катастрофа 1866 года. — Первая альпинистка	351
<i>Глава XVI.</i> Одиннадцать человек — жертвы катастрофы. — Партия восходителей. — Записная книжка обреченного на гибель. — Спасение было рядом. — Покорное ожидание смерти	360
<i>Глава XVII.</i> «Отель де Пирамид». — Боссонский ледник. — Один из аттракционов. — Совет туристу. — Сборщик податей на леднике. — Кристально-чистая ледяная вода. — Процент смертности. — Увеселительная поездка	362
<i>Глава XVIII.</i> Женева. — Американские нравы. — Галантность. — Полковник Бейкер из Лондона. — Справедливость по-арканзасски. — Безопасность женщины в Америке. — Город Шамбери. — Турин. — Оскорбленная женщина. — Честность итальянцев	369
<i>Глава XIX.</i> В Милане. — Мои приключения в этом городе. — Честный кондуктор. — Собор. — Старые мастера. — Картина Тинторетто. — Чувствительные туристы. — Картина Бассано. — «Обитый шкурой сундук»	380
<i>Глава XX.</i> В Венеции. — Мое археологическое открытие. — Сокровища Св. Марка. — Вор, ограбивший храм, повешен. — Мы столуемся в частном доме. — Питание в Европе	390
<i>Глава XXI.</i> Мои недоумения по поводу некоторых несообразностей. — Искусство в Риме и Флоренции. — Увлечение фиговым листком. — «Венера» Тициана. — Смотреть смотри, а описывать не смей. — Настоящий шедевр. — «Моисей» Тициана. — Домой	400

П Р И Л О Ж Е Н И Я

<i>А.</i> Об ужасающей трудности немецкого языка	405
<i>Б.</i> Легенда замков «Ласточкино гнездо» и «Братья». (По рассказу капитана, но с некоторыми сокращениями.)	424
<i>В.</i> Немецкие газеты	430

П Р И Н Ц И Н И Ц Ы

Перевод К. И. Чуковского и Н. К. Чуковского

<i>Предисловие</i>	439
<i>Глава I.</i> Рождение принца и рождение нищего	441
<i>Глава II.</i> Детство Тома	442
<i>Глава III.</i> Встреча Тома с принцем	446
<i>Глава IV.</i> Невзгоды принца начинаются	453

Глава V. Том — патриций	457
Глава VI. Тому дают наставления	465
Глава VII. Первый королевский обед Тома	473
Глава VIII. Вопрос о печати	477
Глава IX. Праздник на реке	479
Глава X. Злоключения принца	482
Глава XI. В ратуше	491
Глава XII. Принц и его избавитель	496
Глава XIII. Исчезновение принца	507
Глава XIV. «Le roi est mort — vive le roi!»	512
Глава XV. Том — король	524
Глава XVI. Парадный обед	535
Глава XVII. Король Фу-фу Первый	538
Глава XVIII. Принц у бродяг	548
Глава XIX. Принц у крестьян	555
Глава XX. Принц и отшельник	560
Глава XXI. Гендон приходит на выручку	566.
Глава XXII. Жертва вероломства	571
Глава XXIII. Принц арестован	576
Глава XXIV. Побег	579
Глава XXV. Гендон-холл	582
Глава XXVI. Не признан	589
Глава XXVII. В тюрьме	593
Глава XXVIII. Жертва	602
Глава XXIX. В Лондон	605
Глава XXX. Успехи Тома	607
Глава XXXI. Коронационное шествие	610
Глава XXXII. День коронации	615
Глава XXXIII. Эдуард — король	627
Заключение. Правосудие и возмездие	634

ПРИЛОЖЕНИЯ (Примечания М. Твена)	637
--	-----

«Пешком по Европе», «Принц и нищий». А. А. Елистратова	647
--	-----

Комментарии. А. Н. Николькин и З. Е. Александрова	653
---	-----

Марк Твен

Собрание сочинений, т. 5

Редакторы Э. Раузина и Н. Дынник

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор Л. Сутина

Корректор А. Иванова

*

Сдано в набор 14/I 1960 г.

Подписано к печати 12/IV 1960 г.

Бумага 84 × 108¹/₃₂. 21 печ. л.

34,44 усл.-печ. л. 32,8 уч.-изд. л.

Тираж 300 000. Зак. 270.

Цена 10 р. 50 к. с 1/I 1961 — 1 р 05 к.

Гослитиздат.

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 10.

*

Ленинградский Совет народного хозяйства Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.